

А. ДЮМА



15

Александр
ДЮМА

Собрание сочинений в 50 томах. Том 15. Граф де Монте-Кристо (Части IV, V, VI)

Александр Дюма

Александр Дюма. Граф де Монте-Кристо
Часть четвертая
I. ГОСПОДИН НУАРТЬЕ ДЕ ВИЛЬФОР
II. ЗАВЕЩАНИЕ
III. ТЕЛЕГРАФ
IV. СПОСОБ ИЗБАВИТЬ САДОВОДА ОТ СОНЬ, ПОЕДАЮЩИХ ЕГО ПЕРСИКИ
V. ПРИЗРАКИ
VI. ОБЕД
VII. НИЩИЙ
VIII. СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА
IX. БРАЧНЫЕ ПЛАНЫ
X. КАБИНЕТ КОРОЛЕВСКОГО ПРОКУРОРА
XI. ПРИГЛАШЕНИЕ
XII. РОЗЫСКИ
XIII. ЛЕТНИЙ БАЛ
XIV. ХЛЕБ И СОЛЬ
XV. ГОСПОЖА ДЕ СЕН-МЕРАН
XVI. ОБЕЩАНИЕ
XVII. СКЛЕП СЕМЬИ ВИЛЬФОР

XVIII. ПРОТОКОЛ
XIX. УСПЕХИ КАВАЛЬКАНТИ-СЫНА
XX. ГАЙДЕ
Часть пятая
I. НАМ ПИШУТ ИЗ ЯНИНЫ
II. ЛИМОНАД
III. ОБВИНЕНИЕ
IV. ЖИЛИЩЕ БУЛОЧНИКА, УДАЛИВШЕГОСЯ ОТ ДЕЛ
V. КРАЖА СО ВЗЛОМОМ
VI. ДЕСНИЦА ГОСПОДНЯ
VII. БОШАН
VIII. ПУТЕШЕСТВИЕ
IX. СУД
X. ВЫЗОВ
XI. ОСКОРБЛЕНИЕ
XII. НОЧЬ
XIII. ДУЭЛЬ
XIV. МАТЬ И СЫН
XV. САМОУБИЙСТВО
XVI. ВАЛЕНТИНА
XVII. ПРИЗНАНИЕ
XVIII. ОТЕЦ И ДОЧЬ
XIX. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
XX. ДОРОГА В БЕЛЬГИЮ
Часть шестая

I. ГОСТИНИЦА "КОЛОКОЛ И БУТЫЛКА"
II. ЗАКОН
III. ВИДЕНИЕ
IV. ЛОКУСТА
V. ВАЛЕНТИНА
VI. МАКСИМИЛИАН
VII. ПОДПИСЬ ДАНГЛАРА
VIII. КЛАДБИЩЕ ПЕР-ЛАШЕЗ
IX. ДЕЛЕЖ
X. ЛЬВИНЫЙ РОВ
XI. СУДЬЯ
XII. ЗАСЕДАНИЕ СУДА
XIII. ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ
XIV. ИСКУПЛЕНИЕ
XV. ОТЪЕЗД
XVI. ПРОШЛОЕ
XVII. ПЕППИНО
XVIII. ПРЕЙСКУРАНТ ЛУИДЖИ ВАМПА
XIX. ПРОЩЕНИЕ
XX. ПЯТОЕ ОКТЯБРЯ
КОММЕНТАРИИ

Александр Дюма
Граф де Монте-Кристо

Часть четвертая
I
ГОСПОДИН НУАРТЬЕ ДЕ ВИЛЬФОР

Вот что произошло в доме королевского прокурора после отъезда г-жи Данглар и ее дочери, в то время как происходил переданный нами разговор.

Вильфор в сопровождении жены явился в комнату своего отца; что касается Валентины, то мы знаем, где она находилась.

Поздоровавшись со стариком и отослав Барруа, старого лакея, прослужившего у Нуартье больше четверти века, они сели.

Нуартье сидел в большом кресле на колесиках, куда его сажали утром и откуда поднимали вечером; перед ним было зеркало, в котором отражалась вся комната, так что, даже не шевелясь — что, впрочем, было для него невозможно, — он мог видеть, кто к нему входит, кто выходит и что делается вокруг. Неподвижный, как труп, он смотрел живым и умным взглядом на своих детей, церемонное приветствие которых предвещало нечто значительное и необычное.

Зрение и слух были единственными чувствами, которые, подобно двум искрам, еще тлели в этом теле, уже на три четверти готовом для могилы; да и то из этих двух чувств только одно могло свидетельствовать о внутренней жизни, еще теплившейся в этом человеке, казавшемся изваянием; и взгляд, выражавший эту внутреннюю жизнь, походил на далекий огонек, который ночью указывает заблудившемуся в пустыне страннику, что где-то есть живое существо, бодрствующее в безмолвии и мраке.

Зато в черных глазах старого Нуартье, с нависшими над ними черными бровями, тогда как его длинные волосы, спадающие до плеч, были совершенно белы, в этих глазах — как бывает всегда, когда тело уже перестает вам повиноваться, — сосредоточилась вся энергия, вся воля, вся сила, весь разум, некогда оживлявшие его тело и дух. Конечно, недоставало жеста руки, звука голоса, движений тела, но этот властный взор заменял все. Глаза отдавали приказания, глаза благодарили; это был труп, в котором жили глаза, и ничто не могло быть страшнее подчас, чем мраморное лицо, в верхней половине которого зажигался гнев или светилась радость. Только три человека умели понимать этот язык

несчастного паралитика: Вильфор, Валентина и тот старый слуга, о котором мы уже упомянули. Но так как Вильфор видел своего отца только изредка и лишь тогда, когда это было, так сказать, неизбежно, а когда видел — ничем не старался угодить ему, даже и понимая его, то все счастье старика составляла его внучка. Валентина научилась, благодаря самоотверженности, любви и терпению, читать по глазам все мысли Нуартье. На этот немой и никому другому не понятный язык она отвечала своим голосом, лицом, всей душой, так что оживленные беседы возникали между молодой девушкой и этой бренной плотью, почти обратившейся в прах, которая, однако, еще была человеком огромных знаний, неслыханной проницательности и настолько сильной воли, насколько это возможно для духа, который томился в теле, переставшем ему повиноваться.

Таким образом, Валентине удалось разрешить нелегкую задачу: понимать мысли старика и передавать ему свои, и благодаря этому умению почти не бывало случая, чтобы в обыденных вещах она не угадывала вполне точно желания этой живой души или потребности этого бесчувственного полутрупа.

Что касается Барруа, то он, как мы сказали,

служил своему хозяину уже двадцать пять лет и так хорошо знал все его привычки, что Нуартье почти не требовалось о чем-либо его просить.

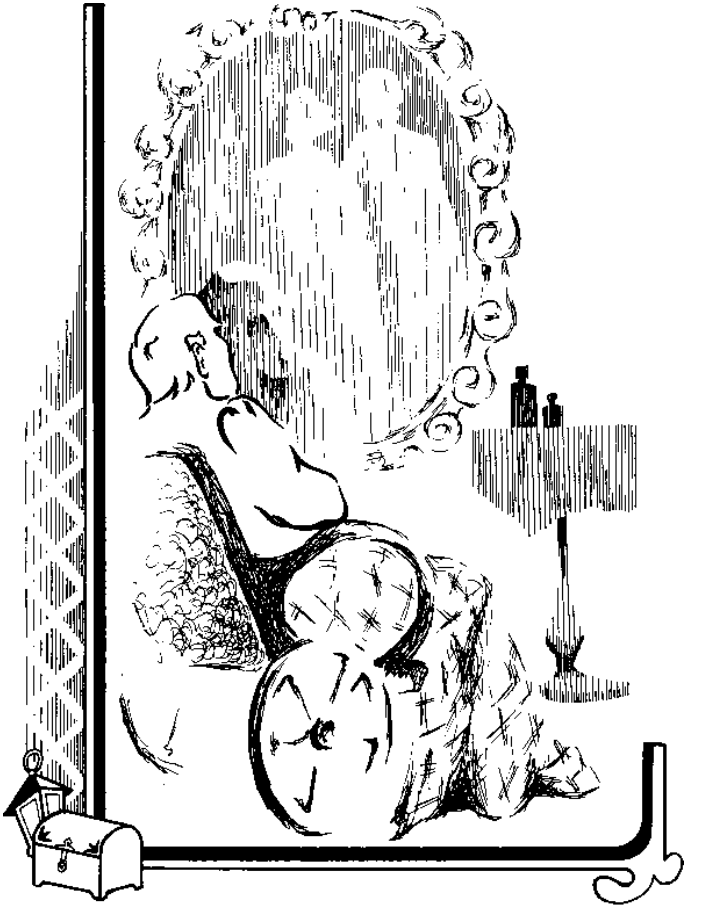
Вильфору не нужна была ничья помощь, чтобы начать с отцом тот странный разговор, для которого он явился. Он сам, как мы уже сказали, отлично знал весь словарь старика, и если он так редко с ним беседовал, то это происходило лишь от полного равнодушия. Поэтому он предоставил Валентине спуститься в сад, отослал Барруа, и уселся по правую руку от своего отца, между тем как г-жа де Вильфор села слева.

— Не удивляйтесь, сударь, — сказал он, — что Валентина не пришла с нами и что я отослал Барруа: предстоящая нам беседа не могла бы вестись в присутствии дочери или лакея. Госпожа де Вильфор и я намерены сообщить вам нечто важное.

Во время этого вступления лицо Нуартье оставалось безучастным, тогда как взгляд Вильфора, казалось, хотел проникнуть в самое сердце старика.

— Мы уверены, госпожа де Вильфор и я, — продолжал королевский прокурор своим обычным ледяным тоном, не допускавшим каких-либо возражений, — что вы сочувственно встретите

это сообщение.



Взгляд Нуартье был но-прежнему неподвижен; старик просто слушал.

— Мы выдаем Валентину замуж, — продолжал Вильфор.

Восковая маска не могла бы остаться при этом известии более холодной, чем лицо старика.

— Свадьба состоится через три месяца, — продолжал Вильфор.

Глаза старика были все так же безжизненны.

Тут заговорила г-жа де Вильфор.

— Нам казалось, — поспешила она добавить, — что это известие должно вас заинтересовать, к тому же вы, по-видимому, всегда были привязаны к Валентине; нам остается только назвать вам имя молодого человека, который ей предназначен. Это одна из лучших партий, на которые Валентина могла бы рассчитывать. Ее будущий муж, чье имя вам, вероятно, знакомо, хорошего рода и богат, а его образ жизни и вкусы служат для нее порукой счастья. Речь идет о Франце де Кенель, бароне д'Эпине.

Пока его жена произносила эту маленькую речь, Вильфор буквально впился взглядом в лицо старика. Едва г-жа де Вильфор произнесла имя Франца, как в глазах Нуартье, так хорошо знакомых его сыну, что-то дрогнуло и между его век,

которые раскрылись, словно губы, собирающиеся что-то сказать, сверкнула молния.

Королевский прокурор, знавший об открытой вражде, некогда существовавшей между его отцом и отцом Франца, понял эту вспышку и это волнение, но он сделал вид, будто ничего не заметил, и заговорил, продолжая речь своей жены:

— Вы отлично понимаете, сударь, как важно, чтобы Валентина, которой скоро минет девятнадцать лет, была, наконец, пристроена. Тем не менее, обсуждая это, мы не забыли и вас и заранее условились, что муж Валентины согласится если и не жить вместе с нами — это могло бы стеснить молодую чету, — то, во всяком случае, на то, чтобы вы жили вместе с ними: ведь Валентина вас очень любит, и вы, по-видимому, отвечаете ей такой же любовью. Таким образом, ваша привычная жизнь ни в чем не изменится, и разница будет только в том, что за вами будут ухаживать двое детей вместо одного.

Сверкающие глаза Нуартье налились кровью.

Очевидно, в душе старика происходило что-то ужасное; очевидно, крик боли и гнева, не находя себе выхода, душил его, потому что лицо его побагровело и губы стали синими.

Вильфор спокойно отворил окно, произнеся:

— Здесь очень душно, поэтому господину Нуартье трудно дышать.

Затем он вернулся на место, но остался стоять.

— Этот брак, — прибавила г-жа де Вильфор, — по душе господину д'Эпине и его родным; их, впрочем, только двое — дядя и тетка. Его мать умерла при его рождении, а отец был убит в тысяча восемьсот пятнадцатом году, когда ребенку было всего два года, так что он зависит только от себя.

— Загадочное убийство, — сказал Вильфор, — виновники которого остались неизвестны; подозрение витало над многими головами, но ни на кого не пало.

Нуартье сделал такое усилие, что губы его искривились, словно для улыбки.

— Впрочем, — продолжал Вильфор, — истинные виновники те, кто знает, что именно они совершили преступление, те, кого при жизни может постигнуть человеческое правосудие, а после смерти — правосудие небесное, были бы рады оказаться на вашем месте и иметь возможность предложить свою дочь Францу д'Эпине, чтобы устранить даже тень какого-либо подозрения.

Нуартье овладел собой усилием воли, которого трудно было бы ожидать от беспомощного па-

ралитика.

— Да, я понимаю вас, — ответил его взгляд Вильфору; и в этом взгляде выразились одновременно глубокое презрение и гнев.

На этот взгляд, который он хорошо понял, Вильфор ответил легким пожатием плеч.

Затем он знаком предложил своей жене подняться.

— А теперь, — сказала г-жа де Вильфор, — позвольте нам откланяться. Угодно ли вам, чтобы Эдуар зашел поздороваться с вами?

Было условлено, что старик выражал свое согласие, закрывая глаза, отказ — миганием, а когда ему нужно было выразить какое-нибудь желание, он поднимал глаза кверху.

Если он желал видеть Валентину, он закрывал только правый глаз.

Если он звал Барруа, он закрывал левый.

Услышав предложение г-жи де Вильфор, он усиленно заморгал.

Госпожа де Вильфор, увидев явный отказ, закусила губу.

— В таком случае я пришлю к вам Валентину? — спросила она.

— Да, — отвечал старик, быстро закрывая глаза.

Супруги де Вильфор поклонились и вышли, приказав позвать Валентину, уже, впрочем, предупрежденную, что она днем будет нужна деду.

Валентина, еще вся розовая от волнения, вошла к старику. Ей достаточно было одного взгляда, чтобы понять, как страдает ее дед и как он жаждет с ней поговорить.

— Дедушка, — воскликнула она, — что случилось? Тебя расстроили и ты сердишься?

— Да, — ответил он, закрывая глаза.

— На кого же? На моего отца? Нет. На госпожу де Вильфор? Нет. На меня?

Старик сделал знак, что да.

— На меня? — переспросила удивленная Валентина.

Старик сделал тот же знак.

— В чем же я провинилась, дедушка? — воскликнула Валентина.

Никакого ответа; она продолжала:

— Я сегодня не видела тебя; значит, тебе что-нибудь про меня сказали?

— Да, — поспешно ответил взгляд старика.

— Попробую отгадать, в чем дело. Боже мой, уверяю тебя, дедушка… Ах, вот что!.. Господин и госпожа де Вильфор только что были здесь, правда?

— Да.

— И это они сказали тебе то, что рассердило тебя? Что же это может быть? Хочешь, я пойду спрошу их, чтобы знать, за что мне просить у тебя прощения?

— Нет, нет, — ответил взгляд.

— Ты меня пугаешь! Что же они могли сказать?

И она задумалась.

— Я догадываюсь, — сказала она, понижая голос и подходя ближе к старику. — Может быть, они говорили о моем замужестве?

— Да, — ответил гневный взгляд.

— Понимаю, ты сердишься за то, что я молчала. Но, видишь ли, они мне строго-настрого запретили тебе об этом говорить; они и мне ничего не говорили, и я совершенно случайно узнала эту тайну; вот почему и не была откровенна с тобой. Прости, дедушка.

Взгляд, снова неподвижный и безучастный, казалось, говорил: «Меня огорчает не только твое молчание».

— В чем же дело? — спросила Валентина. — Или ты думаешь, что я покину тебя, дедушка, что, выйдя замуж, я тебя забуду?

— Нет, — ответил старик.

— Значит, они сказали тебе, что господин д'Эпине согласен на то, чтобы мы жили вместе?

— Да.

— Так почему же ты сердишься?

В глазах старика появилось выражение бесконечной нежности.

— Да, я понимаю, — сказала Валентина, — потому, что ты меня любишь?

Старик сделал знак, что да.

— И ты боишься, что я буду несчастна?

— Да.

— Ты не любишь Франца?

Глаза несколько раз подряд ответили:

— Нет, нет, нет.

— Так тебе очень тяжело, дедушка?

— Да.

— Тогда слушай, — сказала Валентина, опускаясь на колени подле Нуартье и обнимая его обеими руками, — мне тоже очень тяжело, потому что я тоже не люблю Франца д'Эпине.

Луч радости мелькнул в глазах деда.

— Помнишь, как ты рассердился на меня, когда я хотела уйти в монастырь?

Под иссохшими веками старика показались слезы.

— Ну так вот, — продолжала Валентина, — я

хотела это сделать, чтобы избегнуть этого брака, который приводит меня в отчаяние.

Дыхание старика стало прерывистым.

— Так этот брак очень огорчает тебя, дедушка? Ах, если бы ты мог мне помочь, если бы мы вдвоем могли помешать их планам! Но ты бессилен против них, хотя у тебя такой светлый ум и такая сильная воля; когда надо бороться, ты так же слаб, как и я, даже слабее. Если бы ты был силен и здоров, ты мог бы меня защитить, а теперь ты можешь только понимать меня и радоваться или печалиться вместе со мной. Это последнее счастье, которое Бог забыл отнять у меня.

При этих словах в глазах Нуартье появилось выражение такого глубокого лукавства, что девушке показалось, будто он говорит:

— Ты ошибаешься, я еще многое могу сделать для тебя.

И

— Ты можешь что-нибудь для меня сделать, дедушка? — выразила словами его мысль Валентина.

— Да.

Нуартье поднял глаза кверху. Это был секретный между ним и Валентиной знак, выражающий желание.

— Что ты хочешь, дедушка? Я постараюсь понять.

Валентина стала угадывать, высказывая вслух свои предположения, по мере того как они у нее возникали, но на все ее слова старик неизменно отвечал «нет».

— Ну, — сказала она, — прибегаем к решительным мерам, раз уж я так недогадлива!

И она стала называть подряд все буквы алфавита, от А до Н, с улыбкой следя за глазами паралитика; когда она дошла до буквы Н, Нуартье сделал утвердительный знак.

— Так! — сказала Валентина. — То, что ты хочешь, начинается с буквы Н; значит, мы имеем дело с Н? Ну-с, что же нам от него нужно, от этого Н? На, не, ни, но…

— Да, да, да, — ответил старик.

— Так это «но»?

— Да.

Валентина принесла словарь и, положив его перед Нуартье на пюпитр, раскрыла его; увидев, что взгляд старика сосредоточился на странице, она начала быстро скользить пальцем сверху вниз, по столбцам.

С тех пор, как шесть лет тому назад Нуартье впал в то тяжелое состояние, в котором он теперь

находился, она научилась легко справляться с подобными задачами и угадывала мысль старика так же быстро, как если бы он сам искал в словаре нужное ему слово.

На слове «нотариус» Нуартье сделал ей знак остановиться.

— Нотариус, — сказала она, — ты хочешь видеть нотариуса, дедушка?

Нуартье показал, что он действительно желает видеть нотариуса.

— Значит, надо послать за нотариусом? — спросила Валентина.

— Да, — показал старик.

— Надобно, чтобы он об этом знал мой отец?

— Да.

— А спешно тебе нужен нотариус?

— Да.

— За ним сейчас пошлют. Это все, что тебе нужно?

— Да.

Валентина подбежала к звонку и вызвала лакея, чтобы пригласить к деду господина и госпожу де Вильфор.

— Ты доволен? — спросила Валентина. — Да… еще бы! Не так-то легко было догадаться!

И она улыбнулась деду, как улыбнулась бы

ребенку.

В комнату вошел Вильфор, приведенный Барруа.

— Что вам угодно, сударь? — спросил он паралитика.

— Отец, — сказала Валентина, — дедушка хочет видеть нотариуса.

При этом странном, а главное — неожиданном требовании Вильфор обменялся взглядом с паралитиком.

— Да, — показал тот с твердостью, которая ясно говорила, что с помощью Валентины и своего старого слуги, осведомленного теперь о его желании, он готов на борьбу.

— Вы желаете видеть нотариуса? — повторил Вильфор.

— Да.

— Зачем?

Нуартье ничего не ответил.

— Но для чего вам нужен нотариус? — спросил Вильфор.

Взгляд старика оставался неподвижным, немым, что означало: «Я настаиваю на своем».

— Чтобы чем-нибудь досадить нам? — сказал Вильфор. — К чему это?

— Но, однако, — сказал Барруа, готовый с

настойчивостью, присущей старым слугам, добиваться своего, — если мой господин желает видеть нотариуса, так, видно, он ему нужен. И я пойду за нотариусом.

Барруа не признавал иных хозяев, кроме Нуартье, и не допускал, чтобы в чем-нибудь противоречили желаниям его господина.

— Да, я желаю видеть нотариуса, — сказал старик, закрывая глаза с таким вызывающим видом, словно говорил: «Посмотрим, осмелятся ли не исполнить моего желания».

— Если вы так настаиваете, нотариуса приведут, но мне придется извиниться перед ним за себя и за вас, потому что это будет смехотворно.

— Все равно, — сказал Барруа, — я схожу за ним.

И старый слуга удалился, торжествуя.

II
ЗАВЕЩАНИЕ

Когда Барруа выходил из комнаты, Нуартье лукаво и многозначительно взглянул на внучку. Валентина поняла этот взгляд; понял его и Вильфор, потому что лицо его омрачилось и брови сдвинулись.

Он взял стул и, усевшись против паралитика, приготовился ждать.

Нуартье смотрел на него с полнейшим равнодушием, но уголком глаза он велел Валентине не беспокоиться и тоже оставаться в комнате.

Через три четверти часа Барруа вернулся вместе с нотариусом.

— Сударь, — сказал Вильфор, поздоровавшись с ним, — вас вызвал присутствующий здесь господин Нуартье де Вильфор; общий паралич лишил его движения и голоса, и только мы одни, и то с большим трудом, умудряемся понимать кое-какие обрывки его мыслей.

Нуартье обратил на Валентину свой взгляд, такой серьезный и властный, что она немедленно вступилась:

— Я, сударь, понимаю все, что хочет сказать мой дед.

— Это верно, — прибавил Барруа, — все, решительно все, как я уже сказал по дороге господину нотариусу.

— Разрешите, господа, сказать вам, — обратился нотариус к Вильфору и Валентине, — что это как раз один из тех случаев, когда должностное лицо не может действовать опрометчиво, не навлекая этим на себя тяжкой ответственности. Для

того чтобы акт был законным, нотариус прежде всего должен быть убежден, что он в точности передал волю того, кто его диктует. Я же не могу быть уверен в согласии или несогласии клиента, лишенного дара речи; и так как предмет его желания или нежелания будет для меня не ясен ввиду его немоты, то мое участие совершенно бесполезно и было бы противозаконно.

Нотариус собирался удалиться. Еле уловимая торжествующая улыбка мелькнула на губах королевского прокурора.

Со своей стороны Нуартье взглянул на Валентину с таким горестным выражением, что она преградила нотариусу дорогу.

— Сударь, — сказала она, — тот язык, на котором я объясняюсь с моим дедом, настолько легко усвоить, что я в несколько минут могу вас научить так же хорошо понимать его, как понимаю сама. Скажите, что вам нужно для того, чтобы ваша совесть была совершенно спокойна?

— Для законности наших актов, мадемуазель, — отвечал нотариус, — необходима уверенность в согласии или несогласии. Завещатель может быть болен телом, но он должен быть здрав рассудком.

— Ну так вот, сударь, два знака убедят вас в

том, что рассудок моего деда никогда не был более здравым, чем сейчас. Господин Нуартье, лишенный голоса, лишенный движения, закрывает глаза, когда хочет сказать «да», и мигает несколько раз, когда хочет сказать «нет». Теперь вы знаете достаточно, чтобы беседовать с ним; попробуйте же.

Взгляд, брошенный стариком на Валентину, был так полон любви и благодарности, что даже нотариус понял его.

— Вы слышали и поняли все, что сказала ваша внучка, сударь? — спросил нотариус.

Нуартье медленно закрыл глаза и через секунду снова открыл их.

— И вы подтверждаете то, что она сказала? То есть что названные ею знаки именно те, с помощью которых вы передаете другим вашу мысль?

— Да, — показал старик.

— Это вы меня пригласили?

— Да.

— Чтобы составить ваше завещание?

— Да.

— И вы не желаете, чтобы я ушел, не составив этого завещания?

Паралитик быстро заморгал глазами.

— Ну вот, сударь, теперь вы его понимаете? —

спросила Валентина. — Ваша совесть может быть спокойна?

Но раньше чем нотариус успел ответить, Вильфор отвел его в сторону:

— Сударь, — сказал он, — неужели вы считаете, что такое ужасное физическое потрясение, которое перенес господин Нуартье де Вильфор, может не отразиться в сильной степени и на его умственных способностях?

— Меня беспокоит не столько это, — отвечал нотариус, — сколько то, каким образом мы будем угадывать его мысли, чтобы вызывать ответы?

— Вы же сами видите, что это невозможно, — сказал Вильфор.

Валентина и старик слышал этот разговор. Нуартье остановил пристальный и решительный взгляд на Валентине; этот взгляд явно требовал, чтобы она возразила.

— Не беспокойтесь об этом, сударь, — сказала она.—

Как бы ни было трудно или, вернее, как бы вам ни казалось трудно понять мысль моего деда, я вам ее раскрою, так что у вас не останется никаких сомнений. Вот уже шесть лет, как я нахожусь около господина Нуартье, и пусть он сам вам скажет, был ли за шесть лет хоть один случай,

чтобы какое-нибудь его желание осталось у него на сердце, оттого что я не могла его понять?

— Нет, — показал старик.

— Так попробуем, — сказал нотариус. — вы согласны на то, чтобы мадемуазель де Вильфор была вашим переводчиком?

Паралитик сделал знак, что да.

— Отлично! Итак, сударь, чего же вы от меня желаете и какой акт хотите совершить?

Валентина стала называть по порядку буквы алфавита. Когда они дошли до буквы З, красноречивый взгляд Нуартье остановил ее.

— Господину Нуартье нужна буква З,— сказал нотариус, — это ясно.

— Подождите, — сказала Валентина, потом обернулась к деду, — за…

Старик сразу же остановил ее.

Тогда Валентина взяла словарь и на глазах у внимательно наблюдавшего нотариуса стала перелистывать страницы.

— Завещание, — указал ее палец, остановленный взглядом Нуартье.

— Завещание! — воскликнул нотариус. — Это ясно. Господин Нуартье желает составить завещание.

— Да, — несколько раз показал Нуартье.

— Да, это удивительно, сударь, согласитесь сами, — сказал нотариус изумленному Вильфору.

— Действительно, — возразил тот, — и еще удивительнее было бы это завещание, потому что все же я сомневаюсь, чтобы его пункты слово за словом могли ложиться на бумагу без искусного подсказывания моей дочери. А Валентина, быть может, слишком заинтересована в этом завещании, чтобы быть подходящим истолкователем никому не ведомых желаний господина Нуартье де Вильфора.

— Нет, нет, нет! — показал паралитик.

— Как! — сказал Вильфор. — Валентина не заинтересована в вашем завещании?

— Нет, — показал Нуартье.

— Сударь, — сказал нотариус, который в восторге от проделанного опыта уже готовился рассказывать в обществе все подробности этого живописного эпизода, — сударь, то, что я сейчас только считал невозможным, кажется мне теперь совершенно легким; и это завещание будет просто-напросто тайным завещанием, то есть предусмотренным и разрешенным законом, если только оно оглашено в присутствии семи свидетелей, подтверждено при них завещателем и запечатано нотариусом опять-таки в их присут-

ствии. Времени же оно потребует едва ли многим больше, чем обыкновенное завещание; прежде всего существуют узаконенные формы, всегда неизменные, а что касается подробностей, то их нам укажет главным образом само положение дел завещателя, а также вы, который их вели и знаете их. Впрочем, для того чтобы этот акт явился неоспоримым, мы придадим ему полнейшую достоверность; один из моих коллег послужит мне помощником и, в отступление от обычаев, будет присутствовать при его составлении. Удовлетворит ли это вас, сударь? — продолжал нотариус, обращаясь к старику.

— Да, — ответил Нуартье, радуясь, что его поняли.

«Что он задумал?» — недоумевал Вильфор, которого его высокое положение заставляло быть сдержанным и который все еще не мог понять, куда клонит его отец.

Он обернулся, чтобы послать за вторым нотариусом, которого назвал первый, но Барруа, все слышавший и догадавшийся о желании своего хозяина, успел уже выйти.

Тогда королевский прокурор распорядился пригласить наверх свою жену.

Через четверть часа все собрались в комнате

паралитика и прибыл второй нотариус.

Оба нотариуса быстро сговорились. Г-ну Нуартье прочитали обычный текст завещания, затем, как бы для того чтобы испытать его разум, первый нотариус, обратясь к нему, сказал:

— Когда пишут завещание, сударь, это делают в чью-нибудь пользу.

— Да, — показал Нуартье.

— Имеете ли вы представление о том, как велико ваше состояние?

— Да.

— Я назову вам несколько цифр, постепенно возрастающих, вы меня остановите, когда я дойду до той, которую вы считаете правильной.

— Да.

В этом допросе было нечто торжественное, да и едва ли борьба разума с немощной плотью выступала когда-нибудь так наглядно; это было зрелище если не возвышенное, как мы чуть было не сказали, то, во всяком случае, любопытное.

Все столпились вокруг Нуартье; второй нотариус уселся за стол и приготовился писать; первый нотариус стоял перед паралитиком и предлагал вопросы.

— Ваше состояние превышает триста тысяч франков, не так ли? — спросил он.

Нуартье сделал знак, что да.

— Оно составляет четыреста тысяч франков? — спросил нотариус.

Нуартье остался недвижим.

— Пятьсот тысяч фраков?

Та же неподвижность.

— Шестьсот тысяч? семьсот тысяч? восемьсот тысяч? девятьсот тысяч?

Нуартье сделал знак, что да.

— Вы владеете девятьюстами тысячами франков?

— Да.

— В недвижимости? — спросил нотариус.

Нуартье сделал знак, что нет.

— В государственных процентных бумагах?

Нуартье сделал знак, что да.

— Эти бумаги у вас на руках?

При взгляде, брошенном на Барруа, старый слуга вышел из комнаты и через минуту вернулся, неся маленькую шкатулку.

— Разрешите ли вы открыть эту шкатулку?

Нуартье сделал знак, что да.

Шкатулку открыли и нашли в ней на девятьсот тысяч франков облигаций государственного казначейства.

Первый нотариус передал билеты, один за

другим, своему коллеге; они составляли сумму, указанную Нуартье.

— Все правильно, — сказал он, — вполне очевидно, что разум совершенно ясен и тверд.

Затем, обернувшись к паралитику, он спросил:

— Итак, вы обладаете капиталом в девятьсот тысяч франков, и он приносит вам, благодаря бумагам, в которые вы его поместили, около сорока тысяч годового дохода?

— Да, — показал Нуартье.

— Кому вы желаете оставить это состояние?

— Здесь не может быть сомнений, — сказала г-жа де Вильфор. — Господин Нуартье любит только свою внучку, мадемуазель Валентину де Вильфор: она ухаживает за ним уже шесть лет, своими неустанными заботами снискала любовь своего деда, и я бы сказала, его благодарность, поэтому будет вполне справедливо, если она получит награду за свою преданность.

Глаза Нуартье блеснули, показывая, что г-жа де Вильфор не обманула его, притворно одобряя приписываемые ему намерения.

— Так вы оставляете эти девятьсот тысяч франков мадемуазель Валентине де Вильфор? — спросил нотариус, считавший, что ему остается только вписать этот пункт, но желавший все-

таки удостовериться в согласии Нуартье и дать в нем удостовериться всем свидетелям этой необыкновенной сцены.

Валентина отошла немного в сторону и плакала, опустив голову; старик взглянул на нее с выражением глубокой нежности, потом, глядя на нотариуса, самым выразительным образом замигал.

— Нет? — спросил нотариус. — Как, разве вы не мадемуазель Валентину де Вильфор назначаете вашей единственной наследницей?

Нуартье сделал знак, что нет.

— Вы не ошибаетесь? — воскликнул удивленный нотариус. — Вы действительно говорите нет?

— Нет, — повторил Нуартье, — нет!

Валентина подняла голову; она была поражена не тем, что ее лишают наследства, но тем, что она могла вызвать то чувство, которое обычно порождает такие поступки.

Но Нуартье глядел на нее с такой глубокой нежностью, что она воскликнула:

— Я понимаю, дедушка, вы лишаете меня только своего состояния, но не своей любви?

— Да, конечно, — сказали глаза паралитика, так выразительно закрываясь, что Валентина не

могла сомневаться.

— Спасибо, спасибо! — прошептала она.

Между тем этот отказ пробудил в сердце г-жи де Вильфор внезапную надежду, она подошла к старику.

— Значит, дорогой господин Нуартье, вы оставляете свое состояние вашему внуку Эдуару де Вильфору? — спросила она.

Было что-то ужасное в том, как заморгал старик: его глаза выражали почти ненависть.

— Нет, — пояснил нотариус. — В таком случае — вашему сыну, здесь присутствующему?

— Нет, — возразил старик.

Оба нотариуса изумленно переглядывались; Вильфор и его жена покраснели: один от стыда, другая — от злобы.

— Но чем же мы провинились перед вами, дедушка? — сказала Валентина. — Вы нас больше не любите?

Взгляд старика быстро окинул Вильфора, потом его. жену и с выражением глубокой нежности остановился на Валентине.

— Послушай, дедушка, — сказала она, — если ты меня любишь, то как же согласовать твою любовь с тем, что ты сейчас делаешь. Ты меня знаешь, ты знаешь, что я никогда не думала о

твоих деньгах. К тому же говорят, что я получила большое состояние после моей матери, слишком даже большое. Объясни же, в чем дело?

Нуартье уставился горящим взглядом на руку Валентины.

— Моя рука? — спросила она.

— Да, — показал Нуартье.

— Ее рука! — повторили все присутствующие.

— Ах, господи, — сказал Вильфор, — вы же видите, что все это бесполезно и что мой бедный отец не в своем уме.

— Я понимаю! — воскликнула вдруг Валентина. — Мое замужество, дедушка, да?

— Да, да, да, — три раза повторил паралитик, сверкая гневным взором каждый раз, как он поднимал веки.

— Ты недоволен нами из-за моего замужества, да?

— Да.

— Но это нелепо! — сказал Вильфор.

— Простите, сударь, — сказал нотариус, — все это, напротив, весьма логично и, на мой взгляд, вполне вытекает одно из другого.

— Ты не хочешь, чтобы я вышла замуж за Франца д'Эпине?

— Нет, не хочу, — сказал взгляд старика.

— И вы лишаете вашу внучку наследства за то, что она выходит замуж вопреки вашему желанию? — воскликнул нотариус.

— Да, — ответил Нуартье.

— Так что, не будь этого брака, она была бы вашей наследницей?

— Да.

Вокруг старика воцарилось глубокое молчание.

Нотариусы совещались друг с другом; Валентина с благодарной улыбкой смотрела на деда; Вильфор кусал свои тонкие губы; его жена не могла подавить радость, помимо ее воли выразившуюся на ее лице.

— Но мне кажется, — сказал наконец Вильфор, первым прерывая молчание, — что я один призван судить, насколько нам подходит этот брак. Я один распоряжаюсь рукой моей дочери, я хочу, чтобы она вышла замуж за господина Франца д'Эпине, и она будет его женой.

Валентина, вся в слезах, опустилась в кресло.

— Сударь, — сказал нотариус, обращаясь к старику, — как вы намерены распорядиться вашим состоянием в том случае, если мадемуазель Валентина выйдет замуж за господина д'Эпине?

Старик был недвижим.

— Однако вы намерены им распорядиться?

— Да, — показал Нуартье.

— В пользу кого-нибудь из вашей семьи?

— Нет.

— Так в пользу бедных?

— Да.

— Но вам известно, — сказал нотариус, — что закон не позволит вам совсем обделить вашего сына?

— Да.

— Так что вы распорядитесь только той частью, которой вы можете располагать по закону?

Нуартье остался недвижим.

— Вы продолжаете настаивать на том, чтобы распорядиться всем вашим состоянием?

Да.

— Но после вашей смерти ваше завещание будет оспорено.

— Нет.

— Мой отец меня знает, сударь, — сказал Вильфор, — он знает, что его воля для меня священна, притом он понимает, что я в моем положении не могу судиться с бедняками.

Во взгляде Нуартье светилось торжество.

— Как вы решите, сударь? — спросил нотариус Вильфора.

— Никак; мой отец так решил, а я знаю, что он не меняет своих решений. Мне остается только подчиниться. Эти девятьсот тысяч франков уйдут из семьи и обогатят приюты, но я не исполню каприза старика и поступлю согласно своей совести.

И Вильфор удалился в сопровождении жены, предоставляя отцу изъявлять свою волю как ему угодно.

В тот же день завещание было составлено; привели свидетелей, оно было прочитано и одобрено стариком, запечатано при всех и отдано на хранение г-ну Дешану, нотариусу семьи Вильфор.

III
ТЕЛЕГРАФ

Вернувшись к себе, супруги Вильфор узнали, что в гостиной их ждет приехавший с визитом граф де Монте-Кристо; г-жа де Вильфор, слишком взволнованная, чтобы сразу выйти к нему, пришла к себе в спальню; королевский прокурор, более в себе уверенный, прямо направился в гостиную. Но как он ни умел держать себя в руках, как ни владел выражением своего лица, он не был в силах скрыть свою мрачность, и граф, на

губах которого сияла лучезарная улыбка, обратил внимание на его озабоченный и угрюмый вид.

— Что с вами, господин де Вильфор? — спросил он после первых приветствий. — Быть может, я явился как раз в ту минуту, когда вы писали какой-нибудь нешуточный обвинительный акт?

Вильфор попытался улыбнуться.

— Нет, граф, — сказал он, — в данном случае жертва— я сам. Это я проиграл дело, а над обвинительным актом работали случай, упрямство и безумие.

— Что вы хотите сказать? — спросил Монте-Кристо с прекрасно разыгранным участием. — У вас в самом деле серьезные неприятности?

— Не стоит и говорить, граф, — сказал Вильфор с полным горечи спокойствием, — пустяки, просто денежная потеря.

— Да, конечно, — ответил Монте-Кристо, — денежная потеря — пустяки, если обладать таким состоянием, как ваше, и таким философским и возвышенным умом, как ваш!

— Поэтому, — ответил Вильфор, — я и озабочен не из-за денег, хотя как-никак девятьсот тысяч франков стоят того, чтобы о них пожалеть или, во всяком случае, чтобы подосадовать. Меня огорчает больше всего эта игра судьбы, случая,

предопределения, не знаю, как назвать ту силу, что обрушила на меня этот удар, уничтожила мои надежды на богатство и, быть может, разрушила будущность моей дочери из-за каприза впавшего в детство старика.

— Да что вы! Как же так? — воскликнул граф. — Девятьсот тысяч франков, вы говорите? Вы правы, эта сумма стоит того, чтобы о ней пожалел даже философ. Но кто же вам доставил такое огорчение?

— Мой отец, о котором я вам рассказывал.

— Господин Нуартье? Неужели? Но вы мне говорили, насколько я помню, что он совершенно парализован и утратил все свои способности?

— Да, физические способности, потому что он не в состоянии двигаться, не в состоянии говорить, и, несмотря на это, он мыслит, он желает, он действует, как видите. Я ушел от него пять минут тому назад; он сейчас занят тем, что диктует двум нотариусам свое завещание.

— Так, значит, он заговорил?

— Нет, но заставил себя понять.

— Каким образом?

— Взглядом: его глаза продолжают жить и, как видите, убивают.

— Мой друг, — сказала г-жа де Вильфор, входя в

комнату, — мне кажется, вы преувеличиваете.

— Сударыня… — приветствовал ее с поклоном граф.

Госпожа де Вильфор ответила самой очаровательной улыбкой.

— Но что я слышу от господина де Вильфора? — спросил Монте-Кристо. — Что за непонятная немилость?..

— Непонятная, вот именно! — сказал королевский прокурор, пожимая плечами. — Старческий каприз!

— А разве нет способа заставить его изменить решение?

— Нет, есть, — сказала г-жа де Вильфор, — и только от моего мужа зависит, чтобы это завещание было составлено не в ущерб Валентине, а, наоборот, в ее пользу.

Увидев, что супруги начали говорить загадками, граф принял рассеянный вид и стал с глубочайшим вниманием и явным одобрением следить за Эдуаром, подливавшим чернила в птичье корытце.

— Дорогая моя, — возразил Вильфор жене, — вы знаете, что я не склонен разыгрывать у себя в доме патриарха и никогда не воображал, будто судьбы мира зависят от моего мановения. Но все

же необходимо, чтобы моя семья считалась с моими решениями и чтобы безумие старика и капризы ребенка не разрушали давно обдуманных мною планов. Барон д'Эпине был моим другом, вы это знаете, и его сын был бы для нашей дочери наилучшим мужем.

— Так, по-вашему, — сказала г-жа де Вильфор, — Валентина с ним сговорилась?.. В самом деле… она всегда противилась этому браку, и я не удивлюсь, если все, что мы сейчас видели и слышали, окажется просто выполнением заранее составленного ими плана.

— Поверьте, — сказал Вильфор, — что так не отказываются от капитала в девятьсот тысяч франков.

— Она отказалась бы и от мира, ведь она год тому назад собиралась уйти в монастырь.

— Все равно, — возразил Вильфор, — говорю вам, этот брак состоится!

— Вопреки воле вашего отца? — сказала г-жа Вильфор, пробуя играть на другой струне. — Это не шутка!

Монте-Кристо делал вид, что не слушает, но не пропускал ни одного слова из этого разговора.

— Сударыня, — возразил Вильфор, — я должен сказать, что всегда почитал господина Нуартье,

потому что естественное сыновнее чувство соединялось у меня с сознанием его нравственного превосходства и потому, что отец для нас вдвойне священ: как наш родитель и как наш господин; но не могу же я считать теперь разумным старика, который, в память своей ненависти к отцу, ненавидит сына; с моей стороны было бы смешно согласовать свое поведение с его капризами. Я не перестану относиться с глубочайшим почтением к господину Нуартье, я безропотно подчинюсь наложенной им на меня денежной каре, но решение мое останется непреклонным, и общество рассудит, на чьей стороне был здравый смысл. Я выдам замуж мою дочь за барона Франца д'Эпине, так как считаю, что это хороший и почетный брак, и так как в конечном счете я хочу выдать свою дочь за того, кто мне подходит.

— Вот как, — сказал граф, у которого королевский прокурор то и дело взглядом просил одобрения, — вот как! Господин Нуартье, по вашим словам, лишает мадемуазель Валентину наследства за то, что она выходит замуж за барона Франца д'Эпине?

— Вот именно, в этом вся причина, — сказал Вильфор, пожимая плечами.

— Во всяком случае, видимая причина, — при-

бавила г-жа де Вильфор.

— Действительная причина, сударыня. Поверьте, я знаю своего отца.

— Можете вы это понять? — спросила молодая женщина. — Чем, скажите пожалуйста, господин д'Эпине хуже всякого другого?

— В самом деле, — сказал граф, — я встречал господина Франца д'Эпине; это ведь сын генерала де Кенель, впоследствии барона д'Эпине?

— Совершенно верно, — сказал Вильфор.

— Он показался мне очаровательным молодым человеком.

— Поэтому я и уверена, что эго только предлог, — сказала г-жа де Вильфор. — Старики становятся тиранами в отношении тех, кого они любят; господин Нуартье просто не желает, чтобы его внучка выходила замуж.

— Но, может быть, у этой ненависти есть какая-нибудь причина? — спросил Монте-Кристо.

— Бог мой, откуда же это можно знать?

— Может быть, политические разногласия?

— Действительно, мой отец и отец господина д'Эпине жили в бурное время; я видел лишь последние дни его, — сказал Вильфор.

— Ваш отец, кажется, был бонапартист? — спросил Монте-Кристо. — Мне помнится, вы говорили

что-то в этом роде.

— Мой отец был прежде всего якобинец, — возразил Вильфор, забыв в своем волнении о всякой осторожности, — и тога сенатора, накинутая на его плечи Наполеоном, изменила лишь его наряд, но не его самого. Когда мой отец участвовал в заговорах, он делал это не из любви к императору, а из ненависти к Бурбонам; самое страшное в нем было то, что он никогда не сражался за неосуществимые утопии, а всегда бился лишь за действительно возможное, и при этом следовал ужасной теории монтаньяров, которые не останавливались ни перед чем, чтобы достигнуть своей цели.

— Ну, вот видите, — сказал Монте-Кристо, — в этом все дело. Нуартье и д'Эпине столкнулись на политической почве. Хотя генерал д'Эпине и служил в войсках Наполеона, но он в душе был роялистом, правда? Ведь это тот самый, что был убит однажды ночью при выходе из бонапартистского клуба, куда его завлекли в надежде найти в нем собрата?

Вильфор почти с ужасом взглянул на графа.

— Я ошибаюсь? — спросил Монте-Кристо.

— Напротив, — сказала г-жа де Вильфор, — это так и есть, и именно поэтому мой муж, желая

изгладить всякое воспоминание о былой вражде, решил соединить любовью двух детей, отцы которых ненавидели друг друга.

— Превосходная мысль! — сказал Монте-Кристо. — Мысль, исполненная милосердия; свет должен рукоплескать ей. В самом деле, было бы прекрасно, если бы мадемуазель Нуартье де Вильфор стала называться госпожой Франц д'Эпине.

Вильфор вздрогнул и посмотрел на Монте-Кристо, как бы желая прочесть в глубине его сердца намерение, которое продиктовало ему эти слова.

Но на губах графа играла обычная приветливая улыбка. И на этот раз королевский прокурор, несмотря на всю свою проницательность, опять не увидел ничего, кроме оболочки.

— Поэтому, — продолжал Вильфор, — хотя утрата состояния деда и большое несчастье для Валентины, я все-таки не думаю, чтобы это могло расстроить ее брак. Я не думаю, чтобы господина д'Эпине могла смутить эта денежная потеря; он увидит, что я, пожалуй, стою больше этой суммы, я, жертвующий ею ради того, чтобы сдержать свое слово; он примет также в расчет, что Валентина и без того унаследовала после матери большое состояние; оно находится в распоряжении маркиза и маркизы де Сен-Меран, ее деда и бабки с

материнской стороны, а они оба ее нежно любят.

— И они заслуживают того, чтобы их любили и за ними ухаживали так же, как это делает Валентина по отношению к господину Нуартье, — сказала г-жа де Вильфор. — Впрочем, не позже чем через месяц они приедут в Париж, и Валентине после такого оскорбления не к чему будет вечно сидеть с Нуартье, как она сидела до сих пор.

Граф благосклонно внимал нестройным голосам оскорбленного самолюбия и обманутой корысти.

— Я заранее прошу вас простить мне то, что я скажу, — заметил Монте-Кристо после краткого молчания, — но мне кажется, что если господин Нуартье и лишает наследства мадемуазель де Вильфор, виновную в том, что она хочет выйти замуж за человека, отца которого он ненавидел, то он не может сделать подобного упрека нашему милому Эдуару.

— Ведь правда, граф? — воскликнула г-жа де Вильфор с непередаваемым выражением. — Правда, это несправедливо, чудовищно несправедливо? Бедный Эдуар — такой же внук господина Нуартье, как и Валентина, а между тем, если бы она не выходила замуж за Франца

д'Эпине, Нуартье оставил бы ей все свое состояние. Наконец, Эдуар — носитель родового имени, и все же Валентина, даже если дед лишит ее наследства, окажется втрое богаче, чем он.

Монте-Кристо не произносил ни слова и только внимательно слушал.

— Знаете, граф, — сказал Вильфор, — не будем больше говорить об этих семейных неурядицах. Да, правда, мое состояние пойдет на увеличение доходов бедных, а в наше время они-то и являются настоящими богачами. Да, мой отец лишил меня законных надежд, и притом без всякой моей вины, но я поступлю как человек здравомыслящий, как человек благородный. Я обещал господину д'Эпине доходы с этого капитала — и он их получит, даже если мне ради этого придется пойти на самые тяжкие лишения.

— А все-таки, — возразила г-жа де Вильфор, неотступно возвращаясь к преследовавшей ее мысли, — может быть, лучше посвятить д'Эпине в эту неприятную историю, чтобы он сам возвратил данное ему слово?

— Это было бы большим несчастьем! — воскликнул Вильфор.

— Большим несчастьем? — переспросил Монте-Кристо.

— Разумеется, — сказал несколько спокойнее Вильфор, — брак, расстроившийся даже из-за денежных недоразумений, бросает тень на невесту; кроме того, всякие старые слухи, которым я хотел положить конец, возникнут снова. Но нет, этого не будет. Господин д'Эпине, если он честный человек, сочтет себя еще более связанным тем, что Валентина лишена наследства, иначе вышло бы, что им руководила только алчность; нет, этого не может быть.

— Я думаю так же, — сказал Монте-Кристо, пристально глядя на г-жу Вильфор. — Будь я настолько другом господина де Вильфора, чтобы иметь право давать советы, я сказал бы: так как Франц д'Эпине должен, по-видимому, скоро вернуться, надо повести это дело так, чтобы оно уже не могло расстроиться; словом, я бы начал борьбу, которая может окончиться только к чести господина де Вильфора.

Этот последний, услышав мнение графа, видимо, очень обрадовался; жена его слегка побледнела.

— Отлично, — сказал Вильфор, — именно это я хотел услышать, и я воспользуюсь вашим советом, — добавил он, подавая руку Монте-Кристо. — Итак, прошу всех в этом доме считать, что

все случившееся здесь сегодня не имеет никакого значения: наши планы остаются неизменными.

— Сударь, — сказал граф, — смею вас уверить, что свет, как бы ни был несправедлив, оценит вашу решимость; ваши друзья будут гордиться вами, а господин д'Эпине, даже если бы ему пришлось взять мадемуазель де Вильфор без всякого приданого, хотя это и не так, будет счастлив вступить в семью, где умеют подняться до такого самопожертвования, чтобы сдержать свое слово и исполнить свой долг.

С этими словами граф встал и собрался уйти.

— Вы нас покидаете, граф? — сказала г-жа де Вильфор.

— Я принужден это сделать, сударыня, я заехал только напомнить вам ваше обещание быть у меня в субботу.

— Неужели вы могли думать, что мы забудем?

— Вы слишком добры, сударыня, но господин де Вильфор занят такими важными и подчас неотложными делами…

— Мой муж дал слово, граф, — сказала г-жа де Вильфор, — а вы могли убедиться, что он верен ему даже в том случае, когда он много теряет от этого, здесь же он может быть только в выигрыше.

— Обед состоится в вашем доме на Елисейских полях? — спросил Вильфор.

— Нет, — отвечал Монте-Кристо, — тем ценнее ваша самоотверженность: это будет за городом.

— За городом?

— Да.

— Где же? В окрестностях Парижа?

— У самых ворот, полчаса езды от заставы: в Отее.

— В Отее! — воскликнул Вильфор. — Да, правда, жена говорила мне, что вы живете в Отее, ей ведь оказали помощь в вашем доме. А в каком месте Отея?

— На улице Фонтен.

— На улице Фонтен? — продолжал Вильфор сдавленным голосом. — Какой номер?

— Двадцать восемь.

— Так это вам продали дом маркиза де Сен-Мерана? — воскликнул Вильфор.

— Маркиза де Сен-Мерана? — спросил Монте-Кристо. — Разве этот дом принадлежал маркизу де Сен-Мерану?

— Да, — отвечала г-жа де Вильфор, — и можете себе представить, граф, какая странность…

— Что именно?

— Вы согласны, что это прелестный дом, не

правда ли?

— Очаровательный.

— А мой муж никогда не соглашался поселиться в нем.

— Право, сударь, — сказал Монте-Кристо, — это предубеждение, которого я не могу понять.

— *Я* не люблю Отея, — с усилием ответил королевский прокурор.

— Но, надеюсь, я не буду столь несчастлив, — с беспокойством сказал Монте-Кристо, — чтобы эта антипатия лишила меня удовольствия видеть вас у себя?

— Нет, граф… я надеюсь… поверьте, я сделаю все возможное, — пробормотал Вильфор.

— Нет, я не принимаю никаких отговорок, — отвечал Монте-Кристо. — В субботу, в шесть часов, я жду вас, и если вы не придете, то, знаете, я могу подумать… что с этим домом, уже двадцать лет необитаемым, связано нечто зловещее, какая-нибудь кровавая легенда.

— Я приеду, граф, приеду, — поспешно заявил Вильфор.

— Благодарю вас, — сказал Монте-Кристо. — А теперь разрешите откланяться.

— В самом деле, граф, вы сказали, что принуждены покинуть нас, — сказала г-жа де Вильфор, — и

даже как будто собирались сказать, почему именно, но как раз заговорили о другом.

— Право, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — я боюсь сознаться вам, куда я еду.

— Все равно, скажите.

— Я, как настоящий ротозей, собираюсь поехать посмотреть на одну вещь, о которой я нередко мечтал целыми часами.

— Что же это такое?

— Телеграф. Вот я и проговорился.

— Телеграф? — повторила г-жа де Вильфор.

— Да, телеграф. Мне иногда приходилось, в ясный солнечный день, видеть на краю дороги, на пригорке, эти вздымающиеся кверху черные суставчатые руки, похожие на лапы огромного жука, и, уверяю вас, я всегда глядел на них с волнением. Я думал о том, что эти странные знаки, так четко рассекающие воздух и передающие за триста льё неведомую волю человека, сидящего за столом, другому человеку, сидящему в конце линии за другим столом, вырисовываются на серых тучах или голубом небе только силою желания этого всемогущего властелина; и я думал о духах, сильфах, гномах — словом, о тайных силах— и смеялся. Но у меня никогда не являлось желания поближе рассмотреть этих огромных

насекомых с белым брюшком и тощими черными лапами, потому что я боялся найти под их каменными крыльями маленькое человеческое существо, очень важное, очень педантичное, напичканное науками, кабалистикой или колдовством. Но в одно прекрасное утро я узнал, что всяким телеграфом управляет несчастный служака, получающий в год тысячу двести франков и созерцающий целый день не небо, как астроном, не воду, как рыболов, не пейзаж, как праздный гуляка, а такое же насекомое с белым брюшком и черными лапами — своего корреспондента, находящегося за четыре или пять льё от него. Тогда мне стало любопытно посмотреть вблизи на эту живую куколку, на то, как она из глубины своего кокона играет с соседней куколкой, дергая одну веревочку за другой.

— И вы едете туда?

— Я еду туда.

— На какой телеграф? Министерства внутренних дел или Обсерватории?

— Ни в коем случае; там я встретил бы людей, которые пожелают растолковать мне то, что я не хочу знать, и станут насильно объяснять мне тайну, которой сами не понимают. Черт возьми, я хочу сохранить свои иллюзии относительно

насекомых: достаточно того, что я утратил иллюзии относительно людей. Так что я не поеду ни на телеграф Министерства внутренних дел, ни на телеграф Обсерватории. Мне нужен телеграф на вольном воздухе, чтобы увидеть без прикрас бедного малого, окаменевшего в своей башенке.

— Хоть вы и знатный вельможа, но очень странный человек, — сказал Вильфор.

— Какую линию вы посоветуете мне осмотреть?

— Ту, где сейчас идет самая усиленная работа.

— Отлично. Значит, испанскую?

— Конечно. Хотите получить письмо от министра, чтобы вам объяснили…

— Нет, нет, — сказал Монте-Кристо, — наоборот, я же говорю, что ничего не хочу понимать. С той минуты, как я что-нибудь пойму, телеграф перестанет существовать для меня и останется только знак, посланный господином Дюшателем или господином де Монталиве и переданный байоннскому префекту в виде двух греческих слов: TfjXe, urapreiv. А я хочу оставить во всей их чистоте насекомое с черными лапами и страшное слово и сохранить все мое к ним почтение.

— Так поезжайте, потому что через два часа совсем стемнеет и вы ничего не увидите.

— Вы меня пугаете! Который из них всего ближе?

— На дороге в Байонну?

— Да, хотя бы на дороге в Байонну.

— Шатийонский.

— А после шатийонского?

— Кажется, на башне в Монлери.

— Благодарю вас, до свидания! В субботу я расскажу вам о своих впечатлениях.

В дверях граф столкнулся с нотариусами, которые только что лишили Валентину наследства и уходили, очень довольные тем, что составили акт, делающий им немалую честь.

IV
СПОСОБ ИЗБАВИТЬ САДОВОДА ОТ СОНЬ, ПОЕДАЮЩИХ ЕГО ПЕРСИКИ

Не в тот же вечер, как он говорил, а на следующее утро граф де Монте-Кристо выехал через заставу Анфер, направился по орлеанской дороге, миновал деревню Лина, не останавливаясь около телеграфа, который как раз в то время, когда граф проезжал мимо, двигал своими длинными, тощими руками, и доехал до башни в Монлери, расположенной, как всем известно, на самой

возвышенной точке одноименной долины.

У подножия холма граф вышел из экипажа и по узенькой круговой тропинке, шириной в полтора фута, начал подниматься в гору; дойдя до вершины, он оказался перед изгородью, на которой уже зеленели плоды, сменившие розовые и белые цветы.

Монте-Кристо принялся искать калитку и не замедлил ее найти. Это была деревянная решетка, привешенная на ивовых петлях и запирающаяся посредством гвоздя и веревки. Граф тотчас же освоился с этим механизмом, и калитка отворилась.

Граф очутился в маленьком садике в двадцать шагов длиной и двенадцать шириной; с одной стороны он был окаймлен той частью изгороди, в которой было устроено остроумное приспособление, описанное нами под названием калитки, а с другой примыкал к старой башне, обвитой плющом и усеянной желтыми левкоями и гвоздиками.

Никто бы не сказал, что эта башня, вся с морщинах и цветах, словно бабушка, которую пришли поздравить внуки, могла бы поведать немало ужасных драм, если бы у нее нашелся и голос в придачу к тем грозным ушам, которые старая

пословица приписывает стенам.

Через садик можно было пройти по дорожке, посыпанной красным песком и окаймленной бордюром из старого толстого букса, чьи оттенки привели бы в восхищение взор Делакруа, нашего современного Рубенса. Дорожка эта имела вид восьмерки и заворачивала, переплетаясь, так что на пространстве в двадцать шагов можно было сделать прогулку в целых шестьдесят. Никогда еще Флоре, веселой и юной богине добрых латинских садовников, не служили так старательно и так чистосердечно, как в этом маленьком садике.

В самом деле, на двадцати розовых кустах, составлявших цветник, не было ни одного листочка со следами мушки, ни одной жилки, обезображенной зеленой тлей, которая опустошает и пожирает растения на сырой почве. А между тем в саду было достаточно сыро; об этом говорили черная, как сажа, земля и густая листва деревьев. Впрочем, естественную влажность быстро заменила бы искусственная благодаря врытой в углу сада бочке со стоячей водой, где на зеленой ряске неизменно пребывали лягушка и жаба, которые, вероятно, из-за несоответствия характеров, постоянно сидели друг к другу спиной на

противоположных сторонах круга.

При всем том на дорожках не было ни травинки, на клумбах — ни одного сорного побега; ни одна модница, не холит и не подрезает так тщательно герани, кактусы и рододендроны в своей фарфоровой жардиньерке, как это делал хозяин садика, пока еще незримый.

Закрыв за собой калитку и зацепив веревку на гвоздь, Монте-Кристо остановился и окинул взглядом все это владение.

— По-видимому, — сказал он, — телеграфист держит садовников или сам страстный садовод.

Вдруг он наткнулся на что-то притаившееся за тачкой, наполненной листьями; это что-то с удивленным восклицанием выпрямилось, и Монте-Кристо очутился лицом к лицу с человечком лет пятидесяти; человечек был занят собиранием земляники, которую он раскладывал на виноградных листьях.

У него было двенадцать виноградных листьев и почти столько же ягод земляники.

Поднимаясь, старичок едва не уронил ягоды, листья и тарелку.

— Собираете урожай? — сказал, улыбаясь, Монте-Кристо.

— Простите, сударь, — ответил старичок, под-

нося руку к фуражке, — я, правда, не наверху, но я только что сошел оттуда.

— Не беспокойтесь из-за меня, друг мой, — сказал граф, — собирайте ваши ягоды, если это еще не все.

— Осталось еще десять, — сказал старичок, — видите, вот одиннадцать, а у меня их двадцать одна, на пять больше, чем в прошлом году. И неудивительно, весна в этом году стояла теплая, а землянике, сударь, если что нужно, так это солнце. Вот почему вместо шестнадцати, которые были в прошлом году, у меня теперь, как видите, одиннадцать уже сорванных, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать… Боже мой, двух не хватает! Они еще вчера были, сударь, они были здесь, я в этом уверен, я их пересчитал. Это, наверное, сынишка тетки Симон напроказничал; я видел, как он шнырнул здесь сегодня утром! Маленький негодяй, красть в саду! Видно, он не знает, чем это может кончиться!

— Да, это не шутка, — сказал Монте-Кристо. — Но надо принять во внимание молодость преступника и его желание полакомиться.

— Разумеется, — отвечал садовод, — но от этого не легче. Однако еще раз прошу вас извинить

меня сударь; может быть, я заставляю ждать начальника?

И он боязливо разглядывал графа и его синий фрак.

— Успокойтесь, мой друг, — сказал граф, со своей улыбкой, которая, по его желанию, могла быть такой страшной и такой доброжелательной и которая на этот раз выражала одну только доброжелательность, — я совсем не начальник, явившийся вас ревизовать, а просто путешественник; меня привлекло сюда любопытство, и я начинаю даже сожалеть о своем приходе, так как вижу, что отнимаю у вас время.

— Мое время недорого стоит, — возразил, грустно улыбаясь, старичок. — Правда, оно казенное, и мне не следовало бы его расточать, но мне дали знать, что я могу отдохнуть час (он взглянул на солнечные часы, ибо в садике при монлерийской башне имелось все что угодно, даже солнечные часы), видите, у меня осталось еще десять минут, а земляника моя поспела, и еще один день… К тому же, сударь, поверите ли, у меня ее поедают сони.

— Вот чего бы я никогда не подумал, — серьезно отвечал Монте-Кристо, — сони — неприятные соседи, раз уж мы не едим их в меду, как это де-

лали римляне.

— Вот как? Римляне их ели? — спросил садовод. — Ели сонь?

— Я читал об этом у Петрония, — ответил граф.

— Неужели? Не думаю, чтобы это было вкусно, хоть и говорят: «жирный, как соня». Да и неудивительно, что они жирные, раз они спят весь Божий день и просыпаются только для того, чтобы жевать всю ночь. Знаете, в прошлом году у меня было четыре абрикоса, и один они испортили. Созрел у меня и гладкокожий персик, единственный правда, — это большая редкость, — ну так вот, сударь, они у него сожрали бок, повернутый к стене. Чудный персик, удивительно вкусный] *Я* никогда такого не ел.

— Вы его съели? — спросил Монте-Кристо.

— То есть оставшуюся половину, понятно. Это было восхитительно. Да, эти господа умеют выбирать лакомые куски. Совсем как сынишка тетки Симон: он уж, конечно, выбрал не самые плохие ягоды! Но в этом году, — продолжал садовод, — будьте спокойны, такого не случится, хотя бы мне пришлось караулить всю ночь, когда плоды начнут созревать.

Монте-Кристо услышал достаточно. У каждого человека есть своя страсть, грызущая ему сердце,

как у каждого плода есть свой червь; страстью телеграфиста было садоводство.

Монте-Кристо начал обрывать виноградные листья, заслонявшие солнце, и этим покорил сердце садовода.

— Вы пришли посмотреть на телеграф, сударь? — спросил он.

— Да, если, конечно, это не запрещено вашими правилами.

— Отнюдь не запрещено, — отвечал садовод, — ведь в этом нет никакой опасности: никто не знает и не может знать, что мы передаем.

— Мне действительно говорили, — сказал граф, — что вы повторяете сигналы, которые сами не понимаете.

— Разумеется, сударь, и я этим очень доволен, — сказал, смеясь, телеграфист.

— Почему же?

— Потому что таким образом я не несу никакой ответственности. Я машина, и только, и раз я действую, то с меня ничего больше не спрашивают.

«Черт побери, — подумал Монте-Кристо, — неужели я натолкнулся на человека, который ни к чему не стремится? Тогда мне не повезло».

— Сударь, — сказал садовод, бросив взгляд на солнечные часы, — мои десять минут подходят к

концу, и я должен вернуться на место. Не желаете ли подняться вместе со мной?

— Я следую за вами.

И Монте-Кристо вошел в башню, разделенную на три этажа; в нижнем находились кое-какие земледельческие орудия — заступы, грабли, лейки, стоявшие у стен, — это было его единственное убранство.

Второй этаж представлял обычное или, вернее, ночное жилье служащего; тут находилась скудная домашняя утварь, кровать, стол, два стула, каменный рукомойник да пучки сухих трав, подвешенные к потолку; граф узнал душистый горошек и испанские бобы, чьи зерна старичок сохранял вместе со стручками; все это он, с усердием ученого ботаника, снабдил соответствующими ярлычками.

— Скажите, сударь, много ли времени требуется, чтобы изучить телеграфное дело? — спросил Монте-Кристо.

— Долго тянется не обучение, а сверхштатная служба.

— А сколько вы получаете жалованья?

— Тысячу франков, сударь.

— Маловато.

— Да, но, как видите, дают квартиру.

Монте-Кристо окинул взглядом комнату.

— Не хватает только, чтобы он дорожил своим помещением, — пробормотал он.

Поднялись на третий этаж — тут и помещался телеграф. Монте-Кристо рассмотрел обе железные ручки, с помощью которых чиновник приводил в движение машину.

— Это чрезвычайно интересно, — сказал Монте-Кристо, — но в конце концов такая жизнь должна вам казаться скучноватой?

— Вначале, оттого что все время приглядываешься, сводит шею, но через год-другой привыкаешь; а потом ведь у нас бывают часы отдыха в свободные дни.

— Свободные дни?

— Да.

— Какие же?

— Когда туман.

— Да, верно.

— Это мои праздники; в такие дни я спускаюсь в сад и сажаю, подрезаю, подстригаю, обираю гусениц — в общем, время проходит незаметно.

— Давно вы здесь?

— Десять лет да пять лет сверхштатной службы, так что всего пятнадцать.

— А от роду вам…

— Пятьдесят пять.

— Сколько лет надо прослужить, чтобы получить пенсию?

— Ах, сударь, двадцать пять лет.

— А как велика пенсия?

— Сто экю.

— Бедное человечество! — пробормотал Монте-Кристо.

— Что вы сказали, сударь? — спросил чиновник.

— Я говорю, что все это чрезвычайно интересно.

— Что именно?

— Все, что вы мне показываете… И вы совсем ничего не понимаете в ваших сигналах?

— Совсем ничего.

— И никогда не пытались понять?

— Никогда, зачем мне это?

— Но ведь есть сигналы, относящиеся именно к вам?

— Разумеется.

— Их вы понимаете?

— Они всегда одни и те же.

— И они гласят?..

— «Ничего нового»… «У вас свободный час»… или: «До завтра»…

— Да, это сигналы невинные, — сказал граф. — Но посмотрите, кажется, ваш корреспондент приходит в движение?

— Да, верно; благодарю вас, сударь.

— Что же он вам говорит? Что-нибудь, что вы понимаете?

— Да, он спрашивает, готов ли я.

— И вы отвечаете?..

— Сигналом, который указывает моему корреспонденту справа, что я готов, и в то же время предлагает корреспонденту слева в свою очередь приготовиться.

— Остроумно сделано, — сказал граф.

— Вот вы сейчас увидите, — с гордостью продолжал старичок, — через пять минут он начнет говорить.

— Значит, у меня в распоряжении целых пять минут, — заметил Монте-Кристо, — это больше, чем мне нужно. Дорогой мой, — сказал он, — разрешите задать вам один вопрос?

— Пожалуйста.

— Вы любите садоводство?

— Страстно.

— И вам было бы приятно иметь сад и две десятины вместо площадки в двадцать футов?

— Сударь, я обратил бы его в земной рай.

— Вам плохо живется на тысячу франков?

— Довольно плохо, но как-никак я справляюсь.

— Да, но садик у вас жалкий.

— Вот это верно, садик невелик.

— И к тому же населен сонями, которые все пожирают.

— Да, это мой бич.

— Скажите, что если бы, на вашу беду, вы отвернулись в ту минуту, когда задвигается ваш корреспондент справа?

— Я бы не видел их сигналов.

— И что случилось бы?

— Я не мог бы их повторить.

— И тогда?

— Тогда меня оштрафовали бы за то, что я по небрежности не повторил их.

— На сколько?

— На сто франков.

— На десятую часть годового жалованья; недурно!

— Что поделаешь! — сказал чиновник.

— Это с вами случалось? — спросил Монте-Кристо.

— Однажды случилось, сударь, когда я делал прививку на кусте желтых роз.

— Ну а если бы вам вздумалось что-нибудь

переменить в сигналах или передать другие?

— Тогда дело другое: тогда меня сместили бы и я лишился бы пенсии.

— В триста франков?

— Да, сударь, в сто экю; так что, вы понимаете, я никогда не сделаю ничего подобного.

— Даже за сумму, равную вашему пятнадцатилетнему жалованью? Вам об этом стоит подумать, как вы находите?

— За пятнадцать тысяч франков?

— Да.

— Сударь, вы меня пугаете.

— Ну вот еще!

— Сударь, вы хотите соблазнить меня?

— Вот именно. Понимаете, пятнадцать тысяч франков!

— Сударь, позвольте мне лучше смотреть на моего корреспондента справа.

— Напротив, не смотрите на него, а посмотрите на это.

— Что это?

— Как? Вы не знаете этих бумажек?

— Кредитные билеты!

— Самые настоящие, и их здесь пятнадцать.

— А чьи они?

— Ваши, если вы пожелаете.

— Мои! — воскликнул, задыхаясь, чиновник.

— Ну да, ваши, в полную собственность.

— Сударь, мой корреспондент справа задвигался.

— Ну и пусть себе.

— Сударь, вы отвлекаете меня, и меня оштрафуют.

— Это вам обойдется в сто франков; вы видите, что в ваших интересах взять эти пятнадцать тысяч франков.

— Сударь, мой корреспондент справа теряет терпение, он повторяет свои сигналы.

— Не обращайте на него внимания и берите.

Граф сунул пачку в руку чиновника.

— Но это еще не все, — сказал он. — Вы не сможете жить на пятнадцать тысяч франков.

— За мной остается еще мое место.

— Нет, вы его потеряете, потому что сейчас вы дадите не тот сигнал, который вам дал ваш корреспондент.

— О, сударь, что вы мне предлагаете?

— Детскую шалость.

— Сударь, если меня к этому не принудят…

— Я именно и собираюсь вас принудить.

И Монте-Кристо достал из кармана вторую пачку.

— Тут еще десять тысяч франков, — сказал он, — с теми пятнадцатью, которые у вас в кармане, это составит двадцать пять тысяч. За пять тысяч вы приобретете хорошенький домик и две десятины земли; остальные двадцать тысяч дадут вам тысячу франков годового дохода.

— Сад в две десятины!

— И тысяча франков дохода.

— Боже мой, Боже мой!

— Да берите же!

И Монте-Кристо насильно вложил в руку чиновника эти десять тысяч франков.

— Что я должен сделать?

— Ничего особенного.

— Но все-таки?

— Повторите все эти сигналы.

Монте-Кристо достал из кармана бумагу, на которой были изображены три сигнала и номера, указывавшие порядок, в котором их требовалось передать.

— Как видите, это не займет много времени.

— Да, но…

— Уж теперь у вас будут гладкокожие персики и все что угодно.

Удар попал в цель: красный от возбуждения и весь в поту, старичок проделал один за другим

все три сигнала, данные ему графом, несмотря на отчаянные призывы корреспондента справа, который, ничего не понимая в происходящем, начинал думать, что любитель персиков сошел с ума.

Что касается корреспондента слева, то тот добросовестно повторил его сигналы, которые в конце концов были приняты Министерством внутренних дел.

— Теперь вы богаты, — сказал Монте-Кристо.

— Да, — сказал чиновник, — но какой ценой?

— Послушайте, мой друг, — сказал Монте-Кристо, — я не хочу, чтобы вас мучила совесть: поверьте, клянусь вам, вы никому не сделали вреда и только содействовали Божьему промыслу.

Чиновник разглядывал кредитные билеты, ощупывал их, считал; он то бледнел, то краснел; наконец он побежал в свою комнату, чтобы выпить стакан воды, но, не успев добежать до рукомойника, потерял сознание среди своих сухих бобов.

Через пять минут после того как телеграфное сообщение достигло Министерства внутренних дел, Дебрэ приказал запрячь лошадей в карету и помчался к Данглярам.

— У вашего мужа есть облигации испанского

займа? — спросил он баронессу.

— Еще бы! Миллионов на шесть.

— Пусть он продает их по любой цене.

— Это почему?

— Потому что Дон Карлос бежал из Буржа и вернулся в Испанию.

— Откуда вам это известно?

— Да оттуда, — сказал, пожимая плечами, Дебрэ, — откуда мне все известно.

Баронесса не заставила себя упрашивать, она бросилась к мужу; тот бросился к своему маклеру и велел ему продавать по любой цене.

Когда увидели, что Данглар продает, испанские бумаги тотчас упали. Данглар потерял на этом пятьсот тысяч франков, но избавился от всех своих облигаций.

Вечером в «Вестнике» было напечатано:

«Телеграфное сообщение.

Король Дон Карлос, несмотря на установленный за ним надзор, тайно скрылся из Буржа и вернулся в Испанию через каталонскую границу. Барселона восстала и перешла на его сторону».

Весь вечер только и было разговоров, что о предусмотрительности Данглара, успевшего продать свои облигации, об удаче этого биржевика, потерявшего всего лишь пятьсот тысяч франков

в такой катастрофе.

А те, кто сохранил свои облигации или купил бумаги Данглара, считали себя разоренными и провели прескверную ночь.

На следующий день в «Монитёре» было напечатано:

«Вчерашнее сообщение „Вестника“ о бегстве Дон Карлоса и о восстании в Барселоне ни на чем не основано.

Король Дон Карлос не покидал Буржа, и на полуострове царит полное спокойствие.

Поводом к этой ошибке послужил телеграфный сигнал, неверно понятый вследствие тумана».

Облигации поднялись вдвое против той цифры, на которую упали. В общей сложности, считая убыток и упущение возможной прибыли, это составило для Данглара потерю в миллион.

— Однако! — сказал Монте-Кристо Моррелю, находившемуся у него в то время, когда пришло известие о странном повороте на бирже, жертвой которого оказался Данглар. — За двадцать пять тысяч франков я сделал открытие, за которое охотно заплатил бы сто тысяч.

— В чем же заключается ваше открытие? — спросил Максимилиан.

— Я нашел способ избавить одного садовода от

сонь, которые поедали его персики.

V
ПРИЗРАКИ

По внешнему виду в отеческом доме не было никакой роскоши, ничего такого, чего можно было бы ожидать от жилища, предназначенного великолепному графу Монте-Кристо. Но эта простота объяснялась желанием самого хозяина: он строго распорядился ничего не менять снаружи; чтобы в этом убедиться, достаточно было взглянуть на внутреннее убранство. В самом деле, стоило только переступить порог, как картина сразу менялась.

Убранством комнат и той быстротой, с которой все было сделано, Бертуччо превзошел самого себя. Как некогда герцог д'Антен приказал вырубить в одну ночь целую аллею, которая мешала взору Людовика XIV, так Бертуччо в три дня засадил совершенно голый двор, и прекрасные тополя и клены, привезенные вместе с огромными глыбами корней, затеняли главный фасад дома, перед которым на месте булыжника, заросшего травой, раскинулась лужайка, устланная дерном; пласты его, положенные не далее как

утром, образовали широкий ковер, на котором еще блестели после поливки капли воды.

Впрочем, все распоряжения исходили от графа; он сам передал Бертуччо план, где было указано количество и расположение деревьев, которые следовало посадить, и размеры и форма лужайки, которая должна была заменить булыжник.

В таком виде дом стал неузнаваем, и сам Бертуччо уверял, что не узнает его в этой зеленой раме.

Управляющий не прочь был бы кстати изменить кое-что и в саду, но граф строго запретил что бы то ни было там трогать. Бертуччо вознаградил себя тем, что обильно украсил цветами прихожую, лестницы и камины.

Поистине, управляющий был одарен необыкновенной способностью выполнять приказания, а хозяин — чудесным умением заставить себе служить. И вот дом, уже двадцать лет никем не обитаемый, еще накануне такой мрачный и печальный, пропитанный тем затхлым запахом, который можно назвать запахом времени, в один день принял живой облик, наполнился теми ароматами, которые любил хозяин, и даже тем количеством света, которое он предпочитал; едва вступив в него, граф находил у себя под рукой свои книги и оружие, перед глазами

— любимые картины, в прихожих — преданных ему собак и любимых певчих птиц; весь этот дом, проснувшийся от долгого сна, словно замок спящей красавицы, жил, пел и расцветал, подобно тем жилищам, которые давно нам милы и в которых, если мы имеем несчастье их покинуть, мы невольно оставляем частицу нашей души.

По двору весело сновали слуги: одни — занятые в кухнях и бегавшие по только что починенным лестницам с таким видом, как будто они всегда жили в этом доме; другие— приставленные к сараям, где экипажи, размещенные по номерам, стояли словно уже полвека, и к конюшням, где лошади, жуя овес, отвечали ржанием своим конюхам, которые разговаривали с ними гораздо почтительнее, чем иные слуги со своими хозяевами.

Библиотека помещалась в двух шкафах, вдоль двух стен, и содержала около двух тысяч томов; целое отделение было предназначено для новейших романов, и появившийся накануне уже стоял на месте, красуясь в своем красном с золотом переплете.

В другой части дома, против библиотеки, была устроена оранжерея, полная редких растений в огромных японских вазах; посередине оранже-

реи, чарующей глаз и обоняние, стоял бильярд, словно только час тому назад покинутый игроками, оставившими шары дремать на зеленом сукне.

Лишь одной комнаты не коснулся волшебник Бертуччо. Она была расположена в левом углу второго этажа, и в нее можно было войти по главной лестнице, а выйти по потайной; мимо этой комнаты слуги проходили с любопытством, а Бертуччо — с ужасом.

Ровно в пять часов граф, в сопровождении Али, подъехал к отеческому дому. Бертуччо ждал его прибытия с тревожным нетерпением: он надеялся услышать похвалу и в то же время опасался увидеть нахмуренные брови.

Монте-Кристо вышел из экипажа, прошел по всему дому и обошел сад, не проронив ни слова и ничем не выказав ни одобрения, ни недовольства.

Только войдя в свою спальню, помещавшуюся в конце, противоположном запертой двери, он указал рукой на маленький шкафчик из розового дерева, на который обратил внимание уже в первое свое посещение.

— Он годится только для перчаток, — заметил граф.

— Совершенно верно, ваше сиятельство, — ответил восхищенный Бертуччо, — откройте его: в нем перчатки.

В других шкафчиках точно так же оказалось именно то, что граф и ожидал в них найти: флаконы с духами, сигары, драгоценности.

— Хорошо! — сказал он наконец.

И Бертуччо удалился, осчастливленный до глубины души, настолько велико и могущественно было влияние этого человека на все окружающее.

Ровно в шесть часов у подъезда раздался конский топот. Это прибыл верхом на Медеа наш капитан спаги.

Монте-Кристо, приветливо улыбаясь, ждал его в дверях.

— Я уверен, что я первый, — крикнул ему Моррель, — я нарочно спешил, чтобы побыть с вами хоть минутку вдвоем, пока не соберутся остальные. Жюли и Эмманюель просили меня передать вам тысячу приветствий. А знаете, у вас здесь великолепно! Скажите, граф, ваши люди хорошо присмотрят за моей лошадью?

— Не беспокойтесь, дорогой Максимилиан, они знают свое дело.

— Ведь ее нужно хорошенько обтереть. Если бы

вы видели, как она неслась! Настоящий вихрь!

— Еще бы, я думаю, лошадь, стоящая пять тысяч франков! — сказал Монте-Кристо тоном отца, говорящего со своим сыном.

— Вы о них жалеете? — спросил Моррель со своей открытой улыбкой.

— Я? Боже меня упаси! — ответил граф. — Нет. Мне было бы жаль только, если бы лошадь оказалась плоха.

— Она так хороша, дорогой граф, что Шато-Рено, первый знаток во Франции, и Дебрэ, пользующийся арабскими конями министерства, гонятся за мной сейчас и, как видите, отстают, а за ними мчатся по пятам лошади баронессы Данглар, которые делают не более не менее как шесть льё в час.

— Так, значит, они сейчас будут здесь? — спросил Монте-Кристо.

— Да. Да вот и они.

И действительно, у ворот, немедленно распахнувшихся, показались взмыленная пара и две тяжело дышащие верховые лошади. Карета, в сопровождении обоих всадников, описав круг, остановилась у подъезда.

Дебрэ мигом соскочил с седла и открыл дверцу кареты. Он подал руку баронессе, которая, вы-

ходя, сделала движение, не замеченное никем, кроме Монте-Кристо. Но от взгляда графа ничто не могло укрыться; он заметил, как при этом движении мелькнула белая записочка, столь же незаметная, как и самый жест, и с легкостью, говорившей о привычке, перешла из руки г-жи Данглар в руку секретаря министра.

Вслед за женой появился банкир, такой бледный, как будто он выходил не из кареты, а из могилы.

Быстрым, пытливым взглядом, понятным одному только Монте-Кристо, г-жа Данглар окинула двор, подъезд и фасад дома; затем, подавляя легкое волнение, которое, несомненно, отразилось бы на ее лице, если бы это лицо способно было бледнеть, она поднялась по ступеням, говоря Моррелю:

— Сударь, если бы вы были моим другом, я спросила бы вас, не продадите ли вы вашу лошадь?

Моррель изобразил улыбку, больше похожую на гримасу, и взглянул на Монте-Кристо, как бы умоляя выручить его из затруднительного положения.

Граф понял его.

— Ах, сударыня, — сказал он, — почему не ко мне относится ваш вопрос?

— Когда имеешь дело с вами, граф, — отвечала баронесса, — чувствуешь себя не вправе что-либо желать, потому что тогда, наверно, это получишь. Вот почему я и обратилась к господину Моррелю.

— К сожалению, — сказал граф, — я могу удостоверить, что господин Моррель не может уступить свою лошадь; оставить ее у себя — для него вопрос чести.

— Как так?

— Он держал пари, что объездит Медеа в полгода. Вы понимаете, баронесса, если он расстанется с ней до истечения срока пари, то он не только проиграет его, но будут говорить еще, что он испугался. А капитан спаги, даже ради прихоти хорошенькой женщины — хоть это, на мой взгляд, одна из величайших святынь в нашем мире, — не может допустить, чтобы о нем пошли такие слухи.

— Вы видите, баронесса, — сказал Моррель, с благодарностью улыбаясь графу.

. — Притом же, мне кажется, — сказал Данглар, с насильственной улыбкой, плохо скрывавшей его хмурый тон, — у вас и так достаточно лошадей.

Было не в обычае г-жи Данглар безнаказанно спускать подобные выходки, однако, к немалому

удивлению молодых людей, она сделала вид, что не слышит, и ничего не ответила.

Монте-Кристо, у которого это молчание вызвало улыбку, ибо свидетельствовало о непривычном смирении, показывал баронессе две исполинские вазы китайского фарфора, на них извивались морские водоросли такой величины и такой работы, что, казалось, только сама природа могла создать их такими могучими, сочными и хитросплетенными.

Баронесса была в восхищении.

— Да в них можно посадить каштановое дерево из Тюильри! — сказала она. — Как только ухитрились обжечь эти громадины?

— Сударыня, — сказал Монте-Кристо, — разве можем ответить на это мы, умеющие мастерить статуэтки и стекло тоньше кисеи? Это работа других веков, в некотором роде создание гениев земли и моря.

— Вот как? И к какой примерно эпохе они относятся?

— Этого я не знаю; я слышал только, что какой-то китайский император велел построить особую обжигательную печь; в этой печи обожгли, одну за другой, двенадцать таких ваз. Две из них лопнули в огне, десять остальных спустили в море на

глубину трехсот саженей. Море, зная, что от него требуется, обволокло их своими водорослями, покрыло кораллами, врезало в них раковины; на невероятной глубине все это спаяли вместе два столетия, потому что император, который хотел проделать этот опыт, был сметен революцией, и после него осталась только запись, свидетельствующая о том, что вазы были обожжены и спущены на морское дно. Через двести лет нашли эту запись и решили извлечь вазы. Водолазы в особо устроенных приспособлениях начали поиски в той бухте, куда их опустили, но из десяти ваз нашли только три; остальные были смыты и разбиты волнами. *Я* люблю эти вазы; я воображаю иногда, что в глубину их с удивлением бросали свой тусклый и холодный взгляд таинственные, наводящие ужас бесформенные чудища, каких могут видеть только водолазы, и что мириады рыб дремали в них^ укрывшись от преследования врагов.

Между тем Данглар, равнодушный к редкостям, машинально обрывал один за другим цветы великолепного померанцевого дерева; покончив с ним, он перешел к кактусу, но кактус, не столь покладистый, жестоко уколол его.

Тогда он вздрогнул и протер глаза, словно про-

сыпаясь от сна.

— Барон, — сказал ему, улыбаясь, Монте-Кристо, — вам, любителю живописи и обладателю таких прекрасных произведений, я не смею хвалить свои картины. Но все же вот два Хоббемы, Паулюс Поттер, Мирис, два Герарда Доу, Рафаэль, Ван Дейк, Сурбаран и два-три Мурильо, которые достойны быть вам представлены.

— Позвольте! — сказал Дебрэ. — Вот этого Хоббему я узнаю.

— В самом деле?

— Да, его предлагали Музею.

— Там, кажется, нет ни одного Хоббемы? — вставил Монте-Кристо.

— Нет, и, несмотря на это, Музей отказался его приобрести.

— Почему же? — спросил Шато-Рено.

— Ваша наивность очаровательна. Да потому, что у правительства нет для этого средств.

— Прошу прощения! — сказал Шато-Рено. — Я вот уже восемь лет слышу это каждый день и все еще не могу привыкнуть.

— Со временем привыкнете, — сказал Дебрэ.

— Не думаю, — ответил Шато-Рено.

— Майор Бартоломео Кавальканти, виконт Андреа Кавальканти! — доложил Батистен.

В высоком черном атласном галстуке только что из магазина, гладко выбритый, седоусый, с уверенным взглядом, в майорском мундире, украшенном тремя звездами и пятью крестами, с безукоризненной выправкой старого солдата — таким явился майор Бартоломео Кавальканти, уже знакомый нам нежный отец.

Рядом с ним шел виконт Андреа Кавальканти, одетый с иголочки, с улыбкой на губах, точно так же знакомый нам почтительный сын.

Моррель, Дебрэ и Шато-Рено разговаривали между собой; они поглядывали то на отца, то на сына и, естественно, задерживались на этом последнем, тщательнейшим образом изучая его.

— Кавальканти! — проговорил Дебрэ.

— Звучное имя, черт побери! — сказал Моррель.

— Да, — сказал Шато-Рено, — это верно. Итальянцы именуют себя хорошо, но одеваются плохо.

— Вы придираетесь, Шато-Рено, — возразил Дебрэ, — его костюм отлично сшит и совсем новый.

— Именно это мне и не нравится. У этого господина такой вид, будто он сегодня в первый раз оделся.

— Кто такие эти господа? — спросил Данглар у графа де Монте-Кристо.

— Вы же слышали: Кавальканти.

— Это только имя, оно ничего мне не говорит.

— Да, вы ведь не разбираетесь в нашей итальянской знати; сказать «Кавальканти» — это сказать «вельможа».

— Крупное состояние? — спросил банкир.

— Сказочное.

— Что они делают?

— Безуспешно стараются его прожить. Кстати, они аккредитованы на ваш банк, они сказали мне это, когда были у меня третьего дня. Я даже ради вас и пригласил их. Я вам их представлю.

— Мне кажется, они очень чисто говорят по-французски, — сказал Данглар.

— Сын воспитывался в каком-то коллеже на юге Франции; я думаю, что в Марселе или его окрестностях. Сейчас он в совершенном восторге.

— От чего? — спросила баронесса.

— От француженок, сударыня. Он непременно хочет жениться на парижанке.

— Нечего сказать, остроумно придумал! — заявил Данглар, пожимая плечами.

Госпожа Данглар бросила на мужа взгляд, который в другое время предвещал бы бурю; но на

этот раз она смолчала.

— Барон сегодня как будто в очень мрачном настроении, — сказал Монте-Кристо г-же Данглар, — уж не хотят ли его сделать министром?

— Пока нет, насколько я знаю. Я скорее склонна думать, что он играл на бирже, проиграл и теперь не знает, на ком сорвать досаду.

— Господин и госпожа де Вильфор! — возгласил Батистен.

Вошли королевский прокурор с супругой.

Вильфор, несмотря на все свое самообладание, был явно взволнован. Пожимая его руку, Монте-Кристо заметил, что она дрожит.

«Положительно, только женщины умеют притворяться», — сказал себе Монте-Кристо, глядя на г-жу Данглар, которая улыбалась королевскому прокурору и целовалась с его женой.

После обмена приветствиями граф заметил, что Бертуччо, до того времени занятый в буфетной, проскользнул в маленькую гостиную, смежную с той, в которой находилось общество.

Он вышел к нему.

— Что вам нужно, Бертуччо? — спросил он.

— Ваше сиятельство не сказали мне, сколько будет гостей.

— Да, верно.

— Сколько приборов?

— Сосчитайте сами.

— Все уже в сборе, ваше сиятельство?

— Да.

Бертуччо заглянул в полуоткрытую дверь.

Монте-Кристо впился в него глазами.

— О Боже! — воскликнул Бертуччо.

— В чем дело? — спросил граф.

— Эта женщина!.. Эта женщина!..

— Которая?

— Та, в белом платье и вся в брильянтах… блондинка!..

— Госпожа Данглар?

— Я не знаю, как ее зовут. Но это она, сударь, это она!

— Кто «она»?

— Женщина из сада! Та, что была беременна! Та, что гуляла, поджидая… поджидая…

Бертуччо замолк, с раскрытым ртом, весь бледный; волосы у него стали дыбом.

— Поджидая кого?

Бертуччо молча показал пальцем на Вильфора, почти таким жестом, каким Макбет указывал на Банко.

— О Боже, — прошептал он наконец. — Вы видите?

— Что? Кого?

— Его!

— Его? Господина королевского прокурора де Вильфора? Разумеется, я его вижу.

— Так, значит, я его не убил!

— Послушайте, милейший Бертуччо, вы, кажется, сошли с ума, — сказал граф.

— Так, значит, он не умер!

— Да нет же! Он не умер, вы сами видите; вместо того чтобы всадить ему кинжал в левый бок между шестым и седьмым ребром, как это принято у ваших соотечественников, вы всадили его немного ниже или немного выше, а эти судейские — народ живучий. Или, вернее, во всем, что вы мне рассказали, не было ни слова правды — это было лишь воображение, галлюцинация. Вы заснули, не переварив как следует вашего мщения, оно давило вам на желудок, и вам приснился кошмар, вот и все. Ну, придите в себя и сосчитайте: господин и госпожа де Вильфор — двое; господин и госпожа Данглар — четверо; Шато-Рено, Дебрэ, Моррель — семеро; майор Бартоломео Кавальканти — восемь.

— Восемь, — повторил Бертуччо.

— Да постойте же! Постойте! Куда вы так торопитесь, черт возьми! Вы пропустили еще одного

гостя. Посмотрите немного левей… вот там… господин Андреа Кавальканти, молодой человек в черном фраке, который рассматривает мадонну Мурильо; вот он обернулся.

На этот раз Бертуччо едва не закричал, но под взглядом Монте-Кристо крик замер у него на губах.

— Бенедетто! — прошептал он едва слышно. — Это судьба!

— Бьет половина седьмого, господин Бертуччо, — строго сказал граф, — я распорядился, чтобы в это время был подан обед. Вы знаете, что я не люблю ждать.

И Монте-Кристо вернулся в гостиную, где его ждали гости, тогда как Бертуччо, держась за стены, направился к столовой.

Через пять минут распахнулись обе двери гостиной. Появился Бертуччо и, делая над собой усилие, подобно Вателю в Шантийи, последнее героическое усилие, объявил:

— Кушать подано, господин граф!

Монте-Кристо подал руку г-же де Вильфор.

— Господин де Вильфор, — сказал он, — будьте кавалером баронессы Данглар, прошу вас.

Вильфор повиновался, и все перешли в столовую.

VI
ОБЕД

Было совершенно очевидно, что, идя в столовую, все гости испытывали одинаковое чувство. Они недоумевали, какая странная сила заставила их всех собраться в этом доме. И все же, как ни были некоторые из них удивлены и даже обеспокоены тем, что находятся здесь, им бы не хотелось здесь не быть.

А между тем непродолжительность знакомства с графом, его эксцентричная и одинокая жизнь, его никому не ведомое и почти сказочное богатство должны были бы заставить мужчин быть осмотрительными, а женщинам преградить доступ в этот дом, где не было женщин, чтобы их принять. Однако мужчины преступили законы осмотрительности, а женщины — правила приличия: неодолимое любопытство, их подстрекавшее, превозмогло все.

Даже оба Кавальканти — отец, несмотря на всю свою чопорность, сын, несмотря на всю свою развязность, — казались озабоченными тем, что сошлись в доме этого человека, чьи цели были

им непонятны, с другими людьми, которых они видели впервые.

Госпожа Данглар невольно вздрогнула, увидав, что Вильфор, по просьбе Монте-Кристо, предлагает ей руку, а у Вильфора помутнел взор за очками в золотой оправе, когда он почувствовал, как рука баронессы оперлась на его руку.

Ни один признак волнения не ускользнул от графа; одна лишь встреча всех этих людей уже представляла для наблюдателя огромный интерес.

По правую руку Вильфора села г-жа Данглар, а по левую — Моррель.

Граф сидел между г-жой де Вильфор и Данглaром.

Остальные места были заняты Дебрэ, сидевшим между отцом и сыном Кавальканти, и Шато-Рено, сидевшим между г-жой де Вильфор и Моррелем.

Обед был великолепен: Монте-Кристо задался целью совершенно перевернуть все парижские привычки и утолить еще более любопытство гостей, нежели их аппетит. Им был предложен восточный пир, но такой, каким могли быть только пиры арабских волшебниц.

Все плоды четырех стран света, какие только могли свежими и сочными попасть в европей-

ский рог изобилия, громоздились пирамидами в китайских вазах и японских чашах. Редкостные птицы в своем блестящем оперении; исполинские рыбы, простертые на серебряных блюдах; все вина Архипелага, Малой Азии и Южной Африки в дорогих сосудах, чьи причудливые формы, казалось, делали их еще ароматнее, — друг за другом, словно на пиру, какие предлагал Апиций своим сотрапезникам, прошли перед взорами этих парижан, считавших, что обед на десять человек, конечно, может обойтись в тысячу луидоров, но только при условии, если, подобно Клеопатре, глотать жемчужины или же, подобно Лоренцо Медичи, пить расплавленное золото.

Монте-Кристо увидел общее изумление; он засмеялся и стал шутить над самим собой.

— Господа, — сказал он, — должны же вы согласиться, что на известной степени благосостояния только излишество является необходимостью, точно так же, как — дамы, конечно, согласятся — на известной степени экзальтации реален только идеал? Продолжим эту мысль. Что такое чудо? То, что мы не понимаем. Что всего желаннее? То, что недосягаемо. Итак, видеть непостижимое, добывать недосягаемое — вот чему я посвятил свою жизнь. Я достигаю этого двумя способами:

деньгами и волей. Чтобы осуществить свою прихоть, я проявляю такую же настойчивость, как, например, вы, господин Данглар, — прокладывая железнодорожную линию; вы, господин де Вильфор, — добиваясь для человека смертного приговора; вы, господин Дебрэ, — умиротворяя какое-нибудь государство; вы, господин Шато-Рено, — стараясь понравиться женщине; а вы, Моррель, — укрощая лошадь, которую никто не может объездить. Вот, например, посмотрите на этих двух рыб: одна родилась в пятидесяти льё от Санкт-Петербурга, а другая — в пяти льё от Неаполя; разве не забавно соединить их на одном столе?

— Что же это за рыбы? — спросил Данглар.

— Вот Шато-Рено жил в России, он скажет вам, как называется одна из них, — отвечал Монте-Кристо, — а майор Кавальканти, итальянец, назовет другую.

— Это, — сказал Шато-Рено, — по-моему, стерлядь.

— Совершенно верно.

— А это, — сказал Кавальканти, — если не ошибаюсь, минога.

— Вот именно. А теперь, барон, спросите, где ловятся эти рыбы.

— Стерляди ловятся только в Волге, — ответил Шато-Рено.

— Я не слышал, — сказал Кавальканти, — чтобы где-нибудь, кроме озера Фусаро, водились миноги таких размеров.

— Так оно и есть: одна прибыла с Волги, а другая с озера Фусаро.

— Не может быть! — воскликнули все гости в один голос.

— Вот это и доставляет мне удовольствие, — сказал Монте-Кристо. — Я, как Нерон, — cupitor impossibilium[1]; ведь вы тоже испытываете удовольствие; эти рыбы, которые на самом деле, может быть, и хуже, чем окунь или лосось, покажутся вам сейчас восхитительными, и все потому, что вам казалось невозможным их достать, а между тем вот они.

— Но каким образом удалось доставить этих рыб в Париж?

— Нет ничего проще. Их привезли в больших бочках, из которых одна выложена речными травами и камышом, а другая — тростником и озерными растениями; их поместили в специально построенные фургоны; стерлядь прожила так

---

[1] Примечания: 1
Искатель невозможного *(лат.)*.

двенадцать дней, а минога — восемь, и обе они были живехоньки, когда попали в руки моего повара, который уморил одну в молоке, а другую в вине. Вы не верите, Данглар?

— Во всяком случае, позволяю себе сомневаться, — ответил Данглар со своей натянутой улыбкой.

— Батистен, — сказал Монте-Кристо, — велите принести сюда вторую стерлядь и вторую миногу, знаете, те, что прибыли в других бочках и еще живы.

Данглар вытаращил глаза; все общество зааплодировало.

Четверо слуг внесли две бочки, выложенные водорослями; в каждой из них трепетала рыба, подобная той, которая была подана к столу.

— Но зачем же по две каждого сорта? — спросил Данглар.

— Потому что одна из них могла заснуть, — просто ответил Монте-Кристо.

— Вы в самом деле изумительный человек! — сказал Данглар. — Что бы там ни говорили философы, хорошо быть богатым.

— А главное — изобретательным, — добавила г-жа Данглар.

— Это изобретение не мое, баронесса; оно было

в ходу у римлян. Плиний сообщает, что из Остии в Рим при помощи нескольких смен рабов, которые несли их на головах, пересылались рыбы из породы тех, которых он называет mulus; судя по их описанию, это дорада. Получить ее живой считалось роскошью еще и потому, что зрелище ее смерти было очень занимательно; засыпая, она несколько раз меняла свой цвет и, подобно испаряющейся радуге, проходила сквозь все оттенки спектра, после чего ее отправляли на кухню. Эта агония входила в число ее достоинств. Если ее не видели живой, ею пренебрегали мертвой.

— Да, — сказал Дебрэ, — но от Остин до Рима не больше восьми миль.

— Это верно, — отвечал Монте-Кристо, — но разве заслуга родиться через тысячу восемьсот лет после Лукулла, если не умеешь его превзойти?

Оба Кавальканти смотрели во все глаза, но благоразумно молчали.

— Это все очень интересно, — сказал Шато-Рено, — но что меня восхищает больше всего, так это быстрота, с которой исполняются ваши приказания. Ведь правда, граф, что вы купили этот дом всего пять или шесть дней тому назад?

— Да, не больше, — сказал Монте-Кристо.

— И я убежден, что за эту неделю он совершен-

но преобразился; ведь, если я не ошибаюсь, у него был другой вход, и двор был мощеный и пустой, а сейчас это великолепная лужайка, обсаженная деревьями, которым на вид сто лет.

— Что поделаешь, я люблю зелень и тень, — сказал Монте-Кристо.

— В самом деле, — сказала г-жа де Вильфор, — прежде въезд был через ворота, выходившие на дорогу, и в день моего чудесного спасения, я помню, вы ввели меня в дом прямо с улицы.

— Да, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — но потом я предпочел иметь вход, позволяющий мне сквозь ограду видеть Булонский лес.

— В четыре дня, — сказал Моррель. — Это чудо!

— Действительно, — сказал Шато-Рено, — сделать из старого дома совершенно новый — это похоже на чудо. Это был очень старый дом, и даже очень унылый. Я помню, моя мать поручила мне осмотреть его, когда маркиз де Сен-Меран решил его продать, года два или три тому назад.

— Маркиз де Сен-Меран? — сказала г-жа де Вильфор. — Так этот дом раньше принадлежал маркизу де Сен-Меран?

— По-видимому, да, — ответил Монте-Кристо.

— Как по-видимому? Вы не знаете, у кого купили этот дом?

— Признаться, нет, всеми этими подробностями занимается мой управляющий.

— Правда, он уже лет десять был необитаем, — сказал Шато-Рено. — Грустно было видеть его закрытые ставни, запертые двери и заросший травою двор. Право, если бы он не принадлежал тестю королевского прокурора, его можно было бы принять за проклятый дом, в котором когда-то совершилось великое преступление.

Вильфор, который до сих пор не дотрагивался ни до одного из стоящих перед ним бокалов необыкновенного вина, взял первый попавшийся и залпом осушил его.

Монте-Кристо минуту молчал, затем среди безмолвия, последовавшего за словами Шато-Рено, он сказал:

— Странно, барон, но та же самая мысль мелькнула и у меня, когда я вошел сюда в первый раз: этот дом показался мне зловещим, и я ни за что не купил бы его, если бы мой управляющий уже не сделал это за меня. Вероятно, этот мошенник получил некоторую мзду от нотариуса.

— Весьма возможно, — пробормотал Вильфор, пытаясь улыбнуться, — но, поверьте, в этом подкупе я не повинен. Маркиз де Сен-Меран желал, чтобы этот дом, составлявший часть приданого

его внучки, был продан, потому что, если бы он еще три-четыре года простоял необитаемым, он окончательно разрушился бы.

На этот раз побледнел Моррель.

— Особенно одна комната, — продолжал Монте-Кристо, — на вид самая обыкновенная, комната как комната, обитая красным штофом, не знаю почему, показалась мне донельзя трагической.

— Почему это? — спросил Дебрэ. — Почему трагической?

— Разве можно дать себе отчет в инстинктивном чувстве? — сказал Монте-Кристо. — Разве не бывает мест, где на вас веет печалью? Почему — не знаешь сам; наверно, благодаря сцеплению воспоминаний, прихоти мысли, переносящей нас в другие времена, в другие места, быть может, не имеющие ничего общего с временем и местом, где мы находимся… И эта комната удивительно напомнила мне комнату маркизы де Ганж или Дездемоны. Но мы кончили обедать. Если хотите, я покажу вам ее, прежде чем мы перейдем в сад пить кофе: после обеда — зрелище.

Монте-Кристо вопросительно посмотрел на своих гостей; г-жа де Вильфор встала, Монте-Кристо сделал то же самое, и все последовали их примеру.

Вильфор и г-жа Данглар остались минуту сидеть словно прикованные к месту; они смотрели друг на друга безмолвно, похолодев от ужаса.

— Вы слышали? — сказала г-жа Данглар.

— Надо идти, — ответил Вильфор, вставая и подавая ей руку.

Г ости, подстрекаемые любопытством, уже разбрелись по всему дому, так как предполагали, что осмотр не ограничится одной только комнатой и что заодно можно будет увидеть и остальные части этих развалин, из которых Монте-Кристо сделал дворец. Поэтому все поспешили в открытые настежь двери. Граф подождал двух оставшихся; потом, когда они, в свою очередь, вышли из столовой, он замкнул шествие, улыбаясь так, что, если бы гости поняли значение его улыбки, она привела бы их в гораздо больший ужас, чем та комната, куда они шли.

Действительно, начали с осмотра всего дома: жилых комнат, убранных по-восточному, где диваны и подушки заменяли кровати, а трубки и оружие — меблировку; гостиных, увешанных лучшими картинами старых мастеров; будуаров, обитых китайскими тканями изумительной работы, прихотливых оттенков и фантастических рисунков; наконец гости достигли пресловутой

комнаты.

В ней не было ничего особенного, если не считать того, что, несмотря на сумерки, она не была освещена и все в ней было ветхое, тогда как остальные комнаты были заново отделаны. Под этим двум причинам она и вправду выглядела мрачно.

— Да, здесь в самом деле жутко! — воскликнула г-жа де Вильфор.

Госпожа Данглар пыталась что-то пробормотать, но ее слов никто не расслышал.

Гости обменялись кое-какими замечаниями, сводившимися к тому, что в красной комнате действительно есть что-то зловещее.

— Не правда ли? — сказал Монте-Кристо. — Взгляните только, как странно стоит эта кровать, какие мрачные, кровавые обои! А эти два портрета пастелью, потускневшие от сырости! Разве вам не кажется, что их бескровные губы и испуганные глаза говорят: «Мы видели!»

Вильфор стал мертвенно-бледен, г-жа Данглар в изнеможении опустилась на кушетку возле камина.

— Эрмина, — сказала, улыбаясь г-жа де Вильфор, — как это у вас хватает духу сидеть на кушетке, на которой, быть может, и совершилось

преступление?

Госпожа Данглар поспешно поднялась.

— И это не все, — сказал Монте-Кристо.

— А что же еще? — спросил Дебрэ, от которого не ускользнуло волнение г-жи Данглар.

— Да, что еще? — спросил Данглар. — Признаюсь, пока я не вижу ничего особенного. А вы, господин Кавальканти?

— Ну, — сказал тот, — у нас в Пизе имеется башня Уголино, в Ферраре — темница Тассо, а в Римини — комната Франчески и Паоло.

— Да, но у вас нет этой лесенки, — сказал Монте-Кристо, открывая дверь, скрытую в обоях, — взгляните на нее и скажите, что вы о ней думаете.

— Какая зловещая винтовая лестница! — сказал, смеясь, Шато-Рено.

— В самом деле, — сказал Дебрэ, — не знаю, может быть, это хиосское вино нагоняет такую тоску, но меня этот дом наводит на мрачные мысли.

Что касается Морреля, то с той минуты, как упомянули о приданом Валентины, он был грустен и не произнес ни слова.

— Представьте себе, — сказал Монте-Кристо, — какого-нибудь Отелло или аббата де Ганжа, в

темную, бурную ночь спускающегося шаг за шагом по этой лестнице, с какой-нибудь страшной ношей, которую он спешит укрыть от человеческих глаз, если не от Божьего ока?

Госпожа Данглар чуть не упала без чувств на руки Вильфора, который и сам был вынужден прислониться к стене.

— Что с вами, баронесса? — воскликнул Дебрэ. — Как вы побледнели!

— Очень понятно, что с ней, — сказала г-жа де Вильфор, — граф де Монте-Кристо рассказывает ужасные вещи, очевидно желая, чтобы все мы умерли со страху.

— Это верно, — заявил Вильфор. — В самом деле, граф, вы пугаете дам.

— Да что же с вами? — шепотом повторил Дебрэ г-же Данглар.

— Ничего, ничего, — ответила она, делая над собой усилие, — мне просто душно, вот и все.

— Не хотите ли спуститься в сад? — спросил Дебрэ, предлагая г-же Данглар руку и направляясь к потайной лестнице.

— Нет, нет, — сказала она, — уж лучше я останусь здесь.

— Но, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — неужели вы в самом деле испугались?

— Нет, граф, — отвечала г-жа Данглар, — но вы умеете так строить предположения, что фантазия начинает казаться реальностью.

— Ну, конечно, — сказал, улыбаясь, Монте-Крис-то, — все это просто игра воображения; ведь почему не представить себе, что эта комната — мирная, честная спальня матери семейства; эта кровать с пурпурным пологом— ложе, осчастливленное посещением богини Люцины; а эта таинственная лестница — просто ход, по которому чуть слышно, чтобы не потревожить сна родильницы, спускается врач или кормилица, или сам отец, уносящий заснувшего младенца?..

На сей раз г-жа Данглар, вместо того чтобы успокоиться при виде столь сладостной картины, застонала и окончательно лишилась чувств.

— Госпоже Данглар дурно, — запинаясь, сказал Вильфор, — не перенести ли ее в экипаж?

— Бог мой! — воскликнул Монте-Кристо. — А я не захватил своего флакона!

— У меня есть свой, — сказала г-жа де Вильфор.

И она передала Монте-Кристо флакон с красной жидкостью, подобной той, благотворное действие которой граф испытал на Эдуаре.

— Вот как!.. — сказал Монте-Кристо, принимая его из рук г-жи де Вильфор.

— Да, — прошептала она, — я последовала вашим указаниям.

— И удачно?

— Мне кажется, да.

Госпожу Данглар тем временем перенесли в смежную комнату.

Монте-Кристо смочил ее губы каплей красной жидкости, и она пришла в себя.

— Какой ужасный сон! — промолвила она.

Вильфор сильно сжал ей руку, чтобы дать ей понять, что что это не был сон.

Стали искать Данглара, но мало склонный к поэтическим переживаниям, он уже давно сошел в сад и беседовал с Кавальканти-старшим о проекте железной дороги между Ливорно и Флоренцией.

Монте-Кристо, казалось, был в отчаянии. Он взял г-жу Данглар под руку и провел ее в сад, где они нашли Данглара сидящим за чашкой кофе между отцом и сыном Кавальканти.

— Неужели я в самом деле так напугал вас, сударыня? — сказал Монте-Кристо.

— Нет, граф, но вы сами знаете, мы поддаемся впечатлениям в зависимости от настроения.

Вильфор пытался засмеяться.

— Ив таком случае, вы понимаете, — сказал он, — достаточно простого предположения, само-

го химерического…

— Хотите верьте, хотите нет, — возразил Монте-Кристо, — но я убежден, что в этом доме совершилось преступление.

— Будьте осторожны, — сказала г-жа де Вильфор, — здесь присутствует королевский прокурор.

— Что ж, — ответил Монте-Кристо, — раз все так совпало, я воспользуюсь случаем, чтобы сделать заявление.

— Заявление? — сказал Вильфор.

— Да, при свидетелях.

— Все это чрезвычайно интересно, — сказал Дебрэ, — и если действительно имеется преступление, оно послужит на пользу нашему пищеварению.

— Преступление имеется, — сказал Монте-Кристо. — Прошу вас сюда, господа, прошу вас, господин де Вильфор; чтобы мое заявление было законно, я должен его сделать при надлежащем представителе власти.

Монте-Кристо взял Вильфора под руку и, прижимая к себе в го же время руку г-жи Данглар, повлек королевского прокурора к платану, туда, где тень была всего гуще.

Остальные гости последовали за ними.

— Посмотрите, — сказал Монте-Кристо, — вот здесь, на этом самом месте (и он топнул ногой), чтобы дать новые соки старым деревьям, я велел их окопать и насыпать черноземy; и вот мои рабочие, копая, наткнулись на ящичек или, вернее, на железные части ящичка, среди которых лежал скелет новорожденного младенца. Это уже не фантасмагория, надеюсь?

Монте-Кристо почувствовал, как напрягся локоть г-жи Данглар и как дрогнула рука Вильфора.

— Новорожденного младенца? — повторил Дебрэ. — Черт возьми! Дело, по-моему, становится серьезным.

— Вот видите! — сказал Шато-Рено. — Значит, я не ошибался, когда говорил, что и у домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность. Этот дом был печален, потому что его мучила совесть, а совесть мучила его потому, что он таил преступление.

— Но почему же именно преступление? — возразил Вильфор, делая над собой последнее усилие.

— Как! Заживо похороненный в саду младенец — это, по-вашему, не преступление? — воскликнул Монте-Кристо. — Какое же вы даете название

такому поступку, господин королевский прокурор?

— А откуда известно, что его похоронили заживо?

— Зачем же иначе его зарыли здесь? Этот сад никогда не служил кладбищем.

— Как у вас во Франции поступают с детоубийцами? — наивно спросил майор Кавальканти.

— Им попросту отрубают голову, — ответил Данглар.

— Ах, отрубают голову! — повторил Кавальканти.

— Кажется, так. Не правда ли, господин де Вильфор? — спросил Монте-Кристо.

— Да, граф, — ответил тот голосом, в котором уже не было ничего человеческого.

Монте-Кристо понял, что большего не в силах перенести те двое, для кого он приготовил эту сцену; он не хотел заходить слишком далеко.

— А кофе, господа! — сказал он. — Мы про него совсем забыли.

И он провел своих гостей обратно к столу, поставленному посреди лужайки.

— Право, граф, — сказала г-жа Данглар, — мне стыдно признаться в такой слабости, но все эти ужасные истории вывели меня из равновесия;

пожалуйста, разрешите мне сесть.

И она упала на стул.

Монте-Кристо поклонился ей и подошел к г-же де Вильфор.

— Мне кажется, госпожа Данглар снова нуждается в вашем флаконе, — сказал он.

Но раньше чем г-жа де Вильфор успела подойти к своей приятельнице, королевский прокурор уже шепнул г-же Данглар:

— Нам нужно поговорить.

— Когда?

— Завтра.

— Где?

— В моем служебном кабинете… в суде, если вы ничего не имеете против; это, по-моему, самое безопасное место.

— *Я* приду.

В эту минуту подошла г-жа де Вильфор.

— Благодарю вас, мой друг, — сказала г-жа Данглар, пытаясь улыбнуться, — все прошло, и мне гораздо лучше.

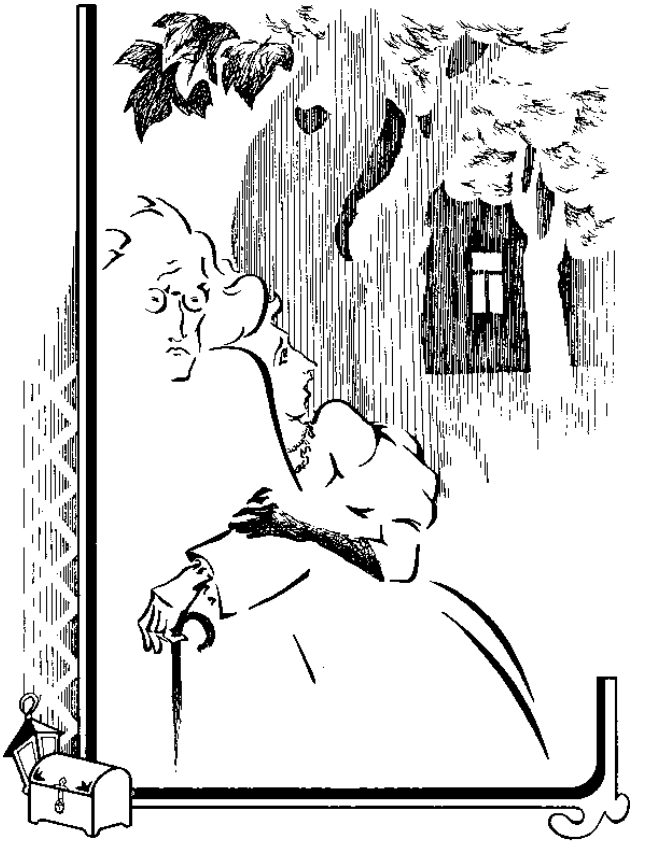
VII

НИЩИЙ

Становилось поздно; г-жа де Вильфор заговорила о возвращении в Париж, чего не посмела сделать г-жа Данглар, несмотря на свое явное недомогание.

По просьбе своей жены Вильфор первый подал знак к отъезду. Он предложил г-же Данглар место в своем ландо, чтобы его жена могла ухаживать за ней. Данглар, погруженный в интереснейший деловой разговор с Кавальканти, не обращал никакого внимания на происходящее.

Прося у г-жи Вильфор флакон, Монте-Кристо заметил, как Вильфор подошел к г-же Данглар, и, понимая его положение, догадался о том, что он ей сказал, хотя тот говорил так тихо, что сама г-жа Данглар едва его расслышала.



Ни во что не вмешиваясь, граф дал сесть на лошадей и уехать Моррелю, Дебрэ и Шато-Рено, а обеим дамам отбыть в ландо Вильфора; со своей стороны, Данглар, все более приходивший в восторг от Кавальканти-отца, пригласил его к себе в карету.

Что касается Андреа Кавальканти, то он направился к ожидавшему его у ворот тильбюри с запряженной в него громадной темно-серой лошадью, которую, поднявшись на цыпочки, держал под уздцы чрезмерно англизированный грум.

За обедом Андреа говорил мало; он был очень смышленый юноша и поневоле опасался сказать какую-нибудь глупость в обществе столь богатых и влиятельных людей; к тому же его широко раскрытые глаза, пожалуй, не без тревоги останавливались на королевском прокуроре.

Затем им завладел Данглар, который, бросив беглый взгляд на старого чопорного майора и на его довольно робкого сына и сопоставив все эти признаки с радушием Монте-Кристо, решил, что имеет дело с каким-нибудь набобом, прибывшим в Париж, чтобы усовершенствовать светское воспитание своего наследника.

Поэтому он с несказанным благоговением

созерцал огромный брильянт, сверкавший на мизинце майора, ибо майор, как человек осторожный и опытный, опасаясь, как бы не случилось чего-нибудь с его ассигнациями, тотчас же превратил их в ценности. Затем после обеда, под видом беседы о промышленности и путешествиях, он расспросил отца и сына об их образе жизни; а отец и сын, предупрежденные, что именно у Данглара им будет открыт текущий счет, одному на сорок восемь тысяч франков единовременно, другому — на пятьдесят тысяч ливров ежегодно, были с банкиром обворожительны и преисполнены такой любезности, что готовы были пожать руки его слугам, лишь бы дать выход переполнявшей их признательности.

То уважение — мы бы даже сказали: то благоговение, — которое Кавальканти вызвал в Дангларе, усугублялось еще одним обстоятельством. Майор, верный принципу Горация: nil admirari[2], удовольствовался, как мы видели, тем, что показал свою осведомленность, сообщив, в каком озере ловятся лучшие миноги. Засим он молча съел свою долю этой рыбы. И Данглар сделал вывод, что такие роскошества — обычное

---

[2] Примечания: 2
Ничему не удивляться *(лат.)*.

дело для славного потомка Кавальканти, который, вероятно, у себя в Лукке питается форелями, выписанными из Швейцарии, и лангустами, доставляемыми из Бретани тем же способом, каким граф получил миног из озера Фусаро и стерлядей с Волги.

Поэтому он с явной благосклонностью выслушал слова Кавальканти:

— Завтра, сударь, я буду иметь честь явиться к вам по делу.

— А я, сударь, — ответил Данглар, — почту за счастье принять вас.

После этого он предложил Кавальканти, если тот согласен лишиться общества сына, довезти его до гостиницы Принцев.

Кавальканти ответил, что его сын уже давно привык вести жизнь самостоятельного молодого человека, имеет поэтому собственных лошадей и экипажи, и так как сюда они прибыли по отдельности, то он не видит, почему бы им не уехать отсюда порознь.

Итак, майор сел в карету Данглара. Банкир уселся рядом, все более восхищаясь здравыми суждениями этого человека о бережливости и аккуратности, что, однако, не мешало ему давать сыну пятьдесят тысяч франков в год, а для этого

требовался годовой доход тысяч в пятьсот или шестьсот.

Тем временем Андреа для пущей важности разносил своего грума за то, что тот не подал лошадь к подъезду, а остался ждать у ворот и тем самым вынудил его сделать целых тридцать шагов, чтобы дойти до тильбюри.

Грум смиренно выслушал выговор; чтобы удержать лошадь, нетерпеливо бившую копытом, он схватил ее под уздцы левой рукой, а правой протянул вожжи Андреа, который взял их и занес ногу в лаковом башмаке на подножку.

В это время кто-то положил ему руку на плечо. Он обернулся, думая, что Данглар или Монте-Кристо забыли ему что-нибудь сказать и вспомнили об этом в последнюю минуту.

Но вместо них он увидел странную физиономию, опаленную солнцем, обросшую густой бородой, достойной натурщика, горящие, как уголья, глаза и насмешливую улыбку, обнажавшую тридцать два блестящих белых зуба, острых и жадных, как у волка или шакала.

Г олова этого человека, обросшая седеющими тусклыми волосами, была повязана красным клетчатым платком; длинное, тощее и костлявое тело было облачено в неимоверно рваную

и грязную блузу, и казалось, что при каждом движении этого человека его кости должны стучать, как у скелета. Рука, хлопнувшая Андреа по плечу, — первое, что он увидел, — показалась ему гигантской.

Узнал ли он при свете фонаря своего тильбюри эту физиономию или же просто был ошеломлен ужасным видом этого человека, мы не знаем; во всяком случае, он вздрогнул и отшатнулся.

— Что вам от меня нужно? — сказал он.

— Извините, почтенный, — ответил человек, прикладывая руку к красному платку, — может быть, я вам помешал, но мне надо вам кое-что сказать.

— По ночам не просят милостыни, — сказал грум, намереваясь избавить своего хозяина от назойливого бродяги.

— Я не прошу милостыни, красавчик, — иронически улыбаясь, сказал незнакомец, и в его улыбке было что-то такое страшное, что слуга отступил, — я только хочу сказать два слова вашему хозяину, который дал мне одно поручение недели две тому назад.

— Послушайте, — сказал, в свою очередь, Андреа достаточно твердым голосом, чтобы слуга не заметил, насколько он взволнован, — что вам

нужно? Говорите скорей, приятель.

— Мне нужно… — едва слышно произнес человек в красном платке, — мне нужно, чтобы вы избавили меня от необходимости возвращаться в Париж пешком. Я очень устал и не так хорошо пообедал, как ты, и едва держусь на ногах.

Андреа вздрогнул, услышав это странное обращение.

— Но чего же вы хотите наконец? — спросил он.

— Хочу, чтобы ты довез меня в твоем славном экипаже.

Андреа побледнел, но ничего не ответил.

— Да, представь себе, — сказал человек в красном платке, засунув руки в карманы и вызывающе глядя на молодого человека, — мне этого хочется! Слышишь, мой маленький Бенедетто?

При этом имени Андреа, по-видимому, стал уступчивее; он подошел к груму и сказал:

— Я действительно давал этому человеку поручение, и он должен дать мне отчет. Дойдите до заставы пешком, там вы наймете кабриолет, чтобы не очень опоздать.

Удивленный слуга удалился.

— Дайте мне по крайней мере въехать в тень, — сказал Андреа.



— Ну, что до этого, я сам провожу тебя в подходящее место; вот увидишь, — сказал человек в красном платке.

Он взял лошадь под уздцы и отвел тильбюри в темный угол, где действительно никто не мог увидеть того почета, который ему оказывал Андреа.

— Это не ради чести проехаться в хорошем экипаже, — сказал он. — Нет, я просто устал, а кстати, хочу поговорить с тобой о делах.

— Ну, садитесь, — сказал Андреа.

Жаль, что было темно, потому что любопытное зрелище представляли этот оборванец, восседающий на шелковых подушках, и рядом с ним правящий лошадью элегантный молодой человек.

Андреа проехал все селение, не сказав ни слова; его спутник тоже молчал и только улыбался, как будто очень довольный тем, что пользуется таким превосходным способом передвижения.

Как только они проехали Отей, Андреа осмотрелся, удостоверяясь, что их никто не может ни видеть, ни слышать; затем он остановил лошадь и, скрестив руки на груди, повернулся к человеку в красном платке.

— Послушайте, — сказал он, — что вам от меня

надо? Зачем вы нарушаете мой покой?

— Нет, ты скажи, мальчик, почему ты мне не доверяешь?

— В чем я не доверяю вам?

— В чем? Ты еще спрашиваешь? Мы с тобой расстаемся на варском мосту, ты говоришь мне, что отправляешься в Пьемонт и Тоскану, и ничего подобного, ты оказываешься в Париже!

— А чем это вам мешает?

— Да ничем, наоборот, я надеюсь, что это будет мне на пользу.

— Вот как! — сказал Андреа. — Вы, значит, намерены на мне спекулировать?

— Ну, зачем такие громкие слова!

— Предупреждаю вас, что это напрасно, дядя Кадрусс.

— Да ты не сердись, малыш, ты сам должен знать, что значит несчастье, ну а несчастье делает человека завистливым. Я-то воображаю, что ты бродишь по Пьемонту и Тоскане и тянешь лямку чичероне или носильщика; я всей душой жалею тебя, как жалел бы родного сына. Ты же помнишь, я всегда тебя звал сыном.

— Ну а дальше? Дальше что?

— Ах ты, порох! Потерпи немного.

— Я и так терпелив. Ну, кончайте.

— И вдруг я встречаю тебя у заставы, в тильбюри с грумом, одетого с иголочки. Ты что же, нашел золотоносную жилу или купил маклерский патент?

— Значит, вы завидуете?

— Нет, я просто доволен, так доволен, что захотел поздравить тебя, малыш, но я был недостаточно прилично одет и потому принял меры предосторожности, чтобы не компрометировать тебя.

— Хороши меры предосторожности! — сказал Андреа. — Заговорить со мной при слуге!

— Что поделаешь, сынок, заговорил, когда удалось встретиться. Лошадь у тебя быстрая, экипаж легкий, и сам ты скользкий, как угорь; упусти я тебя сегодня, я бы тебя, пожалуй, уже больше не поймал.

— Вы же видите, я вовсе не прячусь.

— Это твое счастье, я очень бы хотел сказать то же про себя, а вот я прячусь. К тому же я боялся, что ты меня не узнаешь, но ты меня узнал, — прибавил Кадрусс с гаденькой улыбочкой, — это очень мило с твоей стороны.

— Ну хорошо, — сказал Андреа, — что же вы хотите?

— Ты говоришь мне «вы»; это нехорошо, Бе-

недетто, ведь я твой старый товарищ; смотри, я стану требовательным.

Эта угроза охладила гнев молодого человека: он чувствовал, что вынужден уступить.

Он снова пустил лошадь рысью.

— С твоей стороны нехорошо так обращаться со мной, Кадрусс, — сказал он. — Ты сам говоришь, что мы старые товарищи, ты марселец, я…

— Так ты теперь знаешь, кто ты?

— Нет, но я вырос на Корсике. Ты стар и упрям, я молод и неуступчив. Плохо, если мы начнем угрожать друг другу, нам лучше всего решать полюбовно. Чем я виноват, что судьба мне улыбнулась, а тебе по-прежнему не везет?

— Так тебе правду повезло? Значит, и этот грум, и тильбюри, и платье не взяты напрокат? Что ж, тем лучше! — сказал Кадрусс с заблестевшими от жадности глазами.

— Ты сам это отлично видишь и понимаешь, раз ты заговорил со мной, — сказал Андреа, все больше волнуясь. — Будь у меня на голове платок, как у тебя, грязная блуза на плечах и дырявые башмаки на ногах, ты не стремился бы узнать меня.

— Вот видишь, как ты меня презираешь, малыш. Нехорошо! Теперь, когда я тебя нашел,

ничто не мешает мне одеться в лучшее сукно. Я же знаю твое доброе сердце: если у тебя два костюма, ты отдашь один мне; ведь я отдавал тебе свою порцию супа и бобов, когда ты уж очень хотел есть.

— Это верно, — сказал Андреа.

— И аппетит же у тебя был! У тебя все еще хороший аппетит?

— Ну, конечно, — сказал, смеясь, Андреа.

— Воображаю, как ты пообедал сейчас у этого князя!

— Он не князь, он только граф.

— Граф? Богатый?

— Да, но не рассчитывай на него: с этим господином не так легко иметь дело.

— Да ты не беспокойся! Твоего графа никто не трогает, можешь оставить его себе. Но, конечно, — прибавил Кадрусс, на губах которого снова появилась та же отвратительная улыбка, — за это тебе придется раскошелиться.

— Ну, сколько же тебе нужно?

— Думаю, что на сто франков в месяц…

— Ну?

— Я смогу существовать…

— На сто франков?

— Плохо, конечно, ты сам понимаешь, но…

— Но?

— На сто пятьдесят франков я отлично устроюсь.

— Вот тебе двести, — сказал Андреа.

И он положил в руку Кадрусса десять луидоров.

— Хорошо, — сказал Кадрусс.

— Заходи к швейцару каждое первое число, и ты будешь получать столько же.

— Ну вот, ты опять меня унижаешь!

— Как так?

— Заставляешь меня обращаться к челяди. Нет, знаешь ли, я хочу иметь дело только с тобой.

— Хорошо, приходи ко мне, и каждое первое число — во всяком случае, пока мне будут выплачивать мои доходы— ты будешь получать свое.

— Ну-ну, я вижу, что не ошибся в тебе. Ты славный малый, хорошо, когда удача выпадает на долю таких людей. А расскажи, каким образом тебе повезло?

— Зачем тебе это знать? — спросил Кавальканти.

— Опять недоверие!

— Нисколько. Я разыскал своего отца.

— Настоящего отца?

— Ну… поскольку он дает мне деньги…

— ...постольку ты веришь и уважаешь, правильно. А как зовут твоего отца?

— Майор Кавальканти.

— И он тобой доволен?

— Пока что, видимо, доволен.

— А кто тебе помог разыскать его?

— Граф Монте-Кристо.

— У которого ты сейчас был?

— Да.

— Послушай, постарайся пристроить меня к нему дедушкой, раз он этим занимается.

— Пожалуй, я поговорю с ним о тебе, а пока что ты будешь делать?

— Я?

— Да, ты.

— Очень мило, что ты беспокоишься об этом, — сказал Кадрусс.

— Мне кажется, — возразил Андреа, — раз ты интересуешься мною, я тоже имею право кое о чем спросить.

— Верно... Я сниму комнату в приличном доме, оденусь как следует, буду каждый день бриться и ходить в кафе читать газеты. По вечерам буду ходить в театр с какой-нибудь компанией клакёров. Вообще приму вид булочника, удалившегося от дел; я всегда мечтал об этом.

— Что ж, это хорошо; если ты исполнишь свое намерение и будешь благоразумен, все пойдет чудесно.

— Посмотрите на этого Боссюэ!.. Ну, а ты кем станешь? Пэром Франции?

— Все возможно! — сказал Андреа.

— Майор Кавальканти, может быть, и пэр... но, к сожалению, наследственность в этом деле упразднена.

— Пожалуйста, без политики, Кадрусс!.. Ну вот, ты получил то, что хотел, и мы приехали, а потому вылезай и исчезни.

— Ни в коем случае, милый друг!

— То есть как?

— Посуди сам, малыш: на голове красный платок, сапоги без подметок, никаких документов — и в кармане десять луидоров, не считая того, что там уже было, — всего ровно двести франков. Да меня у заставы непременно арестуют! Чтобы оправдаться, я должен буду заявить, что это ты дал мне десять луидоров; начнется дознание, следствие; узнают, что я покинул Тулон, ни у кого не спросясь, и меня погонят по этапу до самого Средиземного моря. И я снова стану просто номер сто шесть, и прощай мои мечты походить на булочника, удалившегося на покой! Ни в коем

случае, сынок, я предпочитаю достойно жить в столице.

Андреа нахмурился: мнимый сын майора Кавальканти был, как он сам признался, очень упрям. Он остановил лошадь, быстро огляделся, и, пока его взор пытливо скользил по сторонам, рука его точно ненароком опустилась в карман и нащупала курок карманного пистолета.

Но в то же время Кадрусс, ни на минуту не спускавший глаз со своего спутника, заложил руки за спину и тихонько раскрыл длинный испанский нож, который он на всякий случай всегда носил с собой.

Приятели явно были достойны друг друга и поняли это; Андреа мирно извлек руку из кармана и стал поглаживать свои рыжие усы.

— Наконец-то ты заживешь счастливо, дружище Кадрусс, — сказал он.

— Постараюсь сделать все возможное для этого, — ответил трактирщик с Гарского моста, снова складывая нож.

— Ладно, едем в Париж. Но как ты проедешь заставу, не вызывая подозрений? Мне кажется, в таком костюме ты еще больше рискуешь, сидя в экипаже, чем шагая пешком.

— Погоди, — сказал Кадрусс, — сейчас уви-

дишь.

Он надел шляпу Андреа, накинул плащ с большим воротником, оставленный грумом в экипаже, и принял сосредоточенный вид, подобающий слуге из хорошего дома, когда хозяин сам правит лошадью.

— А я что же, так и поеду с непокрытой головой? — сказал Андреа.

— Эка важность! — фыркнул Кадрусс. — Сегодня такой ветер, что у тебя могла слететь шляпа.

— Ладно, — сказал Андреа, — покончим с этим.

— Да кто ж тебе мешает? — сказал Кадрусс. — Не я, надеюсь?

— Шш… — прошептал Кавальканти.

Заставу миновали благополучно.

Доехав до первой улицы, Андреа остановил лошадь, и Кадрусс спрыгнул на землю.

— Позволь, — сказал Андреа, — а плащ, а моя шляпа?

— Ты же не хочешь, чтобы я простудился, — отвечал Кадрусс.

— А как же я?

— Ты молод, а я уже становлюсь стар. До свидания, Бенедетто!

И он исчез в переулке.

— Увы, — сказал со вздохом Андреа, — неужели

на земле невозможно полное счастье?

VIII
СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА

Доехав до площади Людовика XV, молодые люди расстались: Моррель направился к Бульварам, Шато-Рено к мосту Революции, а Дебрэ поехал по набережной.

Моррель и Шато-Рено, по всей вероятности, вернулись к своим домашним очагам, как еще до сих пор говорят с трибуны Палаты в красиво построенных речах и на сцене театра улицы Ришелье в красиво написанных пьесах, но Дебрэ поступил иначе. У ворот Лувра он повернул налево, рысью пересек площадь Карусель, направился по улице Сен-Рок, повернул на улицу Мишодьер и подъехал к дому Данглара как раз в ту минуту, когда ландо Вильфора, завезя его самого с женой в предместье Сент-Оноре, доставило домой баронессу.

Дебрэ, как свой человек в доме, первый въехал во двор, бросил поводья лакею, а сам вернулся к экипажу, помог г-же Данглар сойти и взял ее под руку, чтобы проводить в комнаты.

Как только ворота закрылись и баронесса вме-

сте с Дебрэ очутились во дворе, он сказал:

— Что с вами, Эрмина? Почему вам стало дурно, когда граф рассказывал эту историю, или, вернее, эту сказку?

— Потому, что я вообще отвратительно себя чувствовала сегодня, мой друг, — ответила баронесса.

— Да нет же, Эрмина, — возразил Дебрэ, — я никогда этому не поверю. Наоборот, вы были прекрасно настроены, когда приехали к графу. Правда, господин Данглар был немного не в духе, но я ведь знаю, как мало вы обращаете внимания на его дурное настроение. Кто-то вас расстроил. Расскажите мне, в чем дело, вы же знаете, я не потерплю, чтобы вас обидели.

— Уверяю вас, Люсьен, вы ошибаетесь, — сказала госпожа Данглар, — все дело просто в самочувствии, как я вам сказала, да еще в дурном настроении, которое вы заметили и о котором я не считала нужным вам говорить.

Было очевидно, что г-жа Данглар находится во власти того нервного возбуждения, в котором женщины часто сами не отдают себе отчета, или же что она, как угадал Дебрэ, испытала какое-то скрытое потрясение, в котором не хотела никому сознаться. Дебрэ, привыкший считаться с беспри-

чинной нервозностью как с одним из элементов женской натуры, перестал настаивать и решил ждать благоприятной минуты, когда можно будет снова задать этот вопрос или когда ей самой вздумается признаться.

У дверей своей спальни баронесса встретила мадемуазель Корнели, свою доверенную камеристку.

— Что делает моя дочь? — спросила г-жа Данглар.

— Весь вечер занималась, а потом легла, — ответила мадемуазель Корнели.

— Но, мне кажется, кто-то играет на рояле?

— Это играет мадемуазель д'Армильи, а мадемуазель Эжени лежит в постели.

— Хорошо, — сказала г-жа Данглар, — помогите мне раздеться.

Вошли в спальню. Дебрэ растянулся на широком диване, а г-жа Данглар вместе с мадемуазель Корнели прошла в свою уборную.

— Скажите, Люсьен, — спросила через дверь г-жа Данглар, — Эжени по-прежнему не желает с вами разговаривать?

— Не я один на это жалуюсь, сударыня, — сказал Люсьен, играя с собачкой баронессы; она признавала его за друга дома и всегда ласкалась

к нему. — Помнится, я слышал на днях у вас, как Морсер сетовал, что не может добиться ни слова от своей невесты.

— Это верно, — сказала г-жа Данглар, — но я думаю, что скоро все изменится и Эжени явится к вам в кабинет.

— Ко мне в кабинет?

— Я хочу сказать — в кабинет министра.

— Зачем?

— Чтобы попросить вас устроить ей ангажемент в оперу. Право, я никогда не видела такого пристрастия к музыке. Для девушки из общества это смешно!

Дебрэ улыбнулся.

— Ну что ж, — сказал он, — пусть приходит, раз вы и барон согласны. Мы устроим ей этот ангажемент и постараемся, чтобы он соответствовал ее достоинствам, хотя мы слишком бедны, чтобы оплачивать такой талант, как у нее.

— Можете идти, Корнели, — сказала г-жа Данглар, — вы мне больше не нужны.

Корнели удалилась, и через минуту г-жа Данглар вышла из уборной в очаровательном неглиже. Она села рядом с Люсьеном и стала задумчиво гладить болонку.

Люсьен молча смотрел на нее.

— Слушайте, Эрмина, — сказал он наконец, — скажите откровенно: вы чем-то огорчены, правда?

— Нет, ничем, — возразила баронесса.

Но ей было душно, она встала, попыталась вздохнуть полной грудью и подошла к зеркалу.

— Я сегодня похожа на пугало, — сказала она.

Дебрэ, улыбаясь, встал, чтобы подойти к баронессе и успокоить ее на этот счет, как вдруг дверь открылась.

Вошел Данглар, Дебрэ снова опустился на диван.

Услышав, что открывается дверь, г-жа Данглар обернулась и взглянула на мужа с удивлением, которое даже не старалась скрыть.

— Добрый вечер, сударыня, — сказал банкир. — Добрый вечер, господин Дебрэ.

По-видимому, баронесса объяснила себе это неожиданное посещение тем, что барон пожелал загладить колкости, которые несколько раз за этот день вырывались у него.

Она приняла гордый вид и, не отвечая мужу, обернулась к Люсьену.

— Почитайте мне что-нибудь, господин Дебрэ, — сказала она.

Дебрэ, которого этот визит сначала несколько

встревожил, успокоился, видя невозмутимость баронессы, и протянул руку к книге, заложенной перламутровым ножом с золотой инкрустацией.

— Прошу прощения, — сказал банкир, — но вы утомлены, баронесса, и вам пора отдохнуть; уже одиннадцать часов, а господин Дебрэ живет очень далеко.

Дебрэ остолбенел, и не потому, что тон Данглара не был вежливым и спокойным, но за этой вежливостью и спокойствием сквозила непривычная готовность не считаться на сей раз с желаниями жены.

Баронесса тоже была изумлена и выразила свое удивление взглядом, который, вероятно, заставил бы ее мужа задуматься, если бы его глаза не были устремлены в газету, где он искал биржевой бюллетень.

Таким образом, этот гордый взгляд пропал даром и совершенно не достиг цели.

— Господин Дебрэ, — сказала баронесса, — имейте в виду, что у меня нет ни малейшей охоты спать, что мне о многом надо рассказать вам и что вам придется слушать меня всю ночь, как бы вас ни клонило ко сну.

— К вашим услугам, сударыня, — невозмутимо ответил Люсьен.

— Дорогой господин Дебрэ, — вмешался банкир, — прошу вас, избавьте себя сегодня от болтовни г-жи Данглар; вы с таким же успехом можете выслушать ее и завтра. Но сегодняшний вечер принадлежит мне, я оставляю его за собой и посвящу его, с вашего разрешения, серьезному разговору со своей женой.

На этот раз удар был такой прямой и направлен так метко, что он ошеломил Люсьена и баронессу; они переглянулись, как бы желая найти друг в друге опору против этого нападения; но непререкаемая власть хозяина дома восторжествовала, и победа осталась за мужем.

— Не думайте только, что я вас гоню, дорогой Дебрэ, — продолжал Данглар, — вовсе нет, ни в коем случае! Но в виду непредвиденных обстоятельств мне необходимо сегодня же переговорить с баронессой; это случается не так часто, чтобы на меня за это сердиться.

Дебрэ пробормотал несколько слов, раскланялся и вышел, наталкиваясь на мебель, как Матфан в «Гофолии».

«Просто удивительно, — сказал он себе, когда за ним закрылась дверь, — до чего эти мужья, которых мы всегда высмеиваем, легко берут над нами верх!»

Когда Люсьен ушел, Данглар занял его место на диване, захлопнул книгу, оставшуюся открытой, и, приняв невероятно натянутую позу, тоже стал играть с собачкой. Но так как собачка, не относившаяся к нему с такой симпатией, как к Дебрэ, хотела его укусить, он взял ее за загривок и отшвырнул в противоположный конец комнаты на кушетку.

Собачка на лету завизжала, но, оказавшись на кушетке, забилась за подушку и, изумленная таким непривычным обращением, замолкла и не шевелилась.

— Вы делаете успехи, сударь, — сказала, не сморгнув, баронесса. — Обычно вы просто грубы, но сегодня вы ведете себя, как животное.

— Это оттого, что у меня сегодня настроение хуже, чем обычно, — отвечал Данглар.

Эрмина взглянула на банкира с величайшим презрением. Эта манера бросать презрительные взгляды обычно выводила из себя заносчивого Данглара, но сегодня он, казалось, не обратил на это никакого внимания.

— А мне какое дело до вашего плохого настроения? — отвечала баронесса, возмущенная спокойствием мужа. — Это меня не касается. Сидите со своим плохим настроением у себя или

проявляйте его в своей конторе; у вас есть служащие, которым вы платите, вот и срывайте на них свои настроения!

— Нет, сударыня, — отвечал Данглар, — ваши советы неуместны, и я не желаю их слушать. Моя контора — это моя золотоносная река, как говорит, кажется, господин Демутье, и я не намерен мешать ее течению и мутить ее воды. Мои служащие — честные люди, помогающие мне наживать состояние, и я плачу им неизмеримо меньше, чем они заслуживают, если оценивать их труд по его результатам. Мне не за что на них сердиться, зато меня сердят люди, которые кормятся моими обедами, загоняют моих лошадей и опустошают мою кассу.

— Что же это за люди, которые опустошают вашу кассу? Скажите яснее, сударь, прошу вас.

— Не беспокойтесь, если я и говорю загадками, то вам не придется долго искать ключ к ним, — возразил Данглар. — Мою кассу опустошают те, кто за один час вынимает из нее пятьсот тысяч франков.

— Я вас не понимаю, — сказала баронесса, стараясь скрыть дрожь в голосе и краску на лице.

— Напротив, вы прекрасно понимаете, — сказал Данглар, — но раз вы упорствуете, я скажу

вам, что я потерял на испанском займе семьсот тысяч франков.

— Вот как! — насмешливо сказала баронесса. — И вы обвиняете в этом меня?

— Почему бы нет?

— Я виновата, что вы потеряли семьсот тысяч франков?

— Во всяком случае, не я.

— Раз навсегда, сударь, — резко возразила баронесса, — я запретила вам говорить со мной о деньгах: к этому языку я не привыкла ни у моих родителей, ни в доме моего первого мужа.

— Охотно верю, — сказал Данглар, — все они не имели ни единого су за душой.

— Тем более я не могла познакомиться с вашим банкирским жаргоном, который мне здесь режет ухо с утра до вечера. Ненавижу звон монет, которые считают и пересчитывают. Не знаю, что может быть противнее, разве только звук вашего голоса!

— Вот странно, — сказал Данглар. — А я думал, что вы очень даже интересуетесь моими денежными операциями.

— Я? Что за нелепость! Кто вам это сказал?

— Вы сами.

— Бросьте!

— Разумеется.

— Интересно знать, когда это было.

— Сейчас скажу. В феврале вы первая заговорили со мной о гаитянском займе, вы будто бы видели во сне, что в гаврский порт вошло судно и привезло известие об уплате долга, который считали отложенным до греческих календ. Я знаю, что вы склонны к ясновидению, поэтому я велел потихоньку скупить все облигации гаитянского займа, какие только можно было найти, и нажил четыреста тысяч франков; из них сто тысяч были честно переданы вам. Вы истратили их, как хотели, я в это не вмешивался.

В марте шла речь о железнодорожной концессии. Конкурентами были три компании, предлагавшие одинаковые гарантии. Вы сказали мне, будто ваше внутреннее чутье подсказывает вам, что предпочтение будет оказано так называемой Южной компании.

И хоть вы и утверждаете, что финансовые дела вам чужды, однако, мне кажется, ваше внутреннее чутье весьма изощренно в некоторых вопросах.

Итак, я немедленно записал на себя две трети акций Южной компании. Предпочтение действительно было оказано ей; как вы и предвидели,

акции поднялись втрое, и я нажил на этом миллион, из которого двести пятьдесят тысяч франков были переданы вам на булавки. А на что вы употребили эти двести пятьдесят тысяч франков? Это как будто меня не касается.

— Но к чему вы клоните, наконец? — воскликнула баронесса, дрожа от досады и возмущения.

— Терпение, сударыня, я сейчас кончу.

— Слава Богу!

— В апреле вы были на обеде у министра; там говорили об Испании, и вы случайно услышали секретный разговор: речь шла об изгнании Дон Карлоса. Я купил испанский заем. Изгнание совершилось, и я нажил шестьсот тысяч франков, в тот день, когда Карл Пятый перешел Бидасоа. Из этих шестисот тысяч франков вы получили пятьдесят тысяч экю; они были ваши, вы распорядились ими по своему усмотрению, и я не спрашиваю у вас отчета. Но как-никак в этом году вы получили пятьсот тысяч ливров.

— Ну, дальше?

— Дальше? В этом-то и беда, что дальше дело пошло хуже.

— У вас такие странные выражения…

— Они передают мою мысль, это все, что мне надо… Дальше — это было три дня тому назад.

Три дня назад вы беседовали о политике с Дебрэ, и из его слов вам показалось, что Дон Карлос вернулся в Испанию; тогда я решаю продать свой заем; новость облетает всех, начинается паника, я уже не продаю, я отдаю даром; на следующий день оказывается, что известие было ложное, и из-за этого ложного известия я потерял семьсот тысяч франков.

— Ну и что же?

— А то, что если я вам даю четвертую часть своего выигрыша, то вы должны мне возместить четвертую часть моего проигрыша; четвертая часть семисот тысяч франков — это сто семьдесят пять тысяч франков.

— Но вы говорите чистейший вздор, и я, право, не понимаю, почему вы ко всей этой истории приплели имя Дебрэ.

— Да потому, что если у вас случайно не окажется ста семидесяти пяти тысяч франков, которые мне нужны, вам придется занять их у ваших друзей, а Дебрэ — ваш друг.

— Какая гадость! — воскликнула баронесса.

— Пожалуйста, без громких фраз, без жестов, без современной драмы, сударыня. Иначе я буду вынужден сказать вам, что я отсюда вижу, как Дебрэ посмеивается, пересчитывая пятьсот тысяч

ливров, которые вы ему передали в этом году, и говорит себе, что, наконец, нашел то, чего не могли найти самые ловкие игроки: рулетку, в которую выигрывают, ничего не ставя и не теряя при проигрыше.

Баронесса вышла из себя.

— Негодяй, — воскликнула она, — посмейте только сказать, что вы не знали того, в чем осмеливаетесь меня сегодня упрекнуть!

— Я не говорю, что знал, и не говорю, что не знал. Я только говорю: припомните мое поведение за те четыре года, что вы мне больше не жена, а я вам больше не муж,[в]и вы увидите, насколько оно логично. Незадолго до нашего разрыва вы пожелали заниматься музыкой с этим знаменитым баритоном, который столь успешно дебютировал в Итальянском театре, а я решил научиться танцевать под руководством танцовщицы, так прославившейся в Лондоне. Это мне обошлось, за вас и за себя, примерно в сто тысяч франков. Я ничего не сказал, потому что в семейной жизни нужна гармония. Сто тысяч франков за то, чтобы муж и жена основательно изучили музыку и танцы, — это не так уж дорого. Вскоре музыка вам надоедает и у вас является желание изучать дипломатическое искусство под руководством

секретаря министра; я предоставляю вам эту возможность. Понимаете, мне нет дела до этого, раз вы сами оплачиваете свои уроки. Но теперь я вижу, что вы обращаетесь к моей кассе и что ваше образование может мне стоить семьсот тысяч франков в месяц. Стоп, сударыня, так продолжаться не может. Либо дипломат будет давать вам уроки… даром и я буду терпеть его, либо ноги его больше не будет в моем доме. Понятно, сударыня?

— Это уже слишком, сударь! — воскликнула, задыхаясь, Эрмина. — Это гнусно! Вы переходите все границы!

— Но я с удовольствием вижу, — сказал Данглар, — что вы от меня не отстаете и по доброй воле исполняете установление гражданского кодекса: «Жена да последует за своим мужем».

— Вы оскорбляете меня!

— Вы правы. Прекратим это и поговорим спокойно. Я лично никогда не вмешивался в ваши дела, разве только для вашего блага; последуйте моему примеру. Вы говорите, мои средства вас не касаются? Отлично, распоряжайтесь своими собственными, а мои не умножайте и не умаляйте. Впрочем, может быть, все это просто предательский трюк. Министр взбешен тем, что я

в оппозиции, и завидует моей популярности; может быть, он сговорился с Дебрэ разорить меня?

— Как это правдоподобно!

— Очень даже. Где же это видано… ложное телеграфное известие — вещь невозможная или почти невозможная. Два последних телеграфа подали сигналы, совершенно отличные от остальных… Право, это как будто нарочно для меня сделано.

— Вы же знаете, кажется, — сказала уже более смиренно баронесса, — что этого чиновника прогнали и даже собирались судить; был уже отдан приказ от его аресте, но

«чиновник скрылся. Его бегство доказывает, что он или сумасшедший, или преступник… Нет, это была ошибка.

— Да, и над этой ошибкой смеются глупцы, она стоит бессонной ночи министру, из-за нее господа государственные секретари марают бумагу, но мне она обходится в семьсот тысяч франков.

— Но, послушайте, — вдруг заявила Эрмина, — раз все это, по-вашему, исходит от Дебрэ, почему вы говорите это мне, а не самому Дебрэ? Почему вы обвиняете мужчину, а ответа спрашиваете с женщины?

— Разве я знаю Дебрэ? — сказал Данглар. — Раз-

ве я хочу его знать? Разве я должен знать, что это он дает советы? Разве я желаю им следовать? Разве я играю на бирже? Нет, все это относится к вам, а не ко мне.

— Но раз вам это выгодно.

Данглар пожал плечами.

— До чего глупы женщины! Считают себя гениальными, если им удалось так провести одну или десять любовных интриг, чтобы о них не говорил весь Париж. Но имейте в виду, что даже если бы вы сумели скрыть свои похождения от мужа, — а это проще всего, потому что в большинстве случаев мужья просто не желают видеть, — то и тогда вы были бы лишь жалкой копией половины ваших светских приятельниц. Но и этого нет: я всегда все знал; за шестнадцать лет вы, может быть, сумели скрыть от меня какую-нибудь мысль, но ни одного движения, ни одного поступка, ни одной провинности. Вы восхищались своей ловкостью и были твердо уверены, что обманываете меня, а что получилось? Благодаря моему притворному неведению, среди ваших друзей, от де Вильфора до Дебрэ, не было ни одного, кто не боялся бы меня. Не было ни одного, кто не считался бы со мной как с хозяином дома, — единственное, чего я от вас требую; наконец, ни

один не посмел бы говорить с вами обо мне так, как я сам говорю сейчас. Можете изображать меня отвратительным, но я не позволю вам делать меня смешным, а главное, я категорически запрещаю вам разорять меня.

Пока не было произнесено имя Вильфора, баронесса еще кое-как держалась; но при этом имени она побледнела и, точно движимая какой-то пружиной, встала, протянула руки, словно заклиная привидение, и шагнула к мужу, как бы желая вырвать у него последнее слово тайны, которой он сам не знал или, быть может, из какого-нибудь расчета, гнусного, как почти все расчеты Данглара, не хотел окончательно выдать.

— Вильфор? Что это значит? Что вы хотите сказать?

— Это значит, сударыня, что господин де Наргон, ваш первый муж, не будучи ни философом, ни банкиром, а быть может, будучи и тем и другим и увидев, что не может извлечь никакой пользы от королевского прокурора, умер от горя или гнева, застав вас после девятимесячного отсутствия на шестом месяце беременности. Я груб, я не только знаю это, но горжусь этим: это одно из средств, которыми я достигаю успеха в коммерческих операциях. Почему, вместо того

чтобы самому убить, он допустил, чтобы его убили? Потому что у него не было капитала, который требовалось бы защищать. А я принадлежу своему капиталу. По вине моего компаньона Дебрэ я потерял семьсот тысяч франков. Пусть он внесет свою долю убытка, и мы будем продолжать вести дело вместе; или же пусть объявит себя несостоятельным должником этих ста семидесяти пяти тысяч франков и сделает то, что делают банкроты: пусть исчезнет. Да, конечно, я знаю — это очаровательный молодой человек, когда его сведения верны; но если они неверны, то в обществе найдется пятьдесят других, которые стоят больше, чем он.

Госпожа Данглар была уничтожена, и все же она сделала последнее усилие, чтобы ответить на этот выпад. Она упала в кресло, думая о Вильфоре, о том, что произошло за обедом, об этой страшной цепи несчастий, которые в последние дни одно за другим обрушивались на ее дом, превращая уютный покой ее семейной жизни в неприличные ссоры.

Данглар даже не взглянул на нее, хотя она изо всех сил старалась лишиться чувств. Не сказав больше ни слова, он закрыл за собой дверь спальни и прошел к себе, так что г-жа Данглар,

очнувшись от своего полуобморока, могла подумать, что ей приснился дурной сон.

IX
БРАЧНЫЕ ПЛАНЫ

На следующий день после этой сцены, в тот час, когда Дебрэ по дороге в министерство обычно заезжал к г-же Данглар, его карета не въехала во двор.

В этот самый час, а именно в половине первого, г-жа Данглар приказала подать экипаж и выехала из дому.

Данглар, спрятавшись за занавеской, следил за этим отъездом, которого он ожидал. Он распорядился, чтобы ему доложили, как только г-жа Данглар вернется, но и к двум часам она еще не вернулась.

В два часа он потребовал лошадей, поехал в Палату и записался в число ораторов, собиравшихся возражать против бюджета.

От двенадцати до двух Данглар безвыходно сидел у себя в кабинете, все более хмурясь, читал депеши, подсчитывал бесконечные цифры и принимал посетителей, в том числе майора Кавальканти, который, как всегда, багровый,

чопорный и пунктуальный, явился в условленный накануне час, чтобы покончить свои дела с банкиром.

Выйдя из Палаты, Данглар, во время заседания чрезвычайно волновавшийся и резче, чем когда-либо, нападавший на министерство, сел в свой экипаж и велел кучеру ехать на авеню Елисейских полей, № 30.

Монте-Кристо был дома, но у него кто-то сидел, и он попросил Данглара подождать несколько минут в гостиной.

Пока банкир сидел в ожидании, дверь отворилась и вошел человек в одежде аббата; будучи, по-видимому, короче знаком с хозяином, он не остался ждать, как Данглар, а поклонился ему, прошел во внутренние комнаты и скрылся.

Почти сейчас же та дверь, за которой исчез священник, открылась снова, и появился Монте-Кристо.

— Простите, дорогой барон, — сказал он. — Видите ли, в Париж только что прибыл один из моих добрых друзей, аббат Бузони; вы, вероятно, заметили его, он здесь проходил. Мы давно не виделись, и у меня не хватило духу сразу же с ним расстаться. Надеюсь, вы меня поймете и извините, что я заставил вас ждать.

— Помилуйте, — сказал Данглар, — это так естественно; я попал не вовремя и сейчас же удалюсь.

— Ничего подобного, напротив, присаживайтесь, пожалуйста. Но, Боже правый, что это с вами? У вас такой озабоченный вид; вы меня просто пугаете. Опечаленный капиталист подобен комете, он тоже всегда предвещает миру несчастье.

— Дело в том, дорогой граф, что меня уже несколько дней преследуют неудачи, и я все время получаю дурные вести.

— Ужасно! — сказал Монте-Кристо. — Вы опять проиграли на бирже?

— Нет, это я бросил по крайней мере на некоторое время; на этот раз просто одно банкротство в Триесте.

— Вот как? Вы, вероятно, говорите о банкротстве Джакопо Манфреди?

— Совершенно верно. Представьте себе, человек, который, не помню уж с каких пор, ведет со мной дела на восемьсот — девятьсот тысяч франков ежегодно. Ни разу ни одной задержки, ни одного недочета; человек расплачивался, как князь… который платит. Я авансирую ему миллион, и вдруг этот чертов Джакопо Манфреди

приостанавливает платежи!

— В самом деле?

— Неслыханное несчастье. Я выдаю на него переводный вексель на шестьсот тысяч ливров, который возвращается неоплаченным, да кроме того, у меня лежит на четыреста тысяч франков его векселей сроком на конец этого месяца, которые должен оплатить его парижский корреспондент. Сегодня тридцатое, я посылаю за деньгами; не тут-то было, корреспондент скрылся. Если считать еще испанскую историю, я славно заканчиваю этот месяц.

— Но разве вы так много потеряли на этой испанской истории?

— Разумеется, у меня вылетело семьсот тысяч франков, ни больше ни меньше.

— Как же вы, черт возьми, так попались? Ведь вы матерый волк.

— Это все жена. Ей приснилось, что Дон Карлос вернулся в Испанию, а она верит снам. Она говорит, что это магнетизм, и когда видит что-нибудь во сне, то уверяет, что все непременно так и будет. Я позволил ей сыграть, как она считает нужным: у нее свои средства и свой собственный маклер. Она сыграла и проиграла. Правда, она играла не на мои деньги, а на свои. Но вы понимаете, когда

жена проигрывает семьсот тысяч франков, это немного отзывается и на муже. Как, вы этого не знали? Это было злобой дня.

— Я слышал об этом, но не знал подробностей; к тому же я совершенный профан в биржевых делах.

— Вы совсем не играете?

— Я? Когда же мне играть? Я и так едва справляюсь с подсчетом своих доходов. Мне пришлось бы, кроме управляющего, завести еще конторщика и кассира. Но, кстати, об Испании; мне кажется, баронесса могла не только во сне видеть возвращение Дон Карлоса. Разве об этом не говорилось в газетах?

— Неужели вы верите газетам?

— Ни на грош. Но этот честный "Вестник", кажется, исключение из правила и сообщает только достоверные сведения, телеграфные сообщения.

— Вот это и непонятно, — возразил Данглар. — Ведь известие о возвращении Дон Карлоса было действительно получено по телеграфу.

— Так что за этот месяц, — сказал Монте-Кристо, — вы потеряли примерно миллион семьсот тысяч франков?

— И не примерно, а в точности.

— Черт возьми! Для третьестепенного состоя-

ния это жестокий удар, — сочувственно заметил Монте-Кристо.

— То есть как это третьестепенного? — сказал Данглар, несколько обиженный.

— Да, конечно, — продолжал Монте-Кристо, — на мой взгляд, есть три категории богатства: первостепенные состояния, второстепенные и третьестепенные. Я называю первостепенным состоянием такое, которое слагается из ценностей, находящихся под рукой: земли, рудники, государственные бумаги таких держав, как Франция, Австрия и Англия, если только эти ценности, рудники и бумаги составляют в общем сумму в сто миллионов. Второстепенным состоянием я называю промышленные предприятия, акционерные компании, наместничества и княжества, дающие не более полутора миллионов годового дохода, при капитале не свыше пятидесяти миллионов. Наконец, третьестепенное состояние — это капиталы, пущенные в оборот, доходы, зависящие от чужой воли или игры случая, которым чье-нибудь банкротство может нанести ущерб, которые может поколебать телеграфное сообщение, случайные спекуляции — словом, дела, зависящие от удачи, что можно назвать низшей силой, если ее сравнивать с высшей силой — силой природы;

они составляют в общем фиктивный или действительный капитал миллионов в пятнадцать. Ведь ваше положение именно такое, правда?

— Верно, — ответил Данглар.

— Из этого следует, — невозмутимо продолжал Монте-Кристо, — что, если шесть месяцев кряду будут заканчиваться так же, как и этот, третьестепенная фирма окажется при последнем издыхании.

— Ну, уж вы скажете! — протянул Данглар, невесело улыбаясь.

— Скажем, семь месяцев, — продолжал тем же тоном Монте-Кристо. — Скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, что семь раз миллион семьсот тысяч франков— это почти двенадцать миллионов?.. Нет, никогда? И хорошо делали, потому что после таких размышлений уже не станешь рисковать своими капиталами, которые для финансиста все равно что кожа для цивилизованного человека. Мы носим более или менее пышные одежды, и они придают нам вес, но когда человек умирает, у него остается только его кожа. Так и вы, бросив дела, останетесь при вашем действительном состоянии, то есть самое большее при пяти или шести миллионах; ибо третьестепенные состояния представляют,

в сущности, только треть или четверть своей видимости, как железнодорожный локомотив — всего лишь более или менее сильная машина, хоть он и кажется огромным в клубах дыма. Ну так вот, из вашего действительного актива в пять миллионов вы только что лишились почти двух; соответственно уменьшилось и ваше фиктивное состояние, ваш кредит; другими словами, дорогой господин Данглар, вам было сделано кровопускание, которое, если его повторить четыре раза, вызовет смерть. Смотрите, дорогой друг, будьте осторожней! Может быть, вам нужны деньги? Хотите, я вас ссужу?

— Вы все же плохо считаете! — воскликнул Данглар, призывая на помощь всю свою логику и всю выдержку. — В эту самую минуту моя касса уже наполнена благодаря другим, более удачным спекуляциям. Потеря крови возмещена питанием. Я проиграл битву в Испании, я побит в Триесте, но мой индийский флот, быть может, захватил несколько судов, мои разведчики в Мексике где-нибудь наткнулись на руду.

— Прекрасно, прекрасно! Но шрам остался и при первой же потере начнет кровоточить.

— Нет, потому что я действую наверняка, — продолжал Данглар с пошлым хвастовством

шарлатана, у которого вошло в привычку превозносить себя, — чтобы свалить меня, потребовалось бы свержение трех правительств.

— Что ж! Это бывало.

— Гибель всех урожаев.

— Вспомните о семи тучных и семи тощих коровах.

— Или чтобы море ушло от берегов, как во времена фараона; да ведь морей много, а заменой кораблям стали бы караваны, только и всего.

— Тем лучше, тем лучше, дорогой господин Данглар, — сказал Монте-Кристо, — я вижу, что ошибался и что вы принадлежите к капиталистам второй степени.

— Смею думать, что я могу претендовать на эту честь, — сказал Данглар со своей стереотипной улыбкой, напоминавшей Монте-Кристо маслянистую луну, которую малюют плохие художники, изображая развалины. — Но раз уж мы заговорили о делах, — прибавил он, радуясь поводу переменить разговор, — скажите мне, что, по-вашему, я мог бы сделать для господина Кавальканти?

— Дать ему денег, если он аккредитован на вас и если вы этому кредиту доверяете.

— Еще бы, вполне! Он явился ко мне сегодня

утром с чеком на сорок тысяч франков, подписанным Бузони и адресованным на ваше имя, с вашим бланком на обороте. Вы понимаете, что я ему немедленно отсчитал сорок бумажек.

Монте-Кристо кивнул в знак полного одобрения.

— Но это еще не все, — продолжал Данглар, — он открыл у меня кредит своему сыну.

— Разрешите нескромный вопрос: а сколько он дает сыну?

— Пять тысяч франков в месяц.

— Шестьдесят тысяч в год! Я так и думал, — сказал Монте-Кристо, пожимая плечами. — Все Кавальканти — ужасные скряги. Что такое для молодого человека пять тысяч франков в месяц?

— Но вы понимаете, что если молодому человеку понадобится лишних несколько тысяч…

— Не давайте ему, отец и не подумает вам их зачесть; вы не знаете итальянских миллионеров: это сущие Гарпагоны. А кто открыл ему этот кредит?

— Банк Фенци, одна из лучших фирм Флоренции.

— Я не хочу сказать, что вам грозят убытки, отнюдь, но все же вы выходите из пределов кредита.

— Вы, значит, не слишком доверяете этому Кавальканти?

— Я? Я дам ему под его подпись десять миллионов.

Это, по моему распределению, состояние второй степени, дорогой барон.

— А как он прост! Я принял бы его за обыкновенного майора.

— И сделали бы ему честь; вы правы, вид у него не очень внушительный. Когда я его увидел в первый раз, я решил, что это какой-нибудь старый лейтенант, заплесневевший в своем мундире. Но таковы все итальянцы: они похожи на старых евреев, если не поражают своим великолепием, как восточные маги.

— Сын выглядит лучше, — сказал Данглар.

— Немного робок, пожалуй, но в общем вполне приличен. Я за него слегка опасался.

— Почему?

— Потому что, когда вы его у меня видели, это был чуть ли не первый его выезд в свет; по крайней мере мне так говорили. Он путешествовал с очень строгим воспитателем и никогда не был в Париже.

— Говорят, все эти знатные итальянцы женятся обыкновенно в своем кругу? — небрежно

спросил Данглар. — Они любят объединять свои богатства.

— Обыкновенно — да, но Кавальканти — большой оригинал и все делает по-своему. Он, несомненно, привез сына во Францию, чтобы здесь его женить.

— Вы так полагаете?

— Уверен в этом.

— И здесь знают о его состоянии?

— Об этом очень много говорят, только одни приписывают ему миллионы, а другие утверждают, что у него нет ни гроша.

— А ваше мнение?

— Мое мнение субъективно, с ним не стоит считаться.

— Но все-таки…

— Видите ли, все эти Кавальканти когда-то командовали армиями, управляли провинциями. Я считаю, что у всех этих старых подеста и былых кондотьеров есть миллионы, зарытые по разным углам, о которых знают только старшие в роде, передавая это знание по наследству из поколения в поколение. Поэтому все они желтые и жесткие, как их флорины времен Республики, которые они так давно созерцают, что отблеск этого золота лег на их лица.

— Вот именно, — сказал Данглар, — и это тем более верно, что ни у кого из них нет ни клочка земли.

— Или, во всяком случае, очень мало; сам я видел только дворец Кавальканти в Лукке.

— А, у него есть дворец? — сказал, смеясь, Данглар. — Это уже кое-что!

— Да и то он его сдал министру финансов, а сам живет в маленьком домике. Я же сказал вам, что он человек прижимистый.

— Не очень-то вы ему льстите!

— Послушайте, я ведь его почти не знаю, я встречался с ним раза три. Все, что мне о нем известно, я слышал от аббата Бузони и от него самого. Он говорил мне сегодня о своих планах относительно сына и намекнул, что ему надоело держать свои капиталы в Италии, мертвой стране, и что он не прочь пустить свои миллионы в оборот либо во Франции, либо в Англии. Но имейте в виду, что, хотя я отношусь с величайшим доверием к самому аббату Бузони, я все же ни за что не отвечаю.

— Все равно, спасибо вам за клиента; такое имя украшает мои книги, и мой кассир, которому я объяснил, кто такие Кавальканти, очень гордится этим. Кстати, — спрашиваю просто из

любознательности, — когда эти люди женят своих сыновей, дают они им приданое?

— Как когда. Я знал одного итальянского князя — богатого, как золотая россыпь, потомка одного из знатнейших тосканских родов, — так он, если его сыновья женились, как ему нравилось, награждал их миллионами, а если они женились против его воли, ограничивался тем, что давал им тридцать экю в месяц. Допустим, что Андреа женится согласно воле отца, тогда майор, быть может, даст ему миллиона два, три. Если это будет, например, дочь банкира, то он, возможно, примет участие в деле тестя своего сына. Но допустим, что невестка ему не понравится, тогда прощайте: папаша Кавальканти берет ключ от своей кассы, дважды поворачивает его в замке, и вот наш Андреа вынужден вести жизнь парижского хлыща, передергивая карты или плутуя в кости.

— Этот юноша найдет себе баварскую или перуанскую принцессу. Он пожелает взять за женой княжескую корону с Эльдорадо и Потоси в придачу.

— Ошибаетесь, эти знатные итальянцы нередко женятся на простых смертных; они, как Юпитер, любят смешивать породы. Но, однако, дорогой

барон, что за вопросы вы мне задаете? Уж не собираетесь ли вы женить Андреа?

— Что ж, — сказал Данглар, — это была бы недурная сделка, а я делец.

— Но не на мадемуазель Данглар, я надеюсь? Не захотите же вы, чтобы Альбер перерезал горло бедному Андреа?

— Альбер! — сказал, пожимая плечами, Данглар. — Ну, ему это все равно.

— Разве он не помолвлен с вашей дочерью?

— То есть мы с Морсером поговаривали об этом браке; но госпожа де Морсер и Альбер…

— Неужели вы считаете, что он плохая партия?

— Ну, мне кажется, мадемуазель Данглар стоит не меньше, чем виконт де Морсер!

— Приданое у мадемуазель Данглар будет действительно недурное, я в этом не сомневаюсь, особенно если телеграф перестанет дурить.

— Дело не только в приданом. Но скажите, кстати…

— Да?

— Почему вы не пригласили Морсера и его родителей на этот обед?

— Я его приглашал, но он должен был ехать с госпожой де Морсер в Дьеп; ей советовали поды-

шать морским воздухом.

— Так-так, — сказал, смеясь, Данглар, — этот воздух должен быть ей полезен.

— Почему это?

— Потому что она дышала им в молодости.

Монте-Кристо, по-видимому, пропустил эту колкость мимо ушей.

— Но все-таки, — сказал он, — если Альбер и не так богат, как мадемуазель Данглар, зато, согласитесь, он носит прекрасное имя.

— Что ж, на мой взгляд, и мое не хуже.

— Разумеется, ваше имя пользуется популярностью и само украсило тот титул, которым думали почтить вас; но вы слишком умный человек, чтобы не понимать, что некоторые предрассудки весьма прочны и их не искоренить, и потому пятисотлетнее дворянство выше дворянства, которому двадцать лет.

— Как раз поэтому, — сказал Данглар, пытаясь иронически улыбнуться, — я и предпочел бы Андреа Кавальканти Альберу де Морсеру.

— Однако, мне кажется, Морсеры ни в чем не уступают Кавальканти, — сказал Монте-Кристо.

— Морсеры!.. Послушайте, дорогой граф, — сказал Данглар, — ведь вы благородный человек, не так ли?

— Надеюсь.

— И к тому же знаток в гербах?

— Немного.

— Ну, так посмотрите на мой, он надежнее, чем герб Морсера.

— Почему?

— Потому что, хотя я и не барон по рождению, я, во всяком случае, Данглар.

— И что же?

— А он вовсе не Морсер.

— Как не Морсер?

— Ничего похожего.

— Что вы говорите!

— Меня кто-то сделал бароном, так что я действительно барон; он же сам себя произвел в графы, так что он совсем не граф.

— Не может быть!

— Послушайте, — продолжал Данглар. — Морсер — мой друг, вернее, старый знакомый вот уже тридцать лет; я, знаете, не слишком кичусь своим гербом, потому что никогда не забываю, с чего я начал.

— Это свидетельствует о великом смирении или о великой гордыне, — сказал Монте-Кристо.

— Ну так вот, когда я был мелким служащим, Морсер был простым рыбаком.

— И как его тогда звали?

— Фернан.

— Просто Фернан?

— Фернан Мондего.

— Вы в этом уверены?

— Еще бы! Я в свое время купил у него немало рыбы.

— Тогда почему же вы отдаете за его сына свою дочь?

— Потому что Фернан и Данглар — оба выскочки, добились дворянских титулов, разбогатели и стоят друг друга; а все-таки есть вещи, которые про него говорились, а про меня никогда.

— Что же именно?

— Так, ничего.

— А, понимаю, ваши слова напомнили мне кое-что, связанное с именем Фернана Мондего; я уже слышал это имя в Греции.

— В связи с историей Али-паши?

— Совершенно верно.

— Это его тайна, — сказал Данглар, — и, признаюсь, я бы много дал, чтобы раскрыть ее.

— При большом желании это не так трудно сделать.

— Каким образом?

— У вас, конечно, есть в Греции какой-нибудь

корреспондент?

— Еще бы!

— В Янине?

— Где угодно найдется.

— Так напишите вашему корреспонденту в Янине и спросите его, какую роль сыграл в катастрофе с Али-пашой Тепеленским француз по имени Фернан.

— Вы совершенно правы! — воскликнул Данглар, порывисто вставая. — Я сегодня же напишу.

— Напишите.

— Непременно.

— И если узнаете что-нибудь скандальное…

— Я вам сообщу.

— Буду вам очень признателен.

Данглар выбежал из комнаты и бросился к своему экипажу.

X
КАБИНЕТ КОРОЛЕВСКОГО ПРОКУРОРА

Пока банкир, не щадя лошадей, мчится домой, последуем за г-жой Данглар в ее утренней прогулке.

Мы уже сказали, что в половине первого г-жа

Данглар велела подать лошадей и выехала из дому.

Она направилась к Сен-Жерменскому предместью, свернула на улицу Мазарини и приказала остановиться у пассажа Нового моста.

Она вышла и пересекла пассаж. Она была одета очень просто, как и подобает элегантной женщине, выходящей из дому утром.

На улице Генего она наняла фиакр и велела ехать на улицу Арле.

Оказавшись в экипаже, она тотчас достала из кармана очень густую черную вуаль и прикрепила ее к своей соломенной шляпке; затем она снова надела шляпку и, взглянув в карманное зеркальце, с радостью убедилась, что можно разглядеть только ее белую кожу и блестящие глаза.

Фиакр проехал Новый мост и с площади Дофина свернул во двор Арле; едва кучер открыл дверцу, г-жа Данглар заплатила ему, бросилась к лестнице, быстро по ней поднялась и вошла в Зал потерянных шагов.

Утром в здании суда всегда много дел и много занятых людей, а занятым людям некогда разглядывать женщин, и г-жа Данглар прошла весь Зал потерянных шагов, привлекая к себе не больше внимания, чем десяток других женщин, ожидав-

ших своих адвокатов.

Приемная Вильфора была полна народу, но г-же Данглар даже не понадобилось называть себя: как только она появилась, к ней подошел судебный пристав, осведомился, не она ли та дама, которой господин королевский прокурор назначил прийти, и после утвердительного ответа провел ее особым коридором в кабинет Вильфора.

Королевский прокурор сидел в кресле, спиной к двери, и писал. Он слышал, как открылась дверь, как пристав сказал: "Пожалуйста, сударыня", как дверь закрылась, и даже не шевельнулся; но едва замерли шаги пристава, он быстро поднялся, запер дверь на ключ, спустил шторы и заглянул во все углы кабинета.

Убедившись, что никто не может ни подсмотреть, ни подслушать его, и, следовательно, окончательно успокоившись, он сказал:

— Благодарю вас, что вы так точны, сударыня.

И он подвинул ей кресло; г-жа Данглар села, ее сердце билось так сильно, что она едва дышала.

— Давно уже я не имел счастья беседовать с вами наедине, сударыня, — сказал королевский прокурор, в свою очередь, усаживаясь в кресло и поворачивая его так, чтобы очутиться лицом

к лицу с г-жой Данглар, — и, к великому моему сожалению, мы встретились для того, чтобы приступить к очень тяжелому разговору.

— Однако вы видите, сударь, я пришла по первому вашему зову, хотя этот разговор, безусловно, должен быть еще тяжелее для меня, чем для вас.

Вильфор горько улыбнулся.

— Так, значит, правда, — сказал он, отвечая скорее на собственные мысли, чем на слова г-жи Данглар, — значит, правда, что все наши поступки оставляют на нашем прошлом след, то мрачный, то светлый! Правда, что наши шаги на жизненном пути похожи на продвижение пресмыкающего по песку и проводят борозду! Увы, многие поливают эту борозду слезами!

— Сударь, — сказала г-жа Данглар, — вы понимаете, как я взволнована, не правда ли? Пощадите же меня, прошу вас. В этой комнате, в этом кресле побывало столько преступников, трепещущих и пристыженных… и теперь здесь сижу я, тоже пристыженная и трепещущая! Знаете, мне нужно собрать всю свою волю, чтобы не чувствовать себя преступницей и не видеть в вас грозного судью.

Вильфор покачал головой и тяжело вздохнул.

— А я, — возразил он, — я говорю себе, что мое

место не в кресле судьи, а на скамье подсудимых.

— Ваше? — сказала удивленная г-жа Данглар.

— Да, мое.

— Мне кажется, что вы, с вашими пуританскими взглядами, преувеличиваете, — сказала г-жа Данглар, и в ее красивых глазах блеснул огонек. — Чья пламенная юность не оставила следов, о которых вы говорите? На дне всех страстей, за всеми наслаждениями лежит раскаяние; потому-то Евангелие — извечное прибежище несчастных — и дало нам, бедным женщинам, как опору, чудесную притчу о грешной деве и прелюбодейной жене. И, признаюсь, вспоминая об увлечениях своей юности, я иногда думаю, что Господь простит мне их, потому что если не оправдание, то искупление я нашла в своих страданиях. Но вам-то чего бояться? Вас, мужчин, всегда оправдывает свет, а скандал окружает ореолом.

— Сударыня, — возразил Вильфор, — вы меня знаете; я не лицемер, во всяком случае, я никогда не лицемерю без оснований. Если мое лицо сурово, то это потому, что его омрачили бесконечные несчастья; и если бы мое сердце не окаменело, как оно вынесло бы все удары, которые я испы-

тал? Не таков я был в юности, не таков я был в день своего обручения, когда вы сидели за столом на улице Гран-Кур, в Марселе. Но с тех пор многое переменилось и во мне, и вокруг меня; всю жизнь я потратил на то, что преодолевал препятствия и сокрушал тех, кто вольно или невольно, намеренно или случайно стоял на моем пути и воздвигал эти препятствия. Редко случается, чтобы то, чего пламенно желаешь, столь же пламенно не оберегали другие люди, те, от кого хочешь получить желаемое, пытаешься вырвать его у них из рук. И большинство дурных поступков возникает перед людьми под благовидной личиной необходимости; а после того как в минуту возбуждения, страха или безумия дурной поступок уже совершен, видишь, что ничего не стоило избежать его. Способ, которым надо было действовать, не замеченный нами в минуту ослепления, оказывается таким простым и легким, и мы говорим себе: почему я не сделал то, а сделал это? Вас, женщин, напротив, раскаяние тревожит редко, потому что вы редко сами принимаете решения; ваши несчастья почти никогда не зависят от вас, вы повинны всегда только в чужих преступлениях.

— Во всяком случае, — отвечала г-жа Данглар, — вы должны признать, что если я и виновата,

если это я ответственна за все, то вчера я понесла жестокое наказание.

— Несчастная женщина! — сказал Вильфор, сжимая ее руку. — Наказание слишком жестокое, потому что вы дважды готовы были изнемочь под его тяжестью, а между тем…

— Между тем?..

— Я должен вам сказать… соберите все свое мужество, сударыня, потому что это еще не конец.

— Боже мой! — воскликнула испуганная г-жа Данглар. — Что же еще?

— Вы думаете только о прошлом; нет слов, оно мрачно. Но представьте себе будущее, еще более мрачное, будущее… несомненно, ужасное… быть может, обагренное кровью!

Баронесса знала, насколько Вильфор хладнокровен; она была так испугана его словами, что хотела закричать, но крик замер у нее в горле.

— Как воскресло это ужасное прошлое? — воскликнул Вильфор. — Каким образом из глубины могилы, со дна наших сердец встал этот призрак, чтобы заставить нас бледнеть от ужаса и краснеть от стыда?

— Увы, конечно же, это случайность.

— Случайность! — возразил Вильфор. — Нет, нет, сударыня, случайностей не бывает!

— Да нет же, разве все это не случайность, хотя и роковая? Разве граф де Монте-Кристо не случайно купил этот дом, не случайно велел копать землю? И разве не случайность, наконец, что под деревьями откопали этого несчастного младенца? Мой бедный малютка, я его ни разу не поцеловала, но столько слез о нем пролила! Вся моя душа рвалась к графу, когда он говорил об этих дорогих останках, найденных под цветами!

— Нет, сударыня, — глухо промолвил Вильфор, — вот то ужасное, что я должен вам сказать: под цветами не нашли никаких останков, ребенка не откопали. Не к чему плакать, не к чему стонать, — надо трепетать!

— Что вы хотите сказать? — воскликнула г-жа Данглар, вся дрожа.

— Я хочу сказать, что господин Монте-Кристо, копая землю по этими деревьями, не мог найти ни детского скелета, ни железных частей ящичка, потому что там не было ни того, ни другого.

— Ни того, ни другого? — повторила г-жа Данглар, в ужасе глядя на королевского прокурора широко раскрытыми глазами. — Ни того, ни другого! — повторила она еще раз, как человек, который старается словами, звуком собственного голоса закрепить ускользающую мысль.

— Нет, нет, нет, — проговорил Вильфор, закрывая руками лицо.

— Стало быть, вы не там похоронили несчастного ребенка? Зачем вы обманули меня? Скажите, зачем?

— Нет, там. Но выслушайте меня, выслушайте, и вы пожалеете меня. Двадцать лет, не делясь с вами, я нес это мучительное бремя, но сейчас я вам все расскажу.

— Боже мой, вы меня пугаете! Но все равно, говорите, я слушаю.

— Вы помните, как прошла та несчастная ночь, когда вы задыхались на своей постели в этой комнате, обитой красным штофом, а я, почти так же задыхаясь, как вы, ожидал конца. Ребенок появился на свет и был передан в мои руки недвижный, бездыханный, безгласный, и мы сочли его мертвым.

Госпожа Данглар сделала быстрое движение, словно собираясь вскочить.

Но Вильфор остановил ее, сложив руки, точно умоляя слушать дальше.

— Мы сочли его мертвым, — повторил он, — я положил его в ящичек, который должен был заменить гроб, спустился в сад, вырыл могилу и поспешно его закопал. Едва я успел засыпать его

землей, как на меня напал корсиканец. Передо мной мелькнула чья-то тень и словно сверкнула молния. Я почувствовал боль, хотел крикнуть, ледяная дрожь охватила мое тело, сдавила горло… Я упал замертво и считал себя убитым. Никогда не забуду вашего несравненного мужества, когда, придя в себя, я подполз, полумертвый, к лестнице, и вы, сами полумертвая, спустились ко мне. Необходимо было сохранить в тайне ужасное происшествие; у вас хватило мужества вернуться к себе домой с помощью вашей кормилицы; свою рану я объяснил дуэлью. Вопреки ожиданию, нам удалось сохранить нашу тайну. Меня перевезли в Версаль; три месяца я боролся со смертью, наконец медленно стал возвращаться к жизни, и мне предписали солнце и воздух юга. Четыре человека несли меня из Парижа в Шалон, делая по шести льё в день. Г-жа де Вильфор следовала за носилками в экипаже. Из Шалона я поплыл по Соне, оттуда по Роне и спустился по течению до Арля; в Арле меня снова положили на носилки, и так я добрался до Марселя. Мое выздоровление длилось десять месяцев, я ничего не слышал о вас, не смел справиться, что с вами. Когда я вернулся в Париж, я узнал, что вы овдовели и вышли замуж за Данглара.

О чем я думал с тех пор, как ко мне вернулось сознание? Все об одном, о трупике младенца. Каждую ночь мне снилось, что он выходит из могилы и грозит мне рукой. И вот, едва возвратясь в Париж, я осведомился; в доме никто не жил с тех пор, как мы его покинули, но его только что сдали на девять лет. Я отправился к съемщику, сделал вид, что мне очень не хочется, чтобы дом, принадлежавший родителям моей покойной жены, перешел в чужие руки, и предложил уплатить неустойку за расторжение договора. С меня потребовали шесть тысяч франков; я бы готов был заплатить и десять, и двадцать тысяч. Деньги были у меня с собой, и договор тут же расторгли; добившись этого, я поскакал в Отей. Никто не входил в этот дом с той минуты, как я из него вышел.

Было пять часов дня, я поднялся в красную комнату и стал ждать наступления ночи.

Пока я ждал там, все, что я целый год повторял себе в безысходной тревоге, представилось мне еще более грозным.

Этот корсиканец объявил мне кровную месть; он последовал за мной из Нима в Париж, он спрятался в саду и ударил меня кинжалом. И этот корсиканец видел, как я рыл могилу, как хоро-

нил младенца; он мог узнать, кто вы такая, быть может, он это узнал… Что, если он когда-нибудь заставит вас заплатить за сохранение ужасной тайны? Для него это будет самой сладкой местью, когда он узнает, что не убил меня своим кинжалом. Поэтому необходимо было на всякий случай как можно скорее уничтожить все следы прошлого, уничтожить все его вещественные улики, достаточно того, что оно всегда будет живо в моей памяти.

Вот для чего я уничтожил договор, для чего прискакал сюда и теперь ждал в этой комнате.

Наступила ночь; я ждал, чтобы совсем стемнело; я сидел без света, от порывов ветра колыхались драпировки, и мне за ними мерещился притаившийся шпион; я поминутно вздрагивал, за спиной у меня стояла кровать, мне чудились ваши стоны, и я боялся обернуться. В этом безмолвии я слышал, как бьется мое сердце; оно билось так сильно, что, казалось, моя рана снова откроется; наконец один за другим замерли все звуки в селении. Я понял, что мне больше нечего опасаться, что никто не увидит и не услышит меня, и я решился спуститься в сад.

Знаете, Эрмина, я не трусливей других. Но когда я снял висевший у меня на груди ключик от

лестницы, который нам обоим был так дорог и который вы привесили к золотому кольцу, когда я открыл дверь и увидел, как длинный белый луч луны, скользнув в окно, стелется по витым ступеням, словно привидение, я схватился за стену и чуть не закричал: мне казалось, что я схожу с ума.

Наконец мне удалось овладеть собой. Я начал медленно спускаться; я не мог только побороть странную дрожь в коленях. Я цеплялся за перила, иначе я упал бы.

Я добрался до нижней двери; за нею оказался заступ, прислоненный к стене. У меня был с собой потайной фонарь; дойдя до середине лужайки, я остановился и зажег его, потом пошел дальше.

Был конец ноября, сад стоял оголенный, деревья, словно скелеты, протягивали длинные, иссохшие руки, опавшие листья и песок шуршали у меня под ногами.

Такой ужас сжимал мое сердце, что, подходя к рощице, я вынул из кармана пистолет и взвел курок. Мне все время мерещилось, что из-за ветвей выглядывает корсиканец.

Я осветил кусты потайным фонарем; там никого не было. Я огляделся: я был совсем один, ни один звук не нарушал безмолвия, только сова

кричала пронзительно и зловеще, словно взывая к призракам ночи.

Я повесил фонарь на раздвоенную ветку, которую заметил еще в прошлом году как раз над тем местом, где я тогда выкопал могилу.

За лето здесь выросла густая трава, а осенью никто ее не косил. Все же мне бросилось в глаза одно место, не такое заросшее; было очевидно, что я копал тогда именно здесь. Я принялся за работу.

Наступила, наконец, минута, которой я ждал уже больше года!

Зато как я надеялся, как старательно рыл, как исследовал каждый комок дерна, когда мне казалось, что заступ на что-то натолкнулся! Ничего! А между тем я вырыл яму вдвое больше первой. Я подумал, что ошибся, не узнал места; я осмотрел местность, вглядывался в деревья, старался припомнить все подробности. Холодный, пронизывающий ветер свистел в голых ветвях, а с меня градом катился пот. Я помнил, что меня ударили кинжалом в ту минуту, когда я утаптывал землю на могиле; при этом я опирался рукой о ракитник; позади меня находилась искусственная скала, служившая скамьей для гуляющих, и, падая, я рукой задел этот холодный камень. И теперь

ракитник был справа от меня и скала позади; я бросился на землю в том же положении, как тогда, потом встал и начал снова копать, расширяя яму. Ничего! Опять ничего! Ящичка не было.

— Не было? — прошептала г-жа Данглар, задыхаясь от ужаса.

— Не думайте, что я ограничился этой попыткой, — продолжал Вильфор, — нет. Я обшарил всю рощу; я подумал, что убийца, откопав ящичек и думая найти в нем сокровища, мог взять его и унести, а потом, убедившись в своей ошибке, мог снова закопать его; но нет, я ничего не нашел. Затем у меня мелькнула мысль, что он мог и не принимать таких мер предосторожности, а попросту забросить его куда-нибудь. В таком случае, чтобы продолжать поиски, мне надо было дождаться рассвета. Я вернулся в комнату и стал ждать.

— О Боже мой!

— Как только рассвело, я снова спустился в сад. Первым делом я снова осмотрел рощу: я надеялся найти там какие-нибудь следы, которых мог не заметить в темноте. Я перекопал землю на пространстве в двадцать с лишним футов и на два с лишним фута вглубь. Наемный рабочий за день не сделал бы того, что я проделал в час. И я ничего

не нашел, ровно ничего.

Тогда я стал искать ящичек, исходя из предположения, что его куда-нибудь закинули. Это могло произойти по дороге к калитке; но и эти поиски оказались такими же бесплодными, и, скрепя сердце, я вернулся к роще, на которую тоже не питал больше никаких надежд.

— Было от чего сойти с ума! — воскликнула г-жа Данглар.

— Одну минуту я на это надеялся, — сказал Вильфор, — но это счастье не было дано мне. Все же я собрал все свои силы, напряг свой ум и спросил себя: зачем этот человек унес бы с собой труп?

— Да вы же сами сказали, — возразила г-жа Данглар, — чтобы иметь в руках доказательство.

— Нет, сударыня, этого уже не могло быть; труп не скрывают в течение целого года, его предъявляют властям и дают показания. А ничего такого не было.

— Но что же тогда? — спросила, дрожа, Эрмина.

— Тогда нечто более ужасное, более роковое, более грозное для нас: вероятно, младенец был жив и убийца спас его.

Госпожа Данглар дико вскрикнула и схватила

Вильфора за руки.

— Мой ребенок был жив! — сказала она. — Вы похоронили моего ребенка живым! Вы не были уверены, что он мертв, и вы его похоронили!

Госпожа Данглар выпрямилась во весь рост и стояла перед королевским прокурором, глядя почти с угрозой, стискивая его руки своими тонкими руками.

— Разве я мог знать? Ведь это только мое предположение, — ответил Вильфор, его остановившийся взгляд показывал, что этот сильный человек стоит на грани отчаяния и безумия.

— Мое дитя, мое бедное дитя! — воскликнула баронесса, снова падая в кресло и стараясь платком заглушить рыдания.

Вильфор пришел в себя и понял: чтобы отвратить от себя материнский гнев, ему необходимо внушить г-же Данглар тот ужас, которым охвачен он сам.

— Ведь вы понимаете, что, если это так, мы погибли, — сказал он, вставая и подходя к баронессе, чтобы иметь возможность говорить еще тише. — Этот ребенок жив, и кто-то знает об этом, кто-то владеет нашей тайной; а раз Монте-Кристо говорит при нас об откопанном ребенке, когда этого ребенка там уже не было, — значит, этой

тайной владеет он.

— Боже справедливый! Это твоя месть, — прошептала г-жа Данглар.

Вильфор ответил каким-то рычанием.

— Но ребенок, где ребенок? — твердила мать.

— О, как я искал его! — сказал Вильфор, ломая руки. — Как я призывал его в долгие бессонные ночи! Я жаждал обладать королевскими сокровищами, чтобы у миллиона людей купить их тайны и среди этих тайн разыскать свою! Наконец однажды, когда я в сотый раз взялся за заступ, я в сотый раз спросил себя, что же мог сделать с ребенком этот корсиканец; ведь ребенок — обуза для беглеца; быть может, видя, что он еще жив, он бросил его в реку?

— Не может быть! — воскликнула г-жа Данглар. — Из мести можно убить человека, но нельзя хладнокровно утопить ребенка!

— Быть может, — продолжал Вильфор, — он снес его в воспитательный дом?

— Да, да, — воскликнула баронесса, — конечно, он там!

— Я бросился в воспитательный дом и узнал, что в эту самую ночь, на двадцатое сентября, у входа был положен ребенок; он был завернут в половину пеленки из тонкого полотна, а пеленка,

видимо, нарочно была разорвана так, что на этом куске остались половина баронской короны и буква Н.

— Так и есть, — воскликнула г-жа Данглар, — все мое белье было помечено так; де Наргон был бароном, это мои инициалы. Слава Богу! Мой ребенок не умер.

— Нет, не умер.

— И вы говорите это! Вы не боитесь, что я умру от радости? Где же он? Где мое дитя?

Вильфор пожал плечами.

— Да разве я знаю! — сказал он. — Неужели вы думаете, что, если бы я знал, я бы заставил вас пройти через все эти волнения, как делают драматурги и романисты? Увы, я не знаю. Примерно за полгода до того за ребенком пришла какая-то женщина и принесла другую половину пеленки. Эта женщина представила все требуемые законом доказательства, и ей отдали ребенка.

— Вы должны были узнать, кто эта женщина, разыскать ее.

— А что же я, по-вашему, делал? Под видом судебного следствия я пустил по ее следам самых ловких сыщиков, самых опытных полицейских агентов. Ее путь проследили до Шалона; там след потерялся.

— Потерялся?

— Да, навсегда.

Госпожа Данглар выслушала рассказ Вильфора, отвечая на каждое событие то вздохом, то слезой, то восклицанием.

— И это все? — сказала она. — И вы этим ограничились?

— Нет, — сказал Вильфор, — я никогда не переставал искать, разузнавать, собирать сведения. Правда, последние два-три года я дал себе некоторую передышку. Но теперь я снова примусь искать еще настойчивей, еще упорней, чем когда-либо. И я добьюсь успеха, слышите, потому что теперь меня подгоняет уже не совесть, а страх.

— Но я думаю, граф де Монте-Кристо ничего не знает, — сказала г-жа Данглар, — иначе, мне кажется, он не стремился бы сблизиться с нами, как он это делает.

— Людская злоба не имеет границ, — сказал Вильфор, — она безграничнее, чем Божье милосердие. Обратили вы внимание на глаза этого человека, когда он говорил с нами?

— Нет.

— А вы когда-нибудь смотрели на него внимательно?

— Конечно. Он очень странный человек, но и

только. Одно меня поразило: за этим изысканным обедом, которым он нас угощал, он ни до чего не дотронулся, не попробовал ни одного кушанья.

— Да, да, — сказал Вильфор, — я тоже заметил. Если бы я тогда знал то, что знаю теперь, я бы тоже ни до чего не дотронулся: я бы думал, что он собирается нас отравить.

— И ошиблись бы, как видите.

— Да, конечно; но поверьте, у этого человека другие планы. Вот почему я хотел вас видеть и поговорить с вами, вот почему я хотел вас предостеречь против всех, а главное — против него. Скажите, — продолжал Вильфор, еще пристальнее, чем раньше, глядя на баронессу, — вы никому не говорили о нашей связи?

— Никогда и никому.

— Простите мне мою настойчивость, — мягко продолжал Вильфор, — когда я говорю — никому, это значит никому на свете, понимаете?



— Да, да, я прекрасно понимаю, — сказала, краснея, баронесса, — никогда, клянусь вам!

— У вас нет привычки записывать по вечерам то, что было днем? Вы не ведете дневника?

— Нет. Увы, моя жизнь проходит в суете; я все забываю.

— А вы не говорите во сне?

— Я сплю, как младенец. Разве вы не помните?

Краска залила лицо баронессы, и смертельная бледность покрыла лицо Вильфора.

— Да, правда, — произнес он еле слышно.

— Но что же дальше? — спросила баронесса.

— Дальше? Я знаю, что мне остается делать, — отвечал Вильфор. — Не пройдет и недели, как я буду знать, кто такой господин де Монте-Кристо, откуда он явился, куда направляется и почему он нам рассказывает о младенцах, которых откапывают в его саду.

Вильфор произнес эти слова таким тоном, что граф вздрогнул бы, если бы мог их слышать.

Затем он пожал руку, которую неохотно подала ему баронесса, и почтительно проводил ее до дверей.

Госпожа Данглар наняла другой фиакр, доехала до пассажа и по ту его сторону нашла свой экипаж и своего кучера, который, поджидая ее,

мирно дремал на козлах.

XI
ПРИГЛАШЕНИЕ

В тот же день, примерно в то время, когда г-жа Данглар была на описанном нами приеме в кабинете королевского прокурора, на улице Эльдер показалась дорожная коляска; она въехала в ворота дома № 27 и остановилась во дворе.

Дверца коляски отворилась, и из нее вышла г-жа де Морсер, опираясь на руку сына.

Альбер проводил мать в ее комнаты, тотчас же заказал себе ванну и лошадей, а выйдя из рук камердинера, велел отвезти себя на Елисейские поля, к графу де Монте-Кристо.

Граф принял его со своей обычной улыбкой. Странно, но невозможно было даже пытаться занять больше места в сердце или уме этого человека. Всякий, кто пытался, 98 если можно так выразиться, насильно войти в его душу, наталкивался на непреодолимую стену.

Морсер, который кинулся к нему с распростертыми объятиями, увидев его, невольно опустил руки и, несмотря на приветливую улыбку графа, осмелился только на рукопожатие.

Со своей стороны, Монте-Кристо, как всегда, только дотронулся до его руки, не пожав ее.

— Ну вот и я, дорогой граф, — сказал Альбер.

— Добро пожаловать.

— Я приехал только час тому назад.

— Из Дьепа?

— Из Трепора.

— Ах да, верно.

— И мой первый визит — к вам.

— Это очень мило с вашей стороны, — сказал Монте-Кристо таким же безразличным тоном, как сказал бы любую другую фразу.

— Ну, скажите, что нового?

— Что нового? И вы спрашиваете об этом у меня, у иностранца?

— Вы меня не поняли: я хотел спросить, сделали ли вы что-нибудь для меня?

— Разве вы мне что-нибудь поручали? — сказал Монте-Кристо, изображая беспокойство.

— Да ну же, не притворяйтесь равнодушным, — сказал Альбер. — Говорят, что существует симпатическая связь, которая действует на расстоянии; так вот, в Трепоре я ощутил такой электрический ток; может быть, вы ничего не сделали для меня, но во всяком случае думали обо мне.

— Это возможно, — сказал Монте-Кристо. — Я

в самом деле думал о вас, но магнетический ток, коего я был проводником, действовал, признаюсь, помимо моей воли.

— Разве? Расскажите, как это было.

— Очень просто. У меня обедал Данглар.

— Это я знаю; ведь мы с матушкой для того и уехали, чтобы избежать встречи с ним.

— Но он обедал в обществе господина Андреа Кавальканти.

— Вашего итальянского князя?

— Не надо преувеличивать. Андреа называет себя всего только виконтом.

— Называет себя?

— Вот именно.

— Так он не виконт?

— Откуда мне знать? Он сам себя так называет, так его называю я, так его называют другие, — разве это не все равно, как если бы он в самом деле был виконтом?

— Оригинальные мысли вы высказываете! Итак?

— Что итак?

— У вас обедал Данглар?

— Да.

— И ваш виконт Андреа Кавальканти?

— Виконт Андреа Кавальканти, его отец —

маркиз, госпожа Данглар, Вильфор с женой, очаровательные молодые люди — Дебрэ, Максимилиан Моррель и… кто же еще? Постойте… ах да, Шато-Рено.

— Говорили обо мне?

— Ни слова.

— Тем хуже.

— Почему? Вы ведь, кажется, сами хотели, чтобы о вас забыли, — вот ваше желание и исполнилось.

— Дорогой граф, если обо мне не говорили, то, стало быть, обо мне много думали, а это приводит меня в отчаяние.

— Не все ли вам равно, раз мадемуазель Данглар не была в числе тех, кто о вас там думал? Да, впрочем, она могла думать о вас у себя дома.

— О, на этот счет я спокоен, а если она и думала обо мне, то в том же духе, как я о ней.

— Какая трогательная симпатия! — сказал граф. — Значит, вы друг друга не терпите?

— Видите ли, — сказал Морсер, — если бы мадемуазель Данглар была способна снизойти к мучениям, которые я, впрочем, из-за нее не испытываю, и вознаградить меня за них, не считаясь с брачными условиями, о которых договорились наши семьи, то я был бы в восторге. Короче гово-

ря, я считаю, что из мадемуазель Данглар вышла бы очаровательная любовница, но в роли жены, черт возьми…

— Недурного вы мнения о своей будущей жене, — сказал, смеясь, Монте-Кристо.

— Ну да, это немного грубо сказано, конечно, но зато верно. А эту мечту нельзя претворить в жизнь; для того, чтобы достичь известной цели, необходимо, чтобы мадемуазель Данглар стала моей женой, то есть жила вместе со мной, думала рядом со мной, пела рядом со мной, занималась музыкой и писала стихи в десяти шагах от меня, и все это в течение всей моей жизни. От всего этого я прихожу в ужас. С любовницей можно расстаться, но жена, черт возьми, это другое дело, с нею вы связаны навсегда, вблизи или на расстоянии, безразлично. А быть вечно связанным с мадемуазель Данглар, даже на расстоянии, об этом и подумать страшно.

— На вас не угодишь, виконт.

— Да, потому что я часто мечтаю о невозможном.

— О чем же это?

— Найти такую жену, какую нашел мой отец.

Монте-Кристо побледнел и взглянул на Альбера, играя парой великолепных пистолетов и

быстро щелкая их курками.

— Так ваш отец очень счастлив? — спросил он.

— Вы знаете, какого я мнения о моей матери, граф: она ангел. Посмотрите на нее: она все еще прекрасна, умна, как всегда, добрее, чем когда-либо. Мы только что были в Трепоре; обычно для сына сопровождать мать — значит оказать ей снисходительную любезность или отбыть тяжелую повинность; я же провел наедине с ней четыре дня, и, скажу вам, я чувствую себя счастливее, свежее, поэтичнее, чем если бы я возил в Трепор королеву Мэб или Титанию.

— Такое совершенство может привести в отчаяние; слушая вас, не на шутку захочешь остаться холостяком.

— В этом все дело, — продолжал Альбер. — Зная, что на свете существует безупречная женщина, я не стремлюсь жениться на мадемуазель Данглар. Замечали вы когда-нибудь, какими яркими красками наделяет наш эгоизм все, что нам принадлежит? Брильянт, который играл в витрине у Марле или Фоссена, делается еще прекраснее, когда он становится нашим. Но если вы убедитесь, что есть другой, еще более чистой воды, а вам придется всегда носить худший, то, право, это пытка!

— О, суетность! — прошептал граф.

— Вот почему я запрыгаю от радости в тот день, когда мадемуазель Эжени убедится, что я всего лишь ничтожный атом и что у меня едва ли не меньше сотен тысяч франков, чем у нее миллионов.

Монте-Кристо улыбнулся.

— У меня уже, правда, мелькала одна мысль, — продолжал Альбер. — Франц любит все эксцентричное; я хотел заставить его влюбиться в мадемуазель Данглар. Я написал ему четыре письма, рисуя ее самыми заманчивыми красками, но Франц невозмутимо ответил: "Я, правда, человек эксцентричный, но все же не настолько, чтобы изменить своему слову".

— Вот что значит самоотверженный друг: предлагает другому в жены женщину, которую сам хотел бы иметь только любовницей.

Альбер улыбнулся.

— Кстати, — продолжал он, — наш милый Франц возвращается; впрочем, вы его, кажется, не любите?

— Я? — сказал Монте-Кристо, — помилуйте, дорогой виконт, с чего вы взяли, что я его не люблю? Я всех люблю.

— В том числе и меня… Благодарю вас.

— Не будем смешивать понятий, — сказал Монте-Кристо. — Всех я люблю так, как Господь велит нам любить своих ближних, — христианской любовью; но ненавижу я от всей души только некоторых. Однако вернемся к Францу д'Эпине. Так вы говорите, что он скоро приедет?

— Да, его вызвал Вильфор. Похоже, что Вильфору так же не терпится выдать замуж мадемуазель Валентину, как Данглару — мадемуазель Эжени. Очевидно, иметь взрослую дочь — дело не легкое: отца от этого лихорадит, и его пульс делает девяносто ударов в минуту до тех пор, пока он от нее не избавится.

— Но господин д'Эпине, по-видимому, не похож на вас: он терпеливо переносит свое положение.

— Больше того, Франц принимает это всерьез; он носит белый галстук и уже говорит о своей семье. К тому же он очень уважает Вильфоров.

— Вполне заслуженно, мне кажется?

— По-видимому. Вильфор всегда слыл человеком строгим, но справедливым.

— Слава Богу, — сказал Монте-Кристо, — вот по крайней мере человек, о котором вы говорите не так, как о бедном Данглере.

— Может быть, это потому, что я не должен жениться на его дочери, — ответил, смеясь, Альбер.

— Вы возмутительный фат, дорогой мой, — сказал Монте-Кристо.

— Я?

— Да, вы. Но возьмите сигару.

— С удовольствием. А почему вы считаете меня фатом?

— Да потому, что вы так яростно защищаетесь и бунтуете против женитьбы на мадемуазель Данглар. А вы оставьте все идти своим чередом. Может быть, вовсе и не вы первый откажетесь от своего слова.

— Вот как! — сказал Альбер, широко открыв глаза.

— Да не запрягут же вас насильно, черт возьми! Но послушайте, виконт, — продолжал Монте-Кристо другим тоном, — вы всерьез хотели бы разрыва?

— Я дал бы за это сто тысяч франков.

— Ну, так радуйтесь. Данглар готов заплатить вдвое, чтобы добиться той же цели.

— Правда! Вот счастье! — сказал Альбер, по лицу которого все же пробежало легкое облачко. — Но, дорогой граф, стало быть, у Д англ ара есть для этого причины?

— Вот они — гордость и эгоизм! Люди всегда так: по самолюбию ближнего готовы бить топо-

ром, а когда их собственное самолюбие уколют иголкой, они вопят.

— Да нет же! Но мне казалось, что Данглар…

— Должен быть в восторге от вас, да? Но как известно, у Данглара плохой вкус, и он в еще большем восторге от другого…

— От кого же это?

— Да я не знаю; наблюдайте, следите, ловите на лету намеки и обращайте все это себе на пользу.

— Так, понимаю. Послушайте, моя мать… нет, вернее, мой отец хочет дать бал.

— Бал в это время года?

— Теперь в моде летние балы.

— Будь они не в моде, графине достаточно было бы пожелать, и они стали бы модными.

— Недурно сказано. Понимаете, это чисто парижские балы; те, кто остается на июль в Париже, — это настоящие парижане. Вы не возьметесь передать приглашение господам Кавальканти?

— Когда будет бал?

— В субботу.

— К этому времени Кавальканти-отец уже уедет.

— Но Кавальканти-сын останется. Может быть, вы привезете его?

— Послушайте, виконт, я его совсем не знаю.

— Не знаете?

— Нет я в первый раз в жизни видел его дня четыре назад и совершенно за него не отвечаю.

— Но вы же принимаете его?

— Я — другое дело; мне его рекомендовал один почтенный аббат, который, может быть, сам был введен в заблуждение. Если вы пригласите его сами — отлично, а мне это неудобно; если он вдруг женится на мадемуазель Данглар, вы обвините меня в происках и захотите со мной драться; наконец, я не знаю, буду ли я сам.

— Где?

— У вас на балу.

— А почему?

— Во-первых, потому что вы меня еще не пригласили.

— Я для того и приехал, чтобы лично пригласить вас.

— О, это слишком любезно с вашей стороны. Но я, возможно, буду занят.

— Я вам скажу кое-что, и, надеюсь, вы пожертвуете своими занятиями.

— Так скажите.

— Вас просит об этом моя мать.

— Графиня де Морсер? — вздрогнув, спросил Монте-Кристо.

— Должен вам сказать, граф, что матушка вполне откровенна со мной. И если в вас не дрожали те симпатические струны, о которых я вам говорил, значит, у вас их вообще нет, потому что целых четыре дня мы только о вас и говорили.

— Обо мне? Право, вы меня смущаете.

— Что ж, это естественно: ведь вы живая загадка.

— Неужели и ваша матушка находит, что я загадка? Право, я считал ее слишком рассудительной для такой игры воображения!

— Да, дорогой граф, загадка для всех, и для моей матери тоже; загадка, всеми признанная и никем не разгаданная; успокойтесь, вы все еще остаетесь неразрешенной задачей. Матушка только спрашивает все время, как это может быть, что вы так молоды. Я думаю, что в глубине души она принимает вас за Калиостро или за графа Сен-Жермена, как графиня Г. — за лорда Рутвена. При первой же встрече с госпожой де Морсер убедите ее в этом окончательно. Вам это не трудно, ведь вы обладаете философским камнем одного и умом другого.

— Спасибо, что предупредили, — сказал, улыбаясь, граф, — я постараюсь оправдать все ожидания.

— Так что вы приедете в субботу?

— Да, раз об этом просит госпожа де Морсер.

— Это очень мило с вашей стороны.

— А Данглар?

— О! Ему уже послано тройное приглашение; это взял на себя мой отец. Мы постараемся также заполучить великого д'Агессо, господина де Вильфора; но на это мало надежды.

— Пословица говорит, что надежду никогда не следует терять.

— Вы танцуете, граф?

— Я?

— Да, вы. Что было бы удивительного, если бы вы танцевали?

— Да, в самом деле, до сорока лет… Нет, не танцую, но я люблю смотреть на танцы. А госпожа де Морсер танцует?

— Тоже нет; вы будете разговаривать, она так жаждет поговорить с вами!

— Неужели!

— Честное слово! И должен сказать вам, что вы первый человек, с которым моя матушка выразила желание поговорить.

Альбер взял свою шляпу и встал, граф пошел проводить его.

— Я раскаиваюсь, — сказал он, останавливая

Альбера на ступенях подъезда.

— В чем?

— В своей нескромности. Я не должен был говорить с вами о Дангларе.

— Напротив, говорите о нем еще больше, говорите почаще, всегда говорите, но только в том же духе.

— Отлично, вы меня успокаиваете. Кстати, когда возвращается д'Эпине?

— Дней через пять-шесть, не позже.

— А когда его свадьба?

— Как только приедут господин и госпожа де Сен-Меран.

— Привезите его ко мне, когда он приедет. Хотя вы и уверяете, что я его не люблю, но, право же, я буду рад его видеть.

— Слушаю, мой повелитель, ваше желание будет исполнено.

— До свидания.

— Во всяком случае, в субботу непременно, да?

— Конечно. Я же дал слово.

Граф проводил Альбера глазами и помахал ему рукой. Затем, когда тот уселся в свой фаэтон, он обернулся и увидел Бертуччо.

— Ну, что же? — спросил граф.

— Она была в суде, — ответил управляющий.

— И долго там оставалась?

— Полтора часа.

— А потом вернулась домой?

— Прямым путем.

— Так. Теперь, дорогой Бертуччо, — сказал граф, — . советую вам отправиться в Нормандию и поискать то маленькое поместье, о котором я вам говорил.

Бертуччо поклонился, и так как его собственные желания вполне совпадали с полученным приказанием, он уехал в тот же вечер.

XII
РОЗЫСКИ

Вильфор сдержал слово, данное г-же Данглар, а главное, самому себе, и постарался выяснить, каким образом граф де Монте-Кристо мог знать о событиях, разыгравшихся в доме в Отее.

Он в тот же день написал некоему де Бовилю, бывшему тюремному инспектору, переведенному с повышением в чине в сыскную полицию. Тот попросил два дня сроку, чтобы достоверно узнать, у кого можно получить необходимые сведения.

Через два дня Вильфор получил следующую записку:

"Лицо, которое зовут графом де Монте-Кристо, близко известно лорду Уилмору, богатому иностранцу, иногда бывающему в Париже и в настоящее время здесь находящемуся; оно также известно аббату Бузони, сицилианскому священнику, прославившемуся на Востоке своими добрыми делами".

В ответ Вильфор распорядился немедленно собрать об этих иностранцах самые точные сведения. К следующему вечеру его приказание было исполнено, и вот что он узнал.

Аббат, приехавший в Париж всего лишь на месяц, живет позади церкви Сен-Сюльпис, в двухэтажном домике. В доме всего четыре комнаты, две внизу и две наверху, и аббат — его единственный обитатель.

В нижнем этаже расположены столовая, со столом, стульями и буфетом орехового дерева, и гостиная, обшитая деревом и выкрашенная в белый цвет, без всяких украшений, без ковра и стенных часов. Очевидно, в личной жизни аббат ограничивается только самым необходимым.

Правда, аббат предпочитает проводить время в гостиной второго этажа. Эта гостиная, или, скорее, библиотека, вся завалена богословскими книгами и рукописями, в которые он, по словам

его камердинера, зарывается на целые месяцы.

Камердинер осматривает посетителей через маленький глазок, проделанный в двери, и если лица их ему незнакомы или не нравятся, то он отвечает, что господина аббата в Париже нет, чем многие и удовлетворяются, зная, что аббат постоянно разъезжает и отсутствует иногда очень долго.

Впрочем, дома ли аббат или нет, в Париже он или в Каире, он неизменно помогает бедным, и форточка в окне, через которую от имени своего хозяина камердинер неустанно раздает милостыню, служит для этого.

Смежная с библиотекой комната служит спальней. Кровать без полога, четыре кресла и диван, обитые желтым утрехтским бархатом, составляют вместе с аналоем всю ее обстановку.

Что касается лорда Уилмора, то он живет на улице Фонтен-Сен-Жорж. Это один из тех англичан-туристов, которые тратят на путешествия все свое состояние. Он снимает меблированную квартиру, где проводит не более двух-трех часов в день и где лишь изредка ночует. Одна из его причуд состоит в том, что он наотрез отказывается говорить по-французски, хотя, как уверяют, пишет он по-французски прекрасно.

На следующий день после того, как эти ценные сведения были доставлены королевскому прокурору, какой-то человек, вышедший из экипажа на углу улицы Феру, постучал в дверь, выкрашенную в зеленовато-оливковый цвет, и спросил аббата Бузони.

— Господин аббат вышел с утра, — ответил камердинер.

— Я мог бы не удовольствоваться таким ответом, — сказал посетитель, — потому что я прихожу от такого лица, для которого все всегда бывают дома. Но будьте любезны передать аббату Бузони…

— Я же вам сказал, что его нет дома, — повторил камердинер.

— В таком случае, когда он вернется, передайте ему вот эту карточку и запечатанный пакет. Можно ли будет застать господина аббата сегодня в восемь часов вечера?

— Разумеется, сударь, если только он не сядет работать; тогда это все равно, как если бы его не было дома.

— Так я вернусь вечером в назначенное время, — сказал посетитель.

И он удалился.

Действительно, в назначенное время этот че-

ловек явился в том же экипаже, но на этот раз экипаж не остановился на углу улицы Феру, а подъехал к самой зеленой двери. Человек постучал, ему открыли, и он вошел.

По той почтительности, с какой встретил его камердинер, он понял, что его письмо произвело надлежащее впечатление.

— Господин аббат у себя? — спросил он.

— Да, он занимается в библиотеке, но ждет вас, сударь, — ответил камердинер.

Незнакомец поднялся по довольно крутой лестнице, и за столом, поверхность которого была ярко освещена лампой под огромным абажуром, тогда как остальная часть комнаты тонула во мраке, он увидел аббата, в священнической одежде и капюшоне, вроде тех, что покрывали головы средневековых ученых.

— Я имею честь говорить с господином Бузони? — спросил посетитель.

— Да, сударь, — отвечал аббат, — а вы то лицо, которое господин де Бовиль, бывший тюремный инспектор, направил ко мне от имени префекта полиции?

— Я самый, сударь.

— Один из агентов парижской сыскной полиции?

— Да, сударь, — ответил посетитель с некоторым колебанием, слегка покраснев.

Аббат поправил большие очки, которые закрывали ему не только глаза, но и виски, и снова сел, пригласив посетителя сделать то же.

— Я вас слушаю, сударь, — сказал аббат с очень сильным итальянским акцентом.

— Миссия, которую я на себя взял, сударь, — сказал посетитель, отчеканивая слова, точно он выговаривал их с трудом, — миссия доверительная как для того, на кого она возложена, так и для того, к кому обращаются.

Аббат молча поклонился.

— Да, — продолжал незнакомец, — ваша порядочность, господин аббат, хорошо известна господину префекту полиции, и он обращается к вам как должностное лицо, чтобы узнать у вас нечто интересующее сыскную полицию, от имени которой я к вам явился. Поэтому мы надеемся, господин аббат, что ни узы дружбы, ни личные соображения не заставят вас утаить истину от правосудия.

— Если, конечно, то, что вы желаете узнать, ни в чем не затрагивает моей совести. Я священник, сударь, и тайна исповеди, например, должна оставаться известной лишь мне и Божьему суду,

а не мне и людскому правосудию.

— О, будьте спокойны, господин аббат, — сказал посетитель, — мы, во всяком случае, не потревожим вашей совести.

При этих словах аббат нажал на край абажура так, что противоположная сторона приподнялась и свет полностью падал на лицо посетителя, тогда как лицо аббата оставалось в тени.

— Простите, сударь, — сказал представитель префекта полиции, — но этот яркий свет режет мне глаза.

Аббат опустил зеленый колпак.

— Теперь, сударь, я вас слушаю. Изложите ваше дело.

— Я перехожу к нему. Вы знакомы с графом де Монте-Кристо?

— Вы имеете в виду господина Дзакконе?

— Дзакконе!.. Разве его зовут не Монте-Кристо?

— Монте-Кристо название местности, вернее, утеса, а вовсе не фамилия.

— Ну что ж, как вам угодно, не будем спорить о словах и, раз господин де Монте-Кристо и Дзакконе одно и то же лицо…

— Безусловно, одно и то же.

— Поговорим о господине Дзакконе.

— Извольте.

— Я спросил вас, знаете ли вы его?

— Очень даже хорошо.

— Кто он такой?

— Сын богатого мальтийского судовладельца.

— Да, я это слышал, так говорят, но вы понимаете, полиция не может довольствоваться тем, что "говорят".

— Однако, — возразил, мягко улыбаясь, аббат, — если то, что "говорят", правда, то приходится этим довольствоваться и полиции точно так же, как и всем.

— Но вы уверены в том, что говорите?

— То есть как это, уверен ли я?

— Поймите, сударь, что я отнюдь не сомневаюсь в вашей искренности, я только спрашиваю, уверены ли вы?

— Послушайте, я знал Дзакконе-отца.

— Вот как!

— Да, и еще ребенком я не раз играл с его сыном на верфях.

— А его графский титул?

— Ну, знаете, это можно купить.

— В Италии?

— Повсюду.

— А его богатство, такое огромное, опять-таки, как говорят...

— Вот это верно, — ответил аббат, — богатство действительно огромное.

— А каково оно по-вашему?

— Да, наверно, сто пятьдесят — двести тысяч ливров в год.

— Ну, это вполне приемлемо, — сказал посетитель, — а то говорят о трех, даже о четырех миллионах.

— Двести тысяч ливров годового дохода, сударь, как раз и составляют капитал в четыре миллиона.

— Но ведь говорят о трех или четырех миллионах в год!

— Ну, этого не может быть.

— И вы знаете его остров Монте-Кристо?

— Разумеется, его знает всякий, кто из Палермо, Неаполя или Рима ехал во Францию морем: корабли проходят мимо него.

— Очаровательное место, как уверяют?

— Это утес.

— Зачем же граф купил утес?

— Именно для того, чтобы сделаться графом. В Италии, чтобы быть графом, все еще требуется владеть графством.

— Вы, вероятно, что-нибудь слышали о юношеских приключениях господина Дзакконе?

— Отца?

— Нет, сына.

— Как раз туг я перестаю быть уверенным, потому что именно в юношеские годы я потерял его из виду.

— Он воевал?

— Кажется, он был на военной службе.

— В каких войсках?

— Во флоте.

— Скажите, вы не духовник его?

— Нет, сударь, он, кажется, лютеранин.

— Как лютеранин?

— Я говорю "кажется", но я не утверждаю этого. Впрочем, я думал, что во Франции введена свобода вероисповеданий.

— Разумеется, и нас сейчас интересуют вовсе не его верования, а его поступки; от имени господина префекта полиции я предлагаю вам сказать все, что вам о них известно.

— Его считают большим благотворителем. За выдающиеся услуги, которые он оказал восточным христианам, наш святой отец папа сделал его кавалером ордена Христа, — эта награда обычно жалуется только высочайшим особам. У него пять или шесть высоких орденов за услуги, которые он оказал различным государям и го-

сударствам.

— И он их носит?

— Нет, но он ими гордится; он говорит, что ему больше нравятся награды, жалуемые благодетелям человечества, чем те, которые даются истребителям людей.

— Так этот господин — квакер?

— Вот именно, это квакер, но, разумеется, без широкополой шляпы и коричневого сюртука.

— А есть у него друзья?

— Да, все, кто его знает, его друзья.

— Однако есть же у него какой-нибудь враг?

— Один-единственный.

— Как его зовут?

— Лорд Уилмор.

— Где он находится?

— Сейчас он в Париже.

— И он может дать мне о нем сведения?

— Очень ценные. Он был в Индии в одно время с Дзакконе.

— Вы знаете, где он живет?

— Где-то на Шоссе-д'Антен, но я не знаю ни улицы, ни номера дома.

— Вы недолюбливаете этого англичанина?

— Я люблю Дзакконе, а он его терпеть не может, поэтому мы с ним в холодных отношениях.

— Как вы думаете, господин аббат, до этого своего приезда в Париж граф де Монте-Кристо когда-нибудь бывал во Франции?

— Нет, сударь, это я могу сказать точно. Во Франции он никогда не был и полгода тому назад обратился ко мне, чтобы собрать нужные ему сведения. Я, со своей стороны, не зная, когда сам буду в Париже, направил к нему господина Кавальканти.

— Андреа?

— Нет, Бартоломео, отца.

— Прекрасно, мне остается задать вам только один вопрос, и я требую, во имя чести, человеколюбия и религии, чтобы вы мне ответили без обиняков.

— Я вас слушаю.

— Известно ли вам, для чего граф де Монте-Кристо купил дом в Отее?

— Разумеется, он мне это сам сказал.

— Для чего же?

— С целью устроить больницу для умалишенных, вроде той, которую основал в Палермо барон Пизани. Вы знаете эту больницу?

— Я слышал о ней.

— Это великолепное учреждение.

И при этих словах аббат поклонился посетите-

лю с видом человека, желающего дать понять, что он не прочь снова вернуться к прерванной работе.

Понял ли посетитель желание аббата или он исчерпал все свои вопросы, но он встал.

Аббат проводил его до дверей.

— Вы щедро раздаете милостыню, — сказал посетитель, — и, хотя вы слывете богатым человеком, я хотел бы предложить вам кое-что для ваших бедных; угодно вам принять мое приношение?

— Благодарю вас, сударь, но единственное, чем я дорожу на свете, это то, чтобы добро, которое я делаю, исходило от меня.

— Но все-таки…

— Это мое непоколебимое решение. Но поищите, сударь, и вы найдете. Увы, на пути у каждого богатого столько нищеты!

Аббат открыл дверь, еще раз поклонился; посетитель ответил на поклон и вышел.

Экипаж отвез его прямо к Вильфору.

Через час экипаж снова выехал со двора и на этот раз направился на улицу Фонтен-Сен-Жорж. У дома № 5 он остановился. Именно здесь жил лорд Уилмор.

Незнакомец писал лорду Уилмору, прося о

свидании, которое тот и назначил на десять часов вечера. Представитель господина префекта полиции прибыл без десяти минут десять, и ему было сказано, что лорд Уилмор, воплощенная точность и пунктуальность, еще не вернулся, но непременно вернется ровно в десять часов.

Посетитель остался ждать в гостиной.

Эта гостиная ничем не отличалась от обычных гостиных меблированных домов. На камине — две севрские вазы нового производства, часы с амуром, натягивающим лук, двустворчатое зеркало, и по сторонам его — две гравюры: на одной изображен Гомер, несущий своего поводыря, на другой — Велизарий, просящий подаяния; серые обои с серым рисунком; мебель, обитая красным сукном с черными разводами, — такова была гостиная лорда Уилмора.

Она была освещена шарами из матового стекла, распространявшими тусклый свет, как будто нарочно приноровленный к утомленному зрению представителя префекта полиции.

После десятиминутного ожидания часы пробили десять; на пятом ударе открылась дверь и вошел лорд Уилмор.

Лорд Уилмор был человек довольно высокого роста, с редкими рыжими баками, очень белой

кожей и белокурыми, с проседью волосами. Одет он был с чисто английской эксцентричностью: на нем был синий фрак с золотыми пуговицами и высоким пикейным воротничком, какие носили в 1811 году, белый казимировый жилет и белые нанковые панталоны, слишком для него короткие и только благодаря штрипкам из той же материи не поднимавшиеся до колен.

Первые его слова были:

— Вам известно, сударь, что я не говорю по-французски?

— Я, во всяком случае, знаю, что вы не любите говорить на нашем языке, — отвечал представитель префекта полиции.

— Но вы можете говорить по-французски, — продолжал лорд Уилмор, — так как хоть я и не говорю, но все понимаю.

— А я, — возразил посетитель, переходя на другой язык, — достаточно свободно говорю по-английски, чтобы поддерживать разговор. Можете не стесняться, сударь.

— О! — произнес лорд Уилмор с интонацией, присущей только чистокровным британцам.

Представитель префекта полиции подал лорду Уилмору свое рекомендательное письмо. Тот прочел его с истинно британской флегматичностью,

затем, дочитав до конца, сказал по-английски:

— Я понимаю, отлично понимаю.

И посетитель приступил к вопросам.

Они почти совпадали с теми, которые были предложены аббату Бузони. Но лорд Уилмор, как человек, настроенный враждебно к графу де Монте-Кристо, был не так сдержан, как аббат, и поэтому ответы получались гораздо более пространные. Он рассказал о молодых годах Монте-Кристо, который, по его словам, десяти лет от роду поступил на службу к одному из маленьких индийских властителей, вечно воюющих с Англией; там-то Уилмор с ним и встретился, и они сражались друг против друга. Во время этой войны Дзакконе был взят в плен, отправлен в Англию, водворен на блокшив и бежал оттуда вплавь. После этого начались его путешествия, его дуэли, его любовные приключения. В Греции вспыхнуло восстание, и он вступил в греческие войска. Состоя там на службе, он нашел в Фессалийских горах серебряную руду, но никому ни слова не сказал о своем открытии. После Наварина, когда греческое правительство упрочилось, он попросил у короля Оттона привилегию на разработку залежей и получил ее. Оттуда и пошло его несметное богатство; по словам лорда Уил-

мора, оно приносит графу до двух миллионов годового дохода, но тем не менее может неожиданно иссякнуть, если иссякнет рудник.

— А известно вам, зачем он приехал во Францию? — спросил посетитель.

— Он хочет спекулировать на железнодорожном строительстве, — сказал лорд Уилмор, — кроме того, он опытный химик и очень хороший физик, он изобрел новый вид телеграфа и хочет ввести его в употребление.

— Сколько приблизительно он расходует в год? — спросил представитель префекта полиции.

— Не больше пятисот или шестисот тысяч, — сказал лорд Уилмор, — он скуп.

Было ясно, что в англичанине говорит ненависть, и, не зная, что поставить в упрек графу, он обвиняет его в скупости.

— Известно ли вам что-нибудь относительно его дома в Отее?

— Да, разумеется.

— Ну, и что же вы знаете?

— Вы спрашиваете, с какой целью он купил его?

Да.

— Так вот, граф — спекулянт и, несомненно,

разорится на своих опытах и утопиях; он утверждает, что в Отее, поблизости от дома, который он купил, имеется минеральный источник, способный конкурировать с целебными водами Баньер-де-Люшона и Котре. В этом доме он собирается устроить Badehaus[3], как говорят немцы. Он уже раза три перекопал свой сад, чтобы отыскать пресловутый источник, но ничего не нашел, а потому, вы увидите, в скором времени он скупит все окрестные дома. А так как я на него зол, то я надеюсь, что на своей железной дороге, на своем электрическом телеграфе или на своем ванном заведении он разорится. Я езжу за ним повсюду и намерен насладиться его поражением, которое, рано или поздно, неминуемо.

— А за что вы на него злы? — спросил посетитель.

— За то, — отвечал лорд Уилмор, — что, когда он был в Англии, он соблазнил жену одного из моих друзей.

— Но, если вы на него злы, почему вы не пытаетесь отомстить ему?

— Я уже три раза дрался с графом, — сказал англичанин, — в первый раз на пистолетах, во

---

[3] Примечания: 3
Купальню *(нем.).*

второй раз на шпагах, в третий раз — на эспадронах.

— И какой же был результат этих дуэлей?

— В первый раз он раздробил мне руку, во второй раз он проткнул мне легкое, а в третий нанес мне вот эту рану.

Англичанин отвернул ворот сорочки, доходивший ему до ушей, и показал рубец, воспаленный вид которого указывал на его недавнее происхождение.

— Так что я на него очень зол, — повторил англичанин, — и он умрет не иначе, как от моей руки.

— Но до этого, по-видимому, еще далеко, — сказал представитель префектуры.

— О, — промычал англичанин, — я каждый день езжу в тир, а через день ко мне приходит Гризье.

Это было все, что требовалось узнать посетителю, вернее, все, что, по-видимому, знал англичанин. Поэтому агент встал, откланялся лорду Уилмору, ответившему с типично английской холодной вежливостью, и удалился.

Со своей стороны, лорд Уилмор, услышав, как за ним захлопнулась наружная дверь, прошел к себе в спальню, в мгновение ока избавился

от своих белокурых волос, рыжих бакенбардов, вставной челюсти и рубца, и снова обрел черные волосы, матовый цвет лица и жемчужные зубы графа де Монте-Кристо.

Правда, и в дом господина де Вильфора вернулся не представитель префекта полиции, а сам господин де Вильфор.

Обе эти встречи несколько успокоили королевского прокурора, потому что хоть он и не узнал ничего особенно утешительного, но зато не узнал и ничего особенно тревожного.

Благодаря этому он впервые после обеда в Отее более или менее спокойно провел ночь.

XIII
ЛЕТНИЙ БАЛ

Стояли самые жаркие июльские дни, когда в обычном течении времени настала в свой черед та суббота, на которую был назначен бал у Морсера.

Было десять часов вечера; могучие деревья графского сада отчетливо вырисовывались на фоне неба, по которому, открывая усыпанную звездами синеву, скользили последние тучи — остатки недавней грозы.

Из зал нижнего этажа доносились звуки музыки и возгласы пар, то кружившихся в вихре вальса, то мчавшихся в галопе, а сквозь решетчатые ставни вырывались яркие снопы света.

В саду хлопотал десяток слуг, которым хозяйка дома, успокоенная тем, что погода все более прояснялась, только что отдала приказание накрыть там к ужину.

До сих пор было неясно, подать ли ужин в столовой или под большим тентом на лужайке. Чудное синее небо, все усеянное звездами, разрешило вопрос в пользу лужайки.

В аллеях сада, по итальянскому обычаю, зажигали разноцветные фонарики, а накрытый к ужину стол убирали цветами и свечами, как принято в странах, где хоть сколько-нибудь понимают роскошь стола — вид роскоши, который в законченной форме встречается реже всех остальных.

В ту минуту, как графиня де Морсер, отдав последние распоряжения, снова вернулась в гостиные, комнаты стали наполняться гостями. Их привлекло не столько высокое положение графа, сколько очаровательное гостеприимство графини; все заранее были уверены, что благодаря прекрасному вкусу Мерседес на этом балу будет

немало такого, о чем можно потом рассказывать и чему при случае можно даже подражать.

Госпожа Данглар, которую глубоко встревожили описанные нами ранее события, не знала, ехать ли ей к г-же де Морсер, но утром ее карета встретилась с каретой Вильфора. Вильфор сделал знак, экипажи подъехали друг к другу, и, наклонившись к окну, королевский прокурор спросил:

— Ведь вы будете у госпожи де Морсер?

— Нет, — отвечала г-жа Данглар, — я себя очень плохо чувствую.

— Напрасно, — возразил Вильфор, бросая на нее многозначительный взгляд, — было бы очень важно, чтобы вас там видели.

— Вы думаете? — спросила баронесса.

— Я в этом убежден.

— В таком случае я буду.

И кареты разъехались в разные стороны. Итак, г-жа Данглар явилась на бал, блистая не только своей природной красотой, но и роскошью наряда; она вошла в ту самую минуту, как Мерседес входила в противоположную дверь.

Графиня послала Альбера навстречу г-же Данглар. Он подошел к баронессе, сделал ей по поводу ее туалета несколько вполне заслуженных комплиментов и предложил ей руку, чтобы провести

ее туда, куда она пожелает.

При этом Альбер искал кого-то глазами.

— Вы ищете мою дочь? — с улыбкой спросила баронесса.

— Откровенно говоря — да, — сказал Альбер, — неужели вы были так жестоки, что не привезли ее с собой?

— Успокойтесь, она встретила мадемуазель де Вильфор и пошла с ней; видите, вот они идут следом за нами, обе в белых платьях, одна с букетом камелий, а другая — с букетом незабудок; но скажите мне…

— Вы тоже кого-нибудь ищете? — спросил, улыбаясь, Альбер.

— Разве вы не ждете графа де Монте-Кристо?

— Семнадцать! — ответил Альбер.

— Что это значит?

— Это значит, — сказал, смеясь, виконт, — что вы семнадцатая задаете мне этот вопрос. Везет же графу!.. Его можно поздравить…

— А вы всем отвечаете так же, как мне?

— Ах, простите, я ведь вам так и не ответил. Не беспокойтесь, сударыня, модный человек у нас будет, он удостаивает нас этой чести.

— Были вы вчера в Опере?

— Нет.

— А он там был.

— Вот как? И этот эксцентричный человек снова выкинул что-нибудь оригинальное?

— Разве он может без этого? Эльслер танцевала в "Хромом бесе"; греческая княжна была в полном восторге. После качучи граф продел букет в великолепное кольцо и бросил его очаровательной танцовщице, и она, в знак благодарности, появилась с его кольцом в третьем акте. А его греческая княжна тоже приедет?

— Нет, вам придется отказаться от удовольствия ее видеть: ее положение в доме графа недостаточно ясно.

— Послушайте, оставьте меня здесь и пойдите поздороваться с госпожой де Вильфор, — сказала баронесса, — я вижу, что она умирает от желания поговорить с вами.

Альбер поклонился г-же Данглар и направился к г-же де Вильфор, которая уже издали приготовилась заговорить с ним.

— Держу пари, — прервал ее Альбер, — что я знаю, что вы мне скажете.

— Да неужели?

— Если я отгадаю, вы сознаетесь?

— Да.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Вы собираетесь меня спросить, здесь ли граф де Монте-Кристо или приедет ли он.

— Вовсе нет. Сейчас меня интересует не он. Я хотела спросить, нет ли у вас известий от Франца?

— Да, вчера я получил от него письмо.

— И что он вам пишет?

— Что он выезжает одновременно с письмом.

— Отлично. Ну а теперь о графе.

— Граф приедет, не беспокойтесь.

— Вы знаете, что его зовут не только Монте-Кристо?

— Нет, я этого не знал.

— Монте-Кристо — это название острова, а у него есть, кроме того, фамилия.

— Я никогда ее не слышал.

— Значит, я лучше осведомлена, чем вы: его зовут Дзакконе.

— Возможно.

— Он мальтиец.

— Тоже возможно.

— Сын судовладельца.

— Знаете, вам надо рассказать все это вслух, вы имели бы огромный успех.

— Он служил в Индии, разрабатывает серебряные рудники в Фессалии и приехал в Париж,

чтобы открыть в Отее заведение минеральных вод.

— Ну и новости, честное слово! — сказал Морсер. — Вы мне разрешите их повторить?

— Да, но понемногу, не все сразу, и не говорите, что они исходят от меня.

— Почему?

— Потому что это почти подслушанный секрет.

— Чей?

— Полиции.

— Значит, об этом говорилось…

— Вчера вечером у префекта. Вы ведь понимаете, Париж взволновался при виде этой необычайной роскоши, и полиция навела справки.

— Само собой! Не хватает только, чтобы графа арестовали за бродяжничество, ввиду того что он слишком богат.

— По правде говоря, это вполне могло бы случиться, если бы сведения не оказались такими благоприятными.

— Бедный граф! А он знает о грозившей ему опасности?

— Не думаю.

— В таком случае следует предупредить его. Я не премину это сделать, как только он приедет.

В эту минуту к ним подошел красивый молодой брюнет, с живыми глазами, и почтительно поклонился г-же де Вильфор.

Альбер протянул ему руку.

— Сударыня, — сказал Альбер, — имею честь представить вам Максимилиана Морреля, капитана спаги, одного из наших славных, а главное, храбрых офицеров.

— Я уже имела удовольствие познакомиться с господином Моррелем в Отее, у графа де Монте-Кристо, — ответила г-жа де Вильфор, отворачиваясь с подчеркнутой холодностью.

Этот ответ и особенно его тон заставили сжаться сердце бедного Морреля, но его ожидала награда: обернувшись, он увидел в дверях молодую девушку в белом; ее расширенные и, казалось, ничего не выражающие голубые глаза были устремлены на него; она медленно подносила к губам букет незабудок.

Моррель понял это приветствие и с тем же выражением в глазах, в свою очередь, поднес к губам платок; и обе эти живые статуи, с учащенно бьющимися сердцами и с мраморно-холодными лицами, разделенные всем пространством залы, на минуту забылись, вернее, забыли обо всем в этом немом созерцании.

Они могли бы долго стоять так, поглощенные друг другом, и никто не заметил бы их забытья: в залу вошел граф де Монте-Кристо.

Как мы уже говорили, было ли то искусственное или природное обаяние, но, где бы граф ни появлялся, он привлекал к себе всеобщее внимание. Не его фрак, правда безукоризненного покроя, но простой и без орденов; не белый жилет без всякой вышивки; не панталоны, облегавшие его стройные ноги, — не это привлекало внимание. Матовый цвет лица, волнистые черные волосы, спокойное и ясное лицо, глубокий и печальный взор, наконец, поразительно очерченный рот, так легко выражавший надменное презрение, — вот что приковывало к графу все взгляды.

Были мужчины красивее его, но не было ни одного столь значительного, если можно так выразиться. Все в нем выражало глубину ума и чувств; постоянная работа мысли придала его чертам, взгляду и самым незначительным жестам несравненную выразительность и ясность.

А кроме того, наше парижское общество такое странное, что оно, быть может, и не заметило бы всего этого, если бы тут не скрывалась какая-то тайна, позлащенная блеском несметных богатств.

Как бы то ни было, граф под огнем любопытных взоров и градом мимолетных приветствий направился к г-же де Морсер; стоя перед камином, утопавшим в цветах, она видела в зеркале, висевшем напротив двери, как он вошел, и приготовилась его встретить.

Поэтому она обернулась к нему с натянутой улыбкой в ту самую минуту, как он почтительно перед ней склонился.

Она, вероятно, думала, что граф заговорит с ней; он, со своей стороны, вероятно, тоже думал, что она ему что-нибудь скажет; но оба они остались безмолвны, настолько, по-видимому, им казались недостойными этой минуты какие-нибудь банальные слова. И, обменявшись с ней поклоном, Монте-Кристо направился к Альберу, который шел к нему навстречу с протянутой рукой.

— Вы уже видели мою матушку? — спросил Альбер.

— Я только что имел честь поздороваться с ней, — сказал граф, — но я еще не видел вашего отца.

— Да вот он, видите? Беседует о политике в маленькой кучке больших знаменитостей.

— Неужели все эти господа — знаменитости? — сказал Монте-Кристо. — А я и не знал! Чем же

они знамениты? Как вам известно, знаменитости бывают разные.

— Один из них ученый, вон тот, высокий и худой; он открыл в окрестностях Рима особый вид ящерицы, у которой одним позвонком больше, чем у других, и сделал в Институте доклад об этом открытии. Сообщение это долго оспаривали, но в конце концов победа осталась за высоким худым господином. Позвонок вызвал много шуму в ученом мире; высокий худой господин был всего лишь кавалером Почетного легиона, а теперь у него офицерский крест.

— Что ж, — сказал Монте-Кристо, — по-моему, награда вполне заслуженная; так что если он найдет еще один позвонок, то его могут сделать командором?

— Очень возможно, — сказал Альбер.

— А вот этот, который изобрел себе такой странный синий фрак, расшитый зеленым, кто это?

— Он не сам придумал так вырядиться; его так одела Республика: как известно, она отличалась художественным вкусом и, желая облечь академиков в мундир, поручила Давиду нарисовать для них костюм.

— Вот как, — сказал Монте-Кристо, — значит, этот господин — академик?

— Уже неделя, как он принадлежит к этому сонму ученых мужей.

— А в чем состоят его заслуги, его специальность?

— Специальность? Он, кажется, втыкает кроликам булавки в голову, кормит мареной кур и китовым усом выдалбливает спинной мозг у собак.

— И поэтому он состоит в Академии наук?

— Нет, во Французской академии.

— Но при чем тут Французская академия?

— Я вам сейчас объясню; говорят…

— Что его опыты сильно двинули вперед науку, да?

— Нет, что он прекрасно пишет.

— Это, наверно, очень льстит самолюбию кроликов, которым он втыкает в голову булавки, кур, которым он окрашивает кости в красный цвет, и собак, у которых он выдалбливает спинной мозг.

Альбер расхохотался.

— А вот этот? — спросил граф.

— Который?

— Третий отсюда.

— А, в васильковом фраке?

— Да.

— Это коллега моего отца. Недавно он горячо

выступал против того, чтобы члены Палаты пэров имели свой мундир. Его речь по этому вопросу имела большой успех; он был не в ладах с либеральной прессой, но этот благородный протест против намерений двора помирил его с ней. Говорят, его назначат послом.

— А в чем состоят его права на пэрство?

— Он написал две-три комические оперы, имеет пять-шесть акций газеты "Век" и пять или шесть лет голосовал за министерство.

— Браво, виконт! — сказал, смеясь, Монте-Кристо. — Вы очаровательный чичероне, теперь я попрошу вас об одной услуге.

— О какой?

— Вы не будете знакомить меня с этими господами, а если они пожелают познакомиться со мной, вы меня предупредите.

В эту минуту граф почувствовал, что кто-то тронул его локоть; он обернулся и увидел Данглара.

— А, это вы, барон! — сказал он.

— Почему вы зовете меня бароном? — сказал Данглар. — Вы же знаете, что я не придаю значения своему титулу. Не то, что вы, виконт: ведь вы им дорожите, правда?

— Разумеется, — отвечал Альбер, — потому что, перестань я быть виконтом, я обращусь в

ничто, тогда как вы свободно можете пожертвовать баронским титулом и все же останетесь миллионером.

— Это, по-моему, наилучший титул при Июльской монархии, — сказал Данглар.

— К несчастью, — сказал Монте-Кристо, — миллионер не есть пожизненное звание, как барон, пэр Франции или академик; доказательством могут служить франкфуртские миллионеры Франк и Пульман, которые только что обанкротились.

— Неужели? — сказал Данглар, бледнея.

— Да, мне сегодня вечером привез это известие курьер; у меня в их банке лежало что-то около миллиона, но меня вовремя предупредили, и я с месяц назад потребовал его выплаты.

— Ах, черт, — сказал Данглар. — Они перевели на меня векселей на двести тысяч франков.

— Ну, так вы предупреждены; их подпись стоит пять процентов.

— Да, но я предупрежден слишком поздно, — сказал Данглар. — Я уже выплатил по их векселям.

— Что ж, — сказал Монте-Кристо, — вот еще двести тысяч франков, которые последовали…

— Шш! — прервал Данглар, — не говорите об этом… особенно при Кавальканти-млад-

шем, — прибавил банкир, подойдя ближе к Монте-Кристо, и с улыбкой обернулся к стоявшему невдалеке молодому человеку.

Альбер отошел от графа, чтобы переговорить со своей матерью. Данглар покинул его, чтобы поздороваться с Кавальканти-сыном. Монте-Кристо на минуту остался один.

Между тем духота становилась нестерпимой. Лакеи разносили по гостиным подносы, полные фруктов и мороженого.

Монте-Кристо вытер платком лицо, влажное от пота, но отступил, когда мимо него проносили поднос, и не взял ничего прохладительного.

Госпожа де Морсер ни на минуту не теряла Монте-Кристо из виду. Она видела, как мимо него пронесли поднос, до которого он не дотронулся; она даже заметила, как он отодвинулся.

— Альбер, — сказала она, — обратил ты внимание на одну странность?

— На что именно?

— Граф ни разу не принял приглашения на обед к твоему отцу.

— Да, но он приехал ко мне завтракать, и этот завтрак был его вступлением в свет.

— У тебя это не то же, что у графа де Морсера, — прошептала Мерседес, — а я слежу за ним с той

минуты, как он сюда вошел.

— И что же?

— Он до сих пор ни к чему не притронулся.

— Граф очень воздержанный человек.

Мерседес печально улыбнулась.

— Подойди к нему и, когда мимо понесут поднос, попроси его взять что-нибудь.

— Зачем это, матушка?

— Доставь мне это удовольствие, Альбер, — сказала Мерседес.

Альбер поцеловал матери руку и подошел к графу.

Мимо них пронесли поднос; г-жа де Морсер видела, как Альбер настойчиво угощал графа, даже взял блюдце с мороженым и предложил ему, но тот упорно отказывался.

Альбер вернулся к матери. Графиня была очень бледна.

— Вот видишь, — сказала она, — он отказался.

— Да, но почему это вас огорчает?

— Знаешь, Альбер, женщины ведь странные создания. Мне было бы приятно, если бы граф съел что-нибудь в моем доме, хотя бы только зернышко граната. Впрочем, может быть, ему не нравится французская еда, может быть, у него какие-нибудь особенные вкусы.

— Да нет же, в Италии он ел все что угодно; вероятно, ему нездоровится сегодня.

— А потом, — сказала графиня, — раз он всю жизнь провел в жарких странах, он, может быть, не так страдает от жары, как мы?

— Не думаю, он жаловался на духоту и спрашивал, почему, если уж открыли окна, не открыли заодно и жалюзи.

— В самом деле, — сказала Мерседес, — у меня есть способ удостовериться, нарочно ли он от всего отказывается.

И она вышла из гостиной.

Через минуту жалюзи распахнулись; сквозь кусты жасмина и ломоноса, растущие перед окнами, можно было видеть весь сад, освещенный фонариками, и накрытый стол под тентом.

Танцоры и танцорки, игроки и беседующие радостно вскрикнули; их легкие с наслаждением впивали свежий воздух, широкими потоками врывавшийся в комнату.

В ту же минуту вновь появилась Мерседес, бледнее прежнего, но с тем решительным лицом, какое у нее иногда бывало. Она направилась прямо к той группе, которая окружала ее мужа.

— Не удерживайте здесь наших гостей, граф, — сказала она. — Если они не играют в карты, то

им, наверно, будет приятнее подышать воздухом в саду, чем задыхаться в комнатах.

— Сударыня, — сказал галантный старый генерал, который в 1809 году распевал "Отправляясь в Сирию", — одни мы в сад не пойдем.

— Хорошо, — сказала Мерседес, — в таком случае я подам вам пример.

И, обернувшись к Монте-Кристо, она сказала:

— Сделайте мне честь, граф, и предложите мне руку.

Граф чуть не пошатнулся от этих простых слов, потом он пристально посмотрел на Мерседес. Это был только миг, быстрый, как молния, но графине показалось, что он длился вечность, так много мыслей вложил Монте-Кристо в один этот взгляд.

Он предложил графине руку; она оперлась на нее, вернее, едва коснулась ее своей маленькой рукой, и они сошли вниз по одной из каменных лестниц крыльца, окаймленной рододендронами и камелиями.

Следом за ними, а также и по другой лестнице, с радостными возгласами устремились человек двадцать, желающих погулять по саду.

XIV
ХЛЕБ И СОЛЬ

Госпожа де Морсер прошла со своим спутником под зеленые своды липовой аллеи, которая вела к оранжерее.

— В гостиной было слишком жарко, не правда ли, граф? — сказала она.

— Да, сударыня, и ваша мысль открыть все двери и жалюзи прекрасна.

Говоря эти слова, граф заметил, что рука Мерседес дрожит.

— А вам не будет холодно в этом легком платье, с одним только газовым шарфом на плечах? — сказал он.

— Знаете, куда я вас веду? — спросила графиня, не отвечая на вопрос.

— Нет, сударыня, — ответил Монте-Кристо, — но, как видите, я не противлюсь.

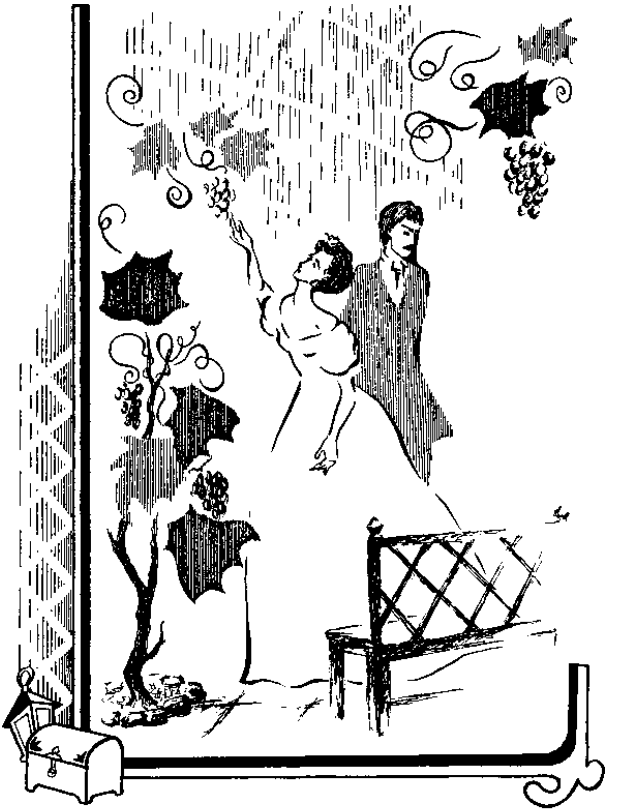
— К оранжерее, что виднеется там, в конце этой аллеи.

Граф вопросительно взглянул на Мерседес, но она молча шла дальше, и Монте-Кристо тоже молчал.

Они дошли до оранжереи, полной превосходных плодов, которые к началу июля уже достигли зрелости в этой температуре, рассчитанной на то, чтобы заменить солнечное тепло, такое редкое у нас.

Графиня отпустила руку Монте-Кристо и, подойдя к виноградной лозе, сорвала гроздь муската.

— Возьмите, граф, — сказала она с такой печальной улыбкой, что, казалось, на глазах у нее готовы выступить слезы. — Я знаю, наш французский виноград не выдерживает сравнения с вашим сицилийским или кипрским, но вы, надеюсь, будете снисходительны к нашему бедному северному солнцу.



Граф поклонился и отступил на шаг.

— Вы мне отказываете? — сказала Мерседес, дрогнувшим голосом.

— Сударыня, — отвечал Монте-Кристо, — я смиренно прошу у вас прощения, но я никогда не ем муската.

Мерседес со вздохом уронила гроздь.

На соседней шпалере висел чудесный персик, выращенный, как и виноградная лоза, в искусственном тепле оранжереи. Мерседес подошла к бархатистому плоду и сорвала его.

— Тогда возьмите этот персик, — сказала она.

Но граф снова повторил жест отказа.

— Как, опять! — сказала она с таким отчаянием в голосе, словно подавляла рыдание. — Право, мне не везет.

Последовало долгое молчание; персик, вслед за гроздью, упал на песок.

— Знаете, граф, — сказала, наконец, Мерседес, с мольбой глядя на Монте-Кристо, — есть такой трогательный арабский обычай: те, что вкусили под одной кровлей хлеба и соли, становятся навеки друзьями.

— Я это знаю, сударыня, — ответил граф, — но мы во Франции, а не в Аравии, а во Франции не существует вечной дружбы, так же как и обычая

делить хлеб и соль.

— Но все-таки, — сказала графиня, дрожа и глядя прямо в глаза Монте-Кристо, и почти судорожно схватила обеими руками его руку, — все-таки мы друзья, не правда ли?

Вся кровь прихлынула к сердцу графа, бледного как смерть, затем бросилась ему в лицо и на несколько секунд заволокла его глаза туманом, как бывает с человеком, у которого кружится голова.

— Разумеется, сударыня, — отвечал он, — почему бы нам не быть друзьями?

Этот тон был так далек от того, чего жаждала Мерседес, что она отвернулась со вздохом, более похожим на стон.

— Благодарю вас, — сказала она.

И она пошла вперед.

Они обошли весь сад, не проронив ни слова.

— Сударь, — начала вдруг Мерседес после десятиминутной молчаливой прогулки, — правда ли, что вы много видели, много путешествовали, много страдали?

— Да, сударыня, я много страдал, — ответил Монте-Кристо.

— Но теперь вы счастливы?

— Конечно, — ответил граф, — ведь никто не

слышал, чтобы я когда-нибудь жаловался.

— И ваше нынешнее счастье смягчает вашу душу?

— Мое нынешнее счастье равно моим прошлым несчастьям.

— Вы не женаты?

— Женат? — вздрогнув, переспросил Монте-Крис-то. — Кто мог вам это сказать?

— Никто не говорил, но вас несколько раз видели в Опере с молодой и очень красивой женщиной.

— Это невольница, которую я купил в Константинополе, дочь князя, которая стала моей дочерью, потому что на всем свете у меня нет ни одного близкого человека.

— Значит, вы живете одиноко?

— Одиноко.

— У вас нет сестры… сына… отца?

— Никого.

— Как вы можете так жить, не имея ничего, что привязывает к жизни?

— Это произошло не по моей вине, сударыня. Когда я жил на Мальте, я любил одну девушку и должен был на ней жениться, но налетела война и умчала меня от нее как вихрь. Я думал, что она достаточно любит меня, чтобы ждать,

чтобы остаться верной даже моей могиле. Когда я вернулся, она была уже замужем. Это обычная история каждого мужчины старше двадцати лет. Быть может, у меня было более чувствительное сердце, чем у других, и я страдал больше, чем страдал бы другой на моем месте, вот и все.

Графиня приостановилась, словно ей не хватило дыхания.

— Да, — сказала она, — и эта любовь осталась лежать камнем на вашем сердце… Любишь по-настоящему только раз в жизни… И вы не виделись больше с этой женщиной?

— Никогда.

— Никогда?

— *Я* больше не возвращался туда, где она жила.

— На Мальту?

— Да, на Мальту.

— Она и теперь на Мальте?

— Вероятно.

— И вы простили ей ваши страдания?

— Ей — да.

— Но только ей. Вы все еще ненавидите тех, кто вас с ней разлучил?

— Нисколько. За что мне их ненавидеть?

Графиня остановилась перед Монте-Кристо; в

руке она все еще держала обрывок ароматной грозди.

— Возьмите, — сказала она.

— Я никогда не ем муската, сударыня, — ответил Монте-Кристо, как будто между ними раньше не было разговора на эту тему.

Графиня жестом, полным отчаяния, отбросила кисть винограда в ближайшие кусты.

— Непреклонный! — прошептала она.

Монте-Кристо остался столь же невозмутим, как если бы этот упрек относился не к нему.

В эту минуту к ним подбежал Альбер.

— Матушка, — сказал он, — большое несчастье!

— Что такое? Что случилось? — спросила графиня, выпрямляясь во весь рост, словно возвращаясь от сна к действительности. — Несчастье, ты говоришь? В самом деле, теперь должны начаться несчастья!

— Приехал господин де Вильфор.

— И что же?

— Он приехал за женой и дочерью.

— Почему?

— В Париж прибыла маркиза де Сен-Меран и привезла известие, что маркиз де Сен-Меран умер на пути из Марселя, на первой остановке.

Госпожа де Вильфор была так весела, что долго не могла понять и поверить; но мадемуазель Валентина при первых же словах, несмотря на всю осторожность ее отца, все угадала; этот удар поразил ее как громом, и она упала в обморок.

— А кем маркиз де Сен-Меран приходится мадемуазель Валентине де Вильфор? — спросил граф.

— Это ее дед по матери. Он ехал сюда, чтобы ускорить брак своей внучки с Францем.

— Ах, вот как!

— Теперь Францу придется подождать. Жаль, что маркиз де Сен-Меран не приходится также дедом мадемуазель Данглар!

— Альбер, Альбер! Ну, что ты говоришь? — с нежным упреком сказала г-жа де Морсер. — Он вас так уважает, граф, скажите ему, что так не следует говорить!

Она отошла на несколько шагов.

Монте-Кристо взглянул на нее так странно, с такой задумчивой и восторженной нежностью, что она вернулась назад.

Она взяла его руку, сжала в то же время руку сына и соединила их.

— Мы ведь друзья, правда? — сказала она.

— Я не смею притязать на вашу дружбу, сударыня, — сказал граф, — но, во всяком случае, я

ваш почтительнейший слуга.

Графиня удалилась с невыразимой тяжестью на сердце; она не отошла и десяти шагов, как граф увидел, что она поднесла к глазам платок.

— У вас с матушкой вышла размолвка? — удивленно спросил Альбер.

— Напротив, — ответил граф, — ведь она сейчас при вас сказала, что мы друзья.

И они вернулись в гостиную, которую только что покинули Валентина и супруги де Вильфор.

Не стоит говорить, что Моррель вышел вслед за ними.

XV
ГОСПОЖА ДЕ СЕН-МЕРАН

Действительно, в доме Вильфора незадолго перед тем разыгралась печальная сцена.

После отъезда обеих дам на бал, куда, несмотря на все старания и уговоры, г-же де Вильфор так и не удалось увезти мужа, королевский прокурор, по обыкновению окруженный кипами дел, запер-ся у себя в кабинете; количество их привело бы в ужас всякого другого, но в обычное время этого едва хватало на то, чтобы утолить его жажду деятельности.

Но на этот раз дела были только предлогом, Вильфор заперся не для того, чтобы работать, а для того, чтобы поразмыслить на свободе; удалившись в свой кабинет и приказав не беспокоить его, если ничего важного не случится, он погрузился в кресло и снова начал перебирать в памяти все, что за последнюю неделю переполняло чашу его мрачной печали и горьких воспоминаний.

И вот вместо того чтобы приняться за наваленные перед ним дела, он открыл ящик письменного стола, нажал секретную пружину и вытащил связку своих личных записей; в этих драгоценных рукописях в строгом порядке, ему одному известным шифром были записаны имена всех, кто на политическом его поприще, в денежных делах, в судебных процессах или в тайных любовных интригах стал ему врагом.

Теперь, когда ему было страшно, число их казалось несметным; а между тем все эти имена, даже самые могущественные и грозные, не раз вызывали на его лице улыбку, подобную улыбке путника, который, взобравшись на вершину горы, видит у себя под ногами остроконечные скалы, непроходимые пути и края пропастей — все, что он преодолел в долгом, мучительном восхождении.

Он старательно возобновил эти имена в своей памяти, внимательно перечитал, проверил их по своим записям и наконец покачал головой.

— Нет, — прошептал он, — ни один из них не ждал бы так долго и терпеливо, чтобы теперь уничтожить меня этой тайной. Иногда, как говорит Гамлет, из-под земли поднимается гул того, что было в ней глубоко погребено, и, словно фосфорический свет, блуждает по воздуху, но эти огни мимолетны и только сбивают с пути. Вероятно, корсиканец рассказал эту историю какому-нибудь священнику, а тот, в свою очередь — еще кому-то. Господин де Монте-Кристо услышал ее и, чтобы проверить…

— Но зачем ему проверять? — продолжал Вильфор, после минутного раздумья. — Зачем нужно господину де Монте-Кристо, господину Дзакконе, сыну мальтийского арматора, владельцу серебряных рудников в Фессалии, впервые приехавшему во Францию, проверять такой темный, таинственный и бесполезный факт? Из всего, что рассказали мне этот аббат Бузони и этот лорд Уилмор, друг и недруг, для меня ясно, очевидно и несомненно одно: ни в какое время, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах у меня не могло быть с ним ничего общего.

Но Вильфор повторял все это, сам не веря своим словам. Страшнее всего для него было не самое разоблачение, потому что он мог отрицать, а то и ответить; его мало беспокоило это "Мене, Текел, Перес", кровавыми буквами внезапно возникшее на стене; но он мучительно хотел узнать, кому принадлежит рука, начертавшая эти слова.

В ту минуту, когда он пытался себя успокоить и когда, вместо того политического будущего, которое ему порой рисовалось в честолюбивых мечтах, он, чтобы не разбудить этого так долго спавшего врага, подумывал о будущем, ограниченном семейными радостями, во дворе раздался стук колес. Затем на лестнице послышались медленные старческие шаги, потом рыдания и горестные возгласы, которые так удаются прислуге, когда она хочет показать сочувствие своим господам.

Он поспешно отпер дверь кабинета, и почти сейчас же к нему, без доклада, вошла старая дама с шалью и шляпой в руке. Ее седые волосы обрамляли лоб, матовый, как пожелтевшая слоновая кость, а глаза, которые время окружило глубокими морщинами, опухли от слез.

— О, какое несчастье, — произнесла она, — какое несчастье! Я не переживу! Нет, конечно, я

этого не переживу!

И, упав в кресло у самой двери, она разразилась рыданиями.

Слуги столпились на пороге и, не смея двинуться дальше, поглядывали на старого камердинера г-на Нуартье, который, услышав из комнаты своего хозяина весь этот шум, тоже прибежал вниз и стоял позади остальных.

Вильфор, узнав свою тещу, вскочил и бросился к ней.

— Боже мой, сударыня, что случилось? — спросил он. — Почему вы в таком отчаянии? А маркиз де Сен-Меран разве не с вами?

— Маркиз де Сен-Меран умер, — сказала старая маркиза без предисловий, без всякого выражения, словно в каком-то столбняке.

Вильфор отступил на шаг и всплеснул руками.

— Умер! — пролепетал он. — Умер так… внезапно?

— Неделю тому назад мы после обеда собрались в дорогу, — продолжала г-жа де Сен-Меран. — Маркиз уже несколько дней прихварывал, но мысль, что мы скоро увидим нашу дорогую Валентину, придавала ему мужества, и, несмотря на свое недомогание, он решил тронуться в путь. Не успели мы отъехать и шести льё от Марселя,

как он принял, по обыкновению, свои пилюли и потом заснул так крепко, что это показалось мне неестественным. Но я не решилась его разбудить. Вдруг я увидела, что лицо его побагровело и жилы на висках как-то особенно вздулись. Все же я не стала его будить; наступила ночь, и ничего уже не было видно. Вскоре он глухо, отчаянно вскрикнул, словно ему стало больно во сне, и голова его резко откинулась назад. Я позвала камердинера, велела кучеру остановиться, стала будить маркиза, поднесла к его носу флакон с солью, но все было кончено: он был мертв. Я доехала до Экса, сидя рядом с его телом.

Вильфор, пораженный, стоял и слушал.

— Вы, конечно, сейчас же позвали доктора?

— Немедленно. Но я уже сказала вам, — это был конец.

— Разумеется, но доктор по крайней мере определил, от какой болезни скончался бедный маркиз?

— О Господи, конечно, он мне сказал: очевидно, это был апоплексический удар.

— Что же вы сделали?

— Господин де Сен-Меран всегда говорил, что, если он умрет не в Париже, его тело должно быть перевезено в семейный склеп. Я велела его по-

ложить в свинцовый гроб и приехала лишь на несколько дней раньше, чем его привезут.

— Бедная матушка! — сказал Вильфор. — Такие хлопоты после такого потрясения, и в вашем возрасте!

— Бог дал мне силы вынести все; впрочем, мой муж, конечно, сделал бы для меня то же, что я сделала для него. Но с тех пор как я его там оставила, мне все кажется, что я лишилась рассудка. Я больше не могу плакать. Правда, люди говорят, что в мои годы уже не бывает слез, но, мне кажется, пока страдаешь, до тех пор должны быть и слезы. А где Валентина? Ведь мы сюда ехали ради нее. Я хочу видеть Валентину.

Вильфор понимал, как жестоко было бы сказать, что Валентина на балу; он просто ответил, что ее нет дома, что она вышла вместе с мачехой и что ей сейчас дадут знать.

— Сию же минуту, сию же минуту, умоляю вас, — сказала старая маркиза.

Вильфор взял ее под руку и отвел в ее комнату.

— Отдохните, матушка, — сказал он.

Маркиза взглянула на этого человека, напоминавшего ей горячо оплакиваемую дочь, ожившую для нее в Валентине, потрясенная словом "матушка", разразилась слезами, упала на колени перед

креслом и прижалась к нему седой головой.

Вильфор поручил ее заботам женщин, а старик Барруа поднялся к своему хозяину, взволнованный до глубины души; больше всего пугает стариков, когда смерть на минуту отходит от них, чтобы поразить другого старика.

Затем, пока г-жа де Сен-Меран, все так же на коленях, горячо молилась, Вильфор послал за наемной каретой и сам поехал за женой и дочерью к г-же де Морсер, чтобы отвезти их домой.

Он был так бледен, когда появился в дверях гостиной, что Валентина бросилась к нему с криком:

— Что случилось, отец? Несчастье?

— Приехала ваша бабушка, Валентина, — сказал Вильфор.

— А дедушка? — спросила она, вся дрожа.

Вильфор вместо ответа взял дочь под руку.

Это было как раз вовремя: Валентине сделалось дурно, и она зашаталась; г-жа де Вильфор подхватила ее и помогла мужу усадить ее в карету, повторяя:

— Как это странно! Кто бы мог подумать! Право, это очень странно!

И огорченное семейство быстро удалилось, набросив свою печаль, как траурный покров, на

весь остаток вечера.

Внизу лестницы Валентина встретила поджидавшего ее Барруа.

— Господин Нуартье желает вас видеть сегодня, — тихо сказал он ей.

— Скажите ему, что я зайду к нему, как только повидаюсь с бабушкой, — сказала Валентина.

Своим чутким сердцем она поняла, что г-жа де Сен-Меран всех более нуждалась в ней в этот час.

Валентина нашла свою бабушку в постели. Безмолвные ласки, скорбь, переполняющая сердца, прерывистые вздохи, жгучие слезы — вот единственные подробности этого свидания; при нем присутствовала, под руку со своим мужем, г-жа де Вильфор, полная почтительного сочувствия, по крайней мере наружного, к бедной вдове.

Спустя некоторое время она наклонилась к уху мужа.

— Если позволите, — сказала она, — мне лучше уйти, потому что мой вид, кажется, еще больше огорчает вашу тещу.

Госпожа де Сен-Меран услышала ее слова.

— Да, да, — шепнула она Валентине, — пусть она уходит, но ты останься, останься непременно.

Госпожа де Вильфор удалилась, а Валентина осталась одна у постели своей бабушки, так как королевский прокурор, удрученный этой неожиданной смертью, вышел вместе с женой.

Между тем Барруа вернулся наверх к господину Нуартье; тот слышал поднявшийся в доме шум и, как мы уже сказали, послал старого слугу узнать, в чем дело.

По его возвращении взгляд старика, такой живой, а главное такой разумный, вопросительно остановился на посланном.

— Случилось большое несчастье, сударь, — сказал Барруа, — госпожа де Сен-Меран приехала одна, а муж ее скончался.

Сен-Меран и Нуартье никогда не были особенно дружны, но известно, какое впечатление производит на всякого старика весть о смерти сверстника. Нуартье замер, как человек, удрученный горем или погруженный в свои мысли, затем он закрыл один глаз.

— Мадемуазель Валентину? — спросил Барруа.

Нуартье сделал знак, что да.

— Она на балу, вы ведь знаете, она еще приходила к вам проститься в бальном платье.

Нуартье снова закрыл левый глаз.

— Вы хотите ее видеть?

Нуартье подтвердил это.

— За ней, наверно, сейчас поедут к госпоже де Морсер; я подожду ее возвращения и попрошу ее пройти к вам. Так?

— Да, — ответил паралитик.

Барруа подстерег Валентину и, как мы уже видели, лишь только она вернулась, сообщил ей о желании деда.

Поэтому Валентина поднялась к Нуартье, как только вышла от г-жи де Сен-Меран, которая, как ни была взволнована, в конце концов, сраженная усталостью, уснула беспокойным сном.

К ее изголовью придвинули столик, на который поставили графин с оранжадом — ее обычное питье — и стакан.

Затем, как мы уже сказали, Валентина оставила спящую маркизу и поднялась к Нуартье.

Валентина поцеловала деда, и он посмотрел на нее так нежно, что из глаз у нее снова брызнули слезы, которые она считала уже иссякшими.

Старик настойчиво смотрел на нее.

— Да, да, — сказала Валентина, — ты хочешь сказать, что у меня еще остался добрый дедушка, правда?

Старик показал, что он именно это и хотел выразить своим взглядом.

— Да, это большое счастье, — продолжала Валентина. — Что бы со мной было иначе, Господи!

Был уже час ночи; Барруа, которому хотелось спать, заметил, что после такого горестного вечера всем необходим покой. Старик не захотел сказать, что его покой состоит в том, чтобы видеть свое дитя. Он простился с Валентиной, которая действительно от утомления и горя еле стояла на ногах.

На следующий день, придя к бабушке, Валентина застала ее в постели; лихорадка не утихала: напротив, глаза старой маркизы горели мрачным огнем, и она была, видимо, охвачена сильным нервным возбуждением.

— Что с вами, бабушка, вам хуже? — воскликнула Валентина, заметив ее состояние.

— Нет, дитя мое, нет, — сказала г-жа де Сен-Меран, — но я очень ждала тебя. Я хочу послать за твоим отцом.

— За отцом? — спросила обеспокоенная Валентина.

— Да, мне надо с ним поговорить.

Валентина не посмела противоречить желанию бабушки, да и не знала, чем оно вызвано; через минуту в комнату вошел Вильфор.

— Сударь, — начала, без всяких околичностей,

г-жа де Сен-Меран, словно опасаясь, что у нее не хватит времени, — вы мне писали, что намерены выдать нашу девочку замуж?

— Да, сударыня, — отвечал Вильфор, — это даже уже не намерение, это дело решенное.

— Вашего будущего зятя зовут Франц д'Эпине?

— Да, сударыня.

— Его отец был генерал д'Эпине, наш единомышленник? Его, кажется, убили за несколько дней до того, как узурпатор вернулся с Эльбы?

— Совершенно верно.

— Его не смущает женитьба на внучке якобинца?

— Наши политические разногласия, к счастью, прекратились, матушка, — сказал Вильфор, — Франц д'Эпине был почти младенец, когда умер его отец; он очень мало знает господина Нуартье и встретится с ним если и без удовольствия, то, во всяком случае, равнодушно.

— Это приличная партия?

— Во всех отношениях.

— И этот молодой человек…

— Пользуется всеобщим уважением.

— Он хорошо воспитан?

— Это один из самых достойных людей, которых я знаю.

В продолжение всего этого разговора Валентина не проронила ни слова.

— В таком случае, сударь, — после краткого размышления сказала г-жа де Сен-Меран, — вам надо поторопиться, потому что мне недолго осталось жить.

— Вам, сударыня! Вам, бабушка! — воскликнули в один голос Вильфор и Валентина.

— Я знаю, что говорю, — продолжала маркиза, — вы должны поспешить, чтобы хоть бабушка могла благословить ее брак, раз у нее нет матери. Я одна у нее осталась со стороны моей бедной Рене, которую вы так скоро забыли, сударь.

— Вы не помните, сударыня, — сказал Вильфор, — что этой бедной девочке была нужна мать.

— Мачеха никогда не заменит матери, сударь! Но это к делу не относится, мы говорим о Валентине, оставим мертвых в покое.

Маркиза говорила все это с такой быстротой и таким голосом, что ее речь становилась похожа на бред.

— Ваше желание будет исполнено, сударыня, — сказал Вильфор, — тем более что оно вполне совпадает с моим, и как только приедет господин д'Эпине…

— Но, бабушка, — сказала Валентина, — так не принято, ведь у нас траур... И неужели вы хотите, чтобы я вышла замуж при таких печальных предзнаменованиях?

— Дитя мое, — быстро прервала старуха, — не говори об этом, эти банальности только мешают слабым душам прочно строить свое будущее. Меня тоже выдали замуж, когда моя мать лежала при смерти, и я не стала от этого несчастной.

— Опять вы говорите о смерти, сударыня, — заметил Вильфор.

— Опять? Все время!.. Говорю вам, что я скоро умру, слышите! Но раньше я хочу видеть моего зятя, хочу потребовать от него, чтобы он сделал мою внучку счастливой, хочу прочитать в его глазах, исполнит ли он мое требование— словом, я хочу его знать, да, — продолжала старуха, и лицо ее стало страшным, — я приду к нему из глубины могилы, если он будет не тем, чем должен быть, не тем, чем ему надо быть.

— Сударыня, — возразил Вильфор, — вы должны гнать от себя эти мысли, это почти безумие. Мертвые спят в своих могилах и не встают никогда.

— Да, да, бабушка, успокойтесь! — сказала Валентина.

— А я говорю вам, сударь, что все это не так, как вы думаете. Эту ночь я провела ужасно. Я сама себя видела спящей, как будто душа моя уже отлетела от меня, я старалась открыть глаза, но они сами закрывались; и вот — я знаю, вам это покажется невозможным, особенно вам, сударь, — лежа с закрытыми глазами, я увидела, как в эту комнату из угла, где находится дверь в уборную госпожи де Вильфор, тихо вошла белая фигура.

Валентина вскрикнула.

— У вас был жар, сударыня, — сказал Вильфор.

— Можете не верить, но я знаю, что говорю, я видела белую фигуру, и, словно Господь опасался, что я не поверю одному зрению, я услышала, как стукнул мой стакан, да, да, вот этот самый, на столике.

— Это вам приснилось, бабушка.

— Нет, не приснилось, потому что я протянула руку к звонку, и тень сразу исчезла. Тут вошла горничная со свечой.

— И никого не оказалось?

— Привидения являются только тем, кто должен их видеть; это был дух моего мужа. Так вот, если дух моего мужа приходил за мной, почему мой дух не явится, чтобы защитить мое дитя?

Наша связь, мне кажется, еще сильнее.

— Прошу вас, сударыня, — сказал Вильфор, невольно взволнованный до глубины души, — не давайте воли этим мрачным мыслям; вы будете жить с нами, жить долго, счастливая, любимая, почитаемая, и мы заставим вас забыть…

— Нет, нет, никогда! — прервала маркиза. — Когда возвращается господин д'Эпине?

— Мы ждем его с минуты на минуту.

— Хорошо. Как только он приедет, скажите мне. Надо скорее, скорее. И я хочу видеть нотариуса. Я хочу быть уверенной, что все наше состояние перейдет к Валентине.

— Ах, бабушка, — прошептала Валентина, прикасаясь губами к пылающему лбу старухи, — я этого не вынесу! Боже мой, вы вся горите. Надо звать не нотариуса, а доктора.

— Доктора? — сказала та, пожимая плечами. — Я не больна, я хочу пить, больше ничего.

— Что вы пьете, бабушка?

— Как всегда, оранжад, ты же знаешь. Стакан тут на столике, дай его мне.

Валентина налила оранжад из графина в стакан и передала бабушке с некоторым страхом, потому что до этого самого стакана, по словам маркизы, дотронулся призрак.

Маркиза сразу выпила все.

Потом она откинулась на подушки, повторяя:

— Нотариуса, нотариуса!

Вильфор вышел из комнаты. Валентина села около бабушки. Она, казалось, сама нуждалась в докторе, которого она советовала позвать маркизе. Щеки ее пылали, она дышала быстро и прерывисто, пульс бился лихорадочно.

Бедная девушка думала о том, в каком отчаянии будет Максимилиан, когда ему станет известно, что г-жа де Сен-Меран, не зная его, вместо того чтобы стать их союзницей, действует как его злейший враг.

Валентина не раз думала о том, чтобы все сказать бабушке. Она **Fie** колебалась бы ни минуты, если бы Максимилиана Морреля звали Альбером де Морсером или Раулем де Шато-Рено. Но Моррель был плебей по происхождению, а Валентина знала, как презирает гордая маркиза де Сен-Меран людей неродовитых. И всякий раз ее тайна, уже готовая сорваться с губ, оставалась у нее на сердце из-за грустной уверенности, что она выдала бы ее напрасно и что, едва эту тайну узнают отец и мачеха, всему настанет конец.

Так прошло около двух часов. Г-жа де Сен-Мёран была погружена в беспокойный, лихорадочный

сон. Доложили о приходе нотариуса.

Хотя об этом сообщили едва слышно, г-жа де Сен-Меран подняла голову с подушки.

— Нотариус? — сказала она. — Пусть войдет, пусть войдет!

Нотариус был у дверей; он вошел.

— Ступай, Валентина, — сказала г-жа де Сен-Меран, — оставь меня одну с этим господином.

— Но, бабушка…

— Ступай, ступай.

Валентина поцеловала бабушку в лоб и вышла, прижимая к глазам платок.

За дверью она встретила камердинера, который сообщил ей, что в гостиной ждет доктор.

Валентина быстро сошла вниз. Доктор, один из известнейших врачей того времени, был другом их семьи и очень любил Валентину, которую знал с пеленок. У него была дочь почти одних лет с мадемуазель де Вильфор; она была рождена от чахоточной матери, и его жизнь проходила в непрерывной тревоге за эту девочку.

— Ах, дорогой господин д'Авриньи, — сказала Валентина, — мы так ждем вас! Но скажите сначала, как поживают Мадлен и Антуанетта?

Мадлен была дочь доктора, а Антуанетта — его племянница.

Господин д'Авриньи грустно улыбнулся.

— Антуанетта прекрасно, — сказал он. — Мадлен сносно. Но вы посылали за мной, дорогая? Кто у вас болен? Не ваш отец и не госпожа де Вильфор, надеюсь? А мы сами? Я уж вижу, наши нервы не оставляют нас в покое. Но все же не думаю, чтобы я тут был нужен, — разве только чтобы посоветовать не слишком давать волю нашему воображению.

Валентина вспыхнула. Д'Авриньи обладал почти чудодейственным даром все угадывать; он был из тех врачей, которые лечат телесные болезни моральным воздействием.

— Нет, — сказала она, — это бедная бабушка заболела. Вы ведь знаете, какое у нас несчастье?

— Ничего не знаю, — сказал д'Авриньи.

— Это ужасно, — сказала Валентина, сдерживая рыдания. — Скончался мой дедушка.

— Маркиз де Сен-Меран?

— Да.

— Внезапно?

— От апоплексического удара.

— От апоплексического удара? — повторил доктор.

— Да. И бедной бабушкой овладела мысль, что муж, с которым она никогда в жизни не рас-

ставалась, теперь зовет ее и что она должна за ним последовать. Умоляю вас, сударь, помогите бабушке!

— Где она?

— У себя в комнате, и там нотариус.

— А как господин Нуартье?

— Все по-прежнему: совершенно ясный ум, но все такая же неподвижность и немота.

— И такая же нежность к вам — правда?

— Да, — сказала со вздохом Валентина, — он очень любит меня.

— Да как же можно вас не любить?

Валентина грустно улыбнулась.

— А что с вашей бабушкой?

— У нее необычайное нервное возбуждение, странный, беспокойный сон; сегодня она уверяла, что ночью, пока она спала, ее душа витала над телом и видела его спящим. Конечно, это бред. Она уверяет, что видела, как в комнату к ней вошел призрак, и слышала, как он дотронулся до ее стакана.

— Это очень странно, — сказал доктор, — я никогда не слыхал, чтобы госпожа де Сен-Меран страдала галлюцинациями.

— Я в первый раз вижу ее в таком состоянии, — сказала Валентина. — Она очень напугала меня

сегодня утром: я думала, что она сошла с ума. И вы ведь знаете, господин д'Авриньи, какой уравновешенный человек мой отец, но даже он был, мне кажется, очень взволнован.

— Сейчас посмотрим, — сказал д'Авриньи, — все это очень странно.

Нотариус уже спускался вниз, и Валентине пришли сказать, что маркиза одна.

— Поднимитесь к ней, — сказала она доктору.

— А вы?

— Нет, я боюсь. Она запретила мне посылать за вами. И потом, вы сами сказали, я взволнована, возбуждена, я плохо себя чувствую. Я пройдусь по саду, чтобы немного прийти в себя.

Доктор пожал Валентине руку и пошел к маркизе, а молодая девушка спустилась в сад.

Нам незачем говорить, какая часть сада была излюбленным местом ее прогулок. Пройдясь несколько раз по цветнику, окружавшему дом, сорвав розу, чтобы сунуть ее за пояс или воткнуть в волосы, она углублялась в тенистую аллею, ведущую к скамье; от скамьи шла к воротам.

И на этот раз Валентина, как всегда, прошлась несколько раз среди своих цветов, но не сорвала ни одного: траур, лежавший у нее на сердце, хотя еще и не отразившийся на ее внешности,

отвергал даже это скромное украшение; затем она направилась к своей аллее. Чем дальше она шла, тем яснее ей чудилось, что кто-то зовет ее по имени. Удивленная, она остановилась.

Теперь она ясно услышала зов и узнала голос Максимилиана.

XVI
ОБЕЩАНИЕ

Это был действительно Моррель, который со вчерашнего дня был сам не свой. Чутьем, которое присуще влюбленным и матерям, он угадал, что из-за приезда г-жи де Сен-Меран и смерти маркиза в доме Вильфоров должно произойти нечто важное, что коснется его любви к Валентине.

Как мы сейчас увидим, предчувствия не обманули его, и теперь уже не просто беспокойство привело его, такого растерянного и дрожащего, к воротам у каштанов. Но Валентина не знала, что Моррель ее ждет, это не был обычный час его прихода; только чистая случайность или, если угодно, счастливое наитие привело ее в сад.

Увидев ее на дорожке, Моррель окликнул ее; она подбежала к воротам.

— Вы здесь, в этот час! — сказала она.

— Да, мой бедный друг, — отвечал Моррель. — *Я* пришел узнать и сообщить печальные вести.

— Видно, все несчастья обрушились на наш дом! — сказала Валентина. — Говорите, Максимилиан. Но, право, несчастий и так достаточно.

— Выслушайте меня, дорогая, — сказал Моррель, стараясь побороть волнение, чтобы говорить яснее. — Все, что я скажу, чрезвычайно важно. Когда предполагается ваша свадьба?

— Слушайте, Максимилиан, — сказала в свою очередь Валентина, — я ничего не хочу скрывать от вас. Сегодня утром говорили о моем замужестве. Бабушка, у которой я думала найти поддержку, не только согласна на этот брак, — она так жаждет его, что ждут только приезда д'Эпине, и на следующий день брачный договор будет подписан.

Тяжкий вздох вырвался у молодого человека, и он остановил на Валентине долгий и грустный взгляд.

— Да, — сказал он тихо, — ужасно слышать, как любимая девушка спокойно говорит: "Время вашей казни назначено: она состоится через несколько часов; но что ж делать, так надо, и противиться этому я не буду". Так вот, если, для того чтобы подписать договор, ждут только д'Эпине,

если на следующий день после его приезда вы будете ему принадлежать, то, значит, вы будете обручены с ним завтра, потому что он приехал сегодня утром.

Валентина вскрикнула.

— Час назад я был у графа де Монте-Кристо, — сказал Моррель. — Мы с ним беседовали: он — о горе, постигшем вашу семью, а я — о вашем горе, как вдруг во двор въезжает экипаж. Слушайте. До этой минуты я никогда не верил в предчувствия, но теперь приходится поверить. Когда я услышал стук колес, я задрожал. Вскоре я услышал на лестнице шаги. Гулкие шаги Командора привели Дон Жуана не в больший ужас, чем эти — меня. Наконец отворяется дверь; первым входит Альбер де Морсер. Я уже чуть не усомнился в своем предчувствии, чуть не подумал, что ошибся, как вдруг за Альбером входит еще один человек и граф восклицает: "А, вот и барон Франц д'Эпине!.." Я собрал все свои силы и все мужество, чтобы сдержаться. Может быть, я побледнел, может быть, задрожал, но, во всяком случае, я продолжал улыбаться. Через пять минут я ушел. Я не слышал ни слова из всего, что говорилось за эти пять минут. Я был уничтожен.

— Бедный Максимилиан! — прошептала Ва-

лентина.

— И вот я здесь, Валентина. Теперь ответьте мне, моя жизнь и смерть зависят от вашего ответа. Что вы думаете делать?

Валентина опустила голову; она была совершенно подавлена.

— Послушайте, — сказал Моррель, — ведь вы не в первый раз задумываетесь над тем, в какое положение мы попали, положение серьезное, тягостное, отчаянное. Думаю, что теперь не время предаваться бесплодной скорби; это годится для тех, кто согласен спокойно страдать и упиваться своими слезами. Есть такие люди, и, вероятно, Господь зачтет им на небесах их смирение на земле. Но кто чувствует в себе волю к борьбе, тот не теряет драгоценного времени и сразу отвечает судьбе ударом на удар. Хотите вы бороться против злой судьбы, Валентина? Отвечайте, я об этом и пришел спросить.

Валентина вздрогнула и с испугом посмотрела на Морреля. Мысль поступить наперекор отцу, бабушке— словом, всей семье — ей и в голову не приходила.

— Что вы хотите сказать, Максимилиан? — спросила она. — Что вы называете борьбой? Назовите это лучше кощунством! Чтобы я на-

рушила приказание отца, волю умирающей бабушки? Но эго невозможно!

Моррель вздрогнул.

— У вас слишком благородное сердце, чтобы не понять меня, и вы так хорошо понимаете, милый Максимилиан, что вы молчите. Мне бороться! Боже меня упаси! Нет, нет. Мне нужны все мои силы, чтобы бороться с собой и упиваться слезами, как вы говорите. Но огорчить отца, омрачить последние минуты бабушки — никогда!

— Вы совершенно правы, — бесстрастно сказал Моррель.

— Как вы это говорите, Боже мой! — воскликнула оскорбленная Валентина.

— Говорю, как человек, который восхищается вами, мадемуазель, — возразил Максимилиан.

— Мадемуазель! — воскликнула Валентина. — Мадемуазель! Какой же вы эгоист! Вы видите, что я в отчаянии, и делаете вид, что не понимаете меня.

— Вы ошибаетесь, напротив, я вас прекрасно понимаю. Вы не хотите противоречить господину де Вильфору, не хотите ослушаться маркизы, и завтра вы подпишете брачный договор, который свяжет вас с вашим мужем.

— Но разве я могу поступить иначе?

— Не стоит спрашивать об этом у меня, мадемуазель. Я плохой судья в этом деле, и мой эгоизм может меня ослепить, — отвечал Моррель; его глухой голос и сжатые кулаки говорили о все растущем раздражении.

— А что вы предложили бы мне, Моррель, если бы я могла принять ваше предложение? Отвечайте же. Суть не в том, чтобы сказать: "Вы делаете плохо". Надо дать совет — что же именно делать.

— Вы говорите серьезно, Валентина? Вы хотите, чтобы я дал вам совет?

— Конечно, хочу, Максимилиан, и, если он будет хорош, я приму его. Вы же знаете, как вы мне дороги.

— Валентина, — сказал Моррель, отодвигая отставшую доску, — дайте мне руку в доказательство, что вы не сердитесь на мою вспышку. У меня голова кругом идет, и уже целый час меня одолевают сумасбродные мысли. И если вы отвергнете мой совет…

— Но что же это за совет?

— Вот слушайте, Валентина.

Валентина подняла глаза к небу и вздохнула.

— Я человек свободный, — продолжал Максимилиан, — я достаточно богат для нас двоих. Я клянусь, что, пока вы не станете моей женой, мои

губы не прикоснутся к вашему челу.

— Мне страшно, — сказала Валентина.

— Бежим со мной, — продолжал Моррель, — я отвезу вас к моей сестре, она достойна быть вашей сестрой. Мы уедем в Алжир, в Англию или в Америку или, если хотите, скроемся где-нибудь в провинции и будем ждать там, пока наши друзья не сломят сопротивление вашей семьи.

Валентина покачала головой.

— Я так и думала, Максимилиан, — сказала она. — Это совет безумца, и я буду еще безумнее вас, если не остановлю вас сейчас же одним словом: невозможно.

— И вы примете свою участь, покоритесь судьбе и даже не попытаетесь бороться с ней? — сказал Моррель, снова помрачнев.

— Да, хотя бы это убило меня!

— Ну что же, Валентина, — сказал Максимилиан, — повторяю, вы совершенно правы. В самом деле, я безумец, и вы доказали мне, что страсть ослепляет самые уравновешенные умы. Спасибо вам за то, что вы рассуждаете бесстрастно. Что ж, пусть, решено, завтра вы безвозвратно станете невестой Франца д'Эпине. И это не в силу формальности, которая придумана для комедийных развязок на сцене и называется подписанием

брачного договора, нет, но по вашей собственной воле.

— Вы опять меня мучите, Максимилиан, — сказала Валентина, — вы поворачиваете нож в моей ране! Что бы вы сделали, скажите, если бы ваша сестра послушалась такого совета, какой вы даете мне?

— Мадемуазель, — возразил с горькой улыбкой Моррель, — я эгоист, вы это сами сказали. В качестве эгоиста я думаю не о том, что сделал бы на моем месте другой, а о том, что собираюсь сделать сам. Я думаю о том, что знаю вас уже год; с того дня, как я узнал вас, все мои надежды на счастье были построены на вашей любви. Настал день, когда вы сказали, что любите меня; с этого дня, мечтая о будущем, я верил, что вы будете моей; в этом была для меня вся жизнь. Теперь я уже ни о чем не думаю, я только говорю себе, что счастье отвернулось от меня. Я надеялся достигнуть блаженства и потерял его. Ведь каждый день случается, что игрок проигрывает не только то, что имеет, но даже то, чего не имел.

Моррель сказал все это совершенно спокойно; Валентина испытующе посмотрела на него своими большими глазами, стараясь, чтобы глаза Морреля не проникли в глубину ее уже смятен-

ного сердца.

— Но все же, что вы намерены делать? — спросила Валентина.

— Я буду иметь честь проститься с вами, мадемуазель. Бог слышит мои слова и читает в глубине моего сердца, он свидетель, что я желаю вам такой спокойной, счастливой и полной жизни, чтобы в ней не могло быть места воспоминанию обо мне.

— О Боже! — прошептала Валентина.

— Прощайте, Валентина, прощайте! — сказал с глубоким поклоном Моррель.

— Куда вы? — воскликнула она, протягивая руки сквозь решетку и хватая Максимилиана за рукав; она понимала по собственному волнению, что наружное спокойствие ее возлюбленного не может быть истинным. — Куда вы идете?

— *Я* позабочусь о том, чтобы не вносить новых неприятностей в вашу семью, и подам пример того, как должен вести себя честный и преданный человек, оказавшись в таком положении.

— Скажите мне, что вы хотите сделать?

Моррель грустно улыбнулся.

— Да говорите же, говорите, умоляю! — настаивала молодая девушка.

— Вы передумали, Валентина?

— Я не могу передумать, несчастный, вы же знаете! — воскликнула она.

— Тогда прощайте!

Валентина стала трясти решетку с такой силой, какой от нее нельзя было ожидать, а так как Морель продолжал удаляться, она протянула к нему руки и, ломая их, воскликнула:

— Что вы хотите сделать? *Я* хочу знать! Куда вы идете?

— О, будьте спокойны, — сказал Максимилиан, приостанавливаясь, — я не намерен возлагать на другого человека ответственность за свою злую судьбу. Другой стал бы грозить вам, что пойдет к д'Эпине, вызовет его на дуэль, будет с ним драться… Это безумие. При чем тут д'Эпине? Сегодня утром он видел меня впервые, он уже забыл, что видел меня. Он даже не знал о моем существовании, когда между вашими семьями было решено, что вы будете принадлежать друг другу. Поэтому мне нет до него никакого дела, и, клянусь вам, я не с ним намерен рассчитаться.

— Но с кем же? Со мной?

— С вами, Валентина? Боже упаси! Женщина священна; женщина, которую любишь, священна вдвойне.

— Значит, с самим собой, безумный?

— *Я* ведь сам во всем виноват, не так ли? — сказал Моррель.

— Максимилиан, — позвала Валентина, — идите сюда, я требую!

Максимилиан, улыбаясь своей мягкой улыбкой, подошел ближе: не будь он так бледен, можно было бы подумать, что с ним ничего не произошло.

— Слушайте, что я вам скажу, милая, дорогая Валентина, — сказал он своим звучным и задушевным голосом, — такие люди, как мы с вами, у которых никогда не было ни одной мысли, заставляющей краснеть перед людьми, перед родными и перед Богом, такие люди могут читать друг у друга в сердце, как в открытой книге. Я не персонаж романа, не меланхолический герой, я не изображаю из себя ни Манфреда, ни Антони. Но, без лишних слов, без уверений, без клятв, я отдал свою жизнь вам. Вы уходите от меня, и вы правы, я вам уже это сказал и теперь повторяю; но, как бы то ни было, вы уходите от меня, и жизнь моя кончилась. Раз вы от меня уходите, Валентина, я остаюсь один на свете. Моя сестра счастлива в своем замужестве; ее муж мне только зять — то есть человек, который связан со мной только общественными условностями; стало

быть, никому на свете больше не нужна моя теперь бесполезная жизнь. Вот что я сделаю. До той секунды пока вы не повенчаетесь, я буду ждать, я не хочу упустить даже тени тех непредвиденных обстоятельств, которыми иногда играет случай. Ведь в самом деле, за это время Франц д'Эпине может умереть, или в минуту когда вы будете подходить к алтарю, в алтарь может ударить молния. Осужденному на смерть все кажется возможным, даже чудо, когда речь идет о его спасении. Так вот, я буду ждать до последней минуты. А когда мое несчастье совершится, непоправимое, безнадежное, я напишу конфиденциальное письмо зятю... и другое — префекту полиции, поставлю их в известность о своем намерении и где-нибудь в лесу, на краю рва, на берегу какой-нибудь реки я застрелюсь. Это так же верно, как то, что я сын самого честного человека, когда-либо жившего во Франции.

Внезапная дрожь потрясла все тело Валентины, она отпустила решетку, за которую держалась, ее руки безжизненно повисли, и две крупные слезы скатились по ее щекам.

Моррель стоял перед ней, мрачный и решительный.

— Сжальтесь, сжальтесь, — сказала она, — вы

не покончите с собой, ведь нет?

— Клянусь честью, покончу, — сказал Максимилиан, — но не все ли вам равно? Вы исполните свой долг, и ваша совесть будет чиста.

Валентина упала на колени, прижав руки к груди, сердце ее разрывалось.

— Максимилиан, — сказала она, — мой друг, мой брат на земле, мой истинный супруг в небесах, умоляю тебя, сделай, как я: живи страдая. Может быть, настанет день, когда мы соединимся.

— Прощайте, Валентина! — повторил Моррель.

— Боже мой, — сказала Валентина с неизъяснимым выражением, подняв руки к небу, — ты видишь, я сделала все, что могла, чтобы остаться покорной дочерью, я просила, умоляла, заклинала — он не послушался ни моих просьб, ни мольбы, ни слез. Ну так вот, — продолжала она твердым голосом, вытирая слезы, — я не хочу умереть от раскаяния, я предпочитаю умереть от стыда. Вы будете жить, Максимилиан, и я буду принадлежать вам и никому другому. Когда? В какую минуту? Сейчас? Говорите, приказывайте, я готова.

Моррель, который уже снова отошел на несколько шагов, вернулся и, бледный от ра-

дости, с ликующим сердцем, протянул сквозь решетку руки к Валентине.

— Валентина, — сказал он, — дорогой мой друг, так не надо говорить со мной, а если так, то лучше дать мне умереть. Если вы любите меня так же, как я люблю вас, зачем я должен увести вас насильно? Или вы только из жалости хотите заставить меня жить? В таком случае я предпочитаю умереть.

— В самом деле, — прошептала Валентина, — кто один на свете любит меня? Он. Кто утешал меня во всех моих страданиях? Он. На ком покоятся все мои надежды, на ком останавливается мой растерянный взгляд, на ком отдыхает мое истерзанное сердце? На нем, на нем одном. Так вот, ты тоже прав, Максимилиан; я уйду за тобой, я оставлю родной дом, все оставлю… Все! Какая же я неблагодарная, — воскликнула Валентина, рыдая, — я совсем забыла о дедушке!

— Нет, — сказал Максимилиан, — ты не покинешь его. Ты говорила, что господин Нуартье как будто относится ко мне с симпатией; так вот, раньше чем бежать, ты скажешь ему все. Его согласие будет тебе защитой перед Богом. А как только мы поженимся, он переедет к нам; у него будет двое внуков. Ты мне рассказывала, как

он с тобой объясняется и как ты ему отвечаешь. Увидишь, я быстро научусь этому трогательному языку знаков. Клянусь тебе, Валентина, вместо отчаяния, которое нас ожидает, я обещаю тебе счастье!

— Ты видишь, Максимилиан, какую власть ты имеешь надо мной! Я готова поверить в то, что ты мне говоришь, но ведь все это безрассудно. Отец проклянет меня: я знаю его, знаю его непреклонное сердце, никогда он не простит меня. Вот что, Максимилиан: если хитростью, просьбами, благодаря случаю, не знаю как, — словом, если каким-нибудь образом мне удастся отсрочить свадьбу, вы подождете, да?

— Да, клянусь вам, а вы поклянитесь, что этот ужасный брак не состоится никогда и что, даже если вас силой потащат к мэру, к священнику, вы все-таки скажете — нет.

— Клянусь тебе в этом, Максимилиан, самым святым для меня на свете именем — именем моей матери!

— Тогда подождем, — сказал Моррель.

— Да, подождем, — откликнулась Валентина, у которой при этом слове отлегло от сердца, — мало ли что может спасти нас.

— Я доверяюсь вам, Валентина, — сказал Мор-

рель. — Все, что вы сделаете, будет хорошо; но если к вашим мольбам останутся глухи, если ваш отец, если госпожа де Сен-Меран потребуют, чтобы д'Эпине явился завтра для подписания этого договора…

— Тогда, Моррель… я дала вам слово.

— Вместо того чтобы подписать…

— Я выйду к вам, и мы бежим, но до тех пор не будем искушать Бога, не будем видеться; ведь это чудо, это промысел Божий, что нас еще не застали; если бы узнали, как мы с вами встречаемся, у нас не было бы никакой надежды.

— Вы правы, Валентина, но как я узнаю…

— Через нотариуса Дешана.

— Я с ним знаком.

— И от меня. Я напишу вам, верьте мне. Боже мой, Максимилиан, этот брак мне так же ненавистен, как и вам!

— Спасибо, благодарю вас, Валентина, обожаемая моя! Значит, все решено: как только вы укажете мне час, я примчусь сюда, вы переберетесь через ограду — это будет нетрудно; я приму вас на руки; у калитки огорода вас будет ждать карета, и я отвезу вас к моей сестре. Там мы скроемся от всех или ни от кого не будем прятаться — как вы пожелаете, — и там мы найдем

поддержку в сознании своей правоты и воли к счастью и не дадим себя зарезать, как ягненка, который защищается лишь вздохами.

— Пусть будет так! — сказала Валентина. — И я тоже скажу вам, Максимилиан: все, что вы сделаете, будет хорошо.

— Милая!

— Ну что, довольны вы своей женой? — грустно сказала девушка.

— Валентина, дорогая, мало сказать да.

— Все-таки скажите.

Валентина приблизила губы к решетке, и слова ее вместе с ее нежным дыханием неслись к устам Морреля, который по другую сторону приник губами к холодной, неумолимой перегородке.

— До свидания, — сказала Валентина, с трудом отрываясь от этого счастья, — до свидания!

— Я получу от вас письмо?

— Да.

— Благодарю, моя дорогая жена, до свидания! Раздался звук невинного, посланного на воздух поцелуя, и Валентина убежала по липовой аллее.

Моррель слушал, как замирал шелест ее платья, задевающего за кусты, как затихал хруст песка под ее шагами, потом с непередаваемой

улыбкой поднял глаза к небу, благодаря его за то, что оно послало ему такую любовь, и, в свою очередь, удалился.

Он вернулся домой и ждал весь вечер и весь следующий день, но ничего не получил. Только на третий день, часов в десять утра, когда он собирался идти к нотариусу Дешану, он наконец получил по почте записку и сразу понял, что это от Валентины, хотя никогда прежде не видел ее почерка.

В записке было сказано:

"Слезы, просьбы, мольбы ни к чему не привели. Вчера я пробыла два часа в рульской церкви святого Филиппа и два часа всей душой молилась Богу. Но Бог так же неумолим, как и люди, и подписание договора назначено на сегодня в девять часов вечера.

Я верна своему слову, как верна своему сердцу, Моррель. Это слово дано Вам, и это сердце — Ваше!

Итак, до вечера, без четверти девять, у решетки.

Ваша жена

Валентина де Вильфор.

P. S. Моей бедной бабушке все хуже и хуже: вчера ее возбуждение перешло в бред, а сегодня ее бред

граничит с безумием.

Правда, Вы будете очень любить меня, чтобы я могла забыть о том, что я покинула ее в таком состоянии?

Кажется, от дедушки Нуартье скрывают, что договор будет подписан сегодня вечером".

Моррель не ограничился сведениями, полученными от Валентины: он отправился к нотариусу, и тот подтвердил ему, что подписание договора назначено на девять часов вечера.

Затем он заехал к Монте-Кристо; там он узнал больше всего подробностей: Франц приезжал к графу объявить о торжественном событии; г-жа де Вильфор со своей стороны писала ему, прося извинить, что она его не приглашает, но смерть маркиза де Сен-Меран и болезнь его вдовы окутывают эго торжество облаком печали, и она не решается омрачить ею графа, которому желает всякого благополучия.

Накануне Франц был представлен г-же де Сен-Меран, которая ради этого события встала с постели, но вслед за тем снова легла.

Легко понять, что Моррель был очень взволнован, и такой проницательный взор, как взор графа, не мог этого не заметить; поэтому Монте-Кристо был с ним еще ласковее, чем всегда, —

настолько ласков, что Максимилиан минутами был уже готов во всем ему признаться. Но он вспомнил об обещании, которое дал Валентине, и тайна оставалась в глубине его сердца.

За этот день Максимилиан двадцать раз перечитал письмо Валентины. В первый раз она писала ему, и по какому поводу! И всякий раз, перечитывая это письмо, он снова, и снова, и снова клялся себе, что сделает Валентину счастливой. В самом деле, какую власть должна иметь над человеком молодая девушка, решающаяся на такой отчаянный поступок! Как самоотверженно должен служить ей тот, для кого она всем пожертвовала! Как пламенно должен ее возлюбленный поклоняться ей! Она для него и королева, и жена, и ему, кажется, мало одной души, чтобы любить ее и благодарить.

Моррель с невыразимым волнением думал о той минуте, когда Валентина придет и скажет ему: "Я пришла, Максимилиан, я ваша".

Он все приготовил для побега: в огороде, среди люцерны, были спрятаны две приставные лестницы; кабриолет, которым Максимилиан* должен был править сам, стоял наготове; он не взял с собой слугу, не зажигал фонарей, но он собирался их зажечь на первом же повороте, что-

бы из-за чрезмерной осторожности не попасть в руки полиции.

Временами Морреля охватывала дрожь; он думал о минуте, когда будет помогать Валентине перебираться через ограду и почувствует в своих объятиях, беспомощную и трепещущую, ту, кому он доныне разве только пожимал руку или целовал кончики пальцев.

Но когда миновал полдень, когда Моррель почувствовал, что близок назначенный час, ему захотелось быть одному. Кровь его кипела, любой вопрос, голос друга раздражал бы его; он заперся у себя в комнате, пытаясь читать, но глаза его скользили по строчкам, не видя их; он кончил тем, что отшвырнул книгу и вновь принялся обдумывать подробности побега.

Назначенный час приближался.

Еще не бывало случая, чтобы влюбленный предоставил часовым стрелкам спокойно идти своим путем; Моррель так неистово теребил свои часы, что в конце концов они в шесть часов вечера показали половину девятого. Тогда он сказал себе, что пора ехать; хотя подписание договора и назначено в девять, но, по всей вероятности, Валентина не станет дожидаться этого бесполезного акта. Итак, выехав по своим часам ровно в

половине девятого с улицы Меле, Моррель вошел в свой огород в ту минуту, когда часы на церкви святого Филиппа в Руле били восемь.

Лошадь и кабриолет он спрятал за развалившуюся лачугу, в которой обычно скрывался сам.

Мало-помалу стало смеркаться, и густая листва в саду слилась в огромные черные глыбы.

Тогда Моррель вышел из своего убежища и с бьющимся сердцем взглянул через решетку; в саду еще никого не было.

Пробило половина девятого.

В ожидании прошло еще полчаса. Моррель ходил взад и вперед вдоль ограды и все чаще поглядывал в щель между досками. В саду становилось все темнее, но напрасно искал он во тьме белое платье, напрасно ждал, не послышатся ли в тишине шаги.

Видневшийся за деревьями дом продолжал оставаться неосвещенным, и ничто не указывало, что здесь должно совершиться столь важное событие, как подписание брачного договора.

Моррель вынул свои часы: они показывали три четверти десятого, но почти сейчас же церковные часы, бой которых он уже слышал два или три раза, возвестили об ошибке его карманных часов, пробив половину десятого.

Значит, прошло уже полчаса после срока, назначенного самой Валентиной; она говорила — в девять часов, и скорее даже немного раньше, чем позже.

Для Морреля это были самые тяжелые минуты; каждая секунда ударяла по его сердцу словно свинцовым молотом.

Малейший шелест листьев, малейший шепот ветра заставлял его насторожиться, и на лбу его проступал холодный пот; тогда, дрожа с головы до ног, он приставлял лестницу и, чтобы не терять времени, ставил ногу на нижнюю перекладину.

Пока он таким образом переходил от страха к надежде и у него то и дело замирало сердце, часы на церкви пробили десять.

— Нет, — прошептал в ужасе Максимилиан, — немыслимо, чтобы подписание договора тянулось так долго, разве что произошло что-нибудь непредвиденное: ведь я взвесил все возможности, высчитал, сколько времени могут занять все формальности. Наверное, что-нибудь случилось.

И он то возбужденно шагал взад и вперед вдоль решетки, то прижимался пылающим лбом к холодному железу. Может быть, Валентина, подписав договор, упала в обморок? Может быть,

ее схватили, когда она собиралась убежать? Это были единственные предположения, которые допускал Моррель, и оба они приводили его в отчаяние.

Наконец он решил, что силы изменили Валентине уже во время побега и что она лежит без чувств где-нибудь в саду.

— Но если так, — воскликнул он, быстро взбираясь по лестнице, — я могу потерять ее и буду сам виноват!

Демон, подсказавший ему эту мысль, уже не оставлял его и нашептывал ему на ухо с той настойчивостью, которая в несколько минут силой логических рассуждений превращает догадку в твердую уверенность. Он вглядывался во все сгущавшийся мрак, и ему казалось, что в темной аллее что-то лежит на песке. Моррель решился даже позвать, и ему почудилось, что ветер доносит до него неясные стоны.

Наконец пробило половину одиннадцатого; больше немыслимо было ждать: все могло случиться; в висках у Максимилиана стучало, в глазах стоял туман, он перекинул ногу через ограду и соскочил наземь. Он был у Вильфора, забрался к нему тайком и предвидел возможные последствия такого поступка, но не для того он

зашел так далеко, чтобы теперь отступать.

Некоторое время он шел вдоль стены, затем, стремительно перебежав аллею, бросился в чащу деревьев.

В один миг он ее пересек. Оттуда, где он теперь стоял, был виден дом.

Тогда Моррель окончательно убедился в том, что уже подозревал, стараясь проникнуть взглядом сквозь чащу сада: вместо ярко освещенных окон, как то полагается в торжественные дни, перед ним была серая масса, окутанная к тому же тенью огромного облака, закрывшего луну.

Только минутами в трех окнах второго этажа, точно растерянный, метался слабый свет. Это были окна комнаты г-жи де Сен-Меран.

Ровно горел свет за красными занавесями. Занавеси эти висели в спальне г-жи де Вильфор.

Моррель все это угадал. Столько раз, чтобы ежечасно следить мыслью за Валентиной, расспрашивал он ее о внутреннем устройстве дома, так что, и не видав его никогда, хорошо его знал.

Этот мрак и тишина еще больше испугали Морреля, чем отсутствие Валентины.

Вне себя, обезумев от горя, он решил не останавливаться ни перед чем, лишь бы увидеть Валентину и удостовериться в несчастье, о ко-

тором он догадывался, хоть и не знал, в чем оно состоит. Он дошел до опушки рощи и уже собирался как можно быстрее пересечь открытый со всех сторон цветник, как вдруг ветер донес до него отдаленные голоса.

Тогда он снова отступил в кустарник и стоял, не шевелясь, молча, скрытый темнотой.

Он уже принял решение: если это Валентина и если она пройдет мимо одна, он окликнет ее; если она не одна, он по крайней мере увидит ее и убедится, что с ней ничего не случилось; если это кто-нибудь другой, можно будет уловить несколько слов из разговора и разгадать эту все еще непонятную тайну.

В это время из-за туч выглянула луна, и Моррель увидел, как на крыльцо вышел Вильфор в сопровождении человека в черном. Они сошли по ступеням и направились к аллее. Едва они сделали несколько шагов, как в человеке, одетом в черное, Моррель узнал доктора д'Авриньи.

Видя, что они направляются в его сторону, Моррель невольно стал пятиться назад, пока не натолкнулся на ствол дикого клена, росшего посередине кустарника, и здесь он принужден был остановиться.

Вскоре песок перестал хрустеть под ногами

Вильфора и доктора.

— Да, дорогой доктор, — сказал королевский прокурор, -действительно Господь прогневался на нас. Какая ужасная смерть! Какой неожиданный удар! Не пытайтесь утешать меня, рана слишком свежа и слишком глубока. Умерла, умерла!

Холодный пот выступил на лбу Максимилиана, и зубы у него застучали. Кто умер в этом доме, который сам Вильфор считал проклятым?

— Дорогой господин де Вильфор, — отвечал доктор таким голосом, от которого ужас Морреля еще усилился, — я привел вас сюда не для того, чтобы утешать, совсем напротив.



— Что вы хотите этим сказать? — испуганно спросил королевский прокурор.

— Я хочу сказать, что за постигшим вас несчастьем, быть может, кроется еще большее.

— О Боже! — прошептал Вильфор, сжимая руки. — Что еще вы мне скажете?

— Мы здесь совсем одни, мой друг?

— Да, конечно. Но зачем такие предосторожности?

— Затем, что я должен сообщить вам ужасную вещь, — сказал доктор, — давайте сядем.

Вильфор не сел, а скорее упал на скамью. Доктор остался стоять перед ним, положив ему руку на плечо.

Моррель, похолодев от ужаса, прижал одну руку ко лбу, а другую к сердцу, боясь, что могут услышать, как оно бьется.

"Умерла, умерла!" — отдавался в его мозгу голос его сердца.

И ему казалось, что он сам умирает.

— Говорите, доктор, я слушаю, — сказал Вильфор, — наносите удар, я готов ко всему.

— Разумеется, госпожа де Сен-Меран была очень немолода, но она отличалась прекрасным здоровьем.

В первый раз за десять минут Моррель вздох-

нул свободно.

— Горе убило ее, — сказал Вильфор, — да, горе, доктор. Она прожила с маркизом сорок лет…

— Дело не в горе, дорогой мой Вильфор, — отвечал доктор. — Бывает, хоть и редко, что горе убивает, но оно убивает не в день, не в час, не в десять минут.

Вильфор ничего не ответил, он только впервые поднял голову и испуганно взглянул на доктора.

— Вы присутствовали при агонии? — спросил д'Авриньи.

— Конечно, — отвечал королевский прокурор, — ведь вы же мне шепнули, чтобы я не уходил.

— Заметили вы симптомы болезни, от которой скончалась госпожа де Сен-Меран?

— Разумеется, у маркизы было три припадка, один за другим через несколько минут, и каждый раз с меньшим промежутком и все тяжелее. Когда вы пришли, она начала задыхаться, затем с ней сделался припадок, который я счел просто нервным. Но по-настоящему я стал беспокоиться, когда увидел, что она приподнимается на постели с неестественным напряжением конечностей и шеи. Тогда по вашему лицу я понял, что дело гораздо серьезнее, чем я думал. Когда

припадок миновал, я хотел поймать ваш взгляд, но вы не смотрели на меня. Вы считали ее пульс, и уже начался второй припадок, а вы так и не повернулись ко мне. Этот второй припадок был еще ужаснее: те же непроизвольные движения повторились, губы посинели и стали дергаться. Во время третьего припадка она скончалась. Уже после первого припадка я подумал, что это столбняк; вы подтвердили это.

— Да, при посторонних, — возразил доктор, — но теперь мы одни.

— Что же вы собираетесь мне сказать?

— Что симптомы столбняка и отравления растительными ядами совершенно тождественны.

Вильфор вскочил на ноги, но, постояв минуту неподвижно и молча, он снова упал на скамью.

— Господи, доктор, — сказал он, — вы понимаете, что вы говорите?

Моррель не знал, сон ли все это или явь.

— Послушайте, — сказал доктор, — я знаю, насколько серьезно мое заявление и кому я его делаю.

— С кем вы сейчас говорите: с должностным лицом или с другом? — спросил Вильфор.

— С другом, сейчас только с другом. Симптомы столбняка настолько схожи с симптомами отрав-

ления растительными веществами, что, если бы мне предстояло подписаться под тем, что я вам говорю, я бы поколебался. Так что, повторяю вам, я сейчас обращаюсь не к должностному лицу, а к другу. И вот, другу я говорю: я три четверти часа наблюдал за агонией, за конвульсиями, за кончиной госпожи де Сен-Меран, и я не только убежден, что она умерла от отравления, но могу даже назвать, да, могу назвать тот яд, которым она отравлена.

— Доктор, доктор!

— Все налицо: сонливость вперемежку с нервными припадками, чрезмерное мозговое возбуждение, онемение центров. Госпожа де Сен-Меран умерла от сильной дозы бруцина или стрихнина, которую ей дали, может быть, и по ошибке.

Вильфор схватил доктора за руку.

— О, это немыслимо! — сказал он. — Это сон, Боже мой, это сон! Ужасно слышать, как такой человек, как вы, говорит такие вещи! Заклинаю вас, доктор, скажите, что вы, может быть, и ошибаетесь!

— Конечно, это может быть, но…

— Но?

— Но я не думаю.

— Доктор, пожалейте меня; за последние дни со

мной происходят такие неслыханные вещи, что я боюсь сойти с ума.

— Кто-нибудь, кроме меня, видел госпожу де Сен-Меран?

— Никто.

— Посылали в аптеку за каким-нибудь лекарством, не показав мне рецепта?

— Нет.

— У госпожи де Сен-Меран были враги?

— Я таких не знаю.

— Кто-нибудь был заинтересован в ее смерти?

— Да нет же, Господи, нет. Моя дочь — ее единственная наследница, Валентина одна… О, если бы я мог подумать такое, я вонзил бы себе в сердце кинжал за то, что оно хоть миг могло таить подобную мысль.

— Что вы, мой друг! — в свою очередь воскликнул д'Авриньи. — Боже меня упаси обвинять кого-нибудь. Поймите, я говорю только о несчастной случайности, об ошибке. Но случайность или нет — факт налицо, он подсказывает моей совести, и моя совесть требует, чтобы я вам громко заявил об этом. Наведите справки.

— У кого? Каким образом? О чем?

— Скажем, не ошибся ли Барруа, старый лакей, и не дал ли он маркизе какое-нибудь лекарство,

приготовленное для его хозяина?

— Для моего отца?

— Да.

— Но каким образом могла бы госпожа де Сен-Меран отравиться лекарством, приготовленным для господина Нуартье?

— Очень просто: вы же знаете, что при некоторых заболеваниях лекарствами служат яды; к числу таких заболеваний относится паралич. Месяца три назад, испробовав все, чтобы вернуть господину Нуартье способность двигаться и дар речи, я решил испытать последнее средство. И вот уже три месяца я лечу его бруцином. Таким образом, в последнее лекарство, которое я ему прописал, входит шесть центиграммов бруцина; это количество безвредно для парализованных органов господина Нуартье, который к тому же дошел до него последовательными дозами, но этого достаточно, чтобы убить всякого другого человека.

— Да, но комнаты госпожи де Сен-Меран и господина Нуартье совершенно между собой не сообщаются, и Барруа ни разу не входил в комнату моей тещи. Вот что я вам скажу, дорогой доктор. Я считаю вас самым знающим врачом, а главное — самым добросовестным человеком на

свете, и во всех случаях жизни ваши слова для меня — светоч, который, как солнце, освещает мне путь. Но все-таки, доктор, все-таки, несмотря на всю мою веру в вас, я хочу найти поддержку в аксиоме: "Errare humanum est"[4].

— Послушайте, Вильфор, — сказал доктор, — кому из моих коллег вы доверяете так же, как мне?

— Почему вы спрашиваете? Что вы имеете в виду?

— Позовите его, я ему передам все, что видел, все, что заметил, и мы произведем вскрытие.

— И найдете следы яда?

— Нет, не яда, я этого не говорю, но мы констатируем раздражение нервной системы, распознаем несомненное, явное удушение, и мы вам скажем: дорогой господин Вильфор, если это была небрежность, следите за вашими слугами, если ненависть — следите за вашими врагами.

— Подумайте, что вы говорите, д'Авриньи! — отвечал подавленный Вильфор. — Как только тайна станет известна кому-нибудь, кроме вас, неизбежно следствие, а следствие у меня — разве эго мыслимо! Однако, — продолжал королевский прокурор, спохватываясь и с беспокойством

---

[4] Примечания: 4
Человеку свойственно ошибаться *(лат.)*.

глядя на доктора, — если вы желаете, если вы непременно этого требуете, я это сделаю. В самом деле, быть может, я должен дать этому ход: мое положение этого требует. Но, доктор, вы видите, я совсем убит: навлечь на мой дом такой скандал после такого горя! Моя жена и дочь этого не перенесут. Что касается меня, доктор, то, знаете, нельзя достигнуть такого положения, как мое, занимать двадцать пять лет подряд должность королевского прокурора, не нажив изрядного числа врагов. У меня их немало. Огласка этого дела будет для них торжеством и ликованием, а меня покроет позором. Простите мне эти суетные мысли. Будь вы священником, я не посмел бы вам этого сказать, но вы просто человек, вы знаете людей; доктор, доктор, вы мне ничего не говорили, да?

— Дорогой господин де Вильфор, — отвечал с волнением доктор, — мой первый долг — человеколюбие. Если бы наука не была здесь бессильна, я спас бы госпожу де Сен-Меран, но маркиза умерла, и я должен думать о живых. Похороним эту ужасную тайну в самой глубине сердца. Если чей-нибудь взор проникнет в нее, пусть отнесут мое молчание за счет моего невежества, я согласен. Но вы ищите, ищите неустанно, деятельно, ведь

дело может не кончиться одним этим случаем… И когда вы найдете виновного, если только найдете, я скажу вам: вы судья, поступайте так, как вы считаете нужным!

— Благодарю вас, доктор, благодарю! — сказал Вильфор с невыразимой радостью. — У меня никогда не было друга лучше, чем вы.

И, словно опасаясь, как бы доктор д'Авриньи не передумал, он встал и увлек его по направлению к дому.

Они ушли.

Моррель, точно ему было мало воздуха, раздвинул обеими руками ветви, и луна осветила его лицо, бледное, как у привидения.

— Небеса явно благосклонны ко мне, но как это страшно! — сказал он. — Но Валентина, бедная! Как она вынесет столько горя?

И, говоря это, он смотрел то на окно с красными занавесями, то на три окна с белыми занавесями.

В окне с красными занавесями свет почти совсем померк. Очевидно, г-жа де Вильфор потушила лампу, и в окне виден был лишь свет ночника.

Зато в другом конце дома открылось одно из окон с белыми занавесями. В ночной тьме мерцал

тусклый свет стоящей на камине свечи и какая-то тень появилась на балконе.

Моррель вздрогнул: ему послышались рыдания.

Неудивительно, что этот сильный, мужественный человек, взволнованный и возбужденный двумя самыми мощными человеческими страстями — любовью и страхом, — настолько ослабел, что поддался суеверным галлюцинациям.

Хоть он и находился в таком скрытом месте, что Валентина никак не могла бы его увидеть, ему показалось, что тень у окна зовет его; это подсказывал ему взволнованный ум и подтверждало его пылкое сердце. Этот обман чувств обратился для него в бесспорную реальность, и, повинуясь непостижимому юношескому порыву, он выскочил из своего тайника. Не думая о том, что его могут заметить, что Валентина может испугаться, невольно вскрикнуть, и тогда поднимется тревога, он в два прыжка миновал цветник, казавшийся в лунном свете белым и широким, как озеро, добежал до кадок с померанцевыми деревьями, расставленных перед домом, быстро взбежал по ступеням крыльца и толкнул легко поддавшуюся дверь.

Валентина его не видела: ее поднятые к небу

глаза следили за серебряным облаком, плывущим к лазури, своими очертаниями оно напоминало тень, возносящуюся на небо, и взволнованной девушке казалось, что это душа ее бабушки.

Между тем Моррель пересек прихожую и нащупал перила лестницы; ковер, покрывавший ступени, заглушал его шаги; впрочем, Моррель был до того возбужден, что не испугался бы самого Вильфора. Если перед ним предстанет Вильфор, он знает, что делать: он подойдет к нему и во всем признается, умоляя его понять и одобрить ту любовь, которая связывает его с Валентиной. Словом, Моррель совершенно обезумел.

К счастью, он никого не встретил.

Вот когда ему особенно пригодились сведения, сообщенные ему Валентиной о внутреннем устройстве дома; он беспрепятственно добрался до верхней площадки лестницы, и, когда он остановился, осматриваясь, рыдание, которое он сразу узнал, указало ему, куда идти. Он обернулся: из-за полуоткрытой двери пробивался луч света и слышался плач. Он толкнул дверь и вошел.

В глубине алькова, покрытая простыней, под которой угадывались очертания тела, лежала покойница; она показалась Моррелю особенно страшной из-за тайны, которую ему довелось

узнать.

Около кровати, зарывшись головой в подушки широкого кресла, стояла на коленях Валентина, сотрясаясь от рыданий и заламывая над головой стиснутые, окаменевшие руки.

Она отошла от окна и молилась вслух голосом, который тронул бы самое бесчувственное сердце; слова слетали с ее губ, торопливые, бессвязные, невнятные, — такая жгучая боль сжимала ей горло.

Лунный свет, пробиваясь сквозь решетчатые ставни, заставил померкнуть пламя свечи и обливал печальной синевой эту горестную картину.

Моррель не выдержал; он не отличался особой набожностью, нелегко поддавался впечатлениям, но видеть Валентину страдающей, плачущей, ломающей руки — это было больше, чем он мог вынести молча. Он вздохнул, прошептал ее имя, и лицо, залитое слезами, с отпечатками от бархатной обивки кресла, лицо Магдалины Корреджо, обратилось к нему.

Валентина не удивилась, увидев его. Для сердца, переполненного бесконечным отчаянием, не существует более волнений.

Моррель протянул возлюбленной руку.

Валентина вместо всякого объяснения, почему

она не вышла к нему, показала ему на труп, простертый под погребальным покровом, и снова зарыдала.

Оба они не решались заговорить в этой комнате. Каждый боялся нарушить это безмолвие, словно где-то в углу стояла сама смерть, повелительно приложив палец к губам.

Валентина решилась первая.

— Как вы сюда вошли, мой друг? — сказала она. — Увы! я бы сказала вам: "Добро пожаловать!" — если бы не смерть отворила вам двери этого дома.

— Валентина, — сказал Моррель дрожащим голосом, сжимая руки, — я ждал с половины девятого; вас все не было, я встревожился, перелез через ограду, проник в сад. и вот разговор об этом несчастье…

— Какой разговор?

Моррель вздрогнул; он вспомнил все, о чем говорили доктор и Вильфор, и ему почудилось, что он видит под простыней эти сведенные руки, окоченелую шею, синие губы.

— Разговор ваших слуг, — сказал он, — объяснил мне все.

— Но ведь прийти сюда — значило погубить нас, мой друг, — сказала Валентина без ужаса и

без гнева.

— Простите меня, — сказал тем же тоном Моррель, — я сейчас уйду.

— Нет, — сказала Валентина, — вас могут встретить, останьтесь здесь.

— Но если сюда придут?

Валентина покачала головой.

— Никто не придет, — сказала она, — будьте спокойны, вот наша защита.

И она указала на очертания тела под простыней.

— А что д'Эпине? Скажите, умоляю вас, — продолжал Моррель.

— Он явился, чтобы подписать договор, в ту самую минуту, когда бабушка испускала последний вздох.

— Ужасно! — сказал Моррель с чувством эгоистической радости, так как подумал, что из-за этой смерти свадьба будет отложена на неопределенное время. Но он был тотчас же наказан за свое себялюбие.

— И что вдвойне тяжело, — продолжала Валентина, — моя бедная, милая бабушка приказала, умирая, чтобы эта свадьба состоялась как можно скорее. Господи, она думала меня защитить, и она тоже действовала против меня.

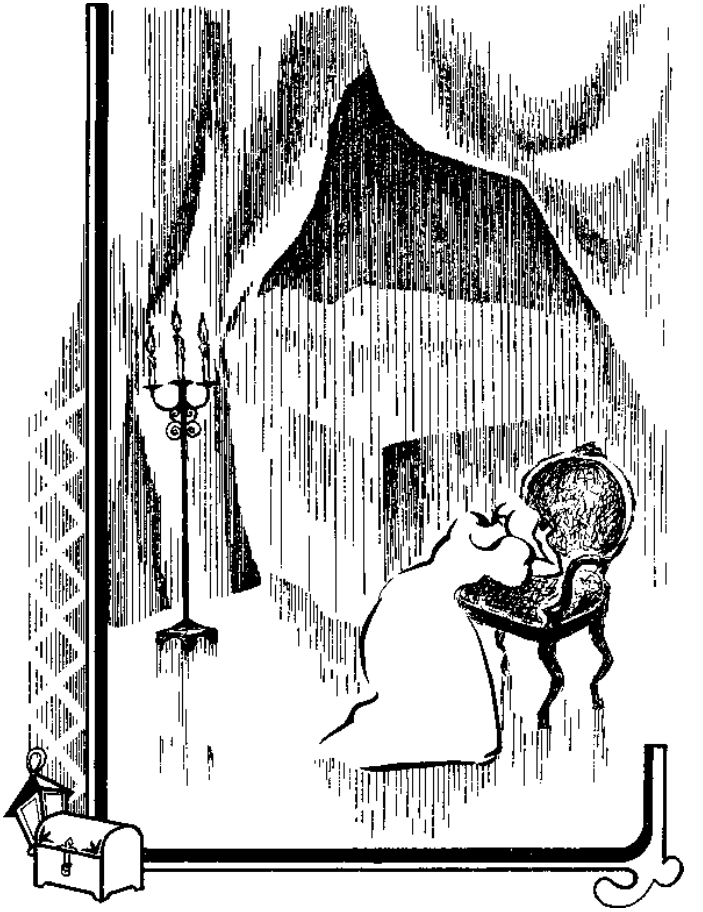
— Слышите? — вдруг проговорил Моррель.

Они замолчали.

Слышно было, как открылась дверь и паркет коридора и ступени лестницы заскрипели под чьими-то шагами.

— Это мой отец вышел из кабинета, — сказала Валентина.

— И провожает доктора, — прибавил Моррель.



— Откуда вы знаете, что это доктор? — спросила с удивлением Валентина.

— Просто догадываюсь, — сказал Моррель.

Валентина взглянула на него.

Между тем слышно было, как закрылась парадная дверь. Затем Вильфор пошел запереть на ключ дверь в сад, после чего вновь поднялся по лестнице.

Дойдя до передней, он на секунду остановился, по-видимому не зная, идти ли к себе или в комнату госпожи де Сен-Меран. Моррель поспешно спрятался за портьеру. Валентина даже не шевельнулась, словно великое горе вознесло ее выше обыденных страхов.

Вильфор прошел к себе.

— Теперь, — сказала Валентина, — вам уже не выйти ни через парадную дверь, ни через ту, которая ведет в сад.

Моррель растерянно посмотрел на нее.

— Теперь есть только одна возможность и верный выход, — продолжала она, — через комнаты дедушки.

Она поднялась.

— Идемте, — сказала она.

— Куда? — спросил Максимилиан.

— К дедушке.

— Мне идти к господину Нуартье?

— Да.

— Подумайте, Валентина!

— Я думала об этом уже давно. У меня на всем свете остался только один друг, и мы оба нуждаемся в нем… Идем же.

— Будьте осторожны, Валентина, — сказал Моррель, не решаясь повиноваться, — будьте осторожны; теперь я вижу, какое безумие, что я пришел сюда. А вы уверены, дорогая, что вы сейчас рассуждаете здраво?

— Вполне, — сказала Валентина, — мне совестно только оставить бедную бабушку, я обещала охранять ее.

— Смерть для каждого священна, Валентина, — сказал Моррель.

— Да, — ответила молодая девушка, — к тому же это ненадолго. Пойдем.

Валентина прошла коридор и спустилась по маленькой лестнице, ведущей к Нуартье; Моррель на цыпочках следовал за ней. На площадке около комнаты они встретили старого слугу.

— Барруа, — сказала Валентина, — закройте за нами дверь и никого не впускайте.

И она вошла первая.

Нуартье все еще сидел в кресле, прислушива-

ясь к малейшему шуму; от Барруа он знал обо всем, что произошло, и жадным взором смотрел на дверь; он увидел Валентину, и глаза его блеснули.

В походке девушки и в ее манере держаться было что-то серьезное и торжественное, это поразило старика. В его глазах появилось вопросительное выражение.

— Милый дедушка, — заговорила она отрывисто, — выслушай меня внимательно. Ты знаешь, бабушка Сен-Меран час назад скончалась. Теперь, кроме тебя, нет никого на свете, кто любил бы меня.

Выражение бесконечной нежности мелькнуло в глазах старика.

— Ведь правда, тебе одному я могу доверить свое горе и свои надежды?

Паралитик сделал знак, что да.

Валентина взяла Максимилиана за руку.

— В таком случае, — сказала она, — посмотри хорошенько на этого человека.

Старик испытующе и слегка удивленно посмотрел на Морреля.

— Это Максимилиан Моррель, сын почтенного марсельского негоцианта, о котором ты, наверно, слышал.

— Да, — показал старик.

— Это незапятнанное имя, и Максимилиан украсит его славой, потому что в тридцать лет он уже капитан спаги, кавалер Почетного легиона.

Старик показал, что помнит это.

— Так вот, дедушка, — сказала Валентина, опускаясь на колени перед стариком и указывая на Максимилиана, — я люблю его и буду принадлежать только ему! Если меня заставят выйти замуж за другого, я умру или убью себя.

В глазах паралитика был целый мир взволнованных мыслей.

— Тебе нравится Максимилиан Моррель, правда, дедушка? — спросила Валентина.

— Да, — показал неподвижный старик.

— И ты можешь нас защитить, нас, твоих детей, от моего отца?

Нуартье устремил свой вдумчивый взгляд на Морреля, как бы говоря: "Это смотря по обстоятельствам".

Максимилиан понял.

— Мадемуазель, — сказал он, — в комнате вашей бабушки вас ждет священный долг. Разрешите мне побеседовать несколько минут с господином Нуартье?

— Да, да, именно этого я и хочу, — сказали глаза

старика.

Потом он с беспокойством взглянул на Валентину.

— Ты хочешь спросить, как он поймет тебя, дедушка?

— Да.

— Не беспокойся; мы так часто говорили о тебе, что он отлично знает, как я с тобой разговариваю. — И, обернувшись к Максимилиану с очаровательной улыбкой, хоть и подернутой глубокой печалью, она добавила: — Он знает все, что знаю я.

С этими словами Валентина поднялась с колен, придвинула Моррелю стул и велела Барруа никого не впускать, затем, нежно поцеловав деда и грустно простившись с Моррелем, она ушла.

Тогда Моррель, чтобы доказать Нуартье, что он пользуется доверием Валентины и знает все их секреты, взял словарь, перо и бумагу и положил все это на стол, подле лампы.

— Прежде всего, — сказал он, — разрешите мне, сударь, рассказать вам, кто я такой, как я люблю мадемуазель Валентину и каковы мои намерения.

— Я слушаю, — показал Нуартье.

Внушительное зрелище представлял этот

старик, казалось бы, бесполезное бремя для окружающих, ставший единственным защитником, единственной опорой, единственным судьей двух влюбленных, молодых, красивых, сильных, едва вступающих в жизнь.

Весь его вид, полный необычайного благородства и суровости, глубоко подействовал на Морреля, и он начал говорить с дрожью в голосе.

Он рассказал, как познакомился с Валентиной, как полюбил ее и как Валентина, одинокая и несчастная, согласилась принять его преданность. Он рассказал о своих родных, о своем положении, о своем состоянии, и не раз, когда он вопросительно взглядывал на паралитика, тот взглядом говорил ему:

— Хорошо, продолжайте.

— Вот сударь, — сказал Моррель, окончив первую часть своего рассказа, — я поведал вам о своей любви и о своих надеждах. Рассказывать ли теперь о наших планах?

— Да, — показал старик.

— Итак, вот на чем мы порешили.

И он рассказал Нуартье, как ждал в огороде кабриолет, как он собирался увезти Валентину, отвезти ее к своей сестре, обвенчаться с ней и в почтительном ожидании надеяться на прощение

господина де Вильфора.

— Нет, — показал Нуартье.

— Нет? — спросил Моррель. — Значит, так поступать не следует?

— Нет.

— Вы не одобряете этот план?

— Нет.

— Тогда есть другой способ, — сказал Моррель.

Взгляд старика спросил: "Какой?" *

— Я отправлюсь к Францу д'Эпине. — продолжал Максимилиан, — я рад, что могу вам это сказать в отсутствие мадемуазель де Вильфор, — и буду вести себя так, что ему придется поступить как порядочному человеку.

Взгляд Нуартье продолжал спрашивать.

— Вам угодно знать, что я сделаю?

— Да.

— Вот что. Как я уже сказал, я отправлюсь к нему и расскажу ему об узах, связывающих меня с мадемуазель Валентиной. Если он человек чуткий, он сам откажется от руки своей невесты, и с этого часа я до самой своей смерти буду ему преданным и верным другом. Если же он не согласится на это из соображений выгоды или из гордости, нелепой после того, как я докажу ему, что это будет насилием над моей нареченной

женой, что Валентина любит меня и никогда не полюбит никого другого, тогда я буду с ним драться, предоставив ему все преимущества, и я убью его, или он убьет меня. Если я его убью, он не сможет жениться на Валентине; если он меня убьет, я убежден, что Валентина за него не выйдет.

Нуартье с величайшей радостью смотрел на это благородное и открытое лицо: оно отражало все чувства, о которых говорил Моррель, и подкрепляло их своим прекрасным выражением, как краски усиливают впечатление от твердого и верного рисунка.

Однако, когда Моррель кончил, Нуартье несколько раз закрыл глаза, что у него, как известно, означало отрицание.

— Нет? — сказал Моррель. — Значит, вы не одобряете этот план, как и первый?

— Да, не одобряю, — показал старик.

— Но что же тогда делать, сударь? — спросил Моррель. — Последними словами госпожи де Сен-Меран было приказание не откладывать свадьбу ее внучки; неужели я должен дать этому свершиться?

Нуартье остался недвижим.

— Понимаю, — сказал Моррель, — я должен

ждать.

— Да.

— Но всякая отсрочка погубит нас, сударь. Валентина одна не в силах бороться, и ее принудят, как ребенка. Я чудом попал сюда и узнал, что здесь происходит; я чудом оказался у вас, но не могу же я все-таки рассчитывать, что счастливый случай снова поможет мне. Поверьте, возможен только какой-нибудь из двух выходов, которые я предложил, — простите мне такую самоуверенность. Скажите мне, который из них вы предпочитаете? Разрешите ли вы мадемуазель Валентине довериться моей чести?

— Нет.

— Предпочитаете ли вы, чтобы я отправился к господину д'Эпине?

— Нет.

— Но, Господи, кто же тогда окажет нам помощь, которой мы просим у Неба?

В глазах старика мелькнула улыбка, как бывало всякий раз, когда ему говорили о Небе. Старый якобинец все еще был атеистом.

— Счастливый случай? — продолжал Моррель.

— Нет.

— Вы?

— Да.

— Вы?

— Да, — повторил старик.

— Вы хорошо понимаете, о чем я спрашиваю, сударь? Простите мою настойчивость, но от вашего ответа зависит моя жизнь: наше спасение придет от вас?

— Да.

— Вы в этом уверены?

— Да.

— Вы ручаетесь?

— Да.

И во взгляде, утверждавшим это, было столько твердости, что нельзя было сомневаться в воле паралитика, если не в его власти.

— О, благодарю вас, тысячу раз благодарю! Но, сударь, если только Бог чудом не вернет вам речь и движение, каким образом сможете вы, прикованный к креслу, немой и неподвижный, воспротивиться этому браку?

Улыбка осветила лицо старика, странная улыбка глаз на этом неподвижном лице.

— Так, значит, я должен ждать? — спросил Моррель.

— Да.

— А договор?

Глаза снова улыбнулись.

— Неужели вы хотите сказать, что он не будет подписан?

— Да, — показал Нуартье.

— Так, значит, договор даже не будет подписан! — воскликнул Моррель. — О, простите меня! Ведь можно сомневаться, когда тебе объявляют об огромном счастье: договор не будет подписан?

— Нет, — ответил паралитик.

Несмотря на это, Моррель все еще не верил. Это обещание беспомощного старика было так странно, что его можно было приписать не силе воли, а телесной немощи: разве не естественно, что безумный, не ведающий своего безумия, уверяет, будто может выполнить то, что превосходит его силы? Слабый толкует о неимоверных тяжестях, которые он поднимает, робкий — о великанах, которых он побеждает, бедняк — о сокровищах, которыми он владеет, самый ничтожный поселянин в своей гордыне мнит себя Юпитером.

Понял ли Нуартье колебания Морреля или не совсем поверил высказанной им покорности, но только он пристально посмотрел на него.

— Что вы хотите, сударь? — спросил Моррель. — Чтобы я еще раз пообещал вам ничего не предпринимать?

Взор Нуартье оставался твердым и неподвиж-

ным, как бы говоря, что этого ему недостаточно; потом этот взгляд скользнул с лица на руку.

— Вы хотите, чтобы я поклялся? — спросил Максимилиан.

— Да, — так же торжественно показал паралитик, — я этого хочу.

Моррель понял, что старик придает большое значение этой клятве.

Он протянул руку.

— Клянусь честью, — сказал он, — что, прежде чем предпринять что-либо против господина д'Эпине, я подожду вашего решения.

— Хорошо, — показал глазами старик.

— А теперь, сударь, — спросил Моррель, — вы желаете, чтобы я удалился?

— Да.

— Не повидавшись с мадемуазель Валентиной?

— Да.

Моррель поклонился в знак послушания.

— А теперь, — сказал он, — разрешите вашему сыну поцеловать вас, как вас поцеловала дочь?

Нельзя было ошибиться в выражении глаз Нуартье.

Моррель прикоснулся губами ко лбу старика в том самом месте, которого незадолго перед тем

коснулись губы Валентины.

Потом он еще раз поклонился старику и вышел.

На площадке он встретил старого слугу, предупрежденного Валентиной. Тот ждал Морреля и провел его по извилистому темному коридору к маленькой двери, выходящей в сад.

Очутившись в саду, Моррель добрался до ворот; хватаясь за ветви растущего рядом дерева, он в один миг вскарабкался на ограду и через секунду спустился по своей лестнице в огород с люцерной, где его ждал кабриолет.

Он сел в него и совсем разбитый после пережитых волнений, но с более спокойным сердцем вернулся около полуночи на улице Меле, бросился на постель и уснул мертвым сном.

XVII
СКЛЕП СЕМЬИ ВИЛЬФОР

Через два дня, около десяти часов утра, у дверей дома г-на де Вильфора теснилась внушительная толпа, а вдоль предместья Сент-Оноре и улицы де ла-Пепиньер тянулась длинная вереница траурных карет и частных экипажей.

Среди этих экипажей выделялся своей формой

один, совершивший, по-видимому, длинный путь. Это было нечто вроде фургона, выкрашенного в черный цвет; он прибыл к месту сбора одним из первых.

Оказалось, что по странному совпадению в этом экипаже как раз прибыло тело маркиза де Сен-Мерана и что все, кто явился проводить одного покойника, будут провожать двух.

Провожающих было немало: маркиз де Сен-Меран, один из самых ревностных и преданных сановников Людовика XVIII и Карла X, сохранил много друзей, и они вместе с теми, кого общественные приличия связывали с Вильфором, составили многолюдное сборище.

Немедленно сообщили властям, и было получено разрешение соединить обе процессии в одну. Второй катафалк, отделанный с такой же похоронной пышностью, был доставлен к дому королевского прокурора, и гроб перенесли с почтового фургона на траурную колесницу.

Оба тела должны были предать земле на кладбище Пер-Лашез, где Вильфор уже давно соорудил склеп, предназначенный для погребения всех членов его семьи. В этом склепе уже лежало тело бедной Рене, с которой теперь, после десятилетней разлуки, соединились ее отец и мать.

Париж, всегда любопытный, всегда приходящий в волнение при виде пышных похорон, в благоговейном молчании следил за великолепной процессией, которая провожала к месту последнего упокоения двух представителей старой аристократии, прославленной своей приверженностью к традициям, верностью своему кругу и непоколебимой преданностью своим принципам.

Сидя вместе в траурной карете, Бошан, Альбер и Ша-то-Рено обсуждали эту внезапную смерть.

— *Я* видел госпожу де Сен-Меран еще в прошлом году в Марселе, — говорил Шато-Рено, — я тогда возвращался из Алжира. Этой женщине суждено было, кажется, прожить сто лет: удивительно деятельная, с таким цветущим здоровьем и ясным умом. Сколько ей было лет?

— Шестьдесят шесть, — отвечал Альбер, — по крайней мере так мне говорил Франц. Но ее убила не старость, а горе, ее потрясла смерть маркиза; говорят, что после его смерти ее рассудок был не совсем в порядке.

— Но от чего она в сущности умерла? — спросил Бошан.

— Как будто от кровоизлияния в мозг или от апоплексического удара. Или это одно и то же?

— Приблизительно.

— От удара? — повторил Бошан. — Даже трудно поверить. Я раза два видел госпожу де Сен-Меран, она была маленькая, худощавая, нервная, но отнюдь не полнокровная женщина. Апоплексический удар от горя — редкость для людей такого сложения.

— Во всяком случае, — сказал Альбер, — каковы бы ни были болезнь, которая ее убила, или доктор, который ее уморил, но господин де Вильфор, или, вернее, мадемуазель Валентина или, еще вернее, мой друг Франц теперь обладатель великолепного наследства: восемьдесят тысяч ливров годового дохода, по-моему.

— Это наследство чуть ли не удвоится после смерти старого якобинца Нуартье.

— Вот упорный дедушка! — сказал Бошан. — Tenacem propositi virum[5]. Он, наверно, побился об заклад со смертью, что похоронит всех своих наследников. И, право же, он этого добьется. Видно, что он тот самый член Конвента девяносто третьего года, который сказал в тысяча восемьсот четырнадцатом году Наполеону:

"Вы опускаетесь, потому что ваша империя

---

[5] Примечания: 5

Человек, неизменный в решении *(лат.)* — Гораций, Оды, III, 3.

— молодой стебель, утомленный своим ростом; обопритесь на республику, дайте хорошую конституцию и вернитесь на поля сражения — и я обещаю вам пятьсот тысяч солдат, второе Маренго и Аустерлиц. Идеи не умирают, ваше величество, они просто дремлют, но они просыпаются еще более сильными, чем были до сна".

— По-видимому, — сказал Альбер, — для него люди то же, что идеи. Я только хотел бы знать, как Франц д'Эпине уживется со стариком, который не может обойтись без его жены. Но где же Франц?

— Да он в первой карете, с Вильфором; тот уже смотрит на него как на члена семьи.

В каждом из экипажей, следовавших с процессией, шел примерно такой же разговор: удивлялись этим двум смертям, таким внезапным и последовавшим так быстро одна за другой, но никто не подозревал ужасной тайны, которую во время ночной прогулки д'Авриньи поведал Вильфору.

После часа пути достигли кладбища; день был тихий, но пасмурный, что очень подходило к предстоявшему печальному обряду. Среди толпы, направлявшейся к семейному склепу, Шато-Рено узнал Морреля, приехавшего отдельно в своем кабриолете; он шел один, бледный и молчали-

вый, по тропинке, обсаженной тисом.

— Каким образом вы здесь? — сказал Шато-Рено, беря молодого капитана под руку. — Разве вы знакомы с Вильфором? Как же я вас никогда не встречал у него в доме?

— Я знаком не с господином де Вильфором, — отвечал Моррель, — я был знаком с госпожой де Сен-Меран.

В эту минуту их догнали Альбер и Франц.

— Не очень подходящее место для знакомства, — сказал Альбер, — но все равно, мы люди не суеверные. Господин Моррель, разрешите представить вам господина Франца д'Эпине, моего превосходного спутника в путешествиях, с которым я ездил по Италии. Дорогой Франц, это господин Максимилиан Моррель, в лице которого я в твое отсутствие приобрел прекрасного друга. Его имя ты услышишь от меня всякий раз, когда мне придется говорить о благородном сердце, уме и обходительности.

Секунду Моррель колебался. Он спрашивал себя, не будет ли преступным лицемерием почти дружески приветствовать человека, против которого он тайно борется. Но он вспомнил о своей клятве и о торжественности минуты: он постарался ничего не выразить на своем лице и,

сдержав себя, поклонился Францу.

— Мадемуазель де Вильфор очень горюет? — спросил Франца Дебрэ.

— Бесконечно, — отвечал Франц, — сегодня утром у нее было такое лицо, что я едва узнал ее.

Эти, казалось бы, такие простые слова ударили по сердцу Морреля. Так этот человек видел Валентину, говорил с ней?

В эту минуту молодому пылкому офицеру понадобилась вся его сила воли, чтобы сдержаться и не нарушить клятву.

Он взял Шато-Рено под руку и быстро увлек его к склепу, перед которым служащие похоронного бюро уже поставили оба гроба.

— Великолепное жилище, — сказал Бошан, взглянув на мавзолей, — это и летний дворец, и зимний. Придет и ваша очередь поселиться в нем, дорогой д'Эпине, потому что скоро и вы станете членом семьи. Я же в качестве философа предпочел бы скромную виллу, маленький коттедж— вон там, по деревьями, и поменьше каменных глыб над моим бедным телом. Когда я буду умирать, я скажу окружающим то, что Вольтер писал Пирону. Eo rus[6], и все будет кончено…

---

[6] Примечания: 6
Еду в деревню *(лат.)*.

Эх, черт возьми, мужайтесь, Франц, ведь ваша жена наследует все.

— Право, Бошан, — сказал Франц, — вы несносны. Вы политический деятель, и политика приучила вас над всем смеяться и ничему не верить. Но все же, когда вы имеете честь быть в обществе обыкновенных смертных и имеете счастье на минуту отрешиться от политики, постарайтесь снова обрести душу, которую вы всегда оставляете в вестибюле Палаты депутатов или Палаты пэров.

— Ах, Господи, — сказал Бошан, — что такое в сущности жизнь? Ожидание в прихожей у смерти.

— Я начинаю ненавидеть Бошана, — сказал Альбер и отошел на несколько шагов вместе с Францем, предоставляя Бошану продолжать свои философские рассуждения с Дебрэ.

Семейный склеп Вильфоров представлял собою белый каменный четырехугольник вышиною около двадцати футов; внутренняя перегородка отделяла место Сен-Меранов от места Вильфоров, и у каждой половины была своя входная дверь.

В отличие от других склепов, в нем не было этих отвратительных, расположенных ярусами ящиков, в которые, экономя место, помещают

покойников; эти ящики снабжают надписями, похожими на этикетки; за бронзовой дверью глазам открывалось нечто вроде строгого и мрачного преддверья, отделенного стеной от самой могилы.

В этой стене и находились те две двери, о которых мы только что говорили и которые вели к месту упокоения Вильфоров и Сен-Меранов.

Тут родные могли на свободе предаваться своей скорби, и легкомысленная публика, избравшая Пер-Лашез местом своих пикников или любовных свиданий, не могла потревожить песнями, криками и беготней молчаливое созерцание или полную слез молитву посетителей склепа.

Оба гроба были внесены в правый склеп, принадлежащий семье Сен-Меран, и были поставлены на заранее возведенный помост, который уже готов был принять свой скорбный груз. Вильфор, Франц и ближайшие родственники одни вошли в святилище.

Так как все религиозные обряды были уже совершены снаружи и не было никаких речей, то присутствующие сразу же разошлись; Шато-Рено, Альбер и Моррель отправились в одну сторону, а Дебрэ и Бошан — в другую.

Франц остался с Вильфором. У ворот кладбища

Моррель под каким-то предлогом остановился; он видел, как они вдвоем отъехали в траурной карете, и счел это плохим предзнаменованием. Он вернулся в город и, хотя сидел в одной карете с Шато-Рено и Альбером, не слышал ни слова из того, что они говорили.

И действительно, в ту минуту, когда Франц хотел попрощаться с Вильфором, тот сказал:

— Когда я опять вас увижу, барон?

— Когда вам будет угодно, сударь, — ответил Франц.

— Как можно скорее.

— Я к вашим услугам; хотите, поедем вместе?

— Если это вас не стеснит.

— Нисколько.

Вот почему будущий тесть и будущий зять сели в одну карету, и Моррель, мимо которого они проехали, не без основания встревожился.

Вильфор и Франц вернулись в предместье Сент-Оноре.

Королевский прокурор, не заходя ни к кому, не поговорив ни с женой, ни с дочерью, провел гостя в свой кабинет и предложил ему сесть.

— Господин д'Эпине, — сказал он, — я должен вам нечто напомнить, и это, быть может, не так уж неуместно, как могло бы показаться с первого

взгляда, ибо исполнение воли умерших есть первое приношение, которое надлежит возложить на их могилу. Итак, я должен вам напомнить желание, которое высказала третьего дня госпожа де Сен-Меран на смертном одре, а именно, чтобы свадьба Валентины ни в коем случае не откладывалась. Вам известно, что дела покойницы находятся в полном порядке; по ее завещанию к Валентине переходит все состояние Сен-Меранов; вчера нотариус предъявил мне документы, которые позволяют составить в окончательной форме брачный договор. Вы можете поехать к нотариусу и от моего имени попросить его показать вам эти документы. Наш нотариус — Дешан, площадь Бове, предместье Сент-Оноре.

— Сударь, — отвечал д'Эпине, — мадемуазель Валентина теперь в таком горе, — быть может, она не пожелает думать сейчас о замужестве? Право, я опасаюсь…

— Самым горячим желанием Валентины будет исполнить последнюю волю бабушки, — прервал Вильфор, — так что с ее стороны препятствий не будет, смею вас уверить.

— В таком случае, — отвечал Франц, — поскольку их не будет и с моей стороны, поступайте, как вы найдете нужным. Я дал слово и сдержу его не

только с удовольствием, но и с радостью.

— Тогда не к чему и откладывать, — сказал Вильфор. — Договор должен был быть подписан третьего дня, он совершенно готов; его можно подписать сегодня же.

— Но как же траур? — нерешительно заметил Франц.

— Будьте спокойны, — возразил Вильфор, — у меня в доме не будут нарушены приличия. Мадемуазель де Вильфор удалится на установленные три месяца в свое поместье Сен-Меран; я говорю в свое поместье, потому что оно принадлежит ей. Там через неделю, если вы согласны на это, будет без всякой пышности, тихо и скромно, заключен гражданский брак. Госпожа де Сен-Меран хотела, чтобы свадьба ее внучки состоялась именно в этом имении. После свадьбы вы можете вернуться в Париж, а ваша жена проведет время траура со своей мачехой.

— Как вам угодно, сударь, — сказал Франц.

— В таком случае, — продолжал Вильфор, — я попрошу вас подождать полчаса: к тому времени Валентина спустится в гостиную. Я пошлю за Дешаном, мы тут же огласим и подпишем брачный договор, и сегодня же вечером госпожа де Вильфор отвезет Валентину в ее имение, а мы

приедем к ним через неделю.

— Сударь, — сказал Франц, — у меня к вам только одна просьба.

— Какая?

— Я хотел бы, чтобы при подписании договора присутствовали Альбер де Морсер и Рауль де Шато-Рено; вы ведь знаете, это мои свидетели.

— Их: можно известить в полчаса. Вы хотите сами съездить за ними или мы пошлем кого-нибудь?

— Я предпочитаю съездить сам.

— Так я вас буду ждать через полчаса, барон, и к этому времени Валентина будет готова.

Франц поклонился Вильфору и вышел.

Не успела входная дверь закрыться за ним, как Вильфор послал предупредить Валентину, что она должна через полчаса сойти в гостиную, потому что явятся нотариус и свидетели барона д'Эпине.

Это неожиданное известие взбудоражило весь дом. Г-жа де Вильфор не хотела ему верить, а Валентину оно сразило как удар грома.

Она окинула взглядом комнату, как бы в поисках защиты. Она хотела спуститься к деду, но на лестнице встретила Вильфора; он взял ее за руку и отвел в гостиную.

В прихожей Валентина встретила Барруа и бросила на старого слугу полный отчаяния взгляд.

Через минуту после Валентины в гостиную вошла г-жа де Вильфор с маленьким Эдуаром. Было видно, что на молодой женщине сильно отразилось семейное горе: она была очень бледна и казалась бесконечно усталой.

Она села, взяла Эдуара к себе на колени и время от времени почти конвульсивным движением прижимала к груди этого ребенка, в котором, казалось, сосредоточилась вся ее жизнь.

Вскоре послышался шум двух экипажей, въезжающих во двор. В одном из них приехал нотариус, в другом — Франц и его друзья.

Через минуту все были в сборе.

Валентина была так бледна, что стали заметны голубые жилки на ее висках и у глаз.

Франц был сильно взволнован.

Шато-Рено и Альбер с недоумением переглянулись; только что окончившаяся церемония, казалось им, была не более печальна, чем предстоявшая.

Госпожа де Вильфор села в тени, у бархатной драпировки, и, так как она беспрестанно наклонялась к сыну, трудно было понять по ее лицу, что происходило у нее на душе.

Вильфор был бесстрастен, как всегда.

Нотариус со свойственной служителям закона методичностью разложил на столе документы, уселся в кресло и, поправив очки, обратился к Францу:

— Вы и есть господин Франц де Кенель барон д'Эпине? — спросил он, хотя очень хорошо знал его.

— Да, сударь, — ответил Франц.

Нотариус поклонился.

— Я должен вас предупредить, сударь, — сказал он, — и делаю это от имени господина де Вильфора, что, узнав о предстоящем браке вашем с мадемуазель де Вильфор, господин Нуартье изменил намерение относительно своей внучки и полностью лишил ее наследства, которое должно было к ней перейти. Спешу добавить, — продолжал нотариус, — что завещатель имел право распорядиться только частью своего состояния, а распорядившись всем, открыл возможность оспаривать завещание, и оно будет признано недействительным.

— Да, — сказал Вильфор, — но я заранее предупреждаю господина д'Эпине, что, пока я жив, завещание моего отца не будет оспорено, потому что мое положение не позволяет мне идти на

какой бы то ни было скандал.

— Сударь, — сказал Франц, — я очень огорчен, что такой вопрос поднимается в присутствии мадемуазель Валентины. Я никогда не интересовался размерами ее состояния, которое, как бы оно ни уменьшалось, все же гораздо больше моего. Моя семья, желая породниться с господином де Вильфором, считалась единственно с соображениями чести; я же искал только счастья.

Валентина едва заметно кивнула в знак благодарности, между тем как две молчаливые слезы скатились по ее щекам.

— Впрочем, сударь, — сказал Вильфор, обращаясь к своему будущему зятю, — если не считать утраты некоторой доли ваших надежд, в этом неожиданном завещании нет ничего лично для вас оскорбительного; оно объясняется слабостью рассудка господина Нуартье. Мой отец недоволен не тем, что мадемуазель де Вильфор выходит замуж за вас, а тем, что она вообще выходит замуж; он был бы так же огорчен браком Валентины с кем бы то ни было. Старость эгоистична, сударь, а мадемуазель де Вильфор отдавала господину Нуартье все свое время, чего баронесса д'Эпине уже не сможет делать. Прискорбное состояние, в котором находится мой отец, не позволяет го-

ворить с ним о серьезных делах, которых он по слабоумию не может понять. Я глубоко убежден, что в настоящую минуту он хоть и помнит, что его внучка выходит замуж, но успел забыть даже, как зовут того, кто должен стать ему внуком.

Едва Вильфор договорил и Франц ответил на его слова поклоном, как дверь гостиной открылась и появился Барруа.

— Господа, — сказал он голосом необычно твердым для слуги, который обращается к своим хозяевам в столь торжественную минуту, — господин Нуартье де Вильфор желает немедленно говорить с господином Францем де Кенель бароном д'Эпине.

Он так же, как и нотариус, во избежание недоразумений, назвал жениха полным титулом.

Вильфор вздрогнул, г-жа де Вильфор спустила сына с колен, Валентина встала с места, бледная и безмолвная, как статуя.

Альбер и Шато-Рено обменялись еще более недоумевающим взглядом, чем в первый раз.

Нотариус взглянул на Вильфора.

— Это невозможно, — сказал королевский прокурор, — к тому же господин д'Эпине сейчас не может уйти из гостиной.

— Господин Нуартье, мой хозяин, желает

именно сейчас говорить с господином Францем д'Эпине по очень важному делу, — с той же твердостью возразил Барруа.

— Значит, дедушка Нуартье заговорил? — спросил Эдуар со своей обычной дерзостью.

Но эта выходка не вызвала улыбки даже у г-жи де Вильфор, настолько все были озабочены, настолько торжественна была минута.

— Передайте господину Нуартье, что его желание не может быть исполнено, — заявил Вильфор.

— В таком случае господин Нуартье предупреждает, — возразил Барруа, — что он прикажет перенести себя в гостиную.

Изумлению не было границ.

На лице г-жи де Вильфор мелькнуло нечто вроде улыбки. Валентина невольно подняла глаза к потолку, как бы благодаря Небо.

— Валентина, — сказал Вильфор, — подите, пожалуйста, узнайте, что это за новая прихоть вашего дедушки.

Валентина быстро направилась к двери, но Вильфор передумал.

— Подождите, — сказал он, — я пойду с вами.

— Простите, сударь, — вмешался Франц, — мне кажется, что раз господин Нуартье посылает за

мной, то мне и следует исполнить его желание; кроме того, я буду счастлив засвидетельствовать ему свое почтение, потому что не имел еще случая удостоиться этой чести.

— Ах, Боже мой! — сказал Вильфор, видимо встревоженный. — Вам, право, незачем беспокоиться.

— Извините меня, сударь, — сказал Франц тоном человека, решение которого неизменно. — Я не хочу упустить этого случая доказать господину Нуартье, насколько он не прав в своем предубеждении против меня, которое я твердо решил побороть, каково бы оно ни было, моей глубокой преданностью.

И, не дав Вильфору себя удержать, Франц, в свою очередь, встал и последовал за Валентиной, которая уже спускалась по лестнице с радостью утопающего, в последнюю минуту ухватившегося рукой за утес.

Вильфор пошел следом за ними.

Шато-Рено и Морсер обменялись третьим взглядом, еще более недоуменным, чем первые два.

XVIII

ПРОТОКОЛ

Нуартье ждал, одетый во все черное, сидя в своем кресле.

Когда все трое, кого он рассчитывал увидеть, вошли, он взглянул на дверь, и камердинер тотчас же затворил ее.

— Имейте в виду, — тихо сказал Вильфор Валентине, которая не могла скрыть своей радости, — если господин Нуартье собирается сообщить вам что-нибудь такое, что может воспрепятствовать вашему замужеству, я запрещаю вам понимать его.

Валентина покраснела, но ничего не ответила.

Вильфор подошел к Нуартье.

— Вот господин Франц д'Эпине, — сказал он ему, — вы послали за ним, сударь, и он явился по нашему зову. Разумеется, мы уже давно желали этой встречи, и я буду очень счастлив, если она вам докажет, насколько было необоснованно ваше противодействие замужеству Валентины.

Нуартье ответил только взглядом, от которого по телу Вильфора пробежала дрожь.

Потом он глазами подозвал Валентину.

В один миг, благодаря тем способам, которыми она всегда пользовалась при разговоре с дедом,

она нашла слово "ключ".

Затем она проследила за взглядом паралитика; взгляд остановился на ящике шкафчика, который стоял между окнами.

Она открыла этот ящик, и там действительно оказался ключ.

Она достала его оттуда, и глаза старика подтвердили, что он требовал именно этого; затем взгляд паралитика указал на старинный письменный стол, уже давно заброшенный, где, казалось, могли храниться разве только старые ненужные бумажки.

— Я должна открыть бюро? — спросила Валентина.

— Да, — показал старик.

— Открыть ящики?

— Да.

— Боковые?

— Нет.

— Средний?

— Да.

Валентина открыла его и вынула оттуда связку бумаг.

— Вам это нужно, дедушка? — сказала она.

— Нет.

Валентина стала вынимать все бумаги подряд;

наконец в ящике ничего не осталось.

— Но ящик уже совсем пустой, — сказала она. Глазами Нуартье показал на словарь.

— Да, дедушка, понимаю, — сказала Валентина.

И она снова начала называть одну за другой буквы алфавита, на "с" Нуартье остановил ее.

Она стала перелистывать словарь, пока не дошла до слова "секрет".

— Так ящик с секретом? — спросила она.

— Да.

— А кто знает этот секрет?

Нуартье перевел взгляд на дверь, в которую вышел слуга.

— Барруа? — сказала она.

— Да, — показал Нуартье.

— Надо его позвать?

— Да.

Валентина подошла к двери и позвала Барруа. Между тем на лбу у Вильфора от нетерпения выступил пот, а Франц стоял, остолбенев от изумления.

Вошел старый слуга.

— Барруа, — сказала Валентина, — дедушка велел мне взять из этого шкафчика ключ, открыть стол и выдвинуть вот этот ящик. Оказывается,

ящик с секретом, вы его, очевидно, знаете, откройте его.

Барруа взглянул на старика.

— Сделай это, — сказал выразительный взгляд Нуартье.

Барруа повиновался; двойное дно открылось, и показалась пачка бумаг, перевязанная черной лентой.

— Вы это и требуете, сударь? — спросил Барруа.

— Да, — показал Нуартье.

— Кому я должен передать эти бумаги? Господину де Вильфору?

— Нет.

— Мадемуазель Валентине?

— Нет.

— Господину Францу д'Эпине?

— Да.

Удивленный Франц подошел ближе.

— Мне, сударь? — сказал он.

— Да.

Франц взял у Барруа бумаги и, взглянув на обертку, прочел:

— *"После моей смерти передать моему другу, генералу Дюрану, который, со своей стороны, умирая, должен завещать этот пакет своему*

сыну, с наказом хранить его, как содержащий чрезвычайно важные бумаги".

— Что же я должен делать с этими бумагами, сударь? — спросил Франц.

— Очевидно, чтобы вы их хранили в таком же запечатанном виде, — сказал королевский прокурор.

— Нет, нет, — быстро сказали глаза Нуартье.

— Может быть, вы хотите, чтобы господин д'Эпине прочитал их? — сказала Валентина.

— Да, — сказали глаза старика.

— Видите, барон, дедушка просит вас прочитать эти бумаги, — сказала Валентина.

— В таком случае сядем, — с досадой сказал Вильфор, — это займет некоторое время.

— Садитесь, — показал глазами старик.

Вильфор сел, но Валентина оперлась на кресло деда, и Франц остался стоять перед ними.

Он держал таинственный пакет в руке.

— Читайте, — сказали глаза старика.

Франц развязал обертку, и в комнате наступила полная тишина. При общем молчании он прочел:

— *"Выдержка из протоколов заседания клуба бонапартистов на у лице Святого Иакова, состоявшегося пятого февраля тысяча восемьсот*

пятнадцатого года".

Франц остановился.

— Пятое февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года! В этот день был убит мой отец!

Валентина и Вильфор молчали; только глаза старика ясно сказали: читайте дальше.

— Ведь мой отец исчез как раз после того, как вышел из этого клуба! — продолжал Франц.

Взгляд Нуартье по-прежнему говорил: читайте. Франц продолжал:

— *"Мы, нижеподписавшиеся, Луи Жак Борепэр, подполковник артиллерии, Этьен Дюшампи, бригадный генерал, и Клод Лешарпаль, директор управления земельными угодьями, заявляем, что четвертого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года с острова Эльба было получено письмо, поручавшее вниманию и доверию членов бонапартистского клуба генерала Флавиена де Кенель, состоявшего на императорской службе с тысяча восемьсот четвертого года по тысяча восемьсот пятнадцатый год и потому, несомненно, преданного наполеоновской династии, несмотря на пожалованный ему Людовиком Восемнадцатым титул барона д'Этне, по названию его поместья.*

Вследствие сего генералу де Кенель была посла-

на записка с приглашением за заседание, которое должно было состояться на следующий день, пятого февраля. В записке не было указано ни улицы, ни номера дома, где должно было происходить собрание; она была без подписи, но в ней сообщалось, что если генерал будет готов, то за ним явятся в девять часов вечера.

Заседания обычно продолжались от девяти часов вечера до полуночи.

В девять часов президент клуба явился к генералу; тот был готов. Президент заявил ему, что он может быть введен в клуб лишь с тем условием, что ему навсегда останется неизвестным место собраний и что он позволит завязать себе глаза и даст клятву не пытаться приподнять повязку.

Генерал де Кенель принял это условие и поклялся честью, что не будет пытаться увидеть, куда его ведут.

Генерал уже заранее распорядился подать свой экипаж, но президент объяснил, что воспользоваться им не представляется возможным, потому что нет смысла завязывать глаза хозяину, раз у кучера они останутся открыты и он будет знать улицы, по которым едет.

"Как же тогда быть?" — спросил генерал.

"Я приехал в карете", — сказал президент.

"Разве вы так уверены в своем кучере, что доверяете ему секрет, который считаете неосторожным сказать моему?"

"Наш кучер — член клуба, — сказал президент, — нас повезет член Государственного совета".

"В таком случае, — сказал, смеясь, генерал, — нам грозит другое, — что он нас опрокинет".

Мы отмечаем эту шутку как доказательство того, что генерал никоим образом не был насильно приведен на заседание и присутствовал там по доброй воле.

Как только они сели в карету, президент напомнил генералу его обещание позволить завязать себе глаза. Генерал никак не возражал против этой формальности. Для этой цели послужил фуляр, заранее приготовленный в карете. Во время пути президенту показалось, что генерал пытается взглянуть из-под повязки; он напомнил ему о клятве.

"Да, да, вы правы", — сказал генерал.

Карета остановилась у одной из аллей улицы Святого Иакова. Генерал вышел из кареты, опираясь на руку президента, звание которого оставалось ему неизвестно и которого он принимал за простого члена клуба; они пересекли

аллею, поднялись во второй этаж и вошли в комнату совещаний.

Заседание уже началось. Члены клуба, предупрежденные о том, что в этот вечер состоится нечто вроде представления нового члена, были в полном сборе. Когда генерала довели до середины залы, ему предложили снять повязку. Он немедленно воспользовался предложением и был, по-видимому, очень удивлен, увидев так много знакомых лиц на заседании общества, о существовании которого он даже и не подозревал.

Его спросили о его взглядах, но он ограничился ответом, что они должны быть уже известны из писем с Эльбы..."

Франц прервал чтение.

— Мой отец был роялистом, — сказал он, — его незачем было спрашивать об его взглядах, они всем были известны.

— Отсюда и возникла моя связь с вашим отцом, дорогой барон, — сказал Вильфор, — легко сходишься с человеком, если разделяешь его взгляды.

— Читайте дальше, — говорили глаза старика.

Франц продолжал:

— *"Тогда взял слово президент и пригласил генерала высказаться обстоятельнее, но господин*

де Кенель ответил, что сначала желает узнать, чего от него ждут.

Тогда генералу огласили то самое письмо с острова Эльба, которое рекомендовало его клубу как человека, на чье содействие можно рассчитывать. Целый параграф этого письма был посвящен возможному возвращению с острова Эльба и обещал новое, более подробное письмо по прибытии "Фараона" — судна, принадлежавшего марсельскому арматору Моррелю, с капитаном, всецело преданным императору.

Во время чтения этого письма генерал, на которого рассчитывали как на собрата, высказал, наоборот, все признаки недовольства и явного отвращения.

Когда чтение было окончено, он продолжал безмолвствовать, нахмурив брови.

"Ну что же, генерал, — спросил президент, — что вы скажете об этом письме?"

"Я скажу, — ответил он, — что слишком еще недавно приносил присягу королю Людовику Восемнадцатому, чтобы уже нарушить ее в пользу экс-императора".

На этот раз ответ был настолько ясен, что убеждения генерала уже не оставляли сомнений.

"Генерал, — сказал президент, — для нас не

существует короля Людовика Восемнадцатого, как не существует экс-императора. Есть только его величество император и король, насилием и изменой удаленный десять месяцев тому назад из Франции, своей державы".

"Извините, господа, — сказал генерал, — возможно, что для вас и не существует короля Людовика Восемнадцатого, но для меня он существует: он возвел меня в баронское достоинство, сделал генералом, и я никогда не забуду, что обоими этими званиями я обязан его счастливому возвращению во Францию".

"Сударь, — очень серьезно сказал, вставая, президент, — обдумайте то, что вы говорите; ваши слова ясно показывают нам, что на острове Эльба на ваш счет ошиблись и ввели нас в заблуждение. Сообщение, сделанное вам, вызвано тем доверием, которое к вам питали, то есть чувством для вас лестным. Оказывается, что мы ошибались: титул и высокий чин заставили вас примкнуть к новому правительству, которое мы намерены свергнуть. Мы не будем принуждать вас оказать нам содействие; мы никого не зовем в свои ряды против его совести и воли, но мы принудим вас поступить как подобает благородному человеку, даже если это и не соответствует

вашим намерениям".

"Вы считаете это благородным — знать о вашем заговоре и не раскрыть его! А я считаю это сообщничеством. Как видите, я еще откровеннее вас..."

— Отец, отец, — сказал Франц, прерывая чтение, — теперь я понимаю, почему они тебя убили!

Валентина невольно посмотрела на Франца: молодой человек был поистине прекрасен в своем сыновнем порыве. Вильфор ходил взад и вперед по комнате.

Нуартье следил глазами за выражением лица каждого и сохранял свой строгий и полный достоинства вид. Франц снова взялся за рукопись и продолжал:

— "Сударь, — сказал президент, — вас пригласили явиться на заседание, вас не силой сюда притащили; вам предложили завязать глаза, вы на это согласились. Изъявляя согласие на оба эти предложения, вы отлично знали, что мы занимаемся не укреплением трона Людовика Восемнадцатого, иначе нам незачем было бы так заботливо скрываться от полиции. Знаете, это было бы слишком просто — надеть маску, позволяющую проникнуть в чужие тайны, а затем

снять эту маску и погубить тех, кто вам доверился. Нет, нет, вы сначала откровенно скажите нам, за кого вы стоите: за случайного короля, который в настоящее время царствует, или за его величество императора".

"Я роялист, — отвечал генерал, — я присягал Людовику Восемнадцатому и останусь верен своей присяге".

Эти слова вызвали общий ропот, и по лицам большинства членов клуба было видно, что они хотели бы заставить господина д'Эпине раскаяться в его необдуманном заявлении. Президент снова встал и водворил тишину.

"Сударь, — сказал он ему, — вы слишком серьезный и слишком рассудительный человек, чтобы не давать себе отчета в последствиях того положения, в котором мы с вами очутились, и самая ваша откровенность подсказывает нам те условия, которые мы должны вам поставить: вы поклянетесь честью никому ничего не сообщать из того, что вы здесь слышали".

Генерал схватился за эфес своей шпаги и воскликнул:

"Если уж говорить о чести, то прежде всего не преступайте ее законов и ничего силой не навязывайте!"

"А вы, сударь, — продолжал президент со спокойствием, едва ли не более грозным, чем гнев генерала, — советую вам: оставьте в покое вашу шпагу".

Генерал обвел присутствующих взглядом, в котором выразилось некоторое беспокойство. Все же он не сдавался; напротив, он собрал все свое мужество.

"Я не дам вам такой клятвы", — сказал он.

"В таком случае, сударь, — спокойно ответил президент, — вам придется умереть".

Господин д'Эпине сильно побледнел; он еще раз окинул взглядом окружающих: некоторые члены клуба перешептывались и искали под своими плащами оружие.

"Генерал, — сказал президент, — не беспокойтесь, вы находитесь среди людей чести, которые испробуют все средства убедить вас, прежде чем прибегнуть к крайности, но, с другой стороны, вы сами это сказали, вы находитесь среди заговорщиков; у вас в руках наша тайна, и вы должны нам ее возвратить".

Многозначительное молчание последовало за этими словами: генерал ничего не ответил.

"Заприте двери", — сказал тогда президент.

Мертвое молчание воцарилось после этих слов.

Тогда генерал выступил вперед и, делая над собой страшное усилие, сказал:

"У меня есть сын. Находясь среди убийц, я обязан думать о нем".

"Генерал, — ответил с достоинством председатель собрания, — один человек всегда может безнаказанно оскорбить пятьдесят — это привилегия слабости. Но он напрасно пользуется этим правом. Советую вам, генерал, поклянитесь и не оскорбляйте нас".

Генерал, снова укрощенный превосходством председателя собрания, минуту колебался, наконец подойдя к столу президента, он спросил:

"Какова формула клятвы?"

"Вот она:

"Клянусь честью никогда не открывать кому бы то ни было то, что я видел и слышал пятого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года, между девятью и десятью часами вечера, и заявляю, что заслуживаю смерти, если нарушу эту клятву".

Генерала, видимо, охватила нервная дрожь, которая в течение нескольких секунд мешала ему что-либо ответить; наконец, превозмогая явное отвращение, он произнес требуемую клятву, но так тихо, что его с трудом можно было

расслышать, поэтому некоторые из членов потребовали, чтобы он повторил ее, более громко и отчетливо, что и было исполнено.

"Теперь я хотел бы удалиться, — сказал генерал, — свободен ли я наконец?"

Президент встал, выбрал трех членов собрания, которые должны были ему сопутствовать, и сел с генералом в карету, предварительно завязав ему глаза. В числе этих трех членов находился и тот, который исполнял роль кучера.

Остальные члены клуба молча разошлись.

"Куда вам угодно, чтобы мы отвезли вас?" — спросил президент.

"Куда хотите, лишь бы я был избавлен от вашего присутствия", — ответил господин д'Эпине.

"Сударь, — сказал на это президент, — берегитесь, вы больше не в собрании, вы теперь имеете дело с отдельными людьми; не оскорбляйте их, если не желаете, чтобы вас заставили отвечать за оскорбление".

Но вместо того чтобы понять эти слова, господин д'Эпине ответил:

"В своей карете вы так же храбры, как и у себя в клубе, по той причине, сударь, что четверо всегда сильнее одного".

Президент приказал остановить карету.

Они находились как раз в том месте набережной Вязов, где есть лестница, ведущая вниз к реке.

"Почему вы здесь остановились?" — спросил господин д'Эпине.

"Потому, сударь, — сказал президент, — что вы оскорбили человека, и этот человек не желает сделать ни шагу дальше, не потребовав у вас законного удовлетворения".

"Еще один способ убийства", — сказал, пожимая плечами, генерал.

"Потише, сударь, — отвечал президент, — если вы не желаете, чтоб я счел вас самого одним из тех людей, о которых вы только что говорили, то есть трусом, делающим себе щит из собственной слабости. Вы один, и один будет биться с вами; вы при шпаге, у меня в трости тоже есть шпага; у вас нет секунданта — один из этих господ будет вашим секундантом. Теперь, если вам угодно, вы можете снять повязку".

Генерал немедленно сорвал платок с глаз.

"Наконец-то я узнаю, с кем имею дело", — сказал он.

Дверца кареты открылась, все четверо вышли..."

Франц снова прервал чтение. Он вытер холод-

ный пот, выступивший у него на лбу; страшно было видеть, как бледный и дрожащий сын читает вслух неизвестные доныне подробности смерти своего отца.

Валентина сложила руки, словно молясь.

Нуартье смотрел на Вильфора с непередаваемым выражением гордости и презрения.

Франц продолжал:

— "Это было, как уже сказано, пятого февраля. В последние дни стоял мороз градусов в пять-шесть, лестница вся обледенела; генерал был высок и тучен; и президент, спускаясь к реке, предоставил ему ту сторону лестницы, где были перила.

Оба секунданта следовали за ними.

Было совсем темно, пространство между лестницей и рекой было мокрое от снега и инея, и перед ними текла река, черная, глубокая, кое-где покрытая плывущими льдинами.

Один из секундантов сходил за фонарем на угольную баржу, и при свете этого фонаря осмотрели оружие.

Шпага президента, обыкновенной клинок, какие носят в тросточке, была на пять дюймов короче шпаги его противника и без чашки.

Генерал д'Эпине предложил раздать шпаги по

жребию, но президент ответил, что это он вызвал его и, делая вызов, имел в виду, что каждый будет действовать своим оружием.

Секунданты не хотели с этим соглашаться; президент заставил их замолчать.

Фонарь поставили на землю; противники стали по обе стороны; поединок начался.

В свете фонаря шпаги казались двумя молниями. Люди же были едва видны, настолько было темно.

Генерал считался одним из лучших фехтовальщиков во всей армии. Но он сразу встретил такой натиск, что отступил, при этом он упал.

Секунданты думали, что он убит, но его противник, зная, что не ранил его, подал ему руку, чтобы помочь подняться. Это обстоятельство, вместо того чтобы успокоить генерала, еще больше раздражило его, и он, в свою очередь, бросился на противника.

Но его противник не отступал ни на шаг и парировал его выпады. Трижды генерал отступал и трижды снова пытался атаковать.

На третий раз он снова упал.

Все думали, что он опять поскользнулся, однако, увидев, что он не встает, секунданты подошли к нему и пытались поставить его на

ноги, но тот, кто подхватил его, почувствовал что-то теплое и мокрое.

Это была кровь.

Генерал, впавший в полуобморочное состояние, пришел в себя.

"А, — сказал он, — против меня выпустили наемного убийцу, какого-нибудь полкового учителя фехтования?"

Президент, ничего ему не ответив, подошел к тому из секундантов, который держал фонарь, и, засучив рукав, показал на своей руке две сквозные раны; затем, распахнув фрак и расстегнув жилет, обнажил бок, в котором также зияла рана.

А между тем он не испустил даже вздоха.

У генерала д'Эпине началась агония, и через пять минут он умер..."

Франц прочел эти последние слова таким глухим голосом, что их едва можно было расслышать, потом он умолк и провел рукой по глазам, точно сгоняя с них туман.

Но после минутного молчания он продолжал:

— "Президент вложил шпагу в тросточку и вновь поднялся по лестнице: кровавый след на снегу отмечал его путь. Не успел он еще дойти до верха лестницы, как услышал глухой всплеск воды: это секунданты бросили в реку тело гене-

рала, удостоверившись в его смерти.

Таким образом, генерал пал в честном поединке, а не в западне, как могли бы уверять.

В удостоверение чего мы подписали настоящий протокол, дабы установить истину, из опасения, что может наступить минута, когда кто-либо из участников этого ужасного события будет обвинен в предумышленном убийстве или в нарушении законов чести.

Подписано: Борепэр, Дюшампи, Лешарпаль".

Когда Франц окончил это столь тягостное для сына чтение, Валентина, бледная от волнения, вытерла слезы, а Вильфор, дрожащий и забившийся в угол, пытаясь отвратить бурю, умоляюще посмотрел на безжалостного старца.

— Сударь, — сказал д'Эпине, обращаясь к Нуартье, — вам известны все подробности этого ужасного происшествия, вы заверили его подписями уважаемых лиц; и раз вы, по-видимому, интересуетесь мною, хотя этот интерес и проявился пока только в том, что вы причинили мне страдания, не откажите мне в последнем одолжении: назовите имя президента клуба, чтобы я знал наконец, кто убил моего отца.

Вильфор, совершенно растерянный, искал ручку двери. Валентина, раньше всех угадавшая,

каков будет ответ старика, и не раз видевшая на его предплечье следы двух ударов шпаги, отступила на шаг.

— Во имя Неба, мадемуазель, — сказал Франц, обращаясь к своей невесте, — поддержите мою просьбу, чтобы я мог узнать имя человека, который сделал меня сиротою в двухлетнем возрасте!

Валентина стояла молча и не шевелясь.

— Послушайте, — сказал Вильфор, — верьте мне, не будем продолжать этой тяжелой сцены; к тому же имена скрыты умышленно. Мой отец и сам не знает, кто был этот президент, а если и знает, то не сможет вам этого передать; в словаре нет собственных имен.

— Какое несчастье! — воскликнул Франц. — Только одна надежда, которая поддерживала меня, пока я читал, и дала мне силы дочитать до конца, я надеялся по крайней мере узнать имя того, кто убил моего отца! Сударь, сударь, — воскликнул он, обращаясь к Нуартье, — ради Бога, сделайте все, что можете… умоляю вас, попытайтесь указать мне, дать мне понять…

— Да! — ответили глаза Нуартье.

— Мадемуазель! — воскликнул Франц. — Ваш дедушка показал, что он может назвать… этого

человека… Помогите мне… вы понимаете его…

Нуартье посмотрел на словарь.

Франц с нервной дрожью взял его в руки и назвал одну за другой все буквы алфавита вплоть до Я.

На этой букве старик сделал утвердительный знак.

— Я? — повторил Франц.

Палец молодого человека скользил по словам, но на каждом слове Нуартье делал отрицательный знак.

Валентина закрыла лицо руками.

Тогда Франц вернулся к местоимению "я".

— Да, — показал старик.

— Вы! — воскликнул Франц, и волосы его стали дыбом. — Вы, господин Нуартье? Это вы убили моего отца?..

— Да, — ответил старик, величественно глядя ему в лицо.

Франц без сил упал в кресло.

Вильфор открыл дверь и выбежал из комнаты, потому что ему страстно хотелось задавить ту искру жизни, которая еще тлела в неукротимом сердце старика.

XIX
УСПЕХИ КАВАЛЬКАНТИ-СЫНА

Тем временем г-н Кавальканти-отец отбыл из Парижа, чтобы вернуться на свой пост, но не в войсках его величества императора австрийского, а у рулетки луккских минеральных вод, одним из ее самых ревностных почитателей которой он был.

Само собой разумеется, что он с добросовестнейшей точностью увез до последнего гроша всю сумму, назначенную ему в награду за его путешествие и за ту величавость и торжественность, с которыми он играл роль отца.

После его отъезда Андреа получил все документы, удостоверяющие, что он действительно имеет честь быть сыном маркиза Бартоломео и маркизы Оливы Корсинари.

Таким образом, он уже более или менее твердо стоял на якоре в парижском обществе, которое так легко принимает иностранцев и относится к ним не сообразно с тем, что они есть, а сообразно с тем, чем они желают быть.

Да и что требуется в Париже от молодого челове-

ка? Уметь кое-как говорить, прилично одеваться, смело играть и расплачиваться золотом.

Разумеется, к иностранцу предъявляют еще меньше требований, чем к парижанину.

Итак, недели через две Андреа занимал уже недурное положение: его именовали графом, считали, что у него пятьдесят тысяч ливров годового дохода, и говорили о несметных богатствах его отца, зарытых будто бы в каменоломнях Саравеццы.

Некий ученый, при котором упомянули о последнем обстоятельстве как о непреложном факте, заявил, что видел названные каменоломни, и это придало огромный вес не вполне еще обоснованным утверждениям; отныне эти каменоломни приобрели осязательную достоверность.

Так обстояли дела в том кругу парижского общества, куда мы ввели наших читателей, когда однажды вечером Монте-Кристо заехал с визитом к г-ну Данглару. Самого Данглара не было дома, но баронесса принимала, и графа спросили, доложить ли о нем; он изъявил согласие.

Со времени обеда в Отее и последовавших за ним событий г-жа Данглар не могла без нервной дрожи слышать имя графа Монте-Кристо. Если

вслед за звуком этого имени не появлялся сам граф, тягостное ощущение усиливалось; напротив, когда граф появлялся, его открытое лицо, его блестящие глаза, его изысканная любезность, даже галантность по отношению к г-же Данглар быстро рассеивали последнюю тень тревоги. Баронессе казалось невозможным, что человек, внешне столь очаровательный, мог питать относительно нее какие-либо дурные намерения; впрочем, даже самые испорченные души не допускают, что возможно зло, не обоснованное какой-нибудь выгодой; бесцельное и беспричинное зло претит, как уродство.

Монте-Кристо вошел в тот будуар, куда мы уже однажды приводили наших читателей и где сейчас баронесса неспокойным взглядом скользила по рисункам, которые ей передала дочь, предварительно посмотрев их вместе с Кавальканти-сыном. Появление графа произвело свое обычное действие, и, встревоженная сначала звуком его имени, баронесса встретила его улыбкой.

Он, со своей стороны, одним взглядом охватил всю эту сцену.

Рядом с баронессой, полулежавшей на козетке, сидела Эжени, а перед ней стоял Кавальканти.

Кавальканти, весь в черном, как герой Гёте, в лакированных башмаках и белых шелковых носках со стрелкой, проводил довольно белой и выхоленной рукой по своим светлым волосам, сверкая бриллиантом, который, не устояв перед искушением и невзирая на советы Монте-Кристо, тщеславный молодой человек надел на мизинец.

Это движение сопровождалось убийственными взглядами в сторону мадемуазель Данглар и вздохами, летевшими по тому же адресу, что и взгляды.

Мадемуазель Данглар была верна себе — то есть прекрасна, холодна и насмешлива. Ни один из взглядов, ни один из вздохов Андреа не ускользал от нее; казалось, они ударялись о панцирь Минервы, панцирь, который, по утверждению некоторых философов, порою облекает грудь Сапфо.

Эжени холодно поклонилась графу и воспользовалась завязавшимся разговором, чтобы удалиться в гостиную, предназначенную для ее занятий; оттуда вскоре послышались два громких и веселых голоса, вперемежку со звуками рояля, из чего Монте-Кристо мог заключить, что мадемуазель Данглар обществу его и г-на Каваль-

канти предпочла общество мадемуазель Луизы д'Армильи, своей учительницы пения.

Между тем граф, который разговаривал с г-жой Данглар и казался очарованным беседой с ней, сразу заметил озабоченность Андреа Кавальканти, который время от времени подходил к двери послушать музыку и, не решаясь переступить порог, жестами выражал свое восхищение.

Вскоре вернулся домой банкир. Правда, его первый взгляд был направлен на Монте-Кристо, но второй он бросил на Андреа.

Что касается супруги, то он поздоровался с нею точно так, как иные мужья обычно здороваются со своими женами, о чем холостяки смогут составить себе представление лишь тогда, когда будет издан подробный кодекс супружеских отношений.

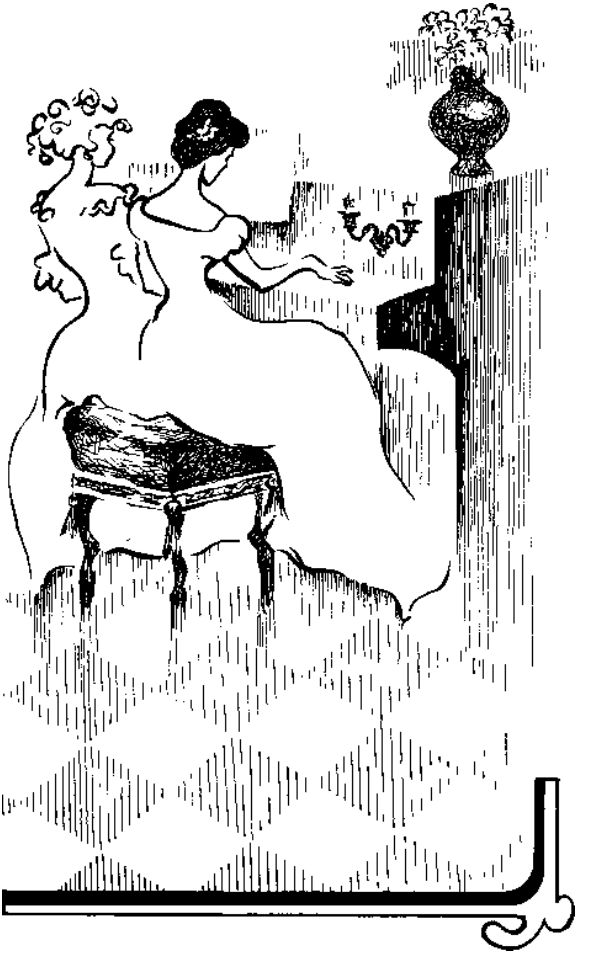
— Разве наши барышни не пригласили вас заняться музыкой вместе с ними? — спросил Данглар Андреа.

— Увы, нет, сударь, — отвечал Андреа с еще более проникновенным вздохом, чем прежние.

Данглар немедленно подошел к двери и распахнул ее.

Присутствующие увидели двух девушек, сидящих за роялем вдвоем на одной табуретке. Они

аккомпанировали себе каждая одной рукой, — собственная их выдумка, в которой они достигли замечательного искусства.



Мадемуазель д'Армильи, представлявшая в эту минуту вместе с Эжени в рамке открытой двери одну из тех живых картин, которые так любят в Германии, была очень хороша собой, или, вернее, очаровательно мила. Она была маленькая, тоненькая и золотоволосая, как фея, с длинными локонами, падавшими ей на шею, немного слишком длинную, как у мадонн Перуджино, и с подернутыми дымкой усталости глазами. Говорили, что у нее слабые легкие и что, подобно Антонии из "Кремонской скрипки", она в один прекрасный день умрет во время пения.

Монте-Кристо бросил быстрый любопытный взор в этот гинекей: он в первый раз увидел мадемуазель д'Армильи, о которой так часто слышал в этом доме.

— А что же мы? — спросил банкир свою дочь. — Нас отвергают?

Затем он провел Андреа в гостиную и, случайно или с умыслом, притворил за ним дверь таким образом, что с того места, где сидели Монте-Кристо и баронесса, ничего не было видно; но так как барон прошел туда следом за Андреа, то г-жа Данглар, по-видимому, не обратила на это обстоятельство никакого внимания.

Вскоре граф услышал голос Андреа, поющего

под аккомпанемент рояля какую-то корсиканскую песню.

В то время как граф с улыбкой слушал эту песню, забывая Андреа и вспоминая Бенедетто, г-жа Данглар восхищенно рассказывала ему о самообладании ее мужа, который в это утро потерял из-за банкротства какой-то миланской фирмы триста или четыреста тысяч франков.

И в самом деле, барон заслуживал восхищения; если бы граф не услышал этого от баронессы или, возможно, не узнал одним из тех способов, которыми он выведывал все, то по лицу барона ни о чем бы не догадался.

"Вот как! — подумал Монте-Кристо. — Ему уже приходится скрывать свои потери; еще месяц назад он ими хвастался".

Вслух он сказал:

— Но, сударыня, господин Данглар — такой знаток биржи, он всегда сумеет возместить на ней все, что потеряет в другом месте.

— *Я* вижу, вы разделяете всеобщее заблуждение, — сказала г-жа Данглар.

— Какое заблуждение? — спросил Монте-Кристо.

— Все думают, что господин Данглар играет на бирже, но это неправда.

— Ах, в самом деле, сударыня, я вспоминаю, что господин Дебрэ говорил мне… Кстати, куда это девался господин Дебрэ? *Я* его не видел уже дня три-четыре.

— *Я* тоже, — сказала г-жа Данглар с изумительной невозмутимостью. — Но вы начали что-то говорить и не докончили.

— О чем же я говорил?

— Что Дебрэ сказал вам…

— Да, верно, Дебрэ сказал, что это вы поклоняетесь демону азарта.

— Да, признаюсь, одно время так и было, — сказала г-жа Данглар, — но теперь меня это больше не занимает.

— И напрасно, сударыня. Знаете, весь судьба изменчива, а в спекуляциях все зависит от удачи и неудачи. Будь я женщиной, да еще женой банкира, как бы я ни верил в счастье своего мужа, я бы непременно составил себе независимое состояние, даже если бы мне для этого пришлось доверить свои интересы незнакомым рукам.

Госпожа Данглар невольно вспыхнула.

— Да вот, например, — сказал Монте-Кристо, делая вид, что ничего не заметил, — вы слышали об удачной комбинации, которую вчера проделали с неаполитанскими бонами?

— У меня их нет, — быстро ответила баронесса, — и даже никогда не было; но, право, мы уже достаточно поговорили о бирже, граф, словно мы с вами два маклера. Поговорим лучше об этих несчастных Вильфорах, которых так преследует судьба.

— А что с ними случилось? — спросил Монте-Кристо с полнейшей наивностью.

— Да вы же знаете, господин де Сен-Меран умер через три или четыре дня после своего отъезда, а теперь умерла маркиза, через три или четыре дня после своего приезда.

— Ах да, я слышал об этом, — сказал Монте-Кристо. — Но, как говорит Клавдий Гамлету, это закон природы: отцы умерли раньше их, и им пришлось их оплакивать; они умрут раньше своих сыновей, и их будут оплакивать сыновья.

— Но это еще не все.

— Как не все?

— Нет. Вы знаете, они собирались выдать замуж свою дочь…

— Да, за господина Франца д'Эпине… Разве свадьба расстроилась?

— Говорят, вчера утром Франц вернул им слово.

— Да неужели?.. А какая причина разрыва?

— Неизвестно.

— Что вы говорите, Боже милостивый! А как переносит все эти несчастья господин де Вильфор?

— По своему обыкновению — как философ.

В эту минуту возвратился Данглар.

— Что это, — сказала баронесса, — вы оставляете господина Кавальканти одного с вашей дочерью?

— А мадемуазель д'Армильи, — сказал барон, — за кого вы ее считаете?

Затем он обернулся к Монте-Кристо:

— Милейший молодой человек этот князь Кавальканти, правда, граф?.. Только князь ли он?

— За это я не поручусь, — сказал Монте-Кристо. — Мне представили его отца как маркиза, так что он, по-видимому, граф, но мне кажется, он и сам не особенно претендует на княжеский титул.

— Почему же? — сказал банкир. — Если он князь, то ему нечего это скрывать. У каждого свои права. Не люблю, когда отрицают свое происхождение.

— Ну, вы известный демократ, — сказал с улыбкой Монте-Кристо.

— Но послушайте, — сказала баронесса, — в какое положение вы себя ставите, если бы вдруг

приехал де Морсер; он застал бы господина Кавальканти в комнате, куда ему, жениху Эжени, никогда не разрешалось входить.

— Вы совершенно верно сказали "вдруг", — возразил банкир. — По совести говоря, мы его так редко видим, что он, можно сказать, действительно появляется у нас только вдруг.

— Словом, если бы он явился и увидел этого молодого человека подле вашей дочери, он мог бы остаться недоволен.

— Недоволен, он? Вы сильно ошибаетесь! Господин виконт не оказывает нам чести ревновать свою невесту, он ее не так сильно любит. Да и что мне за дело, будет он недоволен или нет?

— Однако наши отношения...

— Ах, наши отношения; угодно вам знать, какие у нас с ним отношения? На балу, который давала его мать, он только один раз танцевал с моей дочерью, а господин Кавальканти— три, и виконт этого даже не заметил.

— Господин виконт Альбер де Морсер! — доложил камердинер.

Баронесса поспешно встала. Она хотела пройти в маленькую гостиную, чтобы предупредить дочь, но Данглар удержал ее за руку.

— Оставьте, — сказал он.

Она удивленно взглянула на него.

Монте-Кристо сделал вид, что не заметил этой сцены.

Вошел Альбер. Он был очень красив и очень весел. Он непринужденно поклонился баронессе, фамильярно Данглару и дружелюбно Монте-Кристо, потом обернулся к баронессе:

— Позвольте спросить вас, сударыня, — сказал он, — как себя чувствует мадемуазель Данглар?

— Отлично, сударь, — быстро ответил Данглар, — она сейчас занимается музыкой в своей маленькой гостиной вместе с господином Кавальканти.

Альбер остался спокойным и равнодушным; быть может, в нем и шевельнулось что-то вроде досады, но он чувствовал, что Монте-Кристо смотрит на него.

— У господина Кавальканти прекрасный тенор, — сказал он, — а у мадемуазель Эжени великолепное сопрано, не говоря уже о том, что она играет на рояле, как Тальберг. Это, должно быть, очаровательный концерт.

— Во всяком случае, они прекрасно спелись, — сказал Данглар.

Альбер, казалось, не заметил этой двусмысленности, настолько грубой, что г-жа Данглар

покраснела.

— Я тоже музыкант, — продолжал он, — так по крайней мере утверждали мои учителя, но вот странно, я никогда не мог ни с кем спеться, с сопрано даже меньше, чем с какими-нибудь другими голосами.

Данглар кисло улыбнулся, как бы говоря: "Да рассердись же!"

— Так что вчера, — сказал он, видимо все-таки надеясь добиться своего, — князь и моя дочь вызвали общее восхищение. Разве вы вчера не были у нас, сударь?

— Какой князь? — спросил Альбер.

— Князь Кавальканти, — отвечал Данглар, упорно величавший Андреа этим титулом.

— Ах, простите, — сказал Альбер, — я не знал, что он князь. Так вчера князь Кавальканти пел вместе с мадемуазель Эжени? Поистине это должно было быть восхитительно, я страшно жалею, что не слышал их. Но я не мог воспользоваться вашим приглашением, мне пришлось сопровождать мою мать к старой баронессе Шато-Рено, где пели немцы.

Затем после небольшого молчания он спросил, как ни в чем не бывало:

— Могу ли я засвидетельствовать свое почте-

ние мадемуазель Данглар?

— Нет, подождите, умоляю вас, — сказал банкир, останавливая его, — послушайте, эта каватина прелестна — та, та, та, ти, та, ти, та, та; это восхитительно, сейчас конец... еще секунда? Прекрасно! Браво, браво, браво!

И банкир принялся неистово аплодировать.

— В самом деле, — сказал Альбер, — это превосходно, нельзя лучше понимать музыку своей родной страны, чем понимает князь Кавальканти. Ведь вы сказали "князь", если не ошибаюсь? Впрочем, если он и не князь, его сделают князем, в Италии это не трудно. Но вернемся к нашим восхитительным певцам. Вам следовало бы доставить нам всем удовольствие, господин Данглар: не предупреждая о том, что здесь есть посторонний, попросите мадемуазель Данглар и господина Кавальканти спеть что-нибудь еще. Так приятно наслаждаться музыкой немного издали, в тени, когда тебя никто не видит и ты сам ничего не видишь, не стесняешь исполнителя; тогда он может свободно отдаться влечению своего таланта и порывам своего сердца.

На этот раз Данглар был сбит с толку хладнокровием Альбера.

Он отвел Монте-Кристо в сторону.

— Ну, что вы скажете о нашем влюбленном? — спросил он.

— По-моему, он довольно холоден, эго бесспорно. Но что поделаешь? Вы дали слово!

— Да, конечно, я дал слово; но относительно чего? Отдать свою дочь человеку, который ее любит, а не человеку, который ее не любит. Посмотрите на него: холоден, как мрамор, надменен, как его отец; будь он хоть богат, будь у него состояние Кавальканти, можно было бы не обращать на это внимания. Говоря откровенно, я еще не спросил мнения дочери; но если бы у нее был хороший вкус…

— Не знаю, — сказал Монте-Кристо, — быть может, симпатия к нему ослепляет меня, но уверяю вас, что виконт де Морсер очень милый молодой человек, который сделает вашу дочь счастливой и который рано или поздно чего-нибудь достигнет: ведь отец его занимает прекрасное положение.

— Гм! — промычал Данглар.

— Вы сомневаетесь?

— Да вот, прошлое… темное прошлое.

— Но прошлое отца не касается сына.

— Совсем напротив.

— Послушайте, не убеждайте себя в этом. Еще

месяц назад вы считали Морсера превосходной партией. Поймите, я в отчаянии: ведь это у меня вы познакомились с этим молодым Кавальканти, я его совершенно не знаю, повторяю вам.

— Но я его знаю, — сказал Данглар, — этого вполне достаточно.

— Вы его знаете? Разве вы наводили о нем справки? — спросил Монте-Кристо.

— А разве эго так необходимо? Разве с первого взгляда не видно, с кем имеешь дело? Прежде всего он богат.

— Я в этом не уверен.

— Но ведь вы отвечаете за него?

— Эго пустяки, пятьдесят тысяч франков.

— Он прекрасно образован.

— Гм! — в свою очередь, промычал Монте-Кристо.

— Он музыкант.

— Все итальянцы музыканты.

— Знаете, граф, вы несправедливы к нему.

— Да, признаюсь, меня огорчает, что, зная ваши обязательства по отношению к Морсерам, он становится поперек дороги, пользуясь тем, что богат.

Данглар засмеялся.

— Вы слишком строги, — сказал он. — На свете

всегда так бывает.

— Однако ведь вы не можете идти на такой разрыв, дорогой господин Данглар: Морсеры рассчитывают на этот брак.

— Разве?

— Безусловно.

— Тогда пусть они объяснятся. Вам бы следовало намекнуть об этом отцу, дорогой граф, ведь вы у них так хорошо приняты.

— Я? Где вы это видели?

— Да хотя бы у них на балу. Помилуйте, графиня, гордая Мерседес, надменная испанка, которая едва удостаивает разговором самых старых знакомых, берет вас под руку, выходит с вами в сад, выбирает самые темные закоулки и возвращается только через полчаса.

— Ах. барон, барон, — сказал Альбер, — вы мешаете нам слушать; со стороны такого меломана это просто варварство!

— Ничего, ничего, господин насмешник, — сказал Данглар.

Потом он снова обернулся к Монте-Кристо.

— Вы беретесь сказать это отцу?

— Извольте, если вам так хочется.

— Но на этот раз все должно быть ясно и определенно. Прежде всего он должен у меня просить

руки моей дочери, назначить срок, объявить свои денежные условия — словом, либо мы окончательно сговоримся, либо разойдемся совсем, но, понимаете, никаких отсрочек!

— Ну что ж! Он вступит в переговоры.

— Я бы не сказал, что жду этого с особым удовольствием, но все-таки жду: банкир, знаете, должен быть рабом своего слова.

И Данглар вздохнул так же тяжко, как за полчаса перед тем вздыхал Кавальканти-сын.

— Браво, браво, браво! — крикнул Альбер, подражая банкиру и аплодируя после исполнения романса.

Данглар начал косо посматривать на Альбера, но тут ему что-то тихо доложили.

— Я сейчас вернусь, — сказал банкир, обращаясь к Монте-Кристо, — подождите меня, быть может, мне еще придется вам кое-что сообщить.

И он вышел.

Баронесса воспользовалась отсутствием мужа, чтобы открыть дверь в гостиную дочери, и Андреа, сидевший у рояля вместе с мадемуазель Эжени, вскочил как на пружинах. Альбер с улыбкой поклонился мадемуазель Данглар, которая, ничуть, видимо, не смутившись, ответила ему обычным холодным кивком.

Кавальканти явно чувствовал себя неловко; он поклонился Морсеру, и тот ответил на его поклон с самым дерзким видом.

Затем Альбер рассыпался в похвалах голосу мадемуазель Данглар и выразил сожаление, что ему не удалось присутствовать на вчерашнем вечере, по всеобщему мнению столь удачном…

Кавальканти, предоставленный самому себе, отвел в сторону Монте-Кристо.

— Вот что, — сказала г-жа Данглар, — хватит с нас музыки и комплиментов, пойдемте пить чай.

— Идем, Луиза, — сказала мадемуазель Данглар своей подруге.

Все перешли в соседнюю гостиную, где был приготовлен чай.

В ту минуту, когда, следуя английской моде, гости уже оставляли ложки в своих чашках, дверь снова отворилась и вошел Данглар, видимо очень взволнованный. Монте-Кристо прежде всех заметил это волнение и вопросительно посмотрел на банкира.

— Я сейчас получил письмо из Греции, — сказал Данглар.

— Поэтому вас и вызывали? — спросил граф.

Да.

— Как поживает король Оттон? — спросил самым веселым тоном Альбер.

Данглар косо взглянул на него и ничего не ответил, а Монте-Кристо отвернулся, чтобы скрыть мелькнувшее на его лице и тотчас же исчезнувшее выражение жалости.

— Мы выйдем вместе, хорошо? — сказал Альбер графу.

— Да, если хотите, — ответил тот.

Альбер не мог понять, чем был вызван такой взгляд банкира, поэтому он спросил Монте-Кристо, который это отлично понял:

— Вы заметили, как он на меня посмотрел?

— Да, — отвечал граф, — но разве в его взгляде было что-нибудь необычное?

— Еще бы, но что он хотел сказать, упомянув это письмо из Греции?

— Откуда же я могу знать?

— Да мне казалось, что вы имеете некоторое отношение к этой стране.

Монте-Кристо улыбнулся, как улыбаются, когда хотят уклониться от ответа.

— Смотрите, — сказал Альбер, — он направляется к вам; я пойду к мадемуазель Данглар, похвалю ее камею; за это время папаша успеет поговорить с вами.

— Уж если вы хотите хвалить, так по крайней мере похвалите ее голос, — сказал Монте-Кристо.

— Ну нет, это бы всякий сделал.

— Дорогой виконт, — сказал Монте-Кристо, — вы щеголяете своей дерзостью.

Альбер с улыбкой на устах направился к Эжени.

Тем временем Данглар наклонился к уху графа.

— Вы дали мне превосходный совет, — сказал он, — в этих двух словах: "Фернан" и "Янина" — заключена ужасная история.

— Да что вы! — сказал Монте-Кристо.

— Да, я вам все расскажу. Но уведите отсюда этого юношу; его общество очень стеснительно для меня сейчас.

— Я так и собирался сделать, мы выйдем вместе; вы по-прежнему хотите, чтобы я направил к вам его отца?

— Более, чем когда-либо.

— Хорошо.

Граф кивнул Альберу.

Они оба откланялись дамам и вышли; Альбер с видом полнейшего равнодушия к высокомерию мадемуазель Данглар, а Монте-Кристо — повторив г-же Данглар свой совет, что жене банкира

следует быть предусмотрительной и обеспечить свое будущее.

Поле битвы осталось за господином Кавальканти.

XX
ГАЙДЕ

Едва лошади графа завернули за угол бульвара, Альбер разразился таким громким смехом, что его нельзя было не заподозрить в искусственности.

— Ну вот, — сказал он графу, — теперь я хочу спросить вас, как спросил король Карл Девятый Екатерину Медичи после Варфоломеевской ночи: хорошо ли я, по-вашему, сыграл свою маленькую роль?

— В каком смысле? — спросил Монте-Кристо.

— Да в смысле водворения моего соперника в доме господина Данглара…

— Какого соперника?

— Как какого? Да Андреа Кавальканти, которому вы покровительствуете!

— Оставьте глупые шутки, виконт! Я нисколько не покровительствую Андреа, во всяком случае, не у господина Данглара.

— И я упрекнул бы вас за это, если бы молодой человек нуждался в покровительстве. Но, к счастью для меня, он в этом не нуждается.

— Как, вам разве кажется, что он ухаживает?

— Ручаюсь вам: он закатывает глаза, как воздыхатель, и распевает, как влюбленный, он грезит о руке надменной Эжени. Смотрите, я заговорил стихами! Честное слово, я в этом неповинен. Но все равно, я повторяю: он грезит о руке надменной Эжени.

— Не все ли это равно, если думают только о вас?

— Не скажите, дорогой граф, обе были со мной суровы.

— Как так обе?

— Очень просто: мадемуазель Эжени едва удостаивала меня ответом, а мадемуазель д'Армильи, ее наперсница, мне вовсе не отвечала.

— Да, но отец обожает вас, — сказал Монте-Кристо.

— Он? Наоборот, он всадил мне в сердце тысячу кинжалов, правда кинжалов с лезвием, уходящим в рукоятку, какие употребляются на сцене, но сам он их считает настоящими.

— Ревность — признак любви.

— Да, но я не ревную.

— Зато он ревнует.

— К кому? К Дебрэ?

— Нет, к вам.

— Ко мне? Держу пари, что не пройдет недели, как он велит меня не принимать.

— Ошибаетесь, дорогой виконт.

— Чем вы докажете?

— Вам нужны доказательства?

— Да.

— Я уполномочен просить графа де Морсера явиться с окончательным предложением к барону.

— Кем уполномочены?

— Самим бароном.

— Но, дорогой граф, — сказал Альбер так вкрадчиво, как только мог, — ведь вы этого не сделаете, правда?

— Ошибаетесь, Альбер, я это сделаю, я обещал.

— Ну вот, — со вздохом сказал Альбер, — похоже, что вы непременно хотите меня женить.

— Я хочу быть со всеми в хороших отношениях. Но, кстати, о Дебрэ: я его больше не встречаю у баронессы.

— Они поссорились.

— С баронессой?

— Нет, с бароном.

— Так он что-нибудь заметил?

— Вот это мило!

— А вы думаете, он подозревал? — спросил Монте-Кристо с очаровательной наивностью.

— Ну и ну! Да откуда вы явились, дорогой граф?

— Из Конго, скажем.

— Это еще не так далеко.

— Откуда мне знать нравы парижских мужей?

— Ах, дорогой граф, мужья везде одинаковы; раз вы изучили эту человеческую разновидность в какой-нибудь одной стране, вы знаете всю их породу.

— Но тогда из-за чего Данглар и Дебрэ могли рассориться? Они как будто так хорошо ладили, — сказал Монте-Кристо, снова изображая наивность.

— В том-то и дело, здесь уже начинаются мистерии Исиды, а в них я не посвящен. Когда Кавальканти-сын станет членом их семьи, вы его спросите.

Экипаж остановился.

— Вот мы и приехали, — сказал Монте-Кристо, — сейчас только половина одиннадцатого, зайдите ко мне.

— С большим удовольствием.

— Мой экипаж отвезет вас потом домой.

— Нет, спасибо, моя карета должна была ехать следом.

— Да, вот она, — сказал Монте-Кристо, выходя из экипажа.

Они вошли в дом. Гостиная была освещена, и они прошли туда.

— Подайте нам чаю, Батистен, — приказал Монте-Кристо.

Батистен молча вышел из комнаты. Через две секунды он вернулся, неся уставленный всем необходимым поднос, который, подобно трапезам в волшебных сказках, словно явился из-под земли.

— Знаете, — сказал Альбер, — меня восхищает не ваше богатство, — быть может, найдутся люди и богаче вас; не ваш ум, — если Бомарше был и не умнее вас, то, во всяком случае, столь же умен; но меня восхищает ваше умение заставить служить себе — безмолвно, в ту же минуту, в ту же секунду, как будто по вашему звонку угадывают, чего вы хотите, и как будто то, чего вы захотите, всегда наготове.

— В этом есть доля правды. Мои привычки хорошо изучены. Вот сейчас увидите; не угодно ли вам чего-нибудь за чаем?

— Признаться, я не прочь покурить.

Монте-Кристо подошел к звонку и ударил один раз.

Через секунду открылась боковая дверь, и появился Али, неся две длинные трубки, набитые превосходным латакия.

— Это прямо чудо, — сказал Альбер.

— Вовсе нет, это очень просто, — возразил Монте-Кристо. — Али знает, что за чаем или кофе я имею привычку курить; он знает, что я просил чаю; знает, что я вернулся вместе с вами; слышит, что я зову его; догадывается— зачем, и так как на его родине трубка — первый знак гостеприимства, то он вместо одного чубука и приносит два.

— Да, конечно, всему можно дать объяснение, и все же только вы один… Но что это?

И Морсер кивнул на дверь, из-за которой послышались звуки, напоминающие звуки гитары.

— *Я* вижу, дорогой виконт, вы сегодня обречены слушать музыку: не успели вы избавиться от рояля мадемуазель Данглар, как попадаете на гузлу Гайде.

— Гайде! Чудесное имя! Неужели не только в поэмах лорда Байрона есть женщины, которых зовут Гайде?

— Разумеется, во Франции это имя встречается

очень редко, но в Албании и Эпире оно довольно обычно; оно означает целомудрие, стыдливость, невинность; это такое же имя, как те, которые у вас дают при крещении.

— Что за прелесть! — сказал Альбер. — Хотел бы я, чтобы наши француженки назывались мадемуазель Доброта, мадемуазель Тишина, мадемуазель Христианское Милосердие! Вы только подумайте, если бы мадемуазель Данглар звали не Клэр Мари Эжени, а мадемуазель Целомудрие-Скромность-Невинность Данглар! Вот был бы эффект во время оглашения!

— Сумасшедший! — сказал граф. — Не произносите такие шуточки так громко, Гайде может услышать.

— Она рассердилась бы на это?

— Нет, конечно, — надменно сказал граф.

— Она добрая? — спросил Альбер.

— Это не доброта, а долг: невольница не может сердиться на своего господина.

— Ну, теперь вы сами шутите! Разве еще существуют невольницы?

— Конечно, раз Гайде моя невольница.

— Нет, правда, вы все делаете не так, как другие люди, и все, что у вас есть, не такое, как у всех! Невольница графа Монте-Кристо! Во Франции

— это положение. При том, как вы сорите золотом, такое место должно приносить сто тысяч экю в год.

— Сто тысяч экю! Бедная девочка имела больше. Она родилась среди сокровищ, перед которыми сокровища "Тысячи и одной ночи" просто пустяки.

— Так она в самом деле княжна?

— Вот именно, и одна из самых знатных в своей стране.

— Я так и думал. Но как же случилось, что знатная княжна стала невольницей?

— А как случилось, что тиран Дионисий стал школьным учителем? Жребий войны, дорогой виконт, прихоть судьбы.

— А ее происхождение — тайна?

— Для всех — да, но не для вас, дорогой виконт, потому что вы мой друг и будете молчать, если пообещаете, правда?

— Даю вам честное слово!

— Вы слыхали историю янинского паши?

— Али Тепеленского? Конечно, ведь мой отец приобрел свое состояние у него на службе.

— Да, правда, я забыл.

— А какое отношение имеет Гайде к Али Тепеленскому?

— Она всего-навсего его дочь.

— Как, она дочь Али-паши?

— И прекрасной Василики.

— И она ваша невольница?

— Да.

— Как же так?

— Да так. Однажды я проходил по константинопольскому базару и купил ее.

— Это великолепно! С вами, дорогой граф, не живешь, а грезишь. Скажите, можно попросить вас, хоть это и очень нескромно…

— Я слушаю вас.

— Но раз вы показываетесь с ней, вывозите ее в Оперу…

— Что же дальше?

— Так я могу попросить вас об этом?

— Можете просить меня о чем угодно.

— Тогда, дорогой граф, представьте меня вашей княжне.

— Охотно. Но только при двух условиях.

— Заранее принимаю их.

— Во-первых, вы никогда никому не расскажете об этом знакомстве.

— Отлично. (Альбер поднял руку.) Клянусь в этом!

— И во-вторых, вы ей не скажете ни слова о том,

что ваш отец был на службе у ее отца.

— Клянусь и в этом.

— Превосходно, виконт; вы будете помнить обе свои клятвы, не правда ли?

— О граф! — воскликнул Альбер.

— Отлично. Я знаю, что вы человек чести.

Граф снова ударил по звонку; вошел Али.

— Предупреди Гайде, — сказал ему граф, — что я приду к ней пить кофе, и дай ей понять, что я прошу у нее разрешения представить ей одного из моих друзей.

Али поклонился и вышел.

— Итак, условимся: никаких прямых вопросов, дорогой виконт. Если вы хотите что-либо узнать, спрашивайте у меня, а я спрошу у нее.

— Условились.

Али появился в третий раз и приподнял драпировку в знак того, что его господин и Альбер могут войти.

— Идемте, — сказал Монте-Кристо.

Альбер провел рукой по волосам и подкрутил усы, а граф снова взял в руки шляпу, надел перчатки и прошел с Альбером в покои, которые, как верный часовой, охранял Али и немного дальше, как пикет, три французские горничные под командой Мирто.

Гайде ждала их в первой комнате, гостиной, широко открыв от удивления глаза: впервые к ней являлся какой-то мужчина, кроме Монте-Кристо; она сидела на диване, в углу, поджав под себя ноги и устроив себе как бы гнездышко из великолепных полосатых, покрытых вышивкой восточных шелков. Около нее лежал инструмент, звуки которого выдали ее присутствие. Она была прелестна.

Увидев Монте-Кристо, она приподнялась со своей особенной улыбкой — с улыбкой дочери и возлюбленной; Монте-Кристо подошел и протянул ей руку, которой она, как всегда, коснулась губами.

Альбер остался стоять у двери, захваченный этой странной красотой, которую он видел впервые и о которой во Франции не имели никакого представления.

— Кого ты привел ко мне? — по-гречески спросила девушка у Монте-Кристо. — Брата, друга, просто знакомого или врага?

— Друга, — ответил на том же языке Монте-Кристо.

— Как его зовут?

— Граф Альбер; это тот самый, которого я в Риме вызволил из рук разбойников,

— На каком языке ты желаешь, чтобы я говорила с ним?

Монте-Кристо обернулся к Альберу.

— Вы знаете современный греческий язык? — спросил он его.

— Увы, даже и древнегреческого не знаю, дорогой граф, — сказал Альбер. — Никогда еще у Гомера и Платона не было такого неудачного и, осмелюсь даже сказать, такого равнодушного ученика, как я.

— В таком случае, — заговорила Гайде, доказывая этим, что она поняла вопрос Монте-Кристо и ответ Альбера, — я буду говорить по-французски или по-итальянски, если только мой господин желает, чтобы я говорила.

Монте-Кристо секунду подумал.

— Ты будешь говорить по-итальянски, — сказал он.

Затем обратился к Альберу:

— Досадно, что вы не знаете ни новогреческого, ни древнегреческого языка, ими Гайде владеет в совершенстве. Бедной девочке придется говорить с вами по-итальянски, из-за этого вы, быть может, получите ложное представление о ней.

Он сделал знак Гайде.

— Добро пожаловать, друг, пришедший с моим

господином и повелителем, — сказала девушка на прекрасном тосканском наречии, с тем нежным римским акцентом, который делает язык Данте столь же звучным, как язык Гомера. — Али, кофе и трубки.

И Гайде жестом пригласила Альбера подойти ближе, тогда как Али удалился, чтобы исполнить приказание своей госпожи. Монте-Кристо указал Альберу на складной стул, сам взял второй такой же, и они подсели к низкому столику, на котором вокруг кальяна лежали живые цветы, рисунки и музыкальные альбомы.

Али вернулся, неся кофе и чубуки; Батистену был запрещен вход в эту часть дома. Альбер отодвинул трубку, которую ему предложил нубиец.

— Берите, берите, — сказал Монте-Кристо, — Гайде почти так же цивилизованна, как парижанка; сигара была бы ей неприятна, потому что она не выносит дурного запаха, но восточный табак — это благовоние, вы же знаете.

Али удалился.

Кофе был уже налит в чашки, но только для Альбера была все же поставлена сахарница; Монте-Кристо и Гайде пили этот арабский напиток по-арабски, то есть без сахара.

Гайде протянула руку, взяла кончиками своих

тонких розовых пальцев чашку из японского фарфора и поднесла ее к губам с простодушным удовольствием ребенка, который пьет или ест что-нибудь, что очень любит.

В это время две служанки внесли подносы с мороженым и шербетом и поставили их на два предназначенные для этого маленьких столика.

— Мой дорогой хозяин и вы, синьора, — сказал по-итальянски Альбер, — простите мне мое изумление. Я совершенно ошеломлен, и есть от чего: передо мной открывается Восток, подлинный Восток, какого я, к сожалению, никогда не видал, но о котором грезил. И это в самом сердце Парижа! Только что я слышал, как проезжали омнибусы и звенели колокольчики торговцев лимонадом… Ах, синьора, почему я не умею говорить по-гречески! Ваша беседа вместе с этой волшебной обстановкой — это был бы такой вечер, что я сохранил бы его в памяти на всю жизнь.

— Я достаточно хорошо говорю по-итальянски и могу с вами разговаривать, — спокойно отвечала Гайде. — И я постараюсь, чтобы вы чувствовали себя на Востоке, раз он вам нравится.

— О чем мне можно говорить? — шепотом спросил Альбер графа.

— Да о чем угодно: о ее родине, о ее юности, о

ее воспоминаниях или, если вы предпочитаете, о Риме, о Неаполе или о Флоренции.

— Ну, не стоило бы искать общества гречанки, чтобы говорить с ней о том, о чем можно говорить с парижанкой, — сказал Альбер. — Разрешите мне поговорить с ней о Востоке.



— Пожалуйста, дорогой Альбер, это будет ей всего приятнее.

Альбер обратился к Гайде:

— В каком возрасте вы покинули Грецию, синьора?

— Мне было тогда пять лет, — ответила Гайде.

— И вы помните свою родину?

— Когда я закрываю глаза, передо мной встает все, что я когда-то видела. У человека два зрения: взор тела и взор души. Телесное зрение иногда забывает, но духовное помнит всегда.

— Ас какого времени вы себя помните?

— Я тогда едва умела ходить; моя мать Василики — имя Василики означает царственная, — прибавила девушка, вскинув голову, — моя мать брала меня за руку, и мы обе, закутанные в покрывала, положив в кошелек все золотые монеты, какие у нас были, шли просить милостыню для заключенных; мы говорили: "Благотворящий бедному дает взаймы Господу..." Когда кошелек наполнялся доверху, мы возвращались во дворец и, не говоря отцу, все эти деньги, которые нам подавали, принимая нас за бедных, отсылали монастырскому игумену, а он распределял их между заключенными.

— А сколько вам было тогда лет?

— Три года, — сказала Гайде.

— И вы помните все, что делалось вокруг вас, начиная с трехлетнего возраста?

— Все.

— Граф, — сказал шепотом Альбер, — разрешите синьоре рассказать нам что-нибудь из своей жизни. Вы запретили мне говорить с ней о моем отце, но, может быть, она сама что-нибудь о нем расскажет, а вы не можете себе представить, как мне было бы приятно услышать его имя из таких прекрасных уст.

Монте-Кристо обернулся к Гайде и, подняв бровь, чтобы обратить ее особое внимание на то, что он ей скажет, произнес по-гречески: "Отца судьбу, но не имя предателя и не предательство поведай нам".

Гайде тяжело вздохнула, и темное облако легло на ее ясное чело.

— Что вы ей сказали? — шепотом спросил Морсер.

— Я снова предупредил ее, что вы наш друг и что ей незачем таиться от вас.

— Итак, — сказал Альбер, — ваше первое воспоминание— о том, как вы собирали милостыню для заключенных, какое же следующее?

— Следующее? Я вижу себя под сенью сикомор,

на берегу озера; его дрожащее зеркало я как сейчас различаю сквозь листву. Прислонившись к самому старому и ветвистому дереву, сидит на подушках мой отец; моя мать лежит у его ног, а я, маленькая, играю белой бородой, спадающей ему на грудь, и заткнутым за пояс кинжалом, рукоять которого осыпана алмазами. Время от времени к нему подходит албанец и говорит ему несколько слов; я не обращаю на них никакого внимания, а отец отвечает, никогда не меняя голоса: "Убейте его" или *"Я* его прощаю!"

— Как странно, — сказал Альбер, — слышать такие вещи из уст молодой девушки не на подмостках театра и говорить себе: это не вымысел. Но как же вам после такого поэтического прошлого, после таких волшебных далей нравится Франция?

— *Я* нахожу, что это прекрасная страна, — сказала Гайде, — но я вижу Францию такой, как она есть, потому что смотрю на нее глазами взрослой женщины; а моя родина, на которую я глядела глазами ребенка, кажется мне всегда окутанной то лучезарным, то мрачным облаком, в зависимости от того, видят ли ее мои глаза милой родиной или местом горьких страданий.

— Вы так молоды, синьора, — сказал Альбер,

невольно отдавая дань пошлости, — когда же вы успели страдать?

Гайде обратила свой взор на Монте-Кристо, который, подавая ей неуловимый знак, шепнул:

— Eirce[7].

— Ничто не накладывает такой отпечаток на душу, как первые воспоминания, а кроме тех двух, о которых я вам сейчас рассказала, все остальные воспоминания моей юности полны печали.

— Говорите, говорите, синьора! — сказал Альбер. — Поверьте, для меня невыразимое счастье слушать вас.

Гайде печально улыбнулась.

— Так вы хотите, чтобы я рассказала и о других своих воспоминаниях? — спросила она.

— Умоляю вас об этом.

— Что ж, хорошо. Мне было четыре года, когда однажды вечером меня разбудила мать. Мы жили тогда во дворце в Янине; она подняла меня с подушек, на которых я спала, и когда я открыла глаза, то увидела, что она плачет.

Она не сказала мне ни слова, взяла меня на руки и понесла.

---

[7] Примечания: 7
Расскажи *(гречпримеч. автора)*.

Видя ее слезы, я тоже хотела заплакать.

"Молчи, дитя", — сказала она.

Часто бывало, что, несмотря на материнские ласки или угрозы, я, капризная, как все дети, продолжала плакать, но на этот раз в голосе моей бедной матери звучал такой ужас, что я в ту же секунду замолчала.

Она быстро несла меня.

Тут я увидела, что мы спускаемся по широкой лестнице; впереди нас шли, вернее, бежали служанки моей матери, неся сундуки, мешочки, украшения, драгоценности, кошельки с золотом.

Вслед за женщинами шли десятка два телохранителей с длинными ружьями и пистолетами; они были одеты в тот костюм, который вы во Франции знаете с тех пор, как Греция снова стала независимой страной.

— Поверьте мне, — продолжала Гайде, качая головой и бледнея при одном воспоминании, — было что-то зловещее в этой длинной веренице рабов и служанок, которые еще не вполне очнулись от сна, — по крайней мере мне они казались сонными, быть может, потому, что я сама не совсем проснулась.

По лестнице пробегали гигантские тени, их отбрасывало колыхающееся пламя смоляных

факелов.

"Поспешите!" — послышался чей-то голос из глубины галереи.

Все склонились перед этим голосом, как клонятся колосья, когда над полями проносится ветер.

Я вздрогнула, услышав этот голос.

Это был голос моего отца.

Он шел последним, в своих роскошных одеждах, держа в руке карабин, подарок вашего императора; опираясь на своего любимца Селима, он гнал нас перед собой, как гонит пастух перепуганное стадо.

— Мой отец, — сказала Гайде, высоко подняв голову, — был великий человек, паша Янины; Европа знала его под именем Али Тепеленского, и Турция трепетала перед ним.

Альбер невольно вздрогнул, услышав эти слова, произнесенные с невыразимой грустью и достоинством. Ему почудилось, в глазах девушки сверкнуло что-то мрачное, пугающее, когда она, подобно пифии, вызывающей призрак, воскресила кровавую тень человека, которого ужасная смерть так возвеличила в глазах современной Европы.

— Вскоре, — продолжала Гайде, — шествие остановилось; мы были у низа лестницы, на

берегу озера. Мать, тяжело дыша, прижимала меня к груди, за нею я увидела отца, он бросал по сторонам тревожные взгляды.

Перед нами спускались четыре мраморные ступени, у нижней покачивалась лодка.

С того места, где мы стояли, видна была темная громада, подымавшаяся из озера; это был замок, куда мы направлялись. Мне казалось, может быть из-за темноты, что до него довольно далеко.

Мы сели в лодку. Я помню, что весла совершенно бесшумно касались воды; я наклонилась, чтобы посмотреть на них: они были обернуты поясами наших паликаров.

Кроме гребцов, в лодке находились только женщины, мой отец, мать, Селим и я.

Паликары остались на берегу и стали на колени в самом низу лестницы, чтобы в случае погони воспользоваться тремя ступенями как прикрытием.

Наша лодка неслась как стрела.

"Почему лодка плывет так быстро? — спросила я у матери.

"Тише, дитя, — сказала она, — это потому, что мы бежим".

Я ничего не понимала. Зачем бежать моему отцу, такому всемогущему? Перед ним всегда

бежали другие, и его девизом было:

"Они ненавидят меня, значит, боятся".

Но теперь мой отец действительно спасался бегством.

После он сказал мне, что гарнизон янинского замка устал от продолжительной службы…

Тут Гайде выразительно взглянула на Монте-Кристо, глаза которого с этой минуты не отрывались от ее лица. И она продолжала медленно, как это делают, когда что-нибудь сочиняют или пропускают.

— Вы сказали, синьора, — подхватил Альбер, который с величайшим вниманием слушал ее рассказ, — что янинский гарнизон устал от продолжительной службы…

— И сговорился с сераскером Куршидом, которого султан послал, чтобы захватить моего отца. Тогда мой отец, предварительно отправив к султану французского офицера, которому он всецело доверял, решил скрыться в заранее построенной маленькой крепости, которую он называл катафигион, что означало "убежище".

— А вы помните имя этого офицера, синьора? — спросил Альбер.

Монте-Кристо обменялся с Гайде быстрым, как молния, взглядом; Альбер не заметил этого.

— Нет, — сказала она, — я забыла имя, но, может быть, я потом вспомню и тогда скажу вам.

Альбер уже собирался назвать имя своего отца, но Монте-Кристо предостерегающе поднял палец; Альбер вспомнил свою клятву и ничего не сказал.

— Вот к этому убежищу мы и плыли, — продолжала Гайде. — Украшенный арабесками нижний этаж, террасы которого поднимались над самой водой, и второй этаж, выходящий окнами на озеро, вот и все, что видно было, когда подплывали к этому маленькому дворцу.

Но под нижним этажом, уходя в глубь острова, тянулось подземелье, огромная пещера. Туда и провели мою мать, меня и наших служанок; там лежали в одной огромной куче шестьдесят тысяч кошельков и двести бочонков; в кошельках было на двадцать пять миллионов золотых монет, а в бочонках тридцать тысяч фунтов пороху.

Около этих бочонков встал Селим, о котором я вам уже говорила, любимец моего отца. День и ночь он стоял на страже, держа в руке копье с зажженным фитилем на конце; ему был дан приказ все взорвать — убежище, телохранителей, пашу, женщин и золото — по первому знаку моего отца.

Я помню, что наши невольницы, зная об этом ужасном соседстве, молились, стонали и плакали дни и ночи напролет.

У меня перед глазами всегда стоит этот молодой воин, бледный, с черными глазами, и когда ко мне прилетит ангел смерти, я, наверно, узнаю в нем Селима.

Не знаю, сколько времени мы провели так: в те дни я еще не имела представления о времени; иногда, очень редко, мой отец звал нас, мать и меня, на террасу дворца; это были радостные часы для меня: в подземелье я видела только стонущие тени и пылающие копье Селима. Мой отец, сидя у большого отверстия, мрачно вглядывался в далекий горизонт, следя за каждой черной точкой, появлявшейся на глади озера; мать, полулежа возле него, клала голову на его плечо, а я играла у его ног и с детским удивлением, от которого все вокруг кажется больше, чем на самом деле, любовалась отрогами Пинда на горизонте, белыми зубцами замков Янины, встающими из голубых вод озера, массивами темной зелени, которая издали кажется мхом, лишайниками на горных утесах, а вблизи оказывается гигантскими пиниями и огромными миртами.

Однажды утром мой отец послал за нами; он

был довольно спокоен, но бледнее, чем обыкновенно.

"Потерпи еще, Василики, сегодня всему наступит конец: сегодня должен прибыть фирман повелителя, и моя судьба будет решена. Если я получу полное прощение, мы с торжеством вернемся в Янину; если вести будут дурные, мы бежим сегодня же ночью".

"Но если они не дадут нам бежать?" — спросила моя мать.

"Не беспокойся, — сказал, улыбаясь, Али, — Селим со своим пылающим копьем отвечает мне за них. Они очень хотели бы, чтобы я умер, но не с тем, чтобы умереть вместе со мной".

Моя мать отвечала лишь вздохами на эти слова утешения, которые отец говорил не от сердца.

Она приготовила ему воды со льдом, которую он пил не переставая, потому что со времени бегства его снедала жгучая лихорадка; она надушила его седую бороду и зажгла ему трубку, за вьющимся дымом которой он иногда рассеянно следил целыми часами.

Вдруг он сделал такое резкое движение, что я испугалась.

Затем, не отводя взгляда от точки, привлекшей его внимание, он велел подать подзорную трубу.

Моя мать передала ему трубу; лицо ее стало белее гипсовой колонны, к которой она прислонилась.

"Лодка!., две!., три!.. — прошептал он, — четыре!.."

Я помню, как он встал, схватил ружье и насыпал порох на полку своих пистолетов.

"Василики, — сказал он моей матери, *и* видно было, как он дрожит, — наступила минута, которая решит нашу участь: через полчаса мы узнаем ответ великого властелина. Спустись с Гайде в подземелье".

"Я не хочу покидать вас, — сказала Василики, — если вам суждена смерть, господин мой, я хочу умереть вместе с вами".

"Идите туда, где Селим!" — крикнул мой отец.

"Прощайте, мой повелитель!" — покорно прошептала моя мать и склонилась, как бы уже встречая смерть.

"Уведите Василики", — сказал мой отец своим паликарам.

Но я, на минуту забытая, подбежала и протянула к нему руки; он увидел меня, нагнулся и прикоснулся губами к моему лбу.

Этот поцелуй был последний, и он поныне горит на моем челе!

Спускаясь, мы видели, сквозь виноград террасы, лодки: они всё росли и, еще недавно похожие на черные точки, казались уже птицами, несущимися по воде.

Тем временем двадцать паликаров, сидя у ног моего отца, скрытые перилами, следили налитыми кровью глазами за приближением этих судов и держали наготове свои длинные ружья, выложенные перламутром и серебром; по полу было разбросано множество патронов; мой отец то и дело смотрел на часы и тревожно шагал взад и вперед.

Вот что осталось в моей памяти, когда я уходила от отца, получив от него последний поцелуй.

Мы с матерью спустились в подземелье. Селим по-прежнему стоял на своем посту, он печально улыбнулся нам. Мы принесли с другого конца пещеры подушки и сели около Селима: когда грозит большая опасность, стремишься быть ближе к преданному сердцу, а я, хоть была совсем маленькая, чувствовала, что над нами нависло большое несчастье…

Альбер часто слышал — не от своего отца, который никогда об этом не говорил, но от посторонних, — о последних минутах янинского визиря, читал много рассказов о его смерти. Но

эта повесть, ожившая во взоре и голосе Гайде, эта взволнованная и скорбная элегия потрясла его невыразимым очарованием и ужасом.

Гайде, вся во власти ужасных воспоминаний, на миг замолкла; голова ее, как цветок, склоняющийся пред бурей, поникла на руку, а затуманенные глаза, казалось, еще видели на горизонте зеленеющий Пинд и голубые воды янинского озера, волшебное зеркало, в котором отражалась нарисованная ею мрачная картина.

Монте-Кристо смотрел на нее с выражением бесконечного участия и жалости.

— Продолжай, дитя мое, — сказал он по-гречески.

Гайде подняла голову, словно голос Монте-Кристо пробудил ее от сна, и продолжала:

— Было четыре часа; но, хотя снаружи был ясный, сияющий день, в подземелье нас окружал густой мрак.

В пещере была только одна светящаяся точка, подобная одинокой звездочке, дрожащей в глубине черного неба: факел Селима.

Моя мать молилась: она была христианка.

Селим время от времени повторял священные слова: "Аллах велик!"

Все же мать еще сохраняла некоторую надежду.

Спускаясь в подземелье, она, как ей показалось, узнала того француза, который был послан в Константинополь и которому мой отец всецело доверял, так как знал, что воины французского султана обычно благородные и великодушные люди. Она подошла к лестнице и прислушалась.

"Они приближаются, — сказала она, — ах, только бы они несли мир и жизнь!"

"Чего ты боишься, Василики? — ответил Селим мягко, ласково и в то же время гордо. — Если они не принесут мира, мы подарим им смерть".

Он оправлял пламя на своем копье, и это движение делало его похожим на Диониса древнего Крита.

Но я, маленькая и глупая, боялась этого мужества, которое мне казалось жестоким и безумным, страшилась этой ужасной смерти в воздухе и пламени.

Моя мать испытывала то же самое, и я чувствовала, как она дрожит.

"Боже мой, мамочка, — воскликнула я, — неужели мы сейчас умрем?"

И, услышав мои слова, невольницы начали еще громче стонать и молиться.

"Сохрани тебя Бог, дитя, — сказал мне Василики, — дожить до такого дня, когда ты сама

пожелаешь смерти, которой страшишься сегодня".

Потом она едва слышно спросила Селима:

"Какой приказ дал тебе господин?"

"Если он пошлет мне свой кинжал, значит, султан отказывает ему в прощении, и я все взрываю, если он пришлет свое кольцо, значит, султан прощает его, и я сдаю пороховой погреб".

"Друг, — сказала моя мать, — если господин пришлет кинжал, не дай нам умереть такой ужасной смертью; мы подставим тебе горло, убей нас этим самым кинжалом".

"Да, Василики", — спокойно ответил Селим.

Вдруг до нас долетели громкие голоса; мы прислушались: это были крики радости. Наши паликары выкрикивали имя француза, посланного в Константинополь; было ясно, что он привез ответ великого властелина и этот ответ благоприятен.

— И вы все-такие не помните этого имени? — сказал Морсер, готовый оживить его в памяти рассказчицы.

Монте-Кристо сделал ему знак.

— Я не помню, — отвечала Гайде. — Шум все усиливался; раздались приближающиеся шаги: кто-то спускался в подземелье.

Селим держал копье наготове.

Вскоре какая-то тень появилась в голубоватом сумраке, которые создавали у входа в подземелье слабые отблески дневного света.

"Кто ты? — крикнул Селим. — Но кто бы ты ни был, ни шагу дальше!"

"Слава султану! — ответила тень. — Везир Али получил полное помилование: ему не только дарована жизнь, но возвращены все его сокровища и все имущество".

Моя мать радостно вскрикнула и прижала меня к своему сердцу.

"Постой! — сказал ей Селим, видя, что она уже бросилась к выходу. — Ты же знаешь, я должен получить кольцо".

"Это правда", — сказала моя мать, она упала на колени и подняла меня к небу, словно, моля Бога за меня, она желала, чтобы я была ближе к нему.

И снова Гайде умолкла, охваченная таким волнением, что на ее бледном лбу выступили капли пота, а задыхающийся голос, казалось, не мог вырваться из пересохшего горла.

Монте- Кристо налил в стакан немного ледяной воды и, подавая ей, сказал ласково, но все же с повелительной ноткой в голосе.

— Будь мужественна, дитя мое!

Гайде вытерла глаза и лоб и продолжала:

— Тем временем наши глаза, привыкшие к темноте, узнали посланца паши: это был наш друг.

Селим тоже узнал его, но храбрый юноша не забыл приказа повиноваться.

"От чьего имени пришел ты?" — спросил он.

"Я пришел от имени нашего господина, Али Тепелинского".

"Если ты пришел от имени Али, тебе должно быть известно, что ты должен передать мне".

"Да, — отвечал посланец, — и я принес тебе его кольцо".

И он поднял руку над головой; но он стоял слишком далеко, и было недостаточно светло, чтобы Селим с того места, где мы стояли, мог различить и узнать предмет, который тот ему показывал.

"Я не вижу, что у тебя в руке", — сказал Селим.

— "Подойди, — сказал посланный, — или я подойду к тебе".

"Ни то ни другое, — отвечал молодой воин, — положи то, что ты мне показываешь, там, где ты стоишь, чтобы на него упал луч света, и отойди подальше, пока я не посмотрю на него".

"Хорошо", — сказал посланный.

И он отошел, положив на указанное ему место то, что держал в руке.

Наши сердца трепетали: нам казалось, что это действительно кольцо. Но было ли это кольцо моего отца?

Селим, не выпуская из рук зажженный факел, подошел, наклонился, озаренный лучом света, и поднял кольцо с земли.

"Кольцо господина, — сказал он, целуя его, — хорошо!"

И повернув факел к земле, он наступил на него ногой и погасил.

Посланец испустил крик радости и хлопнул в ладоши. По этому сигналу вбежали четыре воина сераскера Куршида, и Селим упал, пронзенный пятью кинжалами.

Тогда, опьяненные своим преступлением, хотя еще бледные от страха, они ринулись в подземелье, разыскивая, нет ли где огня, и хватаясь за мешки с золотом.

Тем временем мать схватила меня на руки и, легкая и проворная, побежала по известным только нам переходам к потайной лестнице, что вела в верхнюю часть убежища, где царила страшная суматоха.

Залы были полны чодоарами Куршида — нашими врагами.

В ту секунду, когда моя мать уже собиралась

распахнуть дверь, прогремел грозный голос паши.

Моя мать припала лицом к щели между досками; перед моими глазами случайно оказалось отверстие, и я заглянула в него.

"Что нужно вам?" — говорил мой отец людям, которые держали бумагу с золотыми буквами.

"Мы хотим сообщить тебе волю его величества, — сказал один из них. — Ты видишь этот фирман?"

"Да, вижу", — сказал мой отец.

"Так прочти: он требует твоей головы".

Мой отец ответил раскатом хохота, более страшным, чем всякая угроза. Он все еще смеялся, спуская курки двух своих пистолетов. Грянули два выстрела, и два человека упали мертвыми.

Паликары, лежавшие ничком вокруг моего отца, вскочили и открыли огонь; комната наполнилась грохотом, пламенем и дымом.

В тот же миг и с другой стороны началась пальба, и пули уже пробивали доски рядом с нами.

О, как прекрасен, как величествен был везир Али Тепеленский, мой отец, среди пуль, с кривой саблей в руке, с лицом, почерневшим от пороха! Как от него бежали враги!

"Селим! Селим! — Кричал он. — Хранитель

огня, исполни свой долг!"

"Селим мертв, — прозвучал чей-то голос, как будто исходивший со дна убежища, — а ты, господин мой Али, ты погиб!"

В тот же миг раздался глухой залп, и пол вокруг моего отца разлетелся на куски.

Чодоары стреляли сквозь пол. Три или четыре паликара упали, сраженные выстрелами снизу, и тела их были изрешечены пулями.

Мой отец зарычал, вцепился пальцами в пробоины от пуль и вырвал из пола целую доску.

Но тут из этого отверстия грянуло двадцать выстрелов, и огонь, вырвавшись словно из кратера вулкана, охватил обивку стен и пожрал ее.

Среди этого ужасающего шума, среди этих страшных криков два самых громких выстрела, два самых раздирающих душу крика заставили меня похолодеть от ужаса. Эти два выстрела смертельно ранили моего отца, и это он дважды закричал так страшно.

И все же он остался стоять, схватившись за окно. Моя мать изо всех сил дергала дверь, чтобы вбежать к нему и умереть вместе с ним, но дверь была заперта изнутри.

Вокруг него корчились в предсмертных судорогах паликары, двое или трое из них, не раненные

или раненные легко, выскочили в окна.

И в это время треснул весь пол, разбиваемый ударами снизу. Мой отец упал на одно колено; в тот же миг протянулось двадцать рук, вооруженных саблями, пистолетами, кинжалами, двадцать ударов обрушились разом на одного человека, и мой отец исчез в огненном вихре, зажженном этими рычащими дьяволами, словно ад разверзся у него под ногами.

Я почувствовала, что падаю на землю; моя мать потеряла сознание.

Гайде со стоном уронила руки на колени и взглянула на графа, словно спрашивая, доволен ли он ее послушанием.

Граф встал, подошел к ней, взял ее за руку и сказал по-гречески:

— Отдохни, милая, и воспрянь духом. Помни, что есть Бог, карающий предателей.

— Какая ужасная история, граф, — сказал Альбер, сильно напуганный бледностью Гайде, — я очень упрекаю себя за свое жестокое любопытство.

— Ничего, — ответил Монте-Кристо и, положив руку на опущенную голову девушки, добавил: — У Гайде мужественное сердце, и, рассказывая о своих несчастьях, она иногда находила в этом

облегчение.

— Это оттого, повелитель, что мои несчастья напоминают мне о твоих благодеяниях, — живо сказала Гайде.

Альбер взглянул на нее с любопытством; она еще ничего не сказала о том, что ему больше всего хотелось узнать: каким образом она стала невольницей графа.

В глазах графа и в глазах Альбера Гайде прочла одно и то же желание.

Она продолжала:

— Когда мать моя пришла в себя, мы очутились перед сераскером.

"Убейте меня, — сказала она, — но пощадите честь вдовы Али".

"Обращайся не ко мне", — сказал Куршид.

"А к кому же?"

"К твоему новому господину".

"Кто же это?"

"Вот он".

— И Куршид указал нам на одного из тех, кто более всего способствовал гибели моего отца, — продолжала Гайде, гневно сверкнув глазами.

— Таким образом, — спросил Альбер, — вы стали собственностью этого человека?

— Нет, — отвечала Гайде, — он не посмел оста-

вить нас у себя, он продал нас работорговцам, направлявшимся в Константинополь. Мы прошли всю Грецию и прибыли полумертвые к воротам султанского дворца. Перед дворцом собралась толпа любопытных; она расступилась, давая нам дорогу. Моя мать посмотрела в том направлении, куда были устремлены все взгляды, и вдруг вскрикнула и упала, увидев голову, торчавшую на копье над воротами. Под этой головой были написаны следующие слова: "Вот голова Али Тепеленского, янинского паши".

Плача, я пыталась поднять мою мать; она была мертва!

Меня отвели на базар и продали богатому армянину. Он воспитал меня, дал мне учителей, а когда мне минуло тринадцать лет, продал меня султану Махмуду.

— У которого, — сказал Монте-Кристо, — я откупил ее, как уже говорил вам, Альбер, за такой же изумруд, как тот, в котором я держу лепешки гашиша.

— О, ты добр, ты велик, мой господин, — сказала Гайде, целуя руку Монте-Кристо, — и я счастлива, что принадлежу тебе!

Альбер был ошеломлен всем, что он услышал.

— Допивайте же свой кофе, — сказал ему

граф, — рассказ окончен.

Часть пятая
I
НАМ ПИШУТ ИЗ ЯНИНЫ

Франц вышел из комнаты Нуартье такой потрясенный и растерянный, что даже Валентине стало жаль его.

Вильфор, который за все время тягостной сцены пробормотал лишь несколько бессвязных слов и затем поспешно удалился в свой кабинет, получил два часа спустя следующее письмо:

"После того, что обнаружилось сегодня, г-н Нуартье де Вильфор едва ли допускает мысль о родственных отношениях между его семьей и семьей Франца д'Эпине. Франц д'Эпине с ужасом думает о том, что г-н де Вильфор, по-видимому осведомленный об оглашенных сегодня событиях, не предупредил его об этом сам".

Тот, кто видел бы в эту минуту королевского прокурора, согбенного под тяжестью удара, мог бы предположить, что Вильфор этого удара не ожидал; и в самом деле, Вильфор никогда не думал, чтобы его отец мог дойти до такой откровенности, вернее, беспощадности. Правда, г-н

Нуартье, мало считавшийся с мнением сына, не нашел нужным осведомить его об этом событии, и Вильфор всегда думал, что генерал де Кенель, или, если угодно, барон д'Эпине, погиб от руки убийцы, а не в честном поединке.

Это жестокое письмо всегда столь почтительного молодого человека было ужасно для самолюбия Вильфора.

Едва успел он пройти в свой кабинет, как к нему вошла жена.

Уход Франца, которого вызвал к себе г-н Нуартье, настолько всех удивил, что положение г-жи де Вильфор, оставшейся в обществе нотариуса и свидетелей, становилось все затруднительнее. Наконец она решительно встала и вышла из комнаты, заявив, что пойдет узнать, в чем дело.

Вильфор сообщил ей только, что после объяснения между ним, Нуартье и д'Эпине брак Валентины и Франца состояться не может.

Невозможно было объявить это ожидавшим, поэтому г-жа де Вильфор, вернувшись в гостиную, сказала, что с г-ном Нуартье случилось нечто вроде удара, так что подписание договора придется отложить на несколько дней.

Это известие, хоть и совершенно ложное, так странно дополняло два однородных случая в этом

доме, что присутствующие удивленно переглянулись и молча удалились.

Тем временем Валентина, счастливая и испуганная, нежно поцеловав беспомощного старика, одним ударом разбившего цепи, которые она уже считала нерасторжимыми, попросила разрешения уйти к себе и отдохнуть. Нуартье взглядом отпустил ее.

Но вместо того чтобы подняться к себе, Валентина, выйдя из комнаты деда, пошла по коридору и через маленькую дверь выбежала в сад. Среди всей этой смены событий сердце ее сжималось от тайной тревоги. С минуты на минуту она ждала, что появится Моррель, бледный и грозный, как Ревенсвуд в "Ламмермурской невесте".

Она вовремя подошла к решетке. Максимилиан, увидев, как Франц уехал с кладбища вместе с Вильфором, догадался о том, что должно произойти, и поехал следом. Он видел, как Франц вошел в дом, потом вышел и через некоторое время снова вернулся с Альбером и Шато-Рено. Таким образом, у него уже не было никаких сомнений. Тогда он бросился в огород, готовый на все и не сомневавшийся, что Валентина при первой возможности прибежит к нему.

Он не ошибся: заглянув в щель, он увидел Ва-

лентину, которая, не принимая обычных мер предосторожности, бежала прямо к воротам.

Едва увидев ее, он успокоился; когда она заговорила, он подпрыгнул от радости.

— Спасены! — воскликнула Валентина.

— Спасены! — повторил Моррель, не веря своему счастью. — Но кто же нас спас?

— Дедушка. Всегда любите его, Моррель!

Моррель поклялся любить старика всей душой, и ему нетрудно было дать эту клятву, потому что в эту минуту он не только любил его как друга или отца, он поклонялся ему, точно божеству.

— Но как это произошло? — спросил Моррель. — Каким чудом ему это удалось?

Валентина уже готова была все рассказать, но вспомнила, что за всем этим скрывается страшная тайна, которая принадлежит не только ее деду.

— Когда-нибудь я вам все расскажу, — сказала она.

— Когда же?

— Когда буду вашей женой.

Такими словами можно было заставить Морреля согласиться на все, поэтому он покорно удовольствовался услышанным и даже согласился немедленно уйти, но только при условии,

что увидится с Валентиной на следующий день вечером.

Валентина обещала. Все изменилось для нее, и ей было легче поверить теперь, что она выйдет за Максимилиана, чем час тому назад поверить, что она не выйдет за Франца.

Тем временем г-жа де Вильфор поднялась к Нуартье.

Как всегда, он встретил ее мрачным и строгим взглядом.

— Сударь, — обратилась она к нему, — мне незачем говорить вам, что свадьба Валентины расстроилась, раз все это произошло именно здесь.

Нуартье был невозмутим.

— Но вы не знаете, — продолжала г-жа де Вильфор, — что я всегда была против этого брака и он устраивался помимо меня.

Нуартье посмотрел на свою невестку, как бы ожидая объяснения.

— А так как теперь этот брак, которого вы не одобрили, расторгнут, я являюсь к вам с просьбой, с которой ни мой муж, ни Валентина не могут к вам обратиться.

Нуартье вопросительно посмотрел на нее.

— *Я* пришла просить вас, — продолжала г-жа де

Вильфор, — и только я одна имею на это право, потому что я одна ничего от этого не выигрываю, — чтобы вы вернули своей внучке не любовь — она всегда ей принадлежала, — но ваше состояние.

В глазах Нуартье выразилось колебание: по-видимому, он искал причин этой просьбы и не находил их.

— Могу ли я надеяться, сударь, — сказала г-жа де Вильфор, — что ваши намерения совпадают с моей просьбой?

— Да, — показал Нуартье.

— В таком случае, сударь, — сказала г-жа де Вильфор, — я ухожу от вас счастливая и благодарная.

И, поклонившись старику, она вышла из комнаты.

На следующий же день Нуартье вызвал нотариуса. Первое завещание было уничтожено и составлено новое, по которому он оставлял все свое состояние Валентине с тем условием, что его с ней не разлучат.

Нашлись люди, которые подсчитали, что мадемуазель де Вильфор, наследница маркиза и маркизы де Сен-Меран и к тому же вернувшая себе милость своего деда, в один прекрасный день

станет обладательницей почти трехсот тысяч ливров годового дохода.

Между тем граф Монте-Кристо посетил графа де Морсера, и тот, чтобы доказать Данглару свою готовность породниться с ним, облачился в парадный генерал-лейтенантский мундир со всеми орденами и велел подать свой лучший выезд.

Он отправился на Шоссе-д'Антен и велел доложить о себе Данглару, который как раз подводил свой месячный баланс.

В последнее время, чтобы застать Данглара в хорошем расположении духа, лучше было выбирать другую минуту.

При виде старого друга Данглар принял величественный вид и выпрямился в кресле.

Морсер, обычно столь чопорный, старался, напротив, быть веселым и приветливым. Почти уверенный в том, что его предложение будет встречено с радостью, он отбросил всякую дипломатию и сразу приступил к делу.

— Як вам, барон, — сказал он. — Мы с вами уже давно ходим вокруг да около наших старых планов…

Морсер ждал, что при этих словах лицо барона просияет, потому что именно своему долгому молчанию он приписывал его хмурый вид; но,

напротив, как ни странно, это лицо стало еще более бесстрастным и холодным.

Вот почему Морсер остановился на середине своей фразы.

— Какие планы, граф? — спросил банкир, словно не понимая, о чем идет речь.

— Вы большой педант, дорогой барон, — сказал граф. — Я упустил из виду, что церемониал должен быть проделан по всем правилам. Ну что ж, прошу прощения. Ведь у меня один только сын, и так как я впервые собираюсь его женить, то я новичок в этом деле; извольте, я повинуюсь.

И Морсер, принужденно улыбаясь, встал, отвесил Данглару глубокий поклон и сказал:

— Барон, я имею честь просить руки мадемуазель Эжени Данглар, вашей дочери, для моего сына, виконта Альбера де Морсера.

Но вместо того чтобы встретить эти слова благосклонно, как имел право надеяться Морсер, Данглар нахмурился и, не приглашая графа снова сесть, сказал:

— Прежде чем дать вам ответ, граф, мне необходимо подумать.

— Подумать! — возразил изумленный Морсер.—

Разве у вас не было времени подумать? Ведь

восемь лет прошло с тех пор, как мы с вами впервые заговорили об этом браке.

— Каждый день возникают новые обстоятельства, граф, — отвечал Данглар, — они вынуждают людей менять уже принятые решения.

— Что это значит? — спросил Морсер. — Я вас не понимаю, барон!

— *Я* хочу сказать, сударь, что вот уже две недели, как новые обстоятельства…

— Позвольте, — сказал Морсер, — зачем нам разыгрывать эту комедию?

— Какую комедию?

— Объяснимся начистоту.

— Извольте.

— Вы виделись с графом де Монте-Кристо?

— Я вижу его очень часто, — важно сказал Данглар, оправляя воротник, — мы с ним друзья.

— Ив одну из последних встреч вы ему сказали, что вас удивляет моя забывчивость, моя нерешительность касательно этого брака.

— Совершенно верно.

— Так вот, как видите, с моей стороны нет ни забывчивости, ни нерешительности, напротив, я явился просить вас выполнить ваше обещание.

Данглар ничего не ответил.

— Может быть, вы успели передумать, — при-

бавил Морсер, — или вы меня вызвали на этот шаг, чтобы иметь удовольствие унизить меня?

Данглар понял, что, если он будет продолжать разговор в том же тоне, это может грозить ему неприятностями.

— Граф, — сказал он, — вы имеете полное право удивляться моей сдержанности, я вполне вас понимаю. Поверьте, я сам очень этим огорчен, но меня вынуждают к этому весьма серьезные обстоятельства.

— Все это отговорки, сударь, — возразил граф, — другой на моем месте, быть может, и удовлетворился бы ими, но граф де Морсер не первый встречный. Когда он является к человеку и напоминает ему о данном слове, а этот человек не желает свое слово сдержать, то он имеет право требовать хотя бы объяснения.

Данглар был трус, но не хотел казаться им; тон Морсера задел его за живое.

— Объяснение у меня, конечно, имеется, — возразил он.

— Что вы хотите сказать?

— *Я* хочу сказать, что хотя объяснение у меня и имеется, но дать его нелегко.

— Но согласитесь, — сказал Морсер, — что я не могу удовольствоваться вашими недомолвками;

во всяком случае мне ясно, что вы отвергаете родственный союз между нами.

— Нет, сударь, — ответил Данглар, — я только откладываю это решение.

— Но не думаете же вы, что я подчиняюсь вашей прихоти и буду смиренно ждать, пока вы мне вернете свое благоволение?

— В таком случае, граф, если вам не угодно ждать, будем считать, что наши планы не осуществились.

Граф до боли закусил губу, чтобы не дать воли своему высокомерному и вспыльчивому нраву, понимая, что при данных обстоятельствах он один окажется в смешном положении. Он направился было к двери, но вдруг раздумал и вернулся.

Тень прошла по его лицу, выражение оскорбленной гордости сменилось признаками смутного беспокойства.

— Послушайте, дорогой Данглар, — сказал он, — мы с вами знакомы не первый год и должны немного считаться друг с другом. *Я* прошу вас объясниться. Должен же я по крайней мере знать, какое злополучное обстоятельство заставило вас изменить свое отношение к моему сыну.

— Это ни в коей мере не касается лично ви-

конта, вот все, что я могу вам сказать, — отвечал Данглар, к которому вернулась его наглость, когда он увидел, что Морсер несколько смягчился.

— А кого это касается? — побледнев, спросил Морсер изменившимся голосом.

Данглар, от которого не ускользнуло его волнение, посмотрел на него более твердым взглядом, чем обычно.

— Будьте благодарны мне за то, что я не выражаюсь яснее, — сказал он.

Нервная дрожь, вызванная, несомненно, сдерживаемым гневом, охватила Морсера.

— *Я* имею право, — ответил он, делая над собой усилие, — и я требую, чтобы вы объяснились. Может быть, вы имеете что-нибудь против госпожи де Морсер? Может быть, вы считаете, что я недостаточно богат? Может быть, мои взгляды не сходны с вашими?..

— Ни то, ни другое, ни третье, — сказал Данглар, — это было бы непростительно с моей стороны, потому что, когда я давал слово, я все это знал. Не допытывайтесь. Я очень сожалею, что так встревожил вас. Поверьте, лучше оставим это. Примем среднее решение: ни разрыв, ни обязательство. Зачем спешить? Моей дочери семнадцать лет, вашему сыну двадцать один.

Подождем, пусть пройдет время, может быть, то, что сегодня нам кажется неясным, завтра станет слишком ясным; бывает, что в один день опровергается самая убийственная клевета.

— Клевета? — воскликнул Морсер, смертельно бледнея. — Так меня оклеветали?

— Повторяю вам, граф, не требуйте объяснений.

— Итак, сударь, я должен молча снести отказ?

— Он особенно тягостен для меня, сударь. Да, мне он тяжелее, чем вам, потому что я надеялся иметь честь породниться с вами, а несостоявшийся брак всегда бросает большую тень на невесту, чем на жениха.

— Хорошо, сударь, прекратим этот разговор, — сказал Морсер.

И, яростно комкая перчатки, он вышел.

Данглар отметил про себя, что Морсер ни разу не решился спросить, не из-за него ли самого Данглар берет назад свое слово.

Вечером он долго совещался с несколькими друзьями. Кавальканти, который все время находился с дамами в гостиной, последним покинул его дом.

На следующий день, едва проснувшись, Данглар спросил газеты. Как только их принесли, он,

отбросив остальные, схватился за "Беспристрастный голос".

Ответственным редактором этой газеты был Бошан.

Данглар поспешно сорвал бандероль, нетерпеливо развернул газету, с пренебрежением пропустил передовую и, дойдя до хроники, со злобной улыбкой прочитал заметку, начинавшуюся словами: *"Нам пишут из Янины"*.

— Отлично, — сказал он, прочитав ее, — вот маленькая статейка о полковнике Фернане, которая, по всей вероятности, избавит меня от необходимости давать какие-либо объяснения графу де Морсеру.

В это же время, а именно в девять часов утра, Альбер де Морсер, весь в черном, застегнутый на все пуговицы, бледный и взволнованный, явился в дом на Елисейских полях.

— Граф вышел с полчаса тому назад, — сказал привратник.

— А Батистена он взял с собой? — спросил Морсер.

— Нет, господин виконт.

— Позовите Батистена, я хочу с ним поговорить.

Привратник пошел за камердинером и через

минуту вернулся вместе с ним.

— Друг мой, — сказал Альбер, — прошу простить мою настойчивость, но я хотел лично от вас узнать, действительно ли графа нет дома.

— Да, сударь, — отвечал Батистен.

— Даже для меня?

— Я знаю, насколько граф всегда рад вас видеть, и я никогда не посмел бы поставить вас на одну доску с другими.

— И ты прав, мне нужно его видеть по важному делу. Скоро ли он, по-твоему, вернется?

— Думаю, что скоро; он заказал завтрак на десять часов.

— Отлично, я пройдусь по Елисейским полям и в десять часов вернусь сюда; если граф вернется раньше меня, передайте, что я прошу его подождать меня.

— Будет исполнено, сударь.

Альбер оставил у ворот графа наемный кабриолет, в котором он приехал, и отправился пешком.

Когда он проходил мимо Аллеи Вдов, ему показалось, что у тира Госсе стоит экипаж графа; он подошел и узнал кучера.

— Граф в тире? — спросил его Морсер.

— Да, сударь, — ответил кучер.

В самом деле, еще подходя к тиру, Альбер слышал выстрелы.

Он вошел. В палисаднике он встретил служителя.

— Простите, господин виконт, — сказал тот, — но не угодно ли вам немножко подождать?

— Почему, Филипп? — спросил Альбер; он был завсегдатаем тира, и неожиданное препятствие удивило его.

— Потому что то лицо, которое сейчас упражняется, абонирует весь тир для себя одного и никогда не стреляет при других.

— И даже при вас, Филипп?

— Вы видите, сударь, я стою здесь.

— А кто заряжает пистолеты?

— Его слуга.

— Нубиец?

— Негр.

— Так и есть.

— Вы знаете этого господина?

— Я пришел за ним, это мой друг.

— В таком случае другое дело. Я скажу ему.

И Филипп, подстрекаемый любопытством, прошел в тир. Через секунду на пороге появился Монте-Кристо.

— Простите, дорогой граф, что я врываюсь к вам

сюда, — сказал Альбер. — Но прежде всего должен вам сказать, что ваши слуги не виноваты: это я сам так настойчив. Я был у вас, и мне сказали, что вы отправились на прогулку, но к десяти часам вернетесь завтракать. Я тоже решил до десяти погулять и случайно увидел ваш экипаж.

— Из этого я с удовольствием заключаю, что вы приехали позавтракать со мной.

— Благодарю, мне сейчас не до завтрака; быть может, позже мы и позавтракаем, но только в несколько неприятной компании!

— Что такое, не понимаю?

— Дорогой граф, у меня сегодня дуэль.

— У вас? А зачем?

— Да чтобы драться, конечно!

— Я понимаю, но ради чего? Драться можно по многим поводам.

— Затронута моя честь.

— А, это серьезно.

— Настолько серьезно, что я приехал к вам просить об одной услуге.

— О какой?

— Быть моим секундантом.

— Дело нешуточное; не будем говорить об этом здесь, поедем ко мне. Али, подай мне воды.

Граф засучил рукава и прошел в комнатку, где

посетители тира обычно мыли руки.

— Войдите, виконт, — шепотом сказал Филипп, — вам будет любопытно взглянуть.

Морсер вошел. На прицельной доске вместо мишени были наклеены игральные карты. Издали Морсеру показалось, что там вся колода, кроме фигур, — от туза до десятки.

— Вы играли в пикет? — спросил Альбер.

— Нет, — отвечал граф, — я составлял колоду.

— Колоду?

— Да. Видите, это тузы и двойки, но мои пули сделали из них тройки, пятерки, семерки, восьмерки, девятки и десятки.

Альбер подошел ближе.

В самом деле, по совершенно прямой линии и на совершенно точном расстоянии пули заменили собой отсутствующие знаки и пробили картон в тех местах, где эти знаки должны были быть отпечатаны.

Подходя к доске, Альбер, кроме того, подобрал три ласточки, которые имели неосторожность пролететь на пистолетный выстрел от графа.

— Черт возьми! — воскликнул он.

— Что поделаешь, дорогой виконт, — сказал Монте-Кристо, вытирая руки полотенцем, которое ему подал Али, — надо же чем-нибудь

заполнить свой досуг. Но идемте, я вас жду.

Они сели в карету Монте-Кристо, которая в несколько минут доставила их к воротам дома № 30.

Монте-Кристо провел Морсера в свой кабинет и указал ему на кресло. Оба сели.

— Теперь поговорим спокойно, — сказал граф.

— Вы видите, что я совершенно спокоен.

— С кем вы собираетесь драться?

— С Бошаном.

— С вашим другом?

— Дерутся всегда с друзьями.

— Но для этого нужна причина.

— Причина есть.

— В чем он перед вами провинился?

— Вчера вечером в его газете… Да вот прочтите. Альбер протянул Монте-Кристо газету, и тот прочел:

"Нам пишут из Янины.

До нашего сведения дошел факт, никому до сих пор не известный или, во всяком случае, никем не оглашенный: крепости, защищавшие город, были выданы туркам одним французским офицером, которому везир Али Тепеленской вполне доверился и которого звали Фернан".

— Ну и что же? — спросил Монте-Кристо. — Что

вы нашли в этом оскорбительного для себя?

— Как, что я нашел?

— Какое вам дело до того, что крепости Янины были выданы офицером по имени Фернан?

— А такое, что моего отца, графа де Морсер, зовут Фернан.

— И ваш отец был на службе у Али-паши?

— То есть он сражался за независимость Греции: вот в чем заключается клевета.

— Послушайте, дорогой виконт, поговорим здраво.

— Я только этого и хочу.

— Скажите мне, кто во Франции знает, что офицер Фернан и граф де Морсер одно и то же лицо и кого сейчас интересует Янина, которая была взята, если не ошибаюсь, в тысяча восемьсот двадцать втором или тысяча восемьсот двадцать третьем году?

— Вот это и подло: столько времени молчали, а теперь вспоминают о давно минувших событиях, чтобы вызвать скандал и опорочить человека, занимающего высокое положение. Я наследник отцовского имени и не желаю, чтобы на него падала даже тень подозрения. Я пошлю секундантов к Бошану, в газете которого напечатана эта заметка, и он опровергнет ее.

— Бошан ничего не опровергнет.

— В таком случае мы будем драться.

— Нет, вы не будете драться, потому что он вам ответит, что в греческой армии могло быть полсотни офицеров по имени Фернан.

— Все равно, мы будем драться. Я этого так не оставлю… Мой отец — такой благородный воин, такое славное имя…

— А если он напишет: "Мы имеем основания считать, что этот Фернан не имеет ничего общего с графом де Морсером, которого также зовут Фернан"?

— Мне нужно настоящее, полное опровержение; таким я не удовлетворюсь!

— И вы пошлете ему секундантов?

— Да.

— Напрасно.

— Иными словами, вы не хотите оказать мне услугу, о которой я вас прошу?

— Вы же знаете мои взгляды на дуэль, я вам уже высказывал их в Риме, помните?

— Однако, дорогой граф, не далее как сегодня я застал вас за упражнением, которое плохо вяжется с вашими взглядами.

— Дорогой друг, никогда не следует быть исключением. Если живешь среди сумасшедших, надо

и самому научиться быть безумным; каждую минуту может встретиться какой-нибудь сумасброд, у которого будет столько же оснований ссориться со мной, как у вас с Бошаном, и из-за невесть какой нелепости он вызовет меня, или пошлет мне секундантов, или оскорбит меня публично; такого сумасброда мне поневоле придется убить.

— Стало быть, вы допускаете для себя возможность дуэли?

— Еще бы!

— Тогда почему же вы хотите, чтобы я не дрался?

— Я вовсе не говорю, что вам не следует драться, я говорю только, что дуэль — дело серьезное и требует размышления.

— А Бошан размышлял, когда оскорбил моего отца?

— Если нет и если он признает это, вам не следует на него сердиться.

— Дорогой граф, вы слишком снисходительны.

— А вы слишком строги. Предположим… вы слышите: предположим… Только не вздумайте сердиться на то, что 5* вам скажу.

— Я слушаю вас.

— Предположим, что приведенный факт имел место…

— Сын не может допустить предположения, которое затрагивает честь отца.

— Ну, знаете, в наше время многое допускается.

— Этим и плохо наше время.

— А вы намерены его исправить?

— Да, в том, что касается меня.

— Милый друг, я не знал, что вы такой ригорист!

— Так уж я создан.

— И вы никогда не слушаетесь добрых советов?

— Нет, слушаюсь, если они исходят от друга.

— Меня вы считаете своим другом?

— Да.

— Тогда раньше чем посылать секундантов к Бошану, наведите справки.

— У кого?

— Хотя бы у Гайде.

— Вмешивать в это женщину? Что она может сказать мне?

— Заверить вас, скажем, что ваш отец не повинен в поражении и смерти ее отца или дать вам нужные разъяснения, если бы вдруг оказалось, что ваш отец имел несчастье…

— Я уже вам сказал, дорогой граф, что не могу

допустить подобного предположения.

— Значит, вы отказываетесь прибегнуть к этому способу?

— Отказываюсь.

— Решительно?

— Решительно!

— В таком случае, последний вам совет.

— Хорошо, но только последний.

— Или вы его не желаете?

— Напротив, я прошу.

— Не посылайте к Бошану секундантов.

— Почему?

— Пойдите к нему сами.

— Это против всех правил.

— Ваше дело не такое, как все.

— А почему вы считаете, что мне следует отправиться к нему лично?

— Потому что в этом случае все останется между вами и Бошаном.

— Я вас не понимаю.

— Это очень ясно: если Бошан будет склонен взять свои слова обратно, вы дадите ему возможность сделать это по доброй воле и все-таки добьетесь опровержения. Если же он откажется, вы всегда успеете посвятить в вашу тайну двух посторонних.

— Не посторонних, а друзей.

— Сегодняшние друзья — завтрашние враги.

— Бросьте!

— А Бошан?

— Итак…

- Итак, мой совет — будьте осторожны.

— Значит, вы считаете, что я должен сам пойти к Бошану?

— Да.

— Один?

— Один. Если хочешь, чтобы человек поступился своим самолюбием, надо оградить эго самолюбие от излишних уколов.

— Пожалуй, вы правы.

— Я очень рад.

— Я поеду один.

— Поезжайте, но еще лучше — не ездите вовсе.

— Это невозможно.

— Как знаете, все же это лучше того, что вы хотели сделать.

— Но если, несмотря на всю осторожность, на все принятые мною меры дуэль все-таки состоится, вы будете моим секундантом?

— Дорогой виконт, — серьезно сказал Монте-Крис-то, — однажды вы имели случай убедиться в моей готовности оказать вам услугу, но сейчас

вы просите невозможного.

— Почему?

— Быть может, когда-нибудь узнаете.

— А до тех пор?

— Я прошу вашего разрешения сохранить это в тайне.

— Хорошо. Я попрошу Франца и Шато-Рено.

— Отлично, попросите Франца и Шато-Рено.

— Но если я буду драться, вы не откажетесь дать мне урок фехтования или стрельбы из пистолета?

— Нет, и это невозможно.

— Какой вы странный человек! Значит, вы не желаете ни во что вмешиваться?

— Ни во что.

— В таком случае не будем об этом говорить. До свидания, граф.

— До свидания, виконт.

Альбер взял шляпу и вышел.

У ворот его дожидался кабриолет; стараясь сдержать свой гнев, Альбер поехал к Бошану; тот был в редакции.

Альбер поехал в редакцию.

Бошан сидел в темном, пыльном кабинете, какими всегда были и будут редакционные помещения.

Ему доложили о приходе Альбера де Морсера. Он заставил повторить это имя два раза, затем, все еще не веря, крикнул:

— Войдите!

Альбер вошел.

Бошан ахнул от удивления, увидев своего друга. Тот шагал через кипы бумаги, неловко пробираясь между газетными листами всех видов, которые усеивали крашеный пол кабинета.

— Сюда, сюда, дорогой, — сказал он, протягивая руку Альберу, — каким ветром вас занесло? Вы заблудились, как Мальчик-спальчик, или просто хотите со мной позавтракать? Поищите себе стул; вон там стоит один, рядом с геранью, она одна напоминает мне о том, что лист может быть не только газетным.

— Как раз из-за вашей газеты я и приехал, — сказал Альбер.

— Вы? А в чем дело?

— Я требую опровержения.

— Опровержения? По какому поводу, Альбер? Да садитесь же!

— Благодарю вас, — сдержанно ответил Альбер с легким поклоном.

— Объясните?

— Я хочу, чтобы вы опровергли одно сообщение,

которое затрагивает честь члена моей семьи.

— Да что вы! — сказал Бошан, донельзя изумленный. — Какое сообщение? Этого не может быть.

— Сообщение, которое вы получили из Янины.

— Из Янины?

— Да. Разве вы не понимаете, о чем я говорю?

— Честное слово… Батист, дайте вчерашнюю газету! — крикнул Бошан.

— Не надо, у меня есть.

Бошан прочел, бормоча себе под нос:

— *"Нам пишут из Янины"* — и т. д. и т. д.

— Теперь вы понимаете, что дело серьезное, — сказал Морсер, когда Бошан дочитал заметку.

— А этот офицер ваш родственник? — спросил журналист.

— Да, — ответил, краснея, Альбер.

— Что же вы хотите, чтобы я для вас сделал? — кротко сказал Бошан.

— Я бы хотел, Бошан, чтобы вы поместили опровержение.

Бошан посмотрел на Альбера внимательно и дружелюбно.

— Давайте поговорим, — сказал он, — ведь опровержение— это очень серьезная вещь. Садитесь, я еще раз прочту заметку.

Альбер сел, и Бошан внимательнее, чем в первый раз, прочел короткие строчки, вызвавшие гнев его друга.

— Вы сами видите, — сказал твердо, даже резко, Альбер, — в вашей газете оскорбили члена моей семьи, и я требую опровержения.

— Вы… требуете…

— Да, требую.

— Разрешите мне сказать вам, дорогой виконт, что вы плохой дипломат.

— Да я и не стремлюсь быть дипломатом, — возразил, вставая, Альбер. — Я требую опровержения этой заметки, и я его добьюсь. Вы мой друг, — продолжал Альбер сквозь зубы, видя, что Бошан надменно поднял голову, — и, надеюсь, вы достаточно меня знаете, чтобы понять мою настойчивость.

— Я ваш друг, Морсер, но я могу забыть об этом, если вы будете и дальше разговаривать в таком тоне… Но не будем ссориться, пока это возможно… Вы взволнованы, раздражены… Скажите, кем вам доводится этот Фернан?

— Это мой отец, — сказал Альбер. — Фернан Мондего, граф де Морсер, старый воин, участник двадцати сражений, и его благородное имя хотят забросать грязью.

— Ваш отец? — сказал Бошан. — Это другое дело, я понимаю ваше возмущение, дорогой Альбер... Прочтем еще раз...

И он снова перечитал заметку, на этот раз взвешивая каждое слово.

— Но где же тут сказано, что этот Фернан — ваш отец? — спросил Бошан.

— Нигде, я знаю, но другие это увидят. Вот почему я и требую опровержения этой заметки.

При слове "требую" Бошан поднял глаза на Альбера и, сразу же опустив их, на минуту задумался.

— Вы дадите опровержение? — с возрастающим гневом, но все еще сдерживаясь, повторил Альбер.

— Да, — сказал Бошан.

— Ну, слава Богу! — сказал Альбер.

— Но лишь после того, как удостоверюсь, что сообщение ложное.

— Как!

— Да, это дело стоит того, чтобы его расследовать, и я это сделаю.

— Но что же тут расследовать, сударь? — сказал Альбер, выходя из себя. — Если вы не верите, что речь идет о моем отце, скажите прямо; если же вы думаете, что речь идет о нем, я требую удо-

влетворения.

Бошан взглянул на Альбера с присущей ему улыбкой, которой он умел выражать любое чувство.

— Сударь, раз уж вам угодно пользоваться этим обращением, — возразил он, — если вы пришли требовать удовлетворения, то с этого следовало начать, а не говорить со мной о дружбе и о других пустяках, которые я терпеливо выслушиваю уже полчаса. Вам угодно, чтобы мы с вами стали на этот путь?

— Да, если вы не опровергнете эту гнусную клевету!

— Одну минуту! Попрошу вас без угроз, господин Альбер де Мондего виконт де Морсер, — я не терплю их ни от врагов, ни тем более от друзей. Итак, вы хотите, чтобы я опроверг заметку о полковнике Фернане, заметку, к которой я, даю вам слово, совершенно непричастен?

— Да, я этого требую! — сказал Альбер, теряя самообладание.

— Иначе дуэль? — продолжал Бошан все так же спокойно.

— Да! — заявил Альбер, повысив голос.

— Ну так вот мой ответ, сударь, — сказал Бошан, — эту заметку поместил не я, я ничего о

ней не знал. Но вы привлекли к ней мое внимание, она меня заинтересовала. Поэтому она останется в неприкосновенности, пока не будет опровергнута или подтверждена теми, кому ведать надлежит.

— Итак, сударь, — сказал Альбер, вставая, — я буду иметь честь прислать вам моих секундантов, и вы с ними условитесь о месте и выборе оружия.

— Превосходно, милостивый государь.

— И сегодня вечером, если вам угодно, или, самое позднее, завтра мы встретимся.

— Нет, нет! Я явлюсь на поединок, когда наступит для этого время, а по моему мнению (я имею право выражать свое мнение, потому что вы меня вызвали), время еще не настало. Я знаю, что вы отлично владеете шпагой, я владею ею сносно; я знаю, что вы из шести три раза попадаете в цель, я — приблизительно так же; я знаю, что дуэль между нами будет серьезным делом, потому что вы храбры, и я… не менее. Поэтому я не желаю убивать вас или быть убитым вами без достаточных оснований. Теперь я сам, в свою очередь, поставлю вопрос, и кате-гори-чески. Настаиваете ли вы на этом опровержении так решительно, что готовы убить меня, если я его не

помещу, несмотря на то, что я вам уже сказал, и повторяю и заверяю вас своей честью: я ничего об этой заметке не знал, и никому, кроме такого чудака, как вы, никогда и в голову не придет, что под именем Фернана может подразумеваться граф де Морсер?

— *Я* безусловно на этом настаиваю.

— Ну что ж, сударь, я даю свое согласие на то, чтобы мы перерезали друг другу горло, но я требую три недели сроку. Через три недели я вам скажу либо: "Да, это ложная заметка", и опровергну ее; либо: "Это правда", и мы вынем шпаги из ножен или пистолеты из ящика, по вашему выбору.

— Три недели! — воскликнул Альбер. — Но ведь это — три вечности бесчестия для меня!

— Если бы мы оставались друзьями, я бы сказал вам: терпение, друг, вы стали моим врагом, и я говорю вам: а мне что за дело, сударь?

— Хорошо, пусть через три недели, — сказал Альбер. — Но помните, через три недели уже не будет никаких отсрочек, никаких отговорок, которые могли бы вас избавить...

— Господин Альбер де Морсер, — сказал Бошан, в свою очередь вставая, — я не имею права выбросить вас в окно раньше, чем через три недели,

а вы не имеете права заколоть меня раньше этого времени. Сегодня у нас двадцать девятое августа, следовательно, до двадцать первого сентября. А пока, поверьте — и это совет благородного человека, — лучше нам не кидаться друг на друга, как два цепных пса.

И Бошан, сдержанно поклонившись Альберу, повернулся к нему спиной и прошел в типографию.

Альбер отвел душу на кипе газет, которую он раскидал яростными ударами трости, после чего удалился, не преминув несколько раз оглянуться в сторону типографии.

Когда Альбер, отхлестав ни в чем не повинную печатную бумагу, проезжал бульвар, яростно колотя тростью по передку своего кабриолета, он заметил Морреля, который, высоко вскинув голову, блестя глазами, бодрой походкой шел мимо Китайских бань, направляясь со стороны ворот Сен-Мартен к церкви Мадлен.



— Вот счастливый человек! — сказал Альбер со вздохом.

На сей раз он не ошибся.

II
ЛИМОНАД

И в самом деле, Моррель был очень счастлив.

Старик Нуартье только что прислал за ним, и он так спешил узнать причину этого приглашения, что даже не взял кабриолета, надеясь больше на собственные ноги, чем на ноги наемной клячи; он почти бегом пустился в предместье Сент-Оноре.

Моррель шел гимнастическим шагом, и бедный Барруа едва поспевал за ним. Моррелю был тридцать один год, Барруа — шестьдесят; Моррель был упоен любовью— Барруа страдал от жажды и жары. Эти два человека, столь далекие по интересам и по возрасту, походили на две стороны треугольника: разделенные основанием, они сходились у вершины.

Вершиной этой был Нуартье, пославший за Моррелем и наказавший ему поспешить, что Моррель и исполнял в точности, к немалому отчаянию Барруа.

Прибыв на место, Моррель даже не запыхался:

любовь окрыляет, но Барруа, уже давно забывший о любви, был весь в поту.

Старый слуга ввел Морреля через известный нам отдельный ход, запер дверь кабинета, и немного погодя шелест платья возвестил о приходе Валентины.

В трауре Валентина была необыкновенно хороша.

Моррелю казалось, что он грезит наяву, и он готов был отказаться от беседы с Нуартье, но вскоре послышался шум кресла, катящегося по паркету, и появился старик.

Нуартье приветливо слушал Морреля, который благодарил его за чудесное вмешательство, спасшее его и Валентину от отчаяния. Потом вопрошающий взгляд Морреля обратился на Валентину, которая сидела поодаль и робко ожидала минуты, когда она будет вынуждена заговорить.

Нуартье, в свою очередь, взглянул на нее.

— Я должна сказать то, что вы мне поручили? — спросила она.

— Да, — ответил Нуартье.

— Господин Моррель, — сказала тогда Валентина, обращаясь к Максимилиану, пожиравшему ее глазами, — за эти три дня дедушка сказал

мне многое из того, что он хотел сообщить вам. Сегодня он послал за вами, чтобы я это вам пересказала. Он выбрал меня своей переводчицей, и я вам все повторю слово в слово.

— Я жду с нетерпением, мадемуазель, — отвечал Моррель, — говорите, прошу вас.

Валентина опустила глаза; это показалось Моррелю хорошим предзнаменованием; Валентина проявляла слабость только в минуты счастья.

— Дедушка хочет уехать из этого дома, — сказала она. — Барруа подыскивает ему жилище.

— А вы, — сказал Моррель, — ведь господин Нуартье вас так любит и вы ему так необходимы?

— Я не расстанусь с дедушкой, — ответила Валентина, — это решено. Я буду жить подле него. Если господин де Вильфор согласится на это, я уеду немедленно. Если же он откажет мне, придется подождать до моего совершеннолетия, до которого осталось десять месяцев. Тогда я буду свободна, независима и…

— И? — спросил Моррель.

— …и, с согласия дедушки, сдержу слово, которое я дала вам.

Валентина так тихо произнесла последние слова, что Моррель не расслышал бы их, если бы не вслушивался с такой жадностью.

— Верно ли я выразила вашу мысль, дедушка? — прибавила Валентина, обращаясь к Нуартье.

— Да, — ответил взгляд старика.

— Когда я буду жить у дедушки, — прибавила Валентина, — господин Моррель сможет видеться со мной в присутствии моего доброго и почитаемого покровителя. Если узы, которые связывают наши, быть может, неопытные и изменчивые сердца, встретят его одобрение и после этого испытания послужат порукой нашему будущему счастью (увы! говорят, что сердца, воспламененные препятствиями, охладевают в благополучии!), то господину Моррелю будет разрешено просить моей руки. Я буду ждать.

— Чем я заслужил, что на мою долю выпало такое счастье? — воскликнул Моррель, готовый преклонить колена перед старцем, как перед Богом, и перед Валентиной, как перед ангелом.

— А до тех пор, — продолжала своим чистым и строгим голосом Валентина, — мы будем уважать волю моих родных, если только они не будут стремиться разлучить нас. Словом, и я повторяю это, потому что этим все сказано, мы будем ждать.

— И те жертвы, которые это слово на меня налагает, сударь, — сказал Моррель, — обращаясь к старику, — я клянусь принести не только покор-

но, но и с радостью.

— Поэтому, друг мой, — продолжала Валентина, бросив на Максимилиана проникший в самое его сердце взгляд, — довольно безрассудств. Берегите честь той, которая с сегодняшнего дня считает себя предназначенной достойно носить ваше имя.

Моррель прижал руку к сердцу.

Нуартье с нежностью глядел на них. Барруа, стоявший тут же, как человек, посвященный во все тайны, улыбался, вытирая крупные капли пота, выступившие на его плешивом лбу.

— Бедный Барруа, ему жарко, и он совсем измучился, — сказала Валентина.

— Да, — сказал Барруа, — ну и бежал же я, мадемуазель, а только господин Моррель, надо отдать ему справедливость, бежал еще быстрее меня.

Нуартье указал глазами на поднос, на котором стояли графин с лимонадом и стакан. Графин был наполовину пуст, — полчаса тому назад из него пил сам Нуартье.

— Выпей, Барруа, — сказала Валентина, — я по глазам вижу, что ты хочешь лимонаду.

— Правду сказать, — ответил Барруа, — я умираю от жажды и с удовольствием выпью стакан за ваше здоровье.

— Так возьми, — сказала Валентина, — и воз-

вращайся сюда поскорее.

Барруа взял поднос, вышел в коридор и все увидели через дверь, которую он забыл притворить, как он запрокинул голову и залпом выпил стакан лимонада, налитый ему Валентиной.

Валентина и Моррель прощались друг с другом в присутствии Нуартье, как вдруг на лестнице, ведущей в половину Вильфора, раздался звонок. Он возвещал о посетителе.

Валентина взглянула на стенные часы.

— Полдень, — сказала она, — сегодня суббота; дедушка, это, вероятно, доктор.

Нуартье показал знаком, что он тоже так думает.

— Он сейчас придет сюда; господину Моррелю лучше уйти, не правда ли, дедушка?

— Да, — был ответ старика.

— Барруа! — позвала Валентина. — Барруа, идите сюда!

— Иду, мадемуазель, — послышался голос старого слуги.

— Барруа проводит вас до двери, — сказала Валентина Моррелю. — А теперь, господин офицер, прошу вас помнить, что дедушка советует вам не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб нашему счастью.

— Я обещал ждать, — сказал Моррель, — и я буду ждать.

В эту минуту вошел Барруа.

— Кто звонил? — спросила Валентина.

— Доктор д'Авриньи, — сказал Барруа, еле держась на ногах.

— Что с вами, Барруа? — спросила Валентина.

Старик ничего не ответил, он испуганными глазами смотрел на своего хозяина и судорожно сжатой рукой пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть.

— Он сейчас упадет! — воскликнул Моррель.

В самом деле, дрожь, охватившая Барруа, все усиливалась; его лицо, искаженное судорогой, говорило о сильнейшем нервном припадке.

Нуартье, видя страдания Барруа, бросал вокруг себя тревожные взгляды, которые ясно выражали все волнующие его чувства.

Барруа шагнул к своему хозяину.

— Боже мой, Боже мой, — сказал он, — что это со мной?.. Мне больно... в глазах темно. Голова как в огне. Не трогайте меня, не трогайте!

Его глаза вылезли из орбит и закатились, голова запрокинулась, все тело судорожно напряглось.

Валентина вскрикнула от испуга; Моррель схватил ее в объятия, как бы защищая от неведо-

мой опасности.

— Господин д'Авриньи! Господин д'Авриньи! — закричала Валентина сдавленным голосом. — Сюда, сюда, помогите!

Барруа повернулся на месте, отступил шага на два, зашатался и упал к ногам Нуартье, схватившись рукой за его колено.

— Господин! Мой добрый господин! — кричал он.

В эту минуту, привлеченный криками, на пороге появился Вильфор.

Моррель выпустил полубесчувственную Валентину и, бросившись в глубь комнаты, скрылся за тяжелой портьерой.

Белый как полотно, он с ужасом смотрел на умирающего, словно вдруг увидел перед собою змею.

Нуартье терзался нетерпением и тревогой. Его душа рвалась на помощь несчастному старику, который был ему скорее другом, чем слугой. Страшная борьба жизни и смерти, происходившая перед паралитиком, отражалась на его лице: жилы на лбу вздулись, последние еще живые мышцы вокруг глаз мучительно напряглись.

Барруа, с дергающимся лицом, с налитыми кровью глазами и запрокинутой головой, лежал

на полу, хватаясь за него руками, а его окоченевшие ноги, казалось, скорее сломались бы, чем согнулись.

На губах его выступила пена, он задыхался.

Вильфор, ошеломленный, не мог оторвать глаз от этой картины, которая приковала его внимание, как только он переступил порог.

Морреля он не заметил.

Минуту он стоял молча, заметно побледнев, волосы его встали дыбом.

— Доктор! Доктор! — воскликнул он наконец, кидаясь к двери. — Идите сюда! Скорее!

— Сударыня! — звала Валентина свою мачеху, цепляясь за перила лестницы. — Идите сюда! Идите скорее! Принесите вашу нюхательную соль!

— Что случилось? — сдержанно спросила металлическим голосом г-жа Вильфор.

— Идите, идите!

— Да где же доктор? — кричал Вильфор.

Госпожа де Вильфор медленно сошла с лестницы; слышно было, как скрипели деревянные ступени. В одной руке она держала платок, которым вытирала лицо, в другой— флакон с нюхательной солью.

Дойдя до двери, она прежде всего взглянула

на Нуартье, который, если не считать вполне естественного при данных обстоятельствах волнения, казался совершенно здоровым; затем взгляд ее упал на умирающего.

Она побледнела, и ее взгляд, если так можно выразиться, отпрянул от слуги и вновь устремился на господина.

— Ради Бога, сударыня, где же доктор? — повторил Вильфор. — Он прошел к вам. Вы же видите, это апоплексический удар; Барруа можно спасти, если пустить ему кровь.

— Не съел ли он чего-нибудь? — спросила г-жа де Вильфор, уклоняясь от ответа.

— Он не завтракал, — сказала Валентина, — но дедушка посылал его со спешным поручением. Он очень устал и, вернувшись, выпил только стакан лимонада.

— Почему же не вина? — сказала г-жа де Вильфор. — Лимонад очень вреден.

— Лимонад был здесь, в дедушкином графине. Бедному Барруа хотелось пить, и он выпил то, что было под рукой.



Госпожа де Вильфор вздрогнула. Нуартье окинул ее своим глубоким взглядом.

— У него такая короткая шея! — сказала она.

— Сударыня, — сказал Вильфор, — я спрашиваю вас, где д'Авриньи? Отвечайте, ради Бога!

— Он у Эдуара; мальчик нездоров, — сказала г-жа де Вильфор, не смея дольше уклоняться от ответа.

Вильфор бросился на лестницу, чтобы привести доктора.

— Возьмите, — сказала г-жа де Вильфор, передавая Валентине флакон, — ему, вероятно, пустят кровь. Я пойду к себе, я не выношу вида крови.

И она ушла вслед за мужем.

Моррель вышел из своего темного угла, где среди общей тревоги его никто не заметил.

— Уходите скорей, Максимилиан, — сказала ему Валентина, — и не приходите, пока я вас не позову. Идите.

Моррель жестом посоветовался с Нуартье, и тот, сохранивший все свое хладнокровие, сделал ему утвердительный знак.

Он прижал к сердцу руку Валентины и вышел боковым коридором.

В это время в противоположную дверь входили Вильфор и доктор.

Барруа понемногу приходил в себя: припадок миновал, старик начал стонать и приподнялся на одно колено.

Д'Авриньи и Вильфор перенесли Барруа на кушетку.

— Что нужно, доктор? — спросил Вильфор.

— Пусть принесут воды и эфир. У вас в доме найдется эфир?

— Да.

— Пусть сбегают за скипидарным маслом и рвотным.

— Бегите скорей! — приказал Вильфор.

— А теперь пусть все выйдут.

— И я тоже? — робко спросила Валентина.

— Да, мадемуазель, прежде всего вы, — резко сказал доктор.

Валентина удивленно взглянула на д'Авриньи, поцеловала деда в лоб и вышла.

Доктор с мрачным видом закрыл за ней дверь.

— Смотрите, смотрите, доктор, он приходит в себя; это был просто припадок.

Д'Авриньи мрачно улыбнулся.

— Как вы себя чувствуете, Барруа? — спросил он.

— Немного лучше, сударь.

— Вы можете выпить стакан воды с эфиром?

— Попробую, только не трогайте меня.

— Почему?

— Мне кажется, если вы дотронетесь до меня хотя бы пальцем, со мной опять будет припадок.

— Выпейте.

Барруа взял стакан, поднес его к своим посиневшим губам и отпил около половины.

— Где у вас болит? — спросил доктор.

— Всюду, меня сводит судорога.

— Голова кружится?

— Да.

— В ушах звенит?

— Ужасно.

— Когда это началось?

— Только что.

— Сразу?

— Как громом ударило.

— Вчера вы ничего не чувствовали? Позавчера ничего?

— Ничего.

— Ни сонливости? Ни тяжести в желудке?

— Нет.

— Что вы ели сегодня?

— Я ничего еще не ел, я только выпил стакан лимонада из графина господина Нуартье.

И Барруа кивнул в сторону старика, который,

неподвижный в своем кресле, следил за происходящим, не упуская ни одного движения, ни одного слова.

— Где этот лимонад? — живо спросил доктор.

— В графине, внизу.

— Где внизу?

— На кухне.

— Хотите, я принесу, доктор? — спросил Вильфор.

— Нет, оставайтесь здесь и постарайтесь, чтобы больной допил воду из стакана.

— А лимонад?..

— Я пойду сам.

Д'Авриньи бросился к двери, отворил ее, побежал по черной лестнице и едва не сбил с ног г-жу де Вильфор, которая также спускалась на кухню.

Она вскрикнула.

Д'Авриньи даже не заметил этого; поглощенный одной мыслью, он перепрыгнул через последние ступеньки, вбежал в кухню и увидел на три четверти пустой графин, стоящий на подносе.

Он ринулся на него, как орел на добычу.

С трудом дыша, он поднялся в первый этаж и вернулся в комнату Нуартье.

Госпожа де Вильфор в это время медленно под-

нималась к себе.

— Это тот самый графин? — спросил д'Авриньи.

— Да, господин доктор.

— Это тот самый лимонад, который вы пили?

— Наверно.

— Какой у него был вкус?

— Горький.

Доктор налил несколько капель на ладонь, втянул их губами и, подержав во рту, словно пробуя вино, выплюнул жидкость в камин.

— Это он и есть, — сказал он. — Вы его тоже пили, господин Нуартье?

— Да, — показал старик.

— И вы тоже нашли, что у него горький вкус?

Да.

— Господин доктор, — крикнул Барруа, — мне опять худо! Боже милостивый, сжалься надо мной!

Доктор бросился к больному.

— Где же рвотное, Вильфор?

Вильфор выбежал из комнаты и крикнул:

— Где рвотное? Принесли?

Никто не ответил. Весь дом был охвачен ужасом.

— Если бы я мог ввести ему воздух в легкие, —

сказал д'Авриньи, озираясь по сторонам, — может быть, это предотвратило бы удушье. Неужели ничего нет? Ничего!

— Доктор, — кричал Барруа, — не дайте мне умереть! Я умираю, Господи, умираю!

— Перо! Нет ли пера? — спросил доктор.

Вдруг он заметил на столе перо.

Он попытался ввести его в рот больного, корчившегося в судорогах, но челюсти его были так плотно сжаты, что не пропускали пера.

У Барруа начался еще более сильный припадок, чем первый. Он скатился с кушетки на пол и лежал неподвижно.

Доктор оставил его во власти припадка, который он ничем не мог облегчить, и подошел к Нуартье.

— Как вы себя чувствуете? — быстро спросил он шепотом. — Хорошо?

— Да.

— Тяжести в желудке нет?

— Нет.

— Как после той пилюли, которую я вам велел принимать каждое воскресенье?

— Да.

— Кто вам приготовил этот лимонад? Барруа?

— Да.

— Это вы предложили ему выпить лимонаду?

— Нет.

— Господин де Вильфор?

— Нет.

— Госпожа де Вильфор?

— Нет.

— В таком случае, Валентина?

— Да.

Тяжкий вздох Барруа, зевота, от которой заскрипели его челюсти, привлекли внимание д'Авриньи, и он поспешил к больному.

— Барруа, — сказал доктор, — в состоянии ли вы говорить?

Барруа пробормотал несколько непонятных слов.

— Сделайте над собой усилие, друг мой.

Барруа открыл налитые кровью глаза.

— Кто готовил этот лимонад?

— Я сам.

— Вы его подали вашему хозяину сразу после того, как приготовили его?

— Нет.

— А где он оставался?

— В буфетной; меня отозвали.

— Кто его принес сюда?

— Мадемуазель Валентина.

Д’Авриньи провел рукой по лбу.

— Господи! — прошептал он.

— Доктор, доктор! — крикнул Барруа, чувствуя, что начинается новый припадок.

— Почему не несут рвотное? — воскликнул доктор.

— Вот оно, — сказал, возвращаясь в комнату, Вильфор.

— Кто приготовил?

— Аптекарь, он пришел вместе со мной.

— Выпейте.

— Не могу, доктор, поздно! Сводит горло, я задыхаюсь!.. Сердце… голова… Какая мука!.. Долго я буду так мучиться?

— Нет, мой друг, — сказал доктор, — скоро ваши страдания кончатся.

— Я понимаю! — воскликнул несчастный. — Господи, смилуйся надо мной!

И, испустив вопль, он упал навзничь как пораженный молнией.

Д’Авриньи приложил руку к его сердцу, поднес зеркало к его губам.

— Ну что? — спросил Вильфор.

— Пусть мне принесут как можно скорее немного фиалкового сиропу.

Вильфор немедленно спустился в кухню.

— Не пугайтесь, господин Нуартье, — сказал д'Авриньи, — я отнесу больного в соседнюю комнату и пущу ему кровь; такие припадки- ужасное зрелище.

И, взяв Барруа под мышки, он перетащил его в соседнюю комнату, но тотчас же вернулся к Нуартье, чтобы взять остатки лимонада.

У Нуартье был закрыт правый глаз.

— Позвать Валентину? Вы хотите видеть Валентину? Я велю вам ее позвать.

Вильфор поднимался обратно по лестнице; д'Авриньи встретился с ним в коридоре.

— Ну что? — спросил Вильфор.

— Идемте, сказал д'Авриньи.

И он увел его в комнату, где лежал Барруа.

— Он все еще в обмороке? — спросил королевский прокурор.

— Он умер.

Вильфор отшатнулся, схватился за голову и воскликнул, с непритворным участием глядя на мертвого:

— Умер так внезапно!

— Слишком внезапно, правда? — сказал д'Авриньи. — Но вас это не должно удивлять: господин и госпожа де Сен-Меран умерли так же внезапно. Да, в вашем доме умирают быстро, господин де

Вильфор.

— Как! — с ужасом и недоумением воскликнул королевский прокурор. — Вы снова возвращаетесь к этой ужасной мысли?

— Да, сударь, — сказал торжественно д'Авриньи, — она ни на минуту не покидала меня. И чтобы вы убедились в моей правоте, я прошу вас внимательно выслушать меня, господин де Вильфор.

Вильфор дрожал всем телом.

— Существует яд, который убивает, не оставляя почти никаких следов. Я хорошо знаю этот яд, я изучил его во всех его проявлениях, со всеми его последствиями. Действие этого яда я распознал сейчас у несчастного Барруа, как в свое время у госпожи де Сен-Меран. Есть способ удостовериться в присутствии этого яда. Он возвращает синий цвет лакмусовой бумаге, окрашенной какой-нибудь кислотой в красный цвет, и он окрашивает в зеленый цвет фиалковый сироп. У нас нет под рукой лакмусовой бумаги, но вот несут фиалковый сироп.

В коридоре послышались шаги; доктор приоткрыл дверь, взял из рук горничной сосуд, на дне которого были две-три ложки сиропа, и снова закрыл дверь.

— Посмотрите, — сказал он королевскому прокурору, сердце которого неистово билось, — вот в этой чашке налит фиалковый сироп, а в этом графине остатки того лимонада, который пили господин Нуартье и Барруа. Если в лимонаде нет никакой примеси и он безвреден — цвет сиропа не изменится; если лимонад отравлен — сироп станет зеленым. Смотрите!

Доктор медленно налил несколько капель лимонада из графина в чашку, и в ту же секунду сироп на дне чашки помутнел, сначала он сделался синим, как сапфир, потом стал опаловым, а из опалового — изумрудным и таким и остался.

Произведенный опыт не оставлял сомнений.

— Несчастный Барруа отравлен лжеангустурой, или орехом святого Игнатия, — сказал *д'*Авриньи, — теперь я готов поклясться в этом перед Богом и людьми.

Вильфор ничего не сказал. Он воздел руки к небу, широко открыл полные ужаса глаза и, сраженный, упал в кресло.

III

ОБВИНЕНИЕ

Д'Авриньи довольно быстро привел в чувство королевского прокурора, казавшегося в этой злополучной комнате вторым трупом.

— Мой дом стал домом смерти! — простонал Вильфор.

— И преступления, — сказал доктор.

— Я не могу передать вам, господин д'Авриньи, что я сейчас испытываю, — воскликнул Вильфор, — ужас, боль, безумие!

— Да, — сказал д'Авриньи спокойно и внушительно, — но нам пора действовать: мне кажется, пора преградить путь этому потоку смертей. Лично я больше не в силах скрывать такую тайну, не имея надежды, что попранные законы и невинные жертвы будут отмщены.

Вильфор окинул комнату мрачным взглядом.

— В моем доме! — прошептал он. — В моем доме!

— Послушайте, Вильфор, — сказал д'Авриньи, — будьте мужчиной. Блюститель закона, честь ваша требует, чтобы вы принесли эту жертву.

— Страшное слово, доктор. Принести себя в жертву!

— Об этом и идет речь.

— Значит, вы кого-нибудь подозреваете?

— Я никого не подозреваю. Смерть стучится в вашу дверь, она входит, она идет, не слепо, а обдуманно, из комнаты в комнату, а я иду по ее следу, вижу ее путь. Я верен мудрости древних: я бреду ощупью. Ведь моя дружба с вашей семьей и мое уважение к вам — это две повязки, закрывающие мне глаза, и вот…

— Говорите, доктор, я готов выслушать вас.

— В вашем доме, быть может, в вашей семье, скрывается одно из тех чудовищ, которые рождаются раз в столетие. Локуста и Агриппина жили в одно время, но это исключительный случай, он доказывает, с какой яростью Провидение хотело истребить Римскую империю, запятнанную столькими злодеяниями. Брунгильда и Фредегонда — следствие мучительных усилий, с которыми нарождающаяся цивилизация стремилась к познанию духа, хотя бы с помощью посланца тьмы. И все эти женщины были молоды и прекрасны. На их челе лежала когда-то та же печать невинности, которая лежит и на челе преступницы, живущей в вашем доме.

Вильфор вскрикнул, стиснул руки и с мольбой посмотрел на доктора.

Но тот безжалостно продолжал:

— "Ищи, кому преступление выгодно" — так гласит одна из аксиом юридической науки.

— Доктор! — воскликнул Вильфор. — Сколько раз уже человеческое правосудие было обмануто этими роковыми словами! Я не знаю, но мне кажется, что это преступление…

— Так вы признаете, что это преступление?

— Да, признаю. Что еще мне остается? Но дайте мне досказать. Я чувствую, что я — главная жертва этого преступления. За всеми этими загадочными смертями таится моя собственная гибель.

— Человек, — прошептал д'Авриньи, — самое эгоистичное из всех животных, самое себялюбивое из всех живых созданий! Он уверен, что только для него одного светит солнце, вертится земля и косит смерть. Муравей, проклинающий Бога, взобравшись на травинку! А те, кого лишили жизни, они не жертвы? Маркиз де Сен-Меран, маркиза, господин Нуартье…

— Как? Господин Нуартье?

— Да! Неужели вы думаете, что покушались на этого несчастного слугу? Нет, как Полоний у Шекспира, он умер вместо другого. Нуартье — вот кто должен был выпить лимонад. Нуартье и пил

его, а тот выпил случайно, и хотя умер Барруа, но умереть должен был Нуартье.

— Почему же не погиб мой отец?

— Я вам уже объяснял в тот вечер, в саду, когда умерла госпожа де Сен-Меран: потому что его организм привык к употреблению этого самого яда. Потому что доза, недостаточная для него, смертельна для всякого другого. Словом, потому что никто на свете, даже убийца, не знает, что вот уже год, как я лечу господина Нуартье бруцином, между тем как убийце известно, да он убедился и на опыте, что бруцин — сильно действующий яд.

— Боже! — прошептал Вильфор, ломая руки.

— Проследите действия преступника: он убивает маркиза…

— Доктор!

— Я готов присягнуть в этом. То, что мне говорили о его смерти, слишком точно совпадает с тем, что я видел собственными глазами.

Вильфор уже не спорил. Он глухо застонал.

— Он убивает маркиза, — повторил доктор, — он убивает маркизу. Это сулит двойное наследство.

Вильфор отер пот, струившийся по его лбу.

— Слушайте внимательно.

— Увы, я ловлю каждое ваше слово, — пробор-

мотал Вильфор.

— Господин Нуартье, — безжалостно продолжал д'Авриньи, — в своем завещании отказал все, что имеет, бедным, тем самым обделив вас и вашу семью. Господина Нуартье пощадили, от него нечего было ждать. Но едва он уничтожил свое первое завещание, едва успел составить второе, как, по-видимому, опасаясь, что он может составить и третье, его отравляют. Ведь завещание, если не ошибаюсь, составлено позавчера. Как видите, времени не теряли.

— Пощадите, д'Авриньи!

— Никакой пощады, сударь. У врача есть священный долг, и во имя его он восходит к источникам жизни и спускается в таинственный мрак смерти. Когда преступление совершено и Бог в ужасе отвращает свой вздор от преступника, долг врача сказать: "Это он!"

— Пощадите мою дочь! — прошептал Вильфор.

— Вы сами назвали ее — вы, отец.

— Пощадите Валентину! Нет, это невозможно. Я скорее обвинил бы самого себя! Валентина — золотое сердце, сама невинность!

— Пощады быть не может, господин королевский прокурор. Улики налицо: мадемуазель де Вильфор сама упаковывала лекарства, которые

были посланы маркизу де Сен-Меран, и маркиз умер.

Мадемуазель де Вильфор приготовила питье для маркизы де Сен-Меран, и маркиза умерла.

Мадемуазель де Вильфор взяла из рук Барруа графин с лимонадом, который господин Нуартье обычно весь выпивает утром, и старик спасся только чудом.

Мадемуазель де Вильфор — вот преступница, вот отравительница! Господин королевский прокурор, я обвиняю мадемуазель де Вильфор, исполняйте свой долг!

— Доктор, я не спорю, не защищаюсь, я верю вам, но не губите меня, не губите мою честь!

— Господин Вильфор, — продолжал доктор с возрастающей силой, — есть обстоятельства, в которых я отказываюсь считаться с глупыми условностями. Если бы ваша дочь совершила только одно преступление и я думал бы, что она замышляет второе, я сказал бы вам: "Предостерегите ее, накажите, пусть она проведет остаток жизни где-нибудь в монастыре, в слезах замаливая свой грех". Если бы она совершила второе преступление, я сказал бы вам: "Слушайте, Вильфор, вот вам яд, от которого нет противоядия, быстрый, как мысль, мгновенный, как молния,

разящий, как гром; дайте ей этого яду, поручив душу ее милости Божьей, и таким образом спасите свою честь и свою жизнь, ибо она покушается на вас. *Я* вижу, как она подходит к вашему изголовью с лицемерной улыбкой и нежными словами! Горе вам, если вы не поразите ее первый!" Вот что сказал бы я вам, если бы она убила только двух человек. Но она присутствовала при трех агониях, она видела трех умирающих, она опускалась на колени около трех трупов. В руки палача — отравительницу, в руки палача! Вы говорите о чести; сделайте то, что я вам говорю, и вы обессмертите свое имя!

Вильфор упал на колени.

— У меня нет вашей силы воли, — сказал он, — но и у вас ее не было бы, если бы дело шло не о моей дочери, а о вашей.

Д'Авриньи побледнел.

— Доктор, всякий человек, рожденный женщиной, обречен на страдания и смерть; я буду страдать и, страдая, ждать смертного часа.

— Берегитесь, — сказал д'Авриньи, — он не скоро наступит: он настанет только после того, как на ваших глазах погибнут ваш отец, ваша жена, ваш сын, быть может.

Вильфор, задыхаясь, схватил доктора за руку.

— Послушайте, — воскликнул он, — пожалейте меня, помогите мне… Нет, моя дочь невиновна… Поставьте нас перед лицом суда, и я снова скажу: нет, моя дочь невиновна… В моем доме не было преступления… Я не хочу, вы слышите, чтобы в моем доме было преступление… Потому что если в чей-нибудь дом вошло преступление, то оно, как смерть, никогда не приходит одно. Послушайте, что вам до того, если я паду жертвою убийства?.. Разве вы мне друг? Разве вы человек? Разве у вас есть сердце?.. Нет, вы врач!.. И я вам говорю: нет, я не предам свою дочь в руки палача!.. Эта мысль гложет меня, я, как безумец, готов разрывать себе грудь ногтями!.. Что, если вы ошибаетесь, доктор? Если это кто-нибудь другой, а не моя дочь? Если в один прекрасный день, бледный, как призрак, я приду к вам и скажу: "Убийца, ты убил мою дочь!.." Если бы это случилось… я христианин, д'Авриньи, но я убил бы себя.

— Хорошо, — сказал доктор после краткого раздумья, — я подожду.

Вильфор недоверчиво посмотрел на него.

— Но только, — торжественно, с расстановкой продолжал д'Авриньи, — если в вашем доме кто-нибудь заболеет, если вы сами почувствуете, что удар поразил вас, не посылайте за мной, я не при-

ду. Я согласен делить с вами эту страшную тайну, но я не желаю, чтобы стыд и расскаяние поселились в моей душе, вырастали и множились в ней гак же, как злодейство и горе в вашем доме.

— Вы покидаете меня, доктор?

— Да, ибо нам дальше не по пути, я дошел с вами до подножия эшафота. Еще одно разоблачение — и этой ужасной трагедии настанет конец. Прощайте.

— Доктор, умоляю вас!

— Все, что я вижу здесь, оскверняет мой ум. Мне ненавистен ваш дом. Прощайте, сударь!

— Еще слово, одно только слово, доктор! Вы оставляете меня одного в этом ужасном положении, еще более ужасном от того, что вы мне сказали. Но что скажут о внезапной смерти несчастного Барруа?

— Вы правы, — сказал д'Авриньи, — проводите меня.

Доктор вышел первым. Вильфор шел следом за ним; встревоженные слуги толпились в коридоре и на лестнице, по которой должен был пройти доктор.

— Сударь, — громко сказал д'Авриньи Вильфору, так, чтобы все слышали, — бедняга Барруа в последние годы вел слишком сидячий образ

жизни; он так привык разъезжать вместе со своим хозяином, то верхом, то в экипаже, по всей Европе, что уход за прикованным к креслу больным погубил его. Кровь застоялась, человек он был тучный, с короткой толстой шеей, его сразил апоплексический удар, а меня позвали слишком поздно. Кстати, — прибавил он шепотом, — не забудьте выплеснуть в печку фиалковый сироп.

И доктор, не протянув Вильфору руки, ни словом не возвращаясь к сказанному раньше, вышел из дома, провожаемый слезами и причитаниями слуг.

В тот же вечер все слуги Вильфоров, собравшись на кухне и потолковав между собой, отправились к г-же де Вильфор с просьбой отпустить их. Ни уговоры, ни предложение увеличить жалованье не привели ни к чему. Они твердили одно:

— Мы хотим уйти, потому что в этом доме смерть.

И они, невзирая на все просьбы, покинули дом, уверяя, что им очень жаль расставаться с такими добрыми хозяевами и особенно с мадемуазель Валентиной, такой доброй, такой отзывчивой и ласковой.

Вильфор при этих словах взглянул на Валентину.

Она плакала.

И странно: несмотря на волнение, охватившее его при виде этих слез, он взглянул также и на г-жу де Вильфор, и ему показалось, что на ее тонких губах мелькнула мимолетная мрачная усмешка, подобно зловещему метеору, пролетающему среди туч в глубине грозового неба.

IV
ЖИЛИЩЕ БУЛОЧНИКА, УДАЛИВШЕГОСЯ ОТ ДЕЛ

Вечером того дня, когда граф де Морсер вышел от Данглара вне себя от стыда и бешенства, вполне объяснимых оказанным ему холодным приемом, Андреа Кавальканти, завитой и напомаженный, с закрученными усами, в туго натянутых белых перчатках, почти стоя в своем фаэтоне, подкатил к дому банкира на Шоссе-д'Антен.

Поболтав немного в гостиной, он улучил удобную минуту, отвел Данглара к окну и там, после искусного вступления, завел речь о треволнениях, постигших его после отъезда его благородного отца. Со времени этого отъезда, говорил он, в семье банкира, где его приняли как родного сына, он нашел все, что служит залогом счастья, кото-

рое всякий человек должен ставить выше, чем прихоти страсти, а что касается страсти, то на его долю выпало счастье обрести ее в прекрасных глазах мадемуазель Данглар.

Данглар слушал с глубочайшим вниманием; он уже несколько дней ждал этого объяснения, и, когда оно наконец произошло, лицо его в той же мере просияло, в какой оно нахмурилось, когда он слушал Морсера.

Все же раньше чем принять предложение молодого человека, он счел нужным высказать ему некоторые сомнения.

— Виконт, — сказал он, — не слишком ли вы молоды, чтобы помышлять о браке?

— Нисколько, сударь, — возразил Кавальканти. — В Италии в знатных семьях приняты ранние браки; это обычай разумный. Жизнь так изменчива, что надо ловить счастье, пока оно дается в руки.

— Допустим, сударь, — сказал Данглар, — что ваше предложение, которым я очень польщен, будет благосклонно принято моей женой и дочерью, — с кем мы будем обсуждать деловую сторону? По-моему, этот важный вопрос могут разрешить должным образом только отцы на благо своим детям.

— Мой отец — человек умный и рассудительный, он предвидел, что я, быть может, захочу жениться во Франции, и поэтому, уезжая, он оставил мне вместе с документами, удостоверяющими мою личность, письмо, в котором он обязуется, в случае если он одобрит мой выбор, выдавать мне ежегодно сто пятьдесят тысяч ливров, считая со дня моей свадьбы. Это составляет, насколько я могу судить, четвертую часть доходов моего отца.

— А я, — сказал Данглар, — всегда намеревался дать в приданое моей дочери пятьсот тысяч франков; к тому же она моя единственная наследница.

— Вот видите, — сказал Андреа, — как все хорошо складывается, если предположить, что баронесса Данглар и мадемуазель Эжени не отвергнут моего предложения. В нашем распоряжении будет сто семьдесят пять тысяч годового дохода. Предположим еще, что мне удастся убедить маркиза, чтобы он не выплачивал мне ренту, а отдал в мое распоряжение самый капитал (это будет нелегко, я знаю, но, может быть, это и удастся); тогда вы пустите наши два-три миллиона в оборот, а такая сумма в опытных руках всегда принесет десять процентов.

— Я никогда не плачу больше четырех процентов, — сказал банкир, — или, вернее, трех с половиной. Но моему зятю я стал бы платить пять, а прибыль мы бы делили пополам.

— Ну и чудно, папаша, — развязно сказал Кавальканти: врожденная вульгарность по временам, несмотря на все его старания, прорывалась сквозь тщательно наводимый аристократический лоск.

Но, тут же спохватившись, он добавил:

— Простите, барон, вы видите, уже одна надежда почти лишает меня рассудка; что же будет, если она осуществится?

— Однако надо полагать, — сказал Данглар, не замечая, как быстро эта беседа, вначале бескорыстная, обратилась в деловой разговор, — существует и такая часть вашего имущества, в которой ваш отец не может вам отказать?

— Какая именно? — спросил Андреа.

— Та, что принадлежала вашей матери.

— Да, разумеется, та, что принадлежала моей матери, Оливе Корсинари.

— А как велика эта часть вашего имущества?

— Признаться, — сказал Андреа, — я никогда не задумывался над этим, но полагаю, что она составляет по меньшей мере миллиона два.

У Данглара от радости захватило дух. Он чувствовал себя, как скупец, отыскавший утерянное сокровище, или утопающий, который вместо бездны, готовой его поглотить, вдруг ощутил под ногами твердую почву.

— Итак, барон, — сказал Андреа, умильно и почтительно кланяясь банкиру, — смею ли я надеяться…

— Виконт, — отвечал Данглар, — вы можете надеяться, и поверьте, что если с вашей стороны не явится препятствий, то это вопрос решенный.

— О, как я счастлив, барон! — сказал Андреа.

— Но, — задумчиво продолжал Данглар, — почему же граф де Монте-Кристо, ваш покровитель в парижском свете, не явился вместе с вами поддержать ваше предложение?

Андреа едва заметно покраснел.

— *Я* прямо от графа, — сказал он, — это, бесспорно, очаровательный человек, но большой оригинал. Он вполне одобряет мой выбор; он даже выразил уверенность, что мой отец согласится отдать мне самый капитал вместо доходов с него; он обещал употребить свое влияние, чтобы убедить его, но заявил мне, что он никогда не брал и никогда не возьмет на себя ответственность просить для кого-нибудь чьей-либо руки. Но я

должен отдать ему справедливость, он сделал мне честь, добавив, что если он когда-либо сожалел о том, что взял себе это за правило, то именно в данном случае, ибо он уверен, что этот брак будет счастливым. Впрочем, если он официально и не принимает ни в чем участия, он оставляет за собой право высказать вам свое мнение, если вы пожелаете с ним переговорить.

— Прекрасно.

— А теперь, — сказал с очаровательной улыбкой Андреа, — разговор с тестем кончен, и я обращаюсь к банкиру.

— Что же вам от него угодно? — сказал, засмеявшись, Данглар.

— Послезавтра мне следует получить у вас что-то около четырех тысяч франков, но граф понимает, что в этом месяце мне, вероятно, предстоят значительные траты и моих скромных холостяцких доходов может не хватить, поэтому он предложил мне чек на двадцать тысяч франков, — вот он. На нем, как видите, стоит подпись графа. Этого достаточно?

— Принесите мне таких на миллион, и я приму их, — сказал Данглар, пряча чек в карман. — Назначьте час, который вам завтра будет удобен, мой кассир зайдет к вам, и вы распишетесь в

получении двадцати четырех тысяч франков.

— В десять часов утра, если позволите; чем раньше, тем лучше: я хотел бы завтра уехать за город.

— Хорошо, в десять часов. В гостинице Принцев, как всегда?

— Да.

На следующий день, с пунктуальностью, делавшей честь банкиру, двадцать четыре тысячи франков были вручены молодому Кавальканти, и он вышел из дому, оставив двести франков для Кадрусса.

Андреа уходил главным образом для того, чтобы избежать встречи со своим опасным другом, по той же причине он вернулся домой как можно позже. Но едва он вошел во двор, как перед ним очутился швейцар гостиницы, ожидавший его с фуражкой в руке.

— Сударь, — сказал он, — этот человек приходил.

— Какой человек? — небрежно спросил Андреа, делая вид, что совершенно забыл о том, о ком, напротив, прекрасно помнил.

— Тот, которому ваше сиятельство выдает маленькую пенсию.

— Ах да, — сказал Андреа, — старый слуга моего

отца. Вы ему отдали двести франков, которые я для него оставил?

— А как же, конечно, ваше сиятельство.

По желанию Андреа, слуги называли его "ваше сиятельство".

— Но он их не взял, — продолжал швейцар.

Андреа побледнел, но, так как было очень темно, никто этого не заметил.

— Как не взял? — сказал он дрогнувшим голосом.

— Нет; он хотел видеть ваше сиятельство. Я сказал ему, что вас нет дома; он настаивал. Наконец он мне поверил и оставил для вас письмо, которое принес с собой запечатанным.

— Дайте сюда, — сказал Андреа.

И он прочел при свете фонаря фаэтона:

"Ты знаешь, где я живу, я жду тебя завтра в девять утра".

Андреа осмотрел печать, проверяя, не вскрывал ли кто-нибудь письмо и не познакомился ли чей-нибудь нескромный взор с его содержанием. Но оно было так хитроумно сложено, что, для того чтобы прочитать его, пришлось бы сорвать печать, а печать была в полной сохранности.

— Хорошо, — сказал Андреа. — Бедняга! Он очень славный малый.

Швейцар вполне удовлетворился этими словами и не знал, кем больше восхищаться, молодым господином или старым слугой.

— Поскорее распрягайте и поднимитесь ко мне, — сказал Андреа своему груму.

В два прыжка он очутился в своей комнате и сжег письмо Кадрусса, причем уничтожил даже самый пепел.

Не успел он это сделать, как вошел грум.

— Ты одного роста со мной, Пьер, — сказал ему Андреа.

— Имею эту честь, ваше сиятельство, — отвечал грум.

— Тебе должны были вчера принести новую ливрею.

— Да, сударь.

— У меня интрижка с одной гризеткой, которой я не хочу открывать ни моего титула, ни положения. Одолжи мне ливрею и дай мне свои бумаги, чтобы я мог в случае надобности переночевать в трактире.

Пьер повиновался.

Пять минут спустя Андреа, совершенно неузнаваемый, вышел из гостиницы, нанял кабриолет и велел отвезти себя в трактир под вывеской "Красная лошадь" в окрестности Пикпюса.

На следующий день он ушел из трактира, так же никем не замеченный, как и в гостинице Принцев, прошел предместье Сент-Антуан, бульваром дошел до улицы Мениль-монтан и, остановившись у двери третьего дома по левой руке, стал искать, у кого бы ему, за отсутствием привратника, навести справки.

— Кого вы ищете, красавчик? — спросила торговка фруктами с порога своей лавки.

— Господина Пайтена, толстуха, — отвечал Андреа.

— Бывшего булочника? — спросила торговка.

— Его самого.

— В конце двора, налево, четвертый этаж.

Андреа пошел в указанном направлении, поднялся на четвертый этаж и сердито дернул заячью лапку на двери. Колокольчик громко зазвонил.

Через секунду за решеткой, вделанной в дверь, появилось лицо Кадрусса.

— Ты точен! — сказал он.

И он отодвинул засовы.

— Еще бы! — сказал Андреа, входя.

И он так швырнул свою фуражку, что она, не попав на стул, упала на пол и покатилась по комнате.

— Ну-ну, малыш, не сердись! — сказал Кадрусс. — Видишь, как я о тебе забочусь, вон какой завтрак я тебе приготовил: все твои любимые кушанья, черт тебя возьми!

Андреа действительно почувствовал запах стряпни, грубые ароматы которой были не лишены прелести для голодного желудка; это была та смесь свежего жира и чеснока, которой отличается простая провансальская кухня, пахло и жареной рыбой, а надо всем стоял пряный дух мускатного ореха и гвоздики. Все это исходило из двух глубоких блюд, поставленных на конфорки и покрытых крышками, и из кастрюли, шипевшей в духовке чугунной печки.

Кроме того, в соседней комнате Андреа увидел опрятный стол, на котором красовались два прибора, две бутылки вина, запечатанные одна зеленым, другая желтым сургучом, графинчик водки и нарезанные фрукты, искусно разложенные поверх капустного листа на фаянсовой тарелке.

— Ну, что скажешь, малыш? — спросил Кадрусс. — Недурно пахнет? Ты же знаешь, я был хорошим поваром: помнишь, как вы все пальчики облизывали? И ты первый, ты больше всех полакомился моими соусами и, помнится, не

брезгал ими.

И Кадрусс принялся чистить лук.

— Да ладно, ладно, — с досадой сказал Андреа, — если ты только ради завтрака побеспокоил меня, так пошел к черту!

— Сын мой, — наставительно сказал Кадрусс, — за едой люди беседуют, и потом, неблагодарная душа, разве ты не рад повидаться со старым другом? У меня так прямо слезы текут от радости.

Кадрусс в самом деле плакал, только трудно было решить, что подействовало на слезную железу бывшего трактирщика, радость или лук.

— Молчал бы лучше, лицемер! — сказал Андреа. — Будто ты меня любишь?

— Да, представь, люблю, — сказал Кадрусс, — это моя слабость, сам знаю, но тут уж ничего не поделаешь.

— Что не мешает тебе вызвать меня, чтобы сообщить какую-нибудь гадость.

— Брось! — сказал Кадрусс, вытирая о передник свой большой кухонный нож. — Если бы я не любил тебя, разве я согласился бы вести ту несчастную жизнь, на которую ты меня обрек? Ты посмотри: на тебе ливрея твоего слуги, стало быть, у тебя есть слуга; у меня нет слуг, и я принужден собственноручно чистить овощи; ты

брезгаешь моей стряпней, потому что обедаешь за табльдотом в гостинице Принцев или в Кафе-де-Пари. А ведь я тоже мог бы иметь слугу и коляску, я тоже мог бы обедать, где вздумается, а почему я лишаю себя всего этого? Чтобы не огорчать моего маленького Бенедетто. Признай по крайней мере, что я прав.

И недвусмысленный взгляд Кадрусса подкрепил эти слова.

— Ладно, — сказал Андреа, — допустим, что ты меня любишь. Но зачем тебе понадобилось, чтобы я пришел завтракать?

— Да чтобы видеть тебя, малыш.

— Чтобы видеть меня, а зачем? Ведь мы с тобой обо всем уже условились.

— Эх, милый друг, — сказал Кадрусс, — разве бывают завещания без приписок? Но прежде всего давай позавтракаем. Садись, и начнем с сардинок и свежего масла, которое я в твою честь положил на виноградные листья, злючка ты этакий. Но я вижу, ты рассматриваешь мою комнату, мои четыре соломенных стула, грошовые картинки на стенах. Что прикажешь, здесь не гостиница Принцев!

— Вот ты уже жалуешься, ты недоволен, а сам ведь мечтал о том, чтобы жить как булочник,

удалившийся от дел.

Кадрусс вздохнул.

— Ну, что скажешь? Ведь твоя мечта сбылась.

— Скажу, что это только мечта; булочник на покое, милый Бенедетто, человек богатый, имеет ренту.

— Черт побери, и у тебя есть рента.

— У меня?

— Да, у тебя, ведь я же принес тебе твои двести франков.

Кадрусс пожал плечами.

— Это унизительно, — сказал он, — получать деньги, которые даются так нехотя, неверные деньги, которых я в любую минуту могу лишиться. Ты сам понимаешь, что мне приходится откладывать на случай, если твоему благополучию придет конец. Эх, друг мой! Счастье непостоянно, как говорил священник у нас… в полку. Впрочем, я знаю, что твое благополучие не имеет границ, негодяй: ты женишься на дочери Данглара.

— Что? Данглара?

— Разумеется, Данглара! Или нужно сказать:

барона Данглара? Это все равно, как если бы я сказал: графа Бенедетто! Ведь мы с Дангларом приятели, и не будь у него такая плохая память, ему следовало бы пригласить меня на твою свадьбу… ведь был же он на моей… да, да, да, на моей! Да-с, в те времена он не был таким гордецом. Это был маленький служащий у господина Морреля. Не один раз обедал я вместе с ним и с графом де Морсером… Видишь, какие у меня знатные знакомства, и если бы я пожелал их поддерживать, мы с тобой встречались бы в одних и тех же гостиных.

— Ты от зависти совсем заврался, Кадрусс.

— Ладно, милый мой Бенедетто. Я знаю, что говорю. Быть может, в один прекрасный день мы тоже напялим на себя праздничный костюм и скажем у какого-нибудь богатого подъезда: "Откройте, пожалуйста!" А пока садись и давай завтракать.

Кадрусс показал пример и с аппетитом принялся за еду, расхваливая все блюда, которыми он угощал посетителя. Тот, по-видимому, покорился необходимости, бодро раскупорил бутылки и принялся за буйабес и треску, жаренную в прованском масле с чесноком.

— А, приятель, — сказал Кадрусс, — ты как буд-

то идешь на мировую со своим старым поваром?

— Каюсь, — ответил Андреа, молодой, здоровый аппетит которого на время одержал верх над всеми другими соображениями.

— И что же, вкусно, мошенник?

— Очень вкусно! Не понимаю, как человек, который стряпает и ест такие лакомые блюда, может быть недоволен своей жизнью.

— Видишь ли, — сказал Кадрусс, — все мое счастье отравлено одной мыслью.

— Какой?

— А той, что я живу за счет друга, — я, который всегда честно зарабатывал себе на пропитание.

— Нашел о чем беспокоиться, — сказал Андреа, — у меня хватит на двоих, не стесняйся.

— Нет, право, верь, не верь, но к концу каждого месяца меня мучает совесть.

— Полно, Кадрусс!

— Так мучает, что вчера я даже не взял этих двухсот франков.

— Да, ты хотел меня видеть, но разве из-за угрызений совести?

— Именно поэтому. Кроме того, мне пришла мысль.

Андреа вздрогнул: его всегда бросало в дрожь от мыслей Кадрусса.

— Видишь ли, — продолжал тот, — это отвратительно— постоянно жить в ожидании первого числа.

— Эх, — философски заметил Андреа, решив доискаться, куда клонит его собеседник, — разве вся жизнь не проходит в ожидании? А я как живу? Я просто терпеливо жду, верно?

— Да, потому что, вместо того чтобы ждать какие-то несчастные двести франков, ты ждешь пять или шесть тысяч, а то и десять, а то и двенадцать. Ведь ты у нас хитрец. У тебя всегда водились какие-то кошельки, копилки, которые ты прятал от бедняги Кадрусса. К счастью, у этого самого Кадрусса был хороший нюх.

— Опять ты чепуху мелешь, — сказал Андреа, — все о прошлом да о прошлом — к чему это, скажи на милость?

— Тебе только двадцать один год, тебе нетрудно забыть прошлое, а мне пятьдесят, и я волей-неволей возвращаюсь к нему. Но поговорим о делах.

— Наконец-то.

— Будь я на твоем месте…

— Ну?

— Я реализовал бы свой капитал.

— Реализовал?

— Да, я попросил бы деньги на полгода вперед,

под тем предлогом, что хочу купить недвижимость и приобрести избирательные права. А получив деньги, я удрал бы.

— Так-так-так! — сказал Андреа. — Это, пожалуй, неплохая мысль!

— Милый друг, — сказал Кадрусс, — ешь мою стряпню и следуй моим советам: от этого ты только выиграешь душой и телом.

— А почему ты сам не воспользуешься своим советом? — сказал Андреа. — Почему ты не реализуешь деньги за полгода, даже за год, и не уедешь в Брюссель? Вместо того, чтобы изображать бывшего булочника, ты имел бы вид настоящего банкрота. Это теперь модно.

— Но что же я сделаю, имея в кармане тысячу двести франков?

— Какой ты стал требовательный, Кадрусс! — сказал Андреа. — Два месяца тому назад ты помирал с голоду.

— Аппетит приходит во время еды, — сказал Кадрусс, скаля зубы, как смеющаяся обезьяна или как рычащий тигр. — Поэтому я и наметил себе план, — прибавил он, впиваясь своими белыми и острыми, невзирая на возраст, зубами в огромный ломоть хлеба.

Планы Кадрусса страшили Андреа еще больше,

чем его мысли: мысли были только зародышами, а план уже грозил осуществлением.

— Что же это за план? — сказал он. — Уж, наверно, хорош!

— А что? Кто придумал план, благодаря которому мы покинули некое заведение? Как будто я. От этого он не стал хуже; мне кажется, иначе мы с тобой не сидели бы здесь!

— Да я не спорю, — сказал Андреа, — ты иной раз говоришь дело. Но какой же у тебя план?

— Послушай, — продолжал Кадрусс, — можешь ли ты, не выложив ни одного су, добыть мне тысяч пятнадцать франков… нет, пятнадцати тысяч мало, я не согласен сделаться порядочным человеком меньше чем за тридцать тысяч франков.

— Нет, — сухо ответил Андреа, — этого я не могу.

— Ты, я вижу, меня не понял, — холодно и невозмутимо продолжал Кадрусс, — я сказал: не выложив ни одного су.

— Что же ты хочешь? Чтобы я украл и испортил все дело, и твое и мое, и чтобы нас опять отправили кое-куда?

— Что до меня, — сказал Кадрусс, — мне все равно, пусть забирают. Я, знаешь ли, со странностями. Я иногда скучаю по товарищам, не то, что

ты, сухарь! Ты рад бы никогда с ними больше не встретиться!

Андреа на этот раз не только вздрогнул: он побледнел.

— Брось дурить, Кадрусс, — сказал он.

— Да ты не бойся, Бенедетто, ты мне только укажи способ добыть без всякого твоего участия эти тридцать тысяч франков и предоставь все мне.

— Ладно, я подумаю, — сказал Андреа.

— А пока ты увеличишь мою пенсию до пятисот франков, хорошо? Я, видишь ли, решил нанять служанку.

— Ладно, ты получишь пятьсот франков, — сказал Андреа, — но мне это нелегко, Кадрусс… ты злоупотребляешь…

— Да что там! — сказал Кадрусс. — Ведь ты черпаешь из бездонных сундуков!

По-видимому, Андреа только и ждал этих слов; его глаза блеснули, но тотчас же померкли.

— Это верно, — ответил Андреа, — мой покровитель очень добр ко мне.

— Какой милый покровитель! — сказал Кадрусс. — И он выдает тебе ежемесячно?..

— Пять тысяч франков, — сказал Андреа.

— Столько же тысяч, сколько ты мне обещал сотен, — заметил Кадрусс, — верно говорят, что

незаконнорожденным везет. Пять тысяч франков в месяц… Куда же, черт возьми, можно девать столько денег?

— Бог мой! Истратить их недолго, и я, как ты, мечтаю иметь капитал.

— Капитал… понятно… всякий хотел бы иметь капитал.

— А у меня он будет.

— Кто же тебе его даст? Твой князь?

— Да, мой князь, но, к сожалению, я должен еще подождать.

— Подождать чего? — спросил Кадрусс.

— Его смерти.

— Смерти твоего князя?

— Да.

— Почему это?

— Потому что он упоминает меня в своем завещании.

— Правда?

— Честное слово!

— А сколько?.

— Пятьсот тысяч.

— Вон куда хватил!

— Я тебе говорю.

— Быть не может!

— Кадрусс, ты мне друг?

— А как же! На жизнь и на смерть.

— Я открою тебе тайну.

— Говори.

— Но только помни…

— Буду нем как рыба.

— Так вот, мне кажется…

Андреа замолчал и оглянулся.

— Тебе кажется… Да ты не бойся! Мы совсем одни!

— Мне кажется, что я нашел своего отца.

— Настоящего отца?

— Да.

— Не папашу Кавальканти?

— Нет, тот уехал; настоящего, как ты говоришь.

— И этот отец…

— Кадрусс, это граф де Монте-Кристо.

— Да что ты!

— Да, тогда, видишь ли, все становится понятным. Он, видимо, не может открыто признать меня, но меня по его воле признает старик Кавальканти и получает за это пятьдесят тысяч франков.

— Пятьдесят тысяч франков за то, чтобы стать твоим отцом! Я бы согласился за полцены, за двадцать тысяч, за пятнадцать тысяч. Как же ты

не подумал обо мне, неблагодарный?

— Да разве я знал об этом? Все это было устроено, когда мы еще были там.

— Да, верно. И ты говоришь, что в своем завещании…

— Он оставляет мне пятьсот тысяч франков.

— Ты уверен?

— Он сам мне показывал, но это еще не все.

— Существует приписка, как я говорил?

— Вероятно.

— Ив этой приписке?

— Он признает меня своим сыном.

— Что за добрый отец, славный отец, достойнейший отец! — воскликнул Кадрусс, подкидывая в воздух тарелку и ловя ее обеими руками.

— Вот видишь! Скажи после этого, что у меня есть от тебя тайны!

— Ты прав, и твое доверие ко мне делает тебе честь. И что же, этот князь, твой отец — богатый человек, богатейший?

— Еще бы. Он сам не знает, сколько у него денег.

— Да не может быть!

— Кому же знать, как не мне: ведь я вхож к нему в любое время. На днях банковский служащий принес ему пятьдесят тысяч франков в бумаж-

нике величиною с твою скатерть, а вчера сам банкир привез ему сто тысяч золотом.

Кадрусс был ошеломлен; в словах Андреа ему чудился звон металла, шум пересыпаемых червонцев.

— И ты вхож в этот дом? — наивно воскликнул он.

— Во всякое время.

Кадрусс помолчал; было видно, что его занимает какая-то важная мысль.

Вдруг он воскликнул:

— Как бы мне хотелось видеть все это! Как все это должно быть прекрасно!

— Да, правда, — сказал Андреа, — он живет великолепно.

— Ведь он, кажется, живет на Елисейских полях?

— Номер тридцать.

— Номер тридцать? — повторил Кадрусс.

— Да, великолепный особняк, с двором и садом, ты должен знать!

— Очень возможно, но меня интересует не внешний вид, а внутренний; какая, должно быть, там прекрасная обстановка!

— Ты когда-нибудь бывал в Тюильри?

— Нет.

— У него гораздо лучше.

— Скажи, Андреа, должно быть, приятно бывает нагнуться, когда этот добрый Монте-Кристо уронит кошелек?

— Незачем ждать этого, — сказал Андреа, — деньги в этом доме и так валяются, как яблоки в саду.

— Ты бы когда-нибудь взял меня с собой.

— Как же это можно? В качестве кого?

— Ты прав, но у меня от твоих слов слюнки потекли. Я непременно должен это видеть собственными глазами, я уж найду способ.

— Не дури, Кадрусс!

— Я скажу, что я полотер.

— Там всюду ковры.

— Ах, черт! Значит, мне придется только воображать себе все это.

— Поверь, это будет лучше всего.

— Ну, хоть расскажи мне, что там есть?

— Как же я тебе расскажу?

— Ничего нет легче. Дом большой?

— Не большой и не маленький.

— А как расположены комнаты?

— Ну, знаешь, если тебе нужен план, давай бумагу и чернила.

— Сейчас дам! — поспешно заявил Кадрусс.

И он взял со старенького письменного стола лист бумаги, чернила и перо.

— Вот! — сказал Кадрусс. — Изобрази-ка мне это на бумаге, сынок.

Андреа едва заметно улыбнулся, взял перо и приступил к делу.

— При доме, как я уже тебе говорил, есть двор и сад; вот посмотри.

И Андреа начертил сад, двор и дом.

— Ограда высокая?

— Нет, футов восемь или десять, не больше.

— Это большая неосторожность, — сказал Кадрусс.

— Во дворе — кадки с померанцевыми деревьями, лужайки, цветники.

— А капканов нет?

— Нет.

— А где конюшни?

— По обе стороны ворот, вот здесь и здесь.

И Андреа продолжал чертить.

— Нарисуй мне нижний этаж, — сказал Кадрусс.

— В нижнем этаже — столовая, две гостиные, бильярдная, прихожая, парадная лестница и внутренняя лестница.

— Окна?

— Окна великолепные, большие, широкие. Я думаю, в каждое стекло мог бы пролезть человек твоего роста.

— И на кой черт устраивают лестницы, когда в доме имеются такие окна.

— Что поделаешь! Роскошь!

— А ставни есть?

— Ставни есть, но их никогда не закрывают. Большой оригинал этот граф Монте-Кристо, любит смотреть на небо даже по ночам.

— А где спят слуги?

— У них отдельный дом. Представляешь, направо от входа отличный сарай, где хранятся пожарные лестницы. А над этим сараем комнаты для слуг, у каждого своя, и туда из дома проведены звонки.

— Звонки, черт возьми!

— Ты что?

— Нет, ничего. Я говорю, звонки — штука дорогая, а на что они, скажи на милость?

— Прежде там была собака, которая всю ночь бродила по двору, но ее отвезли в Отей, — знаешь, в тот дом, куда ты приходил?

— Да.

— Я ему вчера еще говорил: "Это очень неосторожно с вашей стороны, граф; ведь когда вы

уезжаете в Отей и увозите с собой всех ваших слуг, в доме никого нет".

"Ну и что же?" — спросил он.

"А то, что вас в один прекрасный день обкрадут".

— И что он ответил?

— Что он ответил?

— Да.

— Он ответил: "Ну и пускай обкрадут".

— Андреа, там, наверное, есть какая-нибудь конторка с западней?

— С какой западней

— А вот с такой: схватит вора за руку, и тут же начинает играть музыка. Я слышал, что такую показывали на последней выставке.

— Там есть только секретер красного дерева, и в нем всегда торчит ключ.

— И твоего графа не обкрадывают?

— Нет, все его слуги ему очень преданы.

— И какая должна быть прорва денег в этом секретере!

— Там, может быть... впрочем, кто его знает!

— А где он стоит?

— Во втором этаже.

— Нарисуй-ка мне, малыш, заодно примерный план второго этажа.

— Чего проще.

И Андреа снова взялся за перо.

— Во втором, видишь ли, есть прихожая, гостиная; направо от гостиной — библиотека и рабочий кабинет, налево от гостиной — спальня и будуар. В будуаре и стоит этот самый секретер.

— А окна там есть?

— Два: тут и тут.

И Андреа нарисовал два окна в небольшой угловой комнате, которая примыкала к более просторной спальне графа.

Кадрусс задумался.

— И часто он уезжает в Отей? — спросил он.

— Раза два-три в неделю, завтра, например, он собирается туда на весь день и будет там ночевать.

— Ты в этом уверен?

— Он пригласил меня туда обедать.

— Ну и жизнь! — сказал Кадрусс. — Дом в городе, дом за городом.

— На то он и богач.

— А ты поедешь к нему обедать?

— Наверно.

— Когда ты у него там обедаешь, ты и ночевать остаешься?

— Как вздумается. Я у графа как у себя дома.

Кадрусс взглянул на молодого человека таким взглядом, словно хотел вырвать истину из глубины его сердца. Но Андреа вынул из кармана портсигар, выбрал себе гавану, спокойно закурил и стал небрежно пускать кольца дыма.

— Когда тебе угодно получить свои пятьсот франков? — спросил он Кадрусса.

— Да хоть сейчас, если они с тобой.

Андреа достал из кармана двадцать пять луидоров.

— Канареечки, — сказал Кадрусс, — нет, покорно благодарю!

— Ты ими брезгаешь?

— Напротив, я их очень уважаю, но я их не хочу.

— Да ведь ты наживешь на размене, болван: на золотой дают на пять су больше.

— Знаю, а потом меняла велит выследить беднягу Кадрусса, а потом его зацапают, а потом ему придется разъяснять, какие такие арендаторы вносят ему платежи золотом. Не дури, малыш, давай просто серебро, кругляшки с портретом какого-нибудь монарха. Монета в пять франков у всякого найдется.

— Да не могу же я носить с собой пятьсот франков серебром: мне пришлось бы взять но-

сильщика.

— Ну, так оставь их в гостинице, у швейцара, — он честный малый; я схожу за ними.

— Сегодня?

— Нет, завтра, сегодня я занят.

— Ладно, завтра, отправляясь в Отей, я оставлю их у него.

— Я могу рассчитывать на это?

— Вполне.

— Дело в том, что я заранее хочу сговориться со служанкой.

— Сговаривайся. Но на этом и конец? Ты не будешь больше приставать ко мне?

— Никогда.

Кадрусс стал так мрачен, что Андреа боялся, не придется ли ему обратить внимание на эту перемену. Поэтому он постарался казаться еще веселее и беспечнее.

— С чего ты так развеселился, — сказал Кадрусс, — можно подумать, что ты уже получил наследство!

— Нет еще, к сожалению!.. Но в тот день, когда я получу его…

— Что тогда?

— Одно тебе скажу: тогда я не забуду своих друзей.

— Ну, еще бы, с твоей-то памятью.

— Да, я думал, ты будешь с меня деньги тянуть.

— Это я-то? Скажешь тоже! Напротив, я дам тебе добрый совет.

— Какой?

— Оставь здесь это кольцо с бриллиантом. Ты что же хочешь, чтобы нас поймали? Хочешь этакой глупостью погубить нас обоих?

— А что такое? — спросил Андреа.

— Да как же? Ты надеваешь ливрею, выдаешь себя за слугу, а оставляешь у себя на пальце брильянт в пять тысяч франков.

— Черт побери! Ты угадал! Почему ты не поступишь в оценщики?

— Да, уж я знаю толк в брильянтах; у меня у самого они бывали.

— Ты бы побольше этим хвастал! — сказал Андреа и, ничуть не сердясь, вопреки опасениям Кадрусса, на это новое вымогательство, благодушно отдал ему кольцо.

Кадрусс близко поднес его к глазам, и Андреа понял, что он рассматривает грани.

— Это фальшивый брильянт, — сказал Кадрусс.

— Да ты шутишь, что ли? — сказал Андреа.

— Не сердись, сейчас проверим.

Кадрусс подошел к окну и провел камнем по

стеклу; послышался скрип.

— Confiteor[8],— сказал Кадрусс, надевая кольцо на мизинец. — Я ошибся, но эти жулики-ювелиры так ловко подделывают камни, что прямо страшно забираться в ювелирные лавки. Вот еще одно отмирающее ремесло!

— Ну что, — сказал Андреа, — теперь конец? Что тебе еще угодно? Отдать тебе куртку, а может, заодно и фуражку? Не церемонься, пожалуйста.

— Нет, ты, в сущности, парень хороший. Я больше тебя не держу и постараюсь обуздать свое честолюбие.

— Но берегись, продавая брильянт, не попади в такую передрягу, какой ты опасался с золотыми монетами.

— Не беспокойся, я не собираюсь его продавать.

"Во всяком случае, до послезавтра", — подумал Андреа.

— Счастливый ты, мошенник, — сказал Кадрусс. — Ты возвращаешься к своим лакеям, к своим лошадям, экипажу и невесте!

— Конечно, — сказал Андреа.

— Я надеюсь, ты мне сделаешь хороший сва-

---

[8] Примечания: 8
Каюсь *(лат.)*.

дебный подарок в тот день, когда женишься на дочери моего друга Данглара?

— Я уже говорил, что это просто твоя фантазия.

— Сколько за ней приданого?

— Да я же тебе говорю…

— Миллион?

Андреа пожал плечами.

— Будем считать миллион, — сказал Кадрусс, — но сколько бы у тебя ни было, я желаю тебе еще больше.

— Спасибо, — сказал Андреа.

— Это от чистого сердца, — прибавил Кадрусс, расхохотавшись. — Погоди, я провожу тебя.

— Не стоит трудиться.

— Очень даже стоит.

— Почему?

— Потому что у меня замок с маленьким секретом — я надумал из осторожности им обзавестись, — замок системы Юре и Фише, просмотренный и исправленный Гаспаром Кадруссом. Я тебе сделаю такой же, когда ты станешь капиталистом.

— Благодарю, — сказал Андреа, — я предупрежу тебя за неделю.

Они расстались. Кадрусс остался стоять на площадке лестницы, пока не убедился собственными

глазами, что Андреа не только спустился по лестнице, но и пересек двор. Тогда он поспешно вернулся к себе, тщательно запер дверь и, точно опытный архитектор, принялся изучать план, оставленный ему Андреа.

— Мне кажется, — сказал он, — что этот милый Бенедетто не прочь получить наследство, и тот, кто приблизит день, когда ему достанутся в руки пятьсот тысяч франков, будет не худшим из его друзей.

V
КРАЖА СО ВЗЛОМОМ

На следующий день после того, как происходил переданный нами разговор, граф де Монте-Кристо и в самом деле уехал в Отей вместе с Али, несколькими слугами и с лошадьми, которых он хотел испытать.

Еще накануне он и не думал, что поедет, так же как не думал об этом Андреа. Эта поездка была вызвана главным образом возвращением из Нормандии Бертуччо, который привез новости о доме и о корвете. Дом был вполне готов, а корвет уже неделю стоял на якоре в маленькой бухте со всем своим экипажем из шести человек, исполнил

все нужные формальности и мог в любое время выйти в море.

Монте-Кристо похвалил Бертуччо за расторопность и предложил ему быть готовым к скорому отъезду, так 272 как намеревался покинуть Францию не позже чем через месяц.

— А пока, — сказал он ему, — возможно, что мне понадобится проехать в одну ночь из Парижа в Трепор. Я хочу, чтобы мне были приготовлены на пути восемь подстав, так чтобы я мог сделать эти пятьдесят льё за десять часов.

— Ваше сиятельство уже высказывали это желание, — отвечал Бертуччо, — и лошади готовы. Я их купил и сам разместил в наиболее удобных пунктах, то есть в таких деревнях, где никто обычно не останавливается.

— Отлично, — сказал Монте-Кристо, — я останусь здесь день-два, сообразуйтесь с этим.

Как только Бертуччо вышел из комнаты, чтобы отдать нужные распоряжения, на пороге показался Батистен; он нес письмо на золоченом подносе.

— Вы зачем явились? — спросил граф, увидя, что он весь в пыли. — Я вас, кажется, не звал?

Батистен, не отвечая, подошел к графу и подал ему письмо.

— Очень важное и спешное, — сказал он.

Граф вскрыл письмо и прочел:

"Господина де Монте-Кристо предупреждают, что сегодня ночью в его дом на Елисейских полях проникнет человек, чтобы выкрасть документы, которые он считает спрятанными в конторке, стоящей в будуаре; граф де Монте-Кристо настолько отважный человек, что не станет вмешивать в это дело полицию, каковое вмешательство могло бы сильно повредить тому, кто сообщает эти сведения. Граф может сам разделаться со взломщиком или через отверстие в стене, отделяющей спальню от будуара, или спрятавшись в самом будуаре. Присутствие многих людей и принятие видимых мер предосторожности, несомненно, остановят злоумышленника, и господин де Монте-Кристо упустит возможность узнать врага, случайно обнаруженного тем лицом, которое предупреждает об этом графа и которое, быть может, окажется уже не в состоянии сделать это вторично, если, при неудаче этой попытки, злоумышленник надумал бы совершить новую".

Первой мыслью, мелькнувшей у графа, было подозрение, что это воровская уловка, грубая западня, что его извещают о небольшой опасности,

чтобы отвлечь его внимание от опасности более серьезной. Он уже собирался отослать письмо полицейскому комиссару, невзирая на предупреждение, а может быть, именно благодаря предупреждению своего анонимного доброжелателя, как вдруг у него мелькнула мысль: не встретится ли он действительно с каким-нибудь личным своим врагом, которого только он и может узнать и который, в случае необходимости, только ему одному и может на что-нибудь пригодиться, как случилось с Фиеско и тем мавром, который хотел его убить.

Мы знаем графа, поэтому нам нечего говорить о том, что это был человек отважный и сильный духом, бравшийся за невозможное с той энергией, которая отличает людей высшего порядка. Вся его жизнь, принятое и неуклонно выполняемое им решение ни перед чем не отступать научили графа черпать неизведанные наслаждения в его битвах против природы, которая есть Бог, и против мира, который можно было бы назвать дьяволом.

— Они вряд ли собираются красть у меня документы, — сказал Монте-Кристо, — они хотят убить меня; это не воры, это убийцы. Я вовсе не желаю, чтобы господин префект полиции вме-

шивался в мои личные дела. Я, право, достаточно богат, чтобы не отягощать бюджет префектуры.

Граф позвал Батистена, который, подав письмо, вышел из комнаты.

— Немедленно возвращайтесь в Париж, — сказал он, — и привезите сюда всех оставшихся там слуг. Они все понадобятся мне здесь.

— Так в доме никого не останется, господин граф? — спросил Батистен.

— Нет, останется привратник.

— Может быть, господин граф примет во внимание, что от привратницкой до дома довольно далеко.

— Ну и что же?

— Могут ведь обокрасть весь дом, и привратник ничего не услышит.

— Кто может обокрасть?

— Воры.

— Вы осел, сударь. Я предпочитаю, чтобы воры разграбили весь дом, чем терпеть недостаток в прислуге.

Батистен поклонился.

— Вы понимаете, — сказал граф, — привезите сюда всех, до единого, но чтобы в доме все осталось как обычно; вы только закроете ставни нижнего этажа, вот и все.

— А во втором этаже?

— Вы же знаете, что их никогда не закрывают. Ступайте.

Граф велел сказать, что он пообедает один и что прислуживать будет Али.

Он спокойно пообедал с обычной умеренностью, а после обеда, приказав Али следовать за собой, вышел через калитку, дошел, как бы прогуливаясь, до Булонского леса, повернул, словно без особого умысла, в сторону Парижа и уже в сумерках очутился напротив своего дома на Елисейских полях.

В доме царила полная тьма, только слабый огонек светился в привратницкой, стоявшей, как и говорил Батистен, шагах в сорока от дома.

Монте-Кристо прислонился к дереву и своим зорким взглядом окинул двойную аллею, прохожих и соседние улицы, чтобы проверить, не подстерегает ли его кто-нибудь. Минут через десять он убедился, что никто за ним не следит.

Тогда он подбежал вместе с Али к калитке, быстро вошел и по черной лестнице, от которой у него был ключ, прошел в свою спальню, не коснувшись ни одной занавеси, так что даже привратник не подозревал, что в дом, который он считал пустым, вернулся его хозяин.

Войдя в спальню, граф дал Али знак остановиться, затем он прошел будуар и осмотрел его: все было как всегда, секретер стоял на своем месте, ключ торчал в замке. Он дважды повернул ключ, вынул его, подошел к двери спальни, снял скобу задвижки и вышел.

Тем временем Али принес и положил на стол указанное графом оружие: короткий карабин и пару двуствольных пистолетов, допускающих такой же верный прицел, как пистолеты, из которых стреляют в тире. Вооруженный таким образом, граф держал в своих руках жизнь пяти человек.

Было около половины десятого. Граф и Али наскоро закусили ломтем хлеба и стаканом испанского вина, затем граф нажал пружину одной из тех раздвижных филенок, благодаря которым он мог из одной комнаты видеть, что делается в другой. Рядом с ним лежали его пистолеты и карабин, а Али, стоя возле него, держал в руке один из тех арабских топориков, форма которых не изменилась со времен крестовых походов.

В одно из окон спальни, выходившее, как и окно будуара, на Елисейские поля, графу видна была улица.

Так прошло два часа; было совершенно темно,

а между тем Али своим острым зрением дикаря и граф благодаря привычке к темноте различали малейшее колебание ветвей во дворе.

Огонек в привратницкой уже давно потух.

Можно было предположить, что нападающие, если действительно предстояло нападение, пройдут по лестнице из нижнего этажа, а не влезут в окно. Монте-Кристо думал, что злоумышленники хотят его убить, а не обокрасть. Следовательно, их целью является его спальня, и они доберутся до нее или по потайной лестнице, или через окно будуара.

Он поставил Али у двери на лестницу, а сам продолжал наблюдать за будуаром.

На часах Дома инвалидов пробило без четверти двенадцать; сырой западный ветер донес до них три зловещих удара.

Не успел еще замереть последний удар, как граф уловил со стороны будуара легкий скрип, затем еще и еще; на четвертый раз граф перестал сомневаться. Опытная и твердая рука вырезала алмазом оконное стекло.

Сердце графа забилось быстрее. Как бы ни были люди закалены в тревогах, как бы ни были они готовы встретить грозящую опасность, они всегда чувствуют по ускоренному биению сердца и

по легкой дрожи, какая огромная разница между воображением и действительностью, между замыслом и исполнением.

Монте-Кристо знаком предупредил Али. Тот, поняв, что опасность надвигается со стороны будуара, подошел ближе к своему господину.

Монте-Кристо горел нетерпением узнать, кто его враги и сколько их.

Окно, которое скрипело под алмазом, приходилось как раз напротив отверстия, куда заглядывал граф. Его взгляд остановился на этом окне. Он увидел, что в ночном мраке вырисовывается какая-то еще более темная тень; вслед за тем одно из оконных стекол стало непроницаемым, как будто на него снаружи наклеили лист бумаги, потом стекло треснуло, но не упало. Через проделанное отверстие просунулась рука и стала искать задвижку; секунду спустя окно открылось и появился человек. Он был один.

— Вот смелый мошенник! — прошептал граф.

В эту минуту Али тихонько тронул его за плечо, он обернулся: Али показывал ему на то окно в спальне, которое выходило на улицу.

Монте-Кристо сделал три шага по направлению к этому окну: он знал изумительную чуткость своего верного слуги. И действительно, он уви-

дел, что от ворот напротив отделился человек и, взобравшись на тумбу, старается разглядеть, что происходит в доме.

— Так, — сказал он, — их двое: один действует, а другой сторожит.

Он дал знак Али не спускать глаз с человека на улице и вернулся к тому, который забрался в будуар.

Взломщик уже вошел в комнату и осторожно двигался, вытянув руки вперед.

Наконец он, по-видимому, освоился с обстановкой; в будуаре были две двери, и он обе запер на задвижки.

Когда он подходил к той, которая вела в спальню, Монте-Кристо подумал, что он собирается войти, и взялся за один из пистолетов, но услышал лишь шорох задвижки, скользящей в медных петлях. Это была мера предосторожности, и только; ночной посетитель, не зная, что граф позаботился снять скобу, мог теперь чувствовать себя как дома и совершенно спокойно приниматься за работу.

Взломщик неторопливо вытащил из своего широкого кармана какой-то предмет, поставил его на столик, затем подошел к секретеру, нащупал замок и заметил, что, вопреки его ожиданиям, ключа нет.

Но взломщик был человек опытный и все предвидел. Граф услышал характерное звяканье: так звякает связка отмычек в руках слесаря, пришедшего отпереть испорченный замок. Воры прозвали их "соловьями", вероятно, потому, что им доставляет удовольствие слушать, как они поют по ночам, со скрипом поворачиваясь в замке.

— Да это просто вор, — разочарованно пробормотал Монте-Кристо.

Но в темноте человек не мог подобрать подходящего инструмента. Тогда он прибег к помощи того предмета, который он поставил на столик; он нажал пружину, и тотчас же луч света, правда слабый, но все же достаточный для того, чтобы видеть, осветил его руки и лицо.

— Вот оно что! — чуть слышно вырвалось у Монте-Кристо, и он изумленно отступил на шаг. — Да ведь это...

Али поднял топорик.

— Стой на месте, — шепотом сказал ему Монте-Кристо, — и положи топор: оружие нам больше не понадобится.

Затем он прибавил несколько слов, еще понизив голос, потому что при вырвавшемся у него изумленном возгласе, хоть и еле слышном, взломщик встрепенулся и застыл в позе антич-

ного точильщика.

Выслушав графа, Али на цыпочках отошел от него, подошел к стене алькова и снял с вешалки черное одеяние и треугольную шляпу. Тем временем Монте-Кристо быстро сбросил с себя сюртук, жилет и сорочку. При свете тонкого луча, пробивавшегося через щель в филенке, можно было различить на груди у графа гибкую и тонкую стальную кольчугу, каких во Франции, где больше не страшатся кинжалов, уже никто не носит после Людовика XVI, который боялся быть заколотым и которому вместо этого отрубили голову.

Эта кольчуга тотчас же скрылась под длинной сутаной, как волосы графа — под париком с тонзурой; надетая поверх парика треугольная шляпа окончательно превратила графа в аббата.

Между тем взломщик, не слыша больше ни звука, снова выпрямился и, пока Монте-Кристо совершал свое превращение, подошел к секретеру, замок которого начал уже потрескивать под его "соловьем".

— Ладно, ладно, несколько минут ты еще повозишься! — прошептал граф, по-видимому полагаясь на какой-то секрет в замке, не известный взломщику, несмотря на всю его опытность.

И он подошел к окну.

Человек, который взобрался на тумбу, теперь слез с нее и шагал взад и вперед по улице, но, странное дело: вместо того чтобы следить за прохожими, которые могли появиться либо со стороны Елисейских полей, либо со стороны предместья Сент-Оноре, он, по-видимому, интересовался лишь тем, что происходило в доме графа, и всячески старался увидеть, что творится в будуаре.

Монте-Кристо вдруг хлопнул себя по лбу, и на его губах появилась молчаливая усмешка.

Он подошел к Али.

— Стой здесь в темноте, — тихо сказал он ему, — и что бы ты ни услышал, что бы ни произошло, не выходи отсюда и не показывайся, пока я тебя не кликну по имени.

Али кивнул в знак, что понял и повинуется.

Тогда Монте-Кристо достал из шкафа зажженную свечу и, выбрав минуту, когда вор был всецело поглощен замком, тихонько открыл дверь, стараясь, чтобы свет падал на его лицо.

Дверь открылась так тихо, что вор ничего не услышал. Но, к его великому изумлению, комната неожиданно осветилась.

Он обернулся.

— Добрый вечер, дорогой господин Кадрусс! — сказал Монте-Кристо. — Что это вы делаете здесь в такой поздний час?

— Аббат Бузони! — воскликнул Кадрусс.

И, не понимая, каким путем очутился здесь этот странный посетитель, раз он закрыл обе двери, он выронил связку отмычек и замер как в столбняке.

Граф стал между Кадруссом и окном, отрезав таким образом перепуганному вору единственный путь отступления.

— Аббат Бузони! — повторил Кадрусс, оторопело глядя на графа.

— Да, аббат Бузони! — сказал Монте-Кристо, — он самый, и я очень рад, что вы меня узнали, дорогой господин Кадрусс, это доказывает, что у вас хорошая память, потому что, если я не ошибаюсь, мы не виделись уже лет десять.

Это спокойствие, эта ирония, этот властный тон внушили Кадруссу такой ужас, что у него закружилась голова.

— Аббат! Аббат! — бормотал он, стискивая руки и стуча зубами.

— Итак, вы решили обокрасть графа де Монте-Кристо? — продолжал мнимый аббат.

— Господин аббат, — прошептал Кадрусс,

тщетно пытаясь проскользнуть мимо графа к окну, — господин аббат, я сам не знаю… поверьте… клянусь вам…

— Вырезанное стекло, — продолжал граф, — потайной фонарь, связка отмычек, наполовину взломанный секретер— все это говорит само за себя.

Кадрусс беспомощно озирался, отыскивая угол, куда бы спрятаться, или щель, через ‘ которую можно было бы улизнуть.

— Я вижу, вы все тот же, господин убийца, — сказал граф.

— Господин аббат, раз вы все знаете, вы должны знать, что это не я, это Карконта; это и суд признал: ведь меня приговорили только к галерам.

— Разве вы уже отбыли свой срок, что опять стараетесь туда попасть?

— Нет, господин аббат, меня освободил один человек.

— Этот человек оказал обществу недурную услугу.

— Но я обещал… — сказал Кадрусс.

— Итак, вы бежали с каторги? — прервал его Монте-Кристо.

— Увы, — ответил перепуганный Кадрусс.

— Рецидив при отягчающих обстоятельствах?..

За это, если не ошибаюсь, полагается гильотина. Тем хуже, diavolo, как говорят остряки у меня на родине.

— Господин аббат, я поддался искушению…

— Все преступники так говорят.

— Нужда…

— Бросьте, — презрительно сказал Бузони, — человек в нужде просит милостыню, крадет булку с прилавка, но не является в дом, полагая, что он пуст, взламывать секретер. А когда ювелир Жоаннес отсчитал вам сорок пять тысяч франков за тот алмаз, который вы от меня получили, и вы убили его, чтобы завладеть и алмазом, и деньгами, вы это тоже сделали из нужды?

— Простите меня, господин аббат, — сказал Кадрусс, — вы меня уже спасли однажды, спасите меня еще раз.

— Не имею особого желания повторять этот опыт.

— Вы здесь один, господин аббат? — спросил Кадрусс, умоляюще складывая руки. — Или у вас тут спрятаны жандармы, готовые схватить меня?

— *Я* совсем один, — сказал аббат, — и я готов сжалиться над вами, и, хотя мое мягкосердечие может привести к новым бедам, я вас отпущу,

если вы мне во всем признаетесь.

— Господин аббат, — воскликнул Кадрусс, делая шаг к Монте-Кристо, — вот уж поистине вы мой спаситель.

— Вы говорите, что вам помогли бежать с каторги?

— Это правда, верьте моему слову, господин аббат!

— Кто?

— Один англичанин.

— Как его звали?

— Лорд Уилмор.

— Я с ним знаком, и я проверю, не лжете ли вы.

— Господин аббат, я говорю чистую правду.

— Так этот англичанин вам покровительствовал?

— Не мне, а молодому корсиканцу, с которым мы были скованы одной цепью.

— Как звали этого молодого корсиканца?

— Бенедетто.

— Это только имя.

— У него не было фамилии, это найденыш.

— И этот молодой человек бежал вместе с вами?

— Да.

— Каким образом?

— Мы работали в Сен-Мандрие, около Тулона. Вы знаете Сен-Мандрие?

— Знаю.

— Ну так вот, пока все спали, от полудня до часу…

— Полуденный отдых у каторжников! Вот и жалей их после этого! — сказал аббат.

— А как же, — заметил Кадрусс. — Нельзя все время работать, мы не собаки.

— К счастью для собак, — сказал Монте-Кристо.

— Пока остальные отдыхали, мы немного отошли в сторону, перепилили наши кандалы напильником, который нам передал этот англичанин, и удрали вплавь.

— А что сталось с этим Бенедетто?

— Не знаю.

— Вы должны это знать.

— Нет, право, не знаю. Мы с ним расстались в Мере.

И чтобы придать больше весу своим уверениям, Кадрусс приблизился еще на шаг к аббату, который продолжал стоять на месте с тем же спокойным и вопрошающим видом.

— Вы лжете, — властно сказал аббат Бузони.

— Господин аббат!..

— Вы лжете! Этот человек по-прежнему ваш приятель, а может быть, и сообщник.

— Господин аббат!

— На какие средства вы жили с тех пор, как бежали из Тулона? Отвечайте.

— Как придется.

— Вы лжете! — в третий раз возразил аббат еще более властным тоном.

Кадрусс с ужасом посмотрел на графа.

— Вы жили, — продолжал тот, — на деньги, которые он вам давал.

— Да, правда, — сказал Кадрусс. — Бенедетто стал сыном знатного вельможи.

— Как же он может быть сыном вельможи?

— Побочным сыном.

— А как зовут этого вельможу?

— Граф де Монте-Кристо, хозяин этого дома.

— Бенедетто — сын графа? — сказал Монте-Кристо, в свою очередь изумленный.

— Да, по всему так выходит. Граф нашел ему подставного отца, граф дает ему четыре тысячи франков в месяц, граф оставил ему по завещанию пятьсот тысяч франков.

— Вот оно что! — сказал мнимый аббат, начиная догадываться, в чем дело. — А какое имя

носит пока этот молодой человек?

— Андреа Кавальканти.

— Так это тот самый молодой человек, которого принимает у себя мой друг граф Монте-Кристо и который собирается жениться на Мадемуазель Данглар?

— Вот именно.

— И вы это терпите, несчастный! Зная его жизнь и лежащее на нем клеймо?

— Ас какой стати я буду мешать товарищу? — спросил Кадрусс.

— Верно, это уж мое дело предупредить господина Данглара.

— Не делайте этого, господин аббат!

— Почему?

— Потому что вы этим лишили бы нас куска хлеба.

— И вы думаете, что для того, чтобы сохранить двум таким негодяям кусок хлеба, я стану участником их плутней, сообщником их преступлений?

— Господин аббат! — умолял Кадрусс, еще ближе подступая к нему.

— Я все скажу.

— Кому?

— Господину Данглару.

— Черта с два! — воскликнул Кадрусс, выхватывая нож и ударяя графа в грудь. — Ничего ты не скажешь, аббат!

К полному изумлению Кадрусса, лезвие не вонзилось в грудь, а отскочило.

В тот же миг граф схватил левой рукой кисть Кадрусса и вывернул ее с такой силой, что нож выпал из его онемевших пальцев и злодей вскрикнул от боли.

Но граф, не обращая внимания на его крики, продолжал выворачивать ему кисть до тех пор, пока он не упал сначала на колени, а затем ничком на пол.

Граф поставил ногу ему на голову и сказал:

— Следовало бы размозжить тебе череп, негодяй.

— Пощадите, пощадите! — кричал Кадрусс.

Граф снял ногу.

— Вставай! — сказал он.

Кадрусс встал на ноги.

— Ну и хватка у вас, господин аббат! — сказал он, потирая онемевшую руку. — Ну и силища!

— Молчи! Бог дает мне силу укротить такого кровожадного зверя, как ты. Я действую во имя его, помни это, мерзавец. И если я щажу тебя в эту минуту, то только для того, чтобы содействовать

промыслу Божию.

— Уф! — пробормотал Кадрусс, морщась от боли.

— Вот тебе перо и бумага. Пиши то, что я тебе продиктую.

— Я не умею писать, господин аббат.

— Лжешь; бери перо и пиши!

Кадрусс покорно сел и написал:

"Милостивый государь, человек, которого Вы принимаете у себя и за которого намереваетесь выдать вашу дочь, — беглый каторжник, бежавший вместе со мной с Тулонской каторги; он значился под № 59, а я под № 58.

Его звали Бенедетто; своего настоящего имени он сам не знает, потому что он никогда не знал своих родителей".

— Подпишись! — продолжал граф.

— Вы хотите погубить меня?

— Если бы я хотел погубить тебя, глупец, я бы отправил тебя в полицию. К тому же, когда эта записка попадет по адресу, тебе, по всей вероятности, уже нечего будет опасаться; подписывайся.

Кадрусс подписался.

— Пиши: "Господину барону Данглару, банкиру, улица Шоссе-д'Антен".

Кадрусс надписал адрес.

Аббат взял записку в руки.

— Теперь уходи, — сказал он.

— Каким путем?

— Каким пришел.

— Вы хотите, чтобы я вылез в это окно?

— Ты же влез в него.

— Вы замышляете что-то против меня, господин аббат?

— Дурак, что же я могу замышлять?

— Почему вам не выпустить меня через ворота?

— Зачем будить привратника?

— Господин аббат, скажите мне, что вы не желаете моей смерти.

— Я хочу того, чего хочет Господь.

— Но поклянитесь, что вы не убьете меня, пока я буду спускаться.

— Какой же ты трус!

— Что вы со мной сделаете?

— Об этом тебя надо спросить. Я пытался сделать из тебя счастливого человека, а ты стал убийцей!

— Господин аббат, — сказал Кадрусс, — попытайтесь в последний раз.

— Хорошо, — сказал граф. — Ты знаешь, что я всегда держу свое слово?

— Да, — сказал Кадрусс.

— Если ты вернешься к себе домой цел и невредим…

— Кого же мне бояться, кроме вас?

— Если ты вернешься домой цел и невредим, покинь Париж, покинь Францию, и, где бы ты ни был, до тех пор, пока ты будешь вести честную жизнь, ты будешь получать от меня небольшое содержание, ибо, если ты вернешься домой цел и невредим, то…

— То?.. — спросил дрожащий Кадрусс.

— То я буду считать, что Господь простил тебя, и я тоже тебя прощу.

— Клянусь Богом, вы меня до смерти пугаете! — пробормотал, отступая, Кадрусс.

— Теперь уходи! — сказал граф, указывая Кадруссу на окно.

Кадрусс, еще не вполне успокоенный этим обещанием, вылез в окно и поставил ногу на приставную лестницу. Там он замер, весь дрожа.

— Теперь слезай, — сказал аббат, скрестив руки.

Кадрусс, наконец, уразумел, что с этой стороны ему ничего не грозит, и стал спускаться.

Тогда граф подошел к окну со свечой в руке, так что с улицы можно было видеть, как человек

спускается из окна, а другой ему светит.

— Что вы делаете, господин аббат? — сказал Кадрусс. — А если патруль…

И он задул свечу.

Затем он продолжал спускаться, но совершенно успокоился лишь тогда, когда ступил на землю.

Монте-Кристо вернулся в свою спальню и, окинув быстрым взглядом сад и улицу, увидел сначала Кадрусса, который, спустившись в сад, обошел его и приставил лестницу в противоположном конце ограды, для того чтобы перелезть не там, где он влезал.

Потом, взглянув опять на улицу, граф увидел, как поджидавший человек побежал по улице в ту же сторону, что и Кадрусс, и остановился как раз за тем углом, где тот собрался перелезть.

Кадрусс медленно поднялся по лестнице и, добравшись до последних перекладин, посмотрел через ограду, чтобы убедиться в том, что улица безлюдна.

Не было видно ни души, не слышно было ни малейшего шума.

Часы Дома инвалидов пробили час.

Тогда Кадрусс уселся верхом на ограду и, подтянув к себе лестницу, перекинул ее через стену; затем принялся снова спускаться, или, вернее,

стал съезжать по продольным брусьям с ловкостью, доказывающей, что это упражнение ему не внове.

Но, начав съезжать вниз, он не мог уже остановиться. Хоть он и увидел, уже на полпути, как из-за темного угла выскочил человек; хоть он и увидел, уже касаясь земли, как тот замахнулся на него, — но раньше, чем он успел принять оборонительное положение, занесенная рука с такой яростью ударила его в спину, что он выпустил лестницу с криком:

— Помогите!

Тут же он получил новый удар в бок и упал.

— Убивают! — закричал он и покатился по земле.

Противник вцепился ему в волосы и нанес ему третий удар в грудь.

На этот раз Кадрусс хотел снова крикнуть, но издал только стон, истекая кровью, тремя потоками струившейся из трех ран.

Убийца, увидав, что жертва больше не кричит, приподнял его голову за волосы: глаза Кадрусса были закрыты, рот перекошен. Убийца счел его мертвым, отпустил его голову и исчез.

Тогда Кадрусс, поняв, что он ушел, приподнялся на локте и из последних сил крикнул хриплым

голосом:

— Убили! Я умираю! Помогите, господин аббат, помогите!

Этот жуткий крик прорезал ночную тьму. Открылась дверь потайной лестницы, затем калитка сада, и Али и его хозяин подбежали с фонарями.

VI
ДЕСНИЦА ГОСПОДНЯ

Кадрусс все еще звал жалобным голосом:

— Господин аббат, помогите! Помогите!

— Что случилось? — спросил Монте-Кристо.

— Помогите! — повторил Кадрусс. — Меня убили.

— Мы идем, потерпите.

— Все кончено! Поздно! Вы пришли смотреть, как я умираю. Какие удары! Сколько крови!

И он потерял сознание.

Али и его хозяин подняли раненого и перенесли его в дом. Там Монте-Кристо велел Али раздеть его и увидел три страшные раны.

— Боже, — сказал он, — иногда твое мщение медлит, но тогда оно еще более грозным нисходит с неба.

Али посмотрел на своего господина, как бы спрашивая, что делать дальше.

— Отправляйся в предместье Сент-Оноре к господину де Вильфору, королевскому прокурору, и привези его сюда. По дороге разбуди привратника и пошли его за доктором.

Али повиновался и оставил мнимого аббата наедине с Кадруссом, все еще лежавшим без сознания.

Когда несчастный снова открыл глаза, граф, сидя в нескольких шагах от него, смотрел на него с выражением угрюмого сострадания и, казалось, беззвучно шептал молитву.

— Доктора, господин аббат, доктора, — простонал Кадрусс.

— За ним уже пошли, — ответил аббат.

— Я знаю, это бесполезно, меня не спасти, но, может быть, он подкрепит мои силы и я успею сделать заявление.

— О чем?

— О моем убийце.

— Так вы его знаете?

— Еще бы не знать! Это Бенедетто.

— Тот самый молодой корсиканец?

— Он самый.

— Ваш товарищ?

— Да. Он дал мне план графского дома, надеясь, должно быть, что я убью графа, и он получит наследство, или что граф меня убьет, и тогда он от меня избавится. А потом он подстерег меня на улице и убил.

— Я послал сразу и за доктором, и за королевским прокурором.

— Он опоздает, — сказал Кадрусс, — я чувствую, что вся кровь из меня уходит.

— Постойте, — сказал Монте-Кристо.

Он вышел из комнаты и через пять минут вернулся с флаконом в руках.

Глаза умирающего, страшные в своей неподвижности, во время его отсутствия ни на секунду не отрывались от двери, через которую, он чувствовал, должна была явиться помощь.

— Скорее, господин аббат, скорее! — сказал он. — Я сейчас потеряю сознание.

Монте-Кристо подошел к раненому и влил в его синие губы три капли жидкости из флакона.

Кадрусс глубоко вздохнул.

— Еще… еще… — сказал он. — Вы возвращаете мне жизнь.

— Еще две капли, и вы умрете, — ответил аббат.

— Что же никто не идет? Я хочу назвать убий-

цу!

— Хотите, я напишу за вас заявление? Вы его подпишете.

— Да… да… — сказал Кадрусс, и глаза его заблестели при мысли об этом посмертном мщении.

Монте-Кристо написал:

"Я умираю от руки убийцы, корсиканца Бенедетто, моего товарища по каторге в Тулоне, значившегося под

№ 59".

— Скорее, скорее! — сказал Кадрусс. — А то я не успею подписать.

Монте-Кристо подал Кадрусу перо, и тот, собрав все свои силы, подписал бумагу и откинулся назад.

— Остальное вы расскажете сами, господин аббат, — сказал он. — Вы скажете, что он называет себя Андреа Кавальканти, что он живет в гостинице Принцев, что… Боже мой, я умираю!

И Кадрусс снова лишился чувств. Аббат дал ему вдохнуть запах снадобья из флакона, и раненый снова открыл глаза.

Жажда мщения не оставила его, пока он лежал в обмороке.

— Вы все расскажете, правда, господин аббат?

— Все это, конечно, и еще многое другое.

— А что еще?

— Я скажу, что он, вероятно, дал вам план этого дома в надежде, что граф убьет вас. *Я* скажу, что он предупредил графа письмом; я скажу, что, так как граф был в отлучке, это письмо получил я и что я ждал вас.

— И его казнят, правда? — сказал Кадрусс. — Его казнят, вы обещаете? Я умираю с этой надеждой, так мне легче умереть.

— Я скажу, — продолжал граф, — что он явился следом за вами, что он все время вас подстерегал и что, увидев, как вы вылезли из окна, он забежал за угол и там спрятался.

— Так вы все это видели?

— Вспомни мои слова: "Если ты вернешься домой цел и невредим, я буду считать, что Господь простил тебя, и я тоже тебя прощу".

— И вы не предупредили меня? — воскликнул Кадрусс, пытаясь приподняться на локте. — Вы знали, что он меня убьет, как только я выйду отсюда, и вы меня не предупредили?

— Нет, потому что в руке Бенедетто я видел Божье правосудие, и я считал кощунством противиться воле Провидения.

— Божье правосудие! Не говорите мне о нем, господин аббат. Вы лучше всех знаете, что, если

бы оно существовало, некоторые люди были бы наказаны.

— Терпение, — сказал аббат голосом, от которого умирающий затрепетал, — терпение!

Кадрусс, пораженный, взглянул на графа.

— К тому же, — сказал аббат, — Господь милостив ко всем, он был милостив и к тебе. Он раньше всего отец, а затем уже судия.

— Так вы верите в Бога? — сказал Кадрусс.

— Если бы я имел несчастье не верить в него до сих пор, — сказал Монте-Кристо, — то я поверил бы теперь, глядя на тебя.

Кадрусс поднял к небу сжатые кулаки.

— Слушай, — сказал аббат, простирая руку над раненым, словно повелевая ему верить, — вот что сделал для тебя Бог, которого ты отвергаешь в свой смертный час: он дал тебе здоровье, силы, обеспеченный труд, даже друзей — словом, такую жизнь, которая удовлетворила бы всякого человека со спокойной совестью и естественными желаниями. Что сделал ты, вместо того чтобы воспользоваться этим дарами, которые Бог столь редко посылает с такой щедростью? Ты погряз в лености и пьянстве и, пьяный, предал одного из своих лучших друзей.

— Помогите! — закричал Кадрусс. — Мне нужен

не священник, а доктор; быть может, мои раны не смертельны, я не умру, меня можно спасти!

— Ты ранен смертельно, и не дай я тебе трех капель этой жидкости, ты был бы уже мертв. Слушай же!

— Странный вы священник! — прошептал Кадрусс. — Вместо того чтобы утешать умирающих, вы лишаете их последней надежды!

— Слушай, — продолжал аббат, — когда ты предал своего друга, Бог, еще не карая, предостерег тебя; ты впал в нищету, ты познал голод. Половину той жизни, которую ты мог посвятить приобретению земных благ, ты испытывал зависть. Уже тогда ты думал о преступлении, оправдывал себя в собственных глазах нуждою. Господь явил тебе чудо, из моих рук даровал тебе в твоей нищете богатство, несметное для такого бедняка, как ты. Но это богатство, нежданное, негаданное, неслыханное, кажется тебе уже недостаточным, как только оно у тебя в руках, тебе хочется удвоить его. Каким же способом? Убийством. Ты удвоил его, и Господь отнял его у тебя и поставил тебя перед судом людским.

— Это не я, — сказал Кадрусс, — не я хотел убить того еврея, это все Карконта.

— Да, — сказал Монте-Кристо. — И Господь в

бесконечном своем милосердии не покарал тебя смертью, которой ты по справедливости заслуживал, но позволил, чтобы твои слова тронули судей, и они оставили тебе жизнь.

— Как же! И отправили меня на вечную каторгу! Хороша милость!

— Эту милость, несчастный, ты, однако, считал милостью, когда она была тебе оказана. Твое подлое сердце, трепещущее в ожидании смерти, забилось от радости, когда ты услышал о своем вечном позоре, потому что ты, как и все каторжники, сказал себе: с каторги можно уйти, а из могилы нельзя. И ты оказался прав: ворота тюрьмы неожиданно раскрылись для тебя. В Тулон приезжает англичанин, который дал обет избавить двух людей от бесчестия, его выбор падает на тебя и на твоего товарища; на тебя сваливается с неба новое счастье, у тебя есть и деньги и покой, ты можешь снова зажить человеческой жизнью, — ты, который был обречен на жизнь каторжника; тогда, несчастный, ты искушаешь Господа в третий раз. Мне этого мало, говоришь ты, когда на самом деле у тебя было больше, чем когда-либо раньше, и ты совершаешь третье преступление, ничем не вызванное, ничем не оправданное. Терпение Господне истощилось.

Господь покарал тебя.

Кадрусс слабел на глазах.

— Пить, — сказал он, — дайте пить… я весь горю!

Монте-Кристо подал ему стакан воды.

— Подлец Бенедетто, — сказал Кадрусс, отдавая стакан, — он-то вывернется.

— Никто не вывернется, говорю я тебе… Бенедетто будет наказан!

— Тогда и вы тоже будете наказаны, — сказал Кадрусс, — потому что вы не исполнили свой долг священника… Вы должны были помешать Бенедетто убить меня.

— Я! — сказал граф с улыбкой, от которой кровь застыла в жилах умирающего. — Я должен был помешать Бенедетто убить тебя, после того как ты сломал свой нож о кольчугу на моей груди!.. Да, если бы я увидел твое смирение и раскаяние, я, быть может, и помешал бы Бенедетто убить тебя, но ты был дерзок и коварен, и я дал свершиться воле Божьей.

— Я не верю в Бога! — закричал Кадрусс. — И ты тоже не веришь в него… ты лжешь… лжешь!..

— Молчи, — сказал аббат, — ты теряешь последние капли крови, еще оставшиеся в твоем теле… Ты не веришь в Бога, а умираешь пораженный

его рукой! Ты не веришь в Бога, а Бог ждет только одной молитвы, одного слова, одной слезы, чтобы простить… Бог, который мог так направить кинжал убийцы, чтобы ты умер на месте, Бог дал тебе эти минуты, чтобы раскаяться… Загляни в свою душу, несчастный, и покайся!

— Нет, — сказал Кадрусс, — нет, я ни в чем не раскаиваюсь. Бога нет, Провидения нет, есть только случай.

— Есть Провидение, есть Бог, — сказал Монте-Кристо. — Смотри: вот ты умираешь, в отчаянии отрицая Бога, а я стою перед тобой, богатый, счастливый, в расцвете сил, и возношу молитвы к тому Богу, в которого ты пытаешься не верить и все же веришь в глубине души.

— Но кто же вы? — сказал Кадрусс, устремив померкнувшие глаза на графа.

— Смотри внимательно, — сказал Монте-Кристо, беря свечу и поднося ее к своему лицу.

— Вы аббат… аббат Бузони…

Монте-Кристо сорвал парик и встряхнул длинными черными волосами, так красиво обрамлявшими его бледное лицо.

— Боже, — с ужасом сказал Кадрусс, — если бы не черные волосы, я бы сказал, что вы тот англичанин, лорд Уилмор.

— Я не аббат Бузони и не лорд Уилмор, — отвечал Монте-Кристо. — Вглядись внимательнее, вглядись в прошлое, в самые давние твои воспоминания.

В этих словах графа была такая магнетическая сила, что слабеющие чувства несчастного ожили в последний раз.

— В самом деле, — сказал он, — я словно уже где-то видел вас, я вас знал когда-то.

— Да, Кадрусс, ты меня видел, ты меня знал.

— Но кто же вы наконец? И почему, если вы меня знали, вы даете мне умереть?

— Потому что ничто не может тебя спасти, Кадрусс, раны твои смертельны. Если бы тебя можно было спасти, я увидел бы в этом последний знак милосердия Господня, и я бы попытался, клянусь тебе могилой моего отца, вернуть тебя к жизни и раскаянию.

— Могилой твоего отца! — сказал Кадрусс, в котором вспыхнула последняя искра жизни, и приподнялся, чтобы взглянуть поближе на человека, который произнес эту священнейшую из клятв. — Да кто же ты?

Граф не переставал следить за ходом агонии. Он понял, что эта вспышка — последняя; он наклонился над умирающим и остановил на нем

спокойный и печальный взор.

— Я… — сказал он ему на ухо, — я…

И с его еле раскрытых губ слетело имя, произнесенное так тихо, словно он сам боялся услышать его.

Кадрусс приподнялся на колени, вытянул руки, отшатнулся, потом сложил ладони и последним усилием воздел их к небу:

— О Боже мой, Боже мой, — сказал он, — прости, что я отрицал тебя; ты существуешь, ты поистине Отец небесный и Судья земной! Господи Боже мой, я долго не верил в тебя! Господи, прими душу мою!



И Кадрусс, закрыв глаза, упал навзничь с последним криком и последним вздохом.

Кровь сразу перестала течь из ран.

Он был мертв.

— Один! — загадочно произнес граф, устремив глаза на труп, обезображенный ужасной смертью.

Десять минут спустя прибыли доктор и королевский прокурор, приведенные — один привратником, другой Али, и были встречены аббатом Бузони, молившимся у изголовья мертвеца.

VII
БОШАН

В Париже целых две недели только и говорили что об этой дерзкой попытке обокрасть графа. Умирающий подписал заявление, в котором указывал на некоего Бенедетто как на своего убийцу. Полиции было предписано пустить по следам убийцы всех своих агентов.

Нож Кадрусса, потайной фонарь, связка отмычек и вся его одежда, исключая жилет, которого нигде не нашли, были приобщены к делу; труп был отправлен в морг.

Граф всем отвечал, что все это произошло,

пока он был у себя в Отее, и что, таким образом, он знает об этом только со слов аббата Бузони, который, по странной случайности, попросил у него позволения провести эту ночь у него в доме, чтобы сделать выписки из некоторых редчайших книг, имеющихся в его библиотеке.

Один только Бертуччо бледнел каждый раз, когда при нем произносили имя Бенедетто, но никто не интересовался цветом лица Бертуччо.

Вильфор, призванный на место преступления, пожелал сам заняться делом и вел следствие с тем страстным рвением, с каким он относился ко всем уголовным делам, которые вел лично.

Но прошло уже три недели, а самые тщательные розыски не привели ни к чему; в обществе уже начали забывать об этом покушении и об убийстве вора его сообщником и занялись предстоящей свадьбой мадемуазель Данглар и графа Андреа Кавальканти.

Этот брак был почти уже официально объявлен, и Андреа бывал в доме банкира на правах жениха.

Написали Кавальканти-отцу; тот весьма одобрил этот брак, очень жалел, что служба мешает ему покинуть Парму, где он сейчас находится, и изъявил согласие выделить капитал, принося-

щий полтораста тысяч ливров годового дохода.

Было условлено, что три миллиона будут помещены у Данглара, который пустит их в оборот; правда, нашлись люди, выразившие молодому человеку свои сомнения в устойчивом положении дел его будущего тестя, который за последнее время терпел на бирже неудачу за неудачей, но Андреа, преисполненный высокого доверия и бескорыстия, отверг все эти пустые слухи и был даже настолько деликатен, что ни слова не сказал о них барону.

Недаром барон был в восторге от графа Андреа Кавальканти.

Что касается мадемуазель Эжени Данглар, — в своей инстинктивной ненависти к замужеству она была рада появлению Андреа как способу избавиться от Морсера, но когда Андреа стал слишком близок, она начала относиться к нему с явным отвращением.

Быть может, барон это и заметил, но так как он мог приписать это отвращение только капризу, то сделал вид, что не замечает его.

Между тем выговоренная Бошаном отсрочка подходила к концу. Кстати, Морсер имел возможность оценить по достоинству совет Монте-Кристо, который убеждал его дать делу заглохнуть,

никто не обратил внимания на газетную заметку, касавшуюся генерала, и никому не пришло в голову узнать в офицере, сдавшем Янинский замок, благородного графа, заседающего в Палате пэров.

Тем не менее Альбер считал себя оскорбленным, ибо не подлежало сомнению, что оскорбительные для него строки были помещены в газете преднамеренно. Кроме того, поведение Бошана в конце их беседы оставило в его душе горький осадок. Поэтому он лелеял мысль о дуэли, настоящую причину которой, если только Бошан на это согласился бы, он надеялся скрыть даже от своих секундантов.

Бошана никто не видел с тех пор, как Альбер был у него; всем, кто о нем осведомлялся, отвечали, что он на несколько дней уехал.

Где же он был? Никто этого не знал

Однажды утром Альбера разбудил камердинер и доложил ему о приходе Бошана. Альбер протер глаза, велел попросить Бошана подождать внизу, в курительной, быстро оделся и спустился вниз.

Он застал Бошана шагающим из угла в угол. Увидев его, Бошан остановился.

— То, что вы сами явились ко мне, не дожидаясь сегодняшнего моего посещения, кажется мне добрым знаком, — сказал Альбер. — Ну, говорите

скорей, могу ли я протянуть вам руку и сказать: "Бошан, признайтесь, что вы были неправы, и останьтесь моим другом". Или же я должен просто спросить вас: "Какое оружие вы выбираете?"

— Альбер, — сказал Бошан с печалью в голосе, изумившей Морсера, — прежде всего сядем и поговорим.

— Но мне казалось бы, сударь, что прежде чем сесть, вы должны дать мне ответ?

— Альбер, — сказал журналист, — бывают обстоятельства, когда всего труднее — дать ответ.

— Я вам это облегчу, сударь, повторив свой вопрос: берете вы обратно свою заметку, да или нет?

— Морсер, так просто не отвечают: да или нет, когда дело касается чести, общественного положения, самой жизни такого человека, как генерал-лейтенант граф де Морсер, пэр Франции.

— А что же в таком случае делают?

— Делают то, что сделал я, Альбер. Говорят себе: деньги, время и усилия не играют роли, когда речь идет о репутации и интересах целой семьи. Говорят себе: мало одной вероятности, нужна уверенность, когда идешь биться на смерть с другом. Говорят себе: если мне придется скрестить шпагу или обменяться выстрелом с человеком,

которому я в течение трех лет дружески жал руку, то я по крайней мере должен знать, почему я это делаю, чтобы иметь возможность явиться к барьеру с чистым сердцем и спокойной совестью, которые необходимы человеку, когда он защищает свою жизнь.

— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо сказал Альбер, — но что все это значит?

— Это значит, что я только что вернулся из Янины.

— Из Янины? Вы?

— Да, я.

— Не может быть!

— Дорогой Альбер, вот мой паспорт; взгляните на визы: Женева, Милан, Венеция, Триест, Дельвино, Янина. Вы, надеюсь, поверите полиции одной республики, одного королевства и одной империи?

Альбер бросил взгляд на паспорт и с изумлением посмотрел на Бошана.

— Вы были в Янине? — переспросил он.

— Альбер, если бы вы были мне чужой, незнакомец, какой-нибудь лорд, как тот англичанин, который явился несколько месяцев тому назад требовать у меня удовлетворения и которого я убил, чтобы избавиться от него, вы отлично

понимаете, я не взял бы на себя такой труд, но мне казалось, что из уважения к вам я обязан это сделать. Мне потребовалась неделя, чтобы доехать туда, неделя на возвращение, четыре дня карантина и двое суток на месте— это и составило ровно три недели. Сегодня ночью я вернулся, и вот я у вас.

— Боже мой, сколько предисловий, Бошан! Почему вы медлите и не говорите того, чего я жду от вас!

— По правде говоря, Альбер…

— Можно подумать, что вы не решаетесь.

— Да, я боюсь.

— Вы боитесь признаться, что ваш корреспондент обманул вас? Бросьте самолюбие, Бошан, и признавайтесь; ведь в вашей храбрости никто не усомнится.

— Совсем не так, — прошептал журналист, — как раз наоборот…

Альбер смертельно побледнел, он хотел что-то сказать, но слова замерли у него на губах.

— Друг мой, — сказал Бошан с искренней нежностью, — поверьте, я был бы счастлив принести вам мои извинения и принес бы их от всей души, но, увы…

— Но что?

— Заметка соответствовала истине, друг мой.

— Как! Этот французский офицер…

— Да.

— Этот Фернан?

— Да.

— Изменник, выдавший замки паши, на службе у которого состоял…

— Простите меня за то, что я должен вам сказать, мой друг, этот человек — ваш отец!

Альбер сделал яростное движение, готовый броситься на Бошана, но тот удержал его, не столько протянутой рукой, сколько ласковым взглядом.

— Вот, друг мой, — сказал он, вынимая из кармана бумагу, — вот доказательство.

Альбер развернул бумагу; это было свидетельство четырех именитых граждан Янины, удостоверяющее, что полковник Фернан Мондего, полковник-инструктор на службе у везира Али Тепеленского, выдал янинский замок за две тысячи бурсов.

Подписи были заверены консулом.

Альбер пошатнулся и, сраженный, упал в кресло.

Теперь уже не могло быть сомнений, фамилия значилась полностью.

После минуты немого отчаяния он не выдержал, жилы на его шее напряглись, из глаз брызнул слезы.

Бошан, с глубокой скорбью глядевший на убитого горем друга, подошел к нему.

— Альбер, — сказал он, — теперь вы меня понимаете? Я хотел все видеть, во всем убедиться, надеясь, что все разъяснится в смысле, благоприятном для вашего отца, и что я смогу защитить его доброе имя. Но, наоборот, из собранных мною сведений явствует, что этот офицер-инструктор Фернан Мондего, возведенный Али-пашой в звание генерал-губернатора, не кто иной, как граф Фернан де Морсер; тогда я вернулся сюда, помня, что вы почтили меня своей дружбой, и бросился к вам.

Альбер все еще полулежал в кресле, закрыв руками лицо, словно желая скрыться от дневного света.

— Я бросился к вам, — продолжал Бошан, — чтобы сказать вам: Альбер, проступки наших отцов в наше беспокойное время не бросают тени на детей. Альбер, немногие прошли через все революции, среди которых мы родились, без того, чтобы их военный мундир или судейская мантия не оказались запятнаны грязью или

кровью. Никто на свете теперь, когда у меня все доказательства, когда ваша тайна в моих руках, не может заставить меня драться на дуэли, которую ваша собственная совесть, я в этом уверен, сочла бы преступлением; но то, чего вы больше не вправе от меня требовать, я вам добровольно предлагаю. Хотите, чтобы эти доказательства, эти разоблачения, свидетельства, которыми располагаю я один, исчезли навсегда? Хотите, чтобы эта страшная тайна осталась между вами и мной? Доверенная моей чести, она никогда не будет разглашена. Скажите, вы этого хотите, Альбер? Вы этого хотите, мой друг?

Альбер бросился Бошану на шею.

— Мой благородный друг! — воскликнул он.

— Возьмите, — сказал Бошан, подавая Альберу бумаги.

Альбер судорожно схватил их, сжал их, смял, хотел было разорвать; но, подумав, что, быть может, когда-нибудь ветер поднимет уцелевший клочок и коснется им его лба, он подошел к свече, всегда зажженной для сигар, и сжег их все, до последнего клочка.

— Дорогой, несравненный друг! — бормотал Альбер, сжигая бумаги.

— Пусть все это забудется, как дурной сон, —

сказал Бошан, — пусть все это исчезнет, как эти последний искры, бегущие по почерневшей бумаге, пусть все это развеется, как этот последний дымок, вьющийся над безгласным пеплом.

— Да, да, — сказал Альбер, — и пусть от всего этого останется лишь вечная дружба, в которой я клянусь вам, мой спаситель. Эту дружбу будут чтить наши дети, она будет служить мне вечным напоминанием, что честью моего имени я обязан вам. Если бы кто-нибудь узнал об этом, Бошан, говорю вам, я бы застрелился; или нет, ради моей матери, которую тоже сразил бы мой выстрел, я остался бы жить, но покинул бы Францию.

— Милый Альбер! — промолвил Бошан.

Но Альбера быстро оставила эта внезапная и несколько искусственная радость, и он впал в еще более глубокую печаль.

— В чем дело? — спросил Бошан. — Скажите, что еще случилось?

— У меня что-то сломалось в душе, — сказал Альбер. — Знаете, Бошан, не так легко сразу расстаться с тем уважением, с тем доверием, с той гордостью, которую внушает сыну незапятнанное имя отца. Ах, Бошан! Как я встречусь теперь с отцом? Отклоню лоб, когда он приблизит к нему губы, отдерну руку, когда он протянет мне свою?..

Право, Бошан, я несчастнейший из людей. Бедная моя матушка! — продолжал он, глядя сквозь слезы на портрет графини. — Если она знала об этом, как она должна была страдать!

— Крепитесь, мой друг! — сказал Бошан, беря его за руки.

— Но каким образом попала та заметка в вашу газету? — воскликнул Альбер. — За всем этим кроется чья-то ненависть, какой-то невидимый враг.

— Тем более надо быть мужественным, — сказал Бошан. — На вашем лице не должно быть никаких следов волнения, носите это горе в себе, как туча несет в себе погибель и смерть, роковую тайну, которую никто не видит, пока не грянет гроза. Друг, берегите ваши силы для той минуты, когда она грянет.

— Разве вы думаете, что это не конец? — в ужасе спросил Альбер.

— Я ничего не думаю, но в конце концов все возможно. Кстати…

— Что такое? — спросил Альбер, видя, что Бошан колеблется.

— Вы все еще считаетесь женихом мадемуазель Данглар?

— Почему вы меня спрашиваете об этом сей-

час?

— Потому что, мне кажется, вопрос о том, состоится этот брак или нет, связан с тем, что нас сейчас занимает.

— Как! — вспыхнул Альбер, — вы думаете, что Данглар…

— Я вас просто спрашиваю, как обстоит дело с вашей свадьбой. Черт возьми, не выводите из моих слов ничего другого, кроме того, что я в них вкладываю, и не придавайте им такого значения, какого у них нет!

— Нет, — сказал Альбер, — свадьба расстроилась.

— Хорошо, — сказал Бошан.

Потом, видя, что молодой человек снова опечалился, он сказал:

— Знаете, Альбер, послушайтесь моего совета, выйдем на воздух; прокатимся по Булонскому лесу в экипаже или верхом; это вас отвлечет; потом заедем куда-нибудь позавтракать, а после каждый из нас пойдет по своим делам.

— С удовольствием, — сказал Альбер, — но только пойдем пешком, я думаю, мне будет полезно немного утомиться.

— Пожалуй, — сказал Бошан.

И друзья вышли и пешком пошли по бульвару.

Дойдя до церкви Мадлен, Бошан сказал:

— Слушайте, — раз уж мы здесь, зайдем к господину де Монте-Кристо, он развлечет вас; он превосходно умеет успокоить и подбодрить, потому что никогда ни о чем не спрашивает, а, по-моему, люди, которые никогда ни о чем не спрашивают, — самые лучшие утешители.

— Пожалуй, — сказал Альбер, — зайдем к нему, я его люблю.

VIII
ПУТЕШЕСТВИЕ

Монте-Кристо очень обрадовался, увидев, что молодые люди пришли вместе.

— Итак, я надеюсь, все кончено, разъяснено, улажено? — сказал он.

— Да, — отвечал Бошан, — эти нелепые слухи сами собой заглохли, и, если бы они снова всплыли, я первый ополчился бы против них. Не будем больше говорить об этом.

— Альбер вам подтвердит, — сказал граф, — что я ему советовал то же самое. Кстати, — прибавил он, — вы застали меня за неприятнейшим занятием.

— А что вы делали? — спросил Альбер. — Похо-

же, приводили в порядок свои бумаги?

— Только не свои, слава Богу! Мои бумаги всегда в образцовом порядке, ибо у меня их нет. Я разбирал бумаги господина Кавальканти.

— Кавальканти? — переспросил Бошан.

— Разве вы не знаете, что граф — покровитель этого молодого человека? — сказал Альбер.

— Вы не совсем правы, — сказал Монте-Кристо, — я никому не покровительствую, и меньше всего Кавальканти.

— Он женится вместо меня на мадемуазель Данглар, — продолжал Альбер, пытаясь улыбнуться, — каковое обстоятельство, сами понимаете, дорогой Бошан, повергает меня в отчаяние.

— Как! Кавальканти женится на мадемуазель Данглар? — спросил Бошан.

— Вы что же, с неба свалились? — сказал Монте-Кристо-.— Вы, журналист, возлюбленный Молвы! Весь Париж только об этом и говорит.

— И это вы, граф, устроили этот брак? — спросил Бошан.

— Я? Пожалуйста, господин охотник за новостями, не вздумайте распространять подобные слухи! Бог мой! Чтобы я да устраивал чей-нибудь брак? Нет, вы меня не знаете; наоборот, я всячески противился этому, я отказался быть

посредником.

— Понимаю, — сказал Бошан, — из-за нашего друга Альбера?

— Только не из-за меня, — сказал Альбер. — Граф не откажется подтвердить, что я, наоборот, давно просил его расстроить эти планы, и счастье, что они расстроились. Граф уверяет, что не его я должен благодарить за это; пусть так, мне придется, как древним, воздвигнуть алтарь Deo ignoto.

— Послушайте, — сказал Монте-Кристо, — это все так далеко от меня, что я даже нахожусь в натянутых отношениях и с тестем и с женихом; и только мадемуазель Эжени, которая, по-видимому, не имеет особой склонности к замужеству, сохранила ко мне добрые чувства и благодарность за то, что я не старался заставить ее отказаться от дорогой ее сердцу свободы.

— И вы говорите, эта свадьба состоится?

— Да, невзирая на все мои предостережения. Я ведь не знаю этого молодого человека; говорят, он богат и из хорошей семьи, но для меня все это только "говорят". Я до тошноты повторял это Данглару, но он без ума от своего итальянца. Я счел даже нужным сообщить ему об одном обстоятельстве, по-моему еще более важном: этого

молодого человека не то подменили, когда он был грудным младенцем, не то его украли цыгане, не то его где-то потерял его воспитатель, не знаю точно. Но мне доподлинно известно, что его отец ничего о нем не знал десять с лишним лет. Что он делал эти десять лет бродячей жизни, Бог весть. Но и это предостережение не помогло. Мне поручили написать майору, попросить его выслать документы: вот они. Я их посылаю Данглярам, но, как Пилат, умываю руки.

— А мадемуазель д'Армильи? — спросил Бошан. — Она не в обиде на вас, что вы отнимаете у нее ученицу?

— Право, не могу вам сказать, но, по-видимому, она уезжает в Италию. Госпожа Д англ ар говорила со мной о ней и просила у меня рекомендательных писем к итальянским импресарио. Я дал ей записку к директору театра Валле, который мне кое-чем обязан. Но что с вами, Альбер? Вы такой грустный; уж не влюблены ли вы, сами того не подозревая, в мадемуазель Данглар?

— Как будто нет, — сказал Альбер с печальной улыбкой.

Бошан принялся рассматривать картины.

— Во всяком случае, — продолжал Монте-Кристо, — вы не такой, как всегда. Скажите, что с

вами?

— У меня мигрень, — сказал Альбер.

— Если так, мой дорогой виконт, — сказал Монте-Кристо, — то я могу предложить вам незаменимое лекарство, которое мне всегда помогает, когда мне не по себе.

— Какое? — спросил Альбер.

— Перемену места.

— Вот как? — сказал Альбер.

— Да. Я и сам сейчас очень не в духе и собираюсь уехать. Хотите, поедем вместе?

— Вы не в духе, граф! — сказал Бошан. — Почему?

— Вам легко говорить, а вот посмотрел бы я на вас, если бы в вашем доме велось следствие!

— Следствие? Какое следствие?

— А как же, сам господин де Вильфор ведет следствие по делу о моем милейшем убийце, — по-видимому, это какой-то разбойник, бежавший с каторги.

— Ах да, — сказал Бошан, — я читал об этом в газетах. Кто он такой, этот Кадрусс?

— Какой-то провансалец. Вильфор слышал о нем, когда служил в Марселе, а Данглар даже припоминает, что видел его. Поэтому господин королевский прокурор принял самое горячее уча-

стие в этом деле, оно, по-видимому, чрезвычайно заинтересовало и префекта полиции. Благодаря их вниманию, за которое я им как нельзя более признателен, мне уже недели две как приводят на дом всех бандитов, каких только можно раздобыть в Париже и его окрестностях, под тем предлогом, что это убийцы Кадрусса. Если так будет продолжаться, через три месяца в славном французском королевстве не останется ни одного вора, ни одного убийцы, который не знал бы назубок плана моего дома. Мне остается только отдать им его в полное распоряжение и уехать куда глаза глядят. Поедемте со мной, виконт!

— С удовольствием.

— Значит, решено?

— Да, но куда же мы едем?

— Я вам уже сказал, туда, где воздух чист, где шум убаюкивает, где, как бы ни был горд человек, он становится смиренным и чувствует свое ничтожество. Я люблю это уничижение, я, которого, как и Августа, называют властителем Вселенной.

— Но где же это?

— На море, виконт, на море. Я, видите ли, моряк: еще ребенком я засыпал на руках у старика-Океана и на груда у прекрасной Амфитриты, играл

его зеленым плащом и ее лазоревыми одеждами; я люблю море, как возлюбленную, и, если долго не вижу его, тоскую по нем.

— Так едемте, граф!

— На море?

— Да.

— Вы согласны?

— Согласен.

— В таком случае, виконт, у моего крыльца сегодня будет ждать дорожная карета, в которой ехать так же удобно, как в кровати; в нее будут впряжены четыре лошади. Послушайте, Бошан, в моей карете можно легко разместиться и вчетвером. Хотите поехать с нами? Я вас приглашаю.

— Благодарю вас, я только что был на море.

— Как, вы были на море?

— Да, почти. Я только что совершил маленькое путешествие на Борромейские острова.

— Все равно, поедем! — сказал Альбер.

— Нет, дорогой Морсер, вы должны понять, что, если я отказываюсь от такой чести, значит, это невозможно! Кроме того, — прибавил он, понизив голос, — сейчас очень важно, чтобы я был в Париже, хотя бы уже для того, чтобы следить за корреспонденцией, поступающей в газету.

— Вы добрый и верный друг, — сказал Аль-

бер, — да, вы правы; следите, наблюдайте, Бошан, и постарайтесь открыть врага, который опубликовал это сообщение.

Альбер и Бошан простились; в последнее рукопожатие они вложили все то, чего не могли сказать при постороннем.

— Славный малый этот Бошан! — сказал Монте-Кристо, когда журналист ушел. — Правда, Альбер?

— Золотое сердце, уверяю вас. Я очень люблю его. А теперь скажите, хотя, в сущности, мне это безразлично, — куда мы отправляемся?

— В Нормандию, если вы ничего не имеете против.

— Чудесно. Мы там будем на лоне природы, правда? Ни общества, ни соседей?

— Мы будем наедине с лошадьми для верховой езды, собаками для охоты и с лодкой для рыбной ловли, вот и все.

— Это то, что мне надо. Я предупрежу свою мать, а затем я к вашим услугам.

— А вам разрешат? — спросил Монте-Кристо.

— Что именно?

— Ехать в Нормандию?

— Мне? Да разве я не волен в своих поступках?

— Да, вы путешествуете один, где хотите, это я

знаю, ведь мы встретились в Италии.

— Так в чем же дело?

— Но разрешат ли вам уехать с человеком, которого зовут граф Монте-Кристо?

— У вас плохая память, граф.

— Почему?

— Разве я не говорил вам, с какой симпатией моя мать относится к вам?

— Женщины изменчивы, сказал Франциск Первый; женщина подобна волне, сказал Шекспир. Один был великий король, другой — великий поэт; и уж, наверно, они оба хорошо знали женскую природу.

— Да, но моя мать не просто женщина, она — единственная.

— Простите, я вас не совсем понял?

— Я хочу сказать, что моя мать скупа на чувства, но уж если она кого-нибудь полюбила, то это на всю жизнь.

— Вот как, — сказал, вздыхая, Монте-Кристо, — и вы полагаете, что она делает мне честь относиться ко мне иначе, чем с полнейшим равнодушием?

— Я вам уже говорил и опять повторяю, — возразил Альбер, — вы, видно, в самом деле очень своеобразный, необыкновенный человек.

— Полно!

— Да, потому что моя матушка не осталась чужда тому, не скажу — любопытству, но интересу, который вы возбуждаете. Когда мы одни, мы только о вас и говорим.

— И она советует вам не доверять этому Манфреду?

— Напротив, она говорит мне: "Альбер, я уверена, что граф — благородный человек, постарайся заслужить его любовь".

Монте-Кристо отвернулся и вздохнул.

— В самом деле? — сказал он.

— Так что, вы понимаете, — продолжал Альбер, — она не только не воспротивится моей поездке, но от всего сердца одобрит ее, поскольку это согласуется с ее неизменными наставлениями.

— Ну, так до вечера, — сказал Монте-Кристо. — Будьте здесь к пяти часам; мы приедем на место в полночь или в час ночи.

— В Трепор?

— В Трепор или его окрестности.

— Вы думаете за восемь часов проехать сорок восемь льё?

— Это еще слишком долго, — сказал Монте-Кристо.

— Да вы чародей! Скоро вы обгоните не только железную дорогу — это не так уж трудно, особенно во Франции, — но и телеграф.

— Но так как нам все же требуется восемь часов, чтобы доехать, не опаздывайте.

— Не беспокойтесь, я совершенно свободен — только собраться в дорогу.

— Итак, в пять часов.

— В пять часов.

Альбер вышел. Монте-Кристо с улыбкой кивнул ему и постоял молча, погруженный в глубокое раздумье. Наконец, проведя рукой по лбу, как будто отгоняя от себя думы, он подошел к гонгу и ударил два раза.

Вошел Бертуччо.

— Бертуччо, — сказал Монте-Кристо, — не завтра, не послезавтра, как я предполагал, а сегодня в пять часов я уезжаю в Нормандию; до пяти часов у вас времени больше чем достаточно, распорядитесь, чтобы были предупреждены конюхи первой подставы; со мной едет виконт де Морсер. Ступайте.

Бертуччо удалился, и в Понтуаз поскакал верховой предупредить, что карета проедет ровно в шесть часов. Конюх в Понтуазе послал нарочного к следующей подставе, а та, в свою очередь, дала

знать дальше, и шесть часов спустя все подставы, расположенные по пути, были предупреждены.

Перед отъездом граф поднялся к Гайде, сообщил ей, что уезжает, сказал куда и предоставил весь дом в ее распоряжение.

Альбер явился вовремя. Он сел в карету в мрачном настроении, которое, однако, вскоре рассеялось от удовольствия, доставляемого быстрой ездой. Альбер никогда не представлял себе, чтобы можно было ездить так быстро.

— Во Франции нет никакой возможности передвигаться по дорогам, — сказал Монте-Кристо. — Ужасная вещь эта езда на почтовых, по два льё в час, этот нелепый закон, запрещающий одному путешественнику обгонять другого, не испросив на это его разрешения; какой-нибудь больной или чудак может загородить путь всем остальным здоровым и бодрым людям. *Я* избегаю этих неудобств, путешествуя с собственным кучером и на собственных лошадях. Верно, Али?

И граф, высунувшись из окна, слегка прикрикивал на лошадей, а у них словно выросли крылья, они уже не мчались— они летели. Карета проносилась, как гром, по "королевской мостовой", и все оборачивались, провожая глазами этот сверкающий метеор. Али, слушая эти окрики,

улыбался, обнажая свои белые зубы, сжимая своими сильными руками вожжи, и подзадоривал лошадей, пышные гривы которых развевались по ветру. Али, сын пустыни, был в своей стихии и, в белоснежном бурнусе, с черным лицом и сверкающими глазами, окруженный облаком пыли, казался духом самума или богом урагана.

— Вот наслаждение, которое я никогда не знал, — сказал Альбер, — наслаждение быстроты.

И последние тучи, омрачавшие его чело, исчезали, словно уносимые встречным ветром.

— Но где, черт возьми, вы достаете таких лошадей? — спросил Альбер. — Или вам их делают на заказ?

— Вот именно. Шесть лет тому назад я нашел в Венгрии замечательного жеребца, известного своей резвостью; я его купил уж не помню за сколько: платил Бертуччо. В тот же год было произведено тридцать два жеребенка. Мы с вами сделаем смотр всему потомству этого отца; они все как один вороные, без единого пятнышка, кроме звезды на лбу, потому что этому баловню конского завода выбирали кобыл, как паше выбирают наложниц.

— Восхитительно!.. Но скажите, граф, на что

вам столько лошадей?

— Вы же видите, я на них езжу.

— Но ведь не все время вы ездите?

— Когда они мне больше не будут нужны, Бертуччо их продаст; он утверждает, что наживет на этом тысяч сорок.

— Но ведь в Европе даже короли не так богаты, чтобы их купить.

— В гаком случае он продаст их любому восточному владыке, который, чтобы купить их, опустошит свою казну и снова наполнит ее при помощи палочных ударов по пяткам своих подданных.

— Знаете, граф, что мне пришло в голову?

— Говорите.

— Мне думается, что после вас самый богатый человек в Европе — это господин Бертуччо.

— Вы ошибаетесь, виконт. Я уверен, если вывернуть карманы Бертуччо, не найдешь и десяти су.

— Неужели? — сказал Альбер. — Так ваш Бертуччо тоже чудо? Не заводите меня так далеко в мир чудес, дорогой граф, не то, предупреждаю, я перестану вам верить.

— У меня нет никаких чудес, Альбер: цифры и здравый смысл — вот и все. Вот вам задача: управляющий ворует, но почему он ворует?

— Такова его природа, мне кажется, — сказал Альбер, — он ворует потому, что не может не воровать.

— Вы ошибаетесь: он ворует потому, что у него есть жена, дети, потому что он хочет упрочить положение свое и своей семьи, а главное, он не уверен в том, что никогда не расстанется со своим хозяином, и хочет обеспечить свое будущее. А Бертуччо один на свете; он распоряжается моим кошельком, не отчитываясь передо мною, и он уверен, что никогда не расстанется со мной.

— Почему?

— Потому что лучшего мне не найти.

— Вы вертитесь в заколдованном кругу, в кругу вероятностей.

— Нет, это уверенность. Для меня хороший слуга тот, чья жизнь и смерть в моих руках.

— А жизнь и смерть Бертуччо в ваших руках? — спросил Альбер.

— Да, — холодно ответил Монте-Кристо.

Есть слова, которые замыкают беседу, как железная дверь. Именно так прозвучало "да" графа.

Дальнейший путь совершался с такой же скоростью; тридцать две лошади, распределенные на восемь подстав, пробежали сорок восемь льё за восемь часов.

В середине ночи подъехали к прекрасному парку. Привратник стоял у распахнутых ворот. Он был предупрежден конюхом последней подставы.

Был уже третий час. Альбера провели в его комнаты.

Его ждала ванна и ужин. Лакей, который ехал на запятках кареты, был к его услугам; Батистен, ехавший на козлах, был к услугам графа.

Альбер принял ванну, поужинал и лег спать. Всю ночь его баюкал меланхоличный шум прибоя. Встав с постели, он распахнул стеклянную дверь и очутился на маленькой террасе; впереди открывался вид на море, то есть на бесконечность, а сзади — на прелестный парк, примыкающий к роще.

В небольшой бухте покачивался на волнах маленький корвет с узким килем и стройным рангоутом; на гафеле развевался флаг с гербом Монте-Кристо: золотая гора на лазоревом море, увенчанная червленым крестом; это могло быть иносказанием имени Монте-Кристо, напоминающего о Голгофе, которую страсти Спасителя сделали горой более драгоценной, чем золото, и о позорном кресте, освященном его божественной кровью, но могло быть и намеком на страдания

и возрождение, сокрытые в неведомом прошлом этого загадочного человека.

Вокруг корвета покачивались несколько шхун, принадлежавших рыбакам соседних деревень и казавшихся смиренными подданными, ожидающими повелений своего короля.

Здесь, как и повсюду, где хоть на два дня останавливался Монте-Кристо, жизнь была налажена с величайшим комфортом, так что она с первой же секунды становилась легкой и приятной.

Альбер нашел в своей прихожей два ружья и все необходимые охотничьи принадлежности. Одна из комнат на первом этаже была отведена под хитроумные снаряды, которые англичане — великие рыболовы, ибо они терпеливы и праздны, — все еще не могут ввести в обиход старозаветных французских удильщиков.

Ведь день прошел в этих разнообразных развлечениях, в которых Монте-Кристо не имел себе равного: подстрелили в парке с десяток фазанов, наловили в ручье столько же форелей, пообедали в беседке, выходящей на море, и пили чай в библиотеке.

К вечеру третьего дня Альбер, совершенно разбитый этим времяпрепровождением, казавшимся Монте-Кристо детской забавой, спал в

кресле у окна, в то время как граф вместе со своим архитектором составлял план оранжереи, которую он собирался устроить в своем доме. Вдруг послышался стук копыт по каменистой дороге, и Альбер поднял голову; он посмотрел в окно и с чрезвычайно неприятным изумлением увидел на дороге своего камердинера, которого он не взял с собой, чтобы не доставлять Монте-Кристо лишних хлопот.

— Это Флорантен! — воскликнул он, вскакивая с кресла. — Неужели матушка захворала?

И он бросился к двери.

Монте-Кристо проводил его глазами и увидел, как он подбежал к камердинеру и как тот, с трудом переводя дух, вытащил из кармана небольшой запечатанный пакет. В этом пакете были газета и письмо.

— От кого письмо? — быстро спросил Альбер.

— От господина Бошана… — ответил Флорантен.

— Так это Бошан прислал вас?

— Да, сударь. Он вызвал меня к себе, дал мне денег на дорогу, достал мне почтовую лошадь и взял с меня слово, что я без промедлений доставлю вам пакет. Я сделал весь путь за пятнадцать часов.

Альбер с трепетом вскрыл письмо. Едва он прочел первые строчки, как с его губ сорвался крик и он, весь дрожа, схватился за газету.

Вдруг в глазах у него потемнело, он зашатался и упал бы, если бы Флорантен не поддержал его.

— Бедный юноша! — прошептал Монте-Кристо так тихо, что сам не мог услышать своих слов. — Значит, верно, что грехи отцов падут на детей до третьего и четвертого колена?

Тем временем Альбер собрался с силами и стал читать дальше; потом, откинув волосы с вспотевшего лба, он скомкал письмо и газету.

— Флорантен, — сказал он, — может ваша лошадь проделать обратный путь в Париж?

— Это разбитая почтовая кляча.

— Боже мой! А что было дома, когда вы уезжали?

— Все было довольно спокойно, но, когда я вернулся от господина Бошана, я застал графиню в слезах; она послала за мной, чтобы узнать, когда вы возвращаетесь. Тогда я ей сказал, что еду за вами по поручению господина Бошана. Сперва она протянула было руку, словно хотела остановить меня, но, подумав, сказала: "Поезжайте, Флорантен, пусть он возвращается".

— Будь спокойна, матушка, — сказал Альбер, —

я вернусь, и — горе негодяю!.. Но прежде всего — надо уехать.

И он вернулся в комнату, где его ждал Монте-Кристо.

Это был уже не тот человек; за пять минут он неузнаваемо изменился: голос его стал хриплым, лицо покрылось красными пятнами, глаза горели под припухшими веками, походка стала нетвердой, как у пьяного.

— Граф, — сказал он, — благодарю вас за ваше доброе гостеприимство, которым я был бы рад и дольше воспользоваться, но мне необходимо вернуться в Париж.

— Что случилось?

— Большое несчастье; разрешите мне уехать, дело идет о том, что мне дороже жизни. Не спрашивайте ни о чем, граф, умоляю вас, но дайте мне лошадь!

— Мои конюшни к вашим услугам, виконт, — сказал Монте-Кристо, — но вы измучаетесь, если проедете весь путь верхом, возьмите коляску, любой экипаж.

— Нет, это слишком долго, и я не боюсь усталости, напротив, она мне поможет.

Альбер сделал несколько шагов, шатаясь словно пораженный пулей, и упал на стул у самой

двери.

Монте-Кристо не видел этого второго приступа слабости; он стоял у окна и кричал:

— Али, лошадь для виконта! Живее, он спешит!

Эти слова вернули Альбера к жизни; он выбежал из комнаты, граф последовал за ним.

— Благодарю вас! — прошептал Альбер, вскакивая в седло. — Возвращайтесь как можно скорее, Флорантен. Нужен ли какой-нибудь пароль, чтобы мне давали лошадей?

— Вы просто отдадите ту, на которой скачете, и вам немедленно оседлают другую.

Альбер уже собирался пустить лошадь вскачь, но остановился.

— Быть может, вы сочтете мой отъезд странным, нелепым, безумным, — сказал он. — Вы не знаете, как могут несколько газетных строк довести человека до отчаяния. Вот, прочтите, — прибавил он, бросая графу газету, — но только когда я уеду, чтобы вы не видели, как я краснею.

Он всадил шпоры, которые успели прицепить к его ботфортам, в бока лошади, и та, удивленная, что нашелся седок, считающий, будто она нуждается в понукании, помчалась как стрела, пущенная из арбалета.

Граф проводил всадника глазами, полными бесконечного сочувствия, и, только после того как тот окончательно исчез из виду, перевел свой взгляд на газету и прочел:

"Французский офицер на службе у Али, янинского паши, о котором говорила три недели тому назад газета "Беспристрастный голос" и который не только сдал замки Янины, но и продал своего благодетеля туркам, назывался в то время действительно Фернан, как сообщил наш уважаемый коллега, но с тех пор он успел прибавить к своему имени дворянский титул и название поместья.

В настоящее время он носит имя графа де Морсера и заседает в Палате пэров".

Таким образом, эта ужасная тайна, которую Бошан хотел так великодушно скрыть, снова встала, как призрак, во всеоружии, и другая газета, кем-то безжалостно осведомленная, напечатала на третий день после отъезда Альбера в Нормандию те несколько строк, которые чуть не свели с ума несчастного юношу.

IX

СУД

В восемь часов утра Альбер как вихрь ворвался к Бошану. Камердинер был предупрежден и провел Морсера в комнату своего господина, который только что принял ванну.

— Итак? — спросил Альбер.

— Итак, мой бедный друг, — ответил Бошан, — я ждал вас.

— Я здесь. Излишне говорить, Бошан, что я уверен в вашем благородстве и доброте и не допускаю мысли, что вы кому-нибудь рассказали об этом. Кроме того, вы меня вызвали сюда, это лишнее доказательство вашей дружбы. Поэтому не станем терять времени на лишние разговоры; вы имеете представление о том, от кого исходит удар?

— Я вам сейчас кое-что сообщу.

— Да, но сначала вы должны изложить мне во всех подробностях, что здесь произошло.

И Бошан рассказал подавленному горем и стыдом Альберу следующее.

Заметка появилась третьего дня утром не в "Беспристрастном голосе", а в другой газете, к тому же, что весьма серьезно, правительственной. Бошан сидел за завтраком, когда увидел эту

заметку; он немедля послал за кабриолетом и, не кончив завтрака, поспешил в редакцию.

Хотя политические взгляды Бошана и были совершенно противоположны тем, которых придерживался редактор этой газеты, он, как случается подчас и даже нередко, был его закадычным другом.

Когда он вошел, редактор держал в руках номер собственной газеты и с явным удовольствием читал передовую о свекловичном сахаре, им же, по-видимому, и написанную.

— Я вижу у вас в руках номер вашей газеты, дорогой мой, — сказал Бошан, — значит, незачем объяснять, почему я к вам пришел.

— Неужели вы сторонник тростникового сахара? — спросил редактор правительственной газеты.

— Нет, — отвечал Бошан, — этот вопрос меня нимало не занимает; я пришел совсем по другому поводу.

— А по какому?

— По поводу заметки о Морсере.

— А, вот что; правда, это любопытно?

— Настолько любопытно, что это пахнет обвинением в диффамации, и еще неизвестно, каков будет исход процесса.

— Отнюдь нет: одновременно с заметкой мы получили и все подтверждающие ее документы, и мы совершенно уверены, что Морсер промолчит. К тому же мы оказываем услугу родине, изобличая негодяев, недостойных той чести, которую им оказывают.

Бошан смутился.

— Но кто же вас так хорошо осведомил? — спросил он. — Ведь моя газета первая заговорила об этом, но была вынуждена умолкнуть за неимением доказательств, а между тем мы больше вашего заинтересованы в разоблачении Морсера, потому что он пэр Франции, а мы поддерживаем оппозицию.

— Все очень просто; мы вовсе и не гонялись за сенсацией, она сама свалилась на нас. Вчера к нам явился человек из Янины с убийственными обличительными документами; мы не решались выступить с обвинением, но он заявил нам, что в случае нашего отказа статья появится в другой газете. Вы же сами знаете, Бошан, что значит интересное сообщение; нам не хотелось упускать случая. Теперь удар нанесен; он сокрушителен и отзовется эхом во всей Европе.

Бошан понял, что ему остается только склонить голову, и вышел в полном отчаянии, решив по-

слать гонца к Альберу.

Но он не мог написать Альберу о событиях, которые разыгрались уже после отъезда гонца. В тот же день в Палате пэров царило большое возбуждение, охватившее всех членов обычно столь спокойного высокого собрания. Все явились чуть ли не раньше назначенного времени и толковали между собой о злосчастном происшествии, которое неизбежно должно было привлечь общественное внимание к одному из наиболее видных членов верхней Палаты.

Они вполголоса читали и обсуждали заметку, другие обменивались воспоминаниями, которые подтверждали сообщенные факты. Граф де Морсер не пользовался любовью своих коллег. Как все выскочки, он старался поддержать свое достоинство при помощи крайнего высокомерия. Подлинные аристократы смеялись над ним, люди одаренные пренебрегали им, прославленные воины с незапятнанным именем инстинктивно его презирали. Графу грозила горькая участь искупительной жертвы. На него указал перст Всевышнего, и все готовы были требовать заклания.

Только сам граф де Морсер ничего не знал. Он не получал газеты, где было напечатано позорящее сообщение, и все утро писал письма, а потом

испытывал новую лошадь.

Итак, в обычное время он прибыл с высоко поднятой головой, надменным взглядом и горделивой осанкой, вышел из своей кареты, прошел по коридорам и вошел в залу, не замечая смущения служителей и небрежных кивков своих коллег.

Когда Морсер вошел, заседание уже с полчаса как началось.

Хотя граф, не зная, как мы уже сказали, о том, что произошло, держался так же, как всегда, но выражение его лица и его походка показались всем еще более надменными, чем обычно, и его появление в этот день представилось столь дерзким этому ревниво оберегающему свою честь собранию, что все усмотрели в этом непристойность, иные — вызов, а кое-кто — оскорбление.

Было очевидно, что вся Палата горит желанием приступить к прениям.

Изобличающая газета была в руках у всех, но, как всегда бывает, никто не решался взять на себя ответственность и выступить первым. Наконец один из почтенных пэров, открытый противник графа де Морсера, поднялся на трибуну с торжественностью, возвещавшей, что наступила долгожданная минута.

Воцарилось зловещее молчание; один только Морсер не подозревал о причине того глубокого внимания, с которым на этот раз встретили оратора, не пользовавшегося обычно такой благосклонностью слушателей.

Граф спокойно пропустил мимо ушей вступление, в котором оратор заявлял, что он будет говорить о предмете, столь серьезном, столь священном и жизненном для Палаты, что он просит своих коллег выслушать его с особым вниманием.

Но при первых же его словах о Янине и полковнике Фернане граф де Морсер так страшно побледнел, что трепет пробежал по рядам, и все присутствующие впились глазами в графа.

Душевные раны незримы, но они никогда не закрываются: всегда мучительные, кровоточащие при первом прикосновении, они вечно остаются разверстыми в глубинах человеческой души.

Среди гробового молчания оратор прочитал вслух заметку. Раздался приглушенный ропот, тотчас же прекратившийся, как только обличитель вновь заговорил. Он начал с того, что объяснил всю тяжесть взятой им на себя задачи: дело идет о чести графа де Морсера, о чести всей Палаты, и ради того, чтобы оградить их, он и

открывает прения, во время которых придется коснуться личных, а потому всегда жгучих, вопросов. В заключение он потребовал назначить расследование и произвести его с возможной быстротой, дабы в самом корне пресечь клевету и восстановить доброе имя графа де Морсера, отомстив за оскорбление, нанесенное лицу, столь высоко стоящему в общественном мнении.

Морсер был так подавлен, так потрясен этим безмерным и неожиданным бедствием, что едва мог пробормотать несколько слов, устремив на своих собратьев помутневший взор. Это смущение, которое, впрочем, могло иметь своим источником как изумление невинного, так и стыд виновного, вызвало некоторое сочувствие к нему. Истинно великодушные люди всегда готовы проявить сострадание, если несчастье их врага превосходит их ненависть.

Председатель поставил вопрос на голосование, и было постановлено произвести расследование.

Графа спросили, сколько ему потребуется времени, чтобы приготовиться к защите.

Морсер успел несколько оправиться после первого удара, и к нему вернулось самообладание.

— Господа пэры, — ответил он, — что значит время, когда нужно отразить нападение неведо-

мых врагов, скрывающихся в тени собственной гнусности; немедленно, громовым ударом должен я ответить на эту молнию, на миг ослепившую меня. Почему мне не дано вместо словесных оправданий пролить свою кровь, чтобы доказать моим коллегам, что я достоин быть в их рядах?

Эти слова произвели благоприятное впечатление.

— Поэтому я прошу, — продолжал Морсер, — чтобы расследование было произведено как можно скорее, и представлю Палате все необходимые документы.

— Какой день угодно вам будет назначить? — спросил председатель.

— С сегодняшнего дня я отдаю себя в распоряжение Палаты, — отвечал граф.

Председатель позвонил.

— Угодно ли Палате, чтобы расследование состоялось сегодня же?

— Да, — был единодушный ответ собрания.

Выбрали комиссию из двенадцати человек для рассмотрения документов, которые представит Морсер. Первое заседание этой комиссии было назначено на восемь часов вечера, в помещении Палаты. Если бы потребовалось несколько заседаний, то они должны были происходить там же,

в то же время.

Как только было принято это постановление, Морсер попросил разрешения удалиться: ему необходимо было собрать документы, давно уже подготовленные им с присущей ему настойчивостью и коварством, ибо он всегда предвидел возможность подобной катастрофы.

Бошан рассказал все изложенное нами Альберу, но преимущество его рассказа перед нашим подобно превосходству живого создания над хладным бездушным предметом.

Альбер слушал, дрожа то от гнева, то от стыда, но он безусловно доверял Бошану и после поездки того в Янину знал, что отец виновен, и не понимал, как мог бы он доказать свою невиновность.

— А дальше? — спросил он, когда Бошан умолк.

— Дальше? — повторил Бошан.

— Да.

— Друг мой, это слово налагает на меня ужасную обязанность. Вы непременно хотите знать, что было дальше?

— Я должен знать, и пусть уж лучше я узнаю об этом от вас, чем от кого-либо другого.

— В таком случае, — сказал Бошан, — соберите все свое мужество, Альбер; никогда еще оно вам

не было так нужно.

Альбер провел рукой по лбу, словно пробуя собственные силы, как человек, намеревающийся защищать свою жизнь, проверяет крепость своей кольчуги и сгибает лезвие шпаги.

Он почувствовал себя сильным, потому что принимал за энергию свое лихорадочное возбуждение.

— Говорите, — сказал он.

— Наступил вечер, — продолжал Бошан. — Весь Париж ждал затаив дыхание. Многие утверждали, что вашему отцу стоит только показаться, и обвинение рухнет само собой; другие говорили, что ваш отец совсем не явится; были и такие, которые утверждали, будто видели, как он уезжал в Брюссель, а кое-кто даже справлялся в полиции, верно ли, что он выправил себе паспорт.

Я должен вам сознаться, что сделал все возможное, чтобы уговорить одного из членов комиссии, молодого пэра, провести меня в залу. Он заехал за мной в семь часов и, прежде чем кто-либо явился, передал меня служителю, который и запер меня в какой-то ложе. Я был скрыт за колонной, окутан полнейшим мраком и мог надеяться, что увижу и услышу от слова до слова предстоящую ужасную сцену.

Ровно в восемь все были в сборе.

Господин де Морсер вошел с последним ударом часов. В руках у него были какие-то бумаги, и он казался совсем спокойным; вопреки своему обыкновению, держался он просто, одет был изысканно и строго и, по обычаю старых военных, застегнут на все пуговицы.

Его появление произвело наилучшее впечатление: члены комиссии были настроены отнюдь не недоброжелательно, и кое-кто из них подошел к графу и пожал ему руку.

Альбер чувствовал, что все эти подробности разрывают ему сердце, а между тем к его мукам примешивалась и доля признательности, и ему хотелось обнять этих людей, выказавших его отцу уважение в час тяжелого испытания.

В эту минуту вошел курьер и подал председателю письмо.

"Слово принадлежит вам, господин де Морсер", — сказал председатель, распечатывая письмо.

— Граф начал свою защитительную речь, и, уверяю вас, Альбер, — продолжал Бошан, — она была построена необычайно красноречиво и искусно. Он представил документы, удостоверяющие, что везир Янины до последней минуты доверял ему

всецело и поручил ему вести с самим султаном переговоры, от которых зависела его жизнь или смерть. Он показал перстень, знак власти, которым Али-паша имел обыкновение запечатывать свои письма и который он дал графу, чтобы тот по возвращении мог к нему проникнуть в любое время дня или ночи, даже в самый гарем. К несчастью, сказал он, переговоры не увенчались успехом, и когда он вернулся, чтобы защитить своего благодетеля, то нашел его уже мертвым. Но, — сказал граф, — перед смертью Али-паша — так велико было его доверие— поручил ему самую любимую из жен и дочь.

Альбер вздрогнул при этих словах, потому что, по мере того как говорил Бошан, в его уме вставал рассказ Гай-де, и он вспоминал все, что рассказывала прекрасная гречанка об этом поручении, об этом перстне и о том, как она была продана и уведена в рабство.

— И какое впечатление произвела речь графа? — с тревогой спросил Альбер.

— Сознаюсь, она меня тронула и всю комиссию также, — сказал Бошан. — Тем временем председатель стал небрежно проглядывать только что переданное ему письмо; но с первых же строк оно приковало к себе его внимание; он прочел его,

перечитал еще раз и остановил взгляд на графе де Морсер.

"Граф, — сказал он, — вы только что сказали нам, что везир Янины поручил вам свою жену и дочь?"

"Да, сударь, — отвечал Морсер, — но и в этом, как и во всем остальном, меня постигла неудача. Когда я возвратился, Васи лики и ее дочь Гайде уже исчезли".

"Вы знали их?"

"Благодаря моей близости к паше и его безграничному доверию ко мне я не раз видел их".

"Имеете ли вы представление о том, что с ними сталось?"

"Да, сударь. Я слышал, что они не вынесли своего горя, а может быть, и бедности. Я не был богат, жизнь моя вечно была в опасности, и я, к великому моему сожалению, не имел возможности разыскивать их".

Председатель слегка нахмурился.

"Господа, — сказал он, — вы слышали объяснения графа де Морсера. Граф, можете ли вы в подтверждение ваших слов сослаться на каких-нибудь свидетелей?"

"Увы, нет, — отвечал граф. — Все те, кто окружал везира и встречал меня при его дворе, либо

умерли, либо рассеялись по лицу земли; насколько я знаю, я единственный из всех моих соотечественников пережил эту ужасную войну; у меня есть только письма Али Тепеленского, и я представил их вам; у меня есть лишь перстень, знак его воли, вот он; у меня есть еще самое убедительное доказательство, а именно, что после анонимного выпада не появилось ни одного свидетельства, которое можно было бы противопоставить моему слову честного человека, и, наконец, моя незапятнанная военная карьера".

По собранию пробежал шепот одобрения; в эту минуту, Альбер, не случись ничего неожиданного, честь вашего отца была бы спасена.

Оставалось только голосовать, но тут председатель взял слово.

"Господа, — сказал он, — и вы, граф, были бы рады, я полагаю, выслушать весьма важного, как он уверяет, свидетеля, который сам пожелал дать показания; после всего того, что нам сказал граф, мы не сомневаемся, что этот свидетель только подтвердит полнейшую невиновность нашего коллеги. Вот письмо, которое я только что получил. Желаете ли вы, чтобы я его вам прочел, или вы примете решение не оглашать его и не задерживаться на этом?"

Граф де Морсер побледнел и так стиснул свои бумаги, что они захрустели под его пальцами.

Комиссия постановила заслушать письмо; граф глубоко задумался и не выразил своего мнения.

Тогда председатель огласил следующее письмо:

"Господин председатель!

Я могу представить следственной комиссии, призванной расследовать поведение генерал-лейтенанта графа де Морсера в Эпире и Македонии. самые точные сведения".

Председатель на секунду замолк.

Граф де Морсер побледнел; председатель окинул слушателей вопросительным взглядом.

"Продолжайте!" — закричали со всех сторон. Председатель продолжал:

"Али-паша умер при мне, и на моих глазах протекли его последние минуты; я знаю, какая судьба постигла Василики и Гайде, я к услугам комиссии и даже прошу оказать мне честь и выслушать меня. Когда Вам вручат это письмо, я буду находиться в вестибюле Палаты".

"А кто этот свидетель, или, вернее, этот враг?" — спросил граф, и не трудно было заметить, как изменился его голос.

"Мы это сейчас узнаем, — отвечал председа-

тель. — Угодно ли комиссии выслушать этого свидетеля?"

"Да, да!" — в один голос отвечали все.

Позвали курьера.

"Дожидается ли кто-нибудь в вестибюле?" — спросил председатель.

"Да, господин председатель".

"Кто?"

"Женщина, в сопровождении слуги".

Все переглянулись.

"Пригласите сюда эту женщину", — сказал председатель.

— Пять минут спустя курьер вернулся. Все глаза были обращены на дверь, и я также, — прибавил Бошан, — разделял общее напряженное ожидание.

Позади курьера шла женщина, с головы до ног закутанная в покрывало. По неясным очертаниям фигуры и по запаху духов под этим покрывалом только и угадывалась молодая и изящная женщина.

Председатель попросил незнакомку приоткрыть покрывало, и глазам присутствующих предстала молодая девушка в костюме гречанки; она была необычайно красива.

— Это она! — сказал Альбер.

— Кто она?

— Гайде.

— Кто вам сказал?

— Увы, я догадываюсь. Но продолжайте, Бошан, прошу вас. Вы видите, я спокоен и не теряю присутствия духа, хотя мы, вероятно, приближаемся к развязке.

— Господин де Морсер глядел на эту девушку с изумлением и ужасом, — продолжал Бошан. — Слова, готовые слететь с этих прелестных губ, означали для него жизнь или смерть; остальные были так удивлены и заинтересованы появлением незнакомки, что спасение или гибель господина де Морсера уже не столь занимали их мысли.

Председатель предложил девушке сесть, но она покачала головой. Граф же упал в свое кресло: ноги явно отказывались служить ему.

"Сударыня, — сказал председатель, — вы писали комиссии, что желаете сообщить сведения о событиях в Янине, и заявляли, что были свидетельницей этих событий".

"Это правда", — отвечала незнакомка с чарующей грустью и той мелодичностью голоса, которая отличает речь всех жителей Востока.

"Однако, — сказал председатель, — разрешите

мне вам заметить, что вы были тогда слишком молоды".

"Мне было четыре года, но, так как для меня это были события необычайной важности, то я не забыла ни одной подробности, ни одна мелочь не изгладилась из моей памяти".

"Но чем же были важны для вас эти события и кто вы, почему катастрофа произвела на вас такое глубокое впечатление?"

"Дело шло о жизни или смерти моего отца, — отвечала девушка, — я Гайде, дочь Али Тепеленского, янинского паши, и Василики, его любимой жены".

Скромный и в то же время горделивый румянец, заливший лицо девушки, ее огненный взор и величавость ее слов произвели невыразимое впечатление на собрание.

А граф де Морсер с таким ужасом смотрел на нее, словно пропасть внезапно разверзлась у его ног.

"Сударыня, — сказал председатель, почтительно ей поклонившись, — разрешите мне задать вам один вопрос, отнюдь не означающий с моей стороны сомнения, и это будет последний мой вопрос: можете ли вы подтвердить ваше заявление?"

"Да, могу, — отвечала Гайде, вынимая из складок своего покрывала благовонный атласный мешочек, — вот свидетельство о моем рождении, составленное моим отцом и подписанное его военачальниками; вот свидетельство о моем крещении, ибо мой отец дал свое согласие на то, чтобы я воспитывалась в вере моей матери; на этом свидетельстве стоит печать великого примаса Македонии и Эпира; вот, наконец (и это, вероятно, самый важный документ), свидетельство о продаже меня и моей матери армянскому купцу Эль-Коббиру французским офицером, который в своей гнусной сделке с Портой выговорил себе как долю добычи жену и дочь своего благодетеля и продал их за тысячу бурсов, то есть почти за четыреста тысяч франков".

Лицо де Морсера покрылось зеленоватой бледностью, а глаза его налились кровью, когда раздались эти ужасные обвинения, которые собрание выслушало в зловещем молчании.

Гайде, все такая же спокойная, но более грозная в своем спокойствии, чем была бы другая в гневе, протянула председателю свидетельство о продаже, составленное на арабском языке.

Так как считали возможным, что некоторые из предъявленных документов могут оказаться

составленными на арабском, новогреческом или турецком языке, то к заседанию был вызван переводчик, состоявший при Палате; за ним послали.

Один из благородных пэров, которому был знаком арабский язык, изученный им во время великого египетского похода, следил глазами за чтением пергамента, в то время как переводчик оглашал его вслух:

"Я, Эль-Коббир, торговец невольниками и поставщик гарема его величества султана, удостоверяю, что получил от франкского вельможи графа де Монте-Кристо, для вручения падишаху, изумруд, оцененный в две тысячи бурсов, как плату за молодую невольницу-христианку, одиннадцати лет от роду, по имени Гайде, признанную дочь покойного Али Тепеленского, янинского паши, и Василики, его любимой жены; каковая, тому семь лет, вместе со своей матерью, умершей по прибытии ее в Константинополь, была мне продана франкским полковником, состоявшим на службе у везира Али Тепеленского, по имени Фернан Мондего.

Вышеупомянутая покупка была мною совершена за счет его величества султана и по его уполномочию за тысячу бурсов.

Составлено в Константинополе, с дозволения

его величества, в год 1247 хиджры.

Подписано: Эль-Коббир.

Настоящее свидетельство, для вящего удостоверения его истинности, непреложности и подлинности, будет снабжено печатью его величества, наложение каковой продавец обязуется исходатайствовать".

Рядом с подписью торговца действительно стояла печать падишаха.

За этим чтением и за этим зрелищем последовало гробовое молчание. Все, что было живого в графе, сосредоточилось в его глазах, и эти глаза, как бы помимо его воли прикованные к Гайде, пылали огнем и кровью.

"Сударыня, — сказал председатель, — не можем ли мы попросить разъяснений у графа де Монте-Кристо, который, насколько мне известно, вместе с вами находится в Париже?"

"Сударь, граф де Монте-Кристо, мой второй отец, уже три дня как уехал в Нормандию".

"Но в таком случае, сударыня, — сказал председатель, — кто подал вам мысль сделать ваше заявление, за которое Палата приносит вам благодарность? Впрочем, принимая во внимание ваше рождение и перенесенные вами несчастья, ваш поступок вполне естествен".

"Сударь, — отвечала Гайде, — этот поступок внушили мне почтение к мертвым и мое горе. Хоть я и христианка, но, простит мне Бог, я всегда мечтала отомстить за моего доблестного отца. И с тех пор как я вступила на французскую землю, с тех пор как я узнала, что предатель живет в Париже, мои глаза и уши были всегда открыты. Я веду уединенную жизнь в доме моего благородного покровителя, и я живу так потому, что люблю тень и тишину, которые позволяют мне жить наедине со своими мыслями. Но граф де Монте-Кристо окружает меня отеческими заботами, и ничто в жизни мира не чуждо мне; правда, я беру от нее только отголоски. Я читаю все газеты, получаю все журналы, знаю новую музыку; и вот, следя, хоть и со стороны, за жизнью других людей, я узнала, что произошло сегодня утром в Палате пэров и что должно было произойти сегодня вечером... Тогда я написала письмо".

"И граф де Монте-Кристо не знает о вашем поступке?" — спросил председатель.

"Ничего не знает, и я даже опасаюсь, что он его не одобрит, когда узнает; а между тем это великий для меня день, — продолжала девушка, подняв к небу взор, полный огня, — день, когда я, наконец, могу отомстить за своего отца!"

Де Морсер за все это время не произнес ни слова; его коллеги не без участия смотрели на этого человека, чья жизнь разбилась от благовонного дыхания женщины; несчастье уже чертило зловещие знаки на его челе.

"Господин де Морсер, — сказал председатель, — признаете ли вы в этой девушке дочь Али Тепеленского, янинского паши?"

"Нет, — сказал граф с усилием вставая, — все это лишь козни моих врагов".

Гайде, не отрывавшая глаз от двери, словно она ждала кого-то, быстро обернулась и, увидя поднявшегося на ноги графа, страшно вскрикнула.

"Ты не узнаешь меня, — воскликнула она, — зато я узнаю тебя! Ты Фернан Мондего, французский офицер, обучавший войска моего благородного отца. Это ты предал замки Янины! Это ты, отправленный им в Константинополь, чтобы договориться с султаном о жизни или смерти твоего благодетеля, привез подложный фирман о полном помиловании! Ты, благодаря этому фирману, получил перстень паши, чтобы заставить Селима, хранителя огня, повиноваться тебе! Ты зарезал Селима. Ты продал мою мать и меня купцу Эль-Коббиру! Убийца! Убийца! Убийца! На лбу у тебя до сих пор кровь твоего господина!

Смотрите все!"

Эти слова были произнесены с таким страстным убеждением, что все глаза обратились на лоб графа, и он сам поднес к нему руку, точно чувствовал, что он влажен от крови Али.

"Вы, значит, утверждаете, что вы узнали в графе де Морсере офицера Фернана Мондего?"

"Узнаю ли я его! — воскликнула Гайде. — Моя мать сказала мне: "Ты была свободна, у тебя был отец, который тебя любил, ты могла бы стать почти королевой! Вглядись в этого человека, это он сделал тебя рабыней, это он поднял на копье голову твоего отца, он продал нас, он нас выдал! Посмотри на его правую руку, на ней большой рубец; если ты когда-нибудь забудешь его лицо, ты узнаешь его по этой руке, в которую отсчитал золото купец Эль-Коббир!" Узнаю ли я его? Пусть он посмеет теперь сказать, что он меня не узнает!"

Каждое слово обрушивалось на Морсера как удар ножа, лишая его сил; при последних словах Гайде он невольно спрятал на груди свою руку, действительно искалеченную раной, и, сраженный отчаянием, упал в кресло.

От виденного и слышанного мысли присутствующих закружились вихрем, как опавшие листья, подхваченные могучим дыханием север-

ного ветра.

"Граф де Морсер, — сказал председатель, — не поддавайтесь отчаянию, отвечайте; перед верховным правосудием Палаты все равны, как и перед Господним судом. Правосудие не позволит вашим врагам раздавить вас, не дав вам возможности сразиться с ними. Может быть, вы желаете нового расследования? Желаете, чтобы я послал двух членов Палаты в Янину? Говорите!"

Морсер ничего не ответил.

Тогда члены комиссии с ужасом переглянулись. Все знали властный и непреклонный его нрав. Нужен был страшный упадок сил, чтобы этот человек перестал обороняться, и все думали, что за этим безмолвием, похожим на сон, последует пробуждение, подобное грозе.

"Ну что же, — сказал председатель, — что вы решаете?"

"Ничего", — глухо ответил граф, поднимаясь с места.

"Значит, дочь Али Тепеленского действительно сказала правду? — спросил председатель. — Значит, она и есть тот страшный свидетель, которому виновный не смеет ответить "нет"? Значит, вы действительно совершили все, в чем вас обвиняют?"

Граф обвел окружающих взглядом, отчаянное выражение которого разжалобило бы тигров, но не могло смягчить судей; затем он поднял глаза к сводам зала, но сейчас же опустил их, как бы страшась, что своды эти разверзнутся и явят во всем блеске другое, небесное судилище, другого, Всевышнего судью.

И вдруг резким движением он разорвал душивший его воротник и вышел из залы в мрачном безумии; его шаги зловеще отдались под сводами, и вслед за тем грохот кареты, вскачь уносившей его, потряс колонны флорентийского портика.

"Господа, — сказал председатель, когда воцарилась тишина, — виновен ли граф де Морсер в вероломстве, предательстве и бесчестии?"

"Да!" — единогласно ответили члены следственной комиссии.

Гайде оставалась до конца заседания; она выслушала приговор графу, и ни одна черта ее лица не выразила ни радости, ни сострадания.

Потом, опустив покрывало на лицо, она величаво поклонилась членам собрания и вышла той поступью, которой Вергилий наделял богинь.

X
ВЫЗОВ

— Я воспользовался общим молчанием и темнотой залы, чтобы выйти незамеченным, — продолжал Бошан. — У дверей меня ждал тот самый служитель, который отворил мне ложу. Он довел меня по коридорам до маленькой двери, выходящей на улицу Вожирар. Я вышел истерзанный и в то же время восхищенный, — простите меня, Альбер, — истерзанный за вас, восхищенный благородством этой девушки, мстящей за своего отца. Да, клянусь, Альбер, откуда бы ни шло это разоблачение, я скажу одно: быть может, оно исходит от врага, но этот враг только орудие Провидения.

Альбер сидел, уронив голову на руки. Он поднял лицо, пылающее от стыда и мокрое от слез, схватил Бошана за руку.

— Друг, — сказал он, — моя жизнь кончена; мне остается не повторять, конечно, вслед за вами, что этот удар мне нанесло Провидение, а искать человека, который преследует меня своей ненавистью; когда я его найду, я его убью или он

убьет меня; и я рассчитываю на вашу дружескую помощь, Бошан, если только презрение не изгнало дружбу из вашего сердца.

— Презрение, друг мой? Чем вы виноваты в этом несчастье? Нет, слава Богу, прошли те времена, когда несправедливый предрассудок заставлял сыновей отвечать за действия отцов. Припомните всю свою жизнь, Альбер; правда, она очень юна, но не было зари более чистой, чем ваш рассвет! Нет, Альбер, поверьте мне: вы молоды, богаты, уезжайте из Франции! Все быстро забывается в этом огромном Вавилоне, где жизнь кипит и вкусы изменчивы; вы вернетесь года через три, женатый на какой-нибудь русской княжне, и никто не вспомнит о том, что случилось вчера, а тем более о том, что случилось шестнадцать лет тому назад.

— Благодарю вас, мой дорогой Бошан, благодарю вас за добрые чувства, которые подсказали вам этот совет, но это невозможно. Я высказал вам свое желание, а теперь, если нужно, я заменю слово "желание" словом "воля". Вы должны понять, что это слишком близко меня касается, и я не могу смотреть на дело, как вы. То, что, по-вашему, имеет своим источником волю Неба, по-моему, исходит из источника менее чисто-

го. Мне представляется, должен сознаться, что Провидение здесь ни при чем, и это к счастью, потому что вместо невидимого и неосязаемого. вестника небесных наград и кар я найду видимое и осязаемое существо, которому я отомщу, клянусь, за все, что я выстрадал в течение этого месяца. Теперь, повторяю вам, Бошан, я хочу вернуться в мир людей, мир материальный, и, если вы, как вы говорите, все еще мой друг, помогите мне отыскать ту руку, которая нанесла удар.



— Будь по-вашему! — сказал Бошан. — Если вы непременно хотите, чтобы я спустился на землю, я это сделаю; если вы хотите начать розыски врага, я буду разыскивать его вместе с вами. И я найду его, потому что моя честь требует почти в такой же мере, как и ваша, чтобы мы его нашли.

— В таком случае, Бошан, мы должны начать розыски немедленно, сейчас же. Каждая минута промедления кажется мне вечностью; доносчик еще не понес наказания, следовательно, он может надеяться, что и не понесет его, но, клянусь честью, он жестоко ошибается!

— Послушайте, Морсер…

— Я вижу, Бошан, вы что-то знаете; вы возвращаете мне жизнь!

— Я ничего не знаю точно, Альбер, но все же это луч света во тьме, и, если мы пойдем за этим лучом, он, может быть, выведет нас к цели.

— Да говорите же! Я сгораю от нетерпения.

— Я расскажу вам то, чего не хотел говорить, когда вернулся из Янины.

— Я слушаю.

— Вот что произошло, Альбер. Я, естественно, обратился за справками к первому банкиру в городе; как только я заговорил об этом деле и даже прежде чем я успел назвать вашего отца,

он сказал:

"Я догадываюсь, что вас привело ко мне".

"Каким образом?"

"Нет еще двух недель, как меня запрашивали по этому самому делу".

"Кто?"

"Один парижский банкир, мой корреспондент".

"Его имя?"

"Данглар".

— Данглар! — воскликнул Альбер. — Верно, он уже давно преследует моего несчастного отца своей завистливой злобой; он считает себя демократом, но не может простить графу де Морсер его пэрства. И этот неизвестно почему не состоявшийся брак… да, это так!

— Расследуйте это, Альбер, только не горячитесь заранее, и если это так…

— Если это так, — воскликнул Альбер, — он заплатит мне за все, что я выстрадал.

— Не увлекайтесь, ведь он уже пожилой человек.

— *Я* буду считаться с его возрастом так, как он считался с честью моей семьи. Если он враг моего отца, почему он не напал на него открыто? Он побоялся встретиться лицом к лицу с мужчиной!

— Альбер, я не осуждаю, я только сдерживаю вас; будьте осторожны.

— Не бойтесь; впрочем, вы будете меня сопровождать, Бошан: о таких серьезных вещах говорят при свидетелях. Сегодня же, если виновен Данглар, он умрет или умру я. Черт возьми, Бошан, я устрою пышные похороны своей чести!

— Хорошо, Альбер. Когда принимают такое решение, надо немедленно исполнить его. Вы хотите ехать к Данглару? Едем.

Они послали за наемным кабриолетом. Подъезжая к дому банкира, они увидели у ворот фаэтон и слугу Андреа Кавальканти.

— Вот это удачно! — угрюмо произнес Альбер. — Если Данглар откажется принять вызов, я убью его зятя. Князь Кавальканти — как же ему не драться!

Банкиру доложили об их приходе, и он, услышав имя Альбера и зная все, что произошло накануне, велел сказать, что не принимает. Но было уже поздно, Альбер шел следом за лакеем; он услышал ответ, распахнул дверь и вместе с Бошаном вошел в кабинет банкира.

— Позвольте, сударь! — воскликнул тот. — Разве я уже не хозяин в своем доме и не властен принимать или не принимать кого мне угодно?

Мне кажется, вы до странности забываетесь.

— Нет, сударь, — холодно отвечал Альбер, — бывают обстоятельства, когда некоторых посетителей нельзя не принимать, если не хочешь прослыть трусом, — этот выход вам, разумеется, открыт.

— Что вам от меня угодно, сударь?

— Мне угодно, — сказал Альбер, подходя к нему и словно не замечая Кавальканти, стоявшего у камина, — предложить вам встретиться со мной в уединенном месте, где нас никто не побеспокоит в течение десяти минут; большего я не прошу; и из двух людей, которые там встретятся, один останется на месте.

Данглар побледнел. Кавальканти сделал движение. Альбер обернулся к нему.

— Пожалуйста, — сказал он, — если желаете, граф, приходите тоже, вы имеете на это полное право, вы почти уже член семьи, а я назначаю такие свидания всякому, кто пожелает явиться.

Кавальканти в недоумении взглянул на Данглара, и тот, сделав над собой усилие, поднялся и стал между ними. Выпад Альбера против Андреа возбудил в нем надежду, что этот визит вызван не той причиной, которую он предположил вначале.

— Послушайте, сударь, — сказал он Альберу, — если вы ищете ссоры с виконтом за то, что я предпочел его вам, то я предупреждаю вас, что передам это дело королевскому прокурору.

— Вы ошибаетесь, сударь, — сказал Альбер с мрачной улыбкой, — мне не до свадеб, и я обратился к господину Кавальканти только потому, что мне показалось, будто у него мелькнуло желание вмешаться в наш разговор. А впрочем, вы совершенно правы, я готов сегодня поссориться со всяким; но будьте спокойны, господин Данглар, первенство в этом отношении остается за вами.

— Сударь, — отвечал Данглар, бледный от гнева и страха, — предупреждаю вас, что, когда, по несчастью, я встречаю на своем пути бешеного пса, я убиваю его, и не только не считаю себя виновным, но, напротив того, нахожу, что оказываю обществу услугу. Так что если вы взбесились и собираетесь укусить меня, то предупреждаю вас: я без всякой жалости вас убью. Чем я виноват, что ваш отец обесчещен?

— Да, негодяй! — воскликнул Альбер. — Это твоя вина!

Данглар отступил на шаг.

— Моя вина! Моя? — сказал он. — Да вы с ума сошли! Да разве я знаю греческую историю? Разве

я разъезжал по всем этим странам? Разве это я посоветовал вашему отцу продать янинские замки, выдать…

— Молчать! — сказал Альбер сквозь зубы. — Нет, не вы лично вызвали скандал, но именно вы коварно подстроили это несчастье.

— Я?

— Да, вы! Откуда пошла огласка?

— Но, мне кажется, в газете это было сказано: из Янины, откуда же еще!

— А кто писал в Янину?

— В Янину?

— Да. Кто писал и запрашивал сведения о моем отце?

— Мне кажется, что никому не запрещено писать в Янину.

— Во всяком случае, писало только одно лицо.

— Только одно лицо?

— Да, и это лицо — вы.

— Разумеется, я писал: мне кажется, что если выдаешь замуж свою дочь за молодого человека, то позволительно собирать сведения о семье этого молодого человека; это не только право, это обязанность.

— Вы писали, сударь, — сказал Альбер, — отлично зная, какой получите ответ.

— Клянусь вам, — воскликнул Данглар с чувством искренней убежденности, исходившим, быть может, не столько даже от наполнявшего его страха, сколько от жалости, которую он в глубине души чувствовал к несчастному юноше, — мне никогда и в голову бы не пришло писать в Янину. Разве я имел представление о несчастье, постигшем Али-пашу?

— Значит, кто-нибудь посоветовал вам написать?

— Разумеется.

— Вам посоветовали?

— Да.

— Кто?.. Говорите… Сознайтесь…

— Извольте, все очень просто: я говорил о прошлом вашего отца, я сказал, что источник его богатства никому не известен. Лицо, с которым я беседовал, спросило, где ваш отец приобрел свое состояние. Я ответил: в Греции. Тогда этот человек мне сказал: напишите в Янину.

— Кто же вам дал этот совет?

— Черт возьми! Граф де Монте-Кристо, ваш друг.

— Граф де Монте-Кристо посоветовал вам написать в Янину?

— Да, и я написал. Хотите посмотреть мою пе-

переписку? Я вам ее покажу.

Альбер и Бошан переглянулись.

— Сударь, — сказал Бошан, до сих пор молчавший, — по-моему, вы обвиняете графа, зная, что его сейчас нет в Париже и он не может оправдаться.

— Я никого не обвиняю, сударь, — отвечал Данглар, — я просто рассказываю, как было дело, и готов повторить в присутствии господина графа де Монте-Кристо все, что я вам сейчас сказал.

— И граф знает, какой вы получили ответ?

— Я ему показал ответ.

— Знал ли он, что моего отца звали Фернан и что его фамилия Мондего?

— Да, я ему давно об этом сказал; словом, я сделал только то, что всякий сделал бы на моем месте, и даже, может быть, гораздо меньше. На следующий день после получения этого ответа ваш отец, по совету графа де Монте-Кристо, приехал ко мне и официально просил для вас руки моей дочери, как это принято делать, когда хотят решить вопрос окончательно, я отказал ему, отказал наотрез, эго правда, но без всяких объяснений, без скандала. В самом деле, к чему мне была огласка? Какое мне дело до чести или бесчестия господина де Морсера? Это не влияет

ни на повышение, ни на понижение курса.

Альбер почувствовал, что краска заливает ему лицо. Сомнений не было, Данглар защищался как низкий, но уверенный в себе человек, говоривший если не всю правду, то, во всяком случае, долю правды, не по велению совести, конечно, но из страха. Впрочем, что нужно было Альберу? Не большая или меньшая степень вины Данглара или Монте-Кристо, а человек, который ответил бы за обиду, независимо от того, тяжка ли она или пустячна, человек, который станет драться, а было совершенно очевидно, что Данглар драться не станет.

И все то, что успело забыться или прошло незамеченным, ясно вставало перед его глазами и воскресало в его памяти. Монте-Кристо знал все, раз он купил дочь Али-паши, а зная все, он посоветовал Данглару написать в Янину. Узнав ответ, он согласился познакомить Альбера с Гайде; как только они очутились в ее обществе, он навел разговор на смерть Али и не мешал Гайде рассказывать (впрочем, вероятно, в тех нескольких словах, которые он сказал ей по-гречески, он велел ей скрыть от Альбера, что дело идет об его отце); кроме того, разве он не просил Альбера не произносить при Гайде имени его отца? Нако-

нец, он увез Альбера в Нормандию именно на то время, когда должен был разразиться скандал. Сомнений не было, все это было сделано расчетливо, и Монте-Кристо был, несомненно, в сговоре с врагами его отца.

Альбер отвел Бошана в сторону и поделился с ним всеми этими соображениями.

— Вы правы, — сказал тот. — Данглара во всем случившемся касается только грубая, материальная сторона дела; объяснений вы должны требовать от господина де Монте-Кристо.

Альбер обернулся.

— Сударь, — сказал он Данглару, — вы должны понять, что я еще не прощаюсь с вами, но мне необходимо знать, насколько ваши обвинения справедливы, и, чтобы удостовериться в этом, я сейчас же еду к графу де Монте-Кристо.

И, поклонившись банкиру, он вышел вместе с Бошаном, не удостоив Кавальканти даже взглядом.

Данглар проводил их до двери и на пороге еще раз заверил Альбера, что у него нет никакого личного повода питать ненависть к графу де Морсеру.

XI
ОСКОРБЛЕНИЕ

Выйдя от банкира, Бошан остановился.

— Послушайте, Альбер, — произнес он, — я вам сказал, что вам следует потребовать объяснений у господина Монте-Кристо.

— Да, и мы едем к нему.

— Одну минуту; раньше чем ехать к графу, подумайте.

— О чем мне еще думать?

— О серьезности этого шага.

— Но разве он более серьезен, чем мой визит к Данглару?

— Да, Данглар — человек деловой, а деловые люди, как вам известно, знают цену своим капиталам и потому дерутся неохотно. Граф Монте-Кристо, напротив, дворянин, по крайней мере по виду, но не опасаетесь ли вы, что под внешностью дворянина скрывается убийца?

— Я опасаюсь только одного — что он откажется драться.

— Будьте спокойны, — сказал Бошан, — этот будет драться. Я даже боюсь, что он будет драться

слишком хорошо. Берегитесь!

— Друг, — сказал Альбер с ясной улыбкой, — этого мне и нужно, и самое большое счастье для меня — быть убитым за отца: это всех нас спасет.

— Это убьет вашу матушку!

— Бедная мама, — сказал Альбер, проводя рукой по глазам, — да, я знаю, но пусть уж лучше она умрет от горя, чем от стыда.

— Так ваше решение твердо, Альбер?

— Да.

— Тогда едем! Но уверены ли вы, что мы его застанем?

— Он должен был выехать вслед за мной и, наверное, уже в Париже.

Они сели в кабриолет и поехали на Елисейские поля.

Бошан хотел войти один, но Альбер заметил ему, что так как эта дуэль несколько необычна, то он может позволить себе нарушить этикет.

Чувство, одушевлявшее Альбера, было столь священно, что Бошану оставалось только подчиняться всем его желаниям, поэтому он уступил и ограничился тем, что последовал за своим другом.

Альбер почти бегом прошел от ворот до крыльца. Там его встретил Батистен.

Граф действительно уже вернулся; он предупредил Батистена, что его ни для кого нет дома.

— Его сиятельство принимает ванну, — сказал Батистен Альберу.

— Но после ванны?

— Он будет обедать.

— А после обеда?

— Он будет час отдыхать.

— А затем?

— Он поедет в Оперу.

— Вы в этом уверены? — спросил Альбер.

— Совершенно уверен, граф приказал подать лошадей ровно в восемь часов.

— Превосходно, — ответил Альбер, — больше мне ничего не нужно.

Затем он повернулся к Бошану.

— Если вам нужно куда-нибудь идти, Бошан, идите сейчас же; если у вас на сегодняшний вечер назначено какое-нибудь свидание, отложите его на завтра. Вы сами понимаете, я рассчитываю, что вы поедете со мной в Оперу. Если удастся, приведите с собой и Шато-Рено.

Бошан простился с Альбером, обещав зайти за ним без четверти восемь.

Вернувшись домой, Альбер послал предупредить Франца, Дебрэ и Морреля, что очень просит

их встретиться с ним в этот вечер в Опере.

Потом он прошел к своей матери, которая после всего того, что произошло накануне, велела никого не принимать и заперлась у себя. Он нашел ее в постели, потрясенную разыгравшимся скандалом.

Приход Альбера произвел на Мерседес именно то действие, которого следовало ожидать: она сжала руку сына и разразилась рыданиями. Однако от этих слез ей полегчало.

Альбер стоял, безмолвно склонившись над ней. По его бледному лицу и нахмуренным бровям видно было, что принятое им решение отомстить все сильнее овладевало его сердцем.

— Вы не знаете, матушка, — спросил он, — есть ли у господина де Морсера враги?

Мерседес вздрогнула; она заметила, что Альбер не сказал "у моего отца".

— Друг мой, — отвечала она, — у людей, занимающих такое положение, как граф, бывает много тайных врагов. Явные враги, как ты знаешь, еще не самые опасные.

— Да, я знаю, и потому надеюсь на вашу проницательность. Я знаю, вы необыкновенная, от вас ничто не ускользнет!

— Почему ты мне это говоришь?

— Потому что вы заметили, например, у нас на балу, что граф де Монте-Кристо не захотел есть в нашем доме.

Мерседес, сжигаемая лихорадкой, приподнялась на постели, ее бросило в дрожь.

— Граф де Монте-Кристо! — воскликнула она. — Но какое это имеет отношение к тому, о чем ты меня спрашиваешь?

— Вы же знаете, матушка, что господин де Монте-Кристо верен многим обычаям Востока, а на Востоке, чтобы сохранить за собой право мести, никогда ничего не пьют и не едят в доме врага.

— Граф де Монте-Кристо — наш враг? — спросила Мерседес, побледнев как полотно. — Кто тебе это сказал? Почему? Ты бредишь, Альбер. От него мы видели одно только внимание. Господин Монте-Кристо спас тебе жизнь, и ты сам представил нам его. Умоляю тебя, сын, прогони эту мысль. Я советую тебе, больше того, прошу тебя: сохрани его дружбу.

— Матушка, — возразил Альбер, мрачно глядя на нее, — у вас есть какая-то причина осторожничать с этим человеком.

— У меня! — воскликнула Мерседес, мгновенно покраснев, и тотчас вновь побледнела сильнее прежнего.

— Да, — сказал Альбер, — и это, конечно, потому, что мы можем ждать от него только зла, правда?

Мерседес вздрогнула и вперила в сына испытующий взор.

— Как ты странно говоришь, — сказала она, — откуда у тебя такое предубеждение! Что ты имеешь против графа? Три дня тому назад ты гостил у него в Нормандии; три дня тому назад я его считала и сам ты считал его твоим лучшим другом.

Ироническая улыбка мелькнула на губах Альберта. Мерседес перехватила эту улыбку и чутьем женщины и матери угадала все, но, осторожная и сильная духом, она скрыла свое смущение и тревогу.

Альбер молчал; немного погодя графиня заговорила снова.

— Ты пришел узнать, как я себя чувствую, — сказала она, — не скрою, друг мой, мне нездоровится. Побудь со мной, Альбер, мне так тяжело одной.

— Матушка, — сказал юноша, — вы ведь знаете, я был рад остаться с вами, но сегодня вечером у меня спешное, неотложное дело.

— Что ж, — ответила со вздохом Мерседес. — Иди, Альбер, я не хочу делать тебя рабом твоих

сыновних чувств.

Альбер сделал вид, что не уловил смысла этих слов, простился с матерью и вышел.

Не успел он закрыть за собой дверь, как Мерседес послала за доверенным слугой и велела ему следовать за Альбером всюду, куда бы тот ни пошел, а возвратясь, немедленно ей обо всем сообщить.

Затем она позвонила горничной и, превозмогая свою слабость, оделась, чтобы быть на всякий случай готовой.

Поручение, данное слуге, было нетрудно выполнить. Альбер вернулся к себе и оделся с особой тщательностью. Без десяти минут восемь явился Бошан; он уже виделся с Шато-Рено, и тот обещал быть на своем месте, в первых рядах кресел, еще до поднятия занавеса.

Молодые люди сели в карету Альбера, который, не считая нужным скрывать, куда он едет, громко приказал:

— В Оперу!

Сгорая от нетерпения, он вошел в театр еще до начала спектакля.

Шато-Рено сидел уже в своем кресле; так как Бошан обо всем его предупредил, Альберу не пришлось давать ему никаких объяснений. Пове-

дение сына, желающего отомстить за отца, было так естественно, что Шато-Рено и не пытался его отговаривать и ограничился заявлением, что он к его услугам.

Дебрэ еще не было, но Альбер знал, что он редко пропускает спектакль в Опере. Пока не подняли занавес, Альбер бродил по театру. Он надеялся встретить Монте-Кристо либо в коридоре, либо на лестнице. Звонок заставил его вернуться, и он занял свое кресло между Шато-Рено и Бошаном.

Но его глаза не отрывались от ложи между колоннами, которая во время первого действия упорно оставалась закрытой.

Наконец, в начале второго акта, когда Альбер уже в сотый раз посмотрел на часы, дверь ложи открылась и Монте-Кристо, весь в черном, вошел и оперся о барьер, разглядывая зрительный зал, следом за ним вошел Моррель, стал искать глазами сестру и зятя. Он увидел их в ложе бельэтажа и сделал им знак.

Граф, окидывая взглядом залу, заметил бледное лицо и сверкающие глаза, жадно искавшие его взгляда; он, разумеется, узнал Альбера, но, увидев его расстроенное лицо, сделал вид, что не заметил его. Ничем не выдавая своих мыслей, он сел, вынул из футляра бинокль и стал смотреть в

противоположную сторону.

Но, притворяясь, что он не замечает Альбера, граф все же не терял его из виду, и, когда второй акт кончился и занавес опустился, от его верного и безошибочного взгляда не ускользнуло, что Альбер вышел из партера в сопровождении обоих своих друзей.

Вслед за тем его лицо мелькнуло в дверях соседней ложи. Граф чувствовал, что гроза приближается, и когда он услышал, как повернулся ключ в двери его ложи, то, хотя он в ту минуту с самым веселым видом разговаривал с Моррелем, он уже знал, чего ждать, и был ко всему готов.

Дверь отворилась.

Только тогда граф обернулся и увидел Альбера, бледного и дрожащего; позади него стояли Бошан и Шато-Рено.

— А-а! Вот и мой всадник прискакал, — воскликнул он с той ласковой учтивостью, которая обычно отличала его приветствие от условной светской любезности. — Добрый вечер, господин де Морсер.

И лицо этого человека, так превосходно собой владевшего, было полно приветливости.

Только тут Моррель вспомнил о полученном им от виконта письме, в котором тот, ничего не

объясняя, просил его быть вечером в Опере, и он понял, что сейчас произойдет что-то ужасное.

— Мы пришли не затем, чтобы обмениваться лицемерными любезностями или лживыми выражениями дружбы, — сказал Альбер, — мы пришли требовать объяснения, господин граф.

Он говорил сквозь зубы, голос его прерывался.

— Объяснение в Опере? — сказал граф тем спокойным тоном и с тем пронизывающим взглядом, по которым узнается человек, неизменно в себе уверенный. — Хоть я и мало знаком с парижскими обычаями, мне все же кажется, сударь, что это не место для объяснений.

— Однако если человек скрывается, — сказал Альбер, — если к нему нельзя проникнуть, потому что он принимает ванну, обедает или спит, приходится говорить с ним там, где его встретишь.

— Меня не так трудно застать, — сказал Монте-Кристо, — не далее, как вчера, сударь, если память мне не изменяет, вы были моим гостем.

— Вчера, сударь, — сказал Альбер, теряя голову, — я был вашим гостем, потому что не знал, кто вы такой.

При этих словах Альбер возвысил голос, чтобы его могли слышать в соседних ложах и в коридо-

ре. И в самом деле, заслышав ссору, сидевшие в ложах обернулись, а проходившие по коридору остановились за спиной у Бошана и Шато-Рено.

— Откуда вы явились, сударь? — сказал Монте-Кристо, не выказывая никакого волнения. — Вы, по-видимому, не в своем уме.

— У меня достаточно ума, чтобы понимать ваше коварство и заставить вас понять, что я хочу вам отомстить за него, — сказал вне себя Альбер.

— Милостивый государь, я вас не понимаю, — возразил Монте-Кристо, — и во всяком случае я нахожу, что вы слишком громко говорите. Я здесь у себя, милостивый государь, здесь только я имею право повышать голос. Уходите!

И Монте-Кристо повелительным жестом указал Альберу на дверь.

— Я заставляю вас самого выйти отсюда! — возразил Альбер, судорожно комкая в руках перчатку, с которой граф не спускал глаз.

— Хорошо, — спокойно сказал Монте-Кристо, — я вижу, вы ищете ссоры, сударь, но позвольте вам дать совет и постарайтесь его запомнить: плохая манера сопровождать вызов шумом. Шум не для всякого удобен, господин де Морсер.

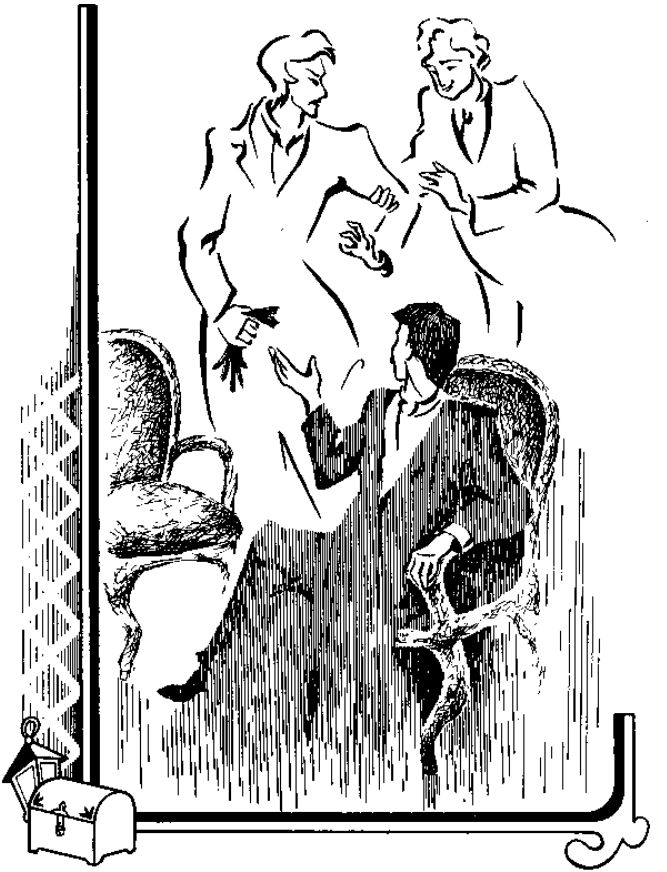
При этом имени ропот пробежал среди свидетелей этой сцены. Со вчерашнего дня имя Морсера

было у всех на устах.

Альбер лучше всех и прежде всех понял намек и сделал движение, намереваясь бросить перчатку в лицо графу, но Моррель остановил его руку, а Бошан и Шато-Рено, боясь, что эта сцена перейдет границы дозволенного, схватили его за плечи.

Но Монте-Кристо, не вставая с места, протянул руку и выхватил из судорожно сжатых пальцев Альбера влажную и смятую перчатку.

— Сударь, — сказал он грозным голосом, — я считаю, что эту перчатку вы мне бросили, и верну вам ее вместе с пулей. Теперь извольте выйти отсюда, не го я позову своих слуг и велю им вышвырнуть вас за дверь.



Шатаясь как пьяный, с налитыми кровью глазами, Альбер отступил на несколько шагов.

Моррель воспользовался этим и закрыл дверь.

Монте-Кристо снова взял бинокль и поднес его к глазам, словно ничего не произошло.

Сердце этого человека было отлито из бронзы, а лицо высечено из мрамора.

Моррель наклонился к графу.

— Что вы ему сделали? — шепотом спросил он.

— Я? Ничего, по крайней мере лично, — сказал Монте-Кристо.

— Однако эта странная сцена должна иметь причину?

— После скандала с графом де Морсером несчастный юноша сам не свой.

— Разве вы имеете к этому отношение?

— О предательстве его отца Палате сообщила Гайде.

— Да, я слышал, что гречанка, ваша невольница, которую я видел с вами в этой ложе, — дочь Али-паши, — сказал Моррель. — Но я не верил.

— Однако это правда.

— О Господи, теперь я все понимаю, — сказал Моррель, — эта сцена была подготовлена заранее.

— Почему вы думаете?

— Я получил записку от Альбера с просьбой быть сегодня в Опере; он хотел, чтобы я был свидетелем того оскорбления, которое он собирался вам нанести.

— Очень возможно, — невозмутимо сказал Монте-Кристо.

— Но как вы с ним поступите?

— С кем?

— С Альбером.

— Как я поступлю с Альбером, Максимилиан? — сказал тем же тоном Монте-Кристо. — Так же верно, как то, что я вас вижу и жму вашу руку, завтра утром я убью его. Вот как я с ним поступлю.

Моррель в свою очередь взял руку Монте-Кристо в свои и вздрогнул, почувствовав, что эта рука холодна и спокойна.

— Ах, граф, — сказал он, — отец так его любит!

— Только не говорите мне этого! — воскликнул Монте-Кристо, в первый раз обнаруживая, что он тоже может испытывать гнев. — Пусть любой отец страдает!

Моррель, пораженный, выпустил руку Монте-Кристо.

— Граф, граф! — сказал он.

— Дорогой Максимилиан, — прервал его

граф, — послушайте, как Дюпре очаровательно поет эту арию:

О Матильда, кумир души моей…

Представьте, я первый открыл в Неаполе Дюпре и первый аплодировал ему. Браво! Браво!

Моррель понял, что больше говорить не о чем, и замолчал.

Через несколько минут действие кончилось и занавес опустился. В дверь постучали.

— Войдите, — сказал Монте-Кристо, в голосе его не чувствовалось ни малейшего волнения.

Вошел Бошан.

— Добрый вечер, господин Бошан, — сказал Монте-Кристо, как будто он в первый раз за этот вечер встречался с журналистом, — садитесь, пожалуйста.

Бошан поклонился, вошел и сел.

— Граф, — сказал он Монте-Кристо, — я, как вы, вероятно, заметили, только что сопровождал господина де Морсера.

— Из чего можно сделать вывод, — смеясь, ответил Монте-Кристо, — что вы вместе обедали. Я рад видеть, господин Бошан, что вы были более выдержанны, чем он.

— Граф, — сказал Бошан, — я признаю, что Альбер был неправ, выйдя из себя, и приношу вам за

это свои личные извинения. Теперь, когда я принес вам извинения, — от своего имени, повторяю это, — граф, я надеюсь, что вы, как благородный человек, не откажетесь дать мне кое-какие объяснения по поводу ваших отношений с жителями Янины; потом я скажу еще несколько слов об этой молодой гречанке.

Монте-Кристо взглядом остановил его.

— Вот все мои надежды и разрушились, — сказал он, смеясь.

— Почему? — спросил Бошан.

— Очень просто: вы все поспешили наградить меня репутацией эксцентричного человека; по-вашему, я не то Лара, не то Манфред, не то лорд Рутвен; затем, когда моя эксцентричность вам надоела, вы портите созданный вами тип и хотите сделать из меня самого заурядного человека. Вы требуете, чтобы я стал пошлым, вульгарным; словом, вы требуете от меня объяснений. Помилуйте, господин Бошан, вы надо мной смеетесь.

— Однако, — возразил высокомерно Бошан, — бывают обстоятельства, когда честь требует…

— Сударь, — прервал Бошана его странный собеседник, — от графа де Монте-Кристо может чего-нибудь требовать только граф де Монте-Кристо. Поэтому, прошу вас, ни слова больше. Я

делаю что хочу, господин Бошан, и, поверьте, это всегда прекрасно получается.

— Сударь, — отвечал Бошан, — так не отделываются от порядочных людей; честь требует гарантий.

— Сударь, я сам — живая гарантия своей чести, — невозмутимо возразил Монте-Кристо, но глаза его угрожающе вспыхнули. — У нас обоих течет в жилах кровь, которую мы не прочь пролить, — вот наша взаимная гарантия. Передайте этот ответ виконту и скажите ему, что завтра утром, прежде чем пробьет десять, я узнаю цвет его крови.

— В таком случае, — сказал Бошан, — мне остается обсудить условия поединка.

— Мне они совершенно безразличны, сударь, — сказал граф де Монте-Кристо, — и вы напрасно из-за такой малости беспокоите меня во время спектакля. Во Франции дерутся на шпагах или на пистолетах; в колониях предпочитают карабин; в Аравии пользуются кинжалом. Скажите вашему доверителю, что я хоть и оскорбленный, но, желая быть до конца эксцентричным, предоставляю ему выбор оружия и без споров и возражений согласен на все, на все, вы слышите, на все, даже на дуэль по жребию, что всегда нелепо. Но со мной

— дело другое: я уверен, что выйду победителем.

— Вы уверены? — повторил Бошан, растерянно глядя на графа.

— Да, разумеется, — сказал Монте-Кристо, слегка пожав плечами. — Иначе я не принял бы вызова господина де Морсера. Я убью его, так должно быть, и так будет. Прошу вас только сегодня же вечером дать мне знать о часе встречи и роде оружия; я не люблю заставлять меня ждать.

— На пистолетах, в восемь часов утра, в Венсенском лесу, — сказал Бошан, не понимая, имеет ли он дело с дерзким фанфароном или со сверхъестественным существом.

— Отлично, сударь, — сказал Монте-Кристо. — Теперь, раз мы обо всем уговорились, разрешите мне, пожалуйста, слушать спектакль и посоветуйте вашему другу Альберу больше сюда не возвращаться; непристойное поведение только повредит ему. Пусть он едет домой и ложится спать.

Бошан ушел в полном недоумении.

— А теперь, — сказал Монте-Кристо, оборачиваясь к Моррелю, — могу ли я рассчитывать на вас?

— Разумеется, — сказал Моррель, — вы можете мной вполне располагать, граф, но все же…

— Что?

— Мне было бы очень важно, граф, знать истинную причину…

— Другими словами, вы отказываетесь?

— Отнюдь нет.

— Истинная причина? — повторил граф. — Этот юноша сам действует вслепую и не знает ее. Истинная причина известна лишь Богу и мне; но я даю вам честное слово, Моррель, что Бог, которому она известна, будет за нас.

— Этого достаточно, граф, — сказал Моррель. — Кто будет вашим вторым секундантом?

— Я никого в Париже не знаю, кому мог бы оказать эту честь, кроме вас, Моррель, и вашего зятя, Эмманюеля. Как по-вашему, Эмманюель согласится оказать мне эту услугу?

— Я отвечаю за него как за самого себя, граф.

— Отлично! Это все, что мне нужно. Значит, завтра в семь часов утра, у меня?

— Мы явимся.

— Тише! Занавес поднимают, давайте слушать. Я никогда не пропускаю ни одной ноты этого действия. Чудесная опера "Вильгельм Телль"!

XII
НОЧЬ

Граф де Монте-Кристо, по своему обыкновению, подождал, пока Дюпре спел свою знаменитую арию "За мной!", и только после этого встал и вышел из ложи.

Моррель простился с ним у выхода, повторив обещание явиться к нему вместе с Эмманюелем завтра ровно в семь часов утра.

Затем, все такой же спокойный и улыбающийся, граф сел в карету.

Пять минут спустя он был уже дома.

Но надо было не знать графа, чтобы не услышать сдержанной ярости в его голосе, когда он, входя к себе, сказал Али:

— Али, мои пистолеты с рукоятью слоновой кости!

Али принес ящик, и граф стал заботливо рассматривать оружие, что было вполне естественно для человека, доверяющего свою жизнь кусочку свинца.

Это были пистолеты особого образца, которые Монте-Кристо заказал, чтобы упражняться в

стрельбе дома. Для выстрела достаточно было пистона, и, находясь в соседней комнате, нельзя было заподозрить, что граф, как говорят стрелки, набивает себе руку.

Он только что взял в руку оружие и начал вглядываться в точку прицела на железной дощечке, служившей ему мишенью, как дверь кабинета отворилась и вошел Батистен.

Но, раньше чем он успел открыть рот, граф заметил в полумраке за растворенной дверью женщину под вуалью, которая вошла вслед за Батистеном.

Она увидела в руке графа пистолет, увидела, что на столе лежат две шпаги, и бросилась в комнату.

Батистен вопросительно взглянул на своего хозяина.

Граф сделал ему знак, Батистен вышел и закрыл за собой дверь.

— Кто вы такая, сударыня? — сказал граф женщине под вуалью.

Незнакомка окинула взглядом комнату, чтобы убедиться, что они одни, потом склонилась так низко, как будто хотела упасть на колени, и с отчаянной мольбой сложила руки.

— Эдмон, — сказала она, — вы не убьете моего

сына!

Граф отступил на шаг, тихо вскрикнул и выронил пистолет.

— Какое имя вы произнесли, госпожа де Морсер? — сказал он.

— Ваше, — воскликнула она, откидывая вуаль, — ваше, которое, быть может, я одна не забыла. Эдмон, к вам пришла не госпожа де Морсер, к вам пришла Мерседес.

— Мерседес умерла, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — и я больше не знаю женщины, носящей это имя.

— Мерседес жива, сударь, и Мерседес все помнит, она единственная узнала вас, чуть только увидела и даже еще не видев, по одному вашему голосу, Эдмон, по звуку вашего голоса; и с тех пор она следует за вами по пятам, она следит за вами, она боится вас, и ей не нужно было доискиваться, чья рука нанесла удар графу де Морсеру.

— Фернану, хотите вы сказать, сударыня, — с горькой иронией возразил Монте-Кристо. — Раз уж вы начали припоминать имена, припомним их все.

Монте-Кристо произнес имя "Фернан" с такой ненавистью, что Мерседес содрогнулась от ужаса.

— Вы видите, Эдмон, что я не ошиблась, — воскликнула она, — и что я недаром сказала вам: пощадите моего сына!

— А кто вам сказал, сударыня, что я враг вашему сыну?

— Никто! Но все матери — ясновидящие. Я все угадала, я поехала за ним в Оперу, спряталась в ложе и видела все.

— В таком случае, сударыня, вы видели, что сын Фернана публично оскорбил меня? — сказал Монте-Кристо с ужасающим спокойствием.

— Сжальтесь!

— Вы видели, — продолжал граф, — что он бросил бы мне в лицо перчатку, если бы один из моих друзей, господин Моррель, не схватил его за руку.

— Выслушайте меня. Мой сын также разгадал вас, и несчастье, постигшее его отца, он приписывает вам.

— Сударыня, — сказал Монте-Кристо, — вы ошибаетесь: это не несчастье, это возмездие. Не я нанес удар господину де Морсеру, его карает Провидение.

— А почему вы хотите подменить собой Провидение? — воскликнула Мерседес. — Почему вы помните, когда оно забыло? Какое дело вам,

Эдмон, до Янины и ее везира? Что сделал вам Фернан Мондего, предав Али Тепеленского?

— Верно, сударыня, — отвечал Монте-Кристо, — все это касается только французского офицера и дочери Василики. Вы правы, мне до этого нет дела, и если я поклялся отомстить, то не французскому офицеру и не графу де Морсеру, а рыбаку Фернану, мужу каталанки Мерседес,

— Какая жестокая месть за ошибку, на которую меня толкнула судьба! — воскликнула графиня. — Ведь виновата я, Эдмон, и если вы должны мстить, так мстите мне, у которой не хватило сил перенести ваше отсутствие и свое одиночество.

— А почему я отсутствовал? — воскликнул Монте-Кристо. — Почему вы были одиноки?

— Потому что вас арестовали, Эдмон, потому что вы были в тюрьме.

— А почему я был арестован? Почему я был в тюрьме?

— Этого я не знаю, — сказала Мерседес.

— Да, вы этого не знаете, сударыня, по крайней мере надеюсь, что не знаете. Но я вам скажу. Я был арестован, я был в тюрьме потому, что накануне того самого дня, когда я должен был на вас жениться, в беседке "Резерва" человек по имени Данглар написал вот это письмо, которое рыбак

Фернан взялся лично отнести на почту.

И Монте-Кристо, подойдя к столу, открыл ящик, вынул из него пожелтевшую бумажку, исписанную выцветшими чернилами, и положил ее перед Мерседес.

Это было письмо Данглара королевскому прокурору, которое граф де Монте-Кристо, под видом агента фирмы "Томсон и Френч" выплатив двести тысяч франков г-ну де Бовилю, изъял из дела Эдмона Дантеса.

Мерседес с ужасом прочла:

"Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле "Фараон", прибывшем сегодня из Смирны, с заходом в Неаполь и Портоферрайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора — письмо к бонапартистскому комитету в Париже.

В случае ареста письмо, уличающее его в преступлении, будет найдено при нем, или у его отца, или в его каюте на "Фараоне".

— Боже мой! — простонала Мерседес, проводя рукой по влажному лбу. — И это письмо...

— Я купил его за двести тысяч франков, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — и это недорого, потому что благодаря ему я сегодня могу оправ-

даться перед вами.

— И из-за этого письма?..

— Я был арестован; это вы знаете, но вы не знаете, сударыня, сколько времени длилось мое заточение. Вы не знаете, что я четырнадцать лет томился в четверти льё от вас, в темнице замка Иф. Вы не знаете, что четырнадцать долгих лет я ежедневно повторял клятву мщения, которую я дал себе в первый день, а между тем мне не было известно, что вы вышли замуж за Фернана, моего доносчика, и что мой отец умер, умер от голода!

Мерседес пошатнулась.

— Боже милосердный! — воскликнула она.

— Но, когда я вышел из тюрьмы, в которой пробыл четырнадцать лет, я узнал все это, и вот почему жизнью Мерседес и смертью отца я поклялся отомстить Фернану, и… и я мщу ему.

— И вы уверены, что на вас донес несчастный Фернан?

— Клянусь вам спасением своей души, сударыня, он это сделал. Впрочем, это немногим гнуснее, чем французскому гражданину — продаться англичанам, испанцу по рождению — сражаться против испанцев, офицеру на службе у Али — предать и убить Али. Что по сравнению с этим письмо, которое я вам показал? Уловка влюб-

ленного, которую, я это признаю и понимаю, должна простить женщина, вышедшая замуж за этого человека, но которую не прощает тот, чьей невестой она была. Французы не отомстили предателю: испанцы не расстреляли предателя; Али, лежа в своей могиле, не наказал предателя; но я, преданный им, уничтоженный, тоже брошенный в могилу, я милостью Бога вышел из этой могилы, я перед Богом обязан отомстить, я послан им для мести, и вот я здесь.

Несчастная женщина закрыла лицо руками и упала на колени как подкошенная.

— Простите, Эдмон, — сказала она, — простите ради меня, ради моей любви к вам!

Достоинство замужней женщины остановило порыв влюбленной и матери.

Чело ее склонилось почти до самого пола.

Граф бросился к ней и поднял ее.

И вот, сидя в кресле, она своими затуманенными от слез глазами посмотрела на бледное лицо Монте-Кристо, на котором еще лежал грозный отпечаток страдания и ненависти.

— Не истребить этот проклятый род! — прошептал он. — Ослушаться Бога, который повелевает мне покарать его! Нет, не могу!

— Эдмон, — с отчаянием сказала несчастная

мать, — Боже мой, я называю вас Эдмоном, почему вы не называете меня Мерседес?

— Мерседес! — повторил Монте-Кристо. — Да, вы правы, мне еще сладостно произносить это имя, и сегодня впервые, после стольких лет, оно звучит так внятно на моих устах. Мерседес, я повторял ваше имя со вздохами тоски, со стонами боли, с хрипом отчаяния; я произносил его, коченея от холода, скорчившись на тюремной соломе; я произносил его, изнемогая от жары, катаясь по каменному полу моей темницы. Мерседес, я должен отмстить, потому что четырнадцать лет я страдал, четырнадцать лет проливал слезы, я проклинал; говорю вам, Мерседес, я должен отмстить!

И граф, страшась, что он не устоит перед просьбами той, которую он так любил, призывал воспоминания на помощь своей ненависти.

— Так отмстите, Эдмон, — воскликнула несчастная мать, — но отмстите виновным: отмстите ему, отмстите мне, но не мстите моему сыну!

— В Священном писании сказано, — ответил Монте-Кристо — "Вина отцов падет на их детей до третьего и четвертого колена". Если Бог сказал эти слова своему пророку, то почему же мне быть милосерднее Бога?

— Потому, что Бог владеет временем и вечностью, а у человека их нет.

Из груди Монте-Кристо вырвался не то стон, не то рычание, и он схватился за голову, готовый рвать на себе волосы.

— Эдмон, — продолжала Мерседес, простирая руки к графу. — С тех пор как я вас знаю, я преклонялась перед вами, я чтила вашу память. Эдмон, друг мой, не омрачайте этот благородный и чистый образ, навеки запечатленный в моем сердце! Эдмон, если бы вы знали, сколько молитв я вознесла за вас Богу, пока я еще надеялась, что вы живы, и с тех пор, как поверила, что вы умерли! Да, умерли! Увы, я думала, что ваш труп погребен в глубине какой-нибудь мрачной башни, я думала, что ваше тело сброшено на дно какой-нибудь пропасти, куда тюремщики бросают умерших узников, и я плакала! Что могла я сделать для вас, Эдмон, как не молиться и плакать? Послушайте меня: десять лет подряд я каждую ночь видела один и тот же сон. Ходили слухи, будто вы пытались бежать, заняли место одного из заключенных, завернулись в саван покойника, и будто этот живой труп сбросили с высоты замка Иф; и, только услышав крик, который вы испустили, разбиваясь о камни, ваши

могильщики, оказавшиеся вашими палачами, поняли подмену. Эдмон, клянусь вам жизнью моего сына, за которого я вас молю, десять лет я каждую ночь видела во сне людей, сбрасывающих что-то неведомое и страшное с вершины скалы; десять лет я каждую ночь слышала ужасный крик, от которого просыпалась, вся дрожа и леденея. И я, Эдмон, поверьте мне, как ни тяжка моя вина, я тоже много страдала!

— А чувствовали ли вы, что ваш отец умирает вдали от вас? — воскликнул Монте-Кристо, по-прежнему схватившись за волосы. — Терзались ли вы мыслью о том, что любимая женщина отдает свою руку вашему сопернику, в то время как вы задыхаетесь на дне пропасти?..

— Нет, — прервала его Мерседес, — но я вижу, что тот, кого я любила, готов стать убийцей моего сына!

Мерседес произнесла эти слова с такой силой горя, с таким отчаянием, что при звуке этих слов у графа вырвалось рыдание.

Лев был укрощен; неумолимый мститель смирился.

— Чего вы требуете? — спросил он. — Чтобы я пощадил жизнь вашего сына? Хорошо, он не умрет.

Мерседес радостно вскрикнула; на глазах Монте-Кристо блеснули две слезы, но тотчас же исчезли; должно быть, Бог послал за ними ангела, ибо перед лицом создателя они были много драгоценнее, чем самый роскошный жемчуг Гуджарата и Офира.

— Благодарю тебя, благ одарю, Эдмон! — воскликнула она, схватив руку графа и поднося ее к губам. — Таким ты всегда грезился мне, таким я всегда любила тебя. Теперь я могу это сказать!

— Тем более, — отвечал Монте-Кристо, — что вам уже недолго любить бедного Эдмона. Мертвец вернется в могилу, призрак вернется в небытие.

— Что вы говорите, Эдмон?

— Я говорю, что, раз вы этого желаете, Мерседес, я должен умереть.

— Умереть? Кто это сказал? Кто говорит о смерти? Откуда у вас опять мысли о смерти?

— Неужели вы думаете, что, оскорбленный публично, при всей зале, в присутствии ваших друзей и друзей вашего сына, вызванный на дуэль мальчиком, который будет гордиться моим прощением как своей победой, неужели вы думаете, что я могу остаться жить? После вас, Мерседес, я больше всего на свете любил самого себя, то есть мое достоинство, ту силу, которая

возносила меня над людьми; в этой силе была моя жизнь. Одно ваше слово сломило ее. И я умру.

— Но ведь эта дуэль не состоится, Эдмон, раз вы прощаете.

— Она состоится, сударыня, — торжественно произнес Монте-Кристо, — только вместо крови вашего сына, которая должна была напоить землю, прольется моя.

Мерседес громко вскрикнула и бросилась к Монте-Кристо, но вдруг остановилась.

— Эдмон, — сказала она, — есть Бог на небе, раз вы живы, раз я снова вас вижу, и я уповаю на него всем сердцем своим. В чаянии его помощи я полагаюсь на ваше слово. Вы сказали, что мой сын не умрет, да, Эдмон?

— Да, сударыня, — сказал Монте-Кристо, уязвленный, что Мерседес, не споря, не пугаясь, без возражений приняла жертву, которую он ей принес.

Мерседес протянула графу руку.

— Эдмон, — сказала она, глядя на него полными слез глазами, — как вы великодушны! С каким высоким благородством вы сжалились над несчастной женщиной, которая пришла к вам почти без надежды! Горе состарило меня больше, чем годы, и я ни улыбкой, ни взглядом уже не

могу напомнить моему Эдмону ту Мерседес, которой он некогда так любовался. Верьте, Эдмон, я тоже много выстрадала; тяжело чувствовать, что жизнь проходит, а в памяти не остается ни одного радостного мгновения и не сохранилось ни единой надежды, но не все кончается с земной жизнью. Нет, не все кончается с нею, я это чувствую всем, что еще не умерло в моем сердце. Повторяю вам, Эдмон, это прекрасно, это благородно, это великодушно— простить так, как вы простили!

— Вы это говорите, Мерседес, и все же вы не знаете всей тяжести моей жертвы. Что, если бы Всевышний, создав мир, оплодотворив хаос, не завершил сотворения мира, дабы уберечь ангела от тех слез, которые наши злодеяния должны были исторгнуть из его бессмертных очей? Что, если бы, все обдумав, все создав, готовый возрадоваться своему творению, Бог погасил солнце и столкнул мир в вечную ночь? Вообразите это, и вы поймете, — нет, вы и тогда не поймете, что я теряю, расставаясь сейчас с жизнью.

Мерседес взглянула на графа с изумлением, восторгом и благодарностью.

Монте-Кристо опустил голову на руки, словно его чело изнемогало под тяжестью его мыслей.

— Эдмон, — сказала Мерседес, — мне остается сказать вам одно только слово.

Граф горько улыбнулся.

— Эдмон, — продолжала она, — вы увидите, что, если лицо мое поблекло, глаза потухли, красота исчезла — словом, если Мерседес ни одной чертой лица не напоминает прежнюю Мерседес, сердце ее все то же!.. Прощайте, Эдмон; мне больше нечего просить у Неба… Я снова увидела вас благородным и великодушным, как прежде. Прощайте, Эдмон… прощайте, да благословит вас Бог!

Но граф ничего не ответил.

Мерседес отворила дверь кабинета и скрылась раньше, чем он очнулся от глубокого и горестного раздумья, в которое повергла его рухнувшая мечта о мести.

Часы Дома инвалидов пробили час, когда граф де Монте-Кристо, услышав шум кареты, уносившей г-жу де Морсер по Елисейским полям, поднял голову.

— Безумец, — сказал он, — зачем в тот день, когда я решил мстить, не вырвал я сердца из своей груди!

XIII
ДУЭЛЬ

После отъезда Мерседес дом Монте-Кристо снова погрузился во мрак. Вокруг него и в нем самом все замерло; его деятельный ум охватило оцепенение, как охватывает сон безмерно усталое тело.

— Неужели! — говорил он себе, меж тем как лампа и свечи грустно догорали, а в прихожей с нетерпением ждали сонные слуги. — Неужели это здание, которое так долго строилось, которое воздвигалось с такой заботой и с таким трудом, рухнуло в один миг, от одного слова, от дуновения! Я, который так высоко себя ценил, который так гордился собой, который был жалким ничтожеством в темнице замка Иф и достиг величайшего могущества, завтра превращусь в горсть праха! Увы, мне жаль не жизни плоти: не есть ли смерть тот отдых, к которому все стремится, которого жаждут все страждущие, тот покой материи, о котором я так долго вздыхал, навстречу которому я шел по мучительному пути голода, когда в моей темнице появился Фариа?

Что для меня смерть? Чуть больше покоя, чуть больше тишины. Нет, мне жаль не жизни, я сожалею о крушении моих замыслов, так медленно зревших, так тщательно воздвигавшихся. Стало быть, Провидение отвергло их, а я мнил, что они угодны ему! Значит, Бог не дозволил, чтобы они исполнились!

Это бремя, которое я поднял, тяжелое, как мир, и которое я думал донести до конца, отвечало моим желаниям, но не моим силам, отвечало моей воле, но было не в моей власти, и мне приходится бросить его на полпути. Итак, мне снова придется стать фаталистом, мне, которого четырнадцать лет отчаяния и десять лет надежды научили постигать Провидение!

И все это, Боже мой, лишь потому, что мое сердце, которое я считал мертвым, только оледенело, потому что оно проснулось, потому что оно забилось, потому что я не выдержал мучительного биения этого сердца, воскресшего в моей груди при звуке женского голоса!

Но не может быть, — продолжал граф, все сильнее растравляя свое воображение картиной предстоящего поединка, на что так легко согласилась Мерседес, — не может быть, чтобы женщина с таким благородным сердцем хладнокровно

обрекла меня на смерть, меня, полного жизни и сил! Не может быть, чтобы она так далеко зашла в своей материнской любви, или, вернее, в материнском безумии! Есть добродетели, которые, переходя границы, обращаются в порок. Нет, она, наверное, разыграет какую-нибудь трогательную сцену, она бросится между нами, и то, что здесь было исполнено величия, на месте поединка будет смешно.

И лицо графа покрылось краской оскорбленной гордости.

— Смешно, — повторил он, — и смешным окажусь я… Я — смешным! Нет, лучше умереть.

Так, рисуя себе самыми мрачными красками все то, на что он обрек себя, обещав Мерседес жизнь ее сына, граф повторял:

— Глупо, глупо, глупо — разыгрывать великодушие, изображая неподвижную мишень для пистолета этого мальчишки! Никогда он не поверит, что моя смерть была самоубийством, между тем честь моего имени (ведь это не тщеславие, Господи, а только справедливая гордость!) — честь моего имени требует, чтобы люди знали, что я сам, по собственной воле, никем не понуждаемый, согласился остановить уже занесенную руку и что этой рукой, столь грозной для других,

я поразил самого себя. Так нужно, и так будет.

И, схватив перо, он достал из потайного ящика письменного стола свое завещание, составленное им после прибытия в Париж, и сделал приписку, из которой даже и наименее прозорливые люди могли понять истинную причину его смерти.

— *Я* делаю это, Господи, — сказал он, подняв к небу глаза, — столько же ради тебя, сколько ради себя. Десять лет я смотрел на себя как на орудие твоего отмщения, и нельзя, чтобы и другие негодяи, помимо этого Морсера, Д англ ара, Вильфора, да и сам Морсер вообразили, будто счастливый случай избавил их от врага. Пусть они, напротив, знают, что Провидение, которое уже уготовало им возмездие, было остановлено только силой моей воли; что кара, которой они избегли здесь, ждет их на том свете и что для них только время заменилось вечностью.

В то время как он терзался этими мрачными сомнениями, тяжелым забытьем человека, которому страдания не дают уснуть, в оконные стекла начал пробиваться рассвет и озарил лежавшую перед графом бледно-голубую бумагу, на которой он только что начертал эти предсмертные слова, оправдывающие Провидение.

Было пять часов утра.

Вдруг до его слуха донесся слабый стон. Монте-Кристо почудился как бы подавленный вздох; он обернулся, посмотрел кругом и никого не увидел. Но вздох так явственно повторился, что его сомнения перешли в уверенность.

Тогда граф встал, бесшумно открыл дверь в гостиную и увидел в кресле Гайде; руки ее бессильно повисли, прекрасное бледное лицо было запрокинуто; она пододвинула свое кресло к двери, чтобы он не мог выйти из комнаты, не заметив ее, но сон, необоримый сон молодости, сломил ее после томительного бдения.

Она не проснулась, когда Монте-Кристо открыл дверь.

Он остановил на ней взгляд, полный нежности и сожаления.

— Она помнила о своем сыне, — сказал он, — а я забыл о своей дочери!

Он грустно покачал головой.

— Бедная Гайде, — сказал он, — она хотела меня видеть, хотела говорить со мной, она догадывалась и боялась за меня… Я не могу уйти, не простившись с ней, не могу умереть, не поручив ее кому-нибудь.

И он тихо вернулся на свое место и приписал внизу, под предыдущими строчками:

"Я завещаю Максимилиану Моррелю, капитану спаги, сыну моего бывшего хозяина, Пьера Морреля, судовладельца в Марселе, капитал в двадцать миллионов, часть которых он должен отдать своей сестре Жюли и своему зятю Эммануелю, если он, впрочем, не думает, что такое обогащение может повредить их счастью. Эти двадцать миллионов спрятаны в моей пещере на острове Монте-Кристо, вход в которую известен Бертуччо.

Если его сердце свободно и он захочет жениться на Гайде, дочери Али, янинского паши, которую я воспитал как любящий отец, и которая любила меня как нежная дочь, то он исполнит не мою последнюю волю, но мое последнее желание.

По настоящему завещанию Гайде является наследницей всего остального моего имущества, которое заключается в землях, государственных бумагах Англии, Австрии и Голландии, а равно в обстановке моих дворцов и домов, и которое, за вычетом этих двадцати миллионов, так же, как и сумм, завещанных моим слугам, равняется приблизительно шестидесяти миллионам".

Когда он дописывал последнюю строчку, за его спиной раздался слабый возглас, и он выронил перо.

— Гайде, — сказал он, — ты прочла?

Да, молодую невольницу разбудил луч рассвета, коснувшийся ее век. Она встала и подошла к графу своими неслышными легкими шагами по мягкому ковру.

— Господин мой, — сказала она, с мольбой складывая руки, — почему ты это пишешь в такой час? Почему завещаешь ты мне все свои богатства? Разве ты покидаешь меня?

— Я пускаюсь в дальний путь, ангел мой, — сказал Монте-Кристо с выражением бесконечной печали и нежности, — и если бы со мной что-нибудь случилось…

Граф замолк.

— Что тогда?.. — спросила девушка так властно, как никогда не говорила со своим господином, и он даже вздрогнул.

— Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива, что бы со мной ни случилось, — сказал он.

Гайде печально улыбнулась и медленно покачала головой.

— Ты думаешь о смерти, господин мой, — сказала она.

— Это спасительная мысль, дитя мое, сказал мудрец.

— Если ты умрешь, — отвечала она, — заве-

щай свои богатства другим, потому что, если ты умрешь… мне никаких богатств не нужно.

И, взяв в руки завещание, она разорвала его и бросила обрывки на пол. После этой вспышки, столь необычайной для невольницы, она без чувств упала на ковер.

Монте-Кристо нагнулся, поднял ее на руки, и, глядя на это прекрасное, побледневшее лицо, на сомкнутые длинные ресницы, на недвижимое, беспомощное тело, он впервые подумал, что, быть может, она любит его не только как дочь.

— Быть может, — прошептал он с глубокой печалью, — я еще узнал бы счастье!

Он отнес бесчувственную Гайде в ее комнаты и поручил ее заботам служанок. Вернувшись в свой кабинет, дверь которого он на этот раз быстро запер за собой, он снова написал завещание.

Не успел он кончить, как послышался стук кабриолета, въезжающего во двор. Монте-Кристо подошел к окну и увидел Максимилиана и Эммануэля.

— Отлично, — сказал он, — я кончил как раз вовремя.

И он запечатал завещание тремя печатями.

Минуту спустя он услышал в гостиной шаги и пошел отпереть дверь.

Вошел Моррель.

Он приехал на двадцать минут раньше назначенного времени.

— Быть может, я приехал немного рано, граф, — сказал он, — но признаюсь вам откровенно, что не мог заснуть ни на минуту, как и мои домашние. Я должен был увидеть вас, вашу спокойную уверенность, чтобы снова стать самим собою.

Монте-Кристо был тронут этой сердечной привязанностью и, вместо того чтобы протянуть Максимилиану руку, заключил его в свои объятия.

— Моррель, — сказал он, — сегодня для меня прекрасный день, потому что я почувствовал, что такой человек, как вы, любит меня. Здравствуйте, Эмманюель. Так вы едете со мной, Максимилиан?

— Черт возьми! — воскликнул молодой капитан. — Неужели вы могли в этом сомневаться?

— А если я неправ…

— Я видел всю вчерашнюю сцену, я всю ночь вспоминал ваше самообладание, и я сказал себе, что, если только можно верить человеческому лицу, правда на вашей стороне.

— Но ведь Альбер ваш друг.

— Просто знакомый.

— Вы с ним познакомились в тот же день, что со мной?

— Да, это верно, но вы сами видите, если бы вы не сказали об этом сейчас, я бы и не вспомнил.

— Благодарю вас, Моррель.

И граф позвонил.

— Вели отнести это к моему нотариусу, — сказал он тотчас же явившемуся Али. — Это мое завещание, Моррель. После моей смерти вы с ним ознакомитесь.

— После вашей смерти? — воскликнул Моррель. — Что это значит?

— Надо все предусмотреть, мой друг. Но что вы делали вчера вечером, когда мы расстались?

— Я отправился к Тортони и застал там, как и рассчитывал, Бошана и Шато-Рено. Сознаюсь вам, что я их разыскивал.

— Зачем же, раз все уже было условлено?

— Послушайте, граф, дуэль серьезная и неизбежная.

— Разве вы в этом сомневались?

— Нет. Оскорбление было нанесено публично, и все уже говорят о нем.

— Так что же?

— Я надеялся уговорить их выбрать другое оружие, заменить пистолет шпагой. Пуля слепа.

— Вам это удалось? — быстро спросил Монте-Кристо с едва уловимой искрой надежды.

— Нет, потому что всем известно, как вы владеете шпагой.

— Вот как! Кто же меня выдал?

— Учителя фехтования, которых вы превзошли.

— И вы потерпели неудачу?

— Они наотрез отказались.

— Моррель, — сказал граф, — вы когда-нибудь видели, как я стреляю из пистолета?

— Никогда.

— Так посмотрите, время у нас есть.

Монте-Кристо взял пистолеты, которые держал в руках, когда вошла Мерседес, и, приклеив туза треф к доске, он четырьмя выстрелами последовательно пробил три листа и ножку трилистника.

При каждом выстреле Моррель все больше бледнел.

Он рассмотрел пули, которыми Монте-Кристо проделал это чудо, и увидел, что они не больше крупных дробинок.

— Это страшно, — сказал он, — взгляните, Эмманюель!

Затем он повернулся к Монте-Кристо.

— Граф, — сказал он, — ради всего святого, не

убивайте Альбера! Ведь у несчастного юноши есть мать!

— Это верно, — сказал Монте-Кристо, — а у меня ее нет.

Эти слова он произнес таким тоном, что Моррель содрогнулся.

— Ведь оскорбленный — вы.

— Разумеется, но что вы этим хотите сказать?

— Это значит, что вы стреляете первый.

— Я стреляю первый?

— Да, я этого добился, или, вернее, потребовал; мы уже достаточно сделали им уступок, и им пришлось согласиться.

— А расстояние?

— Двадцать шагов.

На губах графа мелькнула страшная улыбка.

— Моррель, — сказал он, — не забудьте того, чему сейчас были свидетелем.

— Вот почему, — сказал Моррель, — я только и надеюсь на то, что ваше волнение спасет Альбера.

— Мое волнение? — спросил Монте-Кристо.

— Или ваше великодушие, мой друг; зная, что вы стреляете без промаха, я могу сказать вам то, что было бы смешно говорить другому.

— А именно?

— Попадите ему в руку или еще куда-нибудь, но не убивайте его.

— Слушайте, Моррель, что я вам скажу, — отвечал граф, — вам незачем уговаривать меня пощадить Морсера; он будет пощажен, и даже так, что спокойно отправится со своими друзьями домой, тогда как я…

— Тогда как вы?..

— А это дело другое, меня понесут на носилках.

— Что вы говорите, граф! — вне себя воскликнул Максимилиан.

— Да, дорогой Моррель, Морсер меня убьет.

Моррель смотрел на графа в полном недоумении.

— Что с вами произошло этой ночью, граф?

— То, что произошло с Брутом накануне сражения при Филиппах: я видел призрак.

— И?..

— И этот призрак сказал мне, что я достаточно жил на этом свете.

Максимилиан и Эмманюель обменялись взглядом. Монте-Кристо вынул часы.

— Едем, — сказал он, — пять минут восьмого, а дуэль назначена ровно в восемь.

Проходя по коридору, Монте-Кристо остановился у одной из дверей, и Максимилиану и

Эмманюелю, которые, не желая быть нескромными, прошли немного вперед, показалось, что они слышат рыдание и ответный вздох.

Экипаж был уже подан. Монте-Кристо сел вместе со своими секундантами.

Ровно в восемь они были на условленном месте.

— Вот мы и приехали, — сказал Моррель, высовываясь в окно кареты, — и притом первые.

— Прошу прощения, сударь, — сказал Батистен, в невыразимом ужасе сопровождавший своего хозяина, — но мне кажется, что вон там под деревьями стоит экипаж.

Монте-Кристо легко выпрыгнул из кареты и подал руку Эмманюелю и Максимилиану, чтобы помочь им выйти.

Максимилиан удержал руку графа в своих.

— Слава Богу, — сказал он, — такая рука должна быть у человека, который, в сознании своей правоты, спокойно ставит на карту свою жизнь.

— В самом деле, — сказал Эмманюель, — вон там прогуливаются двое молодых людей и, по-видимому, кого-то ждут.

Монте-Кристо отвел Морреля на несколько шагов в сторону.

— Максимилиан. — спросил он, — свободно ли

ваше сердце?

Моррель изумленно взглянул на Монте-Кристо.

— Я не жду от вас признания, дорогой друг, я просто спрашиваю; ответьте мне, да или нет; это все, о чем я вас прошу.

— *Я* люблю, граф.

— Сильно любите?

— Больше жизни.

— Еще одной надеждой меньше, — сказал Монте-Кристо со вздохом. — Бедная Гайде.

— Право, граф, — воскликнул Моррель, — если бы я вас меньше знал, я мог бы подумать, что вам недостает мужества.

— Почему? Потому что я вздыхаю, расставаясь с дорогим мне существом? Вы солдат, Моррель, вы должны бы лучше знать, что такое храбрость. Разве я жалею о жизни? Не все ли мне равно — жить или умереть, — мне, который провел двадцать лет между жизнью и смертью. Впрочем, не беспокойтесь, Моррель: эту слабость, если это слабость, видите только вы один. Я знаю, что мир — это гостиная, из которой надо уметь уйти учтиво и прилично, раскланявшись со всеми и заплатив свои карточные долги.

— Ну, в добрый час, — сказал Моррель, — вот

это хорошо сказано. Кстати, вы привезли пистолеты?

— Я? Зачем? Я надеюсь, что эти господа привезли свои.

— Пойду узнаю, — сказал Моррель.

— Хорошо, но только никаких переговоров, вы меня поняли?

— Будьте спокойны.

Моррель направился к Бошану и Шато-Рено. Те, увидав, что Моррель идет к ним, сделали ему навстречу несколько шагов.

Молодые люди раскланялись друг с другом, если и не приветливо, то со всей учтивостью.

— Простите, господа, — сказал Моррель, — но я не вижу господина де Морсера.

— Сегодня утром, — ответил Шато-Рено, — он послал предупредить нас, что встретится с нами на месте дуэли.

— Вот как, — заметил Моррель.

Бошан посмотрел на часы.

— Пять минут девятого; это еще не поздно, господин Моррель, — сказал он.

— Я вовсе не это имел в виду, — возразил Максимилиан.

— Да вот, кстати, и карета, — прервал Шато-Рено.

По одной из аллей, сходившихся у перекрестка, где они стояли, мчался экипаж.

— Господа, — сказал Моррель, — я надеюсь, вы позаботились привезти с собой пистолеты? Господин де Монте-Кристо заявил мне, что отказывается от своего права воспользоваться своими.

— Мы предвидели такую деликатность графа, — отвечал Бошан, — и я привез пистолеты, которые купил с неделю тому назад, предполагая, что они мне понадобятся. Они совершенно новые и еще ни разу не были в употреблении. Не желаете ли их осмотреть?

— Раз вы говорите, что господин де Морсер с этими пистолетами не знаком, — с поклоном ответил Моррель, — то мне, разумеется, достаточно вашего слова.

— Господа, — сказал Шато-Рено, — это совсем не Морсер приехал. Смотрите-ка!

В самом деле, к ним приближались Франц и Дебрэ.

— Каким образом вы здесь, господа? — сказал Шато-Рено, пожимая обоим руки.

— Мы здесь потому, — сказал Дебрэ, — что Альбер сегодня утром попросил нас приехать на место дуэли.

Бошан и Шато-Рено удивленно переглянулись.

— Господа, — сказал Моррель, — я, кажется, понимаю, в чем дело.

— Так скажите.

— Вчера днем я получил от господина де Морсера письмо, в котором он просил меня быть вечером в Опере.

— И я, — сказал Дебрэ.

— И я, — сказал Франц.

— И мы, — сказали Шато-Рено и Бошан.

— Он хотел, чтобы вы присутствовали при вызове, — сказал Моррель. — Теперь он хочет, чтобы вы присутствовали при дуэли.

— Да, — сказали молодые люди, — это так и есть; господин Моррель, по-видимому, вы угадали.

— Однако же Альбер не едет, — пробормотал Шато-Рено, — он уже опоздал на десять минут.

— А вот и он, — сказал Бошан, — верхом; смотрите, мчится во весь опор, и с ним слуга.

— Какая неосторожность, — сказал Шато-Рено, — верхом перед дуэлью на пистолетах! А сколько я его наставлял!

— И, кроме того, посмотрите, — сказал Бошан, — воротник с галстуком, открытый сюртук, белый жилет; почему он заодно не нарисовал

себе кружок на животе — и проще, и скорее!

Тем временем Альбер был уже в десяти шагах от них; он остановил лошадь, спрыгнул на землю и бросил поводья слуге.

И вот он подошел.

Он был бледен, веки его покраснели и припухли. Видно было, что он всю ночь не спал.

На его лице было серьезное и печальное выражение, ему совершенно несвойственное.

— Благодарю вас, господа, — сказал он, — что вы откликнулись на мое приглашение; поверьте, что я крайне признателен вам за это дружеское внимание.

Моррель стоял поодаль; как только Морсер появился, он отошел в сторону.

— Благодарю и вас также, господин Моррель, — сказал Альбер. — Подойдите поближе, прошу вас, вы здесь не лишний.

— Сударь, — сказал Максимилиан, — вам, быть может, неизвестно, что я секундант господина де Монте-Кристо?

— Я так и предполагал. Тем лучше! Чем больше здесь достойных людей, тем мне приятнее.

— Господин Моррель, — сказал Шато-Рено, — вы можете объявить графу де Монте-Кристо, что господин де Морсер прибыл и что мы в его

распоряжении.

Моррель повернулся, чтобы исполнить это поручение.

Бошан в это время доставал из экипажа ящик с пистолетами.

— Подождите, господа, — сказал Альбер, — мне надо сказать два слова графу де Монте-Кристо.

— Наедине? — спросил Моррель.

— Нет, при всех.

Секунданты Альбера изумленно переглянулись; Франц и Дебрэ обменялись вполголоса несколькими словами, а Моррель, обрадованный этой неожиданной задержкой, подошел к графу, который вместе с Эмманюелем расхаживал по аллее.

— Что ему от меня нужно? — спросил Монте-Кристо.

— Право, не знаю, но он хочет говорить с вами.

— Лучше пусть он не искушает Бога каким-нибудь новым оскорблением! — сказал Монте-Кристо.

— Я не думаю, чтобы у него было такое намерение, — возразил Моррель.

Граф в сопровождении Максимилиана и Эммануэля направился к Альберу. Его спокойное и ясное лицо было полной противоположностью

взволнованному лицу Альбера, который шел ему навстречу, сопровождаемый своими друзьями.

В трех шагах друг от друга Альбер и граф остановились.

— Господа, — сказал Альбер, — подойдите ближе, я хочу, чтобы не пропало ни одно слово из того, что я буду иметь честь сказать господину графу де Монте-Кристо, ибо все, что я буду иметь честь ему сказать, должно быть повторено вами всякому, кто этого пожелает, как бы вам ни казались странными мои слова.

— Я вас слушаю, сударь, — сказал Монте-Кристо.

— Граф, — начал Альбер, и его голос, вначале дрожавший, становился более уверенным, по мере того как он говорил. — Я обвинял вас в том, что вы разгласили поведение господина де Морсера в Эпире, потому что, как бы ни был виновен граф де Морсер, я все же не считал вас вправе наказывать его. Но теперь я знаю, что вы имеете на это право. Не предательство, в котором Фернан Мондего повинен перед Али-пашой, оправдывает вас в моих глазах, а предательство, в котором рыбак Фернан повинен перед вами, и те неслыханные несчастья, которые явились следствием этого предательства. И потому я говорю вам и заявляю

во всеуслышание: да, сударь, вы имели право мстить моему отцу, и я, его сын, благодарю вас за то, что вы не сделали большего!

Если бы молния ударила в свидетелей этой неожиданной сцены, она ошеломила бы их меньше, чем заявление Альбера.

Монте-Кристо медленно поднял к небу глаза с выражением беспредельной признательности. Он не мог надивиться, как пылкий Альбер, показавший себя таким храбрецом среди римских разбойников, пошел на это неожиданное унижение. И он узнал влияние Мерседес и понял, почему ее благородное сердце не воспротивилось его предполагавшейся жертве.

— Теперь, сударь, — сказал Альбер, — если вы считаете достаточными те извинения, которые я вам принес, прошу вас, — вашу руку. После непогрешимости, редчайшего достоинства, которым обладаете вы, величайшим достоинством я считаю умение признать свою неправоту. Но это признание — мое личное дело. Я поступал правильно, с человеческой точки зрения, но вы — вы поступили по Божьей воле. Только ангел мог спасти одного из нас от смерти, и этот ангел спустился на землю не для того, чтобы мы стали друзьями, — к несчастью, это невозможно, — но

для того, чтобы мы остались людьми, уважающими друг друга.

Монте-Кристо со слезами на глазах, тяжело дыша, протянул Альберу руку, которую тот схватил и пожал чуть ли не с благоговением.

— Господа, — сказал он, — граф де Монте-Кристо согласен принять мои извинения. Я поступил по отношению к нему опрометчиво. Опрометчивость — плохой советчик. Я поступил дурно. Теперь я загладил свою вину. Надеюсь, что люди не сочтут меня трусом за то, что я поступил так, как мне велела совесть. Но, во всяком случае, если мой поступок будет превратно понят, — прибавил он, гордо поднимая голову и как бы посылая вызов всем своим друзьям и недругам, — я постараюсь изменить их мнение обо мне.

— Что такое произошло сегодня ночью? — спросил Бошан Шато-Рено. — По-моему, наша роль здесь незавидна.

— Действительно, то, что сделал Альбер, либо очень низко, либо очень благородно, — ответил барон.

— Что все это значит? — сказал Дебрэ, обращаясь к Францу. — Как! Граф де Монте-Кристо опозорил Морсера, а его сын находит, что обидчик прав! Да если бы в моей семье было десять

Янин, я бы знал только одну обязанность: драться десять раз.

А Монте-Кристо, поникнув головой, бессильно опустив руки, подавленный тяжестью двадцати-четырехлетних воспоминаний, не думал ни об Альбере, ни о Бошане, ни о Шато-Рено, ни о ком из присутствующих; он думал о смелой женщине, которая пришла к нему молить его о жизни сына, которой он предложил свою и которая спасла ее ценой страшного признания, открыв семейную тайну, быть может навсегда убившую в этом юноше чувство сыновней любви.

— Опять рука Провидения! — прошептал он. — Да, только теперь я уверовал, что я послан Богом!

XIV
МАТЬ И СЫН

Граф де Монте-Кристо с печальной и полной достоинства улыбкой откланялся молодым людям и сел в свой экипаж вместе с Максимилианом и Эммануэлем.

Альбер, Бошан и Шато-Рено остались одни на поле битвы.

Альбер смотрел на своих секундантов испы-

тующим взглядом, который, хоть и не выражал робости, казалось, все же спрашивал их мнение о том, что произошло.

— Поздравляю, дорогой друг, — первым заговорил Бошан, потому ли, что он был отзывчивее других, потому ли, что в нем было меньше притворства, — вот совершенно неожиданная развязка неприятной истории.

Альбер, озабоченный своими мыслями, не ответил.

Шато-Рено похлопывал по ботфорту своей гибкой тросточкой.

— Не пора ли нам ехать? — прервал он наконец неловкое молчание.

— Как хотите, — отвечал Бошан, — разрешите мне только выразить Морсеру свое восхищение; он выказал сегодня рыцарское великодушие… столь редкое в наше время!

— Да, — сказал Шато-Рено.

— Можно только удивляться такому самообладанию, — продолжал Бошан.

— Несомненно, во всяком случае, я был бы на это неспособен, — сказал Шато-Рено с недвусмысленной холодностью.

— Господа, — прервал Альбер, — мне кажется, вы не поняли, что между графом де Монте-Кристо

и мной произошло нечто не совсем обычное…

— Нет, нет, напротив, — возразил Бошан, — но наши сплетники едва ли сумеют оценить ваш героизм, и, рано или поздно, вы будете вынуждены разъяснить им свое поведение, и притом столь энергично, что это может оказаться во вред вашему здоровью и долголетию. Дать вам дружеский совет? Уезжайте в Неаполь, Гаагу или Санкт-Петербург— места спокойные, где более разумно смотрят на вопросы чести, чем в нашем сумасбродном Париже. А там поусерднее упражняйтесь в стрельбе из пистолета и в фехтовании. Через несколько лет вас основательно забудут, либо слава о вашем боевом искусстве дойдет до Парижа, и тогда мирно возвращайтесь во Францию. Вы согласны со мной, Шато-Рено?

— Вполне разделяю ваше мнение, — сказал барон. — За несостоявшейся дуэлью обычно следуют дуэли весьма серьезные.

— Благодарю вас, господа, — сухо ответил Альбер, — я принимаю ваш совет не потому, что вы мне его дали, но потому, что я все равно решил покинуть Францию. Благодарю вас также за то, что вы согласились быть моими секундантами. Судите сами, как высоко я ценю эту услугу, если, выслушав ваши слова, я помню только о ней.

Шато-Рено и Бошан переглянулись. Слова Альбера произвели на обоих одинаковое впечатление, а тон, которым он высказал свою благодарность, звучал так решительно, что все трое очутились бы в неловком положении, если бы этот разговор продолжался.

— Прощайте, Альбер! — заторопившись, сказал Бошан и небрежно протянул руку, но Альбер, по-видимому, глубоко задумался; во всяком случае, он ничем не показал, что видит эту протянутую руку.

— Прощайте, — в свою очередь сказал Шато-Рено, держа левой рукой свою тросточку и делая правой прощальный жест.

— Прощайте, — сквозь зубы пробормотал Альбер.

Но взгляд его был более выразителен: в нем была целая гамма сдержанного гнева, презрения, негодования.

После того как секунданты сели в экипаж и уехали, он еще некоторое время стоял задумавшись, затем стремительно отвязал свою лошадь от деревца, вокруг которого слуга замотал ее поводья, легко вскочил в седло и поскакал к Парижу. Четверть часа спустя он уже входил в особняк на улице Эль дер.

Когда он спешивался, ему показалось, что за оконной занавеской отцовской спальни мелькнуло бледное лицо графа де Морсера. Он со вздохом отвернулся и прошел в свой флигель.

С порога он окинул последним взглядом всю эту роскошь, которая с самого детства услаждала его жизнь, и в последний раз взглянул на свои картины. Лица на полотнах, казалось, улыбались ему, а пейзажи словно вспыхнули живыми красками.

Затем он снял с дубового подрамника портрет своей матери и свернул его, оставив золоченую раму пустой.

После этого он привел в порядок свои прекрасные турецкие сабли, свои великолепные английские ружья, японский фарфор, отделанные серебром чаши, художественную бронзу с подписями Фёшера и Бари; осмотрел шкафы и проверил, есть ли при каждом ключ; бросил в ящик стола, оставив его открытым, все свои карманные деньги, прибавив к ним множество драгоценных безделушек, которыми были полны чаши, шкатулки, этажерки; составил точную опись всего и положил ее на самое видное место одного из столов, убрав с этого стола загромождавшие его книги и бумаги.

В начале этой работы, вопреки приказанию

Альбера не беспокоить его, в комнату вошел камердинер.

— Что вам нужно? — спросил его Альбер, скорее грустно, чем сердито.

— Прошу прощения, сударь, — отвечал камердинер, — правда, вы запретили мне беспокоить вас, но меня зовет граф де Морсер.

— Ну так что же? — спросил Альбер.

— Я не посмел отправиться к графу без вашего разрешения.

— Почему?

— Потому что граф, вероятно, знает, что я сопровождал вас на место дуэли.

— Возможно, — сказал Альбер.

— И он меня зовет, наверное, чтобы узнать, что там произошло. Что прикажете ему ответить?

— Правду.

— Так я должен сказать, что дуэль не состоялась?

— Вы скажете, что я извинился перед графом де Монте-Кристо; ступайте.

Камердинер поклонился и вышел.

Альбер снова принялся за опись.

Когда он уже заканчивал свою работу, его внимание привлек топот копыт во дворе и стук колес, от которого задребезжали стекла. Он подо-

шел к окну и увидел, что его отец сел в коляску и уехал.

Не успели ворота особняка закрыться за графом, как Альбер направился в комнаты своей матери; не найдя никого, чтобы доложить о себе, он прошел прямо в спальню Мерседес и остановился на пороге, взволнованный тем, что он предугадал и увидел.

Словно у матери и сына была одна душа: Мерседес была занята тем же, чем только что был занят Альбер.

Все было убрано; кружева, драгоценности, украшения, белье, деньги — все уложено по шкафам, и Мерседес тщательно подбирала к ним ключи.

Альбер увидел эти приготовления; он все понял и, воскликнув: "Мама!", кинулся на шею Мерседес.

Художник, который сумел бы передать выражение их лиц в эту минуту, создал бы прекрасную картину.

Готовясь к смелому шагу, Альбер не страшился за себя, но приготовления матери испугали его.

— Что вы делаете? — спросил он.

— А что делал ты? — ответила она.

— Но я — другое дело, мама! — воскликнул Альбер, задыхаясь от волнения. — Не может быть,

чтобы вы приняли такое же решение, потому что я покидаю этот дом и… и я пришел проститься с вами.

— И я тоже, Альбер, — отвечала Мерседес, — я тоже уезжаю. Признаться, я надеялась, что мой сын будет сопровождать меня, — неужели я ошиблась?

— Матушка, — твердо сказал Альбер, — я не могу позволить вам разделить ту участь, которую избрал для себя; отныне у меня не будет ни имени, ни денег; жизнь моя будет трудная, мне придется вначале принять помощь кого-нибудь из друзей, пока я сам не заработаю свой кусок хлеба. Поэтому я сейчас иду к Францу и попрошу его ссудить меня той небольшой суммой, которая, по моим расчетам, мне понадобится.

— Бедный мальчик, — воскликнула Мерседес,—

ты — и нищета, голод! Не говори этого, ты заставишь меня отказаться от моего решения!

— Но я не откажусь от своего, — отвечал Альбер. — Я молод, я силен и, надеюсь, храбр, а вчера я узнал, что значит твердая воля. Есть люди, которые безмерно страдали— и они не умерли, но построили себе новую жизнь на развалинах того счастья, которое им сулило Небо, на обломках

своих надежд! Я узнал это, матушка, я видел этих людей; я знаю, что из глубины той бездны, куда их бросил враг, они поднялись полные такой силы и окруженные такой славой, что восторжествовали над своим победителем и сами сбросили его в бездну. Нет, отныне я рву со своим прошлым и ничего от него не беру, даже имени, потому что — поймите меня — ваш сын не может носить имени человека, который должен краснеть перед людьми.

— Альбер, сын мой, — сказала Мерседес, — будь я сильнее духом, я сама бы дала тебе этот совет; мой слабый голос молчал, но твоя совесть заговорила. Слушайся голоса твоей совести, Альбер. У тебя были друзья — порви на время с ними, но, во имя твоей матери, не отчаивайся! В твои годы жизнь еще прекрасна, милый, и так как человеку с таким чистым сердцем, как твое, нужно незапятнанное имя, возьми себе имя моего отца; его звали Эррера. Я знаю тебя, мой Альбер: какое бы поприще ты ни избрал, ты скоро прославишь это имя. Тогда, мой друг, вернись в Париж, и перенесенные страдания еще больше возвеличат тебя. Но если, вопреки моим чаяниям, тебе это не суждено, оставь мне по крайней мере надежду; только этой мыслью я и буду жить, ибо для меня

нет будущего, и за порогом этого дома начинается моя смерть.

— Я исполню ваше желание, матушка, — сказал Альбер. — Да, я разделяю ваши надежды: Божий гнев пощадит вашу чистоту и мою невинность… Но раз мы решились, будем действовать. Господин де Морсер уехал из дому с полчаса тому назад; это удобный случай избежать шума и объяснений.

— Я буду ждать тебя, сын мой, — сказала Мерседес.

Альбер выбежал из дому и вернулся с фиакром; он вспомнил о небольшом пансионе на улице Святых Отцов и намеревался снять там скромное, но приличное помещение для матери.

Когда фиакр подъехал к воротам и Альбер вышел, к нему приблизился человек и подал ему письмо.

Альбер узнал Бертуччо.

— От графа, — сказал управляющий.

Альбер взял письмо и вскрыл его.

Кончив читать, он стал искать глазами Бертуччо, но тот исчез.

Тогда Альбер, глубоко взволнованный, со слезами на глазах, вернулся к Мерседес и безмолвно протянул ей письмо.

Мерседес прочла:

"Альбер!

Я угадал намерение, которое Вы сейчас приводите в исполнение, — Вы видите, что и я не чужд душевной чуткости. Вы свободны, Вы покидаете дом графа и увозите с собой свою мать, свободную, как Вы. Но подумайте, Альбер: Вы обязаны ей большим, чем можете ей дать, бедный, благородный юноша! Возьмите на себя борьбу и страдание, но избавьте ее от нищеты, которая Вас неизбежно ждет на первых порах, ибо она не заслуживает даже тени того несчастья, которое ее постигло, и Провидение не допустит, чтобы невинный расплачивался за виновного.

Я знаю, вы оба покидаете дом на улице Эльдер, ничего оттуда не взяв. Не допытывайтесь, как я это узнал. Я знаю, и этого довольно.

Слушайте, Альбер.

Двадцать четыре года тому назад я, радостный и гордый, возвращался на родину. У меня была невеста, Альбер, святая девушка, которую я боготворил, и я вез своей невесте сто пятьдесят луидоров, скопленных неустанной, тяжелой работой. Эти деньги были ее, я ей их предназначал, и, зная, как вероломно море, я зарыл наше сокровище в маленьком садике того дома в Марселе,

где жил мой отец, на Мельянских аллеях.

Ваша матушка, Альбер, хорошо знает этот бедный, милый дом.

Не так давно, по дороге в Париж, я был проездом в Марселе. Я пошел взглянуть на этот дом, полный горьких воспоминаний, и вечером, с заступом в руках, я отправился в тот уголок, где зарыл свой клад. Железный ящичек все еще был на том же месте, никто его не тронул. Он зарыт в углу, в тени прекрасной смоковницы, которую в день моего рождения посадил мой отец.

Эти деньги некогда должны были обеспечить жизнь и покой той женщине, которую я боготворил, и ныне, по странной и горестной прихоти случая, они нашли себе то же применение. Поймите меня, Альбер: я мог бы предложить этой несчастной женщине миллионы, но я возвращаю ей лишь кусок хлеба, забытый под моей убогой кровлей в тот самый день, когда меня разлучили с той, кого я любил.

Вы человек великодушный, Альбер, но, может быть, 363 *Вас еще ослепляет гордость или обида; если Вы мне откажете, если Вы возьмете от другого то, что я вправе Вам предложить, я скажу, что с Вашей стороны невеликодушно отвергать кусок хлеба для Вашей матери, когда*

его предлагает человек, чей отец, по вине Вашего отца, умер в муках голода и отчаяния".

Альбер стоял бледный и неподвижный, ожидая решения матери.

Мерседес подняла к небу взгляд, полный непередаваемого чувства.

— Я принимаю, — сказала она, — он имеет право внести мой вклад в монастырь.

И, спрятав на груди письмо, она взяла сына под руку и поступью, более твердой, чем, может быть, сама ожидала, вышла на лестницу.

XV
САМОУБИЙСТВО

Тем временем Монте-Кристо вместе с Эмманюелем и Максимилианом тоже вернулся в город.

Возвращение их было торжествующим: Эмманюель не скрывал своей радости, оттого что сражение не состоялось, и откровенно заявлял о своих миролюбивых вкусах; Моррель, сидя в углу кареты, не мешал зятю изливать свое ликование в словах и молча переживал радость, не менее искреннюю, хоть она и светилась только в его взгляде.

У заставы Трона они встретили Бертуччо. Он

ждал их, неподвижный, как часовой на посту.

Монте-Кристо высунулся из окна кареты, вполголоса обменялся с ним несколькими словами, и управляющий быстро удалился.

— Граф, — сказал Эмманюель, когда они подъезжали к Королевской площади, — остановите, пожалуйста, карету у моего дома, чтобы моя жена ни одной лишней минуты не волновалась за вас и за меня.

— Если бы не было смешно кичиться своим торжеством, — сказал Моррель, — я пригласил бы графа зайти к нам, но, вероятно, графу тоже надо успокоить чьи-нибудь тревожно бьющиеся сердца. Вот мы и приехали, Эмманюель, простимся с нашим другом и дадим ему возможность продолжать свой путь.

— Погодите, — сказал Монте-Кристо, — я не хочу лишиться так сразу обоих спутников; идите к вашей прелестной жене и передайте ей от меня поклон и привет, а вы, Моррель, проводите меня до Елисейских полей.

— Чудесно, — сказал Максимилиан, — тем более что мне и самому нужно в вашу сторону, граф.

— Ждать тебя к завтраку? — спросил Эмманюель.

— Нет, — отвечал Максимилиан.

Дверца захлопнулась, и карета покатила дальше.

— Видите, я принес вам счастье, — сказал Моррель, оставшись наедине с графом. — Вы не думали об этом?

— Думал, — сказал Монте-Кристо, — потому-то мне и хотелось бы никогда с вами не расставаться.

— Это просто чудо! — продолжал Моррель, отвечая на собственные мысли.

— Что именно? — спросил Монте-Кристо.

— То, что произошло.

— Да, — отвечал с улыбкой граф, — вы верно сказали, Моррель, это просто чудо!

— Как-никак, — продолжал Моррель, — Альбер — человек храбрый.

— Очень храбрый, — сказал Монте-Кристо, — я сам видел, как он мирно спал, когда над его головой был занесен кинжал.

— А я знаю, что он два раза дрался на дуэли, и дрался очень хорошо; как же все это вяжется с сегодняшним его поведением?

— Это ваше влияние, — улыбаясь, заметил Монте-Кристо.

— Счастье для Альбера, что он не военный! —

сказал Моррель.

— Почему?

— Принести извинение у барьера! — и молодой капитан покачал головой.

— Послушайте, Моррель! — мягко сказал граф. — Неужели и вы разделяете предрассудки обыкновенных людей? Ведь согласитесь, что если Альбер храбр, то он не мог сделать это из трусости; у него, несомненно, была причина поступить так, как он поступил сегодня, и, таким образом, его поведение скорее всего можно назвать геройским.

— Да, конечно, — отвечал Моррель, — но я скажу, как говорят испанцы: сегодня он был менее храбр, чем вчера.

— Вы позавтракаете со мной, правда, Моррель? — сказал граф, меняя разговор.

— Нет, я расстанусь с вами в десять часов.

— Вы условились с кем-нибудь завтракать вместе?

Моррель улыбнулся и покачал головой.

— Но ведь где-нибудь позавтракать вам надо.

— Я не голоден, — возразил Максимилиан.

— Мне известны только два чувства, от которых человек лишается аппетита, — заметил граф, — это горе и любовь. Я вижу, к счастью, что вы очень

весело настроены, — значит, это не горе… Итак, судя по тому, что вы мне сказали сегодня утром, я позволю себе думать…

— Ну что ж, граф, — весело отвечал Моррель, — я не отрицаю.

— И вы ничего мне об этом не расскажете, Максимилиан? — сказал граф с такой живостью, что было ясно, как бы ему хотелось узнать тайну Морреля.

— Сегодня утром, граф, вы могли убедиться в том, что у меня есть сердце, не так ли?

Вместо ответа Монте-Кристо протянул Моррелю руку.

— Теперь, — продолжал тот, — когда мое сердце уже больше не в Венсенском лесу, с вами, оно в другом месте, и я иду за ним.

— Идите, — медленно сказал граф, — идите, мой друг; но прошу вас, если на вашем пути встретятся препятствия, вспомните о том, что я многое на этом свете могу сделать, что я счастлив употребить свою власть на пользу тем, кого люблю, и что я люблю вас, Моррель.

— Хорошо, — сказал Максимилиан, — я буду помнить об этом, как эгоистичные дети помнят о своих родителях, когда нуждаются в их помощи. Если мне это понадобится, — а возможно, такая

минута наступит, — я обращусь к вам за помощью, граф.

— Смотрите, вы дали слово. Так до свидания.

— До свидания.

Они подъехали к дому на Елисейских полях. Монте-Кристо откинул дверцу. Моррель соскочил на мостовую.

На крыльце ждал Бертуччо.

Моррель удалился по авеню Мариньи, а Монте-Кристо быстро пошел навстречу Бертуччо.

— Ну что? — спросил он.

— Она собирается покинуть свой дом, — отвечал управляющий.

— А ее сын?

— Флорантен, его камердинер, думает, что он собирается сделать то же самое.

— Идите за мной.

Монте-Кристо прошел с Бертуччо в свой кабинет, написал известное нам письмо и передал его управляющему.

— Ступайте, — сказал он, — поспешите; кстати, пусть Гайде сообщат, что я вернулся.

— Я здесь, — ответила сама Гайде, которая, услышав, что подъехала карета, уже спустилась вниз и сияла от счастья, видя графа здравым и невредимым.

Бертуччо вышел.

Всю радость нежной дочери, снова увидевшей отца, весь восторг возлюбленной, снова увидевшей любимого, испытала Гайде при этой встрече, которой она ждала с таким нетерпением.

Конечно, и радость Монте-Кристо, хоть и не выказываемая так бурно, была не менее велика; для исстрадавшихся сердец радость подобна росе, падающей на иссушенную зноем землю: сердце и земля впитывают благодатную влагу, но посторонний глаз не заметит этого.

За последние дни Монте-Кристо понял то, во что давно уже не смел поверить: на свете есть две Мерседес, он еще может быть счастлив.

Его пылающий радостью взор жадно погружался в затуманенные глаза Гайде, как вдруг открылась дверь.

Граф нахмурился.

— Господин де Морсер! — доложил Батистен, как будто одно это имя служило ему оправданием.

В самом деле лицо графа прояснилось.

— Который? — спросил он. — Виконт или граф?

— Граф.

— О Боже! Неужели это еще не кончилось? —

воскликнула Гайде.

— Не знаю, кончилось ли это, дитя мое, — сказал Монте-Кристо, беря девушку за руки, — но тебе нечего бояться.

— Но ведь этот негодяй…

— Этот человек бессилен против меня, Гайде, — сказал Монте-Кристо, — бояться надо было тогда, когда я имел дело с его сыном.

— Ты никогда не узнаешь, сколько я выстрадала, господин мой, — сказала Гайде.

Монте-Кристо улыбнулся.

— Клянусь тебе могилой моего отца, — сказал он, погладив ее по голове, — если с кем-нибудь и случится несчастье, то, во всяком случае, не со мной.

— Я верю тебе, как Богу, господин мой, — сказала молодая девушка, подставляя графу лоб.

Монте-Кристо запечатлел на этом прекрасном, чистом челе поцелуй, от которого забились два сердца, одно стремительно, другое глухо.

— Боже мой, — прошептал граф, — неужели ты позволишь мне снова полюбить!.. Попросите графа де Морсера **б** гостиную, — сказал он Батистену, провожая прекрасную гречанку к потайной лестнице.

Нам необходимо объяснить причину этого

посещения, которого, быть может, и ждал Монте-Кристо, но, наверное, не ждали наши читатели.

Когда Мерседес, как мы уже говорили, производила у себя нечто вроде описи, сделанной и Альбером, когда она укладывала свои драгоценности, запирала шкафы, собирала в одно место ключи, желая все оставить после себя в полном порядке, она не заметила, что за стеклянной дверью в коридор появилось бледное, мрачное лицо. Тот, кто смотрел через стекло, не будучи сам увиденным и услышанным, мог видеть и слышать все, что происходило у г-жи де Морсер.

Отойдя от этой двери, бледный человек удалился **б** спальню и поднял судорожно сжатой рукой занавеску окна, выходящего во двор.

Так он стоял минут десять, неподвижный, безмолвный, прислушиваясь к биению собственного сердца. Ему эти десять минут показались вечностью.

Именно тогда Альбер, возвращаясь с места дуэли, заметил в окне своего отца, подстерегавшего его, и отвернулся.

Граф широко раскрыл глаза, он знал, что Альбер нанес Монте-Кристо страшное оскорбление, что во всем мире подобное оскорбление влечет за собою дуэль, в которой одного из противников

ожидает смерть. Альбер вернулся живой и невредимый; следовательно, его отец отомщен.

Непередаваемая радость озарила это мрачное лицо, словно последний луч солнца, опускающегося в затянувшие горизонт тучи, как в могилу.

Но, как мы уже сказали, он тщетно ждал, что Альбер поднимется в его комнаты и расскажет о своем торжестве. Что его сын, отправляясь сражаться, не захотел увидеться с отцом, за честь которого он мстил, это было понятно; но почему, отомстив за честь отца, сын не пришел и не бросился в его объятия?

Тогда-то граф, не имея возможности повидать Альбера, послал за его камердинером. Мы знаем, что Альбер велел камердинеру ничего не скрывать от графа.

Десять минут спустя на крыльце появился граф де Морсер, в черном сюртуке с воротником военного образца, в черных панталонах, в черных перчатках. Очевидно, он уже заранее отдал распоряжения, потому что не успел он спуститься с крыльца, как ему подали карету.

Камердинер сейчас же положил в карету плащ, в который были завернуты две шпаги, затем захлопнул дверцу и сел рядом с кучером.

Кучер ждал приказаний.

— На Елисейские поля, — сказал генерал, — к графу де Монте-Кристо. Живо!

Лошади рванулись под ударом бича, и пять минут спустя они остановились у дома графа.

Морсер сам открыл дверцу и, еще на ходу, как юноша, выпрыгнул на аллею, позвонил и вошел вместе со своим камердинером в широко распахнутую дверь.

Через секунду Батистен докладывал о графе де Морсере господину де Монте-Кристо, и тот, проводив Гайде, велел ввести Морсера в гостиную.

Генерал уже третий раз отмеривал шагами длину гостиной, когда, обернувшись, он увидел на пороге Монте-Кристо.

— А, это господин де Морсер! — спокойно сказал Монте-Кристо. — Мне казалось, я ослышался.

— Да, это я, — сказал граф; губы его судорожно кривились, он с трудом выговаривал слова.

— Мне остается узнать, — сказал Монте-Кристо, — чему я обязан удовольствием видеть графа де Морсера в такой ранний час.

— У вас сегодня утром была дуэль с моим сыном, сударь? — спросил генерал.

— Вам это известно? — спросил граф.

— Да, и мне известно также, что у моего сына были веские причины драться с вами и поста-

раться убить вас.

— Действительно, сударь, у него были на это веские причины. Но все же, как видите, он меня не убил и даже не дрался.

— Однако вы в его глазах виновник бесчестья, постигшего его отца, виновник страшного несчастья, которое обрушилось на мой дом.

— Это верно, сударь, — сказал Монте-Кристо с тем же ужасающим спокойствием, — виновник, впрочем, второстепенный, а не главный.

— Вы, очевидно, извинились перед ним или дали какие-нибудь объяснения?

— Я не дал ему никаких объяснений, и извинился не я, а он.

— Но что же, по-вашему, означает его поведение?

— Скорее всего он убедился, что кто-то другой виновнее меня.

— Кто же?

— Его отец.

— Допустим, — сказал Морсер, бледнея, — но вы должны знать, что виновный не любит, когда ему указывают на его вину.

— Я это знаю… Потому я ждал того, что произошло.

— Вы ждали, что мой сын окажется трусом?! —

воскликнул граф.

— Альбер де Морсер далеко не трус, — сказал Монте-Кристо.

— Если человек держит в руке шпагу, если перед ним стоит его смертельный враг и он не дерется — значит, он трус! Будь он здесь, я бы сказал ему это в лицо!

— Сударь, — холодно ответил Монте-Кристо, — я не думаю, чтобы вы явились ко мне обсуждать ваши семейные дела. Скажите все это своему сыну, может быть, он найдет, что вам ответить.

— Нет, нет, — возразил генерал с мимолетной улыбкой, — вы совершенно правы, я приехал не для этого! Я приехал вам сказать, что я тоже считаю вас своим врагом! Я инстинктивно ненавижу вас! У меня такое чувство, будто я вас всегда знал и всегда ненавидел! И раз нынешние молодые люди отказываются драться, то драться надлежит нам… Вы согласны со мной, сударь?

— Вполне; поэтому, когда я сказал вам, что я ждал того, что должно произойти, я имел в виду и ваше посещение.

— Тем лучше… Следовательно, вы готовы?

— Я всегда готов.

— Мы будем биться до тех пор, пока один из нас не умрет, понимаете? — сквозь зубы, с яростью

сказал генерал.

— Пока один из нас не умрет, — повторил граф де Монте-Кристо, слегка кивнув головой.

— Так едем, секунданты нам не нужны.

— Разумеется, не нужны, — сказал Монте-Кристо, — мы слишком хорошо знаем друг друга!

— Напротив, — сказал граф, — мы совершенно друг друга не знаем.

— Полноте, — сказал Монте-Кристо с тем же убийственным хладнокровием, — что вы говорите! Разве вы не тот самый солдат Фернан, который дезертировал накануне сражения при Ватерлоо? Разве вы не тот самый лейтенант Фернан, который служил проводником и шпионом французской армии в Испании? Разве вы не тот самый полковник Фернан, который предал, продал, убил своего благодетеля Али? А разве все эти Фернаны, вместе взятые, не обратились в генерал-лейтенанта графа де Морсера, пэра Франции?

— Негодяй! — воскликнул генерал, которого эти слова жгли, как раскаленное железо. — Ты коришь меня моим позором, быть может, перед тем, как убить меня! Нет, я не хотел сказать, что ты не знаешь меня; я отлично знаю, дьявол, что ты проник в мрак моего прошлого, что ты перечитал — не знаю, при свете какого факела, —

каждую страницу моей жизни; но, наверно, в моем позоре все-таки больше чести, чем в твоем показном блеске! Да, ты меня знаешь, не сомневаюсь, но я не знаю тебя, авантюрист, купающийся в золоте и драгоценных камнях! В Париже ты называешь себя графом де Монте-Кристо; в Италии — Синдбадом-Мореходом; на Мальте — еще как-то, уж не помню. Но я требую, я хочу знать твое настоящее имя среди этой сотни имен, чтобы выкрикнуть его в ту минуту, когда я всажу шпагу в твое сердце!

Граф Монте-Кристо смертельно побледнел; его глаза вспыхнули грозным огнем; он стремительно бросился в соседнюю комнату, сорвал с себя галстук, сюртук и жилет, накинул матросскую куртку и надел матросскую шапочку, из-под которой ниспадали его длинные черные волосы.

И он вернулся, страшный, неумолимый, и, скрестив руки, направился к генералу. Морсер, удивленный его внезапным уходом, ждал. Когда он увидел преобразившегося Монте-Кристо, ноги у него подкосились и зубы застучали, он стал медленно отступать и, натолкнувшись на какой-то стол, остановился.

— Фернан, — крикнул ему Монте-Кристо, — из сотни моих имен мне достаточно назвать тебе

лишь одно, чтобы сразить тебя; ты отгадал это имя, правда? Ты вспомнил его? Ибо, невзирая на все мои несчастья, на все мои мучения, я стою перед тобой сегодня помолодевший от радости мщения, такой, каким ты, должно быть, не раз видел меня во сне, с тех пор как женился… на Мерседес, моей невесте!

Генерал, запрокинув голову, протянув руки вперед, остановившимся взглядом безмолвно смотрел на это страшное видение, затем, держась за стену, чтобы не упасть, он медленно добрел до двери и вышел, пятясь, испустив один лишь отчаянный, душераздирающий крик:

— Эдмон Дантес!

Затем с нечеловеческими усилиями он дотащился до крыльца, походкой пьяного пересек двор и повалился на руки своему камердинеру, невнятно бормоча:

— Домой, домой!

По дороге свежий воздух и стыд перед слугами помогли ему собраться с мыслями; но расстояние было невелико, и по мере того как граф приближался к дому, отчаяние снова овладевало им.

За несколько шагов от дома граф велел остановиться и вышел из экипажа.

Ворота были раскрыты настежь; кучер фиакра,

изумленный, что его позвали к такому богатому особняку, ждал посреди двора; граф испуганно взглянул на фиакр, но не посмел никого расспрашивать и бросился к себе.

По лестнице спускались двое; он едва успел скрыться в боковую комнату, чтобы не столкнуться с ними.

Это была Мерседес, опиравшаяся на руку сына; они вместе покидали дом.

Они прошли совсем близко от несчастного, который, спрятавшись за штофную портьеру, едва не почувствовал прикосновение шелкового платья Мерседес и ощутил на своем лице теплое дыхание сына, говорившего:

— Будьте мужественны, матушка! Идем, идем скорей, мы здесь больше не у себя.

Слова замерли, шаги удалились.

Граф выпрямился, вцепившись руками в штофную занавесь; он старался подавить самое отчаянное рыдание, когда-либо вырывавшееся из груди отца, которого одновременно покинули жена и сын…

Вскоре он услышал, как хлопнула дверца фиакра, затем крикнул кучер, задрожали стекла от грохота тяжелого экипажа; тогда он бросился к себе в спальню, чтобы еще раз взглянуть на все,

что он любил в этом мире; но фиакр уехал, и ни Мерседес, ни Альбер не выглянули из него, чтобы послать опустелому дому, покидаемому отцу и мужу последний взгляд прощания и сожаления, а стало быть, и прощения.

И вот, в ту самую минуту когда колеса наемного экипажа застучали по камням мостовой, раздался выстрел, и темный дымок вырвался из разлетевшегося от сотрясения окна спальни.

XVI
ВАЛЕНТИНА

Читатели, конечно, догадываются, куда спешил Моррель и с кем у него было назначено свидание.

Расставшись с Монте-Кристо, он медленно шел по направлению к дому Вильфора, медленно потому, что у Морреля было еще более получаса времени, а пройти ему надо было шагов пятьсот. Но хоть времени у него было более чем достаточно, он все же поспешил расстаться с Монте-Кристо, потому что ему не терпелось остаться наедине со своими мыслями.



Он твердо помнил назначенный ему час: тот самый, когда Валентина кормила завтраком Нуартье и потому могла быть уверена, что никто не потревожит ее при исполнении этого благочестивого долга. Нуартье и Валентина разрешили ему посещать их два раза в неделю, и он собирался воспользоваться своим правом.

Когда Моррель вошел, поджидавшая его Валентина схватила его за руку и подвела к своему деду. Она была бледна и сильно взволнована.

Крайнее волнение это было вызвано скандалом в Опере: все уже знали (свет всегда все знает) о ссоре между Альбером и Монте-Кристо. В доме Вильфоров никто не сомневался в том, что неизбежным последствием случившегося будет дуэль. Валентина женским чутьем поняла, что Моррель будет секундантом Монте-Кристо, и, зная храбрость Максимилиана, его глубокую привязанность к графу, боялась, что он не ограничится пассивной ролью свидетеля.

Легко поэтому понять, с каким нетерпением спрашивала она о подробностях и выслушивала ответы, и Моррель прочел в глазах своей возлюбленной бесконечную радость, когда она услышала о неожиданно счастливом исходе дуэли.

— А теперь, — сказала Валентина, делая знак Моррелю сесть рядом со стариком и сама усаживаясь на скамеечку, на которой покоились его ноги, — мы можем поговорить и о собственных делах. Вы ведь знаете, Максимилиан, что дедушка одно время хотел уехать из дома господина де Вильфора и поселиться отдельно.

— Да, конечно, — сказал Максимилиан, — я помню этот план, я весьма одобрял его.

— Так я могу вас обрадовать, Максимилиан, — сказала Валентина, — потому что дедушка опять вернулся к этой мысли.

— Отлично! — воскликнул Максимилиан.

— А знаете, — продолжала Валентина, — почему дедушка хочет покинуть этот дом?

Нуартье многозначительно посмотрел на внучку, взглядом приказывая ей замолчать; но Валентина не смотрела на него: ее взоры и ее улыбка принадлежали Моррелю.

— Чем бы ни объяснялось желание господина Нуартье, я присоединяюсь к нему! — воскликнул Моррель.

— Я тоже, от всей души, — сказала Валентина. — Он утверждает, что воздух предместья Сент-Оноре вреден для моего здоровья.

— А вы знаете, Валентина, — сказал Моррель, —

я нахожу, что господин Нуартье совершенно прав: вот уже недели две, как вы, по-моему, не совсем здоровы.

— Да, я не очень хорошо себя чувствую, — отвечала Валентина, — поэтому дедушка решил сам полечить меня; он все знает, и я вполне ему доверяю.

— Но, значит, вы в самом деле больны? — быстро спросил Моррель.

— Это не болезнь. Мне просто не по себе, вот и все. Я потеряла аппетит, и у меня такое ощущение, будто мой организм борется с чем-то.

Нуартье не пропускал ни одного слова Валентины.

— А чем вы лечитесь от этой неведомой болезни?

— Просто я каждое утро пью по чайной ложке того лекарства, которое принимает дедушка; я хочу сказать, что я начала с одной ложки, а теперь пью по четыре. Дедушка уверяет, что это средство от всех болезней.

Валентина улыбнулась, но ее улыбка была грустной и страдальческой.

Максимилиан, опьяненный любовью, молча смотрел на нее: она была очень хороша собой, но ее бледность приобрела какой-то тусклый

оттенок, глаза блестели сильнее обыкновенного, а руки, обычно белые, как перламутр, казались вылепленными из воска, слегка пожелтевшего от времени.

С Валентины Максимилиан перевел взгляд на Нуартье; тот смотрел своим загадочным, вдумчивым взглядом на внучку, поглощенную своей любовью, но и он, как Моррель, видел эти признаки затаенного страдания, настолько, впрочем, неуловимые, что никто их не замечал, кроме деда и возлюбленного.

— Но ведь это лекарство прописано господину Нуартье? — спросил Моррель.

— Да, оно очень горькое на вкус, — отвечала Валентина, — такое горькое, что после него я во всем, что пью, чувствую горечь.

Нуартье вопросительно взглянул на внучку.

— Правда, дедушка, — сказала Валентина, — только что, идя к вам, я выпила сахарной воды и даже не могла допить стакана, до того мне показалось горько.

Нуартье побледнел и показал, что он хочет что-то сказать.

Валентина встала, чтобы принести словарь.

Нуартье с явной тревогой следил за ней глазами.

Кровь прилила к лицу девушки, и щеки ее покраснели.

— Как странно, — весело воскликнула она, — у меня закружилась голова! Неужели от солнца?

И она оперлась на подоконник.

— Да ведь нет никакого солнца, — сказал Моррель, которого сильнее обеспокоило выражение лица Нуартье, чем недомогание Валентины.

Он подбежал к ней. Валентина улыбнулась.

— Успокойся, дедушка, — сказала она Нуартье, — успокойтесь, Максимилиан. Ничего, все уже прошло, но слушайте, кажется, кто-то въехал во двор?

Она открыла дверь, подбежала к окну в коридоре и сейчас же вернулась.

— Да, — сказала она, — приехала госпожа Данглар с дочерью. Прощайте, я убегу, иначе за мной придут сюда; вернее, до свидания, посидите с дедушкой, Максимилиан, я обещаю вам не удерживать их.

Моррель проводил ее глазами, видел, как за ней закрылась дверь, и слышал, как она стала подниматься по маленькой лестнице, которая вела в комнату г-жи де Вильфор и в ее собственную.

Как только она ушла, Нуартье сделал знак Моррелю *взять* словарь.

Моррель исполнил его желание; он под руководством Валентины быстро научился понимать старика.

Однако, так как приходилось всякий раз перебирать алфавит и отыскивать в словаре каждое слово, прошло целых десять минут, пока мысль старика выразилась в следующих словах:

"Достаньте стакан с водой и графин из комнаты Валентины".

Моррель немедленно позвонил лакею, заменившему Барруа, и от имени Нуартье передал ему это приказание.

Через минуту лакей вернулся.

Графин и стакан были совершенно пусты.

Нуартье показал, что желает что-то сказать.

— Почему графин и стакан пусты? — спросил он. — Ведь Валентина сказала, что не допила стакана.

Передача этой мысли словами потребовала новых пяти минут.

— Не знаю, — ответил лакей, — но в комнату мадемуазель Валентины прошла горничная, может быть, это она выплеснула.

— Спросите у нее об этом, — сказал Моррель, по взгляду поняв мысль Нуартье.

Лакей вышел и тотчас же вернулся.

— Мадемуазель Валентина заходила сейчас в свою комнату, — сказал он, — и допила все, что осталось в стакане, а из графина все вылил господин Эдуар, чтобы устроить пруд для своих уток.

Нуартье поднял глаза к небу, словно игрок, поставивший на карту все свое состояние.

Затем глаза старика обратились к двери и уже не отрывались от нее.

Валентина не ошиблась, говоря, что приехала г-жа Данглар с дочерью. Их провели в комнату г-жи де Вильфор, которая сказала, что примет их у себя; вот почему Валентина и прошла через свою комнату: эта комната была в одном этаже с комнатой мачехи, и их разделяла только комната Эдуара.

Гостьи вошли в будуар с несколько официальным видом, очевидно готовясь сообщить важную новость.

Люди одного круга легко улавливают всякие оттенки в обращении. Г-жа де Вильфор в ответ на торжественность обеих дам также приняла торжественный вид.

В эту минуту вошла Валентина, и приветствия возобновились.

— Дорогой друг, — сказала баронесса, меж тем как девушки взялись за руки, — я приехала к

вам вместе с Эжени, чтобы первой сообщить вам о предстоящей в ближайшем будущем свадьбе моей дочери с князем Кавальканти.

Данглар настаивал на титуле князя. Банкир-демократ находил, что это звучит лучше, чем граф.

— В таком случае разрешите вас искренно поздравить, — ответила г-жа де Вильфор. — Я нахожу, что князь Кавальканти — молодой человек, полный редких достоинств.

— Если говорить по-дружески, — сказала, улыбаясь, баронесса, — то я скажу, что князь еще не тот человек, кем обещает стать впоследствии. В нем еще много тех странностей, по которым мы, французы, с первого взгляда узнаем итальянского или немецкого аристократа. Все же у него, по-видимому, доброе сердце, тонкий ум, а что касается практической стороны, то господин Данглар утверждает, что состояние у него грандиозное; он так и выразился.

— А кроме того, — сказала Эжени, перелистывая альбом г-жи де Вильфор, — прибавьте, сударыня, что вы питаете к этому молодому человеку особую благосклонность.

— Мне незачем спрашивать вас, — заметила г-жа де Вильфор, — разделяете ли вы эту благосклонность?

— Ни в малейшей степени, сударыня, — отвечала Эжени с обычной своей самоуверенностью. — Я не чувствую никакой склонности связывать себя хозяйственными заботами или исполнением мужских прихотей, кто бы этот мужчина ни был. Мое призвание быть артисткой и, следовательно, свободно распоряжаться своим сердцем, своей особой и своими мыслями.

Эжени произнесла эти слова таким решительным и твердым тоном, что Валентина вспыхнула. Робкая девушка не могла понять этой сильной натуры, в которой не чувствовалось и тени женской застенчивости.

— Впрочем, — продолжала та, — раз уж мне суждено выйти замуж, я должна благодарить Провидение, избавившее меня по крайней мере от притязаний господина де Морсера; не вмешайся Провидение, я была бы теперь женой обесчещенного человека.

— А ведь правда, — сказала баронесса с той странной наивностью, которой иногда отличаются аристократки и от которой их не может отучить даже общение с плебеями, — правда, если бы Морсеры не колебались, моя дочь уже была бы замужем за Альбером. Генерал очень хотел этого брака, он даже сам приезжал к госпо-

дину Данглару, чтобы вырвать его согласие; мы счастливо отделались.

— Но разве позор отца бросает тень на сына? — робко заметила Валентина. — Мне кажется, что виконт нисколько не повинен в предательстве генерала.

— Простите, дорогая, — сказала неумолимая Эжени, — виконт недалеко от этого ушел говорят, что, вызвав вчера в Опере графа де Монте-Кристо на дуэль, он сегодня утром принес ему свои извинения у барьера.

— Не может быть! — сказала г-жа де Вильфор.

— Ах, дорогая, — отвечала г-жа Данглар с той же наивностью, которую мы только что отметили, — это наверное так; я это знаю от господина Дебрэ, который присутствовал при объяснении.

Валентина тоже знала все, но промолчала. От дуэли мысль ее перенеслась в комнату Нуартье, где ее ждал Моррель.

Погруженная в задумчивость, Валентина уже несколько минут не принимала участия в разговоре, она даже не могла бы сказать, о чем шла речь, как вдруг г-жа Данглар дотронулась до ее руки.

— Что вам угодно, сударыня? — сказала Валентина, вздрогнув от этого прикосновения, словно

от электрического разряда.

— Вы больны, дорогая Валентина? — спросила баронесса.

— Больна? — удивилась девушка, проводя рукой по своему горячему лбу.

— Да, посмотрите на себя в зеркало: за последнюю минуту вы раза четыре то краснели, то бледнели.

— В самом деле, — воскликнула Эжени, — сейчас ты страшно бледна!

— Не беспокойся, Эжени со мной это уже несколько дней.

И, несмотря на все свое простодушие, Валентина поняла, что может воспользоваться этим предлогом, чтобы уйти. Впрочем, г-жа де Вильфор сама пришла ей на помощь.

— Идите к себе, Валентина, — сказала она, — вы в самом деле нездоровы; наши гостьи извинят вас; выпейте стакан холодной воды, вам станет легче.

Валентина поцеловала Эжени, поклонилась г-же Данглар, которая уже поднялась и начала прощаться, и вышла из комнаты.

— Бедная девочка, — сказала г-жа де Вильфор, когда дверь за Валентиной закрылась, — она не на шутку меня беспокоит, и я боюсь, что она

серьезно заболевает.

Между тем Валентина в каком-то безотчетном возбуждении прошла через комнату Эдуара, не ответив на злую выходку, которой он ее встретил, и, миновав свою спальню, вышла на маленькую лестницу. Ей оставалось спуститься только три ступени, она уже слышала голос Морреля, как вдруг туман застлал ей глаза, ее онемевшая нога оступилась, перила выскользнула из-под руки, и, припав к стене, она уже не сошла, а скатилась по ступеням.

Моррель метнулся к двери, распахнул ее и увидел Валентину, лежавшую на площадке.

Он подхватил ее на руки и усадил в кресло.

Валентина открыла глаза.

— Какая я неловкая! — сказала она с лихорадочной живостью. — Я, кажется, разучилась держаться на ногах. Как я могла забыть, что до площадки оставалось еще три ступеньки.

— Вы не ушиблись, Валентина? — воскликнул Моррель.

Валентина окинула взглядом комнату, в глазах Нуартье она прочла величайший испуг.

— Успокойся, дедушка, — сказала она, пытаясь улыбнуться, — это пустяки… у меня просто закружилась голова.

— Опять головокружение! — сказал Моррель, в отчаянии сжимая руки. — Поберегите себя, Валентина, умоляю вас!

— Да ведь все уже прошло, — сказала Валентина, — говорю же я вам, что это пустяки. А теперь послушайте, я скажу вам новость: через неделю Эжени выходит замуж, а через три дня назначено большое пиршество в честь обручения. Мы все приглашены — мой отец, госпожа де Вильфор и я… Так я по крайней мере поняла.

— Какой же наконец настанет наша очередь? Ах, Валентина, вы имеете такое влияние на своего дедушку, постарайтесь, чтобы он ответил вам: скоро!

— Так вы рассчитываете на меня, чтобы торопить дедушку и напоминать ему? — отвечала Валентина.

— Да! — воскликнул Моррель. — Ради Бога поспешите. Пока вы не будете моей, Валентина, мне всегда будет казаться, что я вас потеряю.

— Право, Максимилиан, — отвечала Валентина, судорожно вздрогнув, — вы слишком боязливы. Вы же офицер, про которого говорят, что он не знает страха. Ха-ха-ха!

И она разразилась резким, болезненным смехом, руки ее напряглись, голова запрокинулась,

и она осталась недвижима.

Крик ужаса, который не мог сорваться с уст Нуартье, застыл в его взгляде.

Моррель понял: нужно звать на помощь.

Он изо всех сил дернул звонок; горничная, находившаяся в комнате Валентины, и лакей, заступивший место Барруа, вместе вбежали в комнату.

Валентина была так бледна, так холодна и неподвижна, что, не слушая того, что им говорят, они поддались царившему в этом проклятом доме страху и, воплями призывая на помощь, бросились бежать по коридорам.

Хотя госпожа Данглар и Эжени как раз в эту минуту уезжали, они еще успели узнать причину переполоха.

— *Я* вам говорила! — воскликнула г-жа де Вильфор. — Бедняжка!

XVII
ПРИЗНАНИЕ

В эту минуту послышался голос Вильфора, кричавшего из своего кабинета:

— Что случилось?

Моррель взглянул на Нуартье, к которому

вернулось все его хладнокровие, и тот глазами указал ему на нишу, где однажды, при сходных обстоятельствах, он уже скрывался.

Он едва успел схватить шляпу и спрятаться за портьерой. В коридоре уже раздавались шаги королевского прокурора.

Вильфор вбежал в комнату, бросился к Валентине и схватил ее в объятия.

— Доктора! Доктора!.. Д'Авриньи! — крикнул Вильфор. — Нет, я лучше сам поеду за ним.

И он стремглав выбежал из комнаты.

В другую дверь выбежал Моррель.

Его поразило в самое сердце ужасное воспоминание: ему вспомнился разговор между Вильфором и доктором, который он случайно подслушал той ночью, когда умерла г-жа де Сен-Меран; симптомы, хоть и более слабые, были такие же, какие предшествовали смерти Барруа.

И ему почудилось, будто в ушах у него звучит голос Монте-Кристо, сказавшего ему не далее как два часа тому назад:

"Что бы вам ни понадобилось, Моррель, приходите ко мне, я многое могу сделать".

Он стрелой помчался по предместью Сент-Оноре к улице Матиньон, а с улицы Матиньон на Елисейские поля.

Тем временем Вильфор подъехал в наемном кабриолете к дому д'Авриньи. Он так резко позвонил, что швейцар открыл ему с перепуганным лицом. Вильфор бросился на лестницу, не в силах вымолвить ни слова. Швейцар знал его и только крикнул ему вслед:

— Доктор в кабинете, господин королевский прокурор!

Вильфор уже вошел, или, вернее, ворвался, к доктору.

— А, это вы! — сказал д'Авриньи.

— Да, доктор, — отвечал Вильфор, закрывая за собой дверь, — и на этот раз я вас спрашиваю, одни мы здесь? Доктор, мой дом проклят Богом.

— Что случилось? — спросил тот внешне холодно, но с глубоким внутренним волнением. — У вас опять кто-нибудь заболел?

— Да, доктор, — воскликнул Вильфор, хватаясь за голову, — да!

Взгляд д'Авриньи говорил:

"Я это предсказывал".

Он медленно и с ударением произнес:

— Кто же умирает на этот раз? Кто эта новая жертва, которая предстанет перед Богом, обвиняя нас в преступной слабости?

Мучительное рыдание вырвалось из груди

Вильфора; он схватил доктора за руку.

— Валентина! — сказал он. — Теперь очередь Валентины!

— Ваша дочь! — с ужасом и изумлением воскликнул д'Авриньи.

— Теперь вы видите, что вы ошиблись, — прошептал Вильфор, — помогите ей и попросите у страдалицы прощения за то, что вы подозревали ее.

— Всякий раз, когда вы посылали за мной, — сказал д'Авриньи, — бывало уже поздно, но все равно, я иду, только поспешим, с вашими врагами медлить нельзя.

— На этот раз, доктор, вам уже не придется упрекать меня в слабости. На этот раз я узнаю, кто убийца, и не пощажу его.

— Прежде чем думать о мщении, сделаем все возможное, чтобы спасти жертву, — сказал д'Авриньи. — Едем.

И кабриолет, доставивший Вильфора, быстро домчал его обратно вместе с д'Авриньи в то самое время, как Моррель стучался в дверь Монте-Кристо.

Граф был у себя в кабинете и, очень озабоченный, читал записку, которую ему только что спешно прислал Бертуччо.

Услышав, что ему докладывают о Морреле, который расстался с ним за каких-нибудь два часа перед этим, граф с удивлением поднял голову.

Для Морреля, как и для графа, за эти два часа изменилось, по-видимому, многое: он покинул графа с улыбкой, а теперь стоял перед ним, растерянный.

Граф вскочил и бросился к нему.

— Что случилось, Максимилиан? — спросил он. — Вы бледны, по лбу пот ручьями!

Моррель почти упал в кресло.

— Да, — сказал он, — я бежал, мне нужно с вами поговорить.

— У вас дома все здоровы? — спросил граф самым сердечным тоном, не оставлявшим сомнений в его искренности.

— Благодарю вас, граф, — отвечал Моррель, видимо не зная, как приступить к разговору, — да дома у меня все здоровы.

— Я очень рад; но вы хотели мне что-то сказать? — заметил граф с возрастающей тревогой.

— Да, — сказал Моррель, — я бежал к вам из дома, куда вошла смерть.

— Так вы от Морсеров? — спросил Монте-Кристо.

— Нет, — отвечал Моррель, — а разве у Морсе-

ров кто-нибудь умер?

— Генерал пустил себе пулю в лоб, — отвечал Монте-Кристо.

— Какое ужасное несчастье! — воскликнул Максимилиан.

— Не для графини, не для Альбера, — сказал Монте-Кристо, — лучше потерять отца и мужа, чем видеть его бесчестие; кровь смоет позор.

— Несчастная графиня! — сказал Максимилиан. — Больше всего мне жаль эту благородную женщину!

— Пожалейте и Альбера, Максимилиан, поверьте, он достойный сын графини. Но поговорим о вас. Вы спешили ко мне, и я очень рад, если могу быть вам полезен.

— Да, я пришел к вам в безумной надежде, что вы можете помочь мне в таком деле, где один Бог может помочь.

— Говорите же!

— Я даже не знаю, — сказал Моррель, — имею ли я право хоть одному человеку на свете открыть такую тайну, но меня вынуждает рок, я не могу иначе.

И он замолчал в нерешительности.

— Вы ведь знаете, что я вас люблю, — сказал Монте-Кристо, сжимая руку Морреля.

— Ваши слова придают мне смелости, и что-то говорит мне (молодой человек прижал руку к сердцу), что я не должен иметь тайн от вас.

— Да, Моррель, сам Бог внушил вам это. Скажите же мне все, как вам велит сердце.

— Граф, разрешите мне послать Батистена справиться от вашего имени о здоровье одной особы, которую вы знаете.

— Я сам в вашем распоряжении, что же говорить о моих слугах?

— Я должен узнать, что ей лучше, не то я с ума сойду.

— Хотите, чтобы я позвонил Батистену?

— Нет, я сам ему скажу.

Моррель вышел, позвал Батистена и вполголоса сказал ему несколько слов. Камердинер поспешно вышел.

— Ну что? Послали? — спросил Монте-Кристо возвратившегося Морреля.

— Да, теперь я буду немного спокойнее.

— Я жду вашего рассказа, — сказал, улыбаясь, Монте-Кристо.

— Да, я все скажу вам. Слушайте. Однажды вечером я очутился в одном саду; меня скрывали кусты, никто не подозревал о моем присутствии. Мимо меня прошли двое; разрешите мне пока

не называть их; они разговаривали тихо, но мне было так важно знать, о чем они говорят, что я напряг слух и не пропустил ни слова.

— Начало довольно зловещее, если судить по вашей бледности и дрожи в голосе.

— Да, мой друг, все это ужасно! В этом доме кто-то только что умер; один из собеседников был хозяин, другой — врач. И первый поверял второму свои опасения и горести, потому что уже второй раз за этот месяц смерть, быстрая и неожиданная, поражала его дом, словно ангел мщения призвал на него Божий гнев.

— Вот что! — сказал Монте-Кристо, пристально глядя на Морреля и неуловимым движением поворачивая свое кресло так, чтобы оказаться в тени, в то время как свет падал прямо на лицо гостя.

— Да, — продолжал Максимилиан, — смерть дважды за один месяц посетила этот дом.

— А что отвечал доктор? — спросил Монте-Кристо.

— Он отвечал... он отвечал, что смерть эта кажется ему неестественной и что ее можно объяснить только одним...

— Чем?

— Ядом!

— Вот как? — сказал Монте-Кристо с тем легким покашливанием, которое в минуты сильного волнения помогало ему скрыть румянец, или бледность, или просто то внимание, с каким он слушал собеседника. — Вот как, Максимилиан? И вы все это слышали?

— Да, дорогой граф, я все это слышал, и доктор даже прибавил, что, если что-либо подобное повторится, он будет считать себя обязанным обратиться к правосудию.

Монте-Кристо слушал с величайшим спокойствием, быть может притворным.

— Потом, — продолжал Максимилиан, — смерть нагрянула в третий раз, но ни хозяин дома, ни доктор никому ничего не сказали; теперь смерть, может быть, нагрянет и в четвертый раз. Скажите, граф, к чему меня обязывает знание этой тайны?

— Дорогой друг, — сказал Монте-Кристо, — вы рассказываете о случае, о котором знают решительно все. Дом, где вы все это слышали, мне знаком, или по крайней мере я знаю точь-в-точь такой же: там имеется сад, отец семейства, доктор, там одна за другой случились три странные и неожиданные смерти. Взгляните на меня: я не слышал ничьих признаний и тем не менее знаю

все это не хуже вас. Но разве меня мучает совесть? Нет, меня это ничуть не касается. Вы говорите, что словно ангел мщения призвал Божий гнев на этот дом, а кто вам сказал, что это не так? Закройте глаза на преступления, которых не хотят видеть те, кому надлежало бы их видеть. Если в этом доме Бог творит свой суд, Максимилиан, то отвернитесь и не мешайте Божьему правосудию.

Моррель вздрогнул. Голос графа звучал мрачно, грозно и торжественно.

— Впрочем, — продолжал граф, так резко меняя тон, что казалось, будто заговорил совсем другой человек, — откуда вы знаете, что это должно повториться?

— Это повторилось, граф! — воскликнул Моррель. — Вот почему я здесь.

— Что же я могу сделать, Моррель? Может быть, вы хотите, чтобы я предупредил королевского прокурора?

Монте-Кристо произнес последние слова так выразительно, с такой недвусмысленной интонацией, что Моррель вскочил.

— Граф, — воскликнул он, — вы знаете, о ком я говорю!

— Да, разумеется, мой друг, и я докажу вам это, поставив точки над і, то есть назову всех действу-

ющих лиц. Вы гуляли в саду Вильфора; из ваших слов я заключаю, что это было в вечер смерти маркизы де Сен-Меран. Вы слышали, как Вильфор и д'Авриньи беседовали о смерти маркиза де Сен-Меран и о не менее удивительной смерти маркизы. Д'Авриньи говорил, что предполагает отравление и даже два отравления; и вот вы, на редкость порядочный человек, с тех пор терзаете свое сердце, пытаете совесть, не зная, следует ли вам открыть эту тайну или промолчать. Мы живем не в средние века, дорогой друг, теперь уже нет ни святой Феме, ни свободных судей. Что вы сделаете? "Совесть, чего ты хочешь от меня?" — сказал Стерн. Полно, друг мой, пусть они спят, если им спится, пусть чахнут от бессонницы, если она их мучит, а сами Бога ради спите спокойно, благо у вас совесть чиста.

Лицо Морреля страдальчески исказилось, он схватил Монте-Кристо за руку.

— Но ведь это повторилось! Вы слышите?

— Так что же? Пусть, — сказал граф и, удивленный этой непонятной ему настойчивостью, испытующе посмотрел на Максимилиана. — Это семья Атридов. Бог осудил их, и они несут свою кару; они сгинут все, как бумажные человечки, которых вырезают дети и которые валятся один

за другим, хотя бы их было двести, от дуновения их создателя. Три месяца тому назад умер маркиз де Сен-Меран, спустя несколько дней — маркиза, на днях — Барруа, сегодня — старик Нуартье или юная Валентина.

— Вы знали об этом? — воскликнул Моррель с таким ужасом, что Монте-Кристо вздрогнул, — он, который не шевельнулся бы, если бы обрушилась твердь небесная. — Вы знали об этом и молчали?

— Что мне до этого? — возразил, пожав плечами, Монте-Кристо. — Что мне эти люди и зачем мне губить одного, чтобы спасти другого? Право, я не отдаю предпочтения ни жертве, ни убийце.

— Но я, я! — в исступлении крикнул Моррель. — Ведь я люблю ее!

— Любите? Кого? — воскликнул Монте-Кристо, вскакивая с места и хватая Морреля за руки, которые тот в отчаянии заломил над головой.

— Я люблю страстно, безумно, я отдал бы всю свою кровь, чтобы осушить одну ее слезу. Вы слышите! Я люблю Валентину де Вильфор, а ее вот сейчас, в эти минуты убивают! Я люблю ее, и я молю Бога и вас научить меня, как ее спасти!

Монте-Кристо вскрикнул, и этот дикий крик был подобен рычанию раненого льва.

— Несчастный! — воскликнул он, ломая ру-

ки. — Ты любишь Валентину! Ты любишь дочь этого проклятого рода!

Никогда в своей жизни Моррель не видел такого лица, такого страшного взора. Никогда еще Ужас, чей лик не раз являлся ему и на полях сражения, и в смертоубийственные ночи Алжира, не опалял его глаз столь зловещими молниями.

Он отступил в страхе.

После этой страстной вспышки Монте-Кристо на миг закрыл глаза, словно ослепленный внутренним пламенем; он сделал нечеловеческое усилие, чтобы овладеть собой, и понемногу буря в его груди утихла, подобно тому, как после грозы смиряются под лучами солнца разъяренные, вспененные волны.

Это напряженное молчание, эта борьба с самим собой длилась не более двадцати секунд.

Граф поднял побледневшее лицо.

— Вы видите, друг мой, — сказал он почти не изменившимся голосом, — как Господь карает кичливых и равнодушных людей, безучастно взирающих на ужасные бедствия, которые он им являет. С бесстрастным любопытством наблюдал я, как разыгрывается на моих глазах эта мрачная трагедия; подобно падшему ангелу, я смеялся над злом, которое совершают люди под покро-

вом тайны (а богатым и могущественным легко сохранить тайну); и вот теперь и меня ужалила эта змея, за извилистым путем которой я следил, ужалила в самое сердце!

Моррель глухо застонал.

— Довольно жалоб, — сказал граф, — мужайтесь, соберитесь с силами, надейтесь, ибо я с вами и я охраняю вас.

Моррель грустно покачал головой.

— Я вам сказал — надейтесь! — воскликнул Монте-Кристо. — Знайте, я никогда не лгу, никогда не ошибаюсь. Сейчас полдень, Максимилиан, благодарите Небо, что вы пришли ко мне сегодня в полдень, а не вечером или завтра утром. Слушайте меня, Максимилиан, сейчас полдень, и если Валентина еще жива, она не умрет.

— Боже мой! — воскликнул Моррель. — И я оставил ее умирающей!

Монте-Кристо прикрыл глаза рукой.

Что происходило в этом мозгу, отягченном страшными тайнами? Что шепнули этому разуму, и неумолимому и человечному, светлый ангел или ангел тьмы?

Только Богу это ведомо!

Монте-Кристо снова поднял голову; на этот раз лицо его было безмятежно, как у младенца,

пробудившегося от сна.

— Максимилиан, — сказал он, — идите спокойно домой; я приказываю вам ничего не предпринимать, не делать никаких попыток и ничем не выдавать своей тревоги. Ждите вестей от меня, ступайте.

— Ваше хладнокровие меня пугает, граф, — сказал Моррель. — Вы имеете власть над смертью? Человек ли вы? Или вы ангел? Бог?

И молодой офицер, никогда не отступавший перед опасностью, отступил перед Монте-Кристо, объятый невыразимым ужасом.

Но Монте-Кристо взглянул на него с такой печальной и ласковой улыбкой, что слезы увлажнили глаза Максимилиана.

— Многое в моей власти, друг мой, — отвечал граф. — Идите, мне нужно побыть одному.

Моррель, покоренный той непостижимой силой, которой Монте-Кристо подчинял себе всех окружающих, даже не пытался ей противиться. Он пожал руку графа и вышел.

Но, дойдя до ворот, он остановился, чтобы подождать Батистена, который показался на углу улицы Матиньон.

Тем временем Вильфор и д'Авриньи спешно прибыли в дом королевского прокурора. Они

нашли Валентину все еще без чувств, и доктор осмотрел больную со всей тщательностью, которой требовали обстоятельства от врача, посвященного в страшную тайну.

Вильфор, не отрывая глаз от лиц д'Авриньи, ждал его приговора. Нуартье, еще более бледный, чем Валентина, еще нетерпеливее жаждующий ответа, чем Вильфор, тоже ждал, и все силы его души и разума сосредоточились в его взгляде.

Наконец д'Авриньи медленно проговорил:

— Она еще жива.

— Еще! — воскликнул Вильфор. — Какое страшное слово, доктор!

— Да, я повторяю: она еще жива, и это очень меня удивляет.

— Но она спасена? — спросил отец.

— Да, раз она жива.

В эту минуту глаза д'Авриньи встретились с глазами Нуартье: в них светилась такая бесконечная радость, такая глубокая и всепроникающая мысль, что доктор был поражен.

Он снова опустил в кресло больную, чьи бескровные губы едва выделялись на бледном лице, и стоял неподвижно, глядя на Нуартье, который внимательно следил за каждым его движением.

— Господин де Вильфор, — сказал, наконец,

доктор, — позовите, пожалуйста, горничную мадемуазель Валентины.

Вильфор опустил голову дочери, которую поддерживал рукой, и сам поспешил за горничной.

Как только Вильфор закрыл за собой дверь, д'Авриньи подошел к Нуартье.

— Вы желаете мне что-то сказать? — спросил он.

Старик выразительно закрыл глаза; как нам известно, в его распоряжении был только этот единственный утвердительный знак.

— Мне одному?

— Да, — показал Нуартье.

— Хорошо, я постараюсь остаться с вами наедине.

В эту минуту вернулся Вильфор в сопровождении горничной, следом за горничной шла г-жа де Вильфор.

— Что случилось с бедной девочкой? — воскликнула она. — Она только что была у меня; правда, она жаловалась на недомогание, но я не думала, что это так серьезно.

И молодая женщина со слезами на глазах и с чисто материнской нежностью подошла к Валентине и взяла ее за руку.

Д'Авриньи наблюдал за Нуартье: старик широ-

ко раскрыл глаза, его щеки побледнели, на лбу проступили капли пота.

"Вот оно что!" — невольно сказал себе д'Авриньи, следя за направлением взгляда Нуартье, другими словами, взглянув на г-жу де Вильфор, твердившую:

— Бедной девочке надо лечь в постель. Давайте, Фанни, мы с вами ее уложим.

Д'Авриньи, которому это предложение давало возможность остаться наедине с Нуартье, одобрительно кивнул, но строго запретил давать больной что бы то ни было без его предписания.

Валентину унесли; она пришла в сознание, но не могла ни пошевельнуться, ни даже говорить, настолько она была разбита перенесенным припадком. Все же у нее хватило сил взглядом проститься с дедушкой, который смотрел ей вслед с таким отчаянием, словно у него вырывали душу из тела.

Д'Авриньи проводил больную, написал рецепты и велел Вильфору самому поехать в аптеку, лично присутствовать при изготовлении лекарств, привезти их и ждать его в комнате дочери.

Затем, снова повторив свое приказание ничего не давать Валентине, он спустился к Нуартье,

тщательно закрыл за собою дверь и, убедившись в том, что никто их не подслушивает, сказал:

— Вы что-нибудь знаете о болезни вашей внучки?

— Да, — показал старик.

— Нам нельзя терять времени; я буду предлагать вам вопросы, а вы отвечайте.

Нуартье показал, что готов отвечать.

— Вы предвидели болезнь Валентины?

— Да.

Д'Авриньи на секунду задумался, затем подошел ближе к Нуартье.

— Простите меня за то, что я сейчас скажу, но ничто не должно быть упущено в том страшном положении, в котором мы находимся. Вы видели, как умирал несчастный Барруа?

Нуартье поднял глаза к небу.

— Вы знаете, отчего он умер? — спросил д'Авриньи, кладя руку на плечо Науартье.

— Да, — показал старик.

— Вы думаете, что это была естественная смерть?

Подобие улыбки мелькнуло на безжизненных губах Нуартье.

— Так вы подозревали, что Барруа был отравлен?

— Да.

— Вы думаете, что яд, от которого он погиб, предназначался ему?

— Нет.

— Думаете ли вы, что та же рука, которая по ошибке поразила Барруа, сегодня поразила Валентину?

— Да.

— Значит, она тоже погибнет? — спросил д'Авриньи, не спуская с Нуартье пытливого взгляда.

Он ждал действия этих слов на старика.

— Нет! — показал тот с таким торжеством, что самый искусный отгадчик был бы сбит с толку.

— Так у вас есть надежда? — сказал удивленный д'Авриньи.

— Да.

— На что вы надеетесь?

Старик показал глазами, что не может ответить.

— Ах, верно, — прошептал д'Авриньи.

Потом снова обратился к Нуартье:

— Вы надеетесь, что убийца отступится?

— Нет.

— Значит, вы надеетесь, что яд не окажет действия на Валентину?

— Да.

— Вы, конечно, знаете, не хуже меня, что ее пытались отравить, — продолжал д'Авриньи.

Взгляд старика показал, что у него на этот счет нет никаких сомнений.

— Почему же вы надеетесь, что Валентина избежит опасности?

Нуартье упорно смотрел в одну точку; д'Авриньи проследил направление его взгляда и увидел, что он устремлен на склянку с лекарством, которое ему приносили каждое утро.

— А, вот оно что, — сказал д'Авриньи, осененный внезапной мыслью. — Неужели вы…

Нуартье не дал ему кончить.

— Да, — показал он.

— Предохранили ее от действия яда…

— Да.

— Приучая ее мало-помалу…

— Да, да, да, — показал Нуартье, в восторге оттого, что его поняли.

— Вы, должно быть, слышали, как я говорил, что в лекарства, которые я вам даю, входит бруцин?

— Да.

— И, приучая ее к этому яду, вы хотели нейтрализовать действие яда?

Глаза Нуартье сияли торжеством.

— И вы достигли этого! — воскликнул д'Авриньи. — Не прими вы этой предосторожности, яд сегодня убил бы Валентину, убил бы мгновенно, безжалостно, до того силен был удар; но дело кончилось потрясением, и, во всяком случае, на этот раз Валентина не умрет.

Безмерная радость светилась в глазах старика, возведенных к небу с выражением бесконечной благодарности.

В эту минуту вернулся Вильфор.

— Вот лекарство, которое вы прописали, доктор, — сказал он.

— Его приготовили при вас?

— Да, — отвечал королевский прокурор.

— Вы его не выпускали из рук?

— Нет.

Д'Авриньи взял склянку, отлил несколько капель жидкости на ладонь и проглотил их.

— Хорошо, — сказал он, — пойдемте к Валентине, я дам предписания, и вы сами проследите за тем, чтобы они никем не нарушались.

В то самое время, когда д'Авриньи в сопровождении Вильфора входил в комнату Валентины, итальянский священник, с размеренной походкой, со спокойной и уверенной речью, нанимал дом, примыкающий к особняку Вильфора.

Неизвестно, в чем заключалась сделка, в силу которой все жильцы этого дома выехали два часа спустя, но прошел слух, будто фундамент этого дома не особенно прочен и дому угрожает обвал, что не помешало новому жильцу около пяти часов того же дня переехать в него со всей своей скромной обстановкой.

Новый жилец взял его в аренду на три, шесть или девять лет и, как полагается, заплатил за полгода вперед; этот новый жилец, как мы уже сказали, был итальянец, и звали его синьор Джакомо Бузони.

Немедленно были призваны рабочие, и в ту же ночь редкие прохожие, появлявшиеся в этой части предместья, с изумлением наблюдали, как плотники и каменщики подводили фундамент под ветхое здание.

XVIII
ОТЕЦ И ДОЧЬ

Из предыдущей главы мы знаем, что г-жа Данглар приезжала официально объявить г-же де Вильфор о предстоящей свадьбе мадемуазель Эжени Данглар с Андреа Кавальканти.

Это официальное уведомление как будто до-

казывало, 391 что все заинтересованные в столь важном событии лица пришли к соглашению, однако ему предшествовала сцена, о которой мы должны рассказать нашим читателям.

Поэтому мы просим их вернуться немного назад и утром этого дня перенестись в ту пышную золоченую гостиную, которую мы уже описывали и которой так гордился ее владелец, барон Данглар.

По этой гостиной часов в десять утра шагал взад и вперед, погруженный в задумчивость и, видимо, чем-то обеспокоенный, сам барон, поглядывая на двери и останавливаясь при каждом шорохе.

Когда в конце концов его терпение истощилось, он позвал камердинера.

— Этьен, — сказал он, — пойдите узнайте, для чего мадемуазель Данглар просила меня ждать ее в гостиной и по какой причине она заставляет меня ждать так долго.

Дав, таким образом, волю своему дурному настроению, барон немного успокоился.

В самом деле мадемуазель Данглар, едва проснувшись, послала свою горничную испросить у барона аудиенцию и назначила местом ее золоченую гостиную. Необычайность этой просьбы

бы, а главное, ее официальность немало удивили банкира, который не замедлил исполнить желание своей дочери и первым явился в гостиную.

Этьен вскоре вернулся с ответом.

— Горничная мадемуазель Эжени, — сказал он, — сообщила мне, что мадемуазель Эжени кончает одеваться и сейчас придет.

Данглар кивнул в знак того, что он удовлетворен ответом. В глазах света и даже в глазах слуг Данглар слыл благодушным человеком и снисходительным отцом: этого требовала роль демократического деятеля в той комедии, которую он разыгрывал. Ему казалось, что это ему подходит; так в античном театре у масок отцов правый угол рта был приподнятый и смеющийся, а левый — опущенный и плаксивый.

Поспешим добавить, что в тесном семейном кругу смеющаяся губа опускалась до уровня плаксивой, так что в большинстве случаев благодушный человек исчезал, уступая место грубому мужу и отцу-деспоту.

"Почему эта сумасшедшая девчонка, если ей нужно со мной поговорить, не придет просто ко мне в кабинет? — думал Данглар. — И о чем это ей понадобилось со мной говорить?"

Он в двадцатый раз возвращался к этой бес-

покоившей его мысли, и тут дверь отворилась и вошла Эжени, в черном атласном платье, затканном черными же цветами, без шляпы, но в перчатках, как будто она собиралась занять свое кресло в Итальянской опере.

— В чем дело, Эжени? — воскликнул отец. — И к чему эта парадная гостиная, когда можно так уютно посидеть у меня в кабинете?

— Вы совершенно правы, сударь, — отвечала Эжени, знаком приглашая отца сесть, — вы задали мне два вопроса, которые исчерпывают предмет предстоящей нам беседы. Поэтому я вам сейчас отвечу на оба и, вопреки обычаям, начну со второго, ибо он менее сложен. Я избрала местом нашей встречи гостиную, чтобы избежать неприятных впечатлений и воздействий кабинета банкира. Кассовые книги, как бы они ни были раззолочены, ящики, запертые, как крепостные ворота, огромное количество кредитных билетов, берущихся неведомо откуда, и груды писем, пришедших из Англии, Голландии, Испании, Индии, Китая и Перу, всегда как-то странно действуют на мысли отца и заставляют его забывать, что в мире существуют более важные и священные вещи, чем общественное положение и мнение его доверителей. Вот почему я избрала эту гости-

ную, где на стенах висят в своих великолепных рамах, счастливые и улыбающиеся, наши портреты— ваш, мой и моей матери, и всевозможные идиллические пейзажи, и умилительные пастушеские сцены. Я очень верю в силу внешних впечатлений. Быть может, особенно в отношении вас, я и ошибаюсь, но что поделать? Я не была бы артистической натурой, если бы не сохраняла еще некоторых иллюзий.

— Отлично, — ответил Данглар, прослушавший эту тираду с невозмутимым хладнокровием, но ни слова в ней не понявший, так как был занят собственными мыслями и старался найти им отклик в мыслях собеседницы.

— Итак, мы более или менее разрешили второй вопрос, — сказала Эжени, нимало не смущаясь и с той почти мужской самоуверенностью, которая отличала ее речь и движения, — мне кажется, вы вполне удовлетворены моим объяснением. Теперь вернемся к первому вопросу. Вы спрашиваете меня, для чего я просила у вас аудиенции; я вам отвечу в двух словах, сударь: я не желаю выходить замуж за графа Андреа Кавальканти.

Данглар подскочил на своем кресле, потрясенный, возвел глаза и воздел руки к небесам.

— Да, сударь, — все так же спокойно продол-

жала Эжени. — Я вижу, вы изумлены? Правда, за все время, что идут разговоры об этой небольшой сделке, я не противоречила ни словом, я была, как всегда, убеждена, что в нужную минуту сумею открыто и решительно воспротивиться воле людей, не спросивших моего согласия на неприятный мне шаг. Однако на этот раз мое спокойствие, моя пассивность, как говорят философы, имела другой источник: как любящая и послушная дочь… (легкая улыбка мелькнула на румяных губах девушки), я старалась подчиниться вашему желанию.

— И что же? — спросил Данглар.

— А то, сударь, — отвечала Эжени, — я старалась изо всех сил, но теперь, когда настало время, я чувствую, что, несмотря на все мои усилия, я не в состоянии быть послушной.

— Однако, — сказал Данглар, который, как человек недалекий, был совершенно ошеломлен неумолимой логикой дочери и ее хладнокровием — свидетельством твердой воли и дальновидного ума, — в чем причина твоего отказа, Эжени?

— Причина? — отвечала Эжени. — Бог мой! Андреа Кавальканти не безобразнее, не глупее и не противнее всякого другого. В глазах людей, которые судят о мужчине по его лицу и фигуре, он

может даже сойти за довольно привлекательный образец; я даже не скажу, что он меньше мил моему сердцу, чем любой другой, — так могла бы рассуждать институтка, но я выше этого. Я никого не люблю, сударь, вам ведь это известно? И я не вижу, зачем мне, без крайней необходимости, стеснять себя спутником на всю жизнь. Разве не сказал один мудрец: "Ничего лишнего", а другой: "Все мое ношу с собой"? Меня даже выучили этим двум афоризмам по-латыни и по-гречески; один из них принадлежит, если не ошибаюсь, Федру, а другой Бианту. Так вот, дорогой отец, в жизненном крушении— ибо жизнь — это вечное крушение наших надежд— я просто выбрасываю за борт ненужный балласт, вот и все. Я оставляю за собой право остаться в одиночестве и, следовательно, сохранить свою свободу.

— Несчастная! — пробормотал Данглар, бледнея, ибо он знал по долгому опыту, как непреодолимо то препятствие, которое неожиданно встало на его пути.

— Несчастная? — возразила Эжени. — Вот уж нисколько! Ваше восклицание, сударь, кажется мне театральным и напыщенным. Напротив, счастливая. Скажите, чего мне недостает? Люди находят меня красивой, а это уже кое-что: это

обеспечивает мне повсюду благосклонный прием. А я люблю, когда меня хорошо принимают: приветливые лица не так уродливы. Я не глупа, одарена известной восприимчивостью, благодаря чему я извлекаю для себя из жизни все, что мне нравится, как делает обезьяна, когда она разгрызает орех и вынимает ядро. Я богата, ибо вы обладаете одним из самых крупных состояний во Франции, а я ваша единственная дочь, и вы не столь упрямы, как театральные отцы, которые лишают дочерей наследства за то, что те не желают подарить им внучат. К тому же предусмотрительный закон отнял у вас право лишить меня наследства, по крайней мере полностью, так же как он отнял у вас право принудить меня выйти замуж. Таким образом, красивая, умная, блещущая талантами, как выражаются в комических операх, и богатая! Да ведь это счастье, сударь! А вы называете меня несчастной.

Видя дерзкую, высокомерную улыбку дочери, Данглар не сдержался и повысил голос. Но под вопросительным взглядом Эжени, удивленно нахмурившей красивые черные брови, он благоразумно отвернулся и тотчас же овладел собой, укрощенный железной рукой осторожности.

— Все это верно, — улыбаясь, ответил он, — ты

именно такая, какой себя изображаешь, дочь моя, за исключением одного пункта: я не хочу прямо назвать его, я предпочитаю, чтобы ты сама догадалась.

Эжени взглянула на Данглара, немало удивленная, что у нее оспаривают право на одну из жемчужин венца, который она так гордо возложила на свою голову.

— Ты превосходно объяснила мне, — продолжал банкир, — какие чувства вынуждают такую дочь, как ты, отказаться от замужества. Теперь моя очередь сказать тебе, какие побуждения заставили такого отца, как я, настаивать на твоем замужестве.

Эжени поклонилась, не как покорная дочь, которая слушает своего отца, но как противник, который готов возражать.

— Когда отец предлагает своей дочери выйти замуж, — продолжал Данглар, — у него всегда имеется какое-нибудь основание желать этого брака. Одни обуреваемы той навязчивой мыслью, о которой ты только что говорила, — то есть хотят продолжать жить в своих внуках. Скажу сразу, что этой слабостью я не страдаю: к семейным радостям я довольно равнодушен. Я могу в этом сознаться дочери, которая достаточно

философски смотрит на вещи, чтобы понять это равнодушие и не считать его преступлением.

— Прекрасно, — сказала Эжени, — будем говорить откровенно, так гораздо лучше.

— Ты сама видишь, — сказал Данглар, — что, не разделяя в целом твоего пристрастия к излишней откровенности, я все же прибегаю к ней, когда этого требуют обстоятельства. Итак, я продолжаю. Я предложил тебе мужа не ради твоего счастья, потому что, по совести говоря, я меньше всего думал в ту минуту о тебе. Ты любишь откровенность— надеюсь, это достаточно откровенно. Просто мне было необходимо, чтобы ты как можно скорее вышла замуж за этого человека ввиду некоторых коммерческих соображений.

Эжени подняла брови.

— Дело обстоит именно так, как я имею честь тебе докладывать, дочь моя; не прогневайся, ты сама виновата. Поверь, я вовсе не по своей охоте вдаюсь в эти финансовые расчеты в разговоре с такой артистической натурой, которая боится войти в кабинет банкира, чтобы не подвергнуться воздействию — кажется, именно так выражаются философы — неприятных и непоэтических впечатлений.

— Но в этом кабинете банкира, — продолжал

он, — в который позавчера ты, однако, вошла, чтобы получить от меня тысячу франков, что я каждый месяц тебе даю на булавки, — да будет тебе это известно, моя дорогая, можно научиться многому, что пригодилось бы даже молодым особам, не желающим выходить замуж. Например, там можно узнать — и, щадя твои чувствительные нервы, я охотно скажу тебе это здесь, в гостиной, — что для банкира кредит — что душа для тела: кредит поддерживает его, как дыхание оживляет тело, и господин де Монте-Кристо прочел мне однажды на этот счет лекцию, которую я никогда не забуду. Там можно узнать, что, по мере того как исчезает кредит, тело банкира превращается в труп, и в очень непродолжительном будущем это произойдет с тем банкиром, который имеет честь быть отцом столь логично рассуждающей дочери.

Но Эжени, вместо того чтобы согнуться под ударом, гордо выпрямилась.

— Вы разорились! — сказала она.

— Ты очень точно выразилась, дочь моя, — сказал Данглар, прижимая руки к груди и чуть не впиваясь в нее ногтями, но все же сохраняя на своем грубом лице улыбку бессердечного, но неглупого человека. — Да, я разорен.

— Вот как! — вымолвила Эжени.

— Да, разорен! Итак, поведана убийственная тайна, как сказал поэт. А теперь выслушай, дочь моя, каким образом ты можешь помочь этой беде — не ради меня, но ради себя самой.

— Вы плохой психолог, сударь, — воскликнула Эжени, — если воображаете, что эта катастрофа очень огорчает меня.

Я разорена? Да не все ли мне равно? Разве у меня не остался мой талант? Разве я не могу, подобно Паста, Малибран или Гризи, обеспечить себе то, чего вы, при всем вашем богатстве, никогда не могли бы мне дать: сто или сто пятьдесят тысяч ливров годового дохода, которыми я буду обязана только себе? И, вместо того чтобы получать их, как я получала от вас эти жалкие двенадцать тысяч франков, вынося хмурые взгляды и упреки в расточительности, я буду получать эти деньги, осыпанная цветами, под восторженные крики и рукоплескания. И даже не будь у меня моего таланта, в который вы, судя по вашей улыбке, не верите, разве мне не остается моя страсть к независимости, которая мне дороже всех сокровищ мира, дороже самой жизни?

Нет, я не огорчена за себя, я всегда сумею устроить свою судьбу; у меня всегда останутся мои

книги, мои карандаши, мой рояль, все это стоит недорого, и это я всегда сумею приобрести. Быть может, вы думаете, что я огорчена за госпожу Данглар, но и этого нет; если я не заблуждаюсь, она приняла все меры предосторожности, и грозящая вам катастрофа ее не заденет; я надеюсь, что она в полной безопасности. Во всяком случае, не заботы обо мне мешали ей упрочить свое состояние: слава Богу, под предлогом того, что я люблю свободу, она не вмешивалась в мою жизнь.

Нет, сударь, с самого детства я видела все, что делалось вокруг меня; я все слишком хорошо понимала, и ваше банкротство производит на меня не больше впечатления, чем оно заслуживает. С тех пор как я себя помню, меня никто не любил — тем хуже! Естественно, что и я никого не люблю, — тем лучше! Теперь вы знаете мой образ мыслей.

— Следовательно, — сказал Данглар, бледный от гнева, вызванного отнюдь не оскорбленными чувствами отца, — следовательно, ты упорствуешь в желании довершить мое разорение?

— Довершить ваше разорение? Я? — сказала Эжени. — Не понимаю.

— Очень рад, это дает мне луч надежды; выслушай меня.

— Я слушаю, — сказала Эжени, пристально глядя на отца; ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не опустить глаза под властным взглядом девушки.

— Князь Кавальканти, — продолжал Данглар, — хочет жениться на тебе и при этом согласен поместить у меня три миллиона.

— Очень мило, — презрительно заявила Эжени, поглаживая свои перчатки.

— Ты, кажется, думаешь, что я собираюсь воспользоваться твоими тремя миллионами? — сказал Данглар. — Ничуть не бывало, эти три миллиона должны принести по крайней мере десять. Я и еще один банкир добились железнодорожной концессии; это единственная отрасль промышленности, которая в наше время дает возможность мгновенного баснословного успеха, подобного тому, который имел некогда До у наших добрых парижан, у этих ротозеев-спекулянтов, с их фантастическим Миссисипи. По моим расчетам, достаточно владеть миллионной долей рельсового пути, как некогда владели акром целины на берегах Огайо. Это — помещение денег под залог, что уже прогресс, так как взамен своих денег получаешь пятнадцать, двадцать, сто фунтов железа. Ну так вот, через неделю,

считая от сегодняшнего дня, я должен внести в счет своей доли четыре миллиона! Эти четыре миллиона, как я уже сказал, принесут десять или двенадцать.

— Но когда я позавчера была у вас, о чем вы так хорошо помните, — возразила Эжени, — я видела, как вы инкассировали— так, кажется, говорят? — пять с половиной миллионов; вы даже показали мне эти две облигации казначейства и были несколько изумлены, что бумаги такой ценности не ослепили меня как молния.

— Да, но эти пять с половиной миллионов не мои и являются только доказательством доверия, которым я пользуюсь; моя репутация демократа снискала мне доверие Управления приютов, и эти пять с половиной миллионов принадлежат ему; во всякое другое время я, не задумываясь, воспользовался бы ими, но сейчас всем известно, что я понес большие потери и, как я уже сказал, теряю свой кредит. В любую минуту Управление приютов может потребовать свой вклад, и, если окажется, что я пустил его в оборот, мне придется объявить себя банкротом. Я не против банкротства, но банкротство должно обогащать, а не разорять. Если ты выйдешь замуж за Кавальканти и я получу его три миллиона, или даже

если люди просто будут думать, что я их получу, кредит мой немедленно восстановится. Тогда мое состояние упрочится и я наконец вздохну свободно, ибо вот уже второй месяц меня преследует злой рок, и я чувствую, что у меня под ногами разверзается бездна. Ты меня поняла?

— Вполне. Вы отдаете меня под залог трех миллионов?

— Чем выше сумма, тем более это лестно: ее размеры определяют твою ценность.

— Благодарю вас, сударь. Еще одно слово: обещаете ли вы мне пользоваться только номинально вкладом господина Кавальканти, но не трогать самого капитала? Я говорю об этом не из эгоизма, но из щепетильности. Я согласна помочь вам восстановить ваше состояние, но не желаю быть вашей сообщницей в разорении других людей.

— Но ведь я тебе говорю, — воскликнул Данглар, — что с помощью этих трех миллионов…

— Считаете ли вы, что вы можете выпутаться, не трогая этих трех миллионов?

— Я надеюсь, но опять-таки при том условии, что этот брак состоится и упрочит мой кредит.

— Вы можете выплатить Кавальканти те пятьсот тысяч франков, которые вы обещали мне в приданое?

— Он получит их, как только вы вернетесь из мэрии.

— Хорошо!

— Что это значит — хорошо?

— Это значит, что я даю свою подпись, но оставляю за собой право распоряжаться своей особой.

— Безусловно.

— В таком случае — хорошо; я заявляю вам, сударь, что готова выйти замуж за господина Кавальканти.

— Но что ты думаешь делать?

— Это уж моя тайна. В чем же было бы мое преимущество перед вами, если я, узнав вашу тайну, открыла бы вам свою?

Данглар закусил губу.

— Итак, ты согласна, — сказал он, — сделать все необходимые официальные визиты?

— Да, — ответила Эжени.

— И подписать через три дня брачный договор?

— Да.

— В таком случае я, в свою очередь, скажу тебе — хорошо!

И Данглар взял руку дочери и пожал ее.

Но странное дело — отец при этом рукопожатии не решился сказать: "Благодарю тебя", а дочь

даже не улыбнулась отцу.

— Наши переговоры окончены? — спросила Эжени, вставая.

Данглар кивнул, давая понять, что говорить больше не о чем.

Пять минут спустя под руками мадемуазель д'Армильи зазвучал рояль, а мадемуазель Данглар запела проклятие Брабанцио Дездемоне.

Как только ария была окончена, вошел Этьен и доложил Эжени, что лошади поданы и баронесса ждет ее.

Мы уже присутствовали при том, как обе дамы побывали у Вильфоров, откуда они вышли, чтобы ехать дальше с визитами.

XIX
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

Прошли три дня после описанной нами сцены, и настал день, назначенный для подписания брачного договора между мадемуазель Эжени Данглар и Андреа Кавальканти, которого банкир упорно продолжал называть князем. Было около пяти часов вечера; свежий ветерок шелестел листвой в садике перед домом Монте-Кристо; граф собирался выехать, и поданные ему лошади

били копытами землю, едва сдерживаемые кучером, уже четверть часа сидевшим на козлах. В это время в ворота быстро въехал элегантный фаэтон, с которым мы уже несколько раз встречались, хотя бы, например, в известный нам вечер в Отее. Из фаэтона не вышел, а скорее выпрыгнул на ступени крыльца Андреа Кавальканти, такой блестящий, такой сияющий, как будто и он собирался породниться с княжеским домом.

Он с обычной фамильярностью осведомился о здоровье графа и, легко взбежав на второй этаж, столкнулся на площадке лестницы с ним самим.

При виде посетителя граф остановился. Но Андреа Кавальканти взял разгон, и его уже ничто не могло остановить.

— Здравствуйте, дорогой граф! — сказал он Монте-Кристо.

— А, господин Андреа! — сказал тот своим обычным полунасмешливым тоном. — Как поживаете?

— Чудесно, как видите. О тысяче вещей хочу с вами потолковать. Но прежде всего скажите, вы собирались выехать или только что вернулись?

— Собираюсь выехать.

— **В** таком случае, чтобы не задерживать вас, я, если разрешите, сяду к вам в коляску, а Том будет

следовать за нами.

— Нет, — сказал с неуловимо презрительной улыбкой граф, отнюдь не желавший показываться в обществе этого молодого человека. — Я предпочитаю выслушать вас здесь, дорогой господин Андреа: в комнате потолковать удобнее, и нет кучера, который на лету подхватывает ваши слова.

И граф вошел в маленькую гостиную второго этажа, сел и, закинув ногу за ногу, знаком пригласил гостя тоже сесть.

— Вам известно, дорогой граф, — сказал Андреа, весь сияя, — что обручение назначено на сегодня; в девять часов вечера у моего тестя подписывают договор.

— Вот как! — ответил Монте-Кристо.

— Как, разве это для вас новость? И разве Данглар не уведомил вас о таком событии?

— Да, конечно, — сказал граф, — я вчера получил письмо, но, насколько помню, там не указан час.

— Вполне возможно: мой тесть, должно быть, рассчитывал, что это всем известно.

— Ну что ж, поздравляю, господин Кавальканти, — сказал Монте-Кристо, — вы делаете хорошую партию; к тому же мадемуазель Дан-

глар очень недурна собой.

— О да, — скромно ответил Кавальканти.

— А главное, она очень богата; так я по крайней мере слышал, — сказал Монте-Кристо.

— Вы думаете, она очень богата?

— Несомненно, говорят, что Данглар скрывает по меньшей мере половину своего состояния.

— А он сознается в пятнадцати или двадцати миллионах, — сказал Андреа, и глаза его блеснули от радости.

— И кроме того, — прибавил Монте-Кристо, — он еще собирается заняться одной денежной операцией, довольно обычной в Соединенных Штатах и в Англии, но совершенно новой во Франции.

— Да, я знаю, вы ведь говорите о железнодорожной концессии, которую он только что получил?

— Вот именно. По общему мнению, он наживет на этом по крайней мере десять миллионов.

— Десять миллионов! Вы думаете? Это великолепно! — сказал Кавальканти, опьяняясь металлическим звоном этих золотоносных слов.

— Не говоря уже о том, — продолжал Монте-Кристо, — что все это состояние достанется вам; это вполне справедливо, раз мадемуазель Данглар — единственная дочь. Впрочем, ваше

собственное состояние, как мне говорил ваш отец, немногим меньше состояния вашей невесты. Но оставим эти денежные вопросы. Знаете, господин Андреа, я нахожу, что вы очень быстро и ловко повели это дело.

— Да, недурно, — сказал Андреа, — я прирожденный, дипломат.

— Ну что ж, вы и будете дипломатом; дипломатии, знаете, нельзя выучиться — для этого нужно чутье… Так ваше сердце в плену?

— Боюсь, что да, — отвечал Андреа, подражая тону, каким на подмостках Французского театра Альцесту отвечают Дорант или Валер.

— И вам отвечают взаимностью?

— Очевидно, раз за меня выходят замуж, — отвечал Андреа, победоносно улыбаясь. — Но все же не следует забывать об одном существенном обстоятельстве.

— О каком же?

— О том, что мне в этом деле необыкновенно помогли.

— Да что вы!

— Несомненно.

— Обстоятельства?

— Нет, вы.

— Я? Да полно, князь, — сказал Монте-Кристо,

подчеркивая титул. — Что такого мог я для вас сделать? Разве недостаточно было вашего имени, вашего общественного положения и ваших личных достоинств?

— Нет, — отвечал Андреа, — что бы вы ни говорили, граф, я продолжаю утверждать, что то место, которое вы занимаете в свете, сделало больше, чем мое имя, мое общественное положение и мои личные достоинства.

— Вы глубоко заблуждаетесь, сударь, — сказал Монте-Кристо, почувствовав коварный намек в словах Андреа, — я начал вам покровительствовать только после того, как узнал о богатстве и положении вашего уважаемого отца. Кому я обязан удовольствием быть с вами знакомым? Ведь я никогда не видел ни вас, ни вашего достойного родителя! Двум моим друзьям, лорду Уилмору и аббату Бузони. Что заставило меня — не говорю ручаться за вас, но ввести вас в общество? Имя вашего отца, столь известное и уважаемое в Италии; вас же самого я не знаю.

Спокойствие графа, его непринужденность заставили Андреа понять, что его в данную минуту держит сильная рука и ему нелегко будет избавиться от этих тисков.

— Скажите, граф, — спросил он, — мой отец и в

самом деле так богат?

— По-видимому, да, — отвечал Монте-Кристо.

— А вы не знаете — деньги, которые я должен внести Данглару, уже прибыли?

— Я получил уведомление.

— Значит, три миллиона…

— Три миллиона в пути, по всей вероятности.

— И я их получу?

— Мне кажется, — ответил граф, — что до сих пор вы получали все, что вам было обещано!

Андреа был до того изумлен, что на минуту даже задумался.

— В таком случае, сударь, — сказал он, помолчав, — мне остается обратиться к вам с просьбой, и, надеюсь, вы меня поймете, даже если она и будет вам неприятна.

— Говорите, — сказал Монте-Кристо.

— Благодаря моему состоянию я познакомился со многими достойными людьми, у меня, по крайней мере сейчас, куча друзей. Но, вступая в такой брак, перед лицом всего парижского общества, я должен опереться на человека с громким именем, и если меня поведет к алтарю не рука моего отца, то это должна быть чья-нибудь могущественная рука, а мой отец не приедет, ведь правда?

— Он дряхл и жалуется, что его старые раны

нестерпимо ноют, когда он путешествует.

— Понимаю. Так вот, я и обращаюсь к вам с просьбой.

— Ко мне?

— Да, к вам.

— С какой же, Бог мой?

— Заменить его.

— Как, дорогой мой? После того как я имел удовольствие часто беседовать с вами, вы еще так мало меня знаете, что обращаетесь ко мне с подобной просьбой? Попросите у меня взаймы полмиллиона, и хотя подобная ссуда довольно необычна, но, честное слово, вы меня этим меньше стесните. Я уже, кажется, говорил вам, что граф Монте-Кристо, даже когда он участвует в жизни здешнего общества, никогда не забывает правил морали, более того — предубеждений Востока. У меня гарем в Каире, гарем в Смирне и гарем в Константинополе, и мне быть посаженым отцом? Ни за что!

— Так вы отказываетесь?

— Наотрез, и будь вы моим сыном, будь вы моим братом, я бы все равно вам отказал.

— Какая неудача! — воскликнул разочарованный Андреа. — Но что же мне делать?

— У вас сотня друзей, вы же сами сказали.

— Да, но ведь вы ввели меня в дом Данглара.

— Ничуть! Восстановим факты: вы обедали вместе с ним у меня в Отее, и там вы сами с ним познакомились, а это большая разница, черт возьми.

— Да, но моя женитьба… Вы помогли…

— Я? Да ни в малейшей мере, уверяю вас; вспомните, что я вам ответил, когда вы явились ко мне с просьбой сделать от вашего имени предложение; нет, я никогда не устраиваю никаких браков, милейший князь, это мой принцип.

Андреа закусил губу.

— Но все-таки, — сказал он, — вы там будете сегодня?

— Там будет весь Париж?

— Разумеется!

— Ну, значит, и я там буду, — сказал граф.

— Вы подпишете брачный договор?

— Против этого я ничего не имею; так далеко мои предубеждения не простираются.

— Что делать! Если вы не желаете согласиться на большее, я должен удовлетвориться гем, на что вы согласны. Но еще одно слово, граф.

— Пожалуйста.

— Дайте мне совет.

— Это не шутка! Совет — больше, чем услуга.

— Такой совет вы можете мне дать, это вас ни к чему не обязывает.

— Говорите.

— Приданое моей жены равняется пятистам тысячам ливров?

— Эту цифру мне назвал сам барон Данглар.

— Должен я взять его или оставить у нотариуса?

— Вот как принято поступать: при подписании договора оба нотариуса уславливаются встретиться на следующий день или через день; при этой встрече они обмениваются приданым, в чем и выдают друг другу расписку; затем, после венчания, они выдают все эти миллионы вам, как главе семьи.

— Дело в том, — сказал Андреа с плохо скрытым беспокойством, — что мой тесть как будто собирается поместить наши капиталы в эту пресловутую железнодорожную концессию, о которой вы мне только что говорили.

— Так что же? — возразил Монте-Кристо. — Этим способом — так по крайней мере все уверяют — ваши капиталы в течение года утроятся. Барон Данглар — хороший отец, и он умеет считать.

— В таком случае, — сказал Андреа, — все прекрасно, если не считать, конечно, вашего отказа,

который меня огорчает до глубины души.

— Не приписывайте его ничему другому, как только вполне естественной в подобном случае щепетильности.

— Что делать, — сказал Андреа, — пусть будет по-вашему. До вечера, до девяти часов!

— До вечера.

И, невзирая на едва ощутимое сопротивление Монте-Кристо, губы которого побелели, хоть и продолжали учтиво улыбаться, Андреа схватил руку графа, пожал ее, вскочил в свой фаэтон и умчался.

Оставшееся до вечера время Андреа употребил на разъезды и визиты, которые должны были возбудить у его друзей желание появиться у банкира во всем своем великолепии, ибо он ослеплял их обещаниями предоставить им те самые волшебные акции, которые в ближайшие месяцы вскружили всем голову и которые пока что были в руках Д англ ара.

Вечером, в половине девятого, парадная гостиная Дангларов, примыкающая к этой гостиной галерея и три остальные гостиные этого этажа были переполнены раздушенной толпой, привлеченной отнюдь не симпатией, но непреодолимым желанием быть там, где можно увидеть

нечто новое.

Член Академии сказал бы, что званые вечера суть цветники, привлекающие к себе непостоянных бабочек, голодных пчел и жужжащих шмелей.

Нечего и говорить, что гостиные ослепительно сияли множеством свечей, золоченая резьба и штофная обивка стен были залиты потоками света, и вся эта безвкусная обстановка, говорившая только о богатстве, красовалась во всем своем блеске.

Мадемуазель Эжени была одета с самой изысканной простотой; белое шелковое платье, затканное белыми же цветами, белая роза, полускрытая в ее черных как смоль волосах, составляли весь ее наряд, не украшенный ни одной драгоценностью.

Только бесконечная самоуверенность, читавшаяся в ее взгляде, противоречила простодушию этого девственного наряда, который сама она находила смешным и пошлым.

В нескольких шагах от нее г-жа Данглар беседовала с Дебрэ, Бошаном и Шато-Рено. По случаю торжественного дня Дебрэ снова появился в этом доме, но на положении рядового гостя, без каких-либо особых преимуществ.

Данглар, окруженный депутатами и финансистами, излагал им новую систему налогов, которую он намеревался провести в жизнь, когда силою обстоятельств правительство будет вынуждено призвать его на пост министра.

Андреа, взяв под руку одного из самых элегантных завсегдатаев Оперы, излагал ему, не без развязности — так как для того, чтобы не казаться смущенным, ему приходилось быть наглым — свои планы на будущее и рисовал ту утонченную роскошь, которую ой, обладая ста семьюдесятью пятью тысячами годового дохода, собирался привить парижскому свету.

Вся остальная толпа гостей перекатывалась из гостиной в гостиную волнами бирюзы, рубинов, изумрудов, опалов и брильянтов.

Как всегда, наиболее пышно разодеты были пожилые женщины, а дурнушки упорнее всех выставляли себя напоказ. Если и попадалась прекрасная белая лилия или нежная благоухающая роза, то ее надо было искать где-нибудь в уголке, за спиной мамаши в чалме или тетки, увенчанной райской птицей.

Среди этой толкотни, жужжания, смеха поминутно раздавались голоса лакеев, выкрикивавших имена, известные в мире финансов,

уважаемые в военных кругах или знаменитые в литературе; тогда легкое колыхание толпы воздавало дань вновь прибывшему.

Но если иные имена и обладали привилегией волновать это людское море, то сколько было таких, которые встречали полное равнодушие или презрительное зубоскальство!

В ту минуту когда на золотом циферблате стрелка массивных часов, изображающих спящего Эндимиона, показывала девять и колокольчик, точный выразитель механической мысли, пробил девять раз, раздалось имя графа де Монте-Кристо, и, словно пронизанная электрической искрой, вся толпа повернулась лицом к дверям.

Граф был, по своему обыкновению, в простом черном фраке; белый жилет обрисовывал его широкую грудь; черный воротник казался особенно черен, столь резко он оттенял матовую бледность лица; единственная драгоценность — часовая цепочка — была так тонка, что едва выделялась золотой нитью на белом пике жилета.

У дверей в тот же миг образовался круг.

Граф сразу заметил в одном конце гостиной г-жу Данглар, в другом — Данглара, а напротив двери — мадемуазель Эжени.

Прежде всего он подошел к баронессе, которая

разговаривала с г-жой де Вильфор, явившейся в одиночестве, потому что Валентина все еще не оправилась от болезни, затем сквозь расступившуюся перед ним толпу гостей прошел к Эжени, которую поздравил в таких сухих и сдержанных выражениях, что гордая артистка была поражена.

Рядом с ней стояла Луиза д'Армильи; она поблагодарила графа за рекомендательные письма, которые он ей столь любезно дал для поездки в Италию и которыми она, по ее словам, собиралась немедленно воспользоваться.

Расставшись с девушками, он обернулся и увидел Данглара, подошедшего пожать ему руку.

Исполнив все требования этикета, Монте-Кристо остановился, окидывая окружающих уверенным взглядом, тем особым выражением, присущим людям известного круга и имеющим в обществе вес, которое словно говорит: "Я сделал все, что нужно; пусть теперь другие выполняют свои обязанности по отношению ко мне".

Андреа, находившийся в смежной гостиной, почувствовал по движению толпы присутствие Монте-Кристо и поспешил навстречу ему.

Он нашел его окруженным плотным кольцом гостей; к его словам жадно прислушивались,

как всегда бывает, когда человек говорит мало и ничего не говорит попусту.

В эту минуту вошли нотариусы и разложили свои испещренные каракулями бумаги на расшитой золотом бархатной скатерти, которая покрывала стол золоченого дерева, приготовленный для подписания договора.

Один из нотариусов сел, другой остался стоять.

Предстояло оглашение договора, который должны были подписать присутствующие на торжестве — другими словами, пол-Парижа.

Все сели, вернее, сели в кружок женщины, тогда как мужчины, более равнодушные к "энергичному стилю", как говорил Буало, обменивались замечаниями по поводу лихорадочного возбуждения Андреа, внимательной сосредоточенности Данглара, невозмутимости Эжени и той легкомысленной веселости, с которой баронесса относилась к этому важному делу.

Договор был прочитан при всеобщем молчании. Но как только чтение было окончено, в гостиных снова поднялся гул голосов, вдвое громче прежнего. Эти огромные суммы, эти миллионы, которыми блистало будущее молодой четы, и в довершение всего устроенная в особой комнате выставка приданого и брильянтов неве-

сты поразили воображение завистливой толпы.

В глазах молодых людей красота мадемуазель Данглар возросла вдвое, и в этот миг она для них затмевала солнце.

Что касается женщин, то они, разумеется, хоть и завидовали миллионам, но считали, что их собственная красота в них не нуждается.

Андреа, окруженный друзьями, осыпаемый поздравлениями и льстивыми речами, начал и сам верить в действительность этого сна и едва ли не потерял голову.

Нотариус торжественно взял в руку перо, поднял его над головой и сказал:

— Господа, приступим к подписанию договора.

Первым должен был подписать барон, затем уполномоченный Кавальканти-отца, затем баронесса, затем брачующиеся, как принято выражаться на том отвратительном языке, которым исписывается гербовая бумага.

Барон взял перо и подписал, вслед за ним — уполномоченный.

Баронесса подошла к столу под руку с г-жой де Вильфор.

— Друг мой, — сказала она мужу, беря в руки перо, — какая досада. Неожиданный случай, имеющий отношение к убийству и ограблению,

жертвой которого едва не стал граф де Монте-Кристо, лишил нас присутствия господина де Вильфора.

— Ах, Боже мой! — сказал Данглар таким же тоном, каким сказал бы: "Вот уж мне все равно!"

— Боюсь, — сказал, подходя к ним, Монте-Кристо, — не являюсь ли я невольной причиной этого отсутствия.

— Вы, граф? Каким образом? — сказала, подписывая, г-жа Данглар. — Если так, берегитесь, я вам этого никогда не прощу.

Андреа насторожился.

— Но, право, я не виноват, — сказал граф, — и я докажу вам это.

Все обратились в слух: Монте-Кристо собирался говорить, а это бывало не часто.

— Вы, вероятно, помните, — сказал граф среди всеобщего молчания, — что именно у меня в доме умер несчастный, который забрался ко мне, чтобы меня ограбить, и, выходя от меня, был убит, как предполагают, своим сообщником?

— Да, — сказал Данглар.

— Чтобы оказать ему помощь, его раздели, а его одежду бросили в угол, где ее и подобрали следственные власти, которые взяли куртку и штаны, но забыли жилет.

Андреа заметно побледнел и стал подбираться ближе к двери: он видел, что на горизонте появилась туча, и опасался, что она сулит бурю.

— И вот сегодня этот злополучный жилет нашелся, весь покрытый кровью и разрезанный против сердца.

Дамы вскрикнули, две или три уже приготовились упасть в обморок.

— Мне его принесли. Никто не мог догадаться, откуда взялась эта тряпка; мне единственному пришло в голову, что это, по всей вероятности, жилет убитого. Вдруг мой камердинер, осторожно и с отвращением исследуя эту зловещую реликвию, нащупал в кармане бумажку и достал ее оттуда. Это оказалось письмо, адресованное— кому бы вы думали? Вам, барон.

— Мне? — воскликнул Данглар.

— Да, представьте, вам; мне удалось разобрать ваше имя сквозь кровь, которой эта записка была запачкана, — отвечал Монте-Кристо среди возгласов изумления.

— Но каким же образом это могло помешать господину де Вильфору приехать? — спросила г-жа Данглар, с беспокойством глядя на мужа.

— Очень просто, сударыня, — отвечал Монте-Крис-то, — этот жилет и это письмо являются тем,

что называется уликой; я отослал и то и другое господину королевскому прокурору. Вы понимаете, дорогой барон, в уголовных делах всего правильнее действовать законным порядком; быть может, здесь кроется какой-нибудь преступный умысел против вас.

Андреа пристально посмотрел на Монте-Кристо и скрылся во вторую гостиную.

— Очень возможно, — сказал Данглар, — ведь, кажется, этот убитый — бывший каторжник?

— Да, — отвечал граф, — это бывший каторжник, по имени Кадрусс.

Данглар слегка побледнел. Андреа выбрался из второй гостиной и перешел в переднюю.

— Но что же вы не подписываете? — сказал Монте-Кристо. — Я вижу, мой рассказ всех взволновал, и я смиренно прошу за это прощения у вас, баронесса, и у мадемуазель Данглар.

Баронесса, только что подписавшая договор, передала перо нотариусу.

— Князь Кавальканти, — сказал нотариус, — князь Кавальканти, где же вы!

— Андреа, Андреа! — крикнули несколько молодых людей, которые уже настолько сдружились со знатным итальянцем, что называли его по имени.

— Позовите же князя, доложите ему, что его ждут для подписи! — крикнул Данглар одному из лакеев.

Но в ту же самую минуту толпа гостей в ужасе хлынула в парадную гостиную, словно в комнате появилось страшное чудовище, quaerens quern devoret[9].

И в самом деле, было от чего попятиться, испугаться, закричать.

Жандармский офицер, расставив у дверей каждой гостиной по два жандарма, направлялся к Данглару, предшествуемый полицейским комиссаром в шарфе.

Госпожа Данглар вскрикнула и лишилась чувств.

Данглар, который испугался за себя (у некоторых людей совесть никогда не бывает вполне спокойной), явил своим гостям искаженном страхом лицо.

— Что вам угодно, сударь? — спросил Монте-Кристо, делая шаг навстречу комиссару.

— Кого из вас, господа, — спросил полицейский комиссар, не отвечая графу, — зовут Андреа Кавальканти?

---

[9] Примечания: 9
Ища, кого поглотить *(лат.)*.

Единый крик изумления огласил гостиную.

Стали искать, стали спрашивать.

— Но кто же он такой, этот Андреа Кавальканти? — спросил окончательно растерявшийся Данглар.

— Беглый каторжник из Тулона.

— А какое преступление он совершил?

— Он обвиняется в том, — бесстрастно заявил комиссар, — что убил некоего Кадрусса, своего товарища по каторге, когда тот выходил из дома графа Монте-Кристо.

Монте-Кристо быстрым взглядом обвел гостиную.

Андреа исчез.

XX
ДОРОГА В БЕЛЬГИЮ

Тотчас же после замешательства, которое вызвало в доме Данглара неожиданное появление жандармского офицера и последовавшее за этим разоблачение, просторный особняк опустел с такой быстротой, как если бы среди присутствующих появилась чума или холера; через все двери, по всем лестницам вмиг устремились гости, спешившие удалиться, или, вернее, сбежать. Это был

один из тех случаев, когда люди и не пытаются говорить банальные слова утешения, которые при больших катастрофах так тягостно выслушивать из уст даже лучших друзей.

Во всем доме остались только сам Данглар, который заперся у себя в кабинете и давал показания жандармскому офицеру, перепуганная г-жа Данглар в знакомом нам будуаре и Эжени, с гордым и презрительным видом удалившаяся к себе вместе со своей неразлучной подругой Луизой д'Армильи.

Что касается многочисленных слуг, еще более многочисленных в этот вечер, чем обычно, так как, по случаю торжественного дня, были наняты мороженщики, повара и метрдотели из Кафе-де-Пари, то, обратив на хозяев весь свой гнев за то, что они считали для себя оскорблением, они толпились в буфетной, в кухнях, в людских и очень мало интересовались своими обязанностями, исполнение которых, впрочем, само собой прервалось.

Среди всех этих различных людей, взволнованных самыми разнообразными чувствами, только двое заслуживают нашего внимания: это Эжени Данглар и Луиза д'Армильи.

Невеста, как мы уже сказали, удалилась с гор-

дым и презрительным видом, походкой оскорбленной королевы, в сопровождении подруги, гораздо сильнее побледневшей и взволнованной, чем она сама. Придя к себе в комнату, Эжени заперла дверь на ключ, а Луиза бросилась в кресло.

— О Боже, какой ужас! — сказала она. — Кто бы мог подумать? Андреа Кавальканти — преступник… убийца… беглый каторжник!..

Губы Эжени искривились насмешливой улыбкой.

— Право, меня преследует какой-то рок, — сказала она. — Избавиться от Морсера, чтобы налететь на Кавальканти!

— Как ты можешь их равнять, Эжени?

— Молчи, все мужчины — подлецы, и я счастлива, что могу не только ненавидеть их: теперь я их презираю.

— Что мы будем делать? — спросила Луиза.

— Что делать?

— Да.

— То, что собирались сделать через три дня… Мы уедем.

— Ты все-таки хочешь уехать, хотя свадьбы не будет?

— Слушай, Луиза. Я ненавижу эту светскую

жизнь, размеренную, расчерченную, разграфленную, как наша нотная бумага. К чему я всегда стремилась, о чем мечтала— это о жизни артистки, о жизни свободной, независимой, когда надеешься только на себя и только себе обязана отчетом. Оставаться здесь? Для чего? Чтобы через месяц меня опять стали выдавать замуж? За кого? Может быть, за Дебрэ? Об этом одно время поговаривали. Нет, Луиза, нет; то, что произошло сегодня, послужит мне оправданием. Я не искала и не просила этого оправдания. Сам Бог мне его посылает, и я его приветствую.

— Какая ты сильная и храбрая! — сказала хрупкая белокурая девушка своей черноволосой подруге.

— Разве ты меня не знала? Ну вот что, Луиза, поговорим о наших делах. Дорожная карета…

— К счастью, уже три дня как куплена.

— Ты велела ее доставить на место?

— Да.

— А наш паспорт?

— Вот он!

Эжени с обычным хладнокровием развернула документ и прочла: *"Господин Леон д'Армилъи, двадцати лет, художник, волосы черные, глаза черные, путешествует вместе с сестрой".*

— Чудесно! Каким образом ты достала паспорт?

— Когда я просила графа де Монте-Кристо дать мне рекомендательные письма к директорам театров в Риме и Неаполе, я сказала ему, что боюсь ехать в женском платье. Он вполне согласился со мной и взялся достать мне мужской паспорт; через два дня я его получила и сама приписала: "путешествует вместе с сестрой".

— Таким образом, — весело сказала Эжени, — нам остается только уложить вещи; вместо того чтобы уехать в вечер свадьбы, мы уедем в вечер подписания договора, только и всего.

— Подумай хорошенько, Эжени.

— *Я* уже все обдумала; мне надоели вечные разговоры о покупках, продажах, повышении, понижении, испанских фондах, гаитянских займах. Подумай, Луиза, вместо всего этого — чистый воздух, свобода, пение птиц, равнины Ломбардии, каналы Венеции, дворцы Рима, берег Неаполя. Сколько у нас всего денег?

Луиза вынула из письменного стола запертый на замок бумажник и открыла его: в нем было двадцать три кредитных билета.

— Двадцать три тысячи франков, — сказала она.

— И по крайней мере на такую же сумму жемчуга, брильянтов и золотых вещей, — сказала Эжени. — Мы с гобой богаты. На сорок пять тысяч мы можем два года жить как принцессы или четыре года вполне прилично. Но не пройдет и полгода, как мы нашим искусством удвоим этот капитал. Вот что, ты бери деньги, а я возьму шкатулку; таким образом, если одна из нас вдруг потеряет свое сокровище, у другой все-таки останется половина. А теперь давай укладываться!

— Подожди, — сказала Луиза и, прислушиваясь, подошла к двери, ведущей в комнату г-жи Данглар.

— Чего ты боишься?

— Чтобы нас не застали врасплох.

— Дверь заперта на ключ.

— Нам могут велеть открыть ее.

— Пусть велят, а мы не откроем.

— Ты настоящая амазонка, Эжени.

И обе девушки энергично принялись укладывать в чемодан все то, что они считали необходимым в дороге.

— Вот и готово, — сказала Эжени, — теперь, пока я буду переодеваться, закрывай чемодан.

Луиза изо всех сил нажимала своими маленькими белыми ручками на крышку чемодана.

— Я не могу, — сказала она, — у меня не хватает сил, закрой сама.

— Я и забыла, что я Геркулес, а ты только бледная Омфала, — сказала, смеясь, Эжени.

Она надавила коленом на чемодан и до тех пор напрягала свои белые мускулистые руки, пока обе половинки не сошлись и Луиза не защелкнула замок. Когда все это было проделано, Эжени открыла комод, ключ от которого она носила с собой, и вынула из него дорожную накидку малинового шелка на теплой подкладке.

— Видишь, — сказала она, — я обо всем подумала; в этой накидке ты не озябнешь.

— А ты?

— Ты же знаешь, мне никогда не бывает холодно, да еще мужской костюм…

— Ты здесь и переоденешься?

— Разумеется.

— А успеешь?

— Да не бойся ты, трусишка, все в доме поглощены скандалом. А кроме того, никто не станет удивляться, что я заперлась у себя. Подумай, ведь я должна быть в отчаянии!

— Да, конечно, можно не беспокоиться.

— Ну, помоги мне.

И из того же комода, откуда она достала на-

кидку для Луизы, Эжени извлекла полный мужской костюм, начиная от башмаков и кончая сюртуком, и запас белья; тут не было ничего лишнего, но имелось все необходимое. Потом, с проворством, которое ясно указывало, что она не впервые переодевалась в платье другого пола, Эжени обулась, натянула панталоны, завязала галстук, застегнула доверху закрытый жилет и надела сюртук, красиво облегавший ее тонкую и стройную фигуру.

— Как хорошо! Правда, очень хорошо! — сказала Луиза, с восхищением глядя на нее. — Но твои чудные косы, которым завидуют все женщины, как ты их запрячешь под мужскую шляпу?

— Вот увидишь, — сказала Эжени.

И, зажав левой рукой толстую косу, которую с трудом охватывали ее длинные пальцы, она правой схватила большие ножницы, и вот в этих роскошных волосах заскрипела сталь, и они тяжелой волной упали к ногам девушки, откинувшейся назад, чтобы предохранить сюртук.

Затем Эжени срезала пряди волос у висков; при этом она не выказала ни малейшего сожаления, — напротив, ее глаза под черными как смоль бровями блестели еще ярче и задорнее, чем всегда.

— Ах, твои чудные волосы! — с грустью сказала Луиза.

— А разве так не во сто раз лучше? — воскликнула Эжени, приглаживая короткие кудри, теперь очень похожие на мужские. — И разве, по-твоему, я так не красивее?

— Ты красавица, ты всегда красавица! — воскликнула Луиза. — Но куда же мы теперь направимся?

— Да хоть в Брюссель, если ты не против; это самая близкая граница. Мы проедем через Брюссель, Льеж, Ахен, поднимемся по Рейну до Страсбура, проедем через Швейцарию и спустимся через Сен-Готар в Италию. Ты согласна?

— Ну, конечно!

— Что ты так смотришь?

— Ты очаровательна в таком виде; право, можно подумать, что ты меня похищаешь.

— Черт возьми, так оно и есть!

— Ты, кажется, научилась браниться, Эжени?

И обе девушки, которым, по общему мнению, надлежало заливаться слезами, одной из-за себя, другой из любви к подруге, покатываясь со смеху, принялись уничтожать наиболее заметные следы неизбежного беспорядка, оставленного их сборами.

Потом, потушив свечи, зорко осматриваясь, насторожив слух, беглянки открыли дверь будуара, выходившую на черную лестницу, которая вела прямо во двор. Эжени шла впереди, взявшись одной рукой за ручку чемодана, который за другую ручку едва удерживала обеими руками Луиза. Двор был пуст. Пробило полночь.

Привратник еще не ложился. Эжени тихонько прошла вперед и увидела, что почтенный страж дремлет, растянувшись в кресле в глубине своей каморки. Она вернулась к Луизе, снова взяла чемодан, который поставила было на землю, и обе, прижимаясь к стене, вошли в подворотню. Эжени велела Луизе спрятаться в темном углу, чтобы привратник, если бы ему вздумалось открыть глаза, увидел только одного человека, а сама стала так, чтобы свет фонаря падал прямо на нее.

— Откройте! — крикнула она звучным контральто, стуча в окошко.

Привратник, как и ожидала Эжени, встал с кресла и даже сделал несколько шагов, чтобы взглянуть, кто это выходит, но, увидев молодого человека, который нетерпеливо похлопывал тросточкой по ноге, он поспешил дернуть шнур.



Луиза тотчас же проскользнула в приотворенные ворота и легко выскочила наружу. Эжени, внешне спокойная, хотя, вероятно, ее сердце билось учащеннее, чем обычно, в свою очередь, вышла на улицу.

Чемодан они передали проходившему мимо посыльному и, дав ему адрес — улица Победы, дом № 36,— последовали за этим человеком, чье присутствие успокоительно действовало на Луизу; что касается Эжени, то она была бесстрашна, как Юдифь или Далила.

Когда они прибыли к указанному дому, Эжени велела посыльному поставить чемодан на землю, расплатилась с ним и, постучав в ставень, отпустила его.

В доме, куда пришли беглянки, жила скромная белошвейка, с которой они заранее условились; она еще не ложилась и тотчас же открыла.

— Мадемуазель, — сказала Эжени, — распорядитесь, чтобы привратник выкатил из сарая карету, и пошлите его на почтовую станцию за лошадьми. Вот пять франков, которые я просила вас передать ему за труды.

— Я восхищаюсь тобой, — сказала Луиза, — я даже начинаю тебя уважать.

Белошвейка с удивлением на них посмотрела,

но так как ей было обещано двадцать луидоров, то она ничего не сказала.

Четверть часа спустя привратник вернулся и привел с собой кучера, а также лошадей, которые немедленно были впряжены в карету, а сзади привязали чемодан.

— Вот подорожная, — сказал кучер. — По какой дороге поедем, молодой хозяин?

— По дороге в Фонтенбло, — отвечала Эжени почти мужским голосом.

— Как? Что ты говоришь? — спросила Луиза.

— Я заметаю след, — сказала Эжени, — эта женщина, которой мы заплатили двадцать луидоров, может нас выдать за сорок; когда мы выедем на бульвар, мы велим ехать по другой дороге.

И она, почти не касаясь подножки, вскочила в карету.

— Ты, как всегда, права, Эжени, — сказала Луиза, усаживаясь рядом с подругой.

Четверть часа спустя кучер, уже изменив направление по указанию Эжени, проехал, щелкая бичом, заставу Сен-Мартен.

— Наконец-то мы выбрались из Парижа! — сказала Луиза, с облегчением вздыхая.

— Да, моя дорогая, и похищение удалось на славу, — отвечала Эжени.

— Да, и притом без насилия, — сказала Луиза.

— Это послужит смягчающим вину обстоятельством, — отвечала Эжени.

Слова эти потерялись в стуке колес по мостовой Ла-Виллета.

У Данглара больше не было дочери.

Часть шестая
I
ГОСТИНИЦА "КОЛОКОЛ И БУТЫЛКА"

Оставим пока мадемуазель Данглар и ее приятельницу на дороге в Брюссель и вернемся к бедняге Андреа Кавальканти, так злополучно задержанному в его полете за счастьем.

Этот Андреа Кавальканти, несмотря на свой юный возраст, был малый весьма ловкий и умный.

Поэтому при первом волнении в гостиной он, как мы видели, стал понемногу приближаться к двери, прошел две комнаты и скрылся.

Мы забыли упомянуть о маленькой подробности, которая между тем не должна быть пропущена: в одной из комнат, через которые прошел Кавальканти, были выставлены футляры с брильянтами, кашемировые шали, валансьенские кружева, английские ткани — словом, весь тот подбор соблазнительных предметов, одно упоминание о котором заставляет трепетать сердца девиц и который называется приданым.

Проходя через эту комнату, Андреа доказал,

что он малый не только весьма умный и ловкий, но и предусмотрительный, и доказал это тем, что захватил наиболее ценные из выставленных сокровищ.

Снабженный этим подспорьем, Андреа почувствовал, что ловкость его удвоилась, и, выпрыгнув в окно, ускользнул от жандармов.

Высокий, сложенный, как античный атлет, мускулистый, как спартанец, Андреа бежал целых четверть часа, сам не зная, куда он бежит, только чтобы отдалиться от того места, где его чуть не схватили.

Свернув с улицы Мон-Блан и руководимый тем чутьем, которое приводит зайца к норе, а вора — к городской заставе, он очутился в конце улицы Лафайет.

Здесь, задыхаясь, весь в поту, он остановился.

Он был совершенно один; слева от него простиралось огороженное поле Сен-Лазар, а направо — весь огромный Париж.

"Неужели я погиб? — спросил он себя. — Нет — если я проявлю большую энергию, чем мои враги. Мое спасение стало просто вопросом расстояния".

Тут он увидел фиакр, едущий от предместья Пуассоньер; хмурый кучер с трубкой в зубах, по-

видимому, держал путь к предместью Сен-Дени.

— Эй, дружище! — сказал Бенедетто.

— Что прикажете? — спросил кучер.

— Ваша лошадь устала?

— Устала! Как же! Целый день ничего не делала. Четыре несчастных конца и двадцать су на чай, всего семь франков, и из них я должен десять отдать хозяину.

— Не хотите ли к семи франкам прибавить еще двадцать?

— С удовольствием, двадцатью франками не брезгают. А что нужно сделать?

— Штука нетрудная, если только ваша лошадь не устала.

— Я же вам говорю, что она полетит как ветер; скажите только, в какую сторону ехать.

— В сторону Лувра.

— А, знаю, где наливку делают.

— Вот именно, требуется попросту нагнать одного моего приятеля, с которым я условился завтра поохотиться в Шапель-ан-Серваль. Он должен был ждать меня здесь в своем кабриолете до половины двенадцатого; сейчас — полночь; ему, должно быть, надоело ждать, и он уехал один.

— Наверно.

— Ну так вот, хотите попробовать его нагнать?

— Извольте.

— Если мы его не нагоним до Бурже, вы получите двадцать франков; а если не нагоним до Лувра — тридцать.

— А если нагоним?

— Сорок, — сказал Андреа, который мгновение колебался, но решил, что, обещая, он ничем не рискует.

— Идет! — сказал кучер. — Садитесь! Н-но-о!

Андреа сел в фиакр, который быстро пересек предместье Сен-Дени, проехал предместье Сен-Мартен, миновал заставу и въехал в бесконечное предместье Ла-Виллета.

Нелегко было нагнать этого мифического приятеля; все же время от времени у запоздалых прохожих и в еще не закрытых трактирах Кавальканти справлялся о зеленом кабриолете и гнедой лошади, а так как по дороге в Нидерланды проезжает немало кабриолетов и из десяти кабриолетов девять зеленых, то справки сыпались на каждом шагу.

Все видели этот кабриолет, он был не больше как в пятистах, двухстах или ста шагах впереди, но когда его наконец нагоняли, оказывалось, что это не тот.

Один раз их самих обогнали; это была карета,

уносимая вскачь парой почтовых лошадей.

"Вот бы мне эту карету, — подумал Кавальканти, — пару добрых коней, а главное, подорожную!"

И он глубоко вздохнул.

Это была та самая карета, которая увозила мадемуазель Данглар и мадемуазель д'Армильи.

— Живей, живей! — сказал Андреа. — Теперь уже мы, должно быть, скоро его нагоним.

И бедная лошадь снова пустилась бешеной рысью, которой она бежала от самой заставы, и, вся в мыле, домчалась до Лувра.

— Я вижу, — сказал Андреа, — что не нагоню приятеля и только заморю вашу лошадь. Поэтому лучше мне остановиться. Вот вам ваши тридцать франков, а я переночую в "Рыжем коне" и займу место в первой свободной почтовой карете. Доброй ночи, друг.

И Андреа, сунув в руку кучера шесть монет по пять франков, легко спрыгнул на мостовую.

Кучер весело спрятал деньги в карман и шагом направился обратно к Парижу. Андреа сделал вид, будто идет в гостиницу "Рыжий конь", постоял у дверей, прислушиваясь к замирающему стуку колес, и, двинувшись дальше, гимнастическим шагом прошел два льё.

Тут он отдохнул; он находился, по-видимому, совсем близко от Шапель-ан-Серваль, куда, по его словам, он и направлялся.

Не усталость принудила Андреа Кавальканти остановиться, а необходимость принять какое-нибудь решение и составить план действий.

Сесть в дилижанс было невозможно, нанять почтовых также невозможно. Чтобы путешествовать тем или другим способом, необходим паспорт.

Оставаться в департаменте Уазы, то есть в одном из наиболее видных и наиболее охраняемых департаментов Франции, было опять-таки невозможно, особенно для человека, искушенного, как Андреа, по уголовной части.

Андреа сел на край канавы, опустил голову на руки и задумался.

Десять минут спустя он поднял голову: решение было принято.

Он испачкал пылью пальто, которое успел снять с вешалки в передней и надеть поверх фрака, и, дойдя до Шапель-ан-Серваль, уверенно постучал в дверь единственной местной гостиницы.

Хозяин отворил ему.

— Друг мой, — сказал Андреа, — я ехал вер-

хом из Морфонтена в Санлис, но моя лошадь с норовом, она заартачилась и сбросила меня. Мне необходимо прибыть сегодня же ночью в Компьень, иначе моя семья будет очень беспокоиться. Найдется ли у вас лошадь?

У всякого трактирщика всегда найдется лошадь, плохая или хорошая.

Трактирщик позвал конюха, велел ему оседлать Белого и разбудить своего сына, мальчика лет семи, который должен был сесть позади господина и привести лошадь обратно.

Андреа дал трактирщику двадцать франков и, вынимая их из кармана, выронил визитную карточку.

Эта карточка принадлежала одному из его приятелей по Кафе-де-Пари, так что трактирщик, подняв ее после отъезда Андреа, остался при убеждении, что он дал свою лошадь графу де Молеону, улица Сен-Доминик, 25; то были фамилия и адрес, значившиеся на карточке.

Белый бежал не быстрой, но ровной и упорной рысью; за три с половиной часа Андреа проехал девять льё, отделявших его от Компьеня. На ратуше било четыре часа, когда он выехал на площадь, где останавливаются дилижансы.

В Компьене имеется прекрасная гостиница, о

которой помнят даже те, кто останавливался в ней только один раз.

Андреа, разъезжая по окрестностям Парижа, однажды в ней ночевал; он вспомнил о "Колоколе и бутылке", окинул взглядом площадь, увидел при свете фонаря путеводную вывеску и, отпустив мальчика, которому отдал всю имевшуюся у него мелочь, постучал в дверь, справедливо рассудив, что у него впереди еще часа четыре и что ему не мешает подкрепиться хорошим ужином и крепким сном.

Ему отворил слуга.

— *Я* пришел из Сен-Жан-о-Буа, приятель, я там обедал, — сказал Андреа. — *Я* рассчитывал на дилижанс, который проезжает в полночь, но заблудился, как дурак, и целых четыре часа кружил по лесу. Дайте мне одну из ваших славных комнат, которые выходят во двор, и пусть мне принесут холодного цыпленка и бутылку бордо.

Слуга ничего не заподозрил. Андреа говорил совершенно спокойно, держа руки в карманах пальто, с сигарой во рту; платье его было элегантно, борода подстрижена, обувь безукоризненна; он имел вид запоздалого горожанина.

Пока слуга готовил ему комнату, вошла хозяйка гостиницы. Андреа встретил ее самой обворо-

жительной улыбкой и спросил, не может ли он получить 3-й номер, который он занимал в свой последний приезд в Компьень; к сожалению, 3-й номер оказался занят молодым человеком, путешествующим с сестрой.

Андреа выразил живейшее огорчение и утешился только тогда, когда хозяйка уверила его, что 7-й номер, который ему приготовляют, расположен совершенно так же, как и 3-й. Г рея ноги у камина и беседуя о последних скачках в Шантийи, он ожидал, пока придут сказать, что комната готова.

Андреа недаром вспомнил о славных комнатах, выходивших во двор гостиницы "Колокол", с тройным рядом галерей, придающих ему вид зрительного зала, с жасмином и ломоносом, вьющимися как естественное украшение вокруг легких колоннад, — один из самых прелестных дворов, какой только может быть у гостиницы.

Цыпленок был свежий, вино — старое, огонь в камине весело потрескивал. Андреа сам удивился, что ест с таким аппетитом, как будто ничего не произошло.

Затем он лег и тотчас же заснул неодолимым сном, как засыпает человек в двадцать лет, даже когда у него совесть нечиста.

Впрочем, мы должны сознаться, что, хотя Андреа и мог бы чувствовать угрызения совести, он их не чувствовал.

Вот каков был план Андреа, вселивший в него такую уверенность.

Он встанет с рассветом, выйдет из гостиницы, добросовестнейшим образом заплатив по счету, доберется до леса, поселится у какого-нибудь крестьянина под предлогом занятий живописью, раздобудет одежду дровосека и топор, сменит облик светского льва на облик рабочего; потом, когда руки его почернеют, волосы потемнеют от свинцового гребня, лицо покроется загаром, наведенным по способу, которому его когда-то научили товарищи в Тулоне, он проберется лесами к ближайшей границе, шагая ночью, высыпаясь днем в чащах и оврагах и приближаясь к населенным местам лишь изредка, чтобы купить хлеба.

Перейдя границу, он превратит брильянты в деньги, стоимость их присоединит к десятку кредитных билетов, которые он на всякий случай всегда имел при себе, и у него, таким образом, наберется как-никак пятьдесят тысяч ливров, что на худой конец не так уж плохо.

Вдобавок он очень рассчитывал на то, что Данглары постараются рассеять молву о постигшей

их неудаче.

Вот что, помимо усталости, помогло Андреа так быстро и крепко заснуть.

Впрочем, чтобы проснуться возможно раньше, Андреа не закрыл ставней, а только запер дверь на задвижку и оставил раскрытым на ночном столике свой острый нож, прекрасный закал которого был им испытан и с которым он никогда не расставался.

Около семи часов утра Андреа был разбужен теплым и ярким солнечным лучом, скользнувшим по его лицу.

Во всяком правильно работающем мозгу господствующая мысль — а таковая всегда имеется — засыпает последней и первая озаряет пробуждающееся сознание.

Андреа не успел еще вполне открыть глаза, как господствующая мысль уже овладела им и подсказывала ему, что он спал слишком долго.

Он соскочил с кровати и подбежал к окну.

По двору шел жандарм.

Жандарм вообще одно из самых примечательных явлений на свете, даже для самых безгрешных людей, но для пугливой совести, имеющей основания быть таковой, желтый, синий и белый цвета его мундира — самые зловещие

цвета на свете.

— Почему жандарм? — спросил себя Андреа.

И тут же сам себе ответил с той логикой, которую читатель мог уже подметить в нем:

— Нет ничего странного в том, что жандарм пришел в гостиницу, но пора одеваться.

И он оделся с быстротой, от которой его не отучил лакей за несколько месяцев светской жизни, проведенных им в Париже.

— Ладно, — говорил Андреа, одеваясь, — я подожду, пока он уйдет, а когда он уйдет, я улизну.

С этими словами он, уже одетый, обутый и при галстуке, осторожно подошел к окну и вторично поднял кисейную занавеску.

Но не только первый жандарм не ушел, а появился еще второй жандармский мундир у единственной лестницы, по которой Андреа мог спуститься, между тем как третий, верхом, с ружьем в руке, охранял единственные ворота, через которые он мог выйти на улицу.

Этот третий жандарм был в высшей степени знаменателен, поэтому перед ним теснились любопытные, плотно загораживая ворота.

"Меня ищут! — было первой мыслью Андреа. — Ах, черт!"

Он побледнел и беспокойно осмотрелся.

Его комната, как и все комнаты этого этажа, имела выход только на наружную галерею, открытую всем взглядам.

"Я погиб!" — было его второй мыслью.

В самом деле для человека в положении Андреа арест означал суд, приговор и смерть — смерть без пощады и без отлагательств.

Он судорожно сжал голову руками.

В этот миг он чуть с ума не сошел от страха.

Но вскоре в вихре мыслей, бушевавших в его голове, блеснула надежда, и слабая улыбка тронула его побледневшие губы.

Он оглядел комнату; все, что ему было нужно, оказалось на письменном столе: перо, чернила и бумага.

Он обмакнул перо в чернила и рукой, которую он принудил быть твердой, написал на первой странице следующие строки:

"У меня нет денег, чтобы заплатить по счету, но я честный человек. Я оставляю в залог эту булавку, которая в десять раз превышает мой долг. Пусть мне простят мое бегство: мне было стыдно".

Он вынул из галстука булавку и положил ее на листок.

Затем, вместо того чтобы оставить дверь запер-

той, он отпер задвижку, даже приотворил дверь, как будто, уходя, он забыл ее прикрыть, влез в камин, как человек, привыкший к такого рода гимнастике, притянул к себе бумажный экран, изображавший Ахилла у Дендамии, замел ногами свои следы на золе и начал подниматься по изогнутой трубе, представлявшей последний путь к спасению, на который он еще мог рассчитывать.

В это самое время первый жандарм, замеченный Андреа, поднимался по лестнице в сопровождении полицейского комиссара; внизу лестницу охранял второй жандарм, который в свою очередь мог ожидать поддержки от жандарма, караулившего у ворот.

Вот каким обстоятельствам Андреа был обязан этим визитом, которого он с таким трудом старался избежать.

С раннего утра парижский телеграф заработал во всех направлениях, но во всех окрестных городах и селениях, тотчас же извещенных, были подняты на ноги власти и брошена вооруженная сила на розыски убийцы Кадрусса.

Компьень, королевская резиденция, Компьень, излюбленное место охоты, Компьень, гарнизонный город, кишит чиновниками, жандармами и полицейскими комиссарами; тотчас же по полу-

чении телеграфного приказа начались облавы, и так как "Колокол и бутылка" — первая гостиница в городе, то, естественно, начали с нее.

К тому же, согласно донесению часовых, которые в эту ночь охраняли ратушу, — а ратуша примыкает к гостинице "Колокол", — согласно донесению часовых, повторяем, в эту гостиницу ночью прибыло несколько приезжих.

Часовой, который сменился в шесть часов утра, припомнил даже, что, как только он занял пост, то есть в самом начале пятого, он увидел молодого человека на белой лошади, с крестьянским мальчиком позади; молодой человек спешился на площади и, отпустив мальчика с лошадью, постучался в "Колокол", куда его и впустили.

На этого необычно позднего путника и пало подозрение.

Этот путник был не кто иной, как Андреа.

На основании этих данных полицейский комиссар и жандармский унтер-офицер и направились к двери Андреа.

Дверь оказалась приотворенной.

— Ого, — сказал жандарм, старая лиса, искушенная во всяческих уловках, — плохой признак — открытая дверь! Я предпочел бы видеть ее запертой на три замка!

И в самом деле, записка и булавка, оставленные Андреа на столе, подтверждали или, вернее, указывали на печальную истину.

Андреа сбежал.

Мы говорим "указывали", потому что жандарм был не из тех людей, которые довольствуются первым попавшимся объяснением.

Он осмотрелся, заглянул под кровать, откинул штору, открыл шкафы и, наконец, подошел к камину.

Благодаря предусмотрительности Андреа на золе не осталось никаких следов.

Но как-никак это был выход, а при данных обстоятельствах всякий выход должен был стать предметом тщательного обследования. Поэтому жандарм велел принести хвороста и соломы; он сунул все это в трубу камина, словно заряжая мортиру, и поджег.

Пламя загудело в трубе, густой дым рванулся в дымоход и столбом взвился к небу, но преступник не свалился в камин, как того ожидал жандарм.

Андреа, с юных лет воюя с обществом, стоил любого жандарма, будь этот жандарм даже в почтенном чине унтер-офицера. Предвидя испытание огнем, он выбрался на крышу и прижался к трубе.

У него даже мелькнула надежда на спасение, когда он услышал, как унтер-офицер громко крикнул обоим жандармам:

— Его там нет!

Но, осторожно вытянув шею, он увидел, что жандармы, вместо того чтобы уйти, как это было бы естественно после такого заявления, напротив, удвоили внимание.

Он в свою очередь посмотрел вокруг: ратуша, внушительная постройка XVI века, возвышалась вправо от него, как мрачная твердыня; и из ее окон можно было рассмотреть все углы и закоулки крыши, на которой он притаился, как долину с высокой горы.

Андреа понял, что в одном из этих окон немедленно появится голова жандарма.

Если его обнаружат, он погиб; бегство по крышам не сулило ему никакой надежды на успех.

Тогда он решил *спуститься не* тем путем, как поднялся, но путем сходным.

Он поискал трубу, из которой не шел дым, дополз до нее и нырнул в отверстие, никем не замеченный.

В ту же минуту в ратуше отворилось окошко и показалась голова жандарма.

С минуту голова оставалась неподвижной,

подобно каменным изваяниям, украшающим здание, потом с глубоким разочарованным вздохом скрылась.

Спокойный и величавый, как закон, который он представлял, унтер-офицер, не отвечая на град вопросов, прошел сквозь толпу и вернулся в гостиницу.

— Ну что? — спросили она жандарма.

— А то, ребята, — отвечал унтер-офицер, — что разбойник, видно, в самом деле рано утром от нас улизнул, но мы пошлем людей в сторону Виллер-Котре и к Нуайону, обшарим лес и настигнем его непременно.

Не успел почтенный блюститель закона произнести с чисто унтер-офицерской интонацией это энергичное слово, как крики ужаса и отчаянный трезвон колокольчика огласили двор гостиницы.

— Ого, что это такое? — воскликнул жандарм.

— Видно, кто-то торопится не на шутку! — сказал хозяин.

— Из какого номера звонят?

— Из третьего.

— Беги, Жан.

В это время крики и трезвон возобновились с удвоенной силой.

Слуга кинулся к лестнице.

— Нет, нет, — сказал жандарм, останавливая его, — тому, кто звонил, требуются, по-моему, не ваши услуги, и мы ему услужим сами. Кто стоит в третьем номере?

— Молодой человек, который приехал с сестрой сегодня ночью на почтовых и потребовал номер с двумя кроватями.

В третий раз отчаянно задребезжал тревожный звонок.

— Сюда, господин комиссар! — крикнул унтер-офицер. — Следуйте за мной, не отставайте!

— Постойте, — сказал хозяин, — в третий номер ведут две лестницы: наружная и внутренняя.

— Хорошо, — сказал унтер-офицер, — я пойду по внутренней, это по моей части. Карабины заряжены?

— Так точно.

— А вы наблюдайте за наружной лестницей и, если он вздумает бежать, стреляйте; это важный преступник, судя по телеграмме.

Унтер-офицер вместе с комиссаром тотчас же исчез на внутренней лестнице; толпа, взволнованная его словами, проводила его гулом.

Вот что произошло.

Андреа очень ловко спустился по трубе на две

трети, но здесь сорвался и, несмотря на то, что упирался руками в стенки, спустился быстрее, а главное — с большим шумом, чем хотел.

Это бы еще полбеды, будь комната пустая; но, к сожалению, она была обитаема.

Две женщины спали в одной кровати. Шум разбудил их.

Они посмотрели в ту сторону, откуда послышался шум, и увидели, как в отверстии камина показался молодой человек.

Страшный крик, отдавшийся по всему дому, испустила одна из этих женщин, блондинка, в то время как другая, брюнетка, ухватилась за звонок и подняла тревогу, дергая шнур что было сил.

Злой рок явно преследовал Андреа.

— Ради Бога! — воскликнул он, бледный, растерянный, даже не видя, к кому обращается. — Сжальтесь, не зовите, не губите меня! Я не сделаю вам ничего дурного.

— Андреа, убийца! — крикнула одна из молодых женщин.

— Эжени! Мадемуазель Данглар! — прошептал Андреа, переходя от ужаса к изумлению.

— На помощь! На помощь! — закричала мадемуазель д'Армильи и, выхватив звонок из опустившихся рук Эжени, зазвонила еще отча-

яннее.

— Спасите меня, за мной гонятся, — взмолился Андреа. — Сжальтесь, не выдавайте меня!

— Поздно, они уже на лестнице, — ответила Эжени.

— Так спрячьте меня. Скажите, что испугались без причины. Вы отведете подозрения и спасете мне жизнь.

Обе девушки, прижавшись друг к другу и закутавшись в одеяло, молча, со страхом и отвращением внимали этому молящему голосу.

— Хорошо, — сказала Эжени, — уходите той же дорогой, которой пришли; уходите, несчастный, мы ничего не скажем.

— Вот он! Вот он! Я его вижу! — послышался голос за дверью.

Голос принадлежал унтер-офицеру, который заглянул в замочную скважину и увидел Андреа с умоляюще сложенными руками.

Сильный удар прикладом выбил замок, два других удара сорвали петли; выломанная дверь упала в комнату.

Андреа бросился к другой двери, выходившей на внутреннюю галерею, и открыл ее.

Стоявшие на галерее жандармы вскинули свои карабины.

Андреа замер на месте; бледный, слегка откинувшись назад, он судорожно сжимал в руке бесполезный нож.

— Бегите же, — крикнула мадемуазель д'Армильи, в сердце которой возвращалась жалость, по мере того как проходил страх. — Бегите!

— Или убейте себя! — сказала Эжени с видом весталки, подающей в цирке знак гладиатору прикончить поверженного противника.

Андреа вздрогнул и взглянул на девушку с улыбкой презрения, говорящей о том, что его низкой душе непонятны величайшие жертвы, которых требует неумолимый голос чести.

— Убить себя? — сказал он, бросая нож. — Зачем?

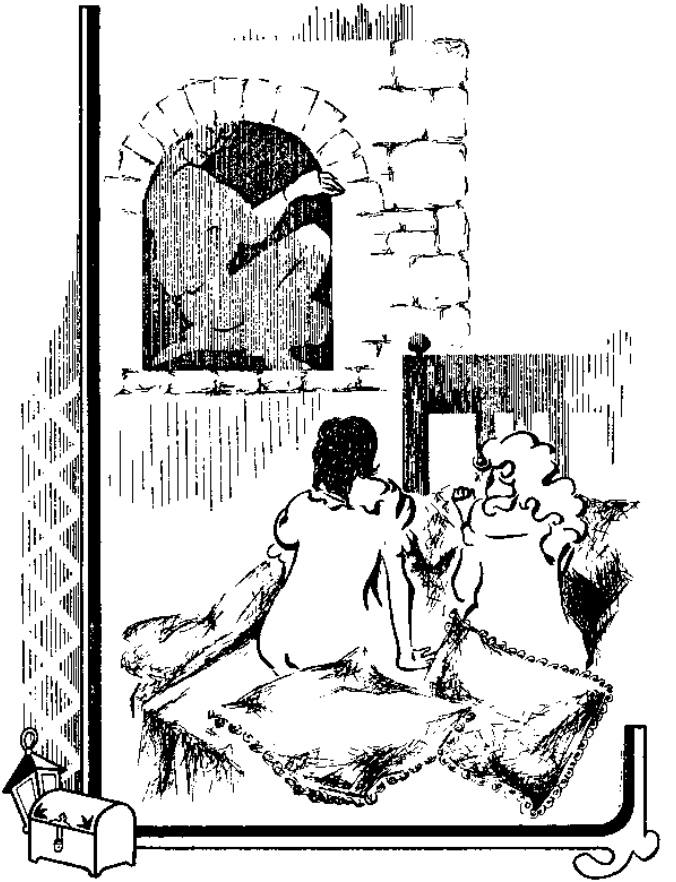
— Но вы же сами сказали, — воскликнула Эжени Данглар, — вас приговорят к смерти, вас казнят, как последнего преступника!

— Пустяки, — ответил Кавальканти, скрестив руки, — на то имеются друзья!

Унтер-офицер подошел к нему с саблей в руке.

— Ну-ну, — сказал Кавальканти, — уберите саблю, приятель, к чему столько шуму, раз я сдаюсь!

Он протянул руки, и на них тотчас защелкнулись наручники.



Девушки с ужасом смотрели на это отвратительное превращение: у них на глазах человек сбрасывал личину светскости и снова становился каторжником.

Андреа обернулся к ним с наглой улыбкой.

— Не будет ли каких поручений к вашему отцу, мадемуазель Эжени? — сказал он. — Как видно, я возвращаюсь в Париж.

Эжени закрыла лица руками.

— Не смущайтесь, — сказал Андреа, — я на вас не в обиде, что вы помчались за мной вдогонку… Ведь я был почти что вашим мужем.

И с этими словами Андреа вышел, оставив беглянок, сгоравших от стыда, подавленных пересудами присутствующих.

Час спустя, обе в женском платье, они садились в свою дорожную карету.

Чтобы оградить их от посторонних взглядов, ворота гостиницы заперли, но, когда ворота открылись, им все-таки пришлось проехать сквозь строй любопытных, которые, перешептываясь, провожали их насмешливыми взглядами.

Эжени опустила шторы, но, если она ничего не видела, она все же слышала, и насмешки долетали до ее ушей.

— Отчего мир не пустыня! — вскричала она,

бросаясь в объятия подруги. Ее глаза сверкали той яростью, которая заставляла Нерона жалеть, что у римского народа не одна голова и что нельзя ее отсечь одним ударом.

На следующий день они прибыли в Брюссель и остановились в гостинице "Фландрия".

Андреа еще накануне был заключен в тюрьму Консьержери.

II
ЗАКОН

Мы видели, как благополучно мадемуазель Данглар и мадемуазель д'Армильи совершили свой побег; все были слишком заняты своими собственными делами, чтобы думать о них.

Пока банкир, с каплями холодного пота на лбу, видя перед собой призрак близкого банкротства, выводит огромные столбцы своего пассива, мы последуем за баронессой, которая, едва придя в себя после сразившего ее удара, поспешила к своему постоянному советчику, Люсьену Дебрэ.

Баронесса с нетерпением ждала брака дочери, чтобы освободиться наконец от обязанности опекать ее, что, при характере Эжени, было весьма обременительно; по молчаливому соглаше-

нию, на котором держится семейная иерархия, мать может надеяться на беспрекословное послушание дочери лишь в том случае, если она неизменно служит ей примером благоразумия и образцом совершенства.

Надо сказать, что г-жа Данглар побаивалась проницательности Эжени и советов мадемуазель д'Армильи: от нее не ускользали презрительные взгляды, которыми ее дочь награждала Дебрэ. Эти взгляды, казалось ей, свидетельствовали о том, что Эжени известна тайна ее любовных и денежных отношений с личным секретарем министра. Однако, будь баронесса более проницательна, она поняла бы, что Эжени ненавидит Дебрэ вовсе не за то, что в доме ее отца он служит камнем преткновения и поводом для сплетен: просто она причисляла его к категории двуногих, которых Диоген не соглашался называть людьми, а Платон иносказательно именовал животными о двух ногах и без перьев.

Таким образом, с точки зрения г-жи Данглар — а, к сожалению, на этом свете каждый имеет свою точку зрения, мешающую ему видеть точку зрения другого, — было весьма печально, что свадьба дочери не состоялась, — не потому, что этот брак был подходящим, удачным и мог составить

счастье Эжени, но потому, что этот брак дал бы г-же Данглар полную свободу.

Итак, как мы уже сказали, она бросилась к Дебрэ. Люсьен, как и весь Париж, присутствовал на приеме у Дангларов и был свидетелем скандала. Он поспешно ретировался в клуб, где его друзья уже беседовали о событии, составлявшем в этот вечер предмет обсуждения для трех четвертей города-сплетника, именуемого столицей мира.

В то время как г-жа Данглар, в черном платье, под густой вуалью, поднималась по лестнице, ведущей в квартиру Дебрэ (несмотря на уверения швейцара, что его нет дома) Люсьен спорил с приятелем, старавшимся доказать ему, что после разразившегося скандала он, как друг дома, обязан жениться на мадемуазель Эжени Данглар и на ее двух миллионах.

Дебрэ слабо защищался, как человек, который вполне готов дать себя убедить. Эта мысль не раз приходила в голову ему самому, но, зная Эжени, зная ее независимый и надменный нрав, он время от времени восставал, утверждая, что этот брак невозможен, и вместе с тем невольно дразнил себя греховной мыслью, которая, если верить моралистам, вечно обитает даже в самом

честном и непорочном человеке, прячась в глубине его души, как сатана за крестом.

Чаепитие, игра, беседа — как мы видим, занимательная, потому что она касалась столь важных вопросов, — продолжались до часу ночи.

Тем временем г-жа Данглар, проведенная лакеем Люсьена в маленькую зеленую гостиную, ожидала, трепеща и не снимая вуали, между двумя корзинами цветов, которые она же и прислала утром и которые Дебрэ, к чести его будь сказано, разместил и расправил с такой заботливостью, что бедная женщина простила ему его отсутствие.

Без двадцати двенадцать г-жа Данглар, устав напрасно ждать, взяла фиакр и поехала домой.

Дамы известного круга имеют то общее с солидно устроившимися гризетками, что они никогда не возвращаются домой позже полуночи.

Баронесса вернулась к себе с такими же предосторожностями, с какими Эжени только что покинула отцовский дом; с бьющимся сердцем она неслышно поднялась в свою комнату, смежную, как мы знаем, с комнатой Эжени.

Она так боялась всяких пересудов, так твердо верила— и по крайней мере за это она была достойна уважения— в чистоту дочери и в ее

верность родительскому дому

Вернувшись к себе, она подошла к дверям Эжени, прислушалась и, не уловив ни малейшего звука, попыталась войти, но дверь была заперта.

Госпожа Данглар решила, что Эжени, устав от тягостных волнений этого вечера, легла в постель и заснула.

Она позвала горничную и расспросила ее.

— Мадемуазель Эжени, — отвечала горничная, — вернулась в свою комнату с мадемуазель д'Армильи; они вместе пили чай, а затем отпустили меня, сказав, что я им больше не нужна.

С тех пор горничная не выходила из буфетной и думала, как и все, что обе девушки у себя в комнате.

Таким образом, г-жа Данглар легла без тени какого-либо подозрения; рассеялось беспокойство о дочери, зато мысли ее обратились к случившемуся вечером.

Чем больше она думала, тем яснее для нее становились размеры катастрофы: это был уже не скандал — но разгром, не позор — но бесчестие.

Тогда г-жа Данглар невольно вспомнила, как она была безжалостна к Мерседес, которую из-за мужа и сына недавно постигло не менее жестокое несчастье.

"Эжени погибла, — сказала она себе, — и мы тоже. Эта история в том виде, как ее станут преподносить, погубит нас, потому что в нашем обществе смех наносит страшные, неизлечимые раны".

— Какое счастье, — прошептала она, — что Бог наделил Эжени таким странным характером, который всегда так пугал меня!

И она подняла глаза к небу, благодаря Провидение, которое неисповедимо направляет грядущее и недостаток, даже порок, обращает иной раз на благо человеку.

Затем ее мысль преодолела пространство, как птица, распластав крылья, перелетает пропасть, и остановилась на Кавальканти.

Этот Андреа оказался негодяем, вором, убийцей, и все же чувствовалось, что он недурно воспитан; он появился в свете как обладатель крупного состояния, покровительствуемый уважаемыми людьми.

Как разобраться в этой путанице? Кто поможет найти выход из этого ужасного положения?

Дебрэ, к которому она бросилась в первом порыве, как женщина, ищущая поддержки у человека, которого она любит и который подчас способен погубить, мог только дать ей совет; нужно было

обратиться к кому-то более могущественному.

Тогда баронесса вспомнила о Вильфоре.

Ведь это Вильфор распорядился арестовать Кавальканти, это Вильфор безжалостно внес смятение в ее семейство, словно оно ему совсем чужое.

— Нет, — поправила она себя, — королевский прокурор не бессердечный человек — он представитель правосудия, раб своего долга; честный и стойкий друг, который хотя и безжалостной, но уверенной рукой нанес скальпелем удар по гнойнику; он не палач, а хирург; он сделал все, чтобы честь Дангларов не пострадала от позора, которым покрыл себя этот погибший юноша, представленный ими обществу в качестве будущего зятя.

Раз Вильфор, друг семьи Данглар, действовал так, то нельзя было предположить, чтоб он мог что-либо знать заранее и потворствовать проискам Андреа.

Таким образом, поведение Вильфора начало представляться баронессе в новом свете, и она его истолковала в благоприятном для обеих сторон смысле.

Но на этом непреклонный королевский прокурор должен остановиться; завтра она поедет

к нему и добьется от него если не нарушения служебного долга, то во всяком случае всей возможной снисходительности.

Баронесса воззовет к прошлому, она воскресит его воспоминания, будет умолять во имя грешной, но счастливой поры их жизни. Вильфор замнет дело или хотя бы даст Кавальканти возможность бежать — для этого ему достаточно обратить взор в другую сторону; карая преступление, он поразит только тень преступника заочным приговором.

Успокоившись на этом, она заснула.

На следующий день в девять часов утра она встала и, не вызывая горничной, никому не показываясь, оделась с той же простотой, что и накануне, вышла из дому, дошла до улицы Прованс, наняла фиакр и велела везти себя к дому Вильфора.

Уже целый месяц этот проклятый дом имел зловещий вид чумного барака: часть комнат была закрыта снаружи и изнутри, ставни открывались лишь на короткое время, чтобы впустить свежий воздух, и тогда в окне появлялась испуганная голова лакея; потом окно захлопывалось, как могильная плита, и соседи перешептывались:

— Неужели сегодня опять вынесут гроб из дома

королевского прокурора?

Госпожа Данглар содрогнулась при виде этого мрачного дома. Она вышла из фиакра; колени ее подгибались, когда она позвонила у запертых ворот.

Только после того как она в третий раз дернула колокольчик, чей зловещий звук словно вторил всеобщей печали, появился привратник и чуть-чуть приоткрыл калитку.

Он увидел женщину, светскую даму, элегантно одетую, и, несмотря на это, оставил калитку едва приотворенной.

— Да откройте же! — сказала баронесса.

— Раньше скажите, кто вы, сударыня? — спросил привратник.

— Кто я? Да вы меня отлично знаете.

— Мы теперь никого не знаем, сударыня.

— Да вы с ума сошли, любезный! — воскликнула баронесса.

— От кого вы?

— Нет, это уж слишком!

— Сударыня, простите, но так приказано; ваше имя?

— Баронесса Данглар. Вы меня сто раз видели.

— Возможно, сударыня; а теперь скажите, что вам угодно?

— Какая дерзость! Я пожалуюсь господину де Вильфору!

— Сударыня, это не дерзость, это осторожность: сюда входят только по записке господина д'Авриньи или после доклада господину королевскому прокурору.

— Так вот, у меня как раз дело к королевскому прокурору.

— Спешное дело?

— Очевидно, раз я все еще здесь. Но довольно: вот моя карточка, передайте ее вашему хозяину.

— Вы подождете, пока я вернусь?

— Да, идите.

Привратник закрыл калитку, оставив г-жу Данглар на улице.

Правда, баронесса ждала недолго; вскоре калитка открылась настолько, что она могла войти; как только она вошла, калитка за ней захлопнулась.

Войдя во двор, привратник, не спуская глаз с калитки, вынул из кармана свисток и свистнул.

На крыльце показался лакей Вильфора.

— Сударыня, извините этого честного малого, — сказал он, идя навстречу баронессе, — но так ему приказано, и господин де Вильфор поручил мне сказать вам, что он не мог поступить иначе.

Во дворе стоял впущенный с теми же предо-

сторожностями поставщик, и один из слуг осматривал его товары.

Баронесса взошла на крыльцо. Она чувствовала себя глубоко потрясенной этой скорбью, которая как бы усугубляла ее собственную печаль, и в сопровождении лакея, ни на миг не терявшего ее из виду, вошла в кабинет королевского прокурора.

Как ни была озабочена г-жа Данглар тем, что привело ее сюда, но встреча, оказанная ей всей этой челядью, показалась ей до того возмутительной, что она начала с жалоб.

Но Вильфор медленно поднял отягченную скорбью голову и посмотрел на нее с такой грустной улыбкой, что жалобы замерли у нее на устах.

— Простите моим слугам страх, который я не могу поставить им в вину: заподозренные, они сами стали подозрительными.

Госпожа Данглар часто слышала в обществе разговоры о паническом страхе, царившем в доме Вильфора, но она никогда не поверила бы, что это чувство могло дойти до такой крайности, если бы не убедилась в этом воочию.

— Так вы тоже несчастны? — сказала она.

— Да, сударыня, — ответил королевский прокурор.

— И вам жаль меня?

— Искренне жаль, сударыня.

— Вы понимаете, почему я пришла?

— Вы пришли поговорить со мной о том, что случилось в вашем доме?

— Это ужасное несчастье, сударь.

— То есть неприятность.

— Неприятность! — воскликнула баронесса.

— Увы, сударыня, — отвечал королевский прокурор с невозмутимым своим спокойствием, — я теперь называю несчастьем только то, что непоправимо.

— Неужели вы думаете, что это забудется?

— Все забывается, сударыня: ваша дочь выйдет замуж завтра, если не сегодня, через неделю, если не завтра. А что касается жениха мадемуазель Эжени, то я не думаю, чтобы вы о нем жалели.

Госпожа Данглар посмотрела на Вильфора, изумленная этим почти насмешливым спокойствием.

— К другу ли я пришла? — спросила она со скорбным достоинством.

— Вы же знаете, что да, — ответил Вильфор, и щеки его покрылись легким румянцем.

Ведь это заверение напоминало об иных событиях, чем те, которые волновали обоих в эту минуту.

— Тогда будьте сердечнее, дорогой Вильфор, — сказала баронесса, — обращайтесь со мной как друг, а не как судья, и в час, когда я глубоко несчастна, не говорите мне, что я должна быть веселой.

Вильфор поклонился.

— За последние три месяца у меня создалась эгоистическая привычка, сударыня, — сказал он. — Когда я слышу о несчастьях, я вспоминаю свои собственные несчастья, это сравнение приходит мне на ум даже помимо моей воли. Вот почему рядом с моими несчастьями ваши несчастья кажутся мне лишь неприятностями и рядом с моим трагическим положением ваше положение представляется мне завидным; но вас это сердит, оставим это. Итак, вы говорили, сударыня?..

— Я пришла узнать у вас, мой друг, — продолжала баронесса, — что ждет этого самозванца.

— Самозванца? — повторил Вильфор. — Я вижу, сударыня, вы, как нарочно, кое-что преуменьшаете, а кое-что преувеличиваете. Андреа Кавальканти, или, вернее, Бенедетто, — самозванец? Вы ошибаетесь, сударыня: Бенедетто— самый настоящий убийца.

— Сударь, я не спорю против вашей поправки;

но чем суровее вы покараете этого несчастного, тем более тяжелый удар нанесете нашей семье. Забудьте о нем ненадолго, не преследуйте его, дайте ему бежать.

— Поздно, сударыня, я уже отдал приказ.

— В таком случае, если его арестуют… Вы думаете, его арестуют?

— Я надеюсь.

— Если его арестуют (а я слышу со всех сторон, что тюрьмы переполнены), оставьте его в тюрьме.

Королевский прокурор покачал головой.

— Хотя бы до тех пор, пока моя дочь не выйдет замуж! — добавила баронесса.

— Невозможно, сударыня; правосудие имеет свой порядок.

— Даже для меня? — сказала баронесса полушутя-полусерьезно.

— Для всех, — отвечал Вильфор, — и для меня, как для других.

— Да… — сказала баронесса, не поясняя словами той мысли, которая вызвала это восклицание.

Вильфор посмотрел на нее своим испытующим взглядом.

— Я знаю, что вы хотите сказать, — продолжал он, — вы намекаете на распространившиеся по

городу ужасные слухи, что смерть, которая вот уже третий месяц облекает в траур мой дом, смерть, от которой чудом спаслась Валентина, не случайная смерть.

— Я совсем об этом не думала, — поспешно сказала г-жа Данглар.

— Нет, вы об этом думали, сударыня, и это справедливо, потому что вы не могли не подумать об этом и не сказать себе: ты, карающий преступления, отвечай, почему вокруг тебя преступления совершаются безнаказанно.

Баронесса побледнела.

— Вы себе это говорили, не правда ли, сударыня?

— Да, сознаюсь.

— Я вам отвечу.

Вильфор пододвинул свое кресло к стулу г-жи Данглар; затем, опершись обеими руками о письменный стол, голосом, глуше обычного, заговорил:

— Есть преступления, которые остаются безнаказанными, потому что преступники неизвестны и вместо виновного мог бы пострадать невинный; но как только эти преступники будут обнаружены (и Вильфор протянул руку к большому распятию, висевшему против его стола), как

только они будут обнаружены, — повторил он, — клянусь Богом, кто бы они ни были, они умрут! Теперь, после клятвы, которую я дал и которую я сдержу, осмельтесь просить у меня пощады этому негодяю!

— Но уверены ли вы, сударь, — возразила госпожа Данглар, — что он такой уж преступник, как об этом говорят?

— Вот его дело: Бенедетто приговорен к пяти годам. каторги за подлог в шестнадцать лет — как видите, молодой человек подавал надежды, — потом побег, потом убийство.

— Да кто он… этот несчастный?

— Кто знает! Бродяга, корсиканец.

— Никто его не признал?

— Никто, его родители неизвестны.

— А этот человек, который приезжал из Лукки?

— Такой же мошенник, как и он; его сообщник, быть может.

Баронесса умоляюще сложила руки.

— Вильфор! — сказала она своим самым нежным и вкрадчивым голосом.

— Ради Бога, сударыня, — отвечал королевский прокурор с твердостью, даже несколько сухо, — никогда не просите у меня пощады виновному!

Кто я? Закон. Разве у закона есть глаза, чтобы видеть вашу печаль? Разве у закона есть уши, чтобы слышать ваш нежный голос? Разве у закона есть память, чтобы отозваться на ваши кроткие мысли? Нет, сударыня, закон повелевает. И когда закон повелел, он разит.

Вы мне скажете, что я живое существо, а не кодекс, человек, а не книга. Посмотрите на меня, сударыня, посмотрите вокруг меня: разве люди видели во мне брата? Любили они меня?

Щадили меня? Просил ли кто-нибудь пощады Вильфору и даровал ли ему кто-нибудь пощаду? Нет, еще раз нет! Гонимый, вечно гонимый!

А вы, женщина, сирена, смотрите на меня своим чарующим взором, который напоминает мне то, из-за чего я должен краснеть. Да, краснеть за то, о чем вы знаете, и, быть может, не только за это.

Но с тех пор как сам я пал ниже, чем другие, быть может, — с тех пор я срываю с людей одежды, чтобы найти гнойник, и нахожу его всегда; скажу больше: я нахожу его с радостью, с восторгом, этот знак человеческой слабости или человеческой развращенности.

Ибо каждый человек, которого я признаю виновным, и каждый преступник, которого я караю,

кажется мне живым доказательством, лишним доказательством того, что я не гнусное исключение! Увы! Все люди злы, сударыня, докажем это и поразим злодея.

Вильфор произнес последние слова с исступленной яростью, почти свирепо.

— Но вы говорите, — возразила г-жа Данглар, делая последнюю попытку, — что этот молодой человек — бродяга, сирота, всеми брошенный?

— Тем хуже; вернее, тем лучше. Провидение сделало его таким, чтобы некому было оплакивать его.

— Вы нападаете на слабого, сударь!

— Убийца — слабый?

— Его позор запятнает мой дом.

— А разве мой дом не отмечен смертью?

— Вы безжалостны к другим, сударь! — воскликнула баронесса. — Так запомните мои слова: к вам тоже будут безжалостны.

— Пусть так! — сказал Вильфор, угрожающим жестом вскинув руку к небу.

— Хотя бы отложите дело этого несчастного, если его арестуют, до следующей сессии; пройдет полгода, и все забудется.

— Нет, — сказал Вильфор, — у меня еще пять дней впереди; следствие закончено; пяти дней

для меня больше чем достаточно; и разве вы не понимаете, сударыня, что и мне тоже надо забыться? Когда я работаю, а я работаю день и ночь, бывают минуты, что я ничего не помню, а когда я ничего не помню, я счастлив, как счастливы мертвецы; но все же это лучше, чем страдание.

— Но ведь он скрылся; дайте ему убежать, ведь бездействие — самый легкий способ проявить милосердие.

— Я же вам сказал, что поздно: телеграф уже на рассвете передал приказ, и теперь…

— Сударь, — сказал, входя, камердинер, — депеша из Министерства внутренних дел.

Вильфор схватил конверт и торопливо его вскрыл.

Госпожа Данглар содрогнулась от ужаса, Вильфор затрепетал от радости.

— Арестован! — воскликнул Вильфор. — Его задержали в Компьене; все кончено.

Госпожа Данглар встала; она была очень бледна.

— Прощайте, сударь, — холодно сказала она.

— Прощайте, сударыня, — отвечал королевский прокурор, почти радостно провожая ее до дверей.

Потом он вернулся к письменному столу.

— Так! — сказал он, ударяя рукой по депеше. — У меня есть подлог, три кражи, два поджога, мне не хватало только убийства, вот и оно; сессия будет отличная.

III
ВИДЕНИЕ

Как говорил королевский прокурор г-же Данглар, Валентина все еще была больна.

Обессиленная, она не вставала с постели; о событиях, которые мы только что описали — о бегстве Эжени, об аресте Андреа Кавальканти, вернее, Бенедетто, и о предъявленном ему обвинении в убийстве, — она узнала у себя в комнате, из уст г-жи де Вильфор.

Но Валентина была гак слаба, что рассказ этот не произвел на нее того впечатления, которое, вероятно, произвел бы, будь она здорова.

К странным мыслям и мимолетным призракам, рождавшимся в ее больном мозгу или проносившимся перед ее глазами, только прибавилось еще несколько неясных мыслей, несколько смутных образов, да и те вскоре изгладились, вытесненные собственными ощущениями.

Днем Валентину еще связывало с действитель-

ностью присутствие Нуартье, который требовал, чтобы его кресло переносили в комнату внучки, и там проводил весь день, не спуская с больной отеческого взора. Вильфор, вернувшись из суда, проводил час или два с отцом и дочерью.

В шесть часов Вильфор удалялся к себе в кабинет; в восемь часов приходил д'Авриньи, сам приносил микстуру, приготовленную для Валентины на ночь, затем уносили Нуартье.

Сиделка, приглашенная доктором, заменяла всех и уходила лишь в десять или одиннадцать часов, когда Валентина засыпала.

Уходя, она отдавала ключ от комнаты Валентины самому Вильфору, так что в комнату больной можно было пройти только из спальни г-жи де Вильфор, через комнату маленького Эдуара.

Каждое утро Моррель приходил к Нуартье справиться о здоровье Валентины. Как ни странно, с каждым днем он казался все спокойнее.

Прежде всего Валентина, хотя она все еще была в сильном нервном возбуждении, чувствовала себя с каждым днем лучше, а потом, разве Монте-Кристо не сказал ему, когда они прибежал к нему сам не свой, что если через два часа Валентина не умрет, то она спасена?

И вот Валентина жива, и уже прошло четыре

дня.

Нервное возбуждение, о котором мы говорили, не покидало Валентину даже во сне, или, вернее, в той дремоте, которая вечером овладевала ею; тогда, в ночной тишине, при тусклом свете ночника, который теплился на камине, под алебастровым колпачком, перед нею проходили тени, населяющие комнаты больных и колеблемые порывистыми взмахами незримых крыльев лихорадки.

Тогда ей чудились то мачеха с грозно сверкающим взором, то Моррель, простирающий к ней руки, то люди, почти чужие ей, как граф де Монте-Кристо; даже мебель, казалось ей в бреду, оживала и двигалась по комнате; и так продолжалось часов до трех ночи, когда ею овладевал свинцовый сон, не покидавший ее уже до утра.

Вечером того дня, когда Валентина узнала о бегстве Эжени и об аресте Бенедетто, она, после того как один за другим ушли Вильфор, д'Авриньи и Нуартье, от мысли об этих происшествиях вернулась постепенно к собственным ощущениям. Как только на церкви святого Филиппа в Руле пробило одиннадцать, сиделка поставила возле больной приготовленное доктором питье и, затворив дверь, направилась в буфетную, где,

содрогаясь, слушала рассказы о мрачных событиях, третий месяц волновавших умы прислуги королевского прокурора. И в это самое время в тщательно запертой комнате Валентины разыгралась неожиданная сцена.

После ухода сиделки прошло около десяти минут.

Валентина уже час лежала в лихорадке, возвращавшейся к ней каждую ночь, и в ее мозгу, независимо от ее воли, продолжалась упорная, однообразная и неумолимая работа, беспрестанно и бесплодно воспроизводя все те же мысли и порождая все те же образы.

И вдруг в таинственном, неверном свете ночника, который будто подавал ей загадочные знаки, Валентине почудилось, что книжный шкаф, стоявший в углублении стены у камина, медленно, бесшумно открылся.

В другое время Валентина схватилась бы за звонок и позвала бы на помощь, но она была в полузабытьи, и ничто ее не удивляло.

Она понимала, что видения, окружавшие ее, — порождение ее бреда: ведь утром от всех этих ночных призраков, исчезавших с первыми лучами солнца, не оставалось и следа.

Из шкафа вышел человек.

Валентина так привыкла к лихорадочным видениям, что не испугалась, она только широко раскрыла глаза, надеясь увидеть Морреля.

Видение приблизилось к кровати, затем остановилось, словно прислушиваясь.

В этот миг луч ночника скользнул по лицу ночного посетителя.

— Нет, — не он, — прошептала Валентина.

И, уверенная в том, что это сон, она стала ждать, чтобы этот человек, как бывает во сне, исчез или принял другой облик.

Она пощупала себе пульс и, слыша его частые удары, вспомнила, что эти назойливые видения исчезают, если выпить немного микстуры. Освежающий напиток, приготовленный доктором, которому Валентина жаловалась на лихорадку, понижал жар и прояснял сознание; всякий раз, когда она его пила, ей на некоторое время становилось легче.

Валентина протянула дрожащую от слабости руку, чтобы взять стакан с хрустального блюда, но видение быстро шагнуло к кровати и остановилось так близко от Валентины, что она услышала его дыхание и даже почувствовала прикосновение его руки.

Никогда еще призраки, посещавшие Валенти-

ну, не были столь похожи на действительность; она начала понимать, что все это наяву, что рассудок ее не помрачен, и содрогнулась.

Прикосновение, которое она почувствовала, остановило ее протянутую руку.

Валентина медленно отняла ее.

Тогда видение, от которого она не могла отвести глаз и которое, впрочем, внушало ей скорее доверие, чем страх, взяло стакан, подошло к ночнику и посмотрело на питье, словно определяя его прозрачность и чистоту.

Но этого беглого исследования, по-видимому, оказалось недостаточно.

Этот человек, или, вернее, призрак, ибо он ступал так легко, что ковер совершенно заглушал его шаги, зачерпнул ложкой немного напитка и проглотил.

Валентина смотрела на происходящее с глубочайшим изумлением.

Она все еще надеялась, что видение сейчас исчезнет и уступит место другому, но таинственный гость, вместо того чтобы рассеяться как тень, подошел к ней и, подавая ей стакан, сказал с волнением в голосе:

— Теперь можете пить!..

Валентина вздрогнула.

Впервые призрак говорил с ней, как живой человек.

Она хотела крикнуть.

Человек приложил палец к губам.

— Граф де Монте-Кристо! — прошептала она.

По испугу, отразившемуся в глазах девушки, по дрожи ее рук, по тому, как она поспешно натянула на себя одеяло, видно было, что последние сомнения готовы отступить перед очевидностью; вместе с тем присутствие Монте-Кристо у нее в комнате, в такой час, его таинственное, фантастическое, необъяснимое появление через стену казалось невозможным ее потрясенному рассудку.



— Не пугайтесь, не зовите, — сказал граф, — пусть в сердце вашем не остается ни тени подозрения, ни искры беспокойства: человек, которого вы видите перед собой (вы правы, Валентина, на сей раз это не призрак), — человек этот самый нежный отец и самый почтительный друг, о каком вы могли бы мечтать.

Валентина не отвечала; этот голос, подтверждавший, что перед ней не призрак, а живой человек, внушал ей такой страх, что она боялась откликнуться, но ее испуганный взгляд говорил: "Если ваши намерения чисты, зачем вы здесь?"

Со всей необычайной проницательностью Монте-Кристо мгновенно понял все, что происходило в сердце девушки.

— Послушайте меня, — сказал он, — вернее, посмотрите на меня, на мои воспаленные глаза, на мое лицо, еще более бледное, чем всегда: четыре ночи я ни на миг не сомкнул глаз, четыре ночи я вас сторожу, оберегаю, охраняю для нашего друга Максимилиана.

Радостный румянец залил щеки больной; имя, произнесенное графом, уничтожало последнюю тень недоверия.

— Максимилиан!.. — повторила Валентина, так сладостно ей было произносить это имя. — Мак-

симилиан! Так он вам во всем признался?

— Во всем. Он сказал мне, что ваша жизнь — его жизнь, и я обещал ему, что вы будете жить.

— Вы ему обещали, что я буду жить?

— Да.

— Вы сказали, что охраняете, оберегаете меня. Разве вы доктор?

— Да, и поверьте, лучшего вам сейчас не могло бы послать Небо.

— Вы говорите, что не спали ночей, — сказала Валентина. — Где же вы были? *Я* вас не видела.

Граф указал рукой на книжный шкаф.

— За этой дверью, — сказал он, — она выходит в соседний дом, который я нанял.

Валентина отвернулась, вся вспыхнув от стыда и негодования.

— Сударь, — сказала она с неподдельным ужасом, — ваш поступок — беспримерное безумие, и ваше покровительство весьма похоже на оскорбление.

— Валентина, — сказал он, — в эти долгие бессонные ночи единственное, что я видел, — кто к вам входит, какую пищу вам готовят, какое питье вам подают; и когда питье казалось мне опасным, я входил, как вошел сейчас, опорожнял ваш стакан и заменял яд благотворным напит-

ком, который вместо смерти, вам уготованной, вливал в вас жизнь.

— Яд! Смерть! — воскликнула Валентина, думая, что она опять во власти лихорадочного бреда. — О чем вы говорите, сударь?

— Тише, дитя мое, — сказал Монте-Кристо, снова приложив палец к губам. — Да, я сказал: яд, да, я сказал: смерть, и я повторяю: смерть. Но выпейте это. (Граф вынул из кармана флакон с красной жидкостью и налил несколько капель в стакан). Выпейте это и потом уже ничего больше не пейте всю ночь.

Валентина протянула руку; но, едва коснувшись стакана, испуганно отдернула ее.

Монте-Кристо взял стакан, и, отпив половину, подал его Валентине, которая, улыбнувшись, проглотила остальное.

— Я узнаю вкус моего ночного напитка, — сказала она. — Он всегда освежает мне грудь и успокаивает ум. Благодарю вас, сударь.

— Вот как вы прожили четыре ночи, Валентина, — сказал граф. — А как жил я? Какие жестокие часы я из-за вас здесь провел! Какие ужасные муки я испытывал, когда видел, как наливают в ваш стакан смертоносный яд! Как я дрожал, что вы его выпьете прежде, чем я успею выплеснуть

его в камин!

— Вы говорите, сударь, — продолжала Валентина в невыразимом ужасе, — что вы пережили тысячу мук, видя, как наливают в мой стакан смертоносный яд? Но тогда, значит, вы видели и того, кто его наливал?

— Да.

Валентина приподнялась на постели и, прикрывая грудь, бледнее снега, вышитой сорочкой, еще влажной от холодного пота лихорадки, с которым теперь смешался ледяной пот ужаса, спросила:

— Вы видели?

— Да, — повторил граф.

— Это ужасно, сударь, вы хотите заставить меня поверить в какие-то адские измышления. Как, в доме моего отца, в моей комнате, на ложе страданий, меня продолжают убивать? Уйдите, сударь, вы смущаете мою совесть, вы клевещете на божественное милосердие, это немыслимо, этого быть не может!

— Разве вы первая, кого разит эта рука, Валентина? Разве вы не видели, как погибли маркиз де Сен-Меран, маркиза де Сен-Меран, Барруа? Разве не погиб бы и господин Нуартье, если бы то лекарство, которым его пользуют уже три года,

не предохраняло его, побеждая яд привычкой к нему?

— Боже мой, — сказала Валентина, — так вот почему дедушка последнее время требует, чтобы я пила все то, что он пьет?

— И у этих напитков горький вкус, как у сушеной апельсинной корки? — живо спросил Монте-Кристо.

— Да, да!

— Теперь мне все понятно! Он тоже знает, что здесь отравляют, и, может быть, даже знает кто. Он начал вас приучать — вас, свое любимое дитя, — к убийственному снадобью, и действие этого снадобья было ослаблено. Вот почему вы еще живы — чего я никак не мог себе объяснить, — после того как четыре дня тому назад вас отравили ядом, который обычно беспощаден.

— Но кто же убийца, кто отравитель?

— Теперь я вас спрошу: видели вы, чтобы кто-нибудь входил ночью в вашу комнату?

— Да. Часто мне казалось, что я вижу какие-то тени, вижу, как тени подходят, удаляются, исчезают; но я их принимала за порождение лихорадки, и сегодня, когда вы вошли, мне долго казалось, что я брежу или вижу сон.

— Так вы не знаете, кто посягает на вашу

жизнь?

— Нет, — сказала Валентина, — кто может желать моей смерти?

— Сейчас узнаете, — сказал Монте-Кристо, прислушиваясь.

— Каким образом? — спросила Валентина, со страхом озираясь по сторонам.

— Потому что сейчас у вас нет лихорадки, нет бреда, потому что сознание ваше прояснилось, потому что бьет полночь, а это час убийц.

— Господи! — сказала Валентина, проводя рукой по влажному лбу.

Медленно и уныло пробило полночь, и каждый удар молотом падал на сердце девушки.

— Валентина, — продолжал граф, — соберите все свои силы, подавите биение сердца, сдержите крик в груди, притворитесь спящей, и вы увидите.

Валентина схватила графа за руку.

— Я слышу шум, — сказала она, — уходите!

— Прощайте, или, вернее, до свидания, — отвечал граф.

И с грустной, отеческой улыбкой, от которой сердце девушки преисполнилось благодарности, граф неслышными шагами направился к нише, где стоял шкаф.

Но прежде чем закрыть за собой дверцу, он обернулся к Валентине.

— Ни движения, ни слова, — сказал он, — пусть думают, что вы спите, иначе вас могут убить раньше, чем я подоспею.

И, произнеся это страшное наставление, граф исчез за дверью, бесшумно закрывшейся за ним.

IV
ЛОКУСТА

Валентина осталась одна; двое других часов, отставáвших от часов на церкви святого Филиппа, тоже друг за другом пробили полночь. Потом все затихло, и только изредка доносился далекий стук колес.

Все внимание Валентины сосредоточилось на часах в ее комнате, маятник которых отбивал секунды.

Она принялась считать секунды и заметила, что ее сердце бьется вдвое скорее.

Но она все еще сомневалась; кроткая Валентина не могла поверить, что кто-то желает ее смерти. За что? С какой целью? Что она сделала дурного, чтобы нажить себе врага?

Она не могла и думать о сне.

Единственная страшная мысль терзала ее: на свете есть человек, который пытался ее убить и опять попытается это сделать.

Что, если на этот раз, видя, что яд бессилен, убийца, как сказал Монте-Кристо, прибегнет к стали? Что, если граф не успеет помешать ему? Что, если это ее последние минуты и она больше не увидит Морреля?

При этой мысли Валентина похолодела от ужаса и была готова позвонить и позвать на помощь.

Но ей казалось, что сквозь дверь книжного шкафа она видит глаза Монте-Кристо; она не могла не думать об этих глазах и не знала, поможет ли ей когда-нибудь чувство благодарности забыть о тягостном стыде, вызванном нескромной заботливостью графа.

Так прошло двадцать минут, двадцать вечностей, потом еще десять минут, наконец, часы зашипели и громко ударили один раз.

В этот миг еле слышное поскрипывание ногтем о дверцу шкафа дало знать Валентине, что граф бодрствует и советует ей бодрствовать тоже.

И сейчас же с противоположной стороны, где была комната Эдуара, скрипнул паркет. Валентина насторожилась и замерла затаив дыхание;

щелкнула ручка, и дверь отворилась. Валентина едва успела откинуться на подушку и прикрыть локтем лицо.

Она вся дрожала, сердце ее сжималось от невыразимого ужаса. Она ждала.

Кто-то подошел к кровати и коснулся полога.

Валентина собрала все свое мужество и начала дышать ровно, как спящая.

— Валентина! — тихо позвал чей-то голос.

Девушка вся затрепетала, но не ответила.

— Валентина! — повторил голос.

Молчание: Валентина обещала графу не просыпаться.

Все замерло.

И Валентина услышала почти неуловимый звук жидкости, льющейся в стакан, из которого она недавно пила.

Тогда она осмелилась приоткрыть веки и взглянуть из-под руки.

Женщина в белом пеньюаре наливала в ее стакан какую-то жидкость из флакона.

В это короткое мгновение Валентина, вероятно, задержала дыхание или шевельнулась; женщина испуганно остановилась и нагнулась к постели, проверяя, спит ли она. Это была г-жа де Вильфор.

Валентина, узнав мачеху, так сильно задрожа-

ла, что дрожь передалась кровати.

Госпожа де Вильфор прижалась к стене и, спрятавшись за полог, молча, внимательно следила за малейшим движением Валентины.

Девушка вспомнила предостережение Монте-Кристо; ей показалось, что в руке мачехи блеснуло лезвие длинного, острого ножа.

Тогда Валентина огромным усилием воли заставила себя закрыть глаза, и это движение, такое несмелое и обычно столь нетрудное, оказалось почти непосильным: любопытство, жажда узнать правду не давали векам сомкнуться.

Между тем г-жа де Вильфор, успокоенная тишиной, в которой опять слышалось ровное дыхание Валентины, решила, что девушка спит. Она снова протянула руку и, полускрытая пологом, сдвинутым к изголовью кровати, вылила в стакан Валентины остаток жидкости из флакона.

Затем она удалилась так тихо, что Валентина не слышала ее движений.

Она только видела, как исчезла рука, изящная округлая рука красивой двадцатипятилетней женщины, льющая смерть.

Невозможно выразить, что пережила Валентина за те полторы минуты, которые провела в ее комнате г-жа де Вильфор.

Слабое царапание по шкафу вывело девушку из сковавшего ее оцепенения, подобного параличу.

Она с усилием приподняла голову.

Опять бесшумно отворилась дверца, и снова появился граф де Монте-Кристо.

— Что же, — спросил он, — вы еще сомневаетесь?

— Боже мой! — прошептала Валентина.

— Видели?

— Увы!

— Узнали?

Валентина застонала.

— Да, — сказала она, — но я не могу поверить.

— Вы предпочитаете умереть и тем убить Максимилиана!..

— Боже мой, Боже мой! — повторяла Валентина, едва не теряя рассудок. — Но разве я не могу уйти из дому, убежать?..

— Валентина, рука, которая вас преследует, настигнет вас повсюду; золото купит ваших слуг, и смерть будет ждать вас во всех обличиях: в глотке воды из ручья, в плоде, сорванном с дерева.

— Но ведь вы сами сказали, что дедушка приучил меня к яду.

— Да, к одному яду, и притом в малой дозе, но яд переменят или усилят дозу.

Он взял стакан и омочил губы.

— Так и есть! — сказал он. — Вас хотят отравить уже не бруцином, а простым наркотиком. Я узнаю вкус спирта, в котором его растворили. Если бы вы выпили то, что госпожа де Вильфор налила сейчас в этот стакан, Валентина, вы бы погибли!

— Господи! — воскликнула девушка. — Но за что она меня преследует?

— Неужели вы так чисты сердцем, так далеки от всякого зла, что еще не поняли?

— Нет, — сказала Валентина, — я ей ничего плохого не сделала.

— Да ведь вы богаты, Валентина, у вас двести тысяч ливров годового дохода, и эти двести тысяч вы отнимаете у ее сына.

— Но как же это? Ведь это не ее деньги, они достались мне от моих родных.

— Разумеется. Вот почему и умерли маркиз и маркиза де Сен-Меран: нужно было, чтобы вы получили после них наследство; вот почему в тот день, когда господин Нуартье сделал вас своей наследницей, он был приговорен; вот почему и вы, в свою очередь, должны умереть, Валентина; тогда ваш отец наследует после вас, а ваш брат, став единственным сыном, наследует после отца.

— Эдуар, бедный мальчик! И все эти преступле-

ния совершаются из-за него!

— Наконец-то вы поняли!

— Боже, только бы все это не пало на него!

— Вы ангел, Валентина.

— А дедушку, значит, пощадили?

— Решили, что после вашей смерти его имущество все равно перейдет к вашему брату, если только дед не лишит его наследства, и что в конце концов преступление это было бы бесполезно, а потому особенно опасно.

— Ив уме женщины мог зародиться такой план! Боже, Боже мой!

— Вспомните Перуджу, виноградную беседку в Почтовой гостинице и человека в коричневом плаще, которого ваша мачеха расспрашивала об акватофана. Уже тогда этот адский замысел зрел в ее мозгу.

— Ах, граф, — воскликнула девушка, заливаясь слезами, — если так, я обречена!

— Нет, Валентина, нет. Я все предвидел, и наш враг побежден, ибо он разгадан; нет, вы будете жить, Валентина, жить — чтобы любить и быть любимой, чтобы стать счастливой и дать счастье благородному сердцу, но для этого вы должны всецело довериться мне.

— Приказывайте, граф, что мне делать.

— Принять то, что я вам дам.

— Видит Бог, — воскликнула Валентина, — будь я одинока, я предпочла бы умереть.

— Вы не скажете никому ни слова, даже вашему отцу.

— Но мой отец не причастен к этому злодеянию, правда, граф? — сказала Валентина, умоляюще сложив руки.

— Нет, но ваш отец, человек, искушенный в изобличении преступников, должен был предполагать, что все эти смерти у вас в доме неестественны. Ваш отец сам должен был вас охранять, он должен был быть в этот час на моем месте; он сам должен был выплеснуть эту жидкость, сам должен был уже восстать против убийцы. Призрак против призрака, — прошептал он, заканчивая свою мысль.

— Я сделаю все, чтобы жить, граф, — сказала Валентина, — потому что есть два человека на свете, которые так меня любят, что умрут, если я умру: дедушка и Максимилиан.

— Я буду их охранять, как охранял вас.

— Скажите, что я должна делать, — спросила Валентина. — Господи, что со мной будет? — шепотом прибавила она.

— Что бы с вами ни произошло, Валентина,

не пугайтесь; если вы будете страдать, если вы потеряете зрение, слух, осязание, не страшитесь ничего; если вы очнетесь и не будете знать, где вы, не бойтесь, хотя бы вы проснулись в могильном склепе, в гробу; соберитесь с мыслями и скажите себе: в эту минуту меня охраняет друг, отец, человек, который хочет счастья мне и Максимилиану.

— Какой ужас, неужели иначе нельзя?

— Может быть, вы предпочитаете выдать вашу мачеху?

— Нет, нет, лучше умереть!

— Вы не умрете, Валентина. Что бы с вами ни произошло, обещайте мне не роптать и надеяться!

— Я буду думать о Максимилиане.

— Я люблю вас как родную дочь, Валентина; я один могу вас спасти, и я вас спасу.

В безмерном ужасе Валентина молитвенно сложила руки — она чувствовала, что только Бог может придать ей мужества в этот страшный час. Она шептала бессвязные слова, забыв о том, что белые плечи ее прикрыты только длинными волосами и что сквозь тонкое кружево пеньюара видно, как бьется ее сердце.

Граф осторожно дотронулся до ее руки, натянул

ей на плечи бархатное одеяло и сказал с отеческой улыбкой:

— Дитя мое, верьте моей преданности, как вы верите в милость Божью и в любовь Максимилиана.

Валентина взглянула на него благодарно и кротко, словно послушный ребенок.

Тогда граф вынул из жилетного кармана изумрудную бонбоньерку, открыл золотую крышечку и положил на ладонь Валентины пилюлю величиною с горошину.

Валентина взяла ее и внимательно посмотрела на графа: на лице ее неустрашимого защитника сиял отблеск. божественного могущества и величия. Взгляд Валентины вопрошал.

— Да, — сказал Монте-Кристо.

Валентина поднесла пилюлю к губам и проглотила ее.

— До свидания, дитя мое, — сказал он. — Теперь я попытаюсь уснуть, ибо вы спасены.

— Идите, — сказала Валентина, — я вам обещаю не бояться, что бы со мной ни случилось.

Монте-Кристо долго смотрел на девушку, которая понемногу засыпала, побежденная действием наркотика.

Затем он взял стакан, вылил три четверти в

камин, чтобы можно было подумать, что Валентина пила из него, поставил его опять на ночной столик, потом подошел к книжному шкафу и исчез, бросив последний взгляд на Валентину; она засыпала безмятежно, как ангел, покоящийся у ног Создателя.

V
ВАЛЕНТИНА

Ночник продолжал гореть на камине, поглощая последние капли масла, еще плававшие на поверхности воды; уже краснеющий круг окрашивал алебастровый колпачок, уже потрескивающий огонек вспыхивал последними искрами, ибо и у неживых предметов бывают предсмертные судороги, которые можно сравнить с агонией, уготованной несчастным созданиям — людям; тусклый, зловещий свет бросал опаловые отблески на белый полог постели Валентины.

Уличный шум затих, и воцарилось жуткое безмолвие.

И вот дверь из комнаты Эдуара отворилась, и лицо, которое мы уже видели, отразилось в зеркале, висевшем напротив; то была г-жа де Вильфор,

пришедшая посмотреть на действие напитка.

Она остановилась на пороге, прислушалась к треску ночника, единственному звуку в этой комнате, которая казалась необитаемой, и затем тихо подошла к ночному столику, чтобы взглянуть, пуст ли стакан.

Он был еще на четверть полон, как мы уже сказали.

Госпожа де Вильфор взяла его, вылила остатки в камин и помешала золу, чтобы жидкость лучше впиталась; затем старательно выполоскала стакан, вытерла своим платком и поставила на прежнее место.

Если бы чей-нибудь взор мог проникнуть в эту комнату, от него не укрылось бы, что г-жа Вильфор долго не решалась подойти к кровати и посмотреть на Валентину.

Этот мрачный свет, безмолвие, темные чары ночи, должно быть, нашли отклик в кромешных глубинах ее души: отравительница страшилась своего деяния.

Наконец она собралась с духом, откинула полог, склонилась над изголовьем и посмотрела на Валентину.

Девушка не дышала; легчайшая пушинка не заколебалась бы на ее полуоткрытых, неподвиж-

ных бескровных губах, ее веки подернулись лиловой тенью и слегка припухли, и ее длинные темные ресницы осеняли уже пожелтевшую, как воск, кожу.

Госпожа де Вильфор долго смотрела на это красноречивое в своей неподвижности лицо, наконец отважилась и, приподняв одеяло, приложила руку к сердцу девушки.

Оно не билось.

Трепет, который она ощутила в пальцах, был биением ее собственного пульса; она вздрогнула и отняла руку.

Рука Валентины свесилась с кровати; от плеча до запястья она напоминала руку одной из граций, изваянных Жерменом Пилоном; но кисть была слегка искажена судорогой, и тонкие пальцы, оцепенев, застыли на красном дереве кровати.

Лунки ногтей посинели.

У госпожи де Вильфор не оставалось сомнений: все было кончено; страшное дело, последнее из задуманных ею, наконец свершилось.

Отравительнице нечего было больше делать в этой комнате; она. не выпуская полога из рук, осторожно попятилась, видимо страшась шума собственных шагов по ковру; она была заво-

рожена зрелищем смерти, которое таит в себе неодолимое обаяние, пока смерть еще не разложение, а только неподвижность, пока она еще таинство, а не тлен.

Минуты проходили, а г-жа де Вильфор все не могла выпустить полог, который она простерла, как саван, над головой Валентины. Она платила дань раздумью, а раздумье преступника — муки совести.

И вдруг ночник затрещал громче.

Госпожа де Вильфор вздрогнула и выпустила полог.

В ту же секунду ночник погас, и комната погрузилась в непроглядный мрак.

И в этом мраке вдруг ожили часы и пробили половину пятого.

Преступница, затрепетав, ощупью добралась до двери и вернулась к себе с каплями холодного пота на лбу.

Еще два часа комната оставалась погруженной во тьму.

Затем понемногу ее залил бледный свет, проникая сквозь ставни; постепенно он стал ярче и вернул предметам краски и очертания.

Вскоре на лестнице раздалось покашливание, и в комнату Валентины вошла сиделка с чашкой

в руках.

Отцу, возлюбленному первый же взгляд сказал бы: Валентина умерла, но для этой наемницы Валентина только спала.

— Так, — сказала она, подходя к ночному столику, — она выпила часть микстуры, стакан на две трети пуст.

Затем она подошла к камину, развела огонь, села в кресло и, хотя она только что встала с постели, воспользовалась сном Валентины, чтобы еще немного подремать.

Она проснулась, когда часы били восемь.

Тогда, удивленная непробудным сном больной, испуганная свесившейся рукой, которой спящая так и не шевельнула, сиделка подошла к кровати и только тогда заметила похолодевшие губы и остывшую грудь.

Она хотела поднять руку Валентины, но закоченевшая рука была так неподатлива, что сиделка поняла все.

Она в ужасе вскрикнула и бросилась к двери.

— Помогите! — закричала она. — Помогите!

— Что случилось? — ответил снизу голос доктора д'Авриньи. Это был час его ежедневного визита.

— Что случилось? — послышался голос Виль-

фора, быстро выходящего из кабинета. — Доктор, вы слышите, зовут на помощь?

— Да, да, — отвечал д'Авриньи, — идем, идем скорее к Валентине.

Но прежде чем подоспели отец и доктор, слуги, находившиеся в комнатах и коридорах того же этажа, уже вошли и, увидев Валентину, бледную и неподвижную, на кровати, в отчаянии ломали руки; казалось, у них кружится голова и подкашиваются ноги.

— Позовите госпожу де Вильфор, разбудите госпожу де Вильфор, — кричал королевский прокурор, стоя на пороге, которого он, казалось, не смел переступить.

Но слуги, не отвечая, смотрели на д'Авриньи, который вошел в комнату, бросился к Валентине и приподнял ее.

— И эта!.. — прошептал он, опуская ее. — О Господи, когда же конец?!

Вильфор вбежал в комнату.

— Боже мой, что вы сказали, — отчаянно крикнул он, вздымая руки к небесам. — Доктор!.. Доктор!..

— Я сказал, что Валентина умерла, — торжественно и сурово ответил д'Авриньи.

Вильфор рухнул на колени как подкошенный,

уронив голову на постель Валентины.

При словах доктора, при возгласе отца охваченные паникой слуги выбежали вон с глухими проклятиями, на лестницах и в коридорах были слышны их торопливые шаги, затем громкий шум во дворе; потом все стихло: все, от первого до последнего, бежали из проклятого дома.

Тогда г-жа де Вильфор в накинутом на плечи пеньюаре приподняла портьеру и остановилась на пороге, притворяясь удивленной и стараясь выдавить несколько непокорных слезинок.

Вдруг она побледнела и, вытянув руки, шагнула, вернее, подскочила к ночному столику.

Она увидела, что д'Авриньи нагнулся и внимательно рассматривает стакан, который она своими руками опорожнила в эту ночь.

В стакане было ровно столько жидкости, сколько она выплеснула в золу камина.

Если бы дух Валентины встал перед ней, отравительница была бы не так потрясена.

Этот цвет — цвет напитка, который она налила Валентине в стакан и который Валентина выпила; этот яд не может обмануть глаза д'Авриньи, и тот внимательно его рассматривает; это — чудо, которое сотворил Бог, дабы, вопреки всем уловкам убийцы, остался след, доказательство, улика

преступления.

Пока г-жа де Вильфор застыла, как изваяние, как воплощение ужаса, а Вильфор, припав лицом к постели умершей, не видел ничего вокруг, д'Авриньи подошел к окну. Еще раз тщательно рассмотрев содержимое стакана, он обмакнул в жидкость кончик пальца.

— Это уже не бруцин, — прошептал он, — посмотрим, что это такое!

Он подошел к одному из шкафов, превращенному в аптечку, и, вынув из серебряного футляра склянку с азотной кислотой, налил несколько капель в стакан, и опаловая жидкость тотчас же окрасилась в кроваво-красный цвет.

— Так! — сказал д'Авриньи с отвращением судьи, перед которым открывается истина, и с радостью ученого, разрешившего сложную задачу.

Госпожа де Вильфор оглянулась по сторонам; глаза ее вспыхнули, потом погасли; она, шатаясь, нащупала рукою дверь и скрылась.

Через минуту издали послышался шум падающего тела.

Но никто не обратил на это внимания. Сиделка следила за действиями доктора, Вильфор пребывал все в^том же забытьи.

Один д'Авриньи проводил глазами г-жу де

Вильфор и заметил ее поспешный уход.

Он приподнял портьеру, и через комнату Эдуара его взгляд проник в спальню; г-жа де Вильфор без движения лежала на полу.

— Ступайте туда, — сказал он сиделке, — госпоже де Вильфор дурно.

— Но мадемуазель Валентина? — пробормотала она.

— Мадемуазель Валентина не нуждается больше в помощи, — сказал д'Авриньи, — она умерла.

— Умерла! Умерла! — стонал Вильфор в пароксизме душевной муки, тем более раздирающей, что она была неизведанной, новой, неслыханной для этого стального сердца.

— Что я слышу! Умерла? — раздался третий голос. — Кто сказал, что Валентина умерла?

Вильфор и доктор обернулись. В дверях стоял Моррель, бледный, потрясенный, страшный.

Вот что произошло.

В обычный час через маленькую дверь, ведущую к Нуартье, явился Моррель.

Против обыкновения, дверь не была заперта; ему не пришлось звонить, и он вошел.

Он постоял в прихожей, зовя прислугу, чтобы кто-нибудь проводил его к старику.

Но никто не откликался: слуги, как известно, покинули дом.

Моррель не имел особых поводов к беспокойству. Монте-Кристо обещал ему, что Валентина будет жить, и до сих пор это обещание не было нарушено. Каждый вечер граф приносил ему хорошие вести, подтверждаемые на следующий день самим Нуартье.

Все же это безлюдье показалось ему странным. Он позвал еще раз, в третий раз — та же тишина.

Тогда он решил подняться.

Дверь Нуартье была открыта, как и остальные двери.

Первое, что бросилось ему в глаза, был старик, сидевший в кресле, на своем обычном месте; он был очень бледен, и в его расширенных глазах застыл испуг.

— Как вы поживаете, сударь? — спросил Моррель, не без замирания сердца.

— Хорошо, — показал глазами старик, — хорошо.

Но в его лице можно было угадать нарастающую тревогу.

— Вы чем-то озабочены, — продолжал Моррель. — Вам что-то нужно. Позвать кого-нибудь из слуг?

— Да, — показал Нуартье.

Моррель стал звонить изо всех сил, но, сколько он ни дергал за шнур, никто не приходил.

Он повернулся к Нуартье; лицо старика становилось все бледнее и взгляд все тревожнее.

— Боже мой! — сказал Моррель. — Почему никто не идет? Еще кто-нибудь заболел?

Глаза Нуартье, казалось, готовы были выскочить из орбит.

— Да что с вами? — продолжал Моррель. — Вы меня пугаете! Валентина?..

— Да! Да! — показал Нуартье.

Максимилиан открыл рот, но не мог вымолвить ни слова; он зашатался и прислонился к стене.

Затем он указал рукой на дверь.

— Да! Да! Да! — показал старик.

Максимилиан бросился к маленькой лестнице и спустился по ней в два прыжка, между тем как Нуартье, казалось, кричал ему глазами:

— Скорей, скорей!

Моррель в одну минуту пробежал несколько комнат, пустых, как и весь дом, и достиг комнаты Валентины.

Ему не пришлось отворять дверь, она была раскрыта настежь.

Первое, что он услышал, было рыдание. Он уви-

дел как в тумане коленопреклоненную черную фигуру, зарывшуюся головой в беспорядочную груду белых покрывал. Страх, безмерный страх пригвоздил его к порогу.

И ту г он услышал голос, который говорил: "Валентина умерла", — и другой, который отозвался как эхо:

— Умерла! Умерла!

VI
МАКСИМИЛИАН

Вильфор поднялся, почти стыдясь того, что его застали в припадке такого отчаяния.

Должность грозного обвинителя, которую он занимал в течение двадцати пяти лет, сделала из него нечто большее или, быть может, меньшее, чем человек.

Его взгляд, в первый миг растерянный и блуждающий, остановился на Максимилиане.

— Кто вы, сударь? — сказал он. — Откуда вы? Так не входят в дом, где обитает смерть. Уйдите!

Но Моррель не двигался, он не мог оторвать глаз от ужасного зрелища: от смятой постели и бледного лица на подушках.

— Уходите! Слышите? — крикнул Вильфор.

Д’Авриньи тоже подошел, чтобы заставить Максимилиана уйти.

Тот окинул безумным взором покойницу, обоих мужчин, комнату, хотел, по-видимому, что-то сказать… Наконец, не находя ни слова, чтобы ответить, несмотря на вихрь горестных мыслей, проносившихся в его мозгу, он схватился за голову и бросился к выходу; Вильфор и д’Авриньи, на минуту отвлеченные от своих дум, посмотрели ему вслед и обменялись взглядом, который говорил:

"Это сумасшедший".

Но не прошло и пяти минут, как лестница заскрипела под тяжелыми шагами и опять появился Моррель; с нечеловеческой силой подняв кресло Нуартье, он внес старика на второй этаж. Дойдя до площадки, Моррель опустил кресло на пол и быстро вкатил его в комнату Валентины.

Все это он проделал с удесятеренной силой исступленного отчаяния.

Но страшнее всего было лицо Нуартье, когда Моррель подвез его к кровати Валентины; на этом лице напряженно жили одни глаза, в них сосредоточились все силы разума и все чувства паралитика.

И при виде этого бледного лица с горящим

взглядом Вильфор испугался.

Всю жизнь, всякий раз, как он сталкивался со своим отцом, происходило что-нибудь ужасное.

— Смотрите, что они сделали! — крикнул Моррель, все еще опираясь одной рукой на спинку кресла, которое он подкатил к кровати, а другой указывая на Валентину. — Смотрите, отец!

Вильфор отступил на шаг и с удивлением смотрел на молодого человека, ему почти незнакомого, который называл Нуартье своим отцом.

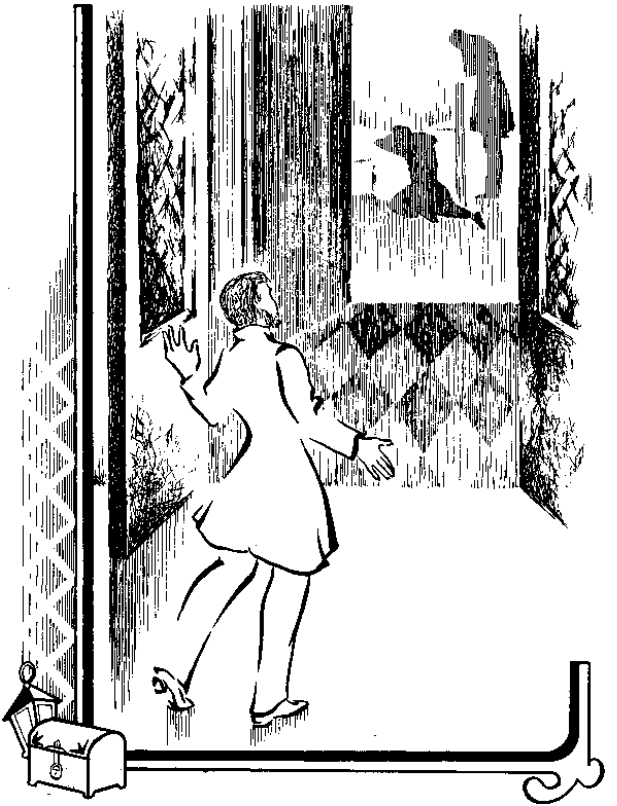
Казалось, в этот миг вся душа старика перешла в его налившиеся кровью глаза; жилы на шее вздулись, синева, вроде той, которая заливает кожу эпилептиков, покрыла шею, щеки и виски; этому внутреннему взрыву, потрясающему все его существо, не хватало только крика.

Этот крик словно выступал из всех пор, страшный в своей немоте, раздирающий в своей беззвучности.

Д'Авриньи бросился к старику и дал ему понюхать спирту.

— Сударь, — крикнул тогда Моррель, схватив недвижную руку паралитика, — меня спрашивают, кто я такой и по какому праву я здесь. Вы знаете, скажите им, скажите!

Рыдания заглушили его голос.



Прерывистое дыхание сотрясало грудь старика. Это возбуждение было похоже на начало агонии.

Наконец слезы хлынули из глаз Нуартье, более счастливого, чем Моррель, который рыдал без слез. Старик не мог наклонить голову и лишь закрыл глаза.

— Скажите, что я был ее женихом, — прерывающимся голосом продолжал Моррель. — Скажите, что она была моим другом, моей единственной любовью на свете! Скажите им, что ее бездыханный труп принадлежит мне!

И он бросился на колени перед постелью, судорожно вцепившись в нее руками.

Видеть этого большого, сильного человека, раздавленного горем, было так мучительно, что д'Авриньи отвернулся, чтобы скрыть волнение. Вильфор, не требуя больше объяснений, покоренный притягательной силой, которая влечет нас к людям, любившим тех, кого мы оплакиваем, протянул Моррелю руку.

Но Максимилиан ничего не видел; он схватил ледяную руку Валентины и, не умея плакать, глухо стонал, сжимая зубами край простыни.

Несколько минут в этой комнате слышались только рыдания, проклятия и молитвы.

И все же один звук господствовал над всем:

то было хриплое, страшное дыхание Нуартье. Казалось, при каждом вдохе рвались жизненные пружины в его груди.

Наконец Вильфор, владевший собой лучше других и как бы уступивший на время свое место Максимилиану, решился заговорить.

— Сударь, — сказал он, — вы говорите, что вы любили Валентину, что вы были ее женихом. *Я* не знал об этой любви, о вашем сговоре; и все же я, ее отец, прощаю вам это, ибо, я вижу, ваше горе велико и неподдельно.

Ведь и мое горе слишком велико, чтобы в душе у меня оставалось место для гнева.

Но вы видите, ангел, который сулил вам счастье, покинул землю; ей не нужно больше земного поклонения, ныне она предстала перед Творцом. Проститесь же с ее бренными останками, коснитесь в последний раз руки, которую вы ждали, и расстаньтесь с ней навсегда; Валентине нужен теперь только священник, который ее благословит.

— Вы ошибаетесь, сударь, — воскликнул Моррель, подымаясь на одно колено, и его сердце пронзила такая боль, какой он никогда еще не испытывал, — вы ошибаетесь. Валентина умерла, но она умерла такой смертью, что нуждается

не только в священнике, но и в мстителе! Посылайте за священником, господин де Вильфор, а мстителем буду я!

— Что вы хотите сказать, сударь? — пробормотал Вильфор; полубезумный выкрик Морреля заставил его содрогнуться.

— Я хочу сказать, что в вас — два человека, сударь! — продолжал Моррель. — Отец довольно плакал — пусть выступит королевский прокурор.

Глаза Нуартье сверкнули; д'Авриньи подошел ближе.

— Я знаю, что говорю, сударь, — продолжал Моррель, читая по лицам присутствующих все их чувства, — и вы знаете не хуже моего то, что я скажу: Валентину убили!

Вильфор опустил голову; д'Авриньи подошел еще на шаг; Нуартье утвердительно опустил веки.

— В наше время, — продолжал Моррель, — живое существо, даже не такое юное, прекрасное и достойное обожания, как Валентина, не может умереть насильственной смертью без того, чтобы не потребовали отчета в его гибели. Господин королевский прокурор, — закончил Моррель с возрастающим жаром, — здесь нет места жало-

сти! Я вам указываю на преступление, ищите убийцу!

И его неумолимый взгляд вопрошал Вильфора, который, в свою очередь, искал взгляда то Нуартье, то д'Авриньи.

Но вместо того чтобы поддержать Вильфора, отец и доктор ответили ему таким же непреклонным взглядом.

— Да! — показал старик.

— Безусловно! — сказал д'Авриньи.

— Вы ошибаетесь, сударь, — проговорил Вильфор, пытаясь побороть волю трех человек и собственное волнение, — в моем доме не совершается преступлений: меня разит судьба, меня тяжко испытует Бог, но у меня никого не убивают!

Глаза Нуартье сверкнули; д'Авриньи открыл рот, чтобы возразить.

Моррель протянул руку, призывая к молчанию.

— А я вам говорю, что здесь убивают! — сказал он негромко, но грозно. — Я вам говорю, что это уже четвертая жертва за четыре месяца! Я вам говорю, что четыре дня тому назад уже пытались отравить Валентину, но это не удалось благодаря предосторожности господина Нуартье! Я вам

говорю, что дозу удвоили или переменили яд, и на этот раз злодеяние удалось! Я вам говорю, что вы это знаете так же хорошо, как и я, потому что господин д'Авриньи вас об этом предупредил и как врач и как друг:

— Вы бредите, сударь, — сказал Вильфор, тщетно пытаясь освободиться от захлестнувшей его петли.

— Я брежу? — воскликнул Моррель. — В таком случае я обращаюсь к самому господину д'Авриньи. Спросите у него, сударь, помнит ли он слова, произнесенные им в вашем саду, перед этим домом в вечер смерти госпожи де Сен-Меран; тогда вы оба, думая, что вы одни, говорили об этой трагической смерти; вы ссылаетесь на судьбу, вы несправедливо обвиняете Бога, но судьба и Бог причастны к этой смерти только тем, что создали убийцу Валентины!

Вильфор и д'Авриньи переглянулись.

— Да, да, припомните, — сказал Моррель, — вы думали, что эти слова были сказаны в тишине и одиночестве, затерялись во мраке, но они достигли моих ушей. Конечно, после того вечера, видя преступную снисходительность господина де Вильфора к своим близким, я должен был все раскрыть властям. Я не оказался бы тогда

соучастником твоей смерти, Валентина, любимая! Но соучастник превратится в мстителя, это четвертое убийство очевидно для всякого, и если отец твой покинет тебя, Валентина, клянусь тебе, я сам буду преследовать убийцу!

И словно природа сжалилась наконец над этим сильным человеком, готовым сломиться под натиском собственной силы, последние слова Морреля замерли в его гортани, из груди его вырвалось рыдание, непокорные слезы хлынули из глаз, он покачнулся и с плачем вновь упал на колени у кровати Валентины.

Тогда настала очередь д'Авриньи.

— Я разделяю чувства господина Морреля и тоже требую правосудия, — сказал он громко. — У меня сердце разрывается от мысли, что моя малодушная снисходительность поощрила убийцу!

— Боже мой! — еле слышно прошептал подавленный Вильфор.

Моррель поднял голову и, читая в глазах старика, горевших нечеловеческим пламенем, сказал:

— Смотрите, господин Нуартье хочет говорить.

— Да, — показал Нуартье, с выражением тем более ужасным, потому что все способности этого несчастного, беспомощного старика были сосредоточены в его взгляде.

— Вы знаете убийцу? — спросил Моррель.

— Да, — ответил Нуартье.

— И вы нам укажете его? — воскликнул Максимилиан. — Мы слушаем! Господин д'Авриньи, слушайте!

Глаза Нуартье улыбнулись несчастному Моррелю грустно и нежно, одной из тех улыбок, которые так часто радовали Валентину.

Затем, как бы приковав глаза собеседника к своим, он перевел взгляд на дверь.

— Вы хотите, чтобы я вышел? — горестно воскликнул Моррель.

— Да, — показал Нуартье.

— Пожалейте меня!

Глаза старика оставались неумолимо устремленными на дверь.

— Но потом мне можно будет вернуться? — спросил Максимилиан.

— Да.

— Я должен выйти один?

— Нет.

— Кого же я должен увести? Господина де Вильфора?

— Нет.

— Доктора?

— Да.

— Вы хотите остаться один с господином де Вильфором?

— Да.

— А он поймет вас?

— Да.

— Будьте спокойны, — сказал Вильфор, едва ли не радуясь, что следствие будет вестись с глазу на глаз, — я отлично понимаю отца.

Хотя он говорил это, как мы отметили, с почти радостным выражением, зубы его громко стучали.

Д'Авриньи взял Максимилиана под руку и увел его в соседнюю комнату.

Тогда во всем доме воцарилось молчание, более глубокое, чем молчание смерти.

Наконец через четверть часа послышались нетвердые шаги, и Вильфор появился на пороге гостиной, где находились д'Авриньи и Моррель, один — погруженный в задумчивость, другой — задыхающийся от горя.

— Идемте, — сказал Вильфор.

И он подвел их к Нуартье.

Моррель внимательно посмотрел на Вильфора.

Лицо королевского прокурора было мертвенно-бледно, багровые пятна выступили у него на лбу;

его пальцы судорожно теребили перо, ломая его на мелкие куски.

— Господа, — сдавленным голосом сказал он д'Авриньи и Моррелю, — дайте мне честное слово, что эта ужасная тайна останется погребенной в наших сердцах!

У тех вырвалось невольное движение.

— Умоляю вас!.. — продолжал Вильфор.

— А что же виновник!.. — сказал Моррель. — Убийца!.. Отравитель!..

— Будьте спокойны, сударь, правосудие совершится, — сказал Вильфор. — Мой отец открыл мне имя виновного; мой отец жаждет мщения, как и вы, но он, как и я, заклинает вас хранить преступление в тайне. Правда, отец?

— Да, — решительно показал Нуартье.

Моррель невольно отшатнулся с жестом ужаса и недоверия.

— Сударь, — воскликнул Вильфор, удерживая Морреля за руку, — вы знаете, мой отец — непреклонный человек, и если он обращается к вам с такой просьбой, значит, он уверен, что Валентина будет жестоко отомщена. Правда, отец?

Старик сделал знак, что да.

Вильфор продолжал:

— Он меня знает, а я дал ему слово. Можете

быть спокойны, господа; я прошу у вас три дня, это меньше, чем у вас попросил бы суд; и через три дня мщение, которое постигнет убийцу моей дочери, заставит содрогнуться самые бесчувственные сердца. Правда, отец?

При этих словах он скрипнул зубами и потряс мертвую руку старика.

— Обещание будет исполнено, господин Нуартье? — спросил Моррель; д'Авриньи взглядом спросил о том же.

— Да! — показал Нуартье с мрачной радостью в глазах.

— Так поклянитесь, господа, — сказал Вильфор, соединяя руки д'Авриньи и Морреля, — поклянитесь, что вы пощадите честь моего дома и предоставите мщение мне.

Д'Авриньи отвернулся и неохотно прошептал "да", но Моррель вырвал руку из рук Вильфора, бросился к постели, прижался губами к ледяным губам Валентины и выбежал вон с протяжным стоном отчаяния.

Как мы уже сказали, все слуги исчезли.

Поэтому Вильфору пришлось просить д'Авриньи взять на себя все те многочисленные и сложные хлопоты, которые влечет за собой смерть в наших больших городах, особенно смерть при

таких подозрительных обстоятельствах.

Что касается Нуартье, то было страшно смотреть на это недвижимое горе, это окаменелое отчаяние, эти беззвучные слезы.

Вильфор заперся в своем кабинете; д'Авриньи пошел за городским врачом, обязанность которого — засвидетельствовать смерть и которого выразительно именуют "доктором мертвых".

Нуартье не захотел расставаться с внучкой.

Через полчаса д'Авриньи вернулся со своим собратом; дверь с улицы была заперта, и, так как привратник исчез вместе с остальными слугами, Вильфор сам пошел отворить.

Но у комнаты Валентины он остановился; у него не хватило мужества снова войти туда.

Оба доктора вошли одни.

Нуартье сидел у кровати, бледный, как сама покойница, недвижимый и безмолвный, как она.

Доктор мертвых подошел к постели с равнодушием человека, который полжизни проводит с трупами, откинул с лица девушки простыню и приоткрыл ей губы.

— Да, — сказал д'Авриньи со вздохом, — бедная девушка мертва, сомнений нет.

— Да, — коротко ответил доктор мертвых, снова закрывая простыней лицо Валентины.

Нуартье глухо захрипел.

Д'Авриньи обернулся: глаза старика сверкали.

Д'Авриньи понял, что Нуартье хочет видеть свою внучку; он подошел к кровати, и, пока второй врач полоскал в хлористой воде пальцы, которые коснулись губ умершей, он открыл это спокойное бледное лицо, подобное лицу спящего ангела.

Слезы, выступившие на глазах Нуартье, сказали д'Авриньи, как благодарен ему несчастный старик.

Доктор мертвых написал свидетельство тут же в комнате Валентины, на краю стола, и, совершив эту последнюю формальность, вышел, провожаемый д'Авриньи.

Вильфор услышал, как они спускались с лестницы, и вышел из своего кабинета.

Сказав несколько слов благодарности доктору, он обратился к д'Авриньи.

— Теперь нужен священник, — сказал он.

— Есть какой-нибудь священник, которого вы хотели бы пригласить? — спросил д'Авриньи.

— Нет, — отвечал Вильфор, — обратитесь к ближайшему.

— Ближайший, — сказал городской врач, — это итальянский аббат, поселившийся в доме рядом

с вами. Хотите, проходя мимо, я его попрошу?

— Будьте добры, д'Авриньи, — сказал Вильфор, — пойдите с господином доктором. Вот ключ, чтобы вы могли входить и выходить, когда вам нужно. Приведите священника и устройте его в комнате моей бедной девочки.

— Вы хотите с ним поговорить, мой друг?

— Я хочу побыть один. Вы меня простите, правда?

Священник должен понимать все страдания, тем более страдания отца.

Вильфор вручил д'Авриньи ключ, поклонился еще раз городскому врачу и, вернувшись к себе в кабинет, принялся за работу.

Есть люди, для которых работа служит лекарством от всех страданий.

Выйдя на улицу, оба врача заметили человека в черной сутане, стоявшего на пороге соседнего дома.

— Вот тот, о ком я вам говорил, — сказал доктор мертвых.

Д'Авриньи подошел к священнику:

— Сударь, не согласитесь ли вы оказать услугу несчастному отцу, потерявшему только что дочь, королевскому прокурору де Вильфору?

— Да, сударь, — отвечал священник с сильным

итальянским акцентом, — я знаю, смерть поселилась в его доме.

— Тогда мне незачем говорить вам, какого рода помощи он от вас ожидает.

— Я шел предложить свои услуги, сударь, — сказал священник, — наше назначение — идти навстречу нашим обязанностям.

— Это молодая девушка.

— Да, знаю, мне сказали слуги, я видел, как они бежали из дома. Я узнал, что ее имя Валентина, и я уже молился за нее.

— Благодарю вас, — сказал д'Авриньи, — и раз вы уже приступили к вашему святому служению, благоволите его продолжить. Будьте возле усопшей, и вам скажет спасибо безутешная семья.

— Иду, сударь, — отвечал аббат, — и смею сказать, что не будет молитвы горячей, чем моя.

Д'Авриньи взял аббата за руку и, не встретив Вильфора, затворившегося у себя в кабинете, проводил его к покойнице, которую должны были облечь в саван только ночью.

Когда они входили в комнату, глаза Нуартье встретились с глазами аббата; вероятно, Нуартье увидел в них что-то необычайное, потому что взгляд его больше не отрывался от лица священника.

Д'Авриньи поручил попечению аббата не только усопшую, но и живого, и тот обещал д'Авриньи помолиться о Валентине и позаботиться о Нуартье.

Обещание аббата звучало торжественно, и для того, должно быть, чтобы ему не мешали в его молитвах и не беспокоили Нуартье в его горе, он, едва д'Авриньи удалился, запер на задвижку не только дверь, в которую вышел доктор, но и ту, которая вела к г-же де Вильфор.

VII
ПОДПИСЬ ДАНГЛАРА

Утро настало пасмурное и унылое.

Ночью гробовщики исполнили свою печальную обязанность и зашили лежащее на кровати тело в саван — скорбную одежду усопших, которая, что бы ни говорили о всеобщем равенстве перед смертью, служит последним напоминанием о роскоши, любимой ими при жизни.

Этот саван был не что иное, как кусок тончайшего батиста, купленный Валентиной две недели тому назад.

Нуартье еще вечером перенесли из комнаты Валентины в его комнату. Против всяких

ожиданий, старик не противился тому, что его разлучают с телом внучки.

Аббат Бузони пробыл до утра и на рассвете ушел, никому не сказав ни слова.

В восемь часов приехал д'Авриньи; он встретил Вильфора, который шел к Нуартье, и отправился вместе с ним, чтобы узнать, как старик провел ночь.

Они застали его в большом кресле, служившем ему кроватью; старик спал спокойным, почти безмятежным сном.

Удивленные, они остановились на пороге.

— Посмотрите, — сказал д'Авриньи Вильфору, смотревшему на спящего отца, — природа умеет успокоить самое сильное горе; конечно, никто не скажет, что господин Нуартье не любил своей внучки, и, однако, он спит.

— Да, вы правы, — с недоумением сказал Вильфор, — он спит, и это очень странно: ведь из-за малейшей неприятности он способен не спать целыми ночами.

— Горе сломило его, — отвечал д'Авриньи.

И оба, погруженные в раздумье, вернулись в кабинет королевского прокурора.

— А вот я не спал, — сказал Вильфор, указывая д'Авриньи на нетронутую постель, — меня горе

не может сломить: уже две ночи я не ложился, но зато посмотрите на мой стол: сколько я написал в эти два дня и две ночи!.. Сколько рылся в этом деле, сколько заметок сделал на обвинительном акте убийцы Бенедетто!.. О работа, моя страсть, мое счастье, мое безумие, ты одна можешь победить все мои страдания!

И он судорожно сжал руку д'Авриньи.

— Я вам нужен? — спросил доктор.

— Нет, — сказал Вильфор, — только возвращайтесь, пожалуйста, к одиннадцати часам, в двенадцать часов состоится… вынос… Боже мой, моя девочка, моя бедная девочка!

И королевский прокурор, снова становясь человеком, поднял глаза к небу и вздохнул.

— Вы будете принимать соболезнования?

— Нет, один мой родственник берег на себя эту тягостную обязанность. Я буду работать, доктор; когда я работаю, все исчезает.

И не успел доктор дойти до дверей, как королевский прокурор снова принялся за свои бумаги.

На крыльце д'Авриньи встретил родственника, о котором ему говорил Вильфор, личность незначительную как в этой повести, так и в семье, одно из тех существ, которые от рождения предназначены играть в жизни роль статиста.

Весь в черном, с крепом на рукаве, он исправно явился в дом Вильфора с подобающим случаю выражением лица, намереваясь его сохранить, пока требуется, и немедленно сбросить после церемонии.

В одиннадцать часов траурные кареты застучали по мощеному двору и предместье Сент-Оноре огласилось гулом толпы, которая одинаково жадно смотрит и на радости и на печали богачей и бежит на пышные похороны с той же торопливостью, что и на свадьбу герцогини.

Понемногу гостиная, где стоял гроб, наполнилась посетителями. Сначала явились некоторые наши старые знакомые— Дебрэ, Шато-Рено, Бошан, потом — все знаменитости судебного, литературного и военного мира, ибо г-н де Вильфор, не столько даже по своему общественному положению, сколько в силу личных достоинств, занимал одно из первых мест в парижском свете.

Родственник стоял у дверей, встречая прибывающих, и для равнодушных людей, надо сознаться, было большим облегчением увидеть равнодушное лицо, не требовавшее от них лицемерной печали, притворных слез, как это полагалось бы в присутствии отца, брата или жениха.

Те, кто были знакомы между собой, подзывали друг друга взглядом и собирались группами. Одна такая группа состояла из Дебрэ, Шато-Рено и Бошана.

— Бедняжка, — сказал Дебрэ, невольно, как, впрочем, и все, платя дань печальному событию. — Бедняжка! Такая богатая! Такая красивая! Могли бы вы подумать об этом, Шато-Рено, когда мы пришли… давно ли?.. Да три недели, месяц тому назад самое большое… подписывать брачный договор, который так и не был подписан?

— Признаться, никак не подумал бы, — сказал Шато-Рено.

— Вы ее знали?

— Я говорил с ней раза два на балу у госпожи де Мор-сер; она мне показалась очаровательной, только немного меланхоличной. А где мачеха, вы не знаете?

— Она проведет весь день у жены этого почтенного господина, который нас встречал.

— Кто он такой?

— Это вы о ком?

— Да господин, который нас встречал. Он депутат?

— Нет, — сказал Бошан, — я осужден видеть наших законодателей каждый день, и эта физио-

номия мне незнакома.

— Вы упомянули об этой смерти в своей газете?

— Заметка не моя, но она наделала шуму, и я сомневаюсь, чтобы она была приятна Вильфору. Насколько я знаю, в ней сказано, что если бы четыре смерти последовали одна за другой в каком-нибудь другом доме, а не в доме королевского прокурора, то королевский прокурор был бы, наверное, более взволнован.

— Но доктор д'Авриньи, который лечит и мою мать, говорит, что Вильфор в большом горе, — заметил Шато-Рено.

— Кого вы ищете, Дебрэ?

— Господина де Монте-Кристо.

— Я встретил его на бульваре, когда шел сюда. Он, по-видимому, собирается уезжать; он ехал к своему банкиру, — сказал Бошан.

— К банкиру? Ведь его банкир — Данглар? — спросил Шато-Рено у Дебрэ.

— Как будто да, — отвечал личный секретарь с некоторым смущением, — но здесь не хватает не только де Монте-Кристо. Я не вижу Морреля.

— Морреля? А разве он с ними знаком? — спросил Шато-Рено.

— Мне кажется, он был представлен только

госпоже де Вильфор.

— Все равно, ему бы следовало прийти, — сказал Дебрэ, — о чем он будет говорить вечером? Эти похороны— злоба дня. Но тише, помолчим; вот министр юстиции и культов; он почтет себя обязанным обратиться с маленьким спичем к опечаленному родственнику.

И молодые люди подошли к дверям, чтобы услышать "спич" министра.

Бошан сказал правду; идя на похороны, он встретил Монте-Кристо, который ехал к Данглару, на улицу Шоссе-д'Антен.

Банкир из окна увидел коляску графа, въезжавшую во двор, и вышел ему навстречу с грустным, но приветливым лицом.

— Я вижу, граф, — сказал он, протягивая руку Монте-Кристо, — вы заехали выразить мне сочувствие. Да, такое несчастье посетило мой дом, что, увидав вас, я даже задал себе вопрос, не пожелал ли я несчастья беднягам Морсерам, — это оправдало бы пословицу: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь". Но нет, честное слово, я не желал Морсеру зла; быть может, он был немного спесив для человека, начавшего с пустыми руками, как и я, обязанного всем самому себе, как и я; но у всякого свои недостатки. Будьте осторожны, граф:

людям нашего поколения… впрочем, простите, вы не нашего поколения — вы человек молодой… Людям моего поколения не везет в этом году: свидетель тому — наш пуританин, королевский прокурор, который только что потерял дочь. Вы посмотрите, у Вильфора странным образом погибает вся семья, Морсер опозорен и кончает самоубийством, я стал посмешищем из-за этого негодяя Бенедетто и вдобавок…

— Что вдобавок? — спросил граф.

— Увы, разве вы не знаете?

— Какое-нибудь новое несчастье?

— Моя дочь…

— Мадемуазель Данглар?

— Эжени нас покидает.

— Да что вы!

— Да, дорогой граф. Ваше счастье, что у вас нет ни жены, ни детей!

— Вы находите?

— Еще бы!

— И вы говорите, что мадемуазель Эжени…

— Она не могла перенести позора, которым нас покрыл этот негодяй, и попросила меня отпустить ее путешествовать.

— И она уехала?

— Прошлой ночью.

— С госпожой Данглар?

— Нет, с одной нашей родственницей… Но как-никак мы потеряли нашу дорогую Эжени: сомневаюсь, чтобы с ее характером она согласилась когда-либо вернуться во Францию!

— Что поделаешь, дорогой барон, — сказал Монте-Кристо. — Все эти семейные горести — катастрофа для какого-нибудь бедняка, у которого ребенок — единственное богатство, но они не так страшны для миллионера. Что бы ни говорили философы, деловые люди всегда докажут им противное; деньги утешают во многих бедах, а вы должны утешиться скорее, чем кто бы то ни было, если вы верите в целительную силу этого бальзама; вы — король финансов, точка пересечения всех могущественных сил.

Данглар искоса взглянул на графа, стараясь понять, смеется ли он или говорит серьезно.

— Да, — сказал он, — если богатство утешает, я должен быть утешен: я богат.

— Так богаты, дорогой барон, что ваше богатство подобно пирамидам; если бы хотели их разрушить, то не посмели бы; а если бы посмели, то не смогли бы.

Данглар улыбнулся доверчивому простодушию графа.

— Кстати, когда вы вошли, я как раз выписывал пять бумажек; две из них я уже подписал; разрешите мне подписать три остальные?

— Пожалуйста, дорогой барон, пожалуйста.

Наступило молчание, слышно было, как скрипело перо банкира; Монте-Кристо разглядывал раззолоченную лепку потолка.

— Испанские бумаги? — сказал Монте-Кристо. — Или гаитянские, или неаполитанские?

— Нет, — отвечал Данглар, самодовольно посмеиваясь, — чеки на предъявителя, чеки на Французский банк. Вот, граф, — прибавил он, — вы император финансов, если я король; часто вам случалось видеть такие вот клочки бумаги стоимостью по миллиону?

Монте-Кристо взял в руку, словно желая их взвесить, пять клочков бумаги, горделиво переданных ему Данглaром, и прочел:

"Господин директор банка, благоволите уплатить предъявителю сего за мой счет один миллион франков.

Барон Данглар".

— Один, два, три, четыре, пять, — сказал Монте-Кристо, — пять миллионов! Черт возьми, вот так размах, господин Крёз!

— Вот как я делаю дела! — сказал Данглар.

— Это удивительно, особенно если эта сумма, в чем я, впрочем, не сомневаюсь, будет уплачена наличными.

— Так оно и будет, — сказал Данглар.

— Хорошо иметь такой кредит; в самом деле, только во Франции видишь такие вещи: пять клочков бумаги, которые стоят пять миллионов. Нужно видеть это, чтобы поверить.

— А вы сомневаетесь?

— Нет.

— Вы это говорите таким тоном... Хотите, доставьте себе удовольствие: пойдите с моим доверенным в банк, и вы увидите, как он выйдет оттуда с облигациями казначейства на ту же сумму.

— Нет, право, это слишком любопытно, — сказал Монте-Кристо, складывая все пять чеков, — я сам произведу опыт. Мой кредит у вас был на шесть миллионов; я взял девятьсот тысяч франков, за вами остается пять миллионов сто тысяч. Я беру ваши клочки бумаги, которые я принимаю за валюту при одном взгляде на вашу подпись, и вот вам общая расписка на шесть миллионов, которая уравнивает наши счеты. Я приготовил ее заранее, так как должен сознаться, что мне очень нужны деньги сегодня.

И, кладя чеки в карман, он другой рукой протянул банкиру расписку.

Молния, упавшая у ног Данглара, не поразила бы его большим ужасом.

— Как же так? — пролепетал он. — Вы береге эти деньги, граф? Но, простите, эти деньги я должен приютам, это вклад, и я обещал уплатить сегодня.

— А, это другое дело, — сказал Монте-Кристо. — Мне не нужны непременно эти чеки, заплатите мне какими-нибудь другими ценностями. Я их взял просто из любопытства, чтобы иметь возможность рассказывать повсюду, что без всякого предупреждения, не попросив у меня и пяти минут отсрочки, банк Данглара выплатил мне пять миллионов наличными. Эго было бы великолепно! Но вот ваши чеки; повторяю, дайте мне что-нибудь другое.

Он подал чеки Данглару, и тот, смертельно бледный, протянул было руку, как коршун протягивает когти сквозь прутья клетки, чтобы вцепиться в мясо, которое у него отнимают.

Но вдруг он спохватился, сделал над собой усилие и сдержался. Затем он улыбнулся, и его искаженное лицо смягчилось.

— Впрочем, — сказал он, — ваша расписка —

это те же деньги.

— Ну, конечно! Будь вы в Риме, Томсон и Френч платили бы вам по моей расписке с той же легкостью, с какой вы сами сделали это сейчас.

— Извините меня, граф, извините.

— Так я могу оставить эти деньги себе?

— Да, да, оставьте, — сказал Данглар, отирая вспотевший лоб.

Монте-Кристо положил чеки обратно в карман, причем лицо его ясно говорило:

"Что ж, подумайте; если вы раскаиваетесь, еще не поздно".

— Нет, нет, — сказал Данглар, оставьте эти чеки себе. Но, вы знаете, мы, финансисты, очень щепетильны. Я предназначал эти деньги приютам, и мне казалось, что я их обкрадываю, если не плачу именно этими чеками, как будто деньги не все одинаковы. Простите меня!

И он громко, но нервически рассмеялся.

— Прощаю, — любезно отвечал Монте-Кристо, — и кладу деньги в карман.

И он вложил чеки в свой бумажник.

— Но у вас остается еще сто тысяч франков? — сказал Данглар.

— О, пустяки! — сказал Монте-Кристо. — Лаж, вероятно, составляет приблизительно ту же сум-

му; оставьте ее себе, и мы будем квиты.

— Вы говорите серьезно, граф?

— Я никогда не шучу с банкирами, — отвечал Монте-Кристо с серьезностью, граничащей с дерзостью.

И он направился к двери как раз в ту минуту, когда лакей докладывал:

— Господин де Бовиль, главный казначей Управления приютов.

— Вот видите, — сказал Монте-Кристо, — я пришел как раз вовремя, чтобы воспользоваться вашими чеками; их берут нарасхват.

Данглар снова побледнел и поспешил проститься с графом.

Монте-Кристо обменялся церемонным поклоном с г-ном де Бовилем, который дожидался в приемной и был тотчас же после ухода графа введен в кабинет Данглара.

На лице графа, всегда таком серьезном, мелькнула мимолетная улыбка, когда в руке у казначея приютов он увидел бумажник.

У дверей его ждала коляска, и он велел тотчас же ехать в банк.

Тем временем Данглар, подавляя волнение, шел навстречу посетителю.

Нечего и говорить, что на его губах застыла

приветливая улыбка.

— Здравствуйте, дорогой кредитор, — сказал он, потому что я бьюсь о заклад, что ко мне является именно кредитор.

— Вы угадали, барон, — отвечал Бовиль, — в моем лице к вам являются приюты: вдовы и сироты моей рукой просят у вас подаяния в пять миллионов.

— А еще говорят, что сироты достойны сожаления! — сказал Данглар, продолжая шутку. — Бедные дети!

— Вот я и пришел от их имени, — сказал Бовиль. — Вы должны были получить мое письмо вчера…

— Да.

— Вот и я, с распиской в получении.

— Дорогой господин де Бовиль, — сказал Данглар, — ваши вдовы и сироты, если вы ничего не имеете против, будут добры подождать двадцать четыре часа, потому что граф де Монте-Кристо, который только что отсюда вышел… ведь вы с ним встретились, правда?

— Да, так что же?

— Так вот, господин де Монте-Кристо унес их пять миллионов!

— Как так!

— Граф имел у меня неограниченный кредит, открытый римским домом "Томсон и Френч". Он попросил у меня сразу пять миллионов, и я дал ему чек на банк; там я держу свои деньги; вы понимаете, я боюсь, что, если я потребую у управляющего банком десять миллионов в один день, это может ему показаться весьма странным. В два дня — другое дело, — добавил Данглар с улыбкой.

— Да что вы! — недоверчиво воскликнул Бовиль. — Пять миллионов этому господину, который только что вышел отсюда да еще раскланялся со мной, как будто я с ним знаком?

— Быть может, он вас знает, хотя вы с ним и не знакомы. Граф де Монте-Кристо знает всех.

— Пять миллионов!

— Вот его расписка. Поступите как апостол Фома: посмотрите и потрогайте.

Бовиль взял бумагу, которую ему протягивал Данглар, и прочел:

"Получил от барона Данглара пять миллионов сто тысяч франков, которые, по его желанию, будут ему возмещены банкирским домом "Томсон и Френч" в Риме".

— Все верно! — сказал он.

— Вам известен этот дом?

— Да, — сказал Бовиль, — у меня была с ним однажды сделка в двести тысяч франков, но с тех пор я больше ничего о нем не слышал.

— Это один из лучших банкирских домов в Европе, — сказал Данглар, небрежно бросая на стол взятую им из рук Бовиля расписку.

— И на его счету было пять миллионов только у вас? Да это какой-то набоб, этот граф де Монте-Кристо!

— Я уж, право, не знаю, кто он такой, но у него было три неограниченных кредита: один у меня, другой у Ротшильда, третий у Лаффита, и, как видите, — небрежно добавил Данглар, — он отдал предпочтение мне и оставил сто тысяч франков на лаж.

Бовиль выказал все признаки величайшего восхищения.

— Нужно будет его навестить, — сказал он. — Я постараюсь, чтобы он основал у нас какое-нибудь благотворительное заведение.

— И это дело верное: он одной милостыни раздает больше, чем на двадцать тысяч франков в месяц.

— Это замечательно! Притом, я ему поставлю в пример госпожу де Морсер и ее сына.

— В каком отношении?

— Они пожертвовали все свое состояние приютам.

— Какое состояние?

— Да их собственное, состояние покойного генерала де Морсер.

— Но почему?

— Потому, что они не хотели пользоваться имуществом, приобретенным такими низкими способами.

— Чем же они будут жить?

— Мать уезжает в провинцию, а сын поступает на военную службу.

— Скажите, какая щепетильность! — воскликнул Данглар.

— Я не далее как вчера зарегистрировал дарственный акт.

— И сколько у них было?

— Да не слишком много, миллион двести тысяч с чем-то. Но вернемся к нашим миллионам.

— Извольте, — сказал самым естественным тоном Данглар. — Так вам очень спешно нужны эти деньги?

— Очень, завтра у нас кассовая ревизия.

— Завтра! Почему вы это сразу не сказали? До завтра еще целая вечность! В котором часу ревизия?

— В два часа.

— Пришлите в полдень, — сказал с обычной улыбкой Данглар.

Бовиль в ответ только кивнул, теребя свой бумажник.

— Или вот что, — сказал Данглар, — можно сделать лучше.

— Что именно?

— Расписка графа Монте-Кристо — это те же деньги, предъявите эту расписку Ротшильду или Лаффиту — они тотчас же ее примут.

— Несмотря на то, что им придется рассчитываться с Римом?

— Разумеется, вы только потеряете тысяч пять-шесть на учете.

Казначей подскочил.

— Ну нет, знаете: я лучше подожду до завтра. Как вы это просто говорите!

— Прошу прощения, — сказал Данглар с удивительной наглостью, — я было подумал, что вам нужно покрыть небольшую недостачу.

— Что вы! — воскликнул казначей.

— Это бывает у нас, и тогда приходится идти на жертвы.

Слава Богу, нет, — сказал Бовиль.

— В таком случае до завтра; согласны, мой

дорогой?

— Хорошо, до завтра; но уж наверное?

— Да вы шутите! Пришлите в полдень, банк будет предупрежден.

— *Я* приду сам.

— Тем лучше, я буду иметь удовольствие увидеться с вами.

Они пожали друг другу руки.

— Кстати, — сказал Бовиль, — разве вы не будете на похоронах бедной мадемуазель де Вильфор? Я встретил процессию на бульваре.

— Нет, — отвечал банкир, — я еще немного смешон после этой истории с Бенедетто и прячусь.

— Напрасно; чем вы виноваты?

— Знаете, мой дорогой, когда носишь незапятнанное имя, как мое, становишься щепетилен.

— Все сочувствуют вам, поверьте, и все особенно жалеют вашу дочь.

— Бедная Эжени! — произнес Данглар с глубоким вздохом. — Вы знаете, что она постригается?

— Нет.

— Увы, к несчастью, это так. На следующий день после скандала она решила уехать с подругой-монахиней; она хочет поискать какой-нибудь строгий монастырь в Италии или в Испании.

— Это ужасно!

И господин де Бовиль удалился, выражая свои соболезнования несчастному отцу.

Но едва он вышел, как Данглар с выразительным жестом, о котором могут составить себе представление только те, кто видел, как Фредерик играет Робера Макера, воскликнул:

— Болван!!!

И, пряча расписку Монте-Кристо в маленький бумажник, добавил:

— Приходи в полдень! В полдень я буду далеко!

Затем он запер двери на ключ, опорожнил все ящики своей кассы, собрал тысяч пятьдесят кредитными билетами, сжег кое-какие бумаги, другие положил на видное место и сел писать письмо; кончив его, он запечатал конверт и надписал:

"Баронессе Данглар".

— Вечером я сам положу его к ней на туалетный столик, — пробормотал он.

Затем достал из ящика стола паспорт.

— Отлично, — сказал он, — действителен еще на два месяца.

VIII
КЛАДБИЩЕ ПЕР-ЛАШЕЗ

Бовиль в самом деле встретил похоронную процессию, провожавшую Валентину к месту последнего упокоения.

Погода была хмурая и облачная: ветер, еще теплый, но уже гибельный для пожелтелых листьев, срывал их с оголяющихся ветвей и кружил над огромной толпой, заполнявшей бульвары.

Вильфор, истый парижанин, смотрел на кладбище Пер-Лашез как на единственное, достойное принять прах одного из членов парижской семьи; все остальные кладбища казались ему слишком провинциальными, какими-то меблированными комнатами смерти. Только на кладбище Пер-Лашез покойник из хорошего общества был у себя дома.

Здесь, как мы видели, он купил в вечное владение место, на котором возвышалась усыпальница, так быстро заселившаяся всеми членами его первой семьи.

Надпись на фронтоне мавзолея гласила: "Семья Сен-Меран и Вильфор" — такова была последняя

воля бедной Рене, матери Валентины.

Итак, пышный кортеж от предместья Сент-Оноре продвигался к Пер-Лашез. Пересекли весь Париж, прошли по предместью Тампль, затем по наружным бульварам до кладбища. Более пятидесяти собственных экипажей следовало за двадцатью траурными каретами, а за этими пятьюдесятью экипажами более пятисот человек шло пешком.

Это были почти все молодые люди, которых как громом поразила смерть Валентины; несмотря на ледяное веяние века, на прозаичность эпохи, они поддавались поэтическому обаянию этой прекрасной, непорочной, пленительной девушки, погибшей в цвете лет.

Когда процессия приближалась к заставе, появился экипаж, запряженный четырьмя резвыми лошадьми, которые сразу остановились; их нервные ноги напряглись, как стальные пружины: приехал граф Монте-Кристо.

Граф вышел из коляски и смешался с толпой, провожавшей пешком похоронную колесницу.

Шато-Рено заметил его; он тотчас же оставил свою карету и присоединился к нему. Бошан также покинул свой наемный кабриолет.

Граф внимательно осматривал толпу: он, види-

мо, искал кого-то. Наконец он не выдержал.

— Где Моррель? — спросил он. — Кто-нибудь из вас, господа, знает, где он?

— Мы задавали себе этот вопрос еще в доме покойной, — сказал Шато-Рено, — никто из нас его не видел.

Граф замолчал, продолжая оглядываться.

Наконец пришли на кладбище.

Монте-Кристо зорко оглядел рощи тисов и сосен и вскоре перестал беспокоиться: среди темных грабов промелькнула тень, и Монте-Кристо, должно быть, узнал того, кого искал.

Все знают, что такое похороны в этом великолепном некрополе: черные группы людей, рассеянные по белым аллеям; безмолвие неба и земли, изредка нарушаемое треском ломающихся веток или живой изгороди вокруг какой-нибудь могилы; скорбные голоса священников, которым вторит то там, то здесь рыдание, вырвавшееся из-за груды цветов, где поникла женщина с молитвенно сложенными руками.

Тень, которую заметил Монте-Кристо, быстро пересекла рощу за могилой Элоизы и Абеляра, поравнялась с факельщиками, шедшими во главе процессии, и вместе с ними подошла к месту погребения.

Все взгляды скользили с предмета на предмет.

Но Монте-Кристо смотрел только на эту тень, почти не замеченную окружающими.

Два раза граф выходил из рядов, чтобы посмотреть, не ищет ли рука этого человека оружия, спрятанного в складках одежды.

Когда кортеж остановился, в этой тени узнали Морреля; бледный, со впалыми щеками, в наглухо застегнутом сюртуке, судорожно комкая шляпу в руках, он стоял, прислонясь к дереву, на холме, возвышавшемся над мавзолеем. так что мог видеть все подробности предстоящего печального обряда.

Все совершилось согласно обычаям. Несколько человек— как всегда, наименее опечаленные — произнесли речи. Одни оплакивали эту безвременную кончину; другие распространялись о скорби отца; нашлись и такие, которые уверяли, что Валентина не раз просила у г-на де Вильфор пощады виновным, над чьей головой он заносил меч правосудия; словом, не жалели цветистых метафор и прочувствованных оборотов, переиначивая на все лады стансы Малерба к Дюперье.

Монте-Кристо ничего не слышал, ничего не видел, вернее, он видел лишь Морреля, чье спокойствие и неподвижность представляли

страшное зрелище для того, кто знал, что совершается в его душе.

— Посмотрите! — сказал вдруг Бошан, обращаясь к Дебрэ. — Вот Моррель! Куда это он залез?

И они показали на него Шато-Рено.

— Какой он бледный, — сказал тот, вздрогнув.

— Ему холодно, — возразил Дебрэ.

— Нет, — медленно произнес Шато-Рено, — по-моему, он потрясен. Максимилиан — человек очень впечатлительный.

— Да нет же! — сказал Дебрэ. — Ведь он почти не был знаком с мадемуазель де Вильфор. Вы сами говорили.

— Это верно. Все же, я помню, на балу у госпожи де Морсер он три раза танцевал с ней; знаете, граф, на том балу, где вы произвели такое впечатление.

— Нет, не знаю. — ответил Монте-Кристо, не замечая даже, на что и кому он отвечает, до того он был занят Моррелем, у которого покраснели щеки, как у человека, старающегося не дышать.

— Речи кончились, прощайте, господа, — вдруг сказал Монте-Кристо.

И он подал сигнал к разъезду, исчезнув сам, причем. никто не заметил, куда он направился.

Церемония похорон кончилась, присутствую-

щие пустились в обратный путь.

Один Шато-Рено поискал Морреля глазами; но, пока он провожал взглядом удаляющегося графа, Моррель покинул свое место, и Шато-Рено, так и не найдя его, последовал за Дебрэ и Бошаном.

Монте-Кристо вошел в кусты и, спрятавшись за широкой могилой, следил за каждым движением Морреля, который приближался к мавзолею, покинутому любопытными, а потом и могильщиками.

Моррель медленно посмотрел вокруг себя; в то время как его взгляд был обращен в противоположную сторону, Монте-Кристо незаметно подошел еще на десять шагов.

Максимилиан опустился на колени.

Граф, пригнувшись, с расширенными, остановившимися глазами, весь в напряжении, готовый броситься по первому знаку, продолжал приближаться к нему.

Моррель коснулся лбом каменной ограды, обеими руками ухватился за решетку и прошептал:

— Валентина!

Сердце графа не выдержало звука его голоса; он сделал еще шаг и тронул Морреля за плечо:

— Вы здесь, мой друг, — сказал он. — Я вас искал.

Монте-Кристо ожидал бури жалоб, упреков, — он ошибался.

Моррель взглянул на него и, с наружным спокойствием, ответил:

— Вы видите, я молился!

Монте-Кристо испытующим взглядом окинул Максимилиана с ног до головы.

Этот осмотр, казалось, успокоил его.

— Хотите, я вас отвезу в город? — предложил он Моррелю.

— Нет, спасибо.

— Не нужно ли вам чего-нибудь?

— Дайте мне молиться.

Граф молча отошел, но лишь для того, чтобы укрыться в новом месте, откуда он по-прежнему не терял Морреля из виду. Наконец тот встал, отряхнул пыль с колен и пошел по дороге в Париж, ни разу не обернувшись.

Он медленно прошел улицу Ла-Рокет.

Граф, отослав свой экипаж, дожидавшийся у ворот кладбища, шел в ста шагах позади Максимилиана.

Максимилиан пересек канал и по бульварам достиг улицы Мелe.

Через пять минут после того как калитка закрылась за Моррелем, она открылась для Мон-

те-Кристо.

Жюли была в саду и внимательно наблюдала, как Пенелон, очень серьезно относившийся к своей профессии садовника, нарезал черенки бенгальских роз.

— Граф де Монте-Кристо! — воскликнула она с искренней радостью, которую выражал обычно каждый член семьи, когда Монте-Кристо появлялся на улице Меле.

— Максимилиан только что вернулся, правда? — спросил граф.

— Да, он, кажется, пришел, — сказала Жюли, — но, прошу вас, позовите Эмманюеля.

— Простите, сударыня, но мне необходимо сейчас же пройти к Максимилиану, — возразил Монте-Кристо, — у меня к нему чрезвычайно важное дело.

— Тогда идите, — сказала она, провожая его своей милой улыбкой, пока он не исчез на лестнице.

Монте-Кристо быстро поднялся на третий этаж, где жил Максимилиан; остановившись на площадке, он прислушался: все было тихо.

Как в большинстве старинных домов, занимаемых самим хозяином, на площадку выходила всего лишь одна застекленная дверь.

Но только в этой застекленной двери не было ключа.

Максимилиан заперся изнутри; а через дверь ничего нельзя было увидеть, потому что стекла были затянуты красной шелковой занавеской.

Беспокойство графа выразилось ярким румянцем, — признак необычайного волнения у этого бесстрастного человека.

— Что делать? — прошептал он.

На минуту он задумался.

— Позвонить? — продолжал он. — Нет! Иной раз звонок, чей-нибудь приход, ускоряет решение человека, который находился в таком состоянии, как Максимилиан, и тогда в ответ на звонок раздается другой звук.

Монте-Кристо вздрогнул с головы до ног, и так как его решения всегда бывали молниеносны, то он ударил локтем в дверное стекло, и оно разлетелось вдребезги; он поднял занавеску и увидел Морреля, который сидел у письменного стола с пером в руке и резко обернулся при звоне разбитого стекла.

— Это ничего, — сказал граф, — простите, ради Бога, дорогой друг: я поскользнулся и попал локтем в ваше стекло; раз уж оно разбилось, я этим воспользуюсь и войду к вам; не беспокойтесь, не

беспокойтесь.

И, протянув руку в разбитое стекло, граф открыл дверь.

Моррель встал, явно раздосадованный, и пошел навстречу Монте-Кристо, не столько чтобы принять его, сколько чтобы загородить ему дорогу.

— Право же, в этом виноваты ваши слуги, — сказал Монте-Кристо, потирая локоть, — у вас в доме паркет натерт, как зеркало.

— Вы не поранили себя? — холодно спросил Моррель.

— Не знаю. Но что это вы делали? Писали?

— Я?

— ,У вас пальцы в чернилах.

— Да, я писал, — отвечал Моррель, — это со мной иногда случается, хоть я и военный.

Монте-Кристо сделал несколько шагов по комнате. Максимилиан не мог не впустить его, но он шел за ним.

— Вы писали? — продолжал Монте-Кристо, глядя на него пытливо-пристальным взглядом.

— Я уже имел честь сказать вам, что да, — ответил Моррель.

Граф бросил взгляд кругом.

— Положив пистолеты возле чернильницы? — сказал он, указывая Моррелю на оружие,

лежавшее на столе.

— Я отправляюсь путешествовать, — отвечал Максимилиан.

— Друг мой! — сказал Монте-Кристо с бесконечной нежностью.

— Сударь!

— Дорогой Максимилиан, не надо крайних решений, умоляю вас!

— У меня крайние решения? — сказал Моррель, пожимая плечами. — Почему путешествие — это крайнее решение, скажите, пожалуйста?

— Сбросим маски, Максимилиан, — сказал Монте-Кристо. — Вы меня не обманете своим деланным спокойствием, как я вас не обману моим поверхностным участием. Вы ведь сами понимаете, что, если я поступил так, как сейчас, если я разбил стекло и ворвался в запертую дверь к своему другу, — значит, у меня серьезные опасения, или, вернее, ужасная уверенность. Моррель, вы хотите убить себя.

— Что вы! — сказал Моррель, вздрогнув. — Откуда вы это взяли, граф?

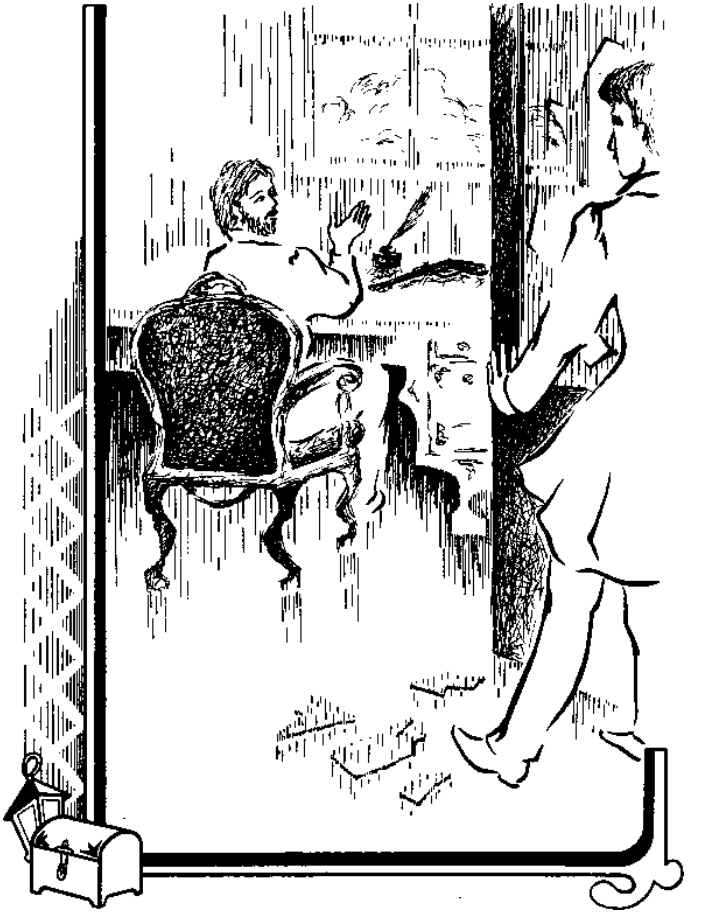
— Я вам говорю, что вы хотите убить себя, — продолжал граф тем же тоном, — и вот доказательство.

И, подойдя к столу, он приподнял белый листок,

положенный молодым человеком на начатое письмо, и взял письмо в руки.

Моррель бросился к нему, чтобы вырвать письмо.

Но Монте-Кристо предвидел это движение и предупредил его; схватив Максимилиана за кисть руки, он остановил его, как стальная цепь останавливает приведенную в действие пружину.



— Вы хотели убить себя, Моррель, — сказал он. — Это написано здесь черным по белому!

— Так что же! — воскликнул Моррель, разом отбросив свое показное спокойствие. — А если даже и так, если я решил направить на себя дуло этого пистолета, кто мне помешает? У кого хватит смелости мне помешать? Когда я скажу: все мои надежды рухнули, мое сердце разбито, моя жизнь погасла, вокруг меня только тьма и мерзость, земля превратилась в прах, слышать человеческие голоса для меня пытка; когда я скажу: дать мне умереть — эго милосердие, ибо если вы не дадите мне умереть, я потеряю рассудок, я сойду с ума; когда я это скажу, когда увидят, что я говорю это с отчаянием и слезами в сердце, кто мне ответит: "Вы не правы!"? Кто мне помешает перестать быть несчастнейшим из несчастных? Скажите, граф, уж не вы ли осмелитесь на это?

— Да, Моррель, — сказал твердым голосом Монте-Кристо, чье спокойствие странно контрастировало с волнением Максимилиана. — Да, я.

— Вы! — воскликнул Моррель, с возрастающим гневом и укоризной. — Вы обольщали меня нелепой надеждой, вы удерживали, убаюкивали, усыпляли меня пустыми обещаниями, когда я мог бы сделать что-нибудь решительное, отчаянное

и спасти ее или хотя бы видеть ее умирающей в моих объятиях; вы хвалились, будто владеете всеми средствами разума, всеми силами природы; вы притворяетесь, что все можете, вы разыгрываете роль Провидения, и вы даже не сумели дать противоядия отравленной девушке! Нет, знаете, сударь, вы внушили бы мне жалость, если бы не внушали отвращения!

— Моррель!

— Да, вы предложили мне сбросить маску; так радуйтесь, что я ее сбросил. Да, когда вы последовали за мной на кладбище, я вам еще отвечал, по доброте душевной; когда вы вошли сюда, я дал вам войти… Но вы злоупотребляете моим терпением, вы преследуете меня в моей комнате, куда я скрылся, как в могилу, вы приносите мне новую муку — мне, который думал, что исчерпал их уже все… Так слушайте, граф Монте-Кристо, мой мнимый благодетель, всеобщий спаситель, вы можете быть довольны: ваш друг умрет на ваших глазах!..

И Моррель с безумным смехом вторично бросился к пистолетам.

Монте-Кристо, бледный как привидение, но с метавшим молнии взором, положил руку на оружие и сказал безумцу:

— А я повторяю: вы не убьете себя!

— Помешайте же мне! — воскликнул Моррель с последним порывом, который, как и первый, разбился о стальную руку графа.

— Помешаю!

— Да кто вы такой наконец? Откуда у вас право тиранически распоряжаться свободными и мыслящими людьми? — воскликнул Максимилиан.

— Кто я? — повторил Монте-Кристо. — Слушайте. Я единственный человек на свете, который имеет право сказать вам: Моррель, я не хочу, чтобы сын твоего отца сегодня умер!

И Монте-Кристо, величественный, преображенный, неодолимый, подошел, скрестив руки, к трепещущему Максимилиану, который, невольно покоренный почти божественной силой этого человека, отступил на шаг.

— Зачем вы говорите о моем отце! — пробормотал он. — Зачем память моего отца соединять с тем, что происходит сегодня?

— Потому что я тот, кто спас жизнь твоему отцу, когда он хотел убить себя, как ты сегодня; потому что я тот, кто послал кошелек твоей юной сестре и "Фараон" старику Моррелю; потому что я Эдмон Дантес, на коленях у которого ты играл ребенком.

Потрясенный Моррель, шатаясь, тяжело дыша, сделал еще шаг назад; потом силы ему изменили, и он с громким криком упал к ногам Монте-Кристо.

И вдруг в этой благородной душе совершалось внезапное и полное перерождение: Моррель вскочил, выбежал из комнаты и кинулся на лестницу, крича во весь голос:

— Жюли! Жюли! Эмманюель!

Монте-Кристо хотел броситься за ним вдогонку, но Максимилиан скорее дал бы себя убить, чем выпустил бы ручку двери, которую он закрывал перед графом.

На крики Максимилиана в испуге прибежали Жюли и Эмманюель в сопровождении Пенелона и слуг.

Моррель взял их за руки и открыл дверь.

— На колени! — воскликнул он голосом, сдавленным от слез. — Вот наш благодетель, спаситель нашего отца, вот…

Он хотел сказать:

— Вот Эдмон Дантес!

Граф остановил его, схватив за руку.

Жюли припала к руке графа, Эмманюель целовал его, как бога-покровителя; Моррель снова стал на колени и поклонился до земли.

Тогда этот железный человек почувствовал, что сердце его разрывается, пожирающее пламя хлынуло из его груди к глазам; он склонил голову и заплакал.

Несколько минут в этой комнате лились слезы и слышались вздохи, этот возвышенный хор показался бы сладостным даже возлюбленнейшим ангелам Божьим.

Жюли, едва придя в себя после испытанного потрясения, бросилась вон из комнаты, спустилась этажом ниже, с детской радостью вбежала в гостиную и приподняла стеклянный колпак, под которым лежал кошелек, подаренный незнакомцем с Мельянских аллей.

Тем временем Эммануэль прерывающимся голосом говорил Монте-Кристо:

— Ах, граф, ведь вы знаете, что мы так часто говорим о нашем неведомом благодетеле, знаете, какой благодарностью и каким обожанием мы окружаем память о нем. Как вы могли так долго ждать, чтобы открыться? Право, это было жестоко по отношению к нам и, я готов сказать, по отношению к вам самим!

— Поймите, друг мой, — сказал граф, — я могу называть вас так, потому что, сами того не зная, вы мне друг вот уже одиннадцать лет; важное

событие заставило меня раскрыть эту тайну, я не могу сказать вам какое. Видит Бог, я хотел всю жизнь хранить эту тайну в глубине своей души; Максимилиан вырвал ее у меня угрозами, в которых, я уверен, он раскаивается.

Максимилиан все еще стоял на коленях, немного поодаль, припав лицом к креслу.

— Следите за ним, — тихо добавил Монте-Кристо, многозначительно пожимая Эмманюелю руку.

— Почему? — удивленно спросил тот.

— Не могу объяснить вам, но следите за ним.

Эмманюель обвел комнату взглядом и увидел пистолеты Морреля.

Глаза его с испугом остановились на оружии, и он указал на него Монте-Кристо, медленно подняв руку до уровня стола.

Монте-Кристо наклонил голову.

Эмманюель протянул было руку к пистолетам.

Но граф остановил его.

Затем, подойдя к Моррелю, он взял его за руку; бурные чувства, только что потрясавшие сердце Максимилиана, сменились глубоким оцепенением.

Вернулась Жюли, она держала в руке шелковый кошелек, и две сверкающие радостные

слезинки катились по ее щекам, как две капли утренней росы.

— Вот наша реликвия, — сказала она, — не думайте, что я ею меньше дорожу с тех пор, как мы узнали, кто наш спаситель.

— Дитя мое, — сказал Монте-Кристо, краснея, — позвольте мне взять этот кошелек; теперь, когда вы узнали меня, я хочу, чтобы вам напоминало обо мне только дружеское расположение, которого вы меня удостаиваете.

— Нет, нет, умоляю вас, — воскликнула Жюли, прижимая кошелек к сердцу, — ведь вы можете уехать, ведь придет горестный день и вы нас покинете, правда?

— Вы угадали, сударыня, — отвечал, улыбаясь, Монте-Кристо, — через неделю я покину эту страну, где столько людей, заслуживающих небесной кары, жили счастливо, в то время как отец мой умирал от голода и горя.

Сообщая о своем отъезде, Монте-Кристо взглянул на Морреля и увидел, что слова "Я покину эту страну" не вывели Морреля из его летаргии; он понял, что ему предстоит выдержать еще последнюю битву с горем друга, и, взяв за руки Жюли и Эмманюеля, он сказал им отечески мягко и повелительно:

— Дорогие друзья, прошу вас, оставьте меня наедине с Максимилианом.

Жюли это давало возможность унести драгоценную реликвию, о которой забыл Монте-Кристо.

Она поторопила мужа.

— Оставим их, — сказал она.

Граф остался с Моррелем, недвижным, как изваяние.

— Послушай, Максимилиан, — сказал граф, властно касаясь его плеча, — станешь ли ты, наконец, опять человеком?

— Да, я опять начинаю страдать.

Граф нахмурился; казалось, он был во власти тяжкого сомнения.

— Максимилиан! — сказал он. — Такие мысли недостойны христианина.

— Успокойтесь, мой друг, — сказал Максимилиан, поднимая голову и улыбаясь графу, бесконечно печальной улыбкой, — я не стану искать смерти.

— Итак, — сказал Монте-Кристо, — нет больше пистолетов, нет больше отчаяния?

— Нет, ведь у меня есть нечто лучшее, чем дуло пистолета или острие ножа, чтобы излечиться от моей боли.

— Бедный безумец! Что же это такое?

— Моя боль, она сама убьет меня.

— Друг, выслушай меня, — сказал Монте-Кристо с такой же печалью. — Однажды, в минуту отчаяния, равного твоему, ибо оно привело к тому же решению, я, как и ты, хотел убить себя; однажды твой отец, в таком же отчаянии, тоже хотел убить себя.

Если бы твоему отцу, в тот миг, когда он приставлял дуло пистолета ко лбу, или мне, когда я отодвигал от своей койки тюремный хлеб, к которому не прикасался уже три дня, в тот роковой миг кто-нибудь сказал: "Живите! Настанет день, когда вы будете счастливы и благословите жизнь", — откуда бы ни исходил этот голос, мы бы встретили его с улыбкой сомнения, с тоской неверия. А между тем сколько раз, целуя тебя, твой отец благословлял жизнь, сколько раз я сам...

— Но вы потеряли только свободу, — воскликнул Моррель, прерывая его, — мой отец потерял только богатство; а я потерял Валентину!

— Посмотри на меня, Максимилиан, — сказал Монте-Кристо с той торжественностью, которая подчас делала его столь величавым и убедительным. — Посмотри, у меня нет ни слез на глазах, ни жара в крови, мое сердце не бьется уныло, а ведь я вижу, что ты страдаешь, Максимилиан,

ты, которого я люблю как родного сына. Разве это не говорит тебе, что страдание — как жизнь: впереди всегда ждет неведомое. Я прошу тебя, и я приказываю тебе жить, ибо я знаю: будет день, когда ты поблагодаришь меня за то, что я сохранил тебе жизнь.

— Боже мой, — воскликнул молодой человек, — зачем вы это говорите, граф? Берегитесь! Быть может, вы никогда не любили!

— Дитя! — ответил граф.

— Не любили страстно, я хочу сказать, — продолжал Моррель. — Поймите, я с юных лет солдат; я дожил до двадцати девяти лет не любя, потому что те чувства, которые я прежде испытывал, нельзя назвать любовью, и вот в двадцать девять лет я увидел Валентину; почти два года я ее люблю, два года я читал в этом раскрытом для меня, как книга, сердце, начертанные рукой самого Бога, совершенства девушки и женщины. Граф, Валентина для меня была бесконечным счастьем, огромным, неведомым счастьем, слишком большим, слишком полным, слишком божественным для этого мира; и если в этом мире оно мне не было суждено, то без Валентины для меня на земле остается только отчаяние и скорбь.

— Я вам сказал: надейтесь, — повторил граф.

— Берегитесь, повторяю вам, — сказал Моррель, — вы стараетесь меня убедить, а если вы меня убедите, я сойду с ума, потому что я стану думать, что увижусь с Валентиной.

Граф улыбнулся.

— Мой друг, мой отец! — воскликнул Моррель в исступлении. — Берегитесь, повторяю вам в третий раз! Ваша власть надо мной меня пугает; берегитесь значения ваших слов: глаза мои оживают и сердце воскресает; берегитесь, ибо я готов поверить в сверхъестественное!

Я готов повиноваться, если вы мне велите отвалить камень от могилы дочери Иаира, я пойду по волнам, как апостол, если вы сделаете мне знак идти; берегитесь: я готов повиноваться.

— Надейся, друг мой, — повторил граф.

— Нет, — воскликнул Моррель, падая с высоты своей экзальтации в пропасть отчаяния, — вы играете мной, вы поступаете как добрая мать, вернее — как мать-эгоистка, которая слащавыми словами успокаивает больного ребенка, потому что его крик ей докучает. Нет, я был не прав, когда говорил, чтобы вы остерегались; не бойтесь, я так запрячу свое горе в глубине сердца, я сделаю его таким далеким, таким тайным, что вам даже не придется ему соболезновать. Прощайте, мой

друг, прощайте.

— Напротив, Максимилиан, — сказал граф, — с нынешнего дня ты будешь жить подле меня, мы уже не расстанемся, и через неделю нас уже не будет во Франции.

— И вы по-прежнему говорите, чтобы я надеялся?

— Я говорю, чтобы ты надеялся, ибо знаю способ тебя исцелить.

— Граф, вы меня огорчаете еще больше, если это возможно. В постигшем меня несчастье вы видите только заурядное горе, и вы надеетесь меня утешить заурядным средством — путешествием.

И Моррель презрительно и недоверчиво покачал головой.

— Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? — отвечал Монте-Кристо. — Я верю в свои обещания, дай мне попытаться.

— Вы только затягиваете мою агонию.

— Итак, малодушный, — сказал граф, — тебе не хватает силы подарить твоему другу несколько дней, чтобы он мог сделать попытку? Да знаешь ли ты, на что способен граф де Монте-Кристо? Знаешь ли ты, какие земные силы мне подвластны? У меня довольно веры в Бога, чтобы добиться чуда от того, кто сказал, что вера движет горами!

Жди же чуда, на которое я надеюсь, или…

— Или… — повторил Моррель.

— Или, — берегись, Моррель, — я назову тебя неблагодарным.

— Сжальтесь надо мной!

— Максимилиан, слушай: мне очень жаль тебя. Так жаль, что, если я не исцелю тебя через месяц, день в день, час в час, — запомни мои слова, — я сам поставлю тебя перед этими заряженными пистолетами или перед чашей яда, самого верного яда Италии, более верного и быстрого, поверь мне, чем тот, который убил Валентину.

— Вы обещаете?

— Да, ибо я человек, ибо повторяю, я тоже хотел умереть, и часто, даже когда несчастье уже отошло от меня, я мечтал о блаженстве вечного сна.

— Так это верно, вы мне обещаете, граф? — воскликнул Максимилиан в упоении.

— Я не обещаю, я клянусь, — сказал Монте-Кристо, поднимая руку.

— Вы даете слово, что через месяц, если я не утешусь, вы предоставите мне право располагать моей жизнью, и, как бы я ни поступил, вы не назовете меня неблагодарным?

— Через месяц, день в день, Максимилиан; через месяц, час в час, и число это священно, — не

знаю, подумал ли ты об этом? Сегодня пятое сентября. Сегодня десять лет, как я спас твоего отца, который хотел умереть.

Моррель схватил руку графа и поцеловал ее; тот не противился, словно понимая, что достоин такого поклонения.

— Через месяц, — продолжал Монте-Кристо, — ты найдешь на столе, за которым мы будем сидеть, хорошее оружие и легкую смерть, но взамен ты обещаешь мне ждать до этого дня и жить?

— Я тоже клянусь! — воскликнул Моррель.

Монте-Кристо привлек его к себе и крепко обнял.

— Отныне ты будешь жить у меня, — * сказал он, — ты займешь комнаты Гайде: по крайней мере сын заменит мне мою дочь.

— А где же Гайде? — спросил Моррель.

— Она уехала сегодня ночью.

— Она покинула вас?

— Нет, она ждет меня… Будь же готов переехать ко мне на Елисейские поля и дай мне выйти отсюда так, чтобы меня никто не видел.

Максимилиан склонил голову, послушный, как дитя или как апостол.

IX
ДЕЛЕЖ

В доме на улице Сен-Жермен-де-Пре, который Альбер де Морсер выбрал для своей матери и для себя, весь второй этаж, представляющий собой отдельную небольшую квартиру, был сдан весьма таинственной личности.

Это был мужчина, лица которого даже швейцар ни разу не мог разглядеть, когда тот входил или выходил: зимой он прятал подбородок в красный шейный платок, какие носят кучера из богатых домов, ожидающие своих господ у театрального подъезда, а летом сморкался как раз в ту минуту, когда проходил мимо швейцарской. Надо сказать, что, вопреки обыкновению, за этим жильцом никто не подглядывал: слух, будто под этим инкогнито скрывается весьма высокопоставленная особа с большими связями, заставлял уважать его тайну.

Являлся он обыкновенно в одно и то же время, изредка немного раньше или позже; но почти всегда, зимой и летом, он приходил в свою квартиру около четырех часов, и никогда в ней не

ночевал.

Зимой, в половине четвертого, молчаливая служанка, смотревшая за квартирой, топила камин; летом, в половине четвертого, та же служанка подавала мороженое.

В четыре часа, как мы уже сказали, являлся таинственный жилец.

Через двадцать минут к дому подъезжала карета; из нее выходила женщина в черном или в темно-синем, с опущенной на лицо густой вуалью, она проскальзывала как тень мимо швейцарской и легкими, неслышными шагами подымалась по лестнице.

Ни разу не случилось, чтобы кто-нибудь спросил ее, куда она идет.

Таким образом, ее лицо, так же как и лицо незнакомца, было неизвестно обоим привратникам, этим примерным стражам, быть может единственным в огромном братстве столичных швейцаров, которые были способны на такую скромность.

Разумеется, она подымалась не выше второго этажа. Она негромко стучала условным стуком; дверь отворялась, затем плотно закрывалась — и все.

При выходе из дома — тот же маневр, что и

при входе. Незнакомка выходила первая, все так же под вуалью, и садилась в карету, которая исчезала то в одном конце улицы, то в другом; спустя двадцать минут выходил незнакомец, зарывшись в шарф или прикрыв лицо платком, и тоже исчезал.

На другой день после визита Монте-Кристо к Данглару и похорон Валентины таинственный жилец пришел не в четыре часа, как всегда, а около десяти часов утра.

Почти тотчас же, без обычного перерыва, подъехала наемная карета, и дама под вуалью быстро поднялась по лестнице.

Дверь открылась и снова закрылась.

Но раньше чем дверь успела закрыться, дама воскликнула:

— Люсьен, друг мой!

Таким образом швейцар, поневоле услышав это восклицание, впервые узнал, что его жильца зовут Люсьеном; но так как это был примерный швейцар, то он дал себе слово не говорить этого даже своей жене.

— Что случилось, дорогая? — спросил тот, чье имя выдали смятение и поспешность дамы под вуалью. — Говорите скорее.

— Могу я положиться на вас?

— Конечно, вы же знаете. Но что случилось? Ваша записка сегодня утром повергла меня в полное недоумение. Такая поспешность, неровный почерк… Успокойте же меня или уж испугайте совсем!

— Случилось вот что! — сказала дама, устремив на Люсьена испытующий взгляд. — Данглар сегодня ночью уехал.

— Уехал? Данглар уехал? Куда?

— Не знаю.

— Как! Не знаете? Так он уехал совсем?

— Очевидно. В десять часов вечера он поехал на своих лошадях к Шарантонской заставе; там его ждала почтовая карета, он сел в нее со своим лакеем и сказал нашему кучеру, что едет в Фонтенбло.

— Ну так что ж? А вы говорите…

— Подождите, мой друг. Он оставил мне письмо.

— Письмо?

— Да. Прочтите.

И баронесса протянула Дебрэ распечатанное письмо.

Прежде чем начать читать, Дебрэ немного помедлил, словно старался отгадать, что окажется в письме, или, вернее, словно хотел, что бы в нем

ни оказалось, заранее принять решение.

Через несколько секунд он, по-видимому, на чем-то остановился и начал читать.

Вот что было в этом письме, приведшем г-жу Данглар в такое смятение:

"Сударыня и верная наша супруга".

Дебрэ невольно остановился и посмотрел на баронессу, которая густо покраснела.

— Читайте! — сказала она.

Дебрэ продолжал:

"Когда Вы получите это письмо, у Вас уже не будет мужа! Не впадайте в чрезмерную тревогу; у Вас не будет мужа, как не будет дочери; другими словами, я буду на одной из тридцати или сорока дорог, по которым покидают Францию.

Вы ждете от меня объяснений, и так как Вы женщина, вполне способная их понять, то я Вам их и даю.

Слушайте же.

Сегодня от меня потребовали уплаты пяти миллионов, что я и выполнил; почти непосредственно вслед за этим потребовался еще один платеж, в той же сумме, и я отложил его на завтра; сегодня я уезжаю, чтобы избегнуть этого завтрашнего дня, который был бы для меня слишком неприятным.

Вы это понимаете, не правда ли, сударыня и драгоценнейшая супруга?

Я говорю: "Вы понимаете", потому что Вы знаете мои дела не хуже меня. Вы знаете их даже лучше, чем я, ибо, если бы потребовалось объяснить, куда девалась добрая половина моего состояния, еще недавно довольно приличного, то я не мог бы этого сделать, тогда как Вы, я уверен, прекрасно справились бы с этой задачей.

Женщины обладают безошибочным чутьем, у них имеется алгебра собственного изобретения, при помощи которой они могут объяснить любое чудо. А я знал только свои цифры и перестал понимать что бы то ни было, когда мои цифры меня обманули.

Случалось ли Вам восхищаться стремительностью моего падения, сударыня?

Изумлялись ли Вы сверкающему потоку моих расплавленных слитков?

Я, признаться, был ослеплен поразившей меня молнией; будем надеяться, что Вы нашли немного золота под пеплом.

С этой утешительной надеждой я и удаляюсь, сударыня и благоразумнейшая супруга, и моя совесть ничуть меня не укоряет за то, что я Вас покидаю; у Вас остаются друзья, упомянутый

пепел и, в довершение блаженства, свобода, которую я спешу Вам вернуть.

Все же, сударыня, здесь будет уместно сказать несколько слов начистоту.

Пока я надеялся, что Вы действуете на пользу нашего дома, в интересах нашей дочери, я философски закрывал глаза, но, так как Вы в этот дом внесли полное разорение, я не желаю служить фундаментом чужому благополучию.

Я взял Вас богатой, но малоуважаемой.

Простите мне мою откровенность, но так как, по всей вероятности, я говорю только для нас двоих, то я не вижу оснований что-либо приукрашивать.

Я приумножал наше богатство, которое в течение пятнадцати с лишним лет непрерывно возрастало до того часа, пока неведомые и непонятные мне самому бедствия не обрушились на меня и не обратили его в прах, и притом, смело могу сказать, без всякой моей вины.

Вы, сударыня, старались приумножить только свое собственное состояние, в чем и преуспели, я в этом убежден.

Итак, я оставляю Вас такой, какой я Вас взял: богатой, но малоуважаемой.

Прощайте.

Я тоже, начиная с сегодняшнего дня, буду заботиться только о себе.

Верьте, я очень признателен Вам за пример и не премину ему последовать.

Ваш преданный муж барон Данглар".

Во время этого длинного и тягостного чтения баронесса внимательно следила за Дебрэ; она заметила, что он, несмотря на все свое самообладание, раза два менялся в лице.

Кончив, он медленно сложил письмо и снова задумался.

— Ну что? — спросила г-жа Данглар с легко понятной тревогой.

— Что, сударыня? — машинально повторил Дебрэ.

— Что вы думаете об этом?

— Очень просто, сударыня: я думаю, что у Данглара были подозрения.

— Да, конечно, но неужели вам больше нечего мне сказать?

— Я вас не понимаю,^ сказал Дебрэ с ледяной холодностью.

— Он уехал! Уехал совсем! Уехал, чтобы не возвращаться!

— Не верьте этому, баронесса, — сказал Дебрэ.

— Да нет же, он не вернется; я его знаю, этот

человек непоколебим, когда затронуты его интересы. Если бы он считал, что я могу быть ему полезна, он увез бы меня с собой. Он оставляет меня в Париже, значит, наша разлука входит в его планы, а если так, она бесповоротна, и я свободна навсегда, — добавила г-жа Данглар с мольбой в голосе.

Но Дебрэ не ответил и оставил ее с тем же тревожным вопросом во взгляде и в душе.

— Что же это? — сказала она наконец. — Вы молчите?

— Я могу только задать вам один вопрос: что вы намерены делать?

— Я сама хотела спросить вас об этом, — сказала г-жа Данглар с сильно бьющимся сердцем.

— Так вы спрашиваете у меня совета?

— Да, совета, — упавшим голосом отвечала г-жа Данглар, и сердце ее сжалось.

— В таком случае, — холодно проговорил Дебрэ, — я вам советую отправиться путешествовать.

— Путешествовать! — прошептала г-жа Данглар.

— Разумеется. Как сказал Данглар, вы богаты и вполне свободны. Мне кажется, после двойного скандала — несостоявшейся свадьбы мадемуа-

зель Эжени и исчезновения Данглара — вам совершенно необходимо уехать из Парижа. Нужно только, чтобы все знали, что вы покинуты, и чтобы вас считали бедной: жене банкрота никогда не простят богатства и широкого образа жизни. Чтобы достигнуть первого, вам достаточно остаться в Париже еще две недели, повторяя всем и каждому, что Данглар вас бросил, и рассказывая вашим близким подругам, как это произошло; а уж они разнесут это повсюду. Потом вы выедете из своего дома, оставите там свои брильянты, откажетесь от своей доли в имуществе, и все станут превозносить ваше бескорыстие и петь вам хвалы. Тогда все будут знать, что вы покинуты, и все будут считать, что вы остались без средств; я один знаю ваше финансовое положение и готов представить вам отчет, как честный компаньон.

Баронесса, бледная, сраженная, слушала эту речь с ужасом и отчаянием, тогда как Дебрэ был совершенно спокоен и равнодушен.

— Покинута! — повторила она. — Вы правы, сударь, покинута!.. Никто не усомнится в моем одиночестве!

Это были единственные слова, которыми эта женщина, такая гордая и так страстно любящая, могла ответить Дебрэ.

— Но зато вы богаты, даже очень богаты, — продолжал он, вынимая из бумажника какие-то бумаги и раскладывая их на столе.

Госпожа Данглар молча смотрела, стараясь унять бьющееся сердце и удержать слезы, которые выступили у нее на глазах. Но наконец чувство собственного достоинства взяло верх; и если ей и не удалось унять биение сердца, то она не пролила ни одной слезы.

— Сударыня, — сказал Дебрэ, — мы с вами стали компаньонами почти полгода тому назад. Вы внесли сто тысяч франков. Это было в апреле текущего года.

В мае начались наши операции. В мае мы реализовали четыреста пятьдесят тысяч франков. В июне прибыль достигла девятисот тысяч. В июле мы прибавили к этому еще миллион семьсот тысяч франков; вы помните, это был месяц испанских бумаг.

В августе, в начале месяца, мы потеряли триста тысяч франков; но к пятнадцатому числу мы отыгрались, а в конце месяца взяли реванш; я подвел итог нашим операциям с мая по вчерашний день. Мы имеем актив в два миллиона четыреста тысяч франков, то есть миллион двести тысяч на долю каждого.

— Затем, — продолжал Дебрэ, перелистывая свою записную книжку с методичностью и спокойствием биржевого маклера, — мы имеем восемьдесят тысяч франков сложных процентов на эту сумму, оставшуюся у меня на руках.

— Но откуда эти проценты? — перебила баронесса. — Ведь вы никогда не пускали эти деньги в оборот?

— Прошу прощения, сударыня, — холодно сказал Дебрэ, — я имел от вас полномочия пустить их в оборот, и воспользовался этим.

Итак, на вашу долю приходится сорок тысяч франков процентов, да еще первоначальный взнос в сто тысяч франков, — иначе говоря, миллион триста сорок тысяч франков. При этом, сударыня, всего лишь третьего дня я позаботился обратить вашу долю в деньги; видите, я словно предчувствовал, что мне придется неожиданно дать вам отчет.

Деньги ваши здесь: половина кредитными билетами, половина чеками на предъявителя. Они именно здесь: мой дом казался мне недостаточно надежным, и я считал, что нотариусы не умеют молчать, а недвижимость кричит еще громче, чем нотариусы; наконец, вы не имеете права ничего покупать сами и ничем владеть, поми-

мо имущества, принадлежащего вам сообща с вашим супругом; вот почему я хранил эту сумму — отныне единственное ваше богатство — в тайнике, вделанном в этот шкаф; для большей верности я сделал его собственноручно.

— Итак, сударыня, — продолжал Дебрэ, отпирая сначала шкаф, затем тайник, вот восемьсот тысяч франковых билетов; видите, они переплетены, как толстый альбом; я присоединяю к нему купон ренты в двадцать пять тысяч франков; остается около ста десяти тысяч франков. Вот чек на предъявителя для моего банкира; а так как мой банкир не Данглар, то можете быть спокойны: чек будет оплачен.

Госпожа Данглар машинально взяла чек на предъявителя, купон ренты и пачку кредитных билетов.

Разложенное здесь, на столе, это огромное богатство казалось просто кучкой ничтожных бумажек.

Госпожа Данглар, с сухими глазами, подавляя рыдания, положила альбом в ридикюль, спрятала купон ренты и чек в свой кошелек и стояла бледная, безмолвная, ожидая ласкового слова, которое утешило бы ее в том, что она так богата.

Но она ждала напрасно.

— Теперь, сударыня, — сказал Дебрэ, — вы прекрасно обеспечены, у вас что-то около шестидесяти тысяч ливров годового дохода — сумма, огромная для женщины, которой нельзя будет жить открыто еще по меньшей мере год.

Вы можете позволить себе любую прихоть, какая придет вам в голову; к тому же, если ваша доля покажется вам недостаточной по сравнению с тем, чего вы лишились, вы можете обратиться к моей доле, сударыня, и я готов вам предложить — взаимообразно, разумеется, — все, что я имею, то есть миллион шестьдесят тысяч франков.

— Благодарю вас, сударь, — отвечала баронесса, — вы сами понимаете, что моя доля — это гораздо больше, чем нужно несчастной женщине, которая уже не рассчитывает— во всяком случае на долгое время — появиться в обществе.

Дебрэ удивился, но тотчас овладел собой и сделал жест, который можно было истолковать как наиболее вежливое выражение мысли:

"Как угодно!"

Госпожа Данглар, быть может, все еще на что-то надеялась, но когда она увидела этот беспечный жест и уклончивый взгляд Дебрэ, а также глубокий поклон и многозначительное молчание, которое затем последовало, она подняла голову,

отворила дверь и без гнева, без содрогания, но и не колеблясь, бросилась на лестницу, даже не кивнув тому, кто давал ей так уйти.

— Пустяки! — сказал Дебрэ, когда она ушла. — Все это одни разговоры; она останется в своем доме, будет читать романы и играть в ландскнехт, раз уже не может играть на бирже.

И, взяв опять свою записную книжку, он принялся старательно вычеркивать суммы, которые он выплатил.

— Мне остается миллион шестьдесят тысяч франков, — сказал он. — Как жаль, что умерла мадемуазель де Вильфор! Это была бы для меня во всех отношениях подходящая жена.

И флегматично, как всегда, он стал ждать, пока после ухода г-жи Данглар пройдет двадцать минут, чтобы выйти самому.

В течение этих двадцати минут Дебрэ производил подсчеты, положив часы перед собой.

Любознательный бес, которого всякое безудержное воображение создало бы более или менее удачно, если бы Лесаж не завоевал первенства своим шедевром, — Асмодей, подымающий кровли домов, чтобы заглянуть внутрь, — увидел бы занимательное зрелище, если бы в ту минуту, когда Дебрэ производил свои подсчеты, он снял

крышу скромного дома на улице Сен-Жермен-де-Пре.

Над той комнатой, где Дебрэ поделил с г-жой Данглар два с половиною миллиона, была другая комната, обитатели которой тоже нам знакомые, играют немаловажную роль в описываемых событиях и заслуживают нашего внимания.

В этой комнате находились Мерседес и Альбер.

Мерседес сильно изменилась за последние дни; не потому, чтобы во времена своего богатства она окружала себя кичливой пышностью и стала неузнаваема, как только приняла более скромный облик; и не потому, чтобы она дошла до такой бедности, когда приходится облекаться в наряд нищеты; нет, Мерседес изменилась потому, что взгляд ее померк, и губы больше не улыбались, потому что неотступная гнетущая мысль владела ее некогда столь живым умом и лишала ее речь былого блеска.

Не бедность притупила ум Мерседес; не потому, что она была малодушна, тяготила ее эта бедность. Покинув привычный круг, Мерседес затерялась в чужой среде, которую сама избрала, как человек, который, выйдя из ярко освещенного зала, вдруг попадает во мрак. Она казалась королевой, которая переселилась из дворца в

хижину и не узнает самое себя, глядя на тюфяк, заменяющий ей пышное ложе, и на глиняный кувшин, который сама должна ставить на стол.

Прекрасная каталанка, или, если угодно, благородная графиня, утратила свой гордый взгляд и прелестную улыбку, потому что видела вокруг только унылые предметы: стены, оклеенные серыми обоями, которые обычно предпочитают расчетливые хозяева, как наименее маркие; голый каменный пол; аляповатую мебель, режущую глаз своей убогой претензией на роскошь, — словом, все то, что оскорбляет взор, привыкший к изяществу и гармонии.

Госпожа де Морсер жила здесь с тех пор, как покинула свой дом. У нее кружилась голова от этой вечной тишины, как у путника, подошедшего к краю пропасти. Она заметила, что Альбер то и дело украдкой смотрит на нее, стараясь прочесть ее мысли, и научилась улыбаться одними губами, и эта застывшая улыбка, не озаренная нежным сиянием глаз, походила на отраженный свет, лишенный живительного тепла.

Альбер тоже был подавлен и смущен; его тяготили остатки роскоши, которые мешали ему освоиться с его новым положением; он хотел бы выйти из дому без перчаток, но его руки были

слишком белы; он хотел бы ходить пешком, но его башмаки слишком ярко блестели.

И все же эти два благородных и умных создания, неразрывно связанные узами материнской и сыновней любви, понимали друг друга без слов и могли обойтись без околичностей, неизбежных даже между близкими друзьями, когда речь идет о материальной основе нашей жизни.

Словом, Альбер мог сказать своей матери, не испугав ее: "Матушка, у нас нет больше денег".

Мерседес никогда не знала подлинной нищеты; в молодости она часто называла себя бедной; но нужда и нищета— это не одно и то же: это синонимы, между которыми целая пропасть.

В Каталанах Мерседес нуждалась в очень многом, но очень многое у нее было. Сети были целы — рыба ловилась, а ловилась рыба — были нитки, чтобы чинить сети.

Когда нет близких, а есть только любовь, которая никак не касается житейских мелочей, думаешь только о себе и отвечаешь только за себя.

Тем немногим, что у нее было, Мерседес делилась щедро со всеми, теперь у нее не было ничего, а приходилось думать о двоих.

Близилась зима. У графини де Морсер калори-

фер с сотнями труб согревал дом от передней до будуара — теперь Мерседес нечем было развести огонь в этой неуютной и уже холодной комнате; ее прежние покои утопали в редкостных цветах, ценившихся на вес золота, — а теперь у нее не было даже самого жалкого цветочка.

Но у нее был сын…

Пафос отречения, быть может, чрезмерный, до сих пор возвышал их над прозой жизни.

Пафос — это почти экзальтация, а экзальтация возносит душу над всем земным.

Но экзальтация первого порыва угасла, и мало-помалу пришлось спуститься из страны грез в мир действительности.

После многих бесед об идеальном настало время поговорить о житейском.

— Матушка, — говорил Альбер в ту самую минуту, когда г-жа Данглар спускалась по лестнице, — подсчитаем наши средства, я должен знать итог, чтобы составить план действий.

— Итог — нуль, — сказала Мерседес с горькой улыбкой.

— Нет, матушка. Итог — три тысячи франков, и на эти три тысячи я намерен прекрасно устроить нашу жизнь.

— Дитя! — вздохнула Мерседес.

— Дорогая матушка, — сказал Альбер, — к сожалению, я истратил достаточно ваших денег, чтобы знать им цену. Три тысячи франков — это огромная сумма, и я построил на ней волшебное здание вечного благополучия.

— Ты шутишь, мой друг. И разве мы принимаем эти три тысячи франков? — спросила Мерседес, краснея.

— Но ведь это уже решено, мне кажется, — сказал Альбер твердо, — мы их принимаем, тем более что у нас их нет, потому что, как вам известно, они зарыты в саду маленького дома, на Мельянских аллеях в Марселе. На двести франков мы с вами поедем в Марсель.

— На двести франков! — сказала Мерседес. — Что ты говоришь, Альбер!

— Да, я навел справки и на почтовой станции, и в пароходной конторе и произвел подсчет. Вы заказываете себе место до Шалона в почтовой карете; видите, матушка, вы будете путешествовать как королева.

Альбер взял перо и написал:

Карета..... 35 фр.
Пароход от Шалона до Лиона..... 6"
Пароход от Лиона до Авиньона..... 16"
От Авиньона до Марселя..... 7"

Дорожные расходы..... 50"
Итого..... 114 фр.

— Положим, сто двадцать, — добавил Альбер, улыбаясь. — Какой я щедрый, правда, матушка?

500

— А ты, бедный мальчик?

— Я? Вы же видите, я оставил себе восемьдесят франков. Молодой человек не нуждается в стольких удобствах, к тому же я опытный путешественник.

— В собственной карете и с лакеем.

— Всеми способами, матушка.

— Хорошо, — сказала Мерседес, — но где взять двести франков?

— Вот они, а вот и еще двести. Я продал часы за сто франков и брелоки за триста. Подумайте только! Брелоки оказались втрое дороже часов. Старая история: излишества всегда стоят дороже всего! Теперь мы богаты: вместо ста четырнадцати франков, которые вам нужны на дорогу, у вас двести пятьдесят.

— Но здесь тоже нужно заплатить?

— Тридцать франков, но я их плачу из моих ста пятидесяти. Это решено. И так как мне в сущности нужно на дорогу только восемьдесят франков, то я просто утопаю в роскоши. Но это еще не все. Что

вы на это скажете, матушка?

И Альбер вынул из записной книжечки с золотой застежкой — давняя прихоть, или, быть может, нежное воспоминание об одной из таинственных незнакомок под вуалью, что стучались у маленькой двери, — Альбер вынул из записной книжечки тысячефранковый билет.

— Что это? — спросила Мерседес.

— Тысяча франков, матушка. Банкнота совершенно квадратная.

— Но откуда они у тебя?

— Выслушайте меня, матушка, и не волнуйтесь.

И Альбер, подойдя к матери, поцеловал ее в обе щеки; потом отстранился и поглядел на нее.

— Вы даже не знаете, матушка, какая вы красавица! — произнес он с глубоким чувством сыновней любви. — Вы самая прекрасная, самая благородная женщина на свете!

— Дорогой мальчик! — сказала Мерседес, тщетно стараясь удержать слезу, повисшую у нее на ресницах.

— Честное слово, вам оставалось только стать несчастной, чтобы моя любовь превратилась в обожание.

— Я не несчастна, пока у меня есть сын, — ска-

зала Мерседес, — и не буду несчастна, пока он со мной.

— Да, — сказал Альбер, — но в том-то и сложность. Вы помните, что мы решили?

— Разве мы решили что-нибудь? — спросила Мерседес.

— Да, мы решили, что вы поселитесь в Марселе, а я уеду в Африку, где вместо имени, от которого я отказался, я заслужу имя, которое я принял.

Мерседес вздохнула.

— Со вчерашнего дня я зачислен в спаги, — добавил Альбер, пристыженно опуская глаза, ибо он сам не знал, сколько доблести было в его унижении, — я решил, что мое тело принадлежит мне и я могу его продать; со вчерашнего дня я заменяю другого. Я, что называется, продался, и притом, — добавил он, пытаясь улыбнуться, — по-моему, дороже, чем я стою: за две тысячи франков.

— И эта тысяча?.. — сказала, вздрогнув, Мерседес.

— Это половина суммы; остальное я получу через год.

Мерседес подняла глаза к небу с выражением, которого никакие слова не могли бы передать, и две слезы медленно скатились по ее щекам.

— Цена его крови! — прошептала она.

— Да, если меня убьют, — сказал, смеясь, Альбер. — Но уверяю вас, матушка, что я намерен яростно защищать свою жизнь; никогда еще мне так не хотелось жить, как теперь.

— Боже мой! — вздохнула Мерседес.

— И потом, почему вы думаете, что я буду убит? Разве Ламорисьер, этот южный Ней, убит? Разве Шангарнье убит? Разве Бедо убит? Разве Моррель, которого мы знаем, убит? Подумайте, как вы обрадуетесь, матушка, когда я к вам явлюсь в расшитом мундире! Имейте в виду, я рассчитываю быть неотразимым в этой форме, я выбрал полк спаги из чистого щегольства.

Мерседес вздохнула, *пытаясь все* же улыбнуться: *эта* святая женщина терзалась тем, что ее сын принял на себя всю тяжесть жертвы.

— Итак, матушка, — продолжал Альбер, — у вас уже есть верных четыре с лишним тысячи франков; на эти четыре тысячи вы будете жить безбедно два года.

— Ты думаешь? — сказала Мерседес.

Эти слова вырвались у нее с такой неподдельной болью, что их истинный смысл не ускользнул от Альбера; сердце его сжалось, и он нежно взял руку матери в свои.

— Да, вы будете жить! — сказал он.

— Я буду жить, — воскликнула Мерседес, — но ты не уедешь, Альбер?

— Уеду, матушка, — сказал Альбер спокойным и твердым голосом, — вы слишком любите меня, чтобы заставить меня вести подле вас праздную и бесполезную жизнь. Притом я уже подписал контракт.

— Ты поступишь согласно своей воле, мой сын, а я — согласно воле Божией.

— Нет, не согласно моей воле, матушка, но согласно разуму и необходимости. Мы оба узнали, что такое отчаяние, не так ли? Что теперь для вас жизнь? Ничто. Что такое жизнь для меня? Поверьте, матушка, безделица, не будь вас, ибо, клянусь, не будь вас, эта жизнь оборвалась бы в тот день, когда я усомнился в своем отце и отрекся от его имени! И все же я буду жить, если вы обещаете мне надеяться, а если вы поручите мне заботу о вашем будущем счастье, то это удвоит мои силы. Тогда я пойду к алжирскому губернатору — это честный человек, настоящий солдат, — я расскажу ему свою печальную повесть, попрошу его время от времени посматривать в мою сторону, и если он сдержит слово, если он увидит, чего я стою, то либо я через полгода вернусь офицером, либо не вернусь вовсе. Если я вернусь офицером

— ваше будущее обеспечено, матушка, потому что у меня хватит денег для нас обоих; к тому же мы оба будем гордиться моим новым именем, потому что это ваше настоящее имя. Если я не вернусь… тогда, матушка, вы расстанетесь с жизнью, если не захотите жить, и тогда наши несчастья кончатся сами собой.

— Хорошо, — отвечала Мерседес, в чьем красноречивом взгляде отразилось все благородство души, — ты прав, мой сын, докажем людям, которые смотрят на нас и подстерегают наши поступки, чтобы судить нас, докажем им, что мы достойны сожаления.

— Отгоните мрачные мысли, матушка! — воскликнул Альбер. — Поверьте, мы счастливы, во всяком случае, можем быть счастливы. Вы мудрая и кроткая; я стал неприхотлив и, надеюсь, благоразумен. Я на службе — значит, я богат; вы в доме господина Дантеса — значит, вы найдете покой. Попытаемся, матушка, прошу вас!

— Да, попытаемся, потому что ты должен жить, мой сын. Ты должен быть счастлив, — отвечала Мерседес.

— Итак, матушка, наш дележ окончен, — с напускной непринужденностью сказал Альбер. — Мы можем ехать. Я сегодня же закажу

вам место.

— А себе?

— Мне еще нужно остаться на два-три дня; это начало разлуки, нам надо к ней привыкнуть. Мне необходимо получить рекомендации, навести справки относительно Алжира; я догоню вас в Марселе.

— Хорошо, едем! — сказала Мерседес, накинув на плечи единственную шаль, которую она взяла с собой и которая случайно оказалась очень дорогой, из черного кашемира. — Едем!

Альбер наскоро собрал свои бумаги, позвал хозяина, заплатил ему тридцать франков, подал матери руку и вышел с ней на лестницу.

Впереди них спускался какой-то человек; он услышал шуршание шелкового платья о перила и обернулся.

— Дебрэ! — прошептал Альбер.

— Морсер, вы? — сказал секретарь министра, останавливаясь.

Любопытство взяло у Дебрэ верх над желанием сохранить инкогнито; к тому же его и так узнали. В самом деле, забавно было встретить в этом никому не ведомом меблированном доме человека, чья несчастная участь наделала столько шума в Париже.

— Морсер! — повторил Дебрэ.

Но, заметив в полутьме лестницы еще стройную фигуру г-жи де Морсер, закутанную в черную шаль, он добавил с улыбкой:

— Ах, простите, Альбер! Не смею мешать вам.

Альбер понял мысль Дебрэ.

— Матушка, — сказал он, обращаясь к Мерседес, — это господин Дебрэ, секретарь министра внутренних дел, мой бывший друг.

— Почему бывший? — пролепетал Дебрэ. — Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, господин Дебрэ, — продолжал Альбер, — что у меня больше нет друзей, и я не должен их иметь. Я вам очень благодарен за то, что вы были так любезны и узнали меня, сударь.

Дебрэ поднялся на две ступени и крепко пожал руку Альбера.

— Поверьте, дорогой, — сказал он со всей теплотой, на какую был способен, — я глубоко сочувствую постигшему вас горю и я всегда в вашем распоряжении.

— Благодарю вас, сударь, — сказал, улыбаясь, Альбер, — но в нашем несчастье мы еще достаточно богаты, чтобы ни к кому не обращаться за помощью; мы покидаем Париж, и после всех дорожных расходов у нас еще останется пять

тысяч франков.

Дебрэ покраснел, потому что у него в бумажнике лежал миллион; и, как ни был чужд поэзии его трезвый ум, он невольно подумал, что в одном и том же доме, еще недавно, находились две женщины, из которых одна, заслуженно опозоренная, уходила нищей, унося под своей накидкой полтора миллиона, тогда как другая, несправедливо униженная, но величественная в своем несчастье, обладая жалкими грошами, чувствовала себя богатой.

Это сравнение заставило его забыть о своих рыцарских побуждениях — наглядность примера сразила его; он пробормотал несколько общих фраз и быстро спустился по лестнице.

В этот день чиновники министерства, его подчиненные, немало натерпелись из-за его дурного настроения.

Но зато вечером он стал владельцем прекрасного дома на бульваре Мадлен, приносящего пятьдесят тысяч ливров дохода.

На другой день, в пять часов вечера, когда Дебрэ подписывал купчую, г-жа де Морсер, обменявшись нежным поцелуем с сыном, села в почтовый дилижанс.

На антресолях почтового двора Лаффит, за

одним из полукруглых окон, стоял человек; он видел, как Мерседес садилась в карету, видел, как отъехал дилижанс, видел, как удалялся Альбер.

Тогда он провел рукой по отягченному сомнениями челу и сказал:

— Как мне возвратить этим двум невинным то счастье, которое я у них отнял? Бог мне поможет!

X
ЛЬВИНЫЙ РОВ

Одно из отделений тюрьмы Форс, то, где содержатся наиболее тяжкие и наиболее опасные преступники, называется двором святого Бернара.

Обитатели тюрьмы на своем образном языке прозвали его Львиным рвом, вероятно, потому, что у тамошних заключенных имеются зубы, которыми они подчас грызут решетку, а иногда и сторожей.

Это тюрьма в тюрьме. Стены здесь двойной толщины; каждый день тюремщик тщательно осматривает массивные решетки, а по геркулесову сложению, по холодному, проницательному взгляду сторожей видно, что здесь подбирали людей, способных управлять своими подданными,

держа их в страхе и повиновении.

Двор окружен высокими стенами, по которым скользят косые лучи солнца, когда оно решается заглянуть в эту бездну нравственного и физического уродства. Здесь с утра бродят вечно озабоченные, угрюмые, бледные как тени люди, над которыми занесен меч правосудия.

По двое, по трое, а чаще в одиночестве стоят они или сидят на корточках у той стены, которую больше всего согревает солнце, и то и дело поглядывают на ворота, которые открываются только тогда, когда вызывают кого-либо из жителей этого мрачного обиталища или же когда швыряют в эту яму новый кусок окалины, извергнутый горнилом, именуемым обществом.

Двор святого Бернара имеет свою особую приемную. Это длинное помещение, разделенное пополам двумя решетками, которые расположены параллельно в трех футах одна от другой, чтобы посетитель не мог пожать заключенному руку или что-нибудь ему передать. Эта приемная темна, сыра и во всех отношениях отвратительна — особенно если подумать о тех страшных признаниях, которые просачивались сквозь эти решетки и покрыли ржавчиной их железные прутья.

А между тем это место, как оно ни ужасно, — это рай, где могут снова насладиться желанным обществом своих близких люди, чьи дни сочтены, ибо из Львиного рва выходят лишь для того, чтобы отправиться к заставе Сен-Жак, или на каторгу, или в одиночную камеру.

По описанному нами сырому, холодному двору прогуливался, засунув руки в карманы, молодой человек, на которого обитатели Рва поглядывали с большим любопытством.

Его можно было бы назвать элегантным, если бы его платье не было в лохмотьях; тонкое, шелковистое сукно, совершенно новое, легко принимало прежний блеск под рукой арестанта, когда он его разглаживал, чтобы придать ему свежий вид.

С таким же старанием застегивал он батистовую рубашку, значительно изменившую свой цвет за то время, что он сидел в тюрьме, и проводил по лакированным башмакам уголком носового платка, на котором были вышиты инициалы, увенчанные короной.

Несколько обитателей Львиного рва следили с видимым интересом за тем, как этот арестант приводил в порядок свой туалет.

— Смотри, князь прихорашивается, — сказал

один из воров.

— Он и без того очень хорош, — отвечал другой, — будь у него гребень и помада, он затмил бы всех господ в белых перчатках.

— Его фрак был, как видно, новехонек, а башмаки так и блестят. Даже лестно, что к нам такая птица залетела, а наши жандармы — сущие разбойники. Изорвать такой наряд!

— Говорят, он прожженный, — сказал третий. — Пустяками не занимался… Такой молодой и уже из Тулона! Не шутка!

А предмет этого чудовищного восхищения, казалось, упивался отзвуками этих похвал, хотя самих слов он разобрать не мог.

Закончив свой туалет, он подошел к окошку тюремной лавочки, возле которого стоял, прислонясь к стене, сторож.

— Послушайте, сударь, — сказал он, — ссудите меня двадцатью франками, я вам их скоро верну; вы ничем не рискуете — ведь у моих родных больше миллионов, чем у вас грошей… Ну, пожалуйста. С двадцатью франками я смогу перейти на платную половину и купить себе халат. Мне страшно неудобно быть все время во фраке. И что это за фрак для князя Кавальканти!

Сторож пожал плечами и повернулся к нему

спиной. Он даже не засмеялся на эти слова, которые бы многих развеселили; этот человек и не того наслушался, — вернее, он слышал всегда одно и то же.

— Вы бездушный человек, — сказал Андреа, — погодите, вы у меня дождетесь, что вас выгонят.

Сторож обернулся и на этот раз громко расхохотался.

Арестанты подошли и обступили их.

— Говорю вам, — продолжал Андреа, — на эту ничтожную сумму я смогу одеться и перейти в отдельную комнату; мне надо принять достойным образом важного посетителя, которого я жду со дня на день.

— Верно! верно! — заговорили заключенные. — Черт возьми! Сразу видно, что он из благородных.

— Вот и дайте ему двадцать франков, — сказал сторож, прислонясь к стене другим своим широчайшим плечом. — Разве вы не обязаны сделать это для товарища?

— Я не товарищ этим людям, — гордо сказал Андреа, — вы не имеете права оскорблять меня.

Арестанты переглянулись и глухо заворчали; буря, вызванная не столько словами Андреа, сколько замечанием сторожа, начала собираться

над головой аристократа.

Сторож, уверенный, что сумеет усмирить ее, когда она чересчур разыграется, давал ей пока волю, желая проучить назойливого просителя и скрасить каким-нибудь развлечением свое долгое дежурство.

Арестанты уже подступали к Андреа; иные говорили:

— Дать ему башмака!

Эта жестокая шутка заключается в том, что товарища, впавшего в немилость, избивают не башмаком, а подкованным сапогом.

Другие предлагали "вьюн". Это еще одна забава, состоящая в том, что платок наполняют песком, камешками, медяками, когда таковые имеются, скручивают его и колотят им жертву, как цепом, по плечам и по голове.

— Выпорем этого франта! — раздавались голоса. — Покажем господину порядочному человеку. Выпорем его благородие!

Но Андреа повернулся к ним, подмигнул, надул щеку и прищелкнул языком — знак, по которому узнают друг друга разбойники, вынужденные молчать.

Это был масонский знак, которому его научил Кадрусс.

Арестанты признали своего.

Тотчас же платки опустились; подкованный сапог вернулся на ногу к главному палачу. Раздались голоса, заявившие, что этот господин прав, что он может держать себя как ему заблагорассудится и что заключенные хотят показать пример свободы совести.

Волнение улеглось. Сторож был этим так удивлен, что тотчас же схватил Андреа за руки и начал его обыскивать, приписывая эту внезапную перемену в настроении обитателей Львиного рва чему-то, наверное, более существенному, чем личное обаяние.

Андреа ворчал, но не сопротивлялся.

Вдруг за решетчатой дверью раздался голос надзирателя:

— Бенедетто!

Сторож выпустил свою добычу.

— Меня зовут! — сказал Андреа.

— В приемную! — крикнул надзиратель.

— Вот видите, ко мне пришли. Вы еще узнаете, милейший, можно ли обращаться с Кавальканти как с простым смертным!

И Андреа, промелькнув по двору, как черная тень, бросился в полуоткрытую дверь, оставив своих товарищей и даже сторожа в восхищении.

Его в самом деле звали в приемную, и этому нельзя не удивляться, как удивлялся и сам Андреа, потому что из осторожности, попав в тюрьму Форс, он вместо того чтобы писать письма и просить помощи, как делают все, хранил стоическое молчание.

"У меня, несомненно, есть могущественный покровитель, — рассуждал он. — Все говорит за это: внезапное счастье, легкость, с которой я преодолел все препятствия, неожиданно найденный отец, громкое имя, золотой дождь, блестящая партия, которая меня ожидала. Случайная неудача, отлучка моего покровителя погубили меня, но не бесповоротно. Благодетельная рука отстранилась на минуту, она снова протянется и подхватит меня на краю пропасти. Зачем мне предпринимать неосторожные попытки? Мой покровитель может от меня отвернуться.

У него есть два способа прийти мне на помощь: тайный побег, купленный ценою золота, и воздействие на судей, чтобы добиться моего оправдания. Подождем говорить, подождем действовать, пока не будет доказано, что я всеми покинут, а тогда..."

У Андреа уже готов был хитроумный план: негодяй умел бесстрашно нападать и стойко

защищаться.

Невзгоды тюрьмы, лишения всякого рода были ему знакомы. Однако мало-помалу природа, или, вернее, привычка, взяла верх. Андреа страдал оттого, что он голый, грязный, голодный; его терпение истощалось.

Таково было его настроение, когда голос надзирателя позвал его в приемную.

У Андреа радостно забилось сердце. Для прихода следователя час был слишком ранний, а для начальника тюрьмы или доктора — слишком поздний, значит, это был долгожданный посетитель.

За решеткой приемной, куда ввели Андреа, он увидел своими расширенными от жадного любопытства глазами умное, суровое лицо Бертуччо, который с печальным удивлением смотрел на решетки, на дверные замки и на тень, движущуюся за железными прутьями.

— Кто это? — с испугом воскликнул Андреа.

— Здравствуй, Бенедетто, — сказал Бертуччо своим звучным грудным голосом.

— Вы, вы! — отвечал молодой человек, в ужасе озираясь.

— Ты меня не узнаешь, несчастный? — спросил Бертуччо.

— Молчите! Да молчите же! — сказал Андреа, который знал, какой тонкий слух у этих стен. — Ради Бога, не говорите так громко!

— Ты бы хотел поговорить со мной с глазу на глаз? — спросил Бертуччо.

— Да, да, — сказал Андреа.

— Хорошо.

И Бертуччо, порывшись в кармане, сделал знак сторожу, который стоял за стеклянной дверью.

— Прочтите! — сказал он.

— Что это? — спросил Андреа.

— Приказ отвести тебе отдельную комнату и разрешение мне видеться с тобой.

Андреа вскрикнул от радости, но тут же сдержался и сказал себе:

"Опять загадочный покровитель! Меня не забывают! Тут хранят какую-то тайну, раз хотят говорить со мной в отдельной комнате. Они у меня в руках... Бертуччо послан моим покровителем!"

Сторож поговорил со старшим, потом открыл решетчатые двери и провел Андреа, который от радости был сам не свой, в комнату второго этажа, выходившую окнами во двор.

Комната, выбеленная, как это принято в тюрьмах, выглядела довольно веселой и показалась

узнику ослепительной; печь, кровать, стул и стол составляли пышное ее убранство.

Бертуччо сел на стул, Андреа бросился на кровать.

Сторож удалился.

— Что ты мне хотел сказать? — спросил управляющий графа Монте-Кристо.

— А вы? — спросил Андреа.

— Говори сначала ты.

— Нет уж, начинайте вы, раз вы пришли ко мне.

— Пусть так. Ты продолжал идти по пути преступления: ты украл, ты убил.

— Если вы меня привели в отдельную комнату только для того, чтобы сообщить мне это, то не стоило трудиться. Все это я знаю. Но есть кое-что, чего я не знаю. Об этом и поговорим, если позволите. Кто вас прислал?

— Однако вы торопитесь, господин Бенедетто!

— Да, я иду прямо к цели. Главное — без лишних слов. Кто вас прислал?

— Никто.

— Как вы узнали, что я в тюрьме?

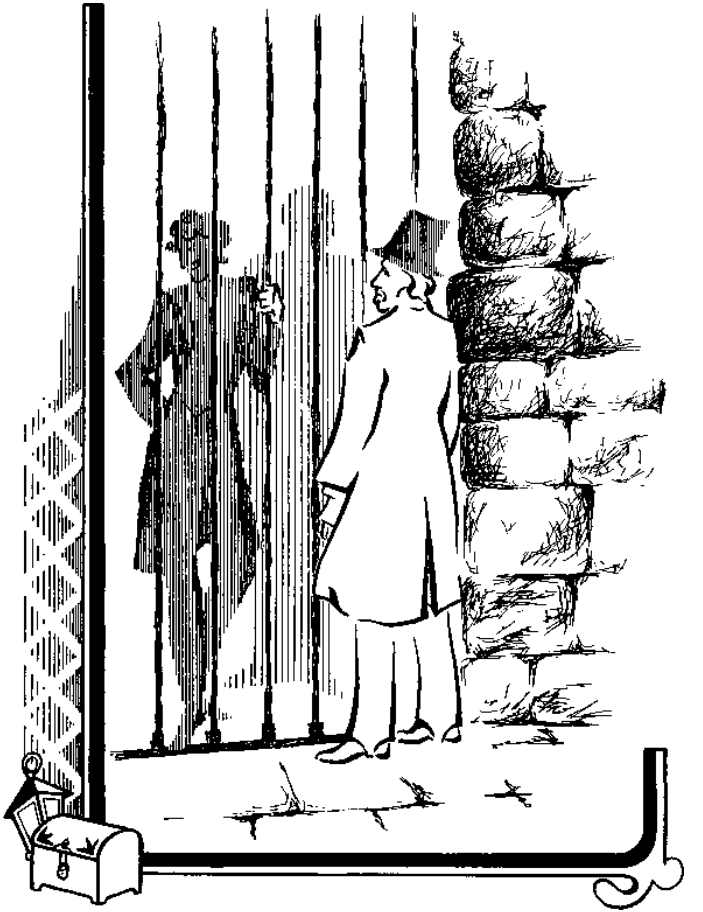
— Я давно тебя узнал в блестящем наглеце, который так ловко правил тильбюри на Елисейских полях.

— На Елисейских полях!.. Ага, "горячо", как говорят в детской игре!.. На Елисейских полях!.. Так-так, поговорим о моем отце, хотите?

— А я кто же?

— Вы, почтеннейший, вы мой приемный отец… Но не вы же, я полагаю, предоставили в мое распоряжение сто тысяч франков, которые я промотал в пять месяцев, не вы смастерили мне знатного итальянского родителя; не вы ввели меня в свет и пригласили на некое пиршество, от которого у меня и сейчас слюнки текут. Помните, в Отее, где было лучшее общество Парижа и даже королевский прокурор, с которым я, к сожалению, не поддерживал знакомства, а мне оно было бы теперь весьма полезно; не вы ручались за меня на два миллиона, перед тем как я имел несчастье быть выведенным на чистую воду… Говорите, уважаемый корсиканец, говорите…

— Что ты хочешь, чтобы я сказал?



— Я тебе помогу. Ты только что говорил об Елисейских полях, мой почтенный отец-кормилец.

— Ну и что же?

— А то, что на Елисейских полях живет один господин, очень и очень богатый.

— В доме которого ты украл и убил?

— Кажется, да.

— Граф де Монте-Кристо?

— Ты сам его назвал, как говорит Расин… Так что же, должен ли я броситься в его объятия, прижать его к сердцу и воскликнуть, как Пиксерекур: "Отец! Отец!"

— Не шути, — строго ответил Бертуччо, — пусть это имя не произносится здесь так, как ты дерзнул его произнести.

— Вот оно что! — сказал Андреа, несколько озадаченный торжественным тоном Бертуччо. — А почему бы и нет?

— Потому что тот, кто носит это имя, благословен Небом и не может быть отцом такого негодяя, как ты.

— Какие грозные слова…

— И грозные последствия, если ты не поостережешься.

— Запугиваете? Я не боюсь… Я скажу.

— Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с

мелюзгой вроде тебя? — сказал Бертуччо так спокойно и уверенно, что Андреа внутренне вздрогнул. — Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с каторжниками или с доверчивыми светскими простаками?.. Бенедетто, ты в могущественной руке; рука эта согласна отпустить тебя, воспользуйся этим. Не играй с молниями, которые она на миг отложила, но может снова схватить, если ты сделаешь попытку помешать ее намерениям.

— Кто мой отец?.. Я хочу знать, кто мой отец?.. — упрямо повторил Андреа. — Я погибну, но узнаю. Что для меня скандал? Только выгода… известность… реклама, как говорит журналист Бошан. А вам, людям большого света, вам скандал всегда опасен, несмотря на ваши миллионы и гербы… Итак, кто мой отец?

— Я пришел, чтобы назвать тебе его.

— Наконец-то! — воскликнул Бенедетто, и глаза его засверкали от радости.

Но тут дверь отворилась и вошел тюремщик.

— Простите, сударь, — сказал он, обращаясь к Бертуччо, — но заключенного ждет следователь.

— Сегодня последний допрос, — сказал Андреа управляющему. — Вот досада.

— Я приду завтра, — отвечал Бертуччо.

— Хорошо, — сказал Андреа. — Господа жандармы, я в вашем распоряжении... Пожалуйста, сударь, оставьте десяток экю в конторе, чтобы мне выдали все, в чем я тут нуждаюсь.

— Будет сделано, — отвечал Бертуччо.

Андреа протянул ему руку, но Бертуччо не вынул руки из кармана и только позвенел в нем монетами.

— Я это и имел в виду, — с кривой улыбкой заметил Андреа, совершенно подавленный странным спокойствием Бертуччо.

"Неужели я ошибся? — подумал он, садясь в большую карету с решетками, которую называют "корзинкой для салата". — У видим!"

— Итак, до завтра! — сказал он, обращаясь к Бертуччо.

— До завтра! — ответил управляющий.

XI
СУДЬЯ

Читатели, наверное, помнят, что аббат Бузони остался вдвоем с Нуартье в комнате Валентины и что старик и священник одни бодрствовали подле умершей.

Быть может, христианские увещания аббата,

его проникновенное милосердие, его убедительные речи вернули старику мужество: после того как священник поговорил с ним, в Нуартье вместо прежнего отчаяния появилось какое-то бесконечное смирение, странное спокойствие, немало удивлявшее тех, кто помнил его глубокую привязанность к Валентине.

Вильфор не видел старика со дня смерти дочери. Весь дом был обновлен; для королевского прокурора был нанят другой камердинер, для Нуартье — другой слуга; в услужение к г-же де Вильфор поступили две новые горничные; все вокруг, вплоть до швейцара и кучера, были новые люди; они словно стали между хозяевами этого проклятого дома и окончательно прервали и без того уже холодные отношения между ними. К тому же сессия суда открывалась через три дня, и Вильфор, запершись у себя в кабинете, лихорадочно и неутомимо подготовлял обвинение против убийцы Кадрусса. Это дело, как и все, к чему имел отношение граф де Монте-Кристо, наделало много шуму в Париже. Улики не были бесспорны: они сводились к нескольким словам, написанным умирающим каторжником, бывшим товарищем обвиняемого, которого он мог оговорить из ненависти или из мести. Уверенность была только

в сердце королевского прокурора: он пришел к внутреннему убеждению, что Бенедетто виновен, и надеялся, что эта трудная победа принесет ему радость удовлетворенного самолюбия, которая одна еще сколько-нибудь оживляла его оледеневшую душу.

Следствие подходило к концу благодаря неустанной работе Вильфора, который хотел этим процессом открыть предстоящую сессию, и ему приходилось уединяться более чем когда-либо, чтобы уклониться от бесчисленных просьб о билетах на заседание.

Кроме того, прошло еще так мало времени с тех пор, как бедную Валентину опустили в могилу, скорбь в доме была еще так свежа, что никого не удивляло, если отец так сурово отдавался исполнению долга: единственное, что помогало ему забыть свое горе.

Один лишь раз, на следующий день после того, как Бертуччо вторично пришел к Бенедетто, чтобы назвать ему имя его отца, в воскресенье, — один лишь раз, повторяем, Вильфор увидел мельком старика Нуартье; утомленный работой, он вышел в сад и, мрачный, согбенный под тяжестью неотступной думы, подобно Тарквинию, сбивающему палкой самые высокие маковые

головки, сбивал своей тростью длинные увядающие стебли штокроз, возвышавшиеся вдоль аллей, словно призраки прекрасных цветов, благоухавших здесь летом.

Уже несколько раз доходил он до конца сада, до памятных читателю ворот у пустующего огорода, и возвращался тем же шагом все по той же аллее, так же размахивая тростью, и тут его глаза случайно обратились к дому, где шумно резвился его сын, на два дня приехавший из пансиона к матери.

И вот в одном из открытых окон он увидел Нуартье, который велел подкатить свое кресло к этому окну, чтобы погреться в последних лучах еще теплого солнца, которое прощально озаряло умирающие цветы вьюнков и багряные листья дикого винограда, вьющегося по балкону.

Взгляд старика был прикован к чему-то, что Вильфор не мог разглядеть. Этот взгляд был полон такой исступленной ненависти, горел таким нетерпением, что королевский прокурор, умевший схватывать все выражения так хорошо ему знакомого лица, отошел в сторону, чтобы посмотреть, на кого направлен этот уничтожающий взгляд. [f]

Тогда он увидел под липами с почти уже обна-

женными ветвями г-жу де Вильфор, сидевшую с книгой в руках; время от времени она прерывала чтение, чтобы улыбнуться сыну или бросить ему обратно резиновый мячик, который он упрямо кидал из гостиной в сад.

Вильфор побледнел — он понимал, чего хочет старик.

Вдруг взгляд Нуартье перенесся на сына, и Вильфору самому пришлось выдержать натиск этого огненного взора, который, переменив направление, говорил уже о другом, но столь же грозно.

Госпожа де Вильфор, не ведая о перекрестном огне взглядов над ее головой, только что поймала мячик и знаками подзывала сына прийти за ним, а заодно и за поцелуем, но Эдуар заставил себя долго упрашивать, потому что материнская ласка казалась ему, вероятно, недостаточной наградой за перерыв в игре; наконец он уступил, выпрыгнул в окно прямо на клумбу гелиотропов и китайских астр и, разгоряченный, подбежал к матери. Г-жа де Вильфор отерла его гладкий, покрытый испариной лоб, поцеловала, и ребенок, с мячиком в одной руке и пригоршней конфет в другой, побежал обратно.

Вильфор, повинуясь неодолимой силе, словно

птица, завороженная взглядом змеи, направился к дому; по мере того как он приближался, глаза Нуартье опускались, следя за ним, и огонь его зрачков, все разгораясь, словно жег самое сердце Вильфора. В этом взгляде он читал жестокий укор и беспощадную угрозу. И вот Нуартье медленно поднял глаза к небу, словно напоминая сыну о забытой клятве.

— Хорошо, сударь, — сказал, остановившись под окном, Вильфор. — Потерпите. Потерпите еще один день; я помню свое обещание.

Эти слова, видимо, успокоили Нуартье, и он равнодушно отвел взгляд.

Вильфор порывисто расстегнул душивший его ворот, провел дрожащей рукой по лбу и вернулся в свой кабинет.

Ночь прошла, как обычно, в немом спокойствии, все в доме спали. Один Вильфор, как всегда, не ложился и работал до пяти часов утра, просматривая последние допросы, снятые накануне следователями, сопоставляя показания свидетелей и внося еще больше ясности в свой обвинительный акт, один из самых блестящих и убедительных, какие он когда-либо составлял.

Наутро, в понедельник, должно было состояться первое заседание сессии. Вильфор видел,

как забрезжило это утро, бледное и зловещее, и в его голубоватом свете на бумаге заалели строки, написанные красными чернилами. Королевский прокурор прилег на несколько минут; лампа догорала; он проснулся от ее потрескивания и заметил, что пальцы его влажны и красны, словно обагренные кровью.

Он открыл окно: длинная оранжевая полоса пересекала небо и словно разрезала пополам стройные тополя, выступавшие черными силуэтами на горизонте. Над заброшенным огородом, по ту сторону ворот, высоко взлетел жаворонок и залился звонкой утренней песней.

На Вильфора пахнуло утренней прохладой, и мысли его прояснились.

— День суда настал, — сказал он с усилием, — сегодня тот, чья рука держит меч правосудия, должен сразить всех виновных.

Его взгляд невольно обратился к окну Нуартье, к тому окну, где он накануне видел старика.

Штора была спущена.

И все же образ отца был для него так жив, что он обратился к этому темному окну, словно оно было отворено и из него смотрел грозный старик.

— Да, — прошептал он, — да, будь спокоен!

Опустив голову, он несколько раз прошелся

по кабинету, потом, не раздеваясь, бросился на диван — не столько чтобы уснуть, сколько чтобы дать отдых телу, окоченевшему от усталости и от бессонной ночи за письменным столом.

Понемногу все в доме проснулись. Вильфор из своего кабинета слышал, один за другим, привычные звуки, из которых слагается повседневная жизнь: хлопанье дверей, дребезжание колокольчика г-жи де Вильфор, зовущей горничную, первые возгласы Эдуара, который пробудился радостный и веселый, как пробуждаются в его годы.

Вильфор, в свою очередь, тоже позвонил. Новый камердинер вошел и подал газеты.

Вместе с газетами он принес чашку шоколада.

— Что это? — спросил Вильфор.

— Шоколад.

— Я не просил. Кто это позаботился обо мне?

— Госпожа де Вильфор. Она сказала, что вам надо подкрепиться, потому что сегодня слушается дело убийцы Бенедетто и вы будете много говорить.

И камердинер поставил на стол у дивана, как и остальные столы, заваленный бумагами, золоченую чашку.

Затем он вышел.

Вильфор мрачно посмотрел на чашку, потом вдруг взял ее нервным движением и залпом выпил шоколад. Казалось, он надеялся, что этот напиток смертоносен, и призывал смерть, чтобы избавиться от долга, исполнить который для него было тяжелее, чем умереть. Затем он встал и принялся ходить по кабинету, с улыбкой, которая ужаснула бы того, кто бы ее увидел.

Шоколад оказался безвреден.

Когда настал час завтрака, Вильфор не вышел к столу.

Камердинер снова вошел в кабинет.

— Госпожа де Вильфор велела вам напомнить, сударь, что пробило одиннадцать часов и что заседание назначено в двенадцать…

— Ну и что же? — сказал Вильфор.

— Госпожа уже одевается и спрашивает, поедет ли она вместе с вами?

— Куда?

— В суд.

— Зачем?

— Ваша супруга говорит, что ей очень хочется присутствовать на этом заседании.

— Ах, ей этого хочется! — сказал Вильфор зловещим тоном.

Камердинер отступил на шаг.

— Если вы желаете ехать один, я так передам госпоже, — сказал он.

Вильфор помолчал, нервно царапая ногтями бледную щеку, окаймленную черной как смоль бородой.

— Передайте госпоже де Вильфор, — ответил он наконец, — что я хочу с ней поговорить и прошу ее подождать меня у себя.

— Слушаю, сударь.

— А потом придете побрить меня и поможете одеться.

— Сию минуту.

Камердинер вышел, потом вернулся, побрил Вильфора и одел во все черное.

Затем он доложил:

— Госпожа де Вильфор сказала, что она вас ждет.

— Я иду.

И Вильфор с папками под мышкой, с шляпой в руке направился к комнатам жены.

У дверей он остановился и отер пот с бледного лба.

Затем он открыл дверь.

Госпожа де Вильфор сидела на оттоманке, нетерпеливо перелистывая журналы и брошюры^ которые Эдуар, забавляясь, рвал на куски,

даже не давая матери их дочитать.

Она была готова к выезду: руки были в перчатках, шляпа лежала на кресле.

— А, вот и вы, сударь, — сказала она спокойно и непринужденно. — Боже мой, до чего вы бледны! Вы опять работали всю ночь? Почему вы не пришли позавтракать с нами? Ну что же, берете вы меня с собой или я поеду одна с Эдуаром?

Госпожа де Вильфор, как мы видим, задала множество вопросов, рассчитывая на один лишь ответ, но Вильфор стоял перед ней неподвижно, немой, как изваяние.

— Эдуар, — сказал он наконец, повелительно глядя на мальчика, — пойди поиграй в гостиной, мой друг, мне нужно поговорить с твоей матерью.

Госпожа де Вильфор вздрогнула: холодная сдержанность мужа, его решительный тон и странное вступление испугали ее.

Эдуар поднял голову, посмотрел на мать и, видя, что она не подтверждает приказа Вильфора, продолжал резать головы своим оловянным солдатикам.

— Эдуар! — крикнул Вильфор так резко, что мальчик подскочил. — Ты слышишь? Ступай!

Ребенок, не привыкший к такому обращению,

встал, он весь побледнел, трудно было бы сказать — от злости или от страха.

Отец подошел к нему, взял его за локоть и поцеловал в лоб.

— Иди, дитя мое, иди! — сказал он.

Эдуар вышел.

Вильфор подошел к двери и запер ее на задвижку.

— Боже мой, — сказала г-жа де Вильфор, стараясь прочесть мысли мужа; на губах ее появилось подобие улыбки, которая тотчас же застыла под бесстрастным взглядом Вильфора. — Боже мой, что случилось?

— Сударыня, где вы храните яд, которым вы обычно пользуетесь? — отчетливо и без всяких предисловий произнес королевский прокурор.

Госпожа де Вильфор вся затрепетала, точно жаворонок, над которым коршун суживает смертоносные круги.

Хриплый, надтреснутый звук — не крик и не вздох — вырвался из груди побледневшей до синевы г-жи де Вильфор.

— Я… я вас не понимаю, — сказала она.

Почувствовав ужас, она хотела встать, однако новый порыв ужаса, еще более сильный, заставил ее снова опуститься на подушки оттоманки.

— Я вас спрашиваю, — невозмутимо продолжал Вильфор ровным голосом, — где вы прячете яд, которым вы отравили моего тестя маркиза де Сен-Меран, мою тещу, Барруа и мою дочь Валентину?

— Что вы говорите, сударь? — воскликнула г-жа де Вильфор, ломая руки.

— Ваше дело не спрашивать, но отвечать.

— Мужу или судье? — пролепетала г-жа де Вильфор.

— Судье, сударыня!

Страшное зрелище являла эта женщина, смертельно бледная, трепещущая, с отчаянием во взоре.

— О сударь… сударь… — пробормотала она.

И это было все.

— Вы мне не отвечаете, сударыня! — воскликнул грозный обличитель. Потом добавил, с улыбкой, еще более ужасной, чем его гнев: — Правда, вы и не отпираетесь!

Она сделала движение.

— Да вы и не могли бы отрицать свою вину, — добавил Вильфор, простирая к ней руку, словно готовый от имени правосудия ее схватить. — Вы совершили все эти преступления с беспримерным коварством, которое, однако, могло обмануть только пристрастных к вам людей.

Начиная со смерти маркизы де Сен-Меран я уже знал, что в моем доме есть отправитель; д'Авриньи предупредил меня об этом. После смерти Барруа, да простит меня Бог, мои подозрения пали на ангела! Даже когда нет явного преступления, подозрение всегда тлеет в моей душе, но после смерти Валентины у меня уже не оставалось сомнений, сударыня, и не только у меня, но и у других. Таким образом, ваше преступление, известное теперь двоим, подозреваемое многими, станет гласным; и, как я вам уже сказал, сударыня, с вами говорит теперь не муж, а судья!

Молодая женщина закрыла лицо руками.

— Не верьте внешним признакам, умоляю вас, — прошептала она.

— Неужели вы так малодушны? — воскликнул с презрением Вильфор. — Правда, я всегда замечал, что отравители малодушны. Ведь у вас хватило мужества видеть, как умирали два старика и невинная девушка, убитые вами!

— Сударь!

— Неужели вы так малодушны? — продолжал Вильфор с возрастающим жаром. — Ведь вы считали минуты четырех агоний, вы составляли ваши дьявольские планы, готовили ваше гнусное зелье с таким изумительным искусством и

уверенностью! Вы так прекрасно все рассчитали; как же вы забыли о том, куда вас может привести разоблачение ваших преступлений? Этого не может быть: вы, наверно, приберегли самый сладостный, самый быстрый и самый верный яд, чтобы избегнуть заслуженной кары… Вы это сделали, я надеюсь?

Госпожа де Вильфор заломила руки и упала на колени.

— Я вижу, вы сознаетесь, — сказал он, — но признание, сделанное судьям, признание, сделанное в последний миг, когда отрицать уже невозможно, — такое признание ни в какой мере не может смягчить кару.

— Кара? — воскликнула г-жа де Вильфор. — Вы уже второй раз произносите это слово!

— Конечно. Уж не потому ли, что вы четырежды виновны, думали вы избежать ее? Уж не потому ли, что вы жена того, кто требует этой кары, думали вы, что она минует вас? Нет, сударыня! Отравительницу, кто бы она ни была, ждет эшафот, если только, повторяю, отравительница не позаботилась приберечь для себя несколько капель самого верного яда.

Госпожа де Вильфор дико вскрикнула, и безобразный, всепоглощающий ужас исказил ее

черты.

— Не бойтесь, я не требую, чтобы вы взошли на эшафот, — сказал королевский прокурор, — я не хочу вашего позора, он был бы и моим позором; напротив, вы должны были понять из моих слов, что вы не можете умереть на эшафоте.

— Нет, я не поняла; что вы хотите сказать? — еле слышно пролепетала несчастная.

— Я хочу сказать, что жена королевского прокурора не захочет запятнать своей низостью безупречное имя и не обесчестит своего мужа и сына.

— Нет, о нет!

— Этим вы совершите доброе дело, сударыня, и я благодарен вам.

— Благодарны? За что?

— За то, что вы сейчас сказали.

— Что я сказала? Я не знаю, ничего не понимаю. Боже мой!

И она вскочила, страшная, растрепанная, с пеной на губах.

— Сударыня, вы не ответили на вопрос, который я вам задал, когда вошел сюда: где яд, который вы обычно пользуетесь?

Госпожа де Вильфор воздела к небесам судорожно стиснутые руки.

— Нет, нет, вы этого не хотите! — дико закричала она.

— Я не хочу только одного, сударыня, — чтобы вы погибли на эшафоте, слышите? — отвечал Вильфор.

— Сжальтесь!

— Я хочу, чтобы правосудие свершилось. Мой долг на земле — карать, — добавил он со сверкающим взглядом. — Всякой другой женщине, будь она даже королева, я послал бы палача, но к вам я буду милосерден. Вам я говорю: сударыня, ведь вы приберегли несколько капель вашего самого нежного, самого быстрого и самого верного яда?

— Пощадите, оставьте мне жизнь!

— Как все-таки вы малодушны! — сказал Вильфор.

— Вспомните, я ваша жена!

— Вы отравительница!

— Во имя Неба!..

— Нет.

— Ради вашей былой любви ко мне!

— Нет, нет!

— Ради нашего ребенка! Ради нашего ребенка, оставьте мне жизнь.

— Нет, нет, нет, если я вам оставлю жизнь, вы, быть может, когда-нибудь убьете и его.

— Я? Я убью моего сына? — вскрикнула эта безумная мать, бросаясь к Вильфору. — Убить моего Эдуара!.. Ха-ха-ха!

И дикий, демонический хохот, хохот помешанной, огласил комнату и оборвался хриплым стоном.

Госпожа де Вильфор упала на колени перед мужем.

Вильфор шагнул к ней.

— Помните, сударыня, — сказал он, — что, если к моему возвращению правосудие не свершится, я сам вас изобличу и сам арестую.

Она слушала, задыхаясь, сраженная, уничтоженная; казалось, одни глаза, пылающие страшным огнем, еще жили на этом лице.

— Вы поняли? — сказал Вильфор. — Я иду в залу суда требовать смертной казни для убийцы… Если, возвратясь, я застану вас живой, вы проведете эту ночь в Консьержери.

Госпожа де Вильфор глубоко вздохнула и без сил опустилась на ковер.

В королевском прокуроре, казалось, шевельнулась жалость, его взгляд смягчился, и, слегка наклонив голову, он медленно произнес:

— Прощайте, сударыня!

Это слово обрушилось на г-жу де Вильфор, как

нож гильотины.

Она потеряла сознание.

Королевский прокурор вышел и, притворив дверь, дважды повернул ключ в замке.

XII
ЗАСЕДАНИЕ СУДА

Дело Бенедетто, как его называли в судебном мире и в Светском обществе, вызвало огромную сенсацию. Завсегдатай Кафе-де-Пари, Гентского бульвара и Булонского леса, мнимый Кавальканти за те два-три месяца, что он жил в Париже и блистал в свете, завел множество знакомств.

Газеты сообщали немало подробностей о его парижской жизни и о его жизни на каторге; все это возбуждало живейшее любопытство, особенно среди тех, кто лично знал князя Андреа Кавальканти; они были готовы пойти на все, лишь бы увидеть на скамье подсудимых господина Бенедетто, убийцу своего товарища по каторге.

Для многих Бенедетто был если не жертвой правосудия, то во всяком случае жертвой судебной ошибки. Г-на Кавальканти-отца уже видели в Париже, и все были уверены, что он появится и выручит из беды своего славного отпрыска. На

многих, никогда не слышавших о пресловутой венгерке, в которой он предстал перед графом де Монте-Кристо, произвели немалое впечатление достойная внешность, благородный облик и светское обращение старого патриция, который, надо сознаться, в самом деле имел вид истого вельможи, пока он молчал и не вдавался в арифметические вычисления.

Что касается самого подсудимого, то многие помнили его таким любезным, красивым и щедрым, что они предпочитали видеть во всем случившемся козни какого-нибудь врага, как это иной раз и случается в мире, где богатство дает власть творить добро и зло и наделяет людей поистине неслыханным могуществом.

Итак, все стремились попасть на заседание суда: одни— чтобы насладиться зрелищем, другие — чтобы потолковать о нем. С семи часов утра у дверей собралась толпа, и за час до начала заседания зал суда был уже переполнен избранной публикой.

В дни громких процессов, до выхода судей, а нередко даже и после этого, зал суда весьма напоминает гостиную, где сошлись знакомые, которые то подходят друг к другу, если не боятся, что кто-нибудь займет их место, то обменивают-

ся знаками, если их разделяет слишком много зрителей, адвокатов и жандармов.

Стоял один из тех чудесных осенних дней, которые вознаграждают нас за дождливое и слишком короткое лето; тучи, которые утром, когда Вильфор посмотрел в окно, заслоняли солнце, рассеялись, как по волшебству, и теплые лучи озаряли один из последних, один из самых ясных дней сентября.

Бошан, король прессы, для которого всюду готов престол, в лорнет разглядывал публику. Он заметил Шато-Рено и Дебрэ, которые только что заручились расположением полицейского и убедили его стать позади них, вместо того чтобы заслонять их, как он был вправе сделать. Достойный блюститель порядка чутьем угадал секретаря министра и миллионера; он выказал по отношению к своим знатным соседям большую предупредительность и даже разрешил им пойти поболтать с Бошаном, обещая посторожить их места.

— И вы пришли повидаться с нашим другом? — сказал Бошан.

— Ну как же! — отвечал Дебрэ. — Наш милейший князь! Черт возьми, вот они какие, итальянские князья!

— Человек, чьей генеалогией занимался сам Данте, чей род восходит к "Божественной комедии"!

— Виселичная аристократия, — флегматично заметил Шато-Рено.

— Вы думаете, он будет осужден? — спросил Дебрэ Бошана.

— Мне кажется, это у вас надо спросить, мой дорогой, — отвечал журналист, — вам лучше знать, какое настроение у суда; видели вы председателя на последнем приеме министра?

— Видел.

— Что же он вам сказал?

— Вы удивитесь.

— Так говорите скорее; я давным-давно ничему не удивлялся.

— Он мне сказал, что Бенедетто, которого считают чудом ловкости, титаном коварства, просто-напросто мелкий жулик, весьма недалекий и совершенно недостойный тех исследований, которые после его смерти будут произведены над его френологическими шишками.

— А он довольно сносно разыгрывал князя, — заметил Бошан.

— Только на ваш взгляд, Бошан, потому что вы ненавидите бедных князей и всегда радуетесь,

когда они плохо ведут себя, но меня не проведешь: я, как ищейка от геральдики, издали чую настоящего аристократа.

— Так вы никогда не верили в его княжеский титул?

— В его княжеский титул? Верил… Но в его княжеское достоинство — никогда.

— Недурно сказано, — заметил Бошан, — но уверяю вас, что для всякого другого он вполне мог сойти за князя… Я его встречал в гостиных у министров.

— Много ваши министры понимают в князьях! — сказал Шато-Рено.

— Прекрасно сказано, коротко и метко, — засмеялся Бошан. — Разрешите мне вставить ваши слова в мой отчет?

— Сделайте одолжение, дорогой Бошан, — отвечал Шато-Рено, — я вам уступаю мое изречение по своей цене.

— Но если я говорил с председателем, — сказал Дебрэ Бошану, — то вы должны были говорить с королевским прокурором?

— Это было невозможно; вот уже неделя, как Вильфор скрывается от всех; да это и понятно после целой цепи странных семейных несчастий, завершившихся столь же странной смертью его

дочери.

— Странной смертью? Что вы хотите сказать, Бошан?

— г- Вы, конечно, разыгрываете неведение под тем предлогом, что все это касается судебной аристократии, — сказал Бошан, вставляя в глаз монокль и стараясь удержать его.

— Дорогой мой, — заметил Шато-Рено, — разрешите сказать вам, что в искусстве носить монокль вам далеко до Дебрэ. Дебрэ, покажите Бошану, как это делается.

— Ну, конечно, я не ошибся, — сказал Бошан.

— А что?

— Это она.

— Кто она?

— А говорили, что она уехала.

— Мадемуазель Эжени? — спросил Шато-Рено. — Разве она уже вернулась?

— Нет, не она, а ее мать.

— Госпожа Данглар?

— Не может быть, — сказал Шато-Рено, — на десятый день после побега дочери, на третий день после банкротства мужа!

Дебрэ слегка покраснел и взглянул в ту сторону, куда смотрел Бошан.

— Да нет же, — сказал он, — эта дама под густой

вуалью — какая-нибудь знатная иностранка, может быть, мать князя Кавальканти; но вы, кажется, хотели рассказать что-то интересное, Бошан.

— Я?

— Да. Вы говорили о странной смерти Валентины.

— Ах да; но почему не видно госпожи де Вильфор?

— Бедняжка! — сказал Дебрэ. — Она, вероятно, перегоняет мелиссу для больниц или составляет помады для себя и своих приятельниц. Говорят, она тратит на эту забаву до трех тысяч экю в год. В самом деле, почему же ее не видно? Я бы с удовольствием повидал ее, она мне очень нравится.

— А я ее не терплю, — сказал Шато-Рено.

— Почему это?

— Не знаю. Почему мы любим? Почему ненавидим? Я ее не выношу потому, что она мне неприятна.

— Или, может быть, инстинктивно.

— Может быть… Но вернемся к вашему разговору, Бошан.

— Неужели, господа, — продолжал Бошан, — вы не задавались вопросом, почему так обильно умирают у Вильфоров?

— Обильно? Недурно сказано, — заметил Шато-Рено.

— Это выражение встречается у Сен-Симона.

— Но умирают у Вильфора; так поговорим о нем.

— Признаться, меня очень интересует этот дом, — сказал Дебрэ, — вот уже три месяца семья не выходит из траура; позавчера со мной об этом говорила "сама", в связи со смертью Валентины.

— Кто такая "сама"? — спросил Шато-Рено.

— Жена министра, разумеется!

— Прошу прощения, — заметил Шато-Рено, — я к министру не езжу, предоставляю это делать князьям.

— Раньше вы метали искры, барон, теперь вы мечете молнии; сжальтесь над нами, не то вы испепелите нас, как новоявленный Юпитер.

— Умолкаю, — сказал Шато-Рено, — но, черт возьми, сжальтесь и вы надо мной и не дразните меня.

— Послушайте, Бошан, довольно отвлекаться; я уже сказал, что "сама" позавчера просила у меня разъяснений на этот счет; скажите мне, что вы знаете, я ей передам.

— Итак, господа, — сказал Бошан, — если в доме Вильфора обильно умирают — мне нравится

это выражение, — то это значит, что в доме есть убийца.

Его собеседники встрепенулись: им самим уже не раз приходила в голову эта мысль.

— Но кто же убийца? — спросили оба в один голос.

— Маленький Эдуар.

Шато-Рено и Дебрэ расхохотались; Бошан, нисколько не смутившись, продолжал:

— Да, господа, маленький Эдуар — феноменальный ребенок — убивает не хуже взрослого.

— Это шутка?

— Вовсе нет, я вчера нанял лакея, который только что ушел от Вильфоров; обратите на это внимание.

— Обратили.

— Завтра я его уволю, потому что он непомерно много ест, чтобы вознаградить себя за пост, который он со страху там на себя наложил. Так вот, этот прелестный ребенок будто бы раздобыл склянку с каким-то снадобьем, которым он время от времени потчует тех, кто ему не угодил. Сначала ему не угодили дедушка и бабушка де Сен-Меран, и он налил им по три капли своего эликсира: трех капель вполне достаточно; затем славный Барруа, старый слуга дедушки Нуартье,

который иногда ворчал на милого шалунишку, и милый шалунишка налил и ему три капли своего эликсира; то же самое случилось с несчастной Валентиной, которая, правда, на него не ворчала, но которой он завидовал; он и ей налил три капли своего эликсира, и ей, как и другим, пришел конец.

— Бросьте сказки рассказывать, — сказал Шато-Рено.

— А страшная сказка, правда? — сказал Бошан.

— Это нелепо, — сказал Дебрэ.

— Вы просто боитесь смотреть правде в глаза, — возразил Бошан. — Спросите моего лакея, или, вернее, того, кто завтра уже не будет моим лакеем; об этом говорил весь дом.

— Но что это за эликсир? Где он?

— Мальчишка его прячет.

— Где он его взял?

— В лаборатории у своей мамаши.

— Так его мамаша держит в лаборатории яды?

— Откуда мне знать? Вы допрашиваете меня, как королевский прокурор. Я повторяю то, что мне сказали, и только. Я вам называю свой источник, большего я не могу сделать. Бедный малый от страха ничего не ел.

— Это невероятно!

— Да нет же, дорогой мой, тут нет ничего невероятного; помните, в прошлом году некий ребенок с улицы Ришелье забавляется тем, что втыкал своим братьям и сестрам, пока они спали, булавку в ухо? Молодое поколение развито не по летам.

— Бьюсь об заклад, что сами вы не верите ни одному своему слову, — сказал Шато-Рено. — Но я не вижу графа де Монте-Кристо; неужели его здесь нет?

— Он человек пресыщенный, — заметил Дебрэ, — да ему и неприятно было бы показаться здесь; ведь эти Кавальканти его надули; говорят, они явились к нему с фальшивыми аккредитивами, так что он потерял добрых сто тысяч франков, которыми ссудил их под залог княжеского достоинства.

— Кстати, Шато-Рено, — спросил Бошан, — как поживает Моррель?

— **Я** заходил к нему три раза, — отвечал Шато-Рено, — но о нем ни слуху ни духу. Однако сестра его, по-видимому, о нем не тревожится, она преспокойно сказала, что тоже три дня его не видела, но уверена, что с ним ничего не случилось.

— Ах да, ведь граф де Монте-Кристо и не может быть здесь, — сказал Бошан.

— Почему же?

— Потому что он сам действующее лицо в этой драме.

— Разве он тоже кого-нибудь убил? — спросил Дебрэ.

— Нет, напротив, это его хотели убить. Известно, что этот почтенный господин Кадрусс был убит своим дружком Бенедетто как раз в ту минуту, когда он выходил от графа Монте-Кристо. Известно, что в доме графа нашли пресловутый жилет с письмом, из-за которого остался неподписанным брачный договор. Вы видели этот жилет? Вот он там, на столе, весь в крови, — вещественное доказательство.

— Вижу, вижу!

— Тише, господа, начинается, По местам!

Все в зале шумно задвигались; полицейский энергичным "гм!" подозвал своих протеже, а появившийся в дверях судебный пристав тем визгливым голосом, которым приставы отличались еще во времена Бомарше, провозгласил:

— Суд идет, господа!

XIII

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

Судьи уселись среди глубокой тишины; присяжные заняли свои места; Вильфор, предмет всеобщего внимания, мы бы даже сказали — восхищения, опустился в свое кресло, окидывая залу спокойным взглядом.

Все с удивлением смотрели на его строгое, бесстрастное лицо, которое ничем не выдавало отцовского горя; этот человек, которому чужды были все человеческие чувства, почти внушал страх.

— Введите обвиняемого, — сказал председатель.

При этих словах публика оживилась, все взоры устремились на дверь, через которую должен был войти Бенедетто.

Вскоре дверь отворилась и появился обвиняемый.

На всех он произвел одно и то же впечатление, и никто не обманулся в выражении его лица.

Его черты не носили отпечатка того глубокого волнения, от которого кровь приливает к сердце и бледнеет лицо, Руки его — одну он положил на шляпу, другую засунул за вырез белого пикейного жилета — не дрожали; глаза были спокойны и

даже блестели. Едва войдя в залу, он стал осматривать судей и публику и дольше, чем на других, остановил взгляд на председателе и особенно на королевском прокуроре.

Рядом с Андреа поместился его адвокат, защитник по назначению (Андреа не захотел заниматься подобного рода мелочами, которым он, казалось, не придавал никакого значения), молодой блондин, раскрасневшийся, во сто крат более взволнованный, чем сам подсудимый.

Председатель попросил огласить обвинительный акт, составленный, как известно, искусным и неумолимым пером Вильфора.

Во время этого долгого чтения, которое для всякого другого было бы мучительно, внимание публики сосредоточилось на Андреа, переносившем это испытание с душевной бодростью спартанца.

Никогда еще, быть может, Вильфор не был так лаконичен и красноречив: преступление было обрисовано самыми яркими красками; все прошлое обвиняемого, постепенное изменение его характера, последовательность его поступков, начиная с весьма раннего возраста, были представлены со всей силой, какую мог почерпнуть из знания жизни и человеческой души возвы-

шенный ум королевского прокурора.

Одной этой вступительной речью Бенедетто был навсегда уничтожен в глазах общественного мнения еще до того, как его покарал закон.

Андреа не обращал ни малейшего внимания на эти грозные обвинения, которые одно за другим обрушивались на него. Вильфор часто смотрел в его сторону и, должно быть, продолжал психологические наблюдения, которые он уже столько лет вел над преступниками, но ни разу не мог заставить Андреа опустить глаза, как ни пристален и ни упорен был его взгляд.

Наконец обвинительный акт был прочитан.

— Обвиняемый, — сказал председатель, — ваше имя и фамилия?

Андреа встал.

— Простите, господин председатель, — сказал он ясным и звонким голосом, — но я вижу, что вы намерены предлагать мне вопросы в таком порядке, в каком я затруднился бы на них отвечать. Я полагаю, и обязуюсь это доказать немного позже, что я могу считаться исключением среди обыкновенных подсудимых. Прошу вас, разрешите мне отвечать, придерживаясь другого порядка; при этом я отвечу на все вопросы, Удивленный председатель взглянул на присяжных, те взгля-

нули на королевского прокурора.

Публика была в полнейшем недоумении.

Но Андреа это, по-видимому, ничуть не смутило.

— Сколько вам лет? — спросил председатель. — На этот вопрос вы ответите?

— И на этот вопрос, и на остальные, господин председатель, отвечу, когда придет их черед.

— Сколько вам лет? — повторил судья.

— Мне двадцать один год, или, вернее, мне исполнится двадцать один год через несколько дней, так как я родился в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое сентября тысяча восемьсот семнадцатого года.

Вильфор, что-то записывавший, при этих словах поднял голову.

— Где вы родились? — продолжал председатель.

— В Отее, близ Парижа, — отвечал Бенедетто.

Вильфор вторично посмотрел на Бенедетто и смертельно побледнел, словно увидев голову Медузы.

Что же касается Бенедетто, то он грациозно отер губы вышитым концом тонкого батистового платка.

— Ваша профессия? — [1] спросил председатель.

— Сначала я занимался подлогами, — невозмутимо отвечал Андреа, — потом воровством, а недавно стал убийцей.

Ропот, или, вернее, гул негодования и удивления, пронесся по залу, даже судьи изумленно переглянулись, а присяжные явно были возмущены цинизмом, которого трудно было ожидать от светского человека.

Вильфор провел рукою по лбу; его бледность сменилась багровым румянцем; вдруг он встал, растерянно озираясь; он задыхался.

— Вы что-нибудь ищете, господин королевский прокурор? — спросил Бенедетто с самой учтивой улыбкой.

Вильфор ничего не ответил и снова сел, или, скорее, упал, в свое кресло.

— Может быть, теперь, обвиняемый, вы назовете себя? — спросил председатель. — То вызывающее бесстыдство, с которым вы перечислили свои преступления, именуя их своей профессией и даже как бы гордясь ими, само по себе достойно того, чтобы во имя нравственности и уважения к человечеству сурово вас осудить, но, вероятно, вы преднамеренно не сразу назвали себя: вам хочется оттенить свое имя всеми своими титулами.

— Просто невероятно, господин председа-

тель, — кротко и почтительно сказал Бенедетто, — как верно вы угадали мою мысль; вы совершенно правы, именно с этой целью я просил вас изменить порядок вопросов.

Изумление достигло предела; в словах подсудимого уже не слышалось ни хвастовства, ни цинизма; взволнованная аудитория почувствовала, что из глубины этой черной тучи сейчас грянет гром.

— Итак, — сказал председатель, — ваше имя?

— Я вам не могу назвать свое имя, потому что я его не знаю, но я знаю имя моего отца, и это имя я могу назвать.

У Вильфора потемнело в глазах; по лицу его струился пот, руки судорожно перебирали бумаги.

— В таком случае назовите имя вашего отца, — сказал председатель.

В огромном зале наступила гробовая тишина; все ждали, затаив дыхание.

— Мой отец — королевский прокурор, — спокойно ответил Андреа.

— Королевский прокурор! — изумленно повторил председатель, не замечая исказившегося лица Вильфора.

— Да, а так как вы хотите знать его имя, я вам

скажу: его зовут де Вильфор!

Крик негодования, так долго сдерживаемый из уважения к суду, вырвался, как буря, изо всех уст; даже судьи не сразу подумали о том, чтобы призвать к порядку возмущенную публику. Возгласы, брань, обращенная к невозмутимому Бенедетто, угрожающие жесты, окрики жандармов, гоготание той низкопробной части публики, которая во всяком сборище оказывается на поверхности в минуты замешательства и скандала, — все это продолжалось добрых пять минут* пока судьям и приставам не удалось водворить тишину.

Среди общего шума слышен был голос председателя, восклицавшего:

— Вы, кажется, издеваетесь над судом, обвиняемый? Вы дерзко выставляете напоказ перед вашими согражданами такую безмерную испорченность, которая даже в наш развращенный век не имеет себе равной.

Человек десять суетились вокруг королевского прокурора, поникшего в своем кресле, утешая его, ободряя, уверяя в преданности и сочувствии.

В зале восстановилась тишина, только в одном углу многие еще волновались и шушукались.

Говорили, что какая-то женщина упала в обморок; ей дали понюхать соль, и она пришла

в себя.

Во время этой суматохи Андреа с улыбкой повернулся к публике, потом, изящно опершись рукой на дубовые перила скамьи, заговорил:

— Господа, видит Бог, что я не думаю оскорблять суд и производить в этом уважаемом собрании ненужный скандал. Меня спрашивают, сколько мне лет, — я говорю; меня спрашивают, где я родился, — я отвечаю; меня спрашивают, как мое имя, — на это я не могу ответить: у меня его нет, потому что мои родители меня бросили. Но зато я могу назвать имя своего отца; и я повторяю, моего отца зовут де Вильфор, и я готов это доказать.

В голосе подсудимого чувствовалась такая уверенность, такая сила убеждения, что всеобщий шум сменился тишиной. Все взгляды обратились на королевского прокурора, а тот сидел немой и неподвижный, словно удар молнии лишил его жизни.

— Господа, — продолжал Андреа, жестом и тоном призывая к молчанию, — я должен объяснить свои слова и подтвердить их доказательствами.

— Но вы показали на следствии, что вас зовут Бенедетто, — гневно воскликнул председатель, — вы заявили, что вы сирота и что ваша родина

— Корсика.

— Я показал на следствии то, что считал нужным показать, я не хотел, чтобы мне помешали — а это неминуемо бы случилось, — торжественно объявить мою тайну во всеуслышание.

Итак, я повторяю: я родился в Отее, в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое сентября тысяча восемьсот семнадцатого года, я — сын королевского прокурора господина де Вильфора. Угодно ли знать подробности? Я их сообщу.

Я родился во втором этаже дома номер двадцать восемь по улице Фонтен, в комнате, обтянутой красным штофом. Мой отец взял меня на руки, сказал моей матери, что я умер, завернул меня в полотенце, помеченное буквами Э. и Н., и отнес в сад, где зарыл в землю живым.

Трепет пробежал по толпе, когда она увидела, что вместе с уверенностью подсудимого возрастало смятение Вильфора.

— Но откуда вам известны эти подробности? — спросил председатель.

. — Сейчас объясню, господин председатель. В сад, где закопал меня мой отец, в ту самую ночь проник один корсиканец, который его смертельно ненавидел и уже давно подстерегал его, чтобы учинить вендетту. Этот человек, спрятавшись

в кустах, видел, как мой отец зарывал в землю ящик, и тут же ударил его ножом; затем, думая, что в этом ящике спрятано какое-нибудь сокровище, он разрыл могилу и нашел меня еще живым. Он отнес меня в воспитательный дом, где меня записали под номером пятьдесят седьмым. Три месяца спустя сестра этого человека приехала за мной из Рольяно в Париж, заявила, что я ее сын, и увезла меня с собой. Вот почему, родившись в Отее, я вырос на Корсике.

Наступила тишина, такая глубокая, что, если бы не взволнованное дыхание тысячи людей, можно было бы подумать, будто зала пуста.

— Дальше, — сказал председатель.

— Конечно, — продолжал Бенедетто, — я мог бы жить счастливо у этих добрых людей, любивших меня как сына, но мои порочные наклонности взяли верх над добродетелями, которые мне старалась привить моя приемная мать. Я вырос во зле и дошел до преступления. Однажды, когда я проклинал Бога за то, что он сотворил меня таким злым и обрек на такую ужасную судьбу, мой приемный отец сказал мне:

"Не богохульствуй, несчастный! Бог не во гневе сотворил тебя! В твоем преступлении виноват твой отец, а не ты; твой отец обрек тебя на вечные

муки, если бы ты умер, и на нищету, если бы ты чудом вернулся к жизни".

С тех пор я перестал проклинать Бога, я проклинал моего отца; вот почему я произнес здесь те слова, которые вызвали ваш гнев, господин председатель, и которые так взволновали это почтенное собрание. Если это еще новое преступление, то накажите меня, но если я вас убедил, что со дня моего рождения моя судьба была мучительной, горькой, плачевной, то пожалейте меня!

— А кто ваша мать? — спросил председатель.

— Моя мать считала меня мертвым, она ни в чем передо мной не виновата. Я не хотел знать имени моей матери: я его не знаю.

Пронзительный крик, перешедший в рыдание, раздался в том углу залы, где сидела незнакомка, только что очнувшаяся от обморока.

С ней сделался нервный припадок, и ее унесли из залы суда; когда ее подняли, густая вуаль, закрывавшая ее лицо, откинулась, и окружающие узнали баронессу Данглар.

Несмотря на полное изнеможение, на шум в ушах, на то, что мысли смешались в его голове, Вильфор тоже узнал ее и встал.

— Где доказательства? — сказал председа-

тель. — Обвиняемый, помните, что это нагромождение мерзостей должно быть подтверждено самыми неопровержимыми доказательствами.

— Вы требуете доказательств? — с усмешкой сказал Бенедетто.

— Да.

— Взгляните на господина де Вильфора и скажите, нужны вам еще доказательства?

Вся зала повернулась в сторону королевского прокурора, который зашатался под тяжестью этой тысячи вперившихся в него взглядов; волосы его были растрепаны, лицо исцарапано ногтями.

Ропот изумления прошел по толпе.

— У меня требуют доказательств, отец, — сказал Бенедетто, — хотите, я их представлю?

— Нет, нет, — хрипло пробормотал Вильфор, — это бесполезно.

— Как? — воскликнул председатель. — Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, — произнес королевский прокурор, — что напрасно я пытался бы вырваться из смертельных тисков, которые сжимают меня, да, господа, признаю, я в руке карающего Бога! Не нужно доказательств! Все, что сказал этот молодой человек, правда.

Мрачная, гнетущая тишина, от которой волосы

шевелились на голове, тишина, какая предшествует стихийным катастрофам, окутала своим свинцовым покровом всех присутствующих.

— Что вы, господин де Вильфор? — воскликнул председатель. — Вы во власти галлюцинаций! Вам изменяет разум! Легко понять, что такое неслыханное, неожиданное, ужасное обвинение могло помрачить ваш рассудок: опомнитесь, придите в себя!

Королевский прокурор покачал головой. Зубы его стучали, как в лихорадке, в лице не было ни кровинки.

— Ум мой ясен, господин председатель, — сказал он, — страдает только тело, и эго понятно. Я признаю себя виновным во всем, что этот человек вменяет мне в вину; я возвращаюсь в свой дом, где буду ждать распоряжений господина королевского прокурора, моего преемника.

И, произнеся эти слова глухим, еле слышным голосом, Вильфор нетвердой походкой направился к двери, которую перед ним машинально распахнул дежурный пристав.

Зал безмолвствовал, потрясенный этим страшным разоблачением и не менее страшным признанием — трагической развязкой загадочных событий, которые уже две недели волновали

высшее парижское общество.

— А еще говорят, что в жизни не бывает драм, — сказал Бошан.

— Право же, — сказал Шато-Рено, — я предпочел бы кончить, как генерал Морсер; пуля в лоб — просто удовольствие по сравнению с такой катастрофой.

— К тому же она убивает, — сказал Бошан.

— А я-то хотел жениться на его дочери! — сказал Дебрэ. — Хорошо сделала бедная девочка, что умерла!

— Заседание суда закрыто, — сказал председатель, — дело откладывается до следующей сессии. Назначается новое следствие, которое будет поручено другому лицу.

Андреа, все такой же спокойный и сильно поднявшийся во мнении публики, покинул залу в сопровождении жандармов, которые невольно выказывали ему уважение.

— Ну-с, что вы на это скажете, милейший? — сказал Дебрэ полицейскому, суя ему в руку золотой.

— Признают смягчающие обстоятельства, — отвечал тот.

XIV
ИСКУПЛЕНИЕ

Вильфор шел к выходу; все расступались перед ним. Всякое великое горе внушает уважение, и еще не было примера, даже в самые жестокие времена, чтобы в первую минуту люди не посочувствовали человеку, на которого обрушилось непоправимое несчастье. Разъяренная толпа может убить того, кто ей ненавистен, но редко случается, чтобы люди, присутствующие при объявлении смертного приговора, оскорбляли несчастного, даже если он совершил преступление.

Вильфор прошел сквозь ряды зрителей, стражи, судейских чиновников и удалился, сам вынеся себе обвинительный приговор, но охраняемый своей скорбью.

Бывают трагедии, которые люди постигают чувством, но не могут охватить разумом, и тогда величайший поэт — тот, у кого вырвется самый страстный и самый искренний крик. Этот крик заменяет толпе целую повесть, и она права, что довольствуется им, и еще более права, если

признает его совершенным, когда в нем звучит истина.

Впрочем, трудно было бы описать то состояние оцепенения, в котором Вильфор шел из суда, тот лихорадочный жар, от которого билась каждая его артерия, напрягался каждый нерв, вздувалась и едва не рвалась каждая жила и который терзал миллионом терзаний каждую частицу его бренного тела.

Только сила привычки помогла Вильфору дотащиться до выхода. Он сбросил с себя судейскую тогу не потому, что этого требовали приличия, но потому, что она давила и жгла ему плечи тяжким бременем, как мучительное одеяние Несса.

Шатаясь, дошел он до двора Дофина, нашел там свою карету, разбудил кучера, сам открыл дверцу и упал на сиденье, указывая рукой в сторону предместья Сент-Оноре.

Лошади тронули.

Страшной тяжестью обрушилось на него воздвигнутое им здание его жизни; он был раздавлен этим обвалом. Он еще не предвидел последствий, не измерял их, он их только чувствовал; он не думал о букве закона, как думает хладнокровный убийца, толкуя хорошо знакомую ему статью.

Бог вошел в его сердце.

— Боже! — безотчетно шептали его губы. — Боже!

За постигшей его катастрофой он видел только десницу Божью.

Карета ехала быстро. Вильфор, откинувшийся на сиденье, почувствовал, что ему мешает какой-то предмет.

Он протянул руку; это был веер, забытый г-жой де Вильфор и завалившийся между спинкой и подушками; вид этого веера пробудил в нем воспоминание, и это воспоминание сверкнуло, как молния во мраке ночи.

Вильфор вспомнил о жене…

Он застонал, как будто в сердце ему вонзилось раскаленное железо.

Все время он думал только об одном своем несчастье, и вдруг перед его глазами второе, не менее ужасное.

Его жена! Он только что стоял перед нею как неумолимый судья; он приговорил ее к смерти, и она, пораженная ужасом, раздавленная стыдом, убитая раскаянием, которое он пробудил в ней своей незапятнанной добродетелью, — она, несчастная, слабая женщина, беззащитная перед лицом этой неограниченной, высшей власти, быть может, в эту самую минуту готовилась

умереть!

Уже час прошел с тех пор, как он вынес ей приговор, и в эту минуту она, должно быть, вспоминая все свои преступления, молила Бога о пощаде, писала письмо, униженно умоляя своего безупречного судью о прощении, которое она покупала ценою жизни.

Вильфор глухо застонал от бешенства и боли и заметался на атласных подушках кареты.

— Эта женщина стала преступницей только потому, что прикоснулась ко мне! — воскликнул он. — Я — само преступление! И она заразилась им, как заражаются тифом, холерой, чумой!.. И я караю ее!.. Я осмелился ей сказать: раскайся и умри… я! Нет, нет, она будет жить… она пойдет со мной… Мы скроемся, мы покинем Францию, мы будем скитаться по земле, пока земля будет носить нас. Я говорил ей об эшафоте!.. Великий Боже! Как я смел произнести это слово! Ведь меня тоже ждет эшафот!.. Мы скроемся… Да, я покаюсь ей во всем, каждый день я буду смиренно повторять ей, что я такой же преступник… Союз тигра и змеи! О жена, достойная своего мужа!.. Она должна жить, ее злодеяние должно померкнуть перед моим!.

И Вильфор порывисто опустил переднее стекло

кареты.

— Скорей, скорей! — крикнул он таким голосом, что кучер привскочил на козлах.

Испуганные лошади вихрем помчались к дому.

— Да, да, — твердил Вильфор, — эта женщина должна жить, она должна раскаяться и воспитать моего сына, моего несчастного мальчика. Он один вместе с этим железным стариком пережил гибель моей семьи! Она любила сына; ради него она пошла на преступление. Никогда не следует терять веру в сердце женщины, любящей своего ребенка; она раскается, никто не узнает, что она преступница. Все злодеяния, которые совершены в моем доме и о которых уже шепчутся в свете, со временем забудутся, а если и найдутся недоброжелатели, что о них вспомнят, я возьму вину на себя. Одним, двумя, тремя больше — не все ли равно! Моя жена возьмет все наше золото, а главное— сына, и убежит прочь от этой бездны, куда, кажется, вместе со мною готов низринуться весь мир. Она будет жить, она еще будет счастлива, ибо вся ее любовь принадлежит сыну, а сын останется с ней. Я совершу доброе дело; от этого душе станет легче.

И королевский прокурор впервые за долгое

время вздохнул свободнее.

Карета остановилась во дворе его дома.

Вильфор спрыгнул с подножки на ступени крыльца. Он видел, что слуги удивлены его быстрым возвращением. Ничего другого он на их лицах не прочел; никто не заговорил с ним: перед ним, как всегда, расступились, и только.

Он прошел мимо комнаты Нуартье и сквозь полуотворенную дверь заметил две неясные тени, но не задумался над тем, кто посетитель его отца; тревога влекла его дальше.

"Здесь все как было", — подумал он, поднимаясь по маленькой лестнице, которая вела к комнатам его жены и пустой комнате Валентины.

Он запер за собой дверь на площадку.

— Пусть никто не входит сюда, — сказал он, — я должен говорить с ней без помехи, повиниться перед ней, сказать ей все…

Он подошел к двери, взялся за хрустальную ручку; дверь подалась.

— Не заперта! — прошептал он. — Это хороший знак!

И он вошел в маленькую гостиную, где по вечерам стелили постель для Эдуара; хотя мальчик и учился в пансионе, он каждый вечер возвращался домой; мать ни за что не хотела разлучаться

с ним.

Вильфор окинул взглядом комнату.

— Никого, — сказал он, — она у себя в спальне.

Он бросился к двери.

Но эта дверь была заперта.

Он остановился, весь дрожа.

— Элоиза! — крикнул он.

Ему послышалось, что кто-то двинул стулом.

— Элоиза! — повторил он.

— Кто там? — спросил голос его жены.

Ему показалось, что этот голос звучал слабее обычного.

— Откройте, откройте, — крикнул Вильфор, — это я!.

Но, несмотря на повелительный и вместе тревожный тон этого приказания, никто не открыл.

Вильфор вышиб дверь ногой.

На пороге будуара стояла г-жа де Вильфор с бледным, искаженным лицом и смотрела на мужа пугающе неподвижным взглядом.

— Элоиза! — воскликнул он. — Что с вами? Говорите!

Она протянула к нему бескровную, цепенеющую руку.

— Все исполнено, сударь, — сказала она с глухим хрипом, который словно разрывал ей

гортань. — Чего вы еще хотите?

И она, словно подкошенная, упала на ковер.

Вильфор подбежал к ней, схватил ее за руку. Рука эта судорожно сжимала хрустальный флакон с золотой пробкой.

Госпожа де Вильфор была мертва.

Вильфор, обезумев от ужаса, попятился к двери, не отрывая глаз от трупа.

— Эдуар! — вскричал он вдруг. — Где мой сын? — И он бросился из комнаты с воплем: — Эдуар! Эдуар!

Этот крик был так страшен, что со всех сторон сбежались слуги.

— Мой сын? Где мой сын? — спросил Вильфор. — Уведите его, чтобы он не видел…

— Господина Эдуара нет внизу, сударь, — ответил камердинер.

— Он, должно быть, в саду, бегите за ним!

— Нет, сударь; госпожа де Вильфор полчаса тому назад позвала его к себе; господин Эдуар пошел к ней и с тех пор не выходил.

Ледяной пот выступил на лбу Вильфора, ноги его подкосились, мысли закружились в мозгу, как расшатанные колесики испорченных часов.

— Прошел к ней! — прошептал он. — К ней!

И он медленно побрел обратно, вытирая одной

рукой лоб, а другой держась за стену.

Он должен войти в эту комнату и снова увидеть тело несчастной.

Он должен позвать Эдуара, разбудить эхо этой комнаты, превращенной в гроб; заговорить здесь — значило осквернить безмолвие могилы.

Вильфор почувствовал, что язык не повинуется ему.

— Эдуар, Эдуар, — пролепетал он.

Никакого ответа; где же мальчик, который, как сказали слуги, прошел к матери и не вышел от нее?

Вильфор сделал еще шаг вперед.

Труп г-жи де Вильфор лежал перед дверью в будуар, где только и мог быть сын, и словно сторожил порог; в открытых, остановившихся глазах, на мертвых губах застыла пугающая загадочная усмешка.

За приподнятой портьерой виднелась часть будуара, фортепьяно и угол дивана, обитого голубым атласом.

Вильфор сделал еще несколько шагов вперед и на диване увидел своего сына.

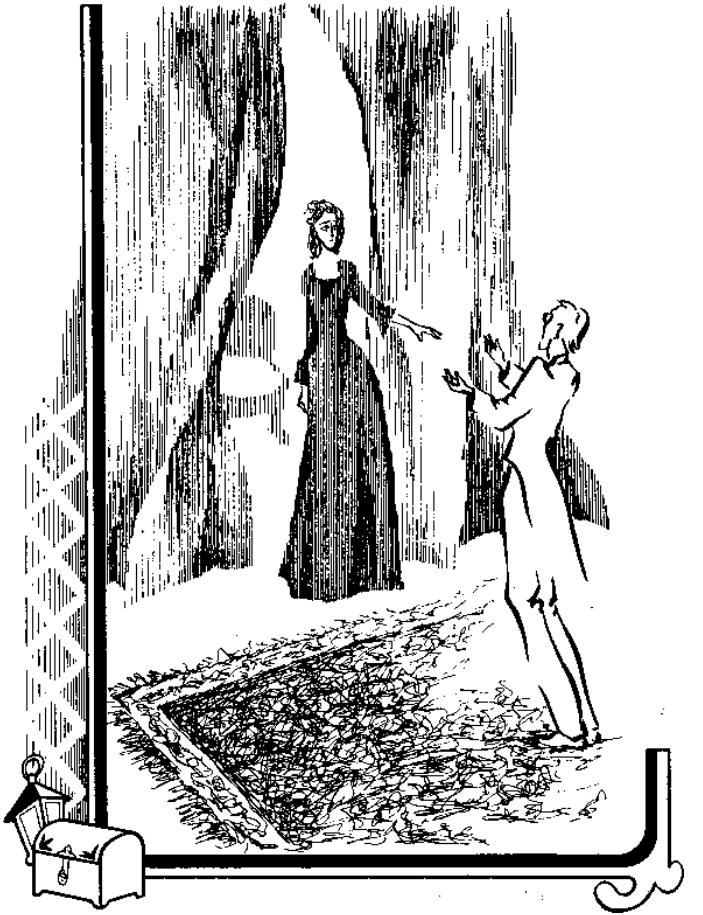
Ребенок, вероятно, заснул.

Несчастного охватила невыразимая радость; луч света озарил ад, где он корчился в нестерпи-

мой муке.

Он перешагнет через труп, войдет в комнату, возьмет ребенка на руки и убежит с ним далеко-далеко.

Это был уже не прежний Вильфор, который в своем утонченном лицемерии являл образец цивилизованного человека; это был смертельно раненный тигр, который ломает зубы, в последний раз сжимая страшную пасть.



Он боялся уже не предрассудков, а призраков. Он отступил на шаг и перепрыгнул через труп, словно это был пылающий костер.

Он схватил сына на руки, прижал к груди, тряс его, звал по имени; мальчик не отвечал. Вильфор прильнул. жадными губами к его лицу, лицо было холодное и мертвенно-бледное; он ощупал окоченевшее тело ребенка, приложил руку к его сердцу: сердце не билось.

Ребенок был мертв.

Вчетверо сложенная бумажка упала с груди мальчика.

Вильфор, как громом пораженный, опустился на колени; ребенок выскользнул из его безжизненных рук и покатился к матери.

Вильфор поднял листок, узнал руку своей жены и жадно пробежал его.

Вот что он прочел:

"Вы знаете, что я была хорошей матерью: ради своего сына я стала преступницей.

Хорошая мать не расстается со своим сыном!"

Вильфор не верил своим глазам, Вильфор не верил своему рассудку. Он подполз к телу Эдуара и еще раз осмотрел его с тем вниманием, с каким львица разглядывает своего мертвого львенка.

Из его груди вырвался душераздирающий крик.

— Бог! — простонал он. — Опять Бог!

Вид обеих жертв ужасал его, он чувствовал, что задыхается в одиночестве, населенном двумя трупами.

Еще недавно его поддерживала ярость, этот великий дар сильных людей, его поддерживало отчаяние, последняя доблесть погибающих, побуждавшая титанов брать приступом небо, Аякса — грозить кулаками богам.

Голова Вильфора склонилась под непосильным бременем; он поднялся с колен, провел дрожащей рукой по слипшимся от пота, вздыбившимся от ужаса волосам; он, никогда не знавший жалости, в изнеможении побрел к своему престарелому отцу, чтобы хоть кому-то поведать свое горе, перед кем-то разрыдаться.

Он спустился по знакомой нам лестнице и вошел к Нуартье.

Когда Вильфор вошел, Нуартье со всем вниманием и дружелюбием, какое только мог выразить его взгляд, слушал аббата Бузони, спокойного и хладнокровного, как всегда.

Вильфор, увидев аббата, поднес руку ко лбу. Прошлое нахлынуло на него, словно грозная вол-

на, которая вздымает больше пены, чем другие.

Он вспомнил, как он был у аббата через два дня после обеда в Отее и как аббат явился к нему в день смерти Валентины.

— Вы здесь, сударь! — сказал он. — Итак, вы всегда приходите вместе со смертью?

Бузони выпрямился, увидав искаженное лицо Вильфора, его исступленный взгляд, он понял, что скандал в зале суда уже разразился; о дальнейшем он не знал.

— Я приходил молиться у тела вашей дочери, — отвечал Бузони.

— А сегодня зачем вы пришли?

— Я пришел сказать вам, что вы заплатили мне свой долг сполна. Отныне я буду молить Бога, чтобы он удовольствовался этим, как и я.

— Боже мой, — воскликнул Вильфор, отступая в испуге, — этот голос…. вы не аббат Бузони!

— Нет.

Аббат сорвал с себя парик с тонзурой, тряхнул головой, и длинные черные волосы, освободившись, рассыпались по плечам, обрамляя его мужественное лицо.

— Граф де Монте-Кристо! — воскликнул ошеломленный Вильфор.

— И даже не он, господин королевский проку-

рор, вспомните, поройтесь в своей памяти.

— Этот голос! Где я впервые его слышал?

— Вы его слышали в Марселе, двадцать три года тому назад в день вашего обручения с мадемуазель де Сен-Меран. Поищите в своих папках с делами.

— Вы не Бузони? Вы не Монте-Кристо? Боже мой, так это вы мой враг — тайный, неумолимый, смертельный! Я причинил вам какое-то зло в Марселе, горе мне!

— Да, ты угадал, — сказал граф, скрестив руки на груди. — Вспомни, вспомни!

— Но что же я тебе сделал? — воскликнул Вильфор, чьи мысли заметались на том пороге, где разум и безумие сливаются в тумане, который уже не сон, но еще не пробуждение. — Что я тебе сделал? Говори!

— Ты осудил меня на чудовищную медленную смерть, ты убил моего отца, ты вместе со свободой отнял у меня любовь и вместе с любовью счастье!

— Да кто же ты? Кто?

— Я призрак несчастного, которого ты похоронил в темнице замка Иф. Когда этот призрак вышел из могилы, Бог скрыл его под маской графа де Монте-Кристо и осыпал его алмазами и

золотом, чтобы доныне ты не узнал его.

— Я узнаю тебя, узнаю! — произнес королевский прокурор. — Ты…

— Я Эдмон Дантес!

— Ты Эдмон Дантес! — вскричал королевский прокурор, хватая графа за руку. — Так идем!

И он повлек его к лестнице. Удивленный Монте-Кристо последовал за ним, не зная, куда его ведет королевский прокурор, и предчувствуя новое несчастье.

— Смотри, Эдмон Дантес! — сказал Вильфор, указывая графу на трупы жены и сына. — Смотри! Ты вполне отомщен!

Монте-Кристо побледнел от ужаса; он понял, что в своем мщении преступил границы; он понял, что больше уже не смеет сказать:

— Бог за меня и со мною.

В невыразимой тоске он бросился к ребенку, приподнял ему веки, пощупал пульс и, схватив его на руки, выбежал с ним в комнату Валентины и запер за собой дверь.

— Мой сын! — закричал Вильфор. — Он похитил тело моего сына! Горе, проклятие, смерть тебе!

И он хотел ринуться за Монте-Кристо, но, как во сне, его ноги словно вросли в пол, глаза его

едва не вышли из орбит, скрюченные пальцы все глубже впивались в грудь, пока из-под ногтей не брызнула кровь, жилы на висках вздулись, череп готов был разорваться под напором клокочущих мыслей, и море пламени затопило мозг.

Это оцепенение длилось несколько минут, и наконец непроглядный мрак безумия поглотил Вильфора.

Он вскрикнул, дико захохотал и бросился вниз по лестнице.

Четверть часа спустя дверь комнаты Валентины отворилась, и на пороге появился граф де Монте-Кристо.

Он был бледен, взор его померк, грудь тяжело дышала; черты его всегда спокойного благородного лица были искажены страданием.

Он держал на руках ребенка, которого уже ничто не могло вернуть к жизни.

Монте-Кристо стал на одно колено, благоговейно опустил ребенка на ковер подле матери и положил его голову к ней на грудь.

Потом он встал, вышел из комнаты и, встретив на лестнице одного из слуг, спросил:

— Где господин Вильфор?

Слуга молча указал рукой на сад.

Монте-Кристо спустился с крыльца, пошел в

указанном направлении и среди столпившихся слуг увидел Вильфора, который, с заступом в руках, ожесточенно рыл землю.

— Нет, не здесь, — говорил он, — нет, не здесь.

И рыл дальше.

Монте-Кристо подошел к нему и едва слышно, почти смиренно произнес:

— Вы потеряли сына, сударь, но знайте…

Вильфор, не слушая и не понимая, перебил графа.

— **Я** его найду, — сказал он, — не говорите мне, что его здесь нет, я его найду, хоть бы мне пришлось искать его до Страшного суда.

Монте-Кристо в ужасе отшатнулся со словами:

— Он сошел с ума!

И, словно страшась, что на него обрушатся стены этого проклятого дома, он выбежал на улицу, впервые усомнившись — имел ли он право поступать так, как поступил.

— Довольно, довольно, — сказал он, — пощадим последнего!

Возвратясь в дом на Елисейских полях, Монте-Кристо застал у себя Морреля; он бродил по комнатам как безмолвный призрак, который ждет назначенного ему Богом часа, чтобы вернуться в свою могилу.

— Приготовьтесь, Максимилиан, — сказал ему с улыбкой Монте-Кристо, — завтра мы покидаем Париж.

— Разве вам здесь больше нечего делать? — спросил Моррель.

— Нечего, — отвечал Монте-Кристо, — боюсь, что я и так сделал слишком много.

XV
ОТЪЕЗД

События последних недель взволновали весь Париж. Эмманюель и его жена, сидя в маленькой гостиной на улице Меле, обсуждали их с вполне понятным недоумением; они чувствовали какую-то связь между тремя внезапными и непредвиденными катастрофами, поразившими Морсера, Данглара и Вильфора.

Максимилиан, который пришел их навестить, слушал их или, вернее, присутствовал при их беседе, погруженный в ставшее для него привычным равнодушие.

— Право, Эмманюель, — говорила Жюли, — кажется, будто эти люди, еще вчера такие богатые, такие счастливые, строя свое богатство и свое счастье, забыли заплатить дань злому року. И

вот, совсем как в сказке Перро, вдруг явилась злая фея, которую не пригласили на свадьбу или на крестины, чтобы отомстить за эту забывчивость.

— Какой разгром! — говорил Эмманюель, думая о Морсере и Дангларе.

— Какое горе! — говорила Жюли, думая о Валентине, которую женское чутье не позволяло ей назвать вслух в присутствии брата.

— Если их покарал Бог, — говорил Эмманюель, — значит, он — высшее милосердие — не нашел в прошлом этих людей ничего, что заслуживало бы смягчения кары, значит, эти люди были прокляты.

— Не слишком ли смело ты судишь, Эмманюель? — сказала Жюли. — Если бы в ту минуту, когда мой отец уже держал в руке пистолет, кто-нибудь сказал, как ты сейчас: "Этот человек заслужил свою участь", — разве он не ошибся бы?

— Да, но Бог не допустил, чтобы наш отец погиб, как не допустил, чтобы Авраам принес в жертву своего сына; как и патриарху, он послал нам ангела, который остановил смерть на полпути.

Едва он успел произнести эти слова, как раздался звон колокольчика.

Это привратник давал знать о посетителе.

Почти тотчас же отворилась дверь гостиной и на пороге появился граф Монте-Кристо.

Жюли и Эмманюель встретили его радостными возгласами.

Максимилиан поднял голову и снова опустил ее.

— Максимилиан, — сказал граф, словно не замечая его холодности, — я приехал за вами.

— За мной? — переспросил Моррель, как бы очнувшись от сна.

— Да, — сказал Монте-Кристо, — ведь решено, что вы едете со мной, и разве я не предупредил вас еще вчера, чтобы вы были готовы?

— Я готов, — сказал Максимилиан, — я зашел проститься с ними.

— А куда вы едете, граф? — спросила Жюли.

— Сначала в Марсель, сударыня.

— В Марсель? — в один голос повторили Жюли и Эмманюель.

— Да, и я похищаю вашего брата.

— Граф, верните его нам исцеленным, — попросила Жюли.

Моррель отвернулся, чтобы скрыть краску, заливщую его лицо.

— А вы заметили, что он болен? — спросил граф.

— Да, и я боюсь, не скучно ли ему с нами, — сказала Жюли.

— Я постараюсь его развлечь, — сказал граф.

— Як вашим услугам, сударь, — сказал Максимилиан. — Прощайте, дорогие мои, прощай, Эмманюель, прощай, Жюли!

— Как, ты уже прощаешься? — воскликнула Жюли. — Разве вы сейчас едете? А вещи? А паспорта?

— Всегда легче расстаться сразу, — сказал Монте-Кристо, — я уверен, что Максимилиан обо всем уже позаботился, как я его просил.

— Паспорт у меня есть, и вещи мои уложены, — сказал Моррель спокойно, ровным голосом.

— Отлично, — сказал, улыбаясь, Монте-Кристо, — вот что значит военная точность.

— И вы нас так и покинете? — сказала Жюли. — Уже сейчас? Вы не подарите нам ни дня, ни даже часа?

— Мой экипаж у ворот, сударыня; через пять дней я должен быть в Риме.

— Но разве Максимилиан едет в Рим? — спросил Эмманюель.

— Я еду туда, куда графу угодно будет меня везти, — сказал с грустной улыбкой Максимилиан. — Я принадлежу ему еще на месяц.

— Почему он так странно это говорит, граф?

— Ваш брат едет со мной, — мягко сказал граф, — поэтому не тревожьтесь за него.

— Прощай, сестра! — повторил Максимилиан. — Прощай, Эмманюель!

— У меня сердце разрывается, когда я вижу, какой он стал безразличный ко всему, — сказала Жюли. — Ты что-то от нас скрываешь, Максимилиан!

— Вот увидите, — сказал Монте-Кристо, — он вернется к вам веселый, смеющийся и радостный.

Максимилиан бросил на Монте-Кристо почти презрительный, почти гневный взгляд.

— Едем! — сказал граф.

— Но раньше чем вы уедете, граф, — сказала Жюли, — позвольте высказать вам все то, что прошлый раз…

— Сударыня, — возразил граф, беря ее руки в свои, — все, что вы мне скажете, будет меньше того, что я могу прочесть в ваших глазах, меньше того, что вам говорит. ваше сердце и что мое сердце слышит. Мне бы следовало поступить как благодетелю из романа и уехать, не повидавшись с вами, но такая добродетель выше моих сил, потому что я человек слабый и тщеславный: я

радуюсь, когда встречаю нежный, растроганный взор моих ближних. Теперь я уезжаю, и я даже настолько себялюбив, что говорю вам: не забывайте меня, друзья мои, ибо, вероятно, мы с вами больше никогда не увидимся.

— Никогда больше не увидимся! — воскликнул Эмманюель, между тем как крупные слезы покатились по щекам Жюли. — Никогда больше не увидим вас! Так вы не человек, а божество, которое спустилось на землю, чтобы сотворить добро, а теперь возвращается на небо?

— Не говорите этого, — поспешно возразил Монте-Кристо, — никогда не говорите, друзья мои; боги не совершают зла, боги останавливаются там, где хотят остановиться; случай не властен над ними, напротив, они сами повелевают случаем. Нет, Эмманюель, я человек, и ваше восхищение столь же кощунственно, сколь не заслужено мною.

И граф, с сожалением покидая этот мирный дом, где обитало счастье, прильнул губами к руке Жюли, бросившейся в его объятия, и протянул другую руку Эмманюелю; потом сделал знак Максимилиану, со дня смерти Валентины неизменно безучастному и удрученному, следовать за ним.

— Верните моему брату радость! — шепнула

Жюли на ухо графу.

Монте-Кристо пожал ей руку, как одиннадцать лет тому назад, на лестнице, ведущей в кабинет арматора Морреля.

— Вы по-прежнему верите Синдбаду-Мореходу? — спросил он ее, улыбаясь.

— Да, да!

— В таком случае ни о чем не печальтесь, уповайте на Бога.

Как мы уже сказали, у ворот ждала почтовая карета: четверка резвых лошадей, встряхивая гривами, нетерпеливо била копытами о землю.

У крыльца ждал Али, задыхающийся, весь в поту, словно после долгого бега.

— Ну что, — спросил его по-арабски граф, — был ты у старика?

Али кивнул.

— И ты развернул перед ним письмо, как я тебе велел?

Невольник снова почтительно склонил голову.

— И что же он сказал или, вернее, что же он сделал?

Али повернулся к свету, чтобы его господин мог его лучше видеть, и, старательно и искусно подражая мимике старика, закрыл глаза, как это делал Нуартье, когда хотел сказать: да.

— Отлично, он согласен, — сказал Монте-Кристо, — едем!

Едва он произнес это слово, лошади рванулись, и из-под копыт брызнул целый фонтан искр.

Максимилиан молча забился в угол.

Прошло полчаса; вдруг карета остановилась: граф дернул за шелковый шнурок, привязанный к пальцу Али.

Нубиец соскочил с козел, отворил перед графом дверцу.

Ночь сверкала звездами. Монте-Кристо стоял на вершине холма Вильжюиф, на плоской возвышенности, откуда виден весь Париж, похожий на темное море, в котором, как фосфоресцирующие волны, переливаются миллионы огней; да, волны, но более бурные, неистовые, изменчивые, более яростные и алчные, чем волны разгневанного океана, не ведающего покоя, вечно сталкивающиеся, вечно вспененные, вечно губительные!..

По знаку графа экипаж отъехал на несколько шагов, и он остался один.

Скрестив руки, Монте-Кристо долго смотрел на это горнило, где накаляются, плавятся и отливаются все мысли, которые, устремляясь из этой клокочущей бездны, волнуют мир. Потом,

насытив свой властный взор зрелищем этого Вавилона, который очаровывает и благочестивых мечтателей, и насмешливых материалистов, он склонил голову и молитвенно сложил руки.

— Великий город, — прошептал он, — еще и полгода не прошло, как я ступил на твою землю. Я верю, что Божья воля привела меня сюда, и я покидаю тебя торжествующий; тайну моего пребывания в твоих стенах я доверил Богу, и он единый читал в моем сердце; он единый знает, что я ухожу без ненависти и без гордыни, но не без сожалений; он единственный знает, что я не ради себя и не ради суетных целей пользовался дарованным мне могуществом. Великий город, в твоем трепещущем лоне обрел я то, чего искал; как терпеливый рудокоп, я изрыл твои недра, чтобы извлечь из них зло; теперь мой труд завершен; назначение мое исполнено; теперь ты уже не можешь дать мне ни радости, ни горя. Прощай, Париж, прощай!

Он еще раз, подобный гению ночи, окинул взором обширную равнину, затем, проведя рукой по лбу, сел в карету, дверца за ним захлопнулась, и карета исчезла по ту сторону холма в вихре пыли и стуке колес.

Они проехали два льё, не обменявшись ни еди-

ным словом. Моррель был погружен в свои думы; Монте-Кристо долго смотрел на него.

— Моррель, — спросил он наконец, — вы не раскаиваетесь, что поехали со мной?

— Нет, граф, но расстаться с Парижем…

— Если бы я думал, что счастье ждет вас в Париже, я бы не увез вас оттуда.

— В Париже покоится Валентина, и расстаться с Парижем— значит вторично потерять ее.

— Максимилиан, — сказал граф, — друзья, которых мы лишились, покоятся не в земле, но в нашем сердце, так хочет Бог, дабы они всегда были с нами. У меня есть два друга, которые всегда со мной; одному я обязан жизнью, другому — разумом. Их дух живет в моем сердце. Когда меня одолевают сомнения, я советуюсь с этими друзьями, и если мне удалось сделать немного добра, то лишь благодаря их советам. Прислушайтесь к голосу вашего сердца, Моррель, и спросите его, хорошо ли, что вы так неприветливы со мной.

— Друг мой, — сказал Максимилиан, — голос моего сердца полон скорби и сулит мне одни страдания.

— Слабые духом всегда все видят через траурную вуаль; душа сама создает свои горизонты; ваша душа сумрачна, это она застилает ваше

небо тучами.

— Быть может, вы и правы, — сказал Максимилиан.

И он снова впал в задумчивость.

Путешествие совершалось с той чудесной быстротой, которая была во власти графа; города на их пути мелькали как тени; деревья, колеблемые первыми порывами осеннего ветра, казалось, мчались им навстречу, словно взлохмаченные гиганты, и мгновенно исчезали. На следующее утро они прибыли в Шалон, где их ждал пароход графа; не теряя ни минуты, карету погрузили на пароход, и путешественники взошли на борт.

Корабль был создан для быстрого хода; он напоминал индейскую пирогу; его два колеса казались крыльями, и он скользил по воде, словно перелетная птица. Даже Морреля опьяняло это стремительное движение, и порою развевавший его волосы ветер едва не разгонял на миг тучи на его челе.

По мере того как они отдалялись от Парижа, лицо графа светлело, от него исходила почти божественная ясность. Он казался изгнанником, возвращающимся на родину.

Скоро их взорам открылся Марсель, белый, теплый, полный жизни Марсель, младший брат

Тира и Карфагена, их наследник на Средиземном море; Марсель, который становясь старше, все молодеет. Для обоих были полны воспоминаний и круглая башня, и форт святого Николая, и ратуша, и гавань с каменными набережными, где они оба играли детьми.

По обоюдному желанию они вышли на улицу Каннебьер.

Какой-то корабль уходил в Алжир; тюки, пассажиры, заполнявшие палубу, толпа родных и друзей, прощания, возгласы и слезы — зрелище, всегда волнующее, даже для тех, кто видит его ежедневно, — вся эта сутолока не могла отвлечь Максимилиана от мысли, завладевшей им с той минуты, как нога его ступила на широкие плиты набережной.

— Смотрите, — сказал он, взяв Монте-Кристо под руку, — вот на этом месте стоял мой отец, когда "Фараон" входил в порт; вот здесь этот честнейший человек, которого вы спасли от смерти и позора, бросился в мои объятья; я до сих пор чувствую на лице его слезы; и плакал не он один, многие плакали, глядя на нас.

Монте-Кристо улыбнулся.

— Я стоял там, — сказал он, указывая на угол одной из улиц.

Не успел граф договорить, как в той стороне, куда он указывал, раздался горестный стон, и они увидели женщину, которая махала рукой одному из пассажиров отплывающего корабля. Лицо ее скрыто было вуалью. Монте-Кристо следил за ней с таким волнением, что Моррель не мог бы не заметить этого, если бы его взгляд не был устремлен на палубу.

— Господи! — воскликнул Моррель. — Неужели зрение не обманывает меня? Этот молодой человек в военной форме, который машет шляпой, это Альбер де Морсер!

— Да, — сказал Монте-Кристо, — я тоже узнал его.

— Как? Вы ведь смотрели в другую сторону?

Граф улыбнулся, как он всегда улыбался, когда не хотел отвечать.

И глаза его снова обратились на женщину под вуалью; она исчезла за углом.

Тогда он обернулся.

— Дорогой друг, — сказал он Максимилиану, — нет ли у вас здесь какого-нибудь дела?

— Я навещу могилу отца, — глухо ответил Моррель.

— Хорошо, ступайте и ждите меня там; я приду туда.

— Вы меня покидаете?

— Да… мне тоже нужно посетить святое для меня место.

Моррель слабо пожал протянутую руку графа, затем грустно кивнул и направился в восточную часть города.

Монте-Кристо подождал, пока Максимилиан скрылся из глаз, и пошел к Мельянским аллеям, где стоял тот скромный домик, с которым читатели познакомились в начале нашего повествования.

Дом этот все так же осеняли ветвистые липы аллеи, служившей местом прогулок марсельцам. Он весь зарос диким виноградом, который оплетал своими черными корявыми стеблями его каменные стены, пожелтевшие под пламенными лучами южного солнца. Две стертые каменные ступеньки вели к входной двери, сколоченной из трех досок; они ежегодно расходились, но не знали ни глины, ни краски, и терпеливо ждали осеннюю сырость, чтобы снова сойтись.

Этот дом, прелестный, несмотря на свою ветхость, веселый, несмотря на свой невзрачный вид, был тот самый, в котором некогда жил старик Дантес. Но старик занимал мансарду, а в распоряжение Мерседес граф предоставил весь

дом.

Сюда и вошла женщина в длинной вуали, которую Монте-Кристо видел при отплытии корабля; в ту минуту, когда он показался из-за угла, она закрывала за собой дверь, так что едва он ее настиг, как она снова исчезла.

Он хорошо был знаком с этими стертыми ступенями; он лучше всех знал, как открыть эту старую дверь: внутренняя щеколда поднималась при помощи гвоздя с широкой головкой.

И он вошел, не постучавшись, не предупредив никого о своем приходе, вошел как друг, как хозяин.

За домом, в конце мощеной дорожки, находился залитый солнечным светом и теплом садик, тот самый, где в указанном месте Мерседес нашла деньги, которые граф положил туда якобы двадцать четыре года тому назад; с порога входной двери были видны первые деревья этого садика.

Переступив этот порог, Монте-Кристо услышал вздох, похожий на рыдание; он взглянул в ту сторону и среди кустов виргинского жасмина с густой листвой и длинными пурпурными цветами увидал Мерседес: она сидела на скамье и плакала.

Она откинула вуаль и одна под куполом небес,

закрыв руками лицо, дала волю рыданиям и вздохам, которые она так долго сдерживала в присутствии сына.

Монте-Кристо сделал несколько шагов; под его ногой захрустел песок.

Мерседес подняла голову и при виде вошедшего испуганно вскрикнула.

— Сударыня, — сказал граф, — я уже не властен дать вам счастье, но я хотел бы принести вам утешение; примете ли вы его от меня как от друга?

— Да, я очень несчастна, — отвечала Мерседес, — одна на свете... У меня оставался только сын, и он меня покинул.

— Он хорошо сделал, сударыня, — возразил граф, — у него благородное сердце. Он понял, что каждый человек должен принести дань отечеству; одни отдают ему свой талант, другие свой труд; одни отдают свои бессонные ночи, другие — свою кровь. Оставаясь с вами, он растратил бы около вас свою ставшую бесполезной жизнь, и он не мог бы примириться с вашими страданиями. Бессилие озлобило бы его; борясь со своими невзгодами, которые он сумеет обратить в удачу, он станет благородным и сильным. Дайте ему воссоздать свое и ваше будущее, сударыня; смею вас уверить, что оно в верных руках.

— Счастьем, которое вы ему пророчите и которое я от всей души молю Бога ему даровать, мне уж не придется насладиться, — сказала бедная женщина, грустно качая головой. — Сколько разбито во мне и вокруг меня, что я чувствую себя на краю могилы. Вы хорошо сделали, граф, что помогли мне возвратиться туда, где я была так счастлива; умирать надо там, где знал счастье.

— Увы, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — ваши горькие слова жгут мне сердце, жгут тем сильнее, что вы справедливо ненавидите меня: я виновник всех ваших страданий. Но почему бы вместо того, чтобы обвинять, вам не пожалеть меня? Вы причинили бы мне еще горшую боль, если бы..

— Ненавидеть вас, обвинять вас, Эдмон?. Ненавидеть, обвинять человека, который пощадил жизнь моего сына? Ведь правда, что у вас было жестокое намерение отнять у господина де Морсера сына, которым он так гордился? Взгляните на меня, и вы увидите, есть ли в моем лице хоть тень укора.

Граф поднял свой взор и остановил его на Мерседес, которая протягивала ему обе руки.

— Взгляните на меня, — продолжала она с бесконечной грустью, — красота моя померкла, и

в моих глазах уже нет блеска, прошло то время, когда я приходила с улыбкой к Эдмону Дантесу, который ждал меня там, у окна мансарды, где жил его старый отец… С тех пор протекло много тягостных дней, они вырыли пропасть между мной и прошлым. Обвинять вас, Эдмон, вас ненавидеть, мой друг? Нет! Я себя ненавижу и себя обвиняю! Я во всем виновата, — воскликнула она, сжимая руки и возводя глаза к небу. — Как жестоко я наказана!.. У меня была вера, ненависть, любовь — эти три дара, которыми наделены ангелы, а я, несчастная, я усомнилась в Боге!

Монте-Кристо шагнул к ней и молча протянул ей руку.

— Нет, мой друг, — сказала она, мягко отнимая свою руку, — не дотрагивайтесь до меня. Вы меня пощадили, а между тем из всех, кого вы покарали, я одна не заслуживала пощады. Все остальные действовали из ненависти, алчности, себялюбия, я же — из малодушия. У них была цель, а я — я испугалась. Нет, не пожимайте мою руку, Эдмон, я чувствую, вы хотите сказать мне доброе слово, — не нужно, поберегите его для другой, я его больше недостойна. Взгляните (она совсем откинула вуаль), мои волосы поседели от горя; мои глаза пролили столько слез, что они окружены

лиловыми тенями; лоб мой избороздили морщины. А вы, Эдмон, все такой же молодой, красивый, гордый. Это оттого, что в вас была вера, в вас было мужество, вы уповали на Бога, и Бог поддержал вас. А я была малодушна, я отреклась, и Господь меня покинул — и вот что со мной стало.

Мерседес зарыдала; сердце ее разрывалось от боли воспоминаний.

Монте-Кристо взял ее руку и почтительно поцеловал, но она сама почувствовала, что в этом поцелуе не было огня, словно он был запечатлен на руке святой, изваянной из мрамора.

— Есть такие обреченные жизни, — продолжала она, — первая же ошибка разбивает все их будущее. Я вас считала умершим, и я должна была тоже умереть. Что пользы, что я в сердце своем неустанно оплакивала вас? В тридцать девять лет я стала старухой — и только. Что пользы, что, единственная из всех узнав вас, я спасла жизнь моему сыну? Разве не должна я была спасти также человека, которого я выбрала себе в мужья, как бы ни велика была его вина? А я дала ему умереть. Больше того! Я сама приблизила его смерть своим бездушием, своим презрением, не думая, не желая думать о том, что он из-за меня стал клятвопреступником и предателем! Что

пользы, наконец, что я приехала с моим сыном сюда, раз я его покинула, отпустила его одного, отдала его смертоносной Африке? Да, говорю вам, я была малодушна! Я отреклась от своей любви, и, как все отступники, я приношу несчастье тем, кто окружает меня.

— Нет, Мерседес, — сказал Монте-Кристо, — вы не должны судить себя так строго. Вы благородная, святая женщина, вы обезоружили меня силой своего горя, но за мной, незримый, неведомый, гневный, стоял Господь, чьим посланным я был, и он не захотел остановить брошенную мною молнию. Клянусь Богом, пред которым я уже десять лет каждый день повергаюсь ниц, призываю его в свидетели, что я пожертвовал вам своей жизнью и, вместе с жизнью, всеми своими замыслами! Но, Мерседес, и я говорю это с гордостью, я был нужен Богу, и он вернул меня к жизни. Вдумайтесь в прошлое, вдумайтесь в настоящее, постарайтесь предугадать будущее и скажите: разве я не орудие Всевышнего? В самых ужасных несчастьях, в самых жестоких страданиях, забытый всеми, кто меня любил, гонимый теми, кто меня не знал, я прожил половину жизни; и вдруг, после заточения, одиночества, лишений — воздух, свобода, богатство; богат-

ство столь ослепительное, волшебное, столь неимоверное, что я должен был поверить: Бог посылает мне его для великих деяний. С тех пор я нес это богатство как служение; с тех пор меня уже ничто не прельщало в этой жизни, в которой вы, Мерседес, порой находили сладость. Я не знал ни часа покоя; какая-то сила влекла меня вперед, словно я был огненным облаком, проносящимся по небу, чтобы испепелить проклятые Богом города. Подобно тем отважным капитанам, которые снаряжают свой корабль в тяжелый путь, предвидя опасный поход, я собирал припасы, готовил оружие, приучал свое тело к самым тяжким испытаниям, приучал душу к самым сильным потрясениям, чтобы моя рука умела убивать, мои глаза — созерцать страдания, мои губы — улыбаться при самых ужасных зрелищах. Из доброго, доверчивого, не помнящего зла я сделался мстительным, скрытным, злым или, вернее, бесстрастным, как глухой и слепой рок. Тогда я вступил на уготованный мне путь, я пересек пространства, я достиг цели; горе тем, кого я встретил на своем пути.

— Довольно, — сказала Мерседес, — довольно, Эдмон! Поверьте, что если я, единственная из всех, вас узнала, то я одна могла и понять вас.

И если бы вы встретили меня на своем пути и разбили, как стеклянный сосуд, я, единственная, которая вас узнала и могла понять, и тогда не могла бы не восхищаться вами, Эдмон! Как между мной и прошлым лежит пропасть, так лежит пропасть между вами и остальными людьми, и, говорю вам, всего мучительнее для меня сравнивать вас с другими, ибо нет никого на свете равного вам, никого, кто был бы подобен вам. Теперь проститесь со мной, Эдмон, и расстанемся.

— Раньше, чем мы расстанемся, скажите мне, чего бы вы желали, Мерседес? — спросил Монте-Кристо.

— Единственное мое желание, Эдмон: чтобы мой сын был счастлив.

— Молите Бога, который один держит в своей руке жизнь людей, чтобы он отвел от него смерть; об остальном я позабочусь.

— Благодарю вас, Эдмон.

— А вы, Мерседес?

— Мне ничего не нужно, я живу меж двух могил; одна— это могила Эдмона Дантеса, уже давно умершего; я его любила! Моим поблекшим губам не пристало произносить это слово, но мое сердце ничего не забыло, и ни за какие блага мира я бы не отдала эту память сердца. В другой могиле

лежит человек, которого Эдмон Дантес убил; я оправдываю это убийство, но мой долг молиться за убитого.

— Ваш сын будет счастлив, — повторил граф.

— Тогда и я буду счастлива, насколько это для меня возможно.

— Но… все же… как вы будете жить?

Мерседес печально улыбнулась.

— Если я скажу, что буду жить здесь так, как прежняя Мерседес, трудом, вы этому не поверите; теперь я умею только молиться, но мне и нет необходимости работать; зарытый вами клад нашелся в том самом месте, которое вы указали. Люди будут любопытствовать, кто я, что я здесь делаю, на какие средства я живу, но не все ли мне равно! Это касается только Бога, вас и меня.

— Мерседес, — сказал граф, — я говорю это вам не в укор, но вы принесли слишком большую жертву, отказавшись от всего того состояния, которое приобрел граф де Морсер и половина которого принадлежала вам по праву.

— Я догадываюсь о том, что вы хотите мне предложить, но я не могу этого принять. Эдмон, мой сын мне не позволил бы.

— Поэтому я и не осмелюсь ничего сделать для вас, не заручившись одобрением Альбера. Я

узнаю его желания и подчинюсь им. Но если он согласится на то, что я предлагаю сделать, вы не воспротивитесь?

— Вы должны знать, Эдмон, что я уже не в силах рассуждать, я не способна принимать решений, кроме единственного— никогда ничего не решать. Господь наслал на меня бури, которые сломили мою волю. Я бессильна в его руках, как воробей в когтях орла. Раз я еще живу— значит, такова его воля. Если он своей волей пошлет мне помощь, я ее приму.

— Берегитесь, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — не так поклоняются Богу! Бог требует, чтобы его понимали и разумно принимали его могущество, вот почему он и дал нам свободную волю.

— Нет! — воскликнула Мерседес. — Не говорите так! Если бы я думала, что Бог дал мне свободную волю, что спасло бы меня от отчаяния?

Монте-Кристо слегка побледнел и опустил голову, подавленный страстной силой этого горя.

— Вы не хотите сказать мне: "До свидания"? — спросил он, протягивая ей руку.

— Напротив, я говорю вам: "До свидания",—

возразила Мерседес, торжественно указывая ему на небо, — вы видите, во мне еще живет

надежда.

И, пожав дрожащей рукой руку графа, Мерседес бросилась на лестницу и скрылась.

Тогда Монте-Кристо медленно вышел из дома и снова направился к гавани.

Но Мерседес не видела, как он удалялся, хоть и стояла у окна мансарды, где жил когда-то старик Дантес. Глаза ее искали вдали корабль, уносивший ее сына в открытое море.

Правда, губы ее невольно чуть слышно шептали:

— Эдмон! Эдмон!

XVI
ПРОШЛОЕ

Граф с щемящей тоской в сердце дышел из этого дома, где он оставил Мерседес, которую, быть может, видел в последний раз.

После смерти маленького Эдуара в Монте-Кристо произошла глубокая перемена. Он шел долгим, извилистым путем мщения, и, когда достиг вершины, бездна сомнения внезапно разверзлась перед ним.

Более того: разговор с Мерседес пробудил в его душе такие воспоминания, которые он жаждал

побороть.

Монте-Кристо был не из тех людей, которые подолгу предаются меланхолии: это пища для заурядного ума, черпающего в ней мнимую оригинальность, но она пагубна для сильных натур. Граф сказал себе, что, если он сомневается и чуть ли не порицает себя, значит, в его расчеты вкралась какая-то ошибка.

"Я неверно сужу о прошлом, — говорил он себе, — я не мог так грубо ошибиться. Неужели я поставил себе безумную цель? Неужели я десять лет шел по ложному пути? Неужели зодчему довольно было одного часа, чтобы убедиться в том, что создание рук его, в которое он вложил все свои надежды, — если и не невозможно, то по меньшей мере кощунственно?

Я не могу допустить этой мысли, она сведет меня с ума.

Прошлое представляется мне в ложном свете, потому что я смотрю на него слишком издалека. Когда идешь вперед, прошлое, подобно пейзажу, исчезает по мере того, как проходишь мимо. Я словно поранил себя во сне; я вижу кровь, я чувствую боль, но не помню, как получил эту рану.

Ты, возрожденный к жизни, богатый сумасброд, грезящий наяву, всемогущий провидец,

всесильный миллионер, возвратись на мгновение к мрачному зрелищу жалкой и голодной жизни, пройди снова тот путь, на который тебя обрекла судьба, куда тебя привело злосчастие, где тебя ждало отчаяние; слишком много алмазов, золота и наслаждения сверкает на поверхности того зеркала, в которое Монте-Кристо смотрит на Дантеса; спрячь эти алмазы, запятнай это золото, сотри эти лучи; богач, вспомни бедняка; свободный, вспомни узника; воскресший, вспомни мертвеца".

Погруженный в такие думы, Монте-Кристо шел по улице Кессри. Это была та самая улица, по которой двадцать четыре года тому назад его везла безмолвная стража; эти дома, теперь веселые и оживленные, были в ту ночь темны и молчаливы.

— Это те же дома, — шептал Монте-Кристо, — но только тогда была ночь, а сейчас светлый день; солнце все освещает и всему придает радостный вид.

Он спустился по улице Сен-Лоран на набережную и подошел к Управлению порта; здесь его тогда посадили в баркас.

Мимо шла лодка под холщовым тентом. Монте-Кристо окликнул лодочника, и тот поспешил

к нему, предвидя щедрое вознаграждение.

Погода была чудесная, прогулка восхитительная. Солнце, алое, пылающее, спускалось к горизонту, воспламеняя волны; по морю, гладкому как зеркало, иногда пробегала рябь — это рыба, преследуемая невидимым врагом, выскакивала из воды и искала спасения в чуждой стихии; вдали скользили белые и легкие, как чайки, рыбачьи лодки, направляющиеся в Мартиг, и торговые суда, везущие груз на Корсику или в Испанию.

Но граф не замечал ни безоблачного неба, ни стройных скользящих лодок, ни все заливающего золотого света. Завернувшись в плащ, он вспоминал одну за другой все вехи своего страшного пути: одинокий огонек, светившийся в Каталанах; грозный силуэт замка Иф, указавший ему, куда его везут; борьбу с жандармами, когда он хотел броситься в море; свое отчаяние, когда он почувствовал себя побежденным, и холод ружейного дула, приставленного к виску, словно ледяное кольцо.

И мало-помалу, подобно высохшим за лето ручьям^ которые, когда надвигаются осенние тучи, понемногу наполняются влагой и начинают оживать капля за каплей, граф Монте-Кристо ощутил, как в груди его, капля за каплей, начи-

нает сочиться желчь, некогда заливавшая сердце Эдмона Дантеса.

Для него с этой минуты не было больше ни ясного неба, ни легких лодок, ни золотого сияния; небо заволоклось траурными тучами, а когда перед ним вырос черный гигант, носящий имя замка Иф, он вздрогнул, словно увидел призрак смертельного врага.

Они были у цели.

Граф невольно отодвинулся на самый конец лодки, хотя лодочник самым приветливым голосом повторял ему:

— Приехали, сударь.

Монте-Кристо вспомнил, как на этом самом месте, по этой скалистой тропе волокла его стража и как его подгоняли острием штыка.

Некогда этот путь показался Дантесу бесконечным — Монте-Кристо нашел его очень коротким; каждый взмах весла, вместе с брызгами воды, рождал миллионы мыслей и воспоминаний.

Со времени Июльской революции замок Иф уже не был тюрьмой, он превратился в сторожевой пост, назначением которого было препятствовать провозу контрабанды. У входа стоял привратник, поджидая посетителей, приезжающих осматривать этот памятник террора, ставший теперь

просто достопримечательностью.

Монте-Кристо знал это и все же, когда он вошел под эти своды, спустился по темной лестнице, когда его провели в подземелье, которое он пожелал осмотреть, мертвенная бледность покрыла его чело и леденящий холод пронизал его сердце.

Граф спросил, не осталось ли здесь какого-нибудь старого тюремщика времен Реставрации, но все они ушли на пенсию или заняли другие должности.

Привратник, который водил его, был здесь только с 1830 года.

Его провели в его собственную темницу.

Он снова увидел тусклый свет, проникавший сквозь узкую отдушину, снова увидел место, где стояла кровать, теперь уже унесенная, а за кроватью, хоть и заделанное, но выделявшееся своими более светлыми камнями, отверстие, пробитое аббатом Фариа.

Монте-Кристо почувствовал, что у него подкашиваются ноги, он пододвинул деревянный табурет и сел.

— Что рассказывают об узниках этого замка, кроме как о Мирабо? — спросил он. — Существуют ли какие-нибудь предания об этих мрачных подземельях, глядя на которые даже не веришь,

чтобы люди могли заточить сюда живого человека?

— Да, сударь, — отвечал привратник, — об этой самой камере мне рассказывал тюремщик Антуан.

Монте-Кристо вздрогнул. Этот Антуан был его тюремщиком. Он почти забыл его имя и черты его лица, но когда это имя было названо, он его увидел как живого: бородатое лицо, темную куртку и связку ключей, звяканье которых он, казалось, еще слышал.

Граф обернулся, и ему почудилось, что Антуан стоит в глубине коридора, казавшегося еще более мрачным при свете факела, который держал привратник.

— Если угодно, я расскажу, — предложил привратник.

— Да, расскажите, — отвечал Монте-Кристо.

И он приложил руку к сердцу, чтобы унять его неистовый стук, со страхом готовясь выслушать повесть о самом себе.

— Расскажите, — повторил он.

— В этой самой камере, — начал привратник, — тому уже много лет, сидел один арестант, человек очень опасный, говорят, а главное — очень отчаянный. В те же годы здесь находился еще один

заключенный, священник, но этот был смирный, он, бедняга, помешался.

— Помешался? — повторил Монте-Кристо. — А на чем?

— Он всем предлагал миллионы, если его выпустят.

Монте-Кристо поднял глаза к небу, но не увидел его:

между ним и небесным сводом была каменная преграда. Он подумал о том, что между глазами тех, кому аббат Фариа предлагал сокровища, и этими сокровищами преграда была не меньшая.

— Могли заключенные видеться друг с другом? — спросил Монте-Кристо.

— Нет, сударь, это было строжайше запрещено, но они обошли это запрещение и пробили ход из одной камеры в другую.

— А кто из них пробил ход?

— Молодой, понятно, — сказал привратник, — он был ловкий и сильный, а бедный аббат был уже стар и слаб, да и мысли у него путались.

— Слепцы!.. — прошептал Монте-Кристо.

— Словом, — продолжал привратник, — молодой пробил ход; чем — неизвестно, но пробил. Вот поглядите, следы и сейчас еще видны.

И он приблизил к стене факел.

— Да, вижу, — заметил граф глухим от волнения голосом.

— Потом они начали ходить друг к другу. Сколько времени это продолжалось? Никому не известно. Потом старик заболел и умер. Как вы думаете, что сделал молодой?

— Расскажите.

— Он перенес покойника к себе, положил его на свою кровать, лицом к стене; вернулся в пустую камеру, заделал отверстие и залез в мешок мертвеца. Что вы на это скажете?

Монте-Кристо закрыл глаза и снова почувствовал на своем лице прикосновение грубого холста, еще пропитанного смертельным холодом.

— Он, видите ли, думал, — продолжал привратник, — что в замке Иф мертвецов хоронят и, понятное дело, не тратятся на гробы, и он рассчитывал вылезти из-под земли; но, на его беду, в замке был другой обычай: мертвых не хоронили, а просто привязывали к их ногам ядро и кидали в море; так было и на этот раз. Нашего молодца бросили с верхней галереи в море; на другой день в постели нашли настоящего мертвеца, и все открылось. Сторожа, которые бросили хитреца в море, рассказали то, о чем не смели сказать раньше: когда мешок полетел вниз, они

услышали ужасный крик, который тотчас же заглушила вода.

Граф тяжело дышал, пот струился по его лицу, сердце мучительно сжималось.

— Нет! — прошептал он, — нет! Я сомневался только потому, что начал забывать, но здесь раны моего сердца снова открылись и воскресили жажду мщения.

— А об этом узнике больше ничего не известно? — спросил он.

— Ничего, как есть ничего; понимаете, либо он упал плашмя с высоты пятидесяти футов и убился насмерть…

— Вы сказали, что ему привязали к ногам ядро, он должен был упасть стоймя.

— Либо он упал стоймя, — продолжал привратник, — и тогда ядро потащило его на дно, где он и остался, бедняга!

— Вам жаль его?

— Правду говоря, жаль, хоть он в море был как дома.

— Почему?

— Да говорят, что этот несчастный парень был прежде моряком, которого посадили в тюрьму за бонапартизм.

— Истина, — прошептал граф, — по воле Бо-

жьей ты всплываешь над водами и над пламенем! Память о бедном моряке еще кое у кого жива, о его горькой судьбе рассказывают у очага, и все вздрагивают, когда он рассекает воздух и погружается в морскую пучину.

— А его имя вы знаете? — вслух спросил граф.

— Откуда же? — спросил сторож. — Он значился просто под номером тридцать четыре.

— Вильфор! Вильфор! — пробормотал Монте-Кристо. — Вот что ты, должно быть, твердил себе, когда мой призрак тревожил твои бессонные ночи.

— Угодно вам продолжать осмотр, сударь? — спросил привратник.

— Да, покажите мне камеру сумасшедшего аббата.

— Номера двадцать седьмого?

— Да, номера двадцать семь, — повторил Монте-Кристо.

И ему показалось, что он снова слышит голос аббата Фариа, который в ответ на просьбу назвать себя через стену крикнул ему этот номер.

— Идемте.

— Подождите, — сказал Монте-Кристо, — мне хочется получше осмотреть эту темницу.

— Это очень кстати, — сказал проводник, — я

забыл взять ключ от той камеры.

— Сходите за ним.

— Я оставлю вам факел.

— Нет, возьмите его с собой.

— Но вы останетесь впотьмах.

— Я отлично вижу в темноте.

— Скажите! Совсем, как он.

— Как кто?

— Номер тридцать четыре. Говорят, он так привык к темноте, что заметил бы булавку в самом темном углу своей камеры.

— Ему потребовалось десять лет, чтобы дойти до этого, — прошептал граф.

Проводник ушел, унося с собой факел.

Граф сказал правду: не прошло и нескольких секунд, как он стал все различать в темноте, словно при дневном свете. Тогда он осмотрелся и по-настоящему узнал свою темницу.

— Да, — сказал он, — вот камень, на котором я сидел. Вот отпечаток моих плеч на стене! Вот следы моей крови, они остались здесь с того дня, когда я хотел разбить себе голову об стену!.. Вот цифры… я помню их… я начертал их однажды, когда высчитывал годы моего отца, гадая, застану ли я его еще в живых, и годы Мерседес, гадая, будет ли она еще свободна… Когда я кончил этот

подсчет, у меня мелькнула надежда… Я не предвидел ни голода, ни измены!

И горький смех вырвался из его уст. Как во сне, перед ним мелькнули похороны отца… Мерседес, идущая к алтарю…

На другой стене ему бросилась в глаза надпись. Она все еще отчетливо белела на зеленоватой стене:

"Боже, — прочитал Монте-Кристо, — *сохрани мне память".*

— Да, да, — воскликнул он, — вот единственная молитва моих последних лет в этой темнице. Я уже не молил о свободе, я молил о памяти, я боялся сойти с ума и все забыть; Боже, ты сохранил мне память, и я ничего не забыл. Благодарю тебя, Господи!

В эту минуту на стенах заиграл свет факела; это спускался привратник.

Монте-Кристо пошел ему навстречу.

— Идите за мной, — сказал тот.

Подземным коридором они прошли к другой двери.

В камере аббата воспоминания снова нахлынули на Монте-Кристо.

Прежде всего ему бросился в глаза вычерченный на стене меридиан, при помощи которого

аббат Фариа вычислял время, потом он заметил остатки кровати, на которой умер несчастный узник.

Вместо ужаса, который он испытал в собственной темнице, здесь графа охватило нежное и теплое чувство, чувство бесконечной благодарности, и на его глаза навернулись слезы.

— Вот здесь жил сумасшедший аббат, — сказал его проводник, — вот оттуда приходил к нему сосед. (И он указал на пролом, который с этого конца остался незаделанным.) — По цвету камней, — продолжал он, — один ученый узнал, что заключенные ходили друг к другу лет десять. Не очень-то весело они, бедные, провели эти десять лет!

Дантес вынул из кармана несколько золотых и протянул их этому человеку, который, совсем его не зная, дважды пожалел его.

Привратник взял деньги, думая получить немного мелочи, но при свете факела увидел, что посетитель дал ему не мелкую монету, а неожиданно большую сумму.

— Сударь, — сказал он, — вы ошиблись.

— В чем?

— Вы дали мне золото.

— Знаю.

— Знаете?

— Да.

— Вы даете мне эти золотые?

— Да.

— И я могу оставить их себе по совести?

— И по чести, — сказал граф, цитируя Гамлета.

Привратник изумленно посмотрел на него.

— Сударь, — сказал он, боясь поверить своему счастью, — я не понимаю, чем я заслужил такую щедрость.

— Очень просто, мой друг, — сказал граф, — я сам был моряком, и ваш рассказ меня очень заинтересовал.

— Раз уж вы так щедры, сударь, — сказал проводник, — то я вам кое-что предложу.

— Что вы можете мне предложить? Раковины, плетеные корзиночки? Нет, благодарю.

— Нет, нет, сударь; это имеет отношение к моему рассказу.

— Неужели? — живо воскликнул граф. — Что же это?

— Дело было так, — сказал привратник. — Я подумал себе: в камере, где человек провел пятнадцать лет, всегда можно что-нибудь найти; и я начал выстукивать стены.

— Верно, — воскликнул Монте-Кристо, вспом-

нив тайники аббата.

— После долгих розысков, — продолжал проводник, — я заметил, что у изголовья кровати и под очагом камень звучит гулко.

— Да, да, — сказал Монте-Кристо.

— Я вынул камни и нашел…

— Веревочную лестницу, инструменты? — воскликнул граф.

— Откуда вы знаете? — удивленно спросил привратник.

— Я не знаю, я просто догадался, — сказал граф, — обычно в тайниках тюремных камер находят именно такие вещи.

— Да, сударь, — сказал проводник, — веревочную лестницу, инструменты.

— Они у вас? — воскликнул Монте-Кристо.

— Нет, сударь; все эти занятные находки я продал посетителям; но у меня еще осталось кое-что.

— Что же? — нетерпеливо спросил граф.

— Какая-то книга, написанная на полосках холста.

— Как! — воскликнул Монте-Кристо, — у тебя есть эта книга?

— Может быть, это и не книга, — сказал привратник, — но во всяком случае она у меня.

— Сбегай за ней, мой друг, — сказал граф, — и если это то, что я думаю, ты не пожалеешь.

— Бегу, сударь.

И привратник вышел.

Тогда Монте-Кристо опустился на колени перед остатками этой кровати, которую смерть обратила для него в алтарь.

— О мой второй отец, — сказал он, — ты, которому я обязан свободой, знаниями, богатством; ты, подобно высшему существу владевший тайной добра и зла; если в глубине могилы от нас остается нечто, что откликается на голос живущих на земле; если после преображения плоти нечто живое еще носится там, где мы много любили или много страдали, то заклинаю тебя, благородное сердце, высокий разум, проникновенная душа, во имя отеческой любви, которой ты меня одарил, во имя сыновней преданности, которую я питал к тебе, единым словом, знаком, откровением развей мои сомнения, ибо, если они не сменятся верой, они обратятся в раскаяние.

Граф склонил голову и сложил руки.

— Извольте, сударь, — раздался голос позади него.

Монте-Кристо вздрогнул и обернулся.

Привратник протягивал ему полоски холста, на

которых аббат Фариа запечатлел все сокровища своего знания. Это была рукопись его обширного труда о едином итальянском королевстве.

Граф схватил ее, и его взгляд прежде всего упал на эпиграф, он прочел:

"Ты вырвешь у дракона зубы и растопчешь львов, — сказал Господь".

— Вот ответ! — воскликнул он. — Благодарю тебя, отец, благодарю.

И, вынув из кармана бумажник, в котором лежало десять тысячефранковых билетов, сказал привратнику:

— Возьми.

— Это мне?

— Да, но с условием, что ты не раскроешь этот бумажник, пока я не уеду.

И, спрятав на груди вновь обретенную им реликвию, которая была для него дороже всех сокровищ мира, он выбежал из подземелья и прыгнул в лодку.

— В Марсель! — сказал он.

Лодка тронулась. Монте-Кристо устремил взгляд на угрюмый замок.

— Горе тем, — сказал он, — кто заточил меня в эту мрачную темницу, и тем, кто забыл, что я в ней заточен!

Плывя мимо Каталан, граф отвернулся, и, закрыв лицо плащом, он прошептал женское имя.

Победа была полная: граф поборол и второе сомнение. Имя, которое он произнес с нежностью, почти с любовью, было имя Гайде.

Сойдя на берег, Монте-Кристо направился к кладбищу, где, как он знал, застанет Морреля.

Он тоже, десять лет тому назад, благоговейно искал на этом кладбище могилу, но искал ее напрасно. Возвращавшийся во Францию миллионером, он не мог отыскать могилы своего отца, умершего от голода.

Правда, старик Моррель велел поставить на ней крест, но крест упал, и могильщик употребил его на дрова, как обычно поступают могильщики со всеми обломками, валяющимися на кладбищах.

Достойный арматор оказался счастливее: он скончался на руках у своих детей и был похоронен ими подле жены, отошедшей в вечность за два года до него.

Две широкие мраморные плиты, на которых были вырезаны их имена, покоились рядом в тени четырех кипарисов, обнесенные железной решеткой.

Максимилиан стоял, прислонившись к дереву, устремив на могилы невидящий взгляд.

Казалось, он обезумел от горя.

— Максимилиан, — сказал ему граф, — смотреть надо не сюда, а туда!

И он указал на небо.

— Умершие всюду с нами, — сказал Моррель, — вы ведь сами говорили мне это, когда увозили меня из Парижа.

— Максимилиан, — сказал граф, — по дороге вы сказали, что хотели бы провести несколько дней в Марселе, ваше желание не изменилось?

— У меня больше нет желаний, граф, но мне кажется, что мне легче будет ждать здесь, чем где бы то ни было.

— Тем лучше, Максимилиан, потому что я покидаю вас и увожу с собой ваше слово, не правда ли?

— Я могу забыть его, граф, могу забыть, — сказал Моррель.

— Нет, вы его не забудете, потому что вы прежде всего человек чести, Моррель, потому что вы клялись, потому что вы еще раз поклянетесь.

— Граф, сжальтесь надо мной! Я так несчастлив!

— Я знал человека, который был еще несчастнее вас, Моррель.

— Это невозможно.

— Жалкое человеческое тщеславие, — сказал Монте-Кристо. — Каждый считает, что он несчастнее, чем другой несчастный, который плачет и стонет рядом с ним.

— Кто может быть несчастнее человека, который лишился единственного, что он любил и чего желал на свете?

— Слушайте, Моррель, — сказал Монте-Кристо, — и сосредоточьте на минуту свои мысли на том, что я вам скажу. Я знал человека, который так же, как и вы, построил все свои мечты о счастье на любви к одной женщине. Этот человек был молод, у него был старик-отец, которого он любил, невеста, которую он обожал; должна была состояться свадьба. Но вдруг прихоть судьбы, из тех, что заставили бы усомниться в благости Божьей, если бы Бог впоследствии не открывал нам, что все в мире служит его единому промыслу, — как вдруг эта прихоть судьбы отняла у него свободу, возлюбленную, желанное будущее, которое он уже считал своим (так как он, несчастный слепец, видел только настоящее), и бросила его в темницу.

— Из темницы выходят через неделю, через месяц, через год, — заметил Моррель.

— Он пробыл в темнице четырнадцать лет, Мор-

рель, — сказал граф, кладя ему руку на плечо.

Максимилиан вздрогнул.

— Четырнадцать лет! — прошептал он.

— Четырнадцать лет, — повторил граф. — У него также за эти долгие годы бывали минуты отчаяния; он так же, как и вы, Моррель, считал себя несчастнейшим из людей и хотел убить себя.

— И что же? — спросил Моррель.

— И вот в последнюю минуту Господь послал ему спасение в образе человека, ибо Господь больше не являет чудес. Быть может, сначала он и не понимал бесконечной благости Божьей (нужно время, чтобы глаза, затуманенные слезами, вновь стали зрячими), но он все-таки решил терпеть и ждать. Настал день, когда он чудом вышел из могилы, преображенный, богатый, могущественный, полубог; его первый порыв был пойти к отцу, но его отец умер.

— Мой отец тоже умер, — сказал Моррель.

— Да, но ваш отец умер у вас на руках, любимый, счастливый, почитаемый, богатый, дожив до глубокой старости; его отец умер нищим, отчаявшимся, сомневающимся в Боге; и когда спустя десять лет после его смерти сын искал его могилу, самая могила исчезла, и никто не мог ему сказать: "Здесь покоится сердце, которое тебя

так любило".

— Боже! — сказал Моррель.

— Этот сын был несчастнее вас, Моррель, он не знал даже, где искать могилу своего отца.

— Но у него оставалась женщина, которую он любил, — сказал Моррель.

— Вы ошибаетесь, Моррель; эта женщина…

— Умерла? — воскликнул Максимилиан.

— Хуже; она изменила ему, она вышла замуж за одного из гонителей своего жениха. Вы видите, Моррель, что этот человек был еще более несчастлив в своей любви, чем вы!

— И Бог послал этому человеку утешение? — спросил Моррель.

— По крайней мере он послал ему покой.

— И этот человек может еще познать счастье?

— Он надеется на это, Максимилиан.

Моррель молча поник головой.

— Я сдержу свое слово, — сказал он затем, протягивая руку Монте-Кристо, — но только помните…

— Пятого октября, Моррель, я жду вас на острове Монте-Кристо. Четвертого в Бастии вас будет ожидать яхта "Эвр"; вы назовете себя капитану, и он отвезет вас ко мне. Решено, Максимилиан?

— Решено, граф, я сдержу слово. Но помните,

что пятого октября…

— Вы ребенок, Моррель, вы еще не понимаете, что такое обещание взрослого человека… Я уже двадцать раз повторял вам, что в этот день, если вы все еще будете жаждать смерти, я помогу вам. Прощайте.

— Вы покидаете меня?

— Да, у меня есть дело в Италии; я оставляю вас одного наедине с вашим горем, наедине с этим ширококрылым орлом, которого Бог посылает своим избранникам, чтобы он вознес их к его стопам; история Ганимеда, Максимилиан, не сказка, но аллегория.

— Когда вы уезжаете?

— Сейчас; меня уже ждет пароход, через час я буду далеко; вы меня проводите до гавани?

— Я весь в вашем распоряжении, граф.

— Обнимите меня.

Моррель проводил графа до гавани; уже дым, словно огромный султан, вырываясь из черной трубы, подымался к небесам. Пароход вскоре отчалил, и через час, как и сказал Монте-Кристо, тот же султан беловатого дыма, едва различимый, вился на восточном краю горизонта, где уже сгущался сумрак близкой ночи.

XVII
ПЕППИНО

В то самое время, как пароход графа исчезал за мысом Моржион, путешественник, ехавший на почтовых по дороге из Флоренции в Рим, только что оставил позади маленький городок Аккуапенденте. Он ехал так быстро, как только можно было, не вызывая подозрений.

Он был в сюртуке или, вернее, в пальто, чрезвычайно от дороги потрепавшемся, но на котором красовалась еще совсем свежая ленточка Почетного легиона; такая же ленточка была продета и в петлицу его костюма. Не только по этому признаку, но и по тому, как он произносил слова, когда обращался к кучеру, этот человек, несомненно, был француз. Доказательством того, что он родился в стране универсального языка, служило еще и то, что по-итальянски он знал только принятые в музыке слова, которые, как "god-dam" Фигаро, могут заменить собой все тонкости любого языка.

— Allegro! — говорил он кучеру при каждом подъеме.

— Moderato! — твердил он при каждом спуске.

А только одному Богу известно, сколько подъемов и спусков на пути из Флоренции в Рим, если ехать через Аккуапенденте!

Кстати сказать, эти два слова немало смешили тех, к кому он обращался.

Перед лицом Вечного города, то есть доехав до реки Сторто, откуда уже виден Рим, путешественник не испытал того чувства восторженного любопытства, что заставляет каждого чужестранца привстать в экипаже, чтобы разглядеть знаменитый купол святого Петра, который видишь прежде всего, подъезжая к Риму.

Нет, он только вынул из кармана бумажник, а из бумажника сложенный вчетверо листок, который он с почтительной осторожностью развернул и затем снова сложил, сказав всего-навсего:

— Отлично, она здесь.

Экипаж миновал ворота дель Пополо, свернул налево и остановился у гостиницы на площади Испании.

Метр Пастрини, наш старый знакомый, встретил путешественника на пороге, с шляпой в руке.

Путешественник вышел из экипажа, заказал хороший обед и спросил адрес банкирского дома

"Томсон и Френч", который немедленно был ему указан, так как это был один из самых известных банкирских домов Рима.

Он помещался на Банковской улице, недалеко от собора святого Петра.

В Риме, как и всюду, прибытие почтовой кареты привлекает всеобщее внимание. Десяток юных потомков Мария и Гракхов, босоногие, с продранными локтями, но подбоченясь одной рукой и живописно закинув другую за голову, рассматривали путешественника, карету и лошадей; к этим уличным мальчишкам, юным гражданам Вечного города, присоединилось с полсотни зевак, подданных его святейшества, из тех, которые от нечего делать плюют с моста святого Ангела в Тибр, любуясь на расходящиеся по воде круги, — когда в Тибре есть вода.

А так как римские уличные мальчишки и зеваки, более в этом отношении счастливые, чем парижские, понимают все языки, и в особенности французский, то они слышали, как путешественник спросил себе номер, заказал обед и, наконец, осведомился об адресе банкирского дома "Томсон и Френч".

Поэтому, когда приезжий вышел из гостиницы в сопровождении неизбежного чичероне,

от кучки любопытных отделился человек и, не замеченный путешественником, а также, по-видимому, и его проводником, пошел за ним на некотором расстоянии, выслеживая его с такой ловкостью, которая сделала бы честь парижскому сыщику.

Француз так спешил посетить банкирский дом "Томсон и Френч", что не захотел ждать, пока заложат лошадей, и экипаж должен был догнать его по дороге или ожидать у дверей банка.

По дороге экипаж его не нагнал.

Француз вошел в банк; проводник остался ждать в передней, где сразу же вступил в разговор с несколькими лицами без определенных занятий или, вернее, занимающимися чем попало, которые в Риме всегда слоняются возле банков, церквей, развалин, музеев и театров.

Одновременно с французом вошел и тот человек, который раньше отделился от кучки любопытных; француз позвонил у дверей конторы и прошел в первую комнату; его тень последовала за ним.

— Могу я видеть господ Томсона и Френча? — спросил приезжий.

По знаку конторщика, важно восседавшего в первой комнате, подошел служитель.

— Как прикажете доложить? — спросил он, собираясь показать чужестранцу дорогу.

— Барон Данглар, — отвечал путешественник.

— Пожалуйте.

Открылась дверь; служитель и барон исчезли за ней.

Человек, вошедший вслед за Дангларом, сел на скамейку для ожидающих.

Минут пять конторщик продолжал писать; в продолжение этих пяти минут сидевший на скамейке человек хранил глубокое молчание и полную неподвижность.

Наконец конторщик перестал скрипеть пером, поднял голову, внимательно посмотрел кругом и, удостоверившись, что они одни, сказал:

— А-а, это ты, Пеппино?

— Да! — коротко ответил тот.

— Ты почуял, что этот толстяк чего-нибудь стоит?

— На этот раз нашей заслуги тут нет, нас предупредили.

— Так ты знаешь, зачем он сюда явился?

— Еще бы! Он явился за деньгами; остается узнать, какова сумма.

— Сейчас узнаешь, приятель.

— Отлично, только уж давай не врать, как про-

шлый раз!

— Ты это про что? Про англичанина, который на днях получил три тысячи скудо?

— Нет, при нем в самом деле оказались три тысячи скудо, мы их нашли. Я говорю о том русском князе.

— А что?

— А то! Ты сказал нам про тридцать тысяч ливров, а мы нашли только двадцать две.

— Видно, плохо искали.

— Его обыскивал сам Луиджи Вампа.

— Значит, он либо заплатил долги…

— Русский?

— …либо истратил эти деньги.

— Ну, может быть.

— Не может быть, а наверно; но дай я схожу на мой наблюдательный пункт, а то француз покончит дело, и я не узнаю точную сумму.

Пеппино кивнул и, вынув из кармана четки, принялся бормотать молитвы, а конторщик прошел в ту же дверь, за которой исчезли служитель и барон.

Не прошло и десяти минут, как конторщик вернулся сияющий.

— Ну что? — спросил его Пеппино.

— Внимание! Смотрите в оба! — сказал контор-

щик. — Сумма-то кругленькая!

— Миллионов пять-шесть?

— Да, так ты знал?

— По расписке его сиятельства графа де Монте-Кристо?

— Ты разве знаешь графа?

— И с кредитом на Рим, Венецию и Вену?

— Верно! — воскликнул конторщик, — откуда ты все это знаешь?

— Я ведь сказал тебе, что нас заранее предупредили.

— Зачем же ты спрашивал меня?

— Чтобы увериться, что это тот самый человек.

— Это он и есть… Пять миллионов. Недурно, Пеппино?

— Да.

— У нас с тобой никогда столько не будет!

— Как-никак, — философски заметил Пеппино, — кое-что перепадет и нам.

— Тише! Он идет.

Конторщик снова взялся за перо, а Пеппино — за четки, и когда дверь отворилась, один писал, а другой молился.

Показался сияющий Данглар, банкир проводил его до дверей.

Вслед за Дангларом спустился по лестнице и

Пеппино.

Как было условлено, у дверей банкирского дома "Томсон и Френч" ждала карета. Чичероне — личность весьма любезная и готовая услужить в чем угодно — распахнул дверцу.

Данглар вскочил в экипаж с легкостью двадцатилетнего юноши.

Чичероне захлопнул дверцу и сел на козлы рядом с кучером.

Пеппино поместился на запятках.

— Вашему сиятельству угодно осмотреть собор святого Петра? — осведомился чичероне.

— Для чего? — спросил барон.

— Да чтобы посмотреть.

— Я приехал в Рим не для того, чтобы смотреть, — отвечал Данглар; затем прибавил про себя, со своей алчной улыбкой: — Я приехал получить.

И он ощупал свой бумажник, в который он только что положил аккредитив.

— В таком случае ваше сиятельство направляется?..

— В гостиницу.

— В отель Пастрини, — сказал кучеру чичероне.

И карета понеслась с быстротой собственного

выезда.

Десять минут спустя барон уже был у себя в номере, а Пеппино уселся на скамью у входа в гостиницу, предварительно шепнув несколько слов одному из упомянутых нами потомков Мария и Гракхов; потомок стремглав понесся по дороге в Капитолий.

Данглар был утомлен, доволен и хотел спать. Он лег в постель, засунул бумажник под подушку и уснул.

Пеппино спешить было некуда; он сыграл с носильщиками в morra, проиграл три скудо и, чтобы утешиться, выпил бутыль орвиетского вина.

На другое утро Данглар проснулся поздно, хоть накануне и лег рано; уже шесть ночей он спал очень плохо, если даже ему и удавалось заснуть.

Он плотно позавтракал и, равнодушный, как он и сам сказал, к красотам Вечного города, потребовал, чтобы ему в полдень подали почтовых лошадей.

Но Данглар не принял в расчет придирчивости полицейских и лени станционного смотрителя.

Лошадей подали только в два часа пополудни, а чичероне доставил визированный паспорт только в три.

Все эти сборы привлекли к дверям метра Пастрини изрядное количество зевак.

Не было также недостатка и в потомках Мария и Гракхов.

Барон победоносно проследовал сквозь толпу зрителей, величавших его "сиятельством" в надежде получить baioccо.

Ввиду того, что Данглар, человек, как известно, весьма демократических взглядов, всегда до сих пор довольствовался титулом барона и никогда еще не слышал, чтобы его называли сиятельством, он был этим очень польщен и роздал десяток серебряных монет всему этому сброду, готовому за второй десяток величать его "высочеством".

— По какой дороге мы поедем? — спросил по-итальянски кучер.

— На Анкону, — ответил барон.

Пастрини перевел и вопрос и ответ, и лошади помчались галопом.

Данглар намеревался заехать в Венецию и взять там часть своих денег, затем проехать из Венеции в Вену и там получить остальное.

Он хотел обосноваться в этом городе, который ему хвалили как город веселья.

Не успел он проехать и трех льё по римской

равнине, как начало смеркаться; Данглар не предполагал, что он выедет в такой поздний час, иначе бы он остался; он осведомился у кучера, далеко ли до ближайшего города.

— Non capisco!—ответил кучер.

Данглар кивнул, что должно было означать: отлично!

И карета покатила дальше.

"На первой станции я остановлюсь", — сказал себе Данглар.

Данглара еще не покинуло вчерашнее хорошее расположение духа, к тому же он отлично выспался. Он развалился на мягких подушках превосходной, с двойными рессорами, английской кареты. Его мчала пара добрых коней; он знал, что до ближайшей станции семь льё. Чем занять свои мысли банкиру, который только что весьма удачно обанкротился?

Минут десять Данглар размышлял об оставшейся в Париже жене, еще минут десять — о дочери, странствующей по свету в обществе мадемуазель д'Армильи; затем он посвятил десять минут своим кредиторам и планам, как лучше употребить их деньги; наконец, за отсутствием каких-либо других мыслей, закрыл глаза и заснул.

Впрочем, иногда разбуженный особенно силь-

ным толчком, Данглар на минуту открывал глаза, и каждый раз он убеждался, что мчится все с той же быстротой по той же римской равнине, усеянной развалинами акведуков, которые кажутся гранитными великанами, окаменевшими на бегу. Но ночь была холодная, темная, дождливая, и было гораздо приятнее дремать в углу кареты, чем высовывать голову в окно и спрашивать, скоро ли они приедут, у кучера, который только и умел отвечать, что "non capisco".

И Данглар снова засыпал, говоря себе, что он всегда успеет проснуться, когда доедет до почтовой станции.

Карета остановилась; Данглар решил, что он, наконец, достиг желанной цели.

Он открыл глаза и посмотрел в оконное стекло, предполагая, что приехал в какой-нибудь город или, по меньшей мере, деревню, но он увидел только одинокую хибарку и трех-четырех человек, бродивших около нее как тени.

Данглар ожидал, что доставивший его на эту станцию кучер подойдет и спросит следуемую ему плату; он думал воспользоваться сменой кучеров, чтобы расспросить нового, но лошадей перепрягли, а за платой никто не явился.

Удивленный Данглар открыл дверцу, но чья-то

сильная рука тут же ее захлопнула, карета покатила дальше.

Ошеломленный банкир окончательно проснулся.

— Эй! — крикнул он почтальону. — Эй! Mio caro!

Эти слова Данглар помнил с тех времен, когда его дочь распевала дуэты с князем Кавальканти.

Но mio caro ничего не ответил.

Тогда Данглар опустил окно.

— Эй, приятель! Куда это мы едем? — сказал он, высовываясь.

— Dentro la testa! — послышался строгий и властный голос.

Данглар понял, что "Dentro la testa" означает: "Убери голову". Как мы видим, он делал быстрые успехи в итальянском языке.

Он повиновался, хоть и не без некоторого беспокойства, возраставшего с каждой минутой, и вскоре в его мозгу вместо той пустоты, которую мы отметили в начале его путешествия и следствием которой явилась его дремота, зашевелилось множество мыслей, как нельзя более способных обострить внимание путника, а тем более путника в положении Данглара.

В окружающем мраке глаза его приобрели ту

зоркость, которая обычно сопровождает первые минуты сильных душевных волнений и которая от напряжения впоследствии притупляется. Раньше чем испугаться, человек видит ясно; от испуга у него в глазах двоится, а после испуга мутится.

Данглар увидел, что у правой дверцы скачет человек, закутанный в плащ.

"Должно быть, жандарм, — сказал он себе. — Неужели французская полиция сообщила обо мне по телеграфу папским властям?"

Он решил положить конец неизвестности.

— Куда вы меня везете? — спросил он.

— Dentro la testa! — угрожающе прозвучал тот же голос.

Данглар обернулся к левому окну.

И у левого окна скакал верховой.

— Видно, я попался, — пробормотал Данглар, и пот выступил у него на лбу.

Он откинулся в глубь кареты, но уже не для того, чтобы вздремнуть, а чтобы собраться с мыслями.

Немного погодя взошла луна.

Из глубины кареты Данглар бросил взгляд на равнину и снова увидел те огромные акведуки, каменные призраки, которые он уже заметил

раньше, но только теперь они были уже не с правой стороны, а с левой.

Он понял, что карета повернула и что его везут обратно в Рим.

— Я погиб! — прошептал он. — Они добились моей выдачи.

Карета продолжала нестись с ужасающей скоростью. Прошел мучительный час, каждый новый призрак на его пути с несомненностью подтверждал беглецу, что его везут обратно. Наконец он увидел какую-то темную громаду, и ему показалось, что карета налетит на нее. Но лошади повернули и поехали вдоль этой темной громады; то была стена укреплений, опоясывающих Рим.

— Что такое? — пробормотал Данглар, — мы не въезжаем в город; значит, это не полиция арестовала меня. Боже милостивый! Неужели…

Волосы у него на голове встали дыбом.

Он вспомнил красочные рассказы о римских разбойниках, которым не верили в Париже; вспомнил, как Альбер де Морсер развлекал ими г-жу Данглар и Эжени в те времена, когда он должен был стать зятем одной и мужем другой.

— Неужели грабители! — пробормотал он.

Вдруг колеса застучали по чему-то более твер-

дому, чем песчаная дорога. Данглар собрался с духом и выглянул и увидел причудливые силуэты развалин; его память, полная подробностей, которые описывал Альбер, подсказала ему, что он находится на Аппиевой дороге.

Налево, в низине, виднелась круглая выемка.

Это был цирк Каракаллы.

По приказанию человека, скакавшего справа, карета остановилась.

В то же время с левой стороны открылась дверца.

— Scindi![10] — приказал чей-то голос.

Данглар немедленно вышел из экипажа. Он еще не мог говорить по-итальянски, но уже понимал все.

Ни жив ни мертв, барон оглянулся по сторонам.

Его окружали четыре человека, не считая кучера.

— Di qua![11] — сказал один из этих четырех, спускаясь по тропинке, которая вела в сторону от Аппиевой дороги, среди неровных бугров римской равнины.

---

[10] Примечания: 10
Выходите! (*шпал.*)

[11] Примечания: 11
Сюда! (*итал.*)

Данглар беспрекословно последовал за своим вожатым и, даже не оборачиваясь, чувствовал, что остальные трое идут за ним по пятам.

Однако ему показалось, что эти люди, подобно занимающим посты часовым, останавливаются, один за другим, через равные промежутки.

Пройдя таким образом минут десять, в продолжение которых он не обменялся ни единым словом со своим вожатым, Данглар очутился между небольшим холмиком и зарослью высокой травы; три безмолвно стоящих человека образовали треугольник, в центре которого находился он сам.

Он хотел заговорить, но язык не слушался его.

— Avanti!—раздался тот же резкий и повелительный голос.

На этот раз Данглар понял превосходно, ибо слово было подкреплено делом: шедший сзади него человек так сильно его толкнул, что он налетел на провожатого.

Этим провожатым был наш друг Пеппино, который двинулся сквозь высокую траву по такой извилистой тропинке, что только куницы да ящерицы могли бы счесть ее проторенной дорогой.

Пеппино остановился перед невысокой скалой, поросшей густым кустарником. В расщелину

этой скалы он скользнул в точности так же, как в феериях проваливаются в люки чертенята.

Голос и жест человека, шедшего по пятам Данглара, вынудили банкира последовать этому примеру. Сомнений больше не было: парижский банкрот попал в руки римских разбойников.

Данглар повиновался, как человек, не имеющий выбора и от страха ставший отважным. Хотя его брюшко было плохо приспособлено для того, чтобы пролезать в расщелины римских скал, он протиснулся вслед за Пеппино, зажмурив глаза, съехал на спине вниз и стал на ноги.

Коснувшись земли, он открыл глаза.

Ход был широкий, но совершенно темный. Пеппино, уже не скрывавшийся теперь, когда он был у себя дома, высек огонь и зажег факел.

Вслед за Дангларом спустились еще два человека, образовав арьергард, и, подталкивая его, если ему случалось остановиться, привели его по отлогому ходу к мрачному перекрестку.

Белые каменные стены, с высеченными в них ярусами гробниц, словно глядели черными, бездонными провалами глаз, подобных глазницам черепа.

Стоявший здесь часовой взял карабин наперевес.

— Кто идет? — спросил он.

— Свой, свой! — сказал Пеппино. — Где атаман?

— Там, — ответил часовой, показывая через плечо на высеченную в скале залу, свет из которой проникал в коридор сквозь широкие сводчатые отверстия.

— Славная добыча, атаман, — сказал по-итальянски Пеппино.

И, схватив Данглара за шиворот, он подвел его к отверстию вроде двери, через которое проходили в залу, служившую, очевидно, жилищем атамана.

— Это тот самый человек? — спросил атаман, погруженный в чтение жизнеописания Александра, составленное Плутархом.

— Тот самый, атаман.

— Отлично, покажи мне его.

Исполняя это не слишком вежливое приказание, Пеппино так порывисто поднес факел к лицу Данглара, что тот отшатнулся, опасаясь, как бы огонь не опалил ему брови.

Отвратительный страх искажал черты этого смертельно бледного лица.

— Он устал, — сказал атаман, — отведите его в постель.

— Эта постель, наверно, просто гроб, высеченный в скале, — прошептал Данглар, — сон, который ждет меня, — это смерть от одного из кинжалов, что блестят там в темноте.

В самом деле, в глубине огромной залы приподнимались со своих подстилок из сухих трав и волчьих шкур товарищи человека, которого Альбер де Морсер застал за чтением "Записок" Цезаря, а Данглар — за жизнеописанием Александра Македонского.

Банкир глухо застонал и последовал за своим проводником; он не пытался ни кричать, ни молить о пощаде.

У него больше не было ни сил, ни воли, ни желаний, ни чувств; он шел потому, что его заставляли идти.

Он споткнулся о ступеньку, понял, что перед ним лестница, инстинктивно нагнулся, чтобы не удариться лбом, и очутился в какой-то келье, высеченной прямо в скале.

Келья была чистая, и притом сухая, хоть она и находилась глубоко под землей.

В одном углу прямо на полу красовалась постель из сухих трав, покрытых козьими шкурами.

Данглар, увидев это ложе, почел его за лучезар-

ный символ спасения.

— Слава тебе Господи! — прошептал он. — Это и правда постель.

Второй раз в течение часа он призывал имя Божие, чего с ним не случалось уже лет десять.

— Ессо,— сказал проводник.

И, втолкнув Данглара в келью, он закрыл за ним дверь.

Заскрипел засов; Данглар оказался в плену.

Впрочем, и не будь засова, надо было быть святым Петром и иметь провожатым ангела Господня, чтобы проскользнуть мимо гарнизона, занимавшего катакомбы Сан-Себастьяно и расположившегося вокруг своего предводителя, в котором читатели, несомненно, уже узнали знаменитого Луиджи Вампа.

Данглар также понял, что это тот разбойник, в существование которого он отказывался верить, когда Альбер пытался познакомить с ним парижан. Он узнал не только его, но также и келью, в которой был заключен Морсер и которая, по всей вероятности, предназначалась для иностранных гостей.

Эти воспоминания в какой-то мере порадовали Данглара и вернули ему спокойствие. Если разбойники не убили его сразу, значит, они вообще

не намерены его убивать.

Его захватили, чтобы ограбить, а так как при нем всего несколько золотых, то за него потребуют выкуп.

Он вспомнил, что Морсера оценили приблизительно в четыре тысячи экю, а поскольку он считал, что обладает более внушительной внешностью, чем Морсер, то рассчитал, что за него потребуют выкуп в восемь тысяч экю.

Восемь тысяч экю составляют сорок восемь тысяч ливров.

А у него около пяти миллионов пятидесяти тысяч франков. С такими деньгами можно выпутаться из любого положения.

Итак, почти не сомневаясь, что он выпутается, ибо еще не было примера, чтобы за человека требовали выкуп в пять миллионов пятьдесят тысяч франков, Данглар растянулся на своей постели и, поворочавшись с боку на бок, заснул со спокойствием героя, чье жизнеописание изучал Луиджи Вампа.

XVIII

ПРЕЙСКУРАНТ ЛУИДЖИ ВАМПА

После всякого сна, за исключением того, которого страшился Данглар, наступает пробуждение.

Данглар проснулся.

Парижанину, привыкшему к шелковым занавесям, к стенам, обитым мягкими тканями, к смолистому запаху дров, потрескивающих в камине, к ароматам, исходящим от атласного полога, пробуждение в меловой пещере должно казаться дурным сном.

Коснувшись козьих шкур своего ложа, Данглар, вероятно, подумал, что попал во сне к самоедам или лапландцам.

Но в подобных обстоятельствах достаточно секунды, чтобы превратить сомнения в самую твердую уверенность.

"Да, да, — вспомнил он, — я в руках разбойников, о которых нам рассказывал Альбер де Морсер".

Прежде всего он глубоко вздохнул, чтобы убедиться, что он не ранен; он вычитал об этом в "Дон Кихоте", единственной книге, которую он кое-как прочел и из которой кое-что запомнил.

"Нет, — сказал он себе, — они меня не убили и даже не ранили, но, может быть, они меня

ограбили?"

И он стал поспешно исследовать свои карманы. Они оказались в полной неприкосновенности: те сто луидоров, которые он оставил себе на дорогу из Рима в Венецию, лежали по-прежнему в кармане его панталон, а бумажник, в котором находился аккредитив на пять миллионов пятьдесят тысяч франков, все еще лежал в кармане его сюртука.

"Странные разбойники! — сказал он себе. — Они мне оставили кошелек и бумажник! Я правильно решил вчера, когда ложился спать: они потребуют за меня выкуп. Скажите пожалуйста, и часы на месте! Посмотрим, который час".

Часы Данглара, шедевр Брегета, которые он накануне, перед тем как пуститься в путь, тщательно завел, прозвонили половину шестого утра. Иначе Данглар не мог бы определить время, так как в его келью дневной свет не проникал.

Потребовать от разбойников объяснений? Или лучше терпеливо ждать, пока они сами заговорят с ним? Последнее показалось ему более безопасным; Данглар решил ждать.

Он ждал до полудня.

В продолжение всего этого времени у его двери стоял часовой. В восемь часов утра часовой

сменился.

Данглару захотелось взглянуть, кто его сторожит.

Он заметил, что лучи света — правда, не дневного, а от лампы — проникали сквозь щели между плохо пригнанными досками двери; он подошел к одной из этих щелей в ту самую минуту, когда разбойник угощался водкой из бурдюка, от которого исходил запах, показавшийся Данглару отвратительным.

— Тьфу! — проворчал он, отступив в глубь своей кельи.

В полдень любителя водки сменил другой часовой.

Данглар и тут полюбопытствовал взглянуть на своего нового сторожа и опять придвинулся к щели.

На этот раз он увидел атлетически сложенного парня, настоящего Голиафа, с выпученными глазами, толстыми губами, приплюснутым носом; густые космы рыжих волос спадали ему на плечи, извиваясь как змеи.

"Этот больше похож на людоеда, чем на человека, — подумал Данглар, — слава Богу, я слишком стар и жестковат; дряблый, невкусный толстяк".

Как видите, Данглар был еще способен шутить.

В эту самую минуту, как бы для того чтобы доказать, что он отнюдь не людоед, страж уселся против двери, вытащил из своей котомки ломоть черного хлеба, несколько луковиц и кусок сыру и начал жадно поглощать все это.

— Черт меня побери! — сказал Данглар, наблюдая сквозь щели за обедом разбойника. — Не понимаю, как можно есть такую гадость.

И он уселся на козьи шкуры, запахом своим напоминавшие ему водку, которую пил первый часовой.

Но как ни крепился Данглар, а тайны естества непостижимы: иной раз голодному желудку самая неприхотливая снедь кажется весьма соблазнительной.

Данглар внезапно ощутил, что его желудок пуст; теперь страж показался ему не таким уж уродливым, хлеб не таким уж черным, а сыр менее высохшим.

К тому же сырые луковицы, отвратительная пища дикаря, напомнили ему соусы Робер и подливки, которые в совершенстве стряпал его повар, когда Данглару случалось сказать ему: "Денизо, приготовьте мне сегодня что-нибудь остренькое".

Он встал и постучал в дверь.

Часовой поднял голову.

Данглар снова постучал.

— Che cosa?[12] — спросил разбойник.

— Послушайте, приятель, — сказал Данглар, барабаня пальцами по двери, — по-моему, пора бы позаботиться и о моем завтраке.

Но великан либо не понял его, либо ему не было дано соответствующих распоряжений, только он снова принялся за еду.

Данглар почувствовал себя уязвленным и, не желая больше иметь дело с таким невежей, снова улегся на козьи шкуры и не проронил больше ни слова.

Прошло еще четыре часа; великана сменил другой разбойник. Данглар, которого уже давно мучил голод, тихонько встал, снова приник к дверной щели и узнал смышленую физиономию своего провожатого.

Это был Пеппино, который, по-видимому, решил провести свое дежурство поуютнее: он уселся напротив двери и поставил у ног глиняный горшок, полный горячего душистого турецкого гороха, поджаренного на сале.

Рядом с горшком Пеппино поставил корзи-

---

[12] Примечания: 12
В чем дело? (*итал*)

ночку с веллетрийским виноградом и бутылку орвиетского вина.

Положительно, Пеппино был гурман.

При виде этих аппетитных приготовлений у Данглара потекли слюнки.

"Посмотрим, — сказал себе пленник, — может быть, этот окажется сговорчивее".

И он легонько постучал в дверь.

— Иду, иду, — сказал разбойник по-французски: постоянно бывая в гостинице Пастрини, он освоил этот язык вплоть до самых характерных оборотов.

Он подошел и отпер дверь.

Данглар узнал в нем того человека, который так неистово кричал ему: "Убери голову!" Но теперь было не до упреков; наоборот, он скорчил самую любезную мину и сказал с вкрадчивой улыбкой:

— Простите, сударь, но разве мне не дадут пообедать?

— Как же, как же! — воскликнул Пеппино. — Неужели вы, ваше сиятельство, голодны?

— Это "неужели" бесподобно! — пробормотал Данглар. — Вот уже сутки, как я ничего не ел. — И громко прибавил — Ну, разумеется, сударь, я голоден, и даже очень.

— И ваше сиятельство желает покушать?

— Немедленно, если только возможно.

— Ничего нет легче, — сказал Пеппино, — здесь можно получить все что угодно; конечно, за деньги, как это принято у всех добрых христиан.

— Само собой! — воскликнул Данглар. — Хотя, по правде говоря, если вы держите людей в заключении, вы должны были бы по меньшей мере кормить их.

— Нет, ваше сиятельство, — возразил Пеппино, — у нас это не принято.

— Это довод неосновательный, но не будем спорить, — отвечал Данглар, который надеялся любезным обращением умилостивить своего тюремщика. — Так велите подать мне обед.

— Сию минуту, ваше сиятельство, что вам угодно?

И Пеппино поставил свою миску наземь, так что шедший от нее пар ударил Данглару прямо в ноздри.

— Заказывайте, — сказал он.

— Разве у вас тут есть кухня? — спросил банкир.

— Как же? Конечно, есть. И великолепная!

— И повара?

— Превосходные!

— В таком случае цыпленка, или рыбу, или

какую-нибудь дичь; все равно что, только дайте мне поесть.

— Все, что будет угодно вашему сиятельству, итак, скажем, цыпленка?

— Да, цыпленка.

Пеппино выпрямился и крикнул во все горло:

— Цыпленка для его сиятельства!

Голос Пеппино еще отдавался под сводами, как уже появился юноша, красивый, стройный и обнаженный до пояса, словно античный носильщик рыбы; он нес на голове серебряное блюдо с цыпленком, не придерживая его руками.

— Как в Кафе-де-Пари, — пробормотал Данглар.

— Извольте, ваше сиятельство, — сказал Пеппино, беря блюдо из рук молодого разбойника и ставя его на источенный червями стол, который вместе с табуреткой и ложем из козьих шкур составлял всю меблировку кельи.

Данглар потребовал вилку и нож.

— Извольте, ваше сиятельство, — сказал Пеппино, протягивая ему маленький ножик с тупым концом и деревянную вилку.

Данглар взял в одну руку нож, в другую вилку и приготовился резать птицу.

— Прошу прощения, ваше сиятельство, — ска-

зал Пеппино, кладя руку на плечо банкиру, — здесь принято платить вперед; может быть, гость останется недоволен.

"Это уж совсем не как в Кафе-де-Пари, — подумал Данглар, — не говоря уже о том, что они, наверно, обдерут меня; но не будем скупиться. *Я* всегда слышал, что в Италии жизнь дешева; вероятно, цыпленок стоит в Риме каких-нибудь двенадцать су".

— Вот возьмите, — сказал он и швырнул Пеппино золотой.

Пеппино подобрал монету. Данглар занес нож над цыпленком.

— Одну минутку, ваше сиятельство, — сказал Пеппино, выпрямляясь, — ваше сиятельство еще не все мне уплатили.

— Я так и знал, что они меня обдерут как липку! — пробормотал Данглар.

Но он решил не противиться этому вымогательству.

— Сколько же я вам еще должен за эту тощую курятину? — спросил он.

— Ваше сиятельство дали мне в счет уплаты луидор.

— Луидор в счет уплаты за цыпленка?

— Разумеется, в счет уплаты.

— Хорошо… Ну, а дальше?

— Так что ваше сиятельство должны мне теперь только четыре тысячи девятьсот девяносто девять луидоров.

Данглар вытаращил глаза, услышав эту чудовищную шутку.

— Презабавно, — пробормотал он, — презабавно!

И он снова хотел приняться за цыпленка, но Пеппино левой рукой удержал его и протянул правую ладонью вверх.

— Платите, — сказал он.

— Что такое? Вы не шутите? — сказал Данглар.

— Мы никогда не шутим, ваше сиятельство, — возразил Пеппино, серьезный, как квакер.

— Как, сто тысяч франков за этого цыпленка!

— Вы не поверите, ваше сиятельство, как трудно выводить птицу в этих проклятых пещерах.

— Все это очень смешно, — сказал Данглар, — очень весело, согласен. Но я голоден, не мешайте мне есть. Вот еще луидор для вас, мой друг.

— В таком случае за вами теперь остается только четыре тысячи девятьсот девяносто восемь луидоров, — сказал Пеппино, сохраняя то же хладнокровие, — немного терпения, и мы рассчитаемся.

— Никогда, — сказал Данглар, возмущенный этим упорным издевательством. — Убирайтесь к черту, вы не знаете, с кем имеете дело!

Пеппино сделал знак, юноша проворно убрал цыпленка. Данглар бросился на свою постель из козьих шкур. Пеппино запер дверь и вновь принялся за свой горох с салом.

Данглар не мог видеть, что делает Пеппино, но разбойник так громко чавкал, что у пленника не оставалось сомнений в том, чем он занят.

Было ясно, что он ест, и притом ест шумно, как человек невоспитанный.

— Болван! — выругался Данглар.

Пеппино сделал вид, что не слышит, и, не повернув даже головы, продолжал есть с той же невозмутимой медлительностью.

Данглару казалось, что желудок разбойника бездонен, как бочка Данаид; не верилось, что он когда-нибудь может наполниться.

Однако он терпел еще полчаса, но надо признать, что эти полчаса показались ему вечностью.

Наконец он встал и снова подошел к двери.

— Послушайте, сударь, — сказал он, — не томите меня дольше и скажите мне сразу, чего от меня хотят.

— Помилуйте, ваше сиятельство, это вы скажите, что вам от нас угодно?.. Прикажите, и мы исполним.

— В таком случае прежде всего откройте мне дверь.

Пеппино открыл дверь.

— Я хочу есть, черт возьми! — сказал Данглар.

— Вы голодны?

— Вы это и так знаете.

— Что угодно скушать вашему сиятельству?

— Кусок черствого хлеба, раз цыплята так непомерно дороги в этом проклятом погребе.

— Хлеба? Извольте! — сказал Пеппино. — Эй, хлеба! — крикнул он.

Юноша принес маленький хлебец.

— Пожалуйста! — сказал Пеппино.

— Сколько? — спросил Данглар.

— Четыре тысячи девятьсот девяносто восемь луидоров. Вы уже заплатили вперед два луидора.

— Как! За один хлебец сто тысяч франков?

— Сто тысяч франков, — ответил Пеппино.

— Но ведь сто тысяч франков стоит цыпленок!

— У нас нет прейскуранта, у нас на все одна цена. Мало вы съедите или много, закажете десять блюд или одно— цена не меняется.

— Вы опять шутите! Это нелепо, мой друг, это

просто глупо! Лучше скажите сразу, что вы хотите уморить меня голодом, и дело с концом.

— Да нет же, ваше сиятельство, это вы хотите уморить себя голодом. Заплатите и кушайте.

— Чем же я заплачу, скотина? — воскликнул вне себя Данглар. — Ты, кажется, воображаешь, что я таскаю сто тысяч франков с собой в кармане?

— У вас в кармане пять миллионов пятьдесят тысяч франков, ваше сиятельство, — сказал Пеппино, — это составит пятьдесят цыплят по сто тысяч франков штука и еще полцыпленка за пятьдесят тысяч.

Д англ ар задрожал, повязка упала с его глаз: это, конечно, была шутка, но теперь он ее понял.

Надо, впрочем, сказать, что теперь он не находил ее такой уж плоской, как минутой раньше.

— Послушайте, — сказал он, — если я вам дам эти сто тысяч франков, будем ли мы с вами в расчете? Смогу я спокойно поесть?

— Разумеется, — заявил Пеппино.

— Но как я вам их дам? — спросил Данглар, облегченно вздыхая.

— Ничего нет проще; у вас текущий счет в банкирском доме "Томсон и Френч" на Банковской улице в Риме; дайте мне чек на их банк на четыре

тысячи девятьсот девяносто восемь луидоров: наш банкир его примет.

Данглар хотел по крайней мере сохранить видимость доброй воли; он взял перо и бумагу, которые ему подал Пеппино, написал записку и подписался.

— Вот вам чек на предъявителя, — сказал он.

— А вот вам цыпленок.

Данглар со вздохом разрезал птицу; она казалась ему очень постной по сравнению с такой жирной суммой.

Что касается Пеппино, то он внимательно прочитал бумажку, опустил ее в карман и снова принялся за турецкий горох.

XIX
ПРОЩЕНИЕ

На следующий день Данглар снова почувствовал голод: воздух в этой пещере как нельзя более возбуждал аппетит. Пленник думал, что в этот день ему не придется тратиться: как человек бережливый, он припрятал половину цыпленка и кусок хлеба в углу своей кельи.

Но не успел он поесть, как ему захотелось пить; он совершенно не принял этого в расчет.

Он боролся с жаждой до тех пор, пока не почувствовал, что его иссохший язык прилипает к нёбу.

Тогда, не в силах больше противиться сжигавшему его огню, он позвал.

Часовой отпер дверь; лицо его было незнакомо узнику.

Данглар решил, что лучше иметь дело со старым знакомым. Он стал звать Пеппино.

— Я здесь, ваше сиятельство, — сказал разбойник, явившись с такой поспешностью, что Данглару это показалось хорошим предзнаменованием, — что вам угодно?

— Пить, — сказал пленник.

— Вашему сиятельству должно быть известно, — заявил Пеппино, — что вино в окрестностях Рима неимоверно дорого.

— В таком случае дайте мне воды, — отвечал Данглар, пытаясь отразить удар.

— Ах, ваше сиятельство, вода еще большая редкость, чем вино: сейчас такая ужасная засуха!

— Я вижу, все начинается сызнова! — сказал Данглар.

И он улыбался, делая вид, что шутит, хотя на висках его выступил пот.

— Послушайте, мой друг, — сказал он, видя, что

Пеппино все так же невозмутим, — я прошу у вас стакан вина, неужели вы мне в нем откажете?

— Я уже вам говорил, ваше сиятельство, — серьезно отвечал Пеппино, — что мы не торгуем в розницу.

— В таком случае дайте мне бутылку.

— Какого?

— Подешевле.

— Цена на все вина одна.

— А какая?

— Двадцать пять тысяч франков бутылка.

— Скажите лучше, что вы хотите обобрать меня дочиста! — воскликнул Данглар с такой горечью в голосе, что только Гарпагон мог бы оценить ее по достоинству. — Это будет проще, чем сдирать с меня шкуру по частям.

— Возможно, что таково намерение атамана, — сказал Пеппино.

— Атамана? А кто он?

— Вас к нему водили позавчера.

— А где он?

— Здесь.

— Могу я повидать его?

— Ничего нет легче.

Не прошло и минуты, как перед Дангларом предстал Луиджи Вампа.

— Вы меня звали? — спросил он пленника.

— Это вы, сударь, атаман тех, кто доставил меня сюда?

— Да, ваше сиятельство. А что?

— Какой выкуп вы за меня требуете?

— Да просто те пять миллионов, которые у вас с собой.

Данглар почувствовал, как ледяная рука стиснула его сердце.

— Это все, что у меня есть, сударь, это остаток огромного состояния; если вы отнимете их у меня, то отнимите и жизнь.

— Нам запрещено проливать вашу кровь, ваше сиятельство.

— Кто вам запретил?

— Тот, кому мы повинуемся.

— Значит, вы кому-то повинуетесь?

— Да, нашему начальнику.

— Мне казалось, что вы и есть начальник.

— Я атаман этих людей, но у меня тоже есть начальник.

— А этот начальник тоже кому-нибудь повинуется?

— Да.

— Кому же?

— Богу.

Данглар задумался.

— Не понимаю, — сказал он.

— Возможно.

— Этот самый начальник и приказал вам так со мной обращаться?

— Да.

— С какой целью?

— Этого я не знаю.

— Но ведь когда-нибудь мой кошелек иссякнет?

— Вероятно.

— Послушайте, — сказал Данглар, — хотите миллион?

— Нет.

— Два миллиона?

— Нет.

— Три миллиона?.. Четыре?.. Ну, хотите четыре? Я вам их отдаю с условием, что вы меня отпустите.

— Почему вы предлагаете нам четыре миллиона за то, что стоит пять? — сказал Вампа. — Это ростовщичество, господин банкир, вот как я это понимаю.

— Берите все! Все, слышите! — воскликнул Данглар. — И убейте меня!

— Успокойтесь, ваше сиятельство, не надо го-

рячиться, а то у вас появится такой аппетит, что вы начнете проедать по миллиону в день; будьте бережливы, черт возьми!

— А когда у меня не хватит денег, чтобы платить вам? — воскликнул Данглар вне себя.

— Тогда вы будете голодать.

— Голодать? — сказал Данглар, бледнея.

— Вероятно, — равнодушно ответил Вампа.

— Но ведь вы говорите, что не хотите убивать меня?

— Да.

— И дадите мне умереть с голоду?

— Это не одно и то же.

— Так нет же, негодяи, — воскликнул Данглар, — я обману ваши подлые расчеты! Если уж мне суждено умереть, то чем скорее, тем лучше; мучьте меня, пытайте меня, убейте, но моей подписи вы больше не получите!

— Как вашему сиятельству будет угодно, — сказал Вампа.

И он вышел из кельи.

Данглар, рыча от бешенства, бросился на козьи шкуры.

Кто эти люди? Кто этот их атаман? И кто их невидимый начальник? Какие у них намерения? И почему все могут от них откупиться, а он один

не может?

Да, конечно, смерть, быстрая, насильственная смерть — лучший способ обмануть расчеты его жестоких врагов, которые, видимо, наметили его жертвой какого-то непонятного мщения.

Но умереть!

Быть может, впервые за всю долгую жизнь Данглар думал о смерти, и призывая ее, и в то же время страшась; настала минута взглянуть в лицо неумолимому призраку, который таится во всяком живом существе, говорящем себе при каждом биении сердца: "Ты умрешь!"

Данглар походил на дикого зверя, которого травля возбуждает, затем приводит в отчаяние и которому силою отчаяния иногда удается спастись.

Он подумал о побеге. Но окружающие его стены были толще скалы, у единственного выхода из кельи сидел человек и читал, а за спиной этого человека двигались взад и вперед тени, вооруженные карабинами.

Его решимости хватило только на два дня, после чего он потребовал пищи и предложил за нее миллион.

Ему подали великолепный ужин и взяли предложенный миллион.

С этого времени жизнь несчастного пленника стала беспрерывным отступлением. Он так исстрадался, что не в силах был больше страдать, и исполнял все, чего от него требовали; прошло двенадцать дней, и вот, пообедав не хуже, чем во времена своего преуспеяния, он подсчитал, сколько выдал чеков; оказалось, что у него остается всего лишь пятьдесят тысяч.

Тогда в нем произошла странная перемена: он, который отдал пять миллионов, решил спасти последние пятьдесят тысяч франков, решил вести жизнь, полную лишений, лишь бы не отдавать эти пятьдесят тысяч; в мозгу его мелькали проблески надежды, близкие к безумию. Он, который уже так давно забыл Бога, стал думать **о** нем; он говорил себе, что Бог иногда творит чудеса: пещера может разрушиться, папские карабинеры могут открыть это проклятое убежище и явиться к нему на помощь, тогда у него еще останется пятьдесят тысяч франков, а этого достаточно для того, чтобы не умереть с голоду; и он со слезами молил Бога оставить ему эти пятьдесят тысяч франков.

Он провел так три дня, и все три дня имя Божье было непрерывно если не в сердце у него, то по крайней мере на устах. По временам у него бы-

вали минуты бреда, ему казалось, что он видит через окно, как в бедной комнатке, на жалкой постели, лежит умирающий старик.

Этот старик тоже умирал с голоду.

На четвертый день Данглар был уже не человек, но живой труп; он подобрал все до последней крошки со своих прежних обедов и начал грызть циновку, покрывавшую каменный пол.

Тогда он стал молить Пеппино, как молят ангела-хранителя, дать ему поесть; он предлагал ему тысячу франков за кусочек хлеба.

Пеппино не отвечал.

На пятый день Данглар еле дотащился до двери.

— Вы не христианин! — сказал он, стоя на коленях. — Вы хотите уморить человека, брата вашего перед Богом!

"Где все мои прежние друзья, где они?" — пробормотал он.

И он упал ничком.

Потом поднялся и в исступлении крикнул:

— Начальника! Начальника!

— Я здесь! — внезапно появляясь, сказал Вампа. — Что вам угодно?

— Возьмите мое последнее золото, — пробормотал Данглар, протягивая свой бумажник, — и

оставьте меня жить здесь, в этой пещере. *Я* уже не прошу свободы, а только прошу оставить мне жизнь.

— Вы очень страдаете? — спросил Вампа.

— Да, я жестоко страдаю!

— А есть люди, которые страдали еще больше.

— Этого не может быть!

— Но это так! Те, кто умер с голоду.

Данглар вспомнил того старика, которого он во время своих галлюцинаций видел в убогой каморке, на жалкой постели.

Он со стоном припал лбом к каменному полу.

— Да, правда, были такие, которые еще больше страдали, чем я, но это были мученики.

— Вы хотя бы раскаиваетесь? — раздался чей-то мрачный и торжественный голос, от которого волосы Данглара стали дыбом.

Своим ослабевшим взором он пытался вглядеться в окружающее и увидел позади Луиджи человека в плаще, полускрытого тенью каменного столба.

— В чем я должен раскаяться? — едва внятно пробормотал Данглар.

— В содеянном зле, — послышался тот же голос.

— Да, я раскаиваюсь, раскаиваюсь! — восклик-

нул Данглар.

И он ударил себя в грудь исхудавшей рукой.

— Тогда я вас прощаю, — сказал неизвестный, сбрасывая плащ и делая шаг вперед, чтобы стать на освещенное место.

— Граф де Монте-Кристо! — в ужасе воскликнул Данглар, и лицо его, уже бледное от голода и страданий, побледнело еще больше.

— Вы ошибаетесь, я не граф де Монте-Кристо.

— Кто же вы?

— Я тот, кого вы продали, предали, обесчестили; я тот, чью невесту вы унизили, тот, кого вы растоптали, чтобы подняться до богатства; я тот, чей отец умер с голоду по вашей вине. Я обрек вас на голодную смерть, и все же я вас прощаю, ибо сам нуждаюсь в прощении; я Эдмон Дантес!

Данглар вскрикнул и упал к его ногам.

— Встаньте, — сказал граф, — я дарую вам жизнь. Ваши сообщники были не столь счастливы: один сошел с ума, другой мертв! Оставьте себе ваши пятьдесят тысяч франков, я их вам дарю, а пять миллионов, которые вы украли у сирот, уже возвращены. А теперь ешьте и пейте; сегодня вы мой гость. Вампа, когда этот человек насытится, он свободен.

Данглар, пока граф не удалился, продолжал

лежать ничком; когда он поднял голову, он увидел только исчезавшую в проходе смутную тень, перед которой склонялись разбойники.

Вампа исполнил приказание графа, и Данглару были поданы лучшие плоды и лучшее вино Италии; затем его посадили в почтовую карету, провезли по дороге и высадили у какого-то дерева.

Он просидел под ним до утра, не зная, где он.

Когда рассвело, он увидел поблизости ручей; ему хотелось пить, и он подполз к воде.

Наклонившись, чтобы напиться, он увидел, что волосы его поседели.

XX
ПЯТОЕ ОКТЯБРЯ

Было около шести часов вечера; опаловый свет, пронизываемый золотыми лучами осеннего солнца, падал с неба на голубые волны моря.

Дневной жар понемногу спадал, и уже веял тот легкий ветерок, что кажется дыханием самой природы, просыпающейся после знойного полуденного сна: сладостное дуновение, которое освежает берега Средиземного моря и несет от побережья к побережью аромат деревьев, сме-

шанный с терпким запахом моря.

По этому огромному озеру, простирающемуся от Гибралтара до Дарданелл и от Туниса до Венеции, плавно двигалась в первой вечерней дымке легкая, стройная яхта. Казалось, это скользит по воде распластавший крылья лебедь. Она неслась, стремительная и грациозная, оставляя позади себя фосфоресцирующий след.

Последние лучи солнца угасли на горизонте, словно воскрешая ослепительные вымыслы античной мифологии; нескромные солнечные блики еще вспыхивали на гребнях волн, выдавая тайну Амфитриты: пламенный бог укрылся на ее груди, и она тщетно пыталась спрятать возлюбленного в лазурных складках своего плаща.

Яхта быстро неслась вперед, хотя, казалось, ветер был так слаб, что не растрепал бы и локоны на девичьей головке.

На баке стоял какой-то человек, высокого роста, с лицом бронзового цвета, и смотрел неподвижным взглядом, как навстречу ему приближалась земля, темным конусом выступавшая из волн, подобно исполинской каталонской шляпе.

— Это и есть Монте-Кристо? — задумчиво и печально спросил путешественник, по-видимому распоряжавшийся маленькой яхтой.

— Да, ваше сиятельство, — отвечал капитан, — мы у цели.

— Мы у цели! — прошептал путешественник с какой-то непередаваемой грустью.

Затем он тихо прибавил:

— Да, здесь моя пристань.

И он снова погрузился в думы; на губах его появилась улыбка, что была печальнее слез.

Спустя несколько минут на берегу вспыхнул слабый, тотчас же погасший свет, и до яхты донесся звук выстрела.

— Ваше сиятельство, — сказал капитан, — с берега нам подают сигнал; хотите сами на него ответить?

— Какой сигнал? — спросил тот.

Капитан показал рукой на остров: к вершине его поднимался одинокий белесый дымок, расходящийся в воздухе.

— Да, да! — сказал путешественник, как бы очнувшись от сна. — Хорошо.

Капитан подал ему заряженный карабин; путешественник взял его, медленно поднял и выстрелил в воздух.

Не прошло и десяти минут, как на яхте уже спустили паруса и был сброшен якорь в пятистах шагах от небольшой пристани. На волнах уже

качалась шлюпка с четырьмя гребцами и рулевым; путешественник спустился в нее, но вместо того чтобы сесть на корме, покрытой для него голубым ковром, скрестил руки и остался стоять.

Гребцы ждали команды, приподняв весла, словно птицы, которые сушат свои крылья.

— Вперед! — сказал путешественник.

Четыре пары весел разом, без всплеска, опустились в воду; и шлюпка, уступая толчку, понеслась стрелой.

Через минуту они уже были в маленькой бухте, расположенной в расселине скал, и шлюпка врезалась в песчаное дно.

— Ваше сиятельство, — сказал рулевой, — двое гребцов перенесут вас на берег.

Молодой путешественник ответил на это предложение жестом полного безразличия, спустил ноги за борт и соскользнул в воду, которая дошла ему до пояса.

— Напрасно вы это, ваше сиятельство, — пробормотал рулевой, — хозяин будет нас бранить.

Путешественник, не отвечая, пошел к берегу следом за двумя матросами, выбиравшими наиболее удобный грунт.

Шагов через тридцать они добрались до суши. Молодой человек отряхнулся и стал озираться,

старяясь угадать, в какую сторону его поведут, потому что уже совсем стемнело.

Едва он повернул голову, как на плечо ему легла чья-то рука и раздался голос, от звука которого он вздрогнул.

— Добро пожаловать, Максимилиан, — сказал этот голос, — вы точны, благодарю вас.

— Это вы, граф! — воскликнул Моррель и стремительно, почти радостно сжал обеими руками руку Монте-Кристо.

— Видите, я так же точен, как вы; но вы промокли, дорогой мой, вам надо переодеться, как сказала бы Калипсо Телемаху. Идемте, здесь для вас приготовлено жилье, где вы забудете и усталость и холод.

Монте-Кристо заметил, что Моррель обернулся; он немного подождал.

В самом деле, Моррель удивился, что люди, которые его привезли, ничего с него не спросили и скрылись прежде, чем он успел им заплатить. Он услышал удары весел но воде: шлюпка возвращалась к яхте.

— Вы ищете своих матросов? — спросил граф.

— Да, они уехали, а ведь я не заплатил им.

— Не беспокойтесь об этом, Максимилиан, — сказал, смеясь, Монте-Кристо, — у меня с

моряками договор, по которому доставка на мой остров товаров и путешественников происходит бесплатно. У меня абонемент на доставку, как говорят в цивилизованных странах.

Моррель с удивлением посмотрел на графа.

— Вы здесь совсем другой, чем в Париже, — сказал он.

— Почему?

— Здесь вы смеетесь.

Чело Монте-Кристо сразу омрачилось.

— Вы правы, Максимилиан, я забылся, — сказал он, — встреча с вами — счастье для меня, и я забыл, что всякое счастье преходяще.

— Нет, нет, граф! — воскликнул Моррель, снова сжимая руки своего друга. — Напротив, смейтесь, будьте счастливы и докажите мне вашим равнодушием, что жизнь тяжела только для тех, кто страдает. Вы милосердны, вы добры, вы великодушны, и вы притворяетесь веселым, чтобы вселить в меня мужество.

— Вы ошибаетесь, Моррель, — сказал Монте-Крис-то, — я в самом деле чувствовал себя счастливым.

— Так вы забыли обо мне; тем лучше.

— Почему?

— Вы ведь знаете, мой друг, что я, как гладиатор,

приветствующий в цирке великого императора, говорю вам: "Идущий на смерть приветствует тебя".

— Так вы не утешились? — спросил Монте-Кристо, бросая на него загадочный взгляд.

— Неужели вы могли подумать, что это возможно? — с горечью сказал Моррель.

— Поймите меня, Максимилиан, — сказал граф. — Вы не считаете меня пошляком, бросающим слова на ветер?

Я имею право спрашивать, утешились ли вы, ибо для меня человеческое сердце не имеет тайн. Посмотрим же вместе, что скрыто в самой глубине вашего сердца. Терзает ли его по-прежнему нестерпимая боль, от которой содрогается тело, как содрогается лев, ужаленный москитом? Мучит ли по-прежнему та палящая жажда, которую может утолить только могила, то безутешное горе, которое выбрасывает человека из жизни и гонит его навстречу смерти? Быть может, в вашем сердце просто иссякло мужество, уныние погасило в нем последний луч надежды, и оно, утратив память, уже не в силах более плакать? Если так, дорогой мой друг, если у вас больше нет слез, если вам кажется, что ваше сердце умерло, если у вас нет иной опоры, кроме Бога, и ваш

взгляд обращен только к небу, тогда оставим слова, они бессильны выразить наши чувства. Тогда, Максимилиан, вы утешились, вам не на что больше сетовать.

— Граф, — отвечал Моррель кротко и в то же время твердо, — выслушайте меня как человека, который перстом указывает на землю, а глаза возводит к небу. Я пришел к вам, чтобы умереть в объятиях друга. Конечно, есть люди, которых я люблю: я люблю свою сестру, люблю ее мужа, Эмманюэля, но мне нужно, чтобы в последнюю минуту кто-то улыбнулся мне и раскрыл сильные объятия. Жюли разразилась бы слезами и упала бы в обморок, и я увидел бы ее страдания, а я уже довольно страдал; Эмманюэль стал бы отнимать у меня пистолет и поднял бы крик на весь дом. Вы же, граф, дали мне слово, и так как вы больше чем человек, — я считал бы вас божеством, если бы вы не были смертны, — вы проводите меня тихо и ласково к вратам вечности.

— Друг мой, — сказал граф, — у меня остается еще одно сомнение: может быть, вы так малодушны, что рисуетесь своим горем?

— Нет, граф, взгляните на меня: все просто, и во мне нет малодушия, — сказал Моррель, протягивая графу руку, — мой пульс не бьется ни чаще, ни

медленнее, чем всегда. Но я дошел до конца пути, дальше я не пойду. Вы называете себя мудрецом — и вы говорили мне, что надо ждать и надеяться, а вы знаете, к чему это привело? Я ждал целый месяц — это значит, что я целый месяц страдал! Человек — жалкое и несчастное создание: я надеялся сам не знаю на что, на что-то неизведанное, немыслимое, безрассудное! На чудо… но какое? Один Бог это знает, Бог, омрачивший наш разум безумием, которое зовется надеждой. Да, я ждал, да, я надеялся, и за те четверть часа, что мы беседуем, вы, сами того не зная, истерзали мне сердце, потому что каждое ваше слово доказывало мне, что для меня нет больше надежды. Как ласково, как нежно убаюкает меня смерть.

Моррель произнес последние слова с такой страстной силой, что граф вздрогнул.

— Граф, — продолжал Моррель, видя, что Монте-Кристо не отвечает. — Пятого сентября вы потребовали от меня месячной отсрочки. Я согласился… Друг мой, сегодня пятое октября.

Моррель посмотрел на часы.

— Сейчас девять часов; мне осталось жить еще три часа.

— Пусть так, — отвечал Монте-Кристо, — идем.

Моррель машинально последовал за графом и

даже не заметил, как они вошли в пещеру.

Он почувствовал под ногами ковер; открылась дверь, воздух наполнился благоуханием, яркий свет ослепил глаза.

Моррель остановился в нерешительности: он боялся этой расслабляющей роскоши.

Монте-Кристо дружески подтолкнул его к столу.

— Почему нам не провести оставшиеся три часа как древние римляне? — сказал он. — Приговоренные к смерти Нероном, своим повелителем и наследником, они возлежали за столом увенчанные цветами и вдыхали смерть вместе с благоуханием гелиотропов и роз.

Моррель улыбнулся.

— Как хотите, — сказал он, — смерть всегда смерть: забвение, покой, отсутствие жизни, а следовательно, и страданий.

Он сел за стол, Монте-Кристо сел напротив него.

Это была та самая сказочная столовая, которую мы уже однажды описали: мраморные статуи по-прежнему держали на головах корзины, полные цветов и плодов.

Войдя, Моррель рассеянно оглядел комнату и, вероятно, ничего не увидел.

— Я хочу задать вам вопрос как мужчина мужчине, — сказал он, пристально глядя на графа.

— Спрашивайте.

— Граф, — продолжал Моррель, — вы владеете всем человеческим знанием, и мне кажется, что вы явились из другого, высшего и более мудрого мира, чем наш.

— В ваших словах, Моррель, есть доля правды, — сказал граф с печальной улыбкой, которая его так красила, — я сошел с планеты, имя которой — страдание.

— Я верю каждому вашему слову, даже не пытаясь проникнуть в его скрытый смысл, граф. Вы сказали мне — живи, и я продолжал жить; вы сказали мне — надейся, и я почти надеялся. Теперь я решаюсь спросить вас, как если бы вы уже познали смерть: граф, это очень мучительно?

Монте-Кристо глядел на Морреля с отеческой нежностью.

— Да, — сказал он, — конечно, это очень мучительно, если вы грубо разрушаете смертную оболочку, которая упорно не хочет умирать. Если вы искромсаете свое тело неприметными для глаза зубьями кинжала, если вы глупой пулей, всегда готовой сбиться с пути, продырявите свой мозг, *столь чувствительный к малейшему*

прикосновению, то вы будете очень страдать и отвратительно расстанетесь с жизнью; в час предсмертных мук она вам покажется лучше, чем купленный такой ценою покой.

— Понимаю, — сказал Моррель, — смерть, как и жизнь, таит в себе и страдания и наслаждения; надо лишь знать ее тайны.

— Вы глубоко правы, Максимилиан. Смотря по тому, приветливо или враждебно мы встречаем ее, смерть для нас либо друг, который нежно убаюкивает нас, либо недруг, который грубо вырывает нашу душу из тела. Пройдут тысячелетия, и наступит день, когда человек овладеет всеми разрушительными силами природы и заставит их служить на благо человечеству, когда людям станут известны, как вы сейчас сказали, тайны смерти; тогда смерть будет столь же сладостной и отрадной, как сон в объятиях возлюбленной.

— И если бы вы пожелали, граф, вы сумели бы так умереть?

— Да.

Моррель протянул ему руку.

— Теперь я понимаю, — сказал он, — почему вы назначили мне свидание здесь, на этом одиноком острове, посреди океана, в этом подземном дворце, в этом склепе, которому позавидовал бы

фараон; потому что вы меня любите, граф, правда? Любите настолько, что хотите, чтобы я умер такой смертью, о которой вы сейчас говорили: смертью без мучений, смертью, которая позволила бы мне угаснуть, произнося имя Валентины и пожимая вам руку.

— Да, вы угадали, Моррель, — просто ответил граф, — этого я и хочу.

— Благодарю вас: мысль, что завтра я уже не буду страдать, сладостна моему истерзанному сердцу.

— Вы ни о чем не жалеете? — спросил Монте-Кристо.

— Нет! — отвечал Моррель.

— Даже и обо мне? — спросил граф с глубоким волнением.

Моррель молчал; его ясные глаза вдруг затуманились, потом непривычно блеснули; крупная слеза покатилась по его щеке.

— Как! — сказал граф. — Вам еще жаль чего-то на земле и вы хотите умереть?

— Умоляю вас, ни слова больше, граф, — сказал Моррель упавшим голосом, — довольно вам мучить меня.

Граф подумал, что Моррель слабеет.

И в душе его вновь ожило ужасное сомнение,

которое он уже однажды поборол в замке Иф.

"Я хочу вернуть этому человеку счастье, — сказал он себе, — я хочу бросить это счастье на чашу весов, чтобы она перетянула ту чашу, куда я нагромоздил зло. Что, если я ошибся, и этот человек не настолько несчастлив, чтобы заслужить счастье? Что станется тогда со мной? Ведь только вспоминая добро, я могу забыть о зле".

— Послушайте, Моррель, — сказал он, — ваше горе безмерно, я знаю, но вы веруете в Бога и не захотите погубить свою душу.

Моррель печально улыбнулся.

— Граф, — возразил он, — я не любитель красивых слов, но, клянусь вам, моя душа больше мне не принадлежит.

— Вы знаете, Моррель, что я один на свете, — сказал Монте-Кристо. — Я привык смотреть на вас как на сына, и чтобы спасти своего сына, я готов пожертвовать жизнью, а богатством и подавно.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, Моррель, что вы решили расстаться с жизнью, потому что вам незнакомы наслаждения, которые она сулит тому, кто очень богат. У меня около ста миллионов, я вам дарю их. С таким состоянием вы можете достигнуть всего,

чего только пожелаете. Если вы честолюбивы, перед вами открыты все поприща. Переверните мир, измените его лицо, предавайтесь любым безумствам, совершайте преступления, но живите!

— Вы дали мне слово, граф, — холодно отвечал Моррель и взглянул на свои часы, — уже половина двенадцатого.

— Моррель! Подумайте! У меня на глазах, в моем доме!

— Тогда отпустите меня, — мрачно сказал Максимилиан, — не то я подумаю, что вы меня любите не ради меня, а ради себя.

И он поднялся.

— Хорошо, — сказал Монте-Кристо, и лицо его просветлело, — я вижу, ваше решение непреклонно. Да, вы глубоко несчастны, и, как вы сами сказали, исцелить вас могло бы только чудо. Садитесь же, Моррель, и ждите.

Моррель повиновался: тогда Монте-Кристо встал, подошел к запертому шкафу, ключ от которого он носил при себе на золотой цепочке, и достал оттуда серебряный ларчик искусной чеканки, по углам которого были изваяны четыре стройные женские фигуры, изогнутые в горестном порыве, словно ангелы, тоскующие о небе.

Он поставил ларчик на стол.

Затем, открыв его, он вынул золотую коробочку, крышка которой откидывалась при нажиме на скрытую пружину.

Коробочка была наполнена тестообразным маслянистым веществом; отблеск золота и драгоценных камней, украшавших коробочку, мешал разглядеть его цвет.

Оно отливало лазурью, пурпуром и золотом.

Граф зачерпнул золоченой ложечкой немного этого вещества и протянул Моррелю, устремив на него испытующий взгляд.

Теперь стало видно, что вещество это зеленоватого цвета.

— Вот, что вы просили у меня, — сказал он. — Вот что я вам обещал.

— Прежде чем умереть, — сказал Максимилиан, беря ложечку из рук Монте-Кристо, — я хочу поблагодарить вас от всего сердца.

Граф взял другую ложку и второй раз зачерпнул из золотой коробочки.

— Что вы делаете, друг? — спросил Моррель, хватая его за руку.

— Да простит меня Бог, Моррель, — улыбаясь, ответил граф, — но, право, жизнь надоела мне не меньше, чем вам, и раз уж мне представляется

такой случай…

— Остановитесь! — воскликнул Максимилиан. — Вы любите, вы любимы, вы не утратили надежды — не делайте этого! С вашей стороны это было бы преступлением! Прощайте, мой благородный, великодушный друг; я расскажу Валентине обо всем, что вы для меня сделали.

И медленно, но без колебаний, только сжимая левой рукой руку графа, Моррель с наслаждением проглотил таинственное вещество.

Оба замолчали. Али, безмолвный и внимательный, принес табак, кальяны, подал кофе и удалился.

Мало-помалу потускнели лампы в руках мраморных статуй, и Моррелю стало казаться, что аромат курений ослабевает.

Монте-Кристо, сидя напротив, смотрел на него из полумрака, и Моррель различал только его блестящие глаза.

Бесконечная слабость охватила Максимилиана, кальян выпал у него из рук; предметы теряли очертания и цвет; его затуманенному взору казалось, будто в стене напротив раскрываются какие-то двери и завесы.

— Друг, — сказал он, — я чувствую, что умираю; благодарю.

Он сделал усилие, чтобы в последний раз протянуть графу руку, но рука бессильно повисла.

Тогда ему почудилось, что Монте-Кристо улыбается, но не той странной, пугающей улыбкой, которая порой приоткрывала ему тайны этой бездонной души, а с тем ласковым сочувствием, с каким отцы смотрят на безрассудства своих малых детей.

В то же время граф словно вырос; он казался почти великаном на фоне красной обивки стен; его черные волосы были откинуты назад, и он стоял, гордый и грозный, подобно ангелу, который встретит грешников в день Страшного суда.

Моррель, ослабевший, сраженный, откинулся в кресле; сладостная истома разлилась по его жилам. Все преобразилось в его сознании, как меняются пестрые узоры в калейдоскопе.

Полулежа, обессиленный, задыхающийся, Моррель уже не чувствовал в себе ничего живого, кроме единственной грезы: ему казалось, что он несется на всех парусах к тому смутному бреду, которым начинается иная неизвестность, именуемая смертью.

Он снова попытался протянуть руку графу, но на этот раз рука даже не пошевельнулась; он хотел сказать последнее "прости", но отяжелевший

язык был недвижим, словно камень, замыкающий гробницу.

Его утомленные глаза невольно закрылись, но сквозь сомкнутые веки ему мерещился неясный образ, и он его узнал, несмотря на темноту.

Это был граф; он подошел к одной из дверей и открыл ее.

И в ту же минуту ослепительный свет, сиявший в соседней комнате, или, вернее, в сказочном замке, озарил залу, где Моррель предавался своей сладостной агонии.

На пороге, разделявшем эти две залы, появилась женщина дивной красоты.

Бледная, с нежной улыбкой, она казалась ангелом милосердия, заклинающим ангела мщения.

"Может быть, небо мне уже открывается? — подумал Максимилиан, приподымая веки. — Этот ангел похож на того, которого я потерял".

Монте-Кристо указал женщине на кресло, где лежал Моррель. Она приблизилась к нему, сложив руки, с улыбкой в устах.

— Валентина! — крикнул Моррель из глубины души.

Но с его губ не слетело ни звука, и, словно вложив все свои силы в этот немой крик, он глубоко вздохнул и закрыл глаза.

Валентина бросилась к нему.

Губы Моррель еще раз шевельнулись.

— Он вас зовет, — сказал граф. — Вас зовет из глубины своего сна тот, кому вы вверили свою судьбу и с кем смерть едва не разлучила вас. Но, к счастью, я был на страже, и я победил смерть! Валентина, отныне ничто на земле не должно вас разлучить, ибо, чтобы соединиться с вами, он бросился в могилу. Не будь меня, вы бы умерли оба; я возвращаю вас друг другу; да зачтет мне Господь эти две жизни, которые я спас!

Валентина схватила руку Монте-Кристо и в порыве безмерной радости поднесла ее к губам.

— Да, благодарите меня! — сказал граф. — Неустанно повторяйте мне, что я дал вам счастье! Вы не знаете* как мне нужна эта уверенность!

— Да, да я благодарна вам от всей души, — сказала Валентина, — если вы не верите в мою искренность, спросите Гайде. Пусть моя возлюбленная сестра Гайде скажет вам, что с тех пор, как мы покинули Францию, только ее рассказы о вас помогали мне терпеливо ждать счастливого часа, который ныне засиял для меня.

— Так вы любите Гайде? — спросил Монте-Кристо с волнением, которое он тщетно пытался скрыть.

— Да! Всей душой!

— Слушайте, Валентина, — сказал граф, — я буду просить вас об одной милости.

— Меня, Боже правый! Неужели я буду так счастлива?..

— Да. Вы назвали Гайде вашей сестрой; пусть она в самом деле станет вашей сестрой, Валентина; воздайте ей за все, чем вы считаете себя обязанной мне; берегите ее и вы, и Моррель, ибо (голос графа стал едва слышен) отныне она одна на свете…

— Одна на свете! — повторил голос позади графа. — Почему?

Монте-Кристо обернулся.

Перед ним стояла Гайде, бледная, похолодевшая, и смотрела на него со смертельным испугом.

— Потому что с завтрашнего дня, дочь моя, ты будешь свободна, — отвечал граф, — и займешь то положение, которое тебе подобает; потому что я не хочу, чтобы моя судьба омрачала твою. Дочь великого паши, я возвращаю тебе богатства и имя твоего отца.

Гайде побледнела, подняла свои прозрачные руки, подобно деве, вручающей себя Богу, и спросила голосом, глухим от слез:

— Так ты покидаешь меня, господин мой?

— Ты молода, Гайде, ты прекрасна; забудь самое имя мое и будь счастлива.

— Хорошо, — сказала Гайде, — твои приказания будут исполнены, господин мой: я забуду твое имя и буду счастлива.

И она отступила к двери.

— Боже мой! — вскричала Валентина, поддерживая отяжелевшую голову Морреля, — разве вы не видите, как она бледна, не понимаете, как она страдает?.

Гайде сказала душераздирающим голосом:

— Зачем ему понимать меня, сестра? Он господин, а я невольница, он вправе ничего не замечать.

Граф содрогнулся при звуке этого голоса, который коснулся самых тайных струн его сердца; его глаза встретились с глазами Гайде и не выдержали их огня.

— Боже мой! — сказал Монте-Кристо. — Неужели то, что ты позволил мне заподозрить, правда? Так ты не хотела бы расстаться со мной, Гайде?

— Я молода, — кратко ответила она, — я люблю жизнь, которую ты сделал для меня такой сладостной, и мне жаль было бы умереть.

— А если я тебя покину, Гайде…

— Я умру, господин мой!

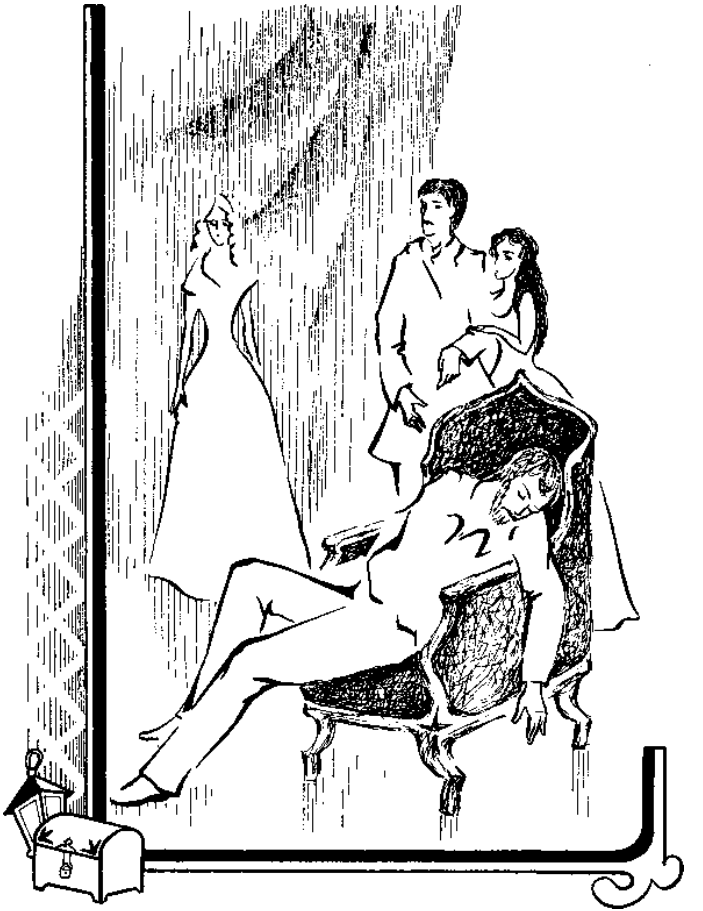
— Так ты любишь меня?

— Он спрашивает, люблю ли я его! Валентина, скажи ему, любишь ли ты Максимилиана!

Граф почувствовал, что его сердцу становится тесно в груди; он протянул руки, и Гайде, вскрикнув, бросилась ему в объятия.

— Да, я люблю тебя! Я люблю тебя, как любят отца, брата, мужа! Я люблю тебя, как жизнь. Я люблю тебя, как Бога, потому что ты для меня самый прекрасный, самый лучший, самый великий из людей!

— Пусть твое желание исполнится, мой ангел, — сказал граф. — Богу, который воскресил меня и дал мне победу над моими врагами, не угодно, чтобы моя победа завершилась раскаянием. Я хотел покарать себя, а Бог хочет меня простить. Так люби же меня, Гайде! Кто знает? Быть может, твоя любовь поможет мне забыть то, что я должен забыть.



— О чем ты говоришь, господин? — спросила девушка.

— Я говорю, Гайде, что одно твое слово научило меня большему, чем вся моя мудрость, накопленная за двадцать лет. У меня на свете осталась только ты, Гайде, ты одна привязываешь меня к жизни, ты одна можешь дать мне страдание, ты одна можешь дать мне счастье!

— Слышишь, Валентина? — воскликнула Гайде. — Он говорит, что я могу дать ему страдание, когда я готова жизнь отдать за него!

Граф глубоко задумался.

— Неужели я провижу истину? — сказал он наконец. — О Боже, будь то награда или возмездие, я принимаю свою судьбу. Идем, Гайде, идем…

И, обняв гибкий стан девушки, он пожал Валентине руку и удалился.

Прошло около часа. Валентина, безмолвно, едва дыша, с остановившимся взглядом, все так же сидела подле Морреля. Наконец она почувствовала, что сердце его забилось, еле уловимый вздох вылетел из полураскрытых губ, и легкая дрожь, предвестница возврата к жизни, пробежала по всему его телу.

Наконец глаза его открылись, но взгляд его был неподвижен и невидящ; потому к нему вернулось

зрение, ясное, отчетливое, вместе со зрением вернулось и сознание, а вместе с сознанием — скорбь.

— Я все еще жив! — воскликнул он с отчаянием. — Граф обманул меня!

И он порывисто схватил со стола нож.

— Друг, — сказала Валентина со свей пленительной улыбкой, — очнись и взгляни на меня.

Моррель громко вскрикнул и, лепеча бессвязные слова, не веря себе, словно ослепленный небесным видением, упал на колени…

На другой день, в первых лучах рассвета, Моррель и Валентина, найдя дверь пещеры открытой, вышли на воздух. Они гуляли под руку по берегу моря, и Валентина рассказывала Моррелю, как Монте-Кристо появился в ее комнате, как он ей все открыл, как он дал ей воочию убедиться в преступлении и, наконец, как он чудом спас ее от смерти, между тем как все считали ее умершей.

В утренней лазури неба еще мерцали последние звезды.

Вдруг Моррель заметил в тени скал человека, который словно ждал знака, чтобы подойти; он указал на него Валентине.

— Это Джакопо, — сказала она, — капитан яхты.

И она сделала ему знак подойти.

— Вы хотите нам что-то сказать? — спросил Моррель.

— Я должен передать вам письмо от графа.

— От графа! — повторили они в один голос.

— Да, прочтите.

Моррель вскрыл письмо и прочел:

"Дорогой Максимилиан!

У берега Вас ждет фелука. Джакопо доставит Вас в Ливорно, где господин Нуартье поджидает свою внучку, чтобы благословить ее перед тем, как она пойдет с Вами к алтарю. Все, что находится в этой пещере, мой дом на Елисейских полях и моя вилла в Трепоре — свадебный подарок Эдмона Дантеса сыну его хозяина, Морреля. Надеюсь, мадемуазель де Вильфор не откажется принять половину этого подарка, ибо я умоляю ее отдать парижским беднякам состояние, которое она наследует после отца, сошедшего с ума, и после брата, скончавшегося вместе с ее мачехой в сентябре этого года.

Попросите ангела, охраняющего отныне Вашу жизнь, Моррель, не забывать в своих молитвах человека, который, подобно Сатане, возомнил себя равным Богу и который понял со всем смирением христианина, что только в руке Божьей

высшее могущество и высшая мудрость. Быть может, эти молитвы смягчат раскаяние, которое я уношу в своем сердце.

Вам, Моррель, я хочу открыть тайну искуса, которому я Вас подверг: в этом мире нет ни счастья, ни несчастья, то и другое постигается лишь в сравнении. Только тот, кто был беспредельно несчастлив, способен испытать беспредельное блаженство. Надо возжаждать смерти, Максимилиан, чтобы понять, как хороша жизнь.

Живите же и будьте счастливы, мои нежно любимые дети, и никогда не забывайте, что, пока не настанет день, когда Господь отдернет пред человеком завесу будущего, вся человеческая мудрость будет заключена в двух словах: "ждать и надеяться".

Ваш друг Эдмон Дантес,

граф де Монте-Кристо".

Слушая это письмо, сообщавшее ей о безумии отца и о смерти брага, о чем она узнавала впервые, Валентина побледнела, горестный вздох вырвался из ее груди, и молчаливые, но жгучие слезы заструились по ее лицу: счастье досталось ей дорогой ценой.

Моррель с беспокойством посмотрел кругом.

— Право, граф слишком далеко заходит в своей

щедрости, — сказал он. — Валентина вполне удовольствуется моим скромным состоянием. Где граф? Проводите меня к нему, мой друг.

Джакопо показал рукой на горизонт.

— Что вы хотите сказать? — спросила Валентина. — Где граф? Где Гайде?

— Взгляните, — сказал Джакопо.

Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк, и вдали, на темно-синей черте, отделявшей небо от моря, они увидали белый парус, не больше крыла морской чайки.

— Уехал! — воскликнул Моррель. — Прощай, мой друг, мой отец!

— Уехала! — прошептала Валентина. — Прощай, Гайде! Прощай, сестра!

— Кто знает, увидимся ли мы еще когда-нибудь! — сказал Моррель, отирая слезу.

— Друг мой, — отвечала Валентина, — разве не сказал нам граф, что вся человеческая мудрость заключена в двух словах: "ждать и надеяться"?

КОНЕЦ ИСТОРИИ ГРАФА ДЕ МОНТЕ-КРИСТО

КОММЕНТАРИИ

29 *Телеграф* — имеется в виду оптический телеграф (семафор); изобретен в и введен в

широкое употребление во Франции в конце XVIII в., применялся до середины XIX в. Передача сообщений достигалась при помощи подвижных планок, которые могли принимать 196 различных положений, изображая столько же отдельных знаков, букв и слов; наблюдение велось с другой станции с помощью подзорных труб. Передача сообщений при помощи семафора велась довольно быстро, но затруднялась погодными условиями и была невозможна ночью.

30 *Обсерватория* — имеется в виду парижская астрономическая Обсерватория, построенная невдалеке от Люксембургского сада во второй половине XVII в.

Дюшатель, Шарль (1803–1867) — французский государственный деятель; в 1839–1848 гг. министр внутренних дел.

Монталиве, Март Камилль Баишссон, граф де (1801–1885) — французский государственный деятель; во время Июльской монархии несколько раз занимал различные министерские посты.

Префект — во Франции высший правительственный чиновник, глава администрации департамента или иной крупной территори-

альной единицы.

31 *Букс* (или самшит) — вечнозеленый декоративный кустарник.

***Рубенс, Питер Пауэл* (1577–1640) — знаменитый фламандский художник; его картины отличались богатством красок и красотой образов.**

***Флора* — древнеиталийская богиня цветов, юности и удовольствий. 33 *Соня* — млекопитающее из отряда грызунов.**

***Петроний, Гай* (ум. в 66 г.) — древнеримский писатель; при дворе императора Нерона получил прозвище "арбитра изящества".**

39 "Вестник"("Message!*") — французская ежедневная газета, выходила в Париже с 1834 г.; в период Июльской монархии — правительственный орган.

***"Монитёр"* ("Le Moniteur universel" — "Всеобщий вестник") — французская ежедневная газета, выходившая в Париже в 1789–1901 гг.; с 1799 г. по 1869 г. была официальным правительственным органом.**

40 *Антен, Луи Антуан, маркиз &* (1665–1736) — придворный французского короля Людовика XIV.

45 *Померанцевое дерево* (бигарадия) — горь-

кий апельсин, вечнозеленое растение, цветы и листья которого содержат эфирные масла.

Хоббема, Мейндерт **(1638–1709) — голландский художник-пейзажист.**

Поттер, Паулюс **(1625–1654) — голландский художник; известен реалистическим изображением охот, ферм, пастбищ.**

Мирис, Франс ван **(1635–1681) — голландский художник-жанрист; писал небольшие красочные картины со сценами жизни богатых горожан.**

Доу, Герард **(или Геррит; 1613–1675) — голландский художник, жанрист и портретист; учитель Мириса.**

Ван Дейк, Антонис **(1599–1641) — фламандский художник; работал также в Англии и Италии; мастер портрета.**

Сурбаран, Франсиско **(1598–1664) — испанский художник; автор портретов и картин на религиозные и мифологические темы.**

Мурильо, Бартоломе Эстеван **(1617/1618-1682) — испанский художник; писал картины главным образом на религиозные темы, вводя в них жанровые мотивы.**

…предлагали Музею. **— Имеется в виду художественный Музей Лувра, один из вели-**

чайших в мире, основанный в 1793 г., когда Французская революция национализировала королевские коллекции; размещается в старинном дворцовом комплексе, в XVI–XVII вв. резиденции французских королей.

47 *...жестом, каким Макбет указывает на Банко.* — Макбет, Банко — герои трагедии Шекспира "Макбет". Здесь имеется в виду сцена из трагедии, в которой призрак Банко, убитого по приказанию Макбета, является к нему на пир, приведя в ужас убийцу.

48... *подобно Вателю в Шантийи.* — Ватель — метрдотель французского полководца принца Луи Конде. В 1671 г. в замке Конде Шантийи близ Парижа Ватель заколол себя шпагой, увидев, что не доставили свежей рыбы, заказанной для приглашенного туда Людовика XIV. И как раз в этот момент рыба была получена.

49 *...все вина Архипелага...* — Архипелаг (или Греческий архипелаг) — острова Эгейского моря, протянувшиеся от Балканского полуострова до Малой Азии. Многие из этих островов с древности славились производством вина.

Апиций — по-видимому, знаменитый древнеримский гастроном Марк Габий Апиций (I в. н. э.), обогативший кулинарное искусство

многими изобретениями; имя его стало нарицательным.

…подобно Клеопатре, глотать жемчужины… **— Согласно одной из легенд, египетская царица Клеопатра на пиру, чтобы поразить своих гостей, растворила в чаше с уксусом драгоценную жемчужину и затем выпила этот напиток.**

Лоренцо Медичи **(по прозванию Великолепный; 1449–1492) — правитель Флоренции в 1469–1492 гг., поэт; во время его правления Флоренция стала наиболее влиятельным городом-государством Италии и центром культуры Возрождения.**

51 ***…Плиний сообщает…*** **— По-видимому, имеется в виду древнеримский ученый и писатель Гай Плиний Секунд Старший (23/24-79 н. э.), автор труда "Естественная история" в 37 книгах, свода научных знаний того времени.**

53 ***Ганж, Мари Элизабет де Россан, маркиза де*** **(1637–1667) — любовница Людовика XIV; была убита, по-видимому, с согласия мужа, его братьями, шевалье и аббатом де Ганж. Таинственная и драматическая история маркизы стала сюжетом многих литературных произведений; маркизе де Ганж посвящена одна из**

книг соорника Дюма "История знаменитых преступлений".

Дездемона — героиня трагедии Шекспира "Отелло"; была убита мужем, подозревавшим ее в неверности.

54 *...в Пизе имеется башня Уголино, в Ферраре — темница Тассо, а в Римини — комната Франчески и Паоло.* — Об Уголино см. примеч. к с. 127 предыдущего тома.

Тассо, Торквато (1544–1595) — итальянский поэт эпохи Возрождения; в 1579–1786 гг. был заключен в Ферраре в больницу для умалишенных.

Далее имеется в виду известный эпизод из хроник средневековой Италии, приобретший широкую известность после описания и оригинального осмысления его Данте в поэме "Ад": Франческа (род. ок. 1260 г.), жена Джанчотто Малатеста из Римини, влюбилась в младшего брата своего мужа Паоло (род. в 1250 г.). Любовники были застигнуты и убиты Джанчотто. История Франчески и Паоло стала сюжетом многих литературных, музыкальных и живописных произведений.

55 *Люцина* — богиня рождения, покровительница родов; одно из древнеримских прозвищ

Юноны (древнегреческой Геры), жены верховного бога Юпитера (Зевса), богини семьи и брака в античной мифологии, наставницы женщин.

60 ***Тильбюри*** **— открытая двухколесная коляска, в которую запрягают одну лошадь.**

67 ***Клакёр*** **— человек, входящий в клаку — группу, нанятую для создания своими действиями в зрительном зале успеха или провала спектакля, артиста.**

69 ***…на сцене театра улицы Ришелье…*** **— то есть театра Французской комедии.**

72 ***…Матфан в "Гофолии".*** **— Матфан, иудейский священник-вероотступник, ставший жрецом финикийского бога Ваала, и Гофолия, правительница в IX в. до н. э. Иудейского царства, пытавшаяся заменить иудаизм финикийским культом, — герои трагедии французского драматурга Жана Расина (1639–1699), написанной на сюжет из истории древних евреев. С проклятьями изгнанный из иудейского храма, разъяренный Матфан не может найти из него выход (действие III, явление 5).**

Демутье деМеранвиль, Рене **(1742–1829) — французский церковник и политический деятель, епископ в ряде городов Франции.**

73 ***…отложенным до греческих календ.*** **— То есть очень надолго, навсегда. Выражение, ставшее популярным благодаря римскому императору Августу, который часто повторял его, говоря о людях, не платящих своих долгов. Ирония здесь заключается в том, что календы — это название первого дня месяца у древних римлян. У древних же греков календ не было.**

74 ***…Карл Пятый перешел Бидасоа.*** **— Карлом V называл себя претендент на испанский престол Дон Карлос.**

Бидасоа — небольшая река в Северной Испании близ французской границы.

82 ***…море ушло от берегов, как во времена фараона…*** **— Речь идет об одном из эпизодов библейского рассказа об исходе древних евреев из Египта. Когда египетский царь (фараон) настиг со своим войском евреев на берегу моря, Бог послал ветер, который "сделал море сушей; и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше…" — Книга Исход, глава 14.**

Гарпагон **— скупец, герой комедии Мольера "Скупой".**

83 ***Подеста*** **— высшее административное лицо в средневековых городах-республиках**

Италии.

Кондотьер **— предводитель отряда наемников средневековой Италии.**

Флорин **— золотая монета крупного достоинства; чеканилась во Флоренции с середины XIII в. и имела хождение в других европейских странах. Название монеты происходит от латинского слова flos — цветок, так как на ней был помещен геральдический знак Флоренции — лилия.**

…времен Республики… **— Имеется в виду республиканское устройство Флоренции в средние века.**

84 ***Эльдорадо*** **(исп. el dorado — золотая страна) — сказочная страна, изобилующая золотом и драгоценными камнями, которую тщетно искали в Америке испанские колонизаторы.**

Потоси **— богатая серебром область в Южной Америке на территории современной Боливии.**

…они, как Юпитер, любят смешивать?юроды. **— Намек на известные из античной мифологии многочисленные любовные похождения верховного бога Юпитера (Зевса) со смертными женщинами.**

87 ***Фиакр*** **— наемный экипаж; свое название**

получил от особняка Сен-Фиакр в Париже, где в 1640 г. была открыта первая контора по найму карет.

Зал потерянных шагов **— огромный зал во Дворце правосудия, в котором посетители прогуливаются в ожидании заседаний суда.**

88 ***…вы, с вашими пуританскими взглядами…*** **— Пуритане (от лат. purus — чистый) — участники религиозно-политического движения в Англии и Шотландии в XVI–XVII вв., одного из направлений протестантизма; боролись против королевского абсолютизма; проповедовали "мирской аскетизм"; выступали против роскоши. В переносном смысле пуританин — человек строгих нравов.**

89 ***…притчу о…прелюбодейной жене.*** **— Речь идет об эпизоде из Евангелия от Иоанна о прощении Иисусом женщины, уличенной в прелюбодеянии (глава 8). На предложение казнить ее Христос ответил: "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень". После этих слов все обвинители удалились и оставили грешницу в покое.**

101 ***Королева Мэб*** **— в кельтской мифологии королева фей и духов приро ды — эльфов. Здесь, однако, скорее имеется в виду не оригиналь-**

ный мифологический образ Мэб, а ее описание в трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта".

Титания **— здесь: царица фей, героиня комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь".**

104 ***Сен-Жермен, граф*** **(он же Аймар, он же маркиз де Бетмер; кон. XVII в.-1784/1795), — авантюрист, алхимик и шарлатан, подвизавшийся в ряде европейских стран; по рождению, по-видимому, португалец.**

Агессо, Анри Франсуа & **(1668–1751) — французский юрист, государственный и судебный деятель, известный оратор; первый президент парижского парламента (1700–1717); канцлер, глава судебного ведомства (1717–1718 и 1730–1750); был известен своей неподкупностью и преданностью общественным интересам.**

108 ***Префект полиции*** **— начальник полиции Парижа.**

110 ***Лютеранин*** **— человек, принадлежащий к крупнейшему направлению протестантизма — лютеранству, основанному М.Лютером (1483–1546) в XVI в. в Германии.**

Орден Христа **— один из высших папских орденов; название и происхождение этой награды связано с итальянской ветвью духовно-рыцарского ордена Христа, возникшего на**

основе упраздненного в XIV в. ордена Тамплиеров (Храмовников), известного с XII в.

Квакеры **(англ, quakers, буквально — трясущиеся; самоназвание — Общество друзей) — члены христианской религиозной секты,**

основанной в XVII в. в Англии. Квакеры отвергали институт священников и религиозные обряды, проповедовали пацифизм, много занимались благотворительностью.

112 ***Велизарий*** **(точнее Велисарит; 505–565) — византийский полководец; своей популярностью вызвал подозрительность императора Юстиниана, попал в опалу и был лишен богатства.**

Казимир **— шерстяная ткань, легкое сукно или полусукно с косой ниткой.**

113 ***Блокшив*** **— старый корабль, с которого снято вооружение и оборудование; используется в качестве склада, плавучей казармы или тюрьмы.**

…после Наварина… **— В сражении в Наваринской бухте в Южной Греции в 1827 г. русско-англо-французская эскадра уничтожила турецко-египетсткий флот; главную роль в битве сыграли русские военные корабли. Это сражение способствовало победе греков**

в национально-освободительной революции 1821–1829 гг. против турецкого владычества.

Оттон I (1815–1867) — принц Баварский, в 1832–1862 гг. король Греции; возведен на престол с согласия европейских держав; низложен в результате буржуазной революции 1862 г.

114 *...воды Баньер-де-Дюиюн и Котре...* — курорты на юге Франции, в Пиренеях; известны целебными источниками, преимущественно серными.

117 *Эльслер, Фанни* (настоящее имя Франциска; 1810–1884) — австрийская танцовщица, одна из выдающихся балерин эпохи романтизма; в 1834–1840 гг. танцевала в парижской Опере.

"Хромой бес" — балет французского композитора, автора опер и балетов Казимира Жида (1804–1868) на сюжет одноименного романа французского писателя Алена Рене Лесажа (1668–1747).

Качуча — испанский (точнее — андалусский) танец, исполняемый в среднем ритме; в 30-х гг. XIX в. стал популярным на балетной сцене, особенно после исполнения его Эльслер в балете "Хромой бес".

120 *Институт* — имеется в виду Институт Франции, основное научное учреждение

страны; создан в 1795 г.; объединяет пять отраслевых академий.

Республика — имеется в виду Первая французская республика, провозглашенная в годы буржуазной революции и существовавшая в 1792–1804 гг.

Давид, Жан Луи (1748–1825) — знаменитый французский художник; известен своими картинами на темы Великой Французской революции, активным участником которой он был; во времена Империи — придворный живописец Наполеона I.

Марена (марена красильная, или крапп) — многолетнее травянистое растение, из корней которой получают устойчивую красную краску крапп.

Академия наук — точнее французская Академия естественных наук; основана в 1666 г.; в XVIII в. и позже часто называлась Парижской академией наук; входит в состав Института Франции.

Французская академия — см. примеч. к с. 439 предыдущего тома; входит в состав Института Франции.

121 *"Век"* ("Le Siecle") — французская ежедневная газета; выходила в Париже с 1836 г.; в

30-х — 40-х гг. XIX в. выступала за умеренные конституционные реформы.

123 *"Отправляясь в Сирию"* ("Partent pour la Syrie") — французский

:o::y военный марш, прославляющий Наполеона; написан его падчерицей Гортензией Богарне (1783–1837) в1810, а не в 1809 г., как у Дюма, на слова стихотворения графа Алексиса де Лаборда и посвящен наполеоновской экспедиции в Египет в 1798–1801 гг.

130... *Иногда, как говорит Гамлет, из-под земли поднимается гул того, что было в ней глубоко погребено...* — Гамлет — главный герой трагедии Шекспира "Гамлет". Здесь Дюма излагает содержание монолога Гамлета из четвертой сцены первого акта трагедии.

141... *Гулкие шаги Командора привели Дон Жуана не в больший ужас, чем эти — меня.* — Дон Жуан (правильно Дон Хуан) — герой испанской средневековой легенды о распутнике, вольнодумце и обольстителе, увлеченном в ад статуей убитого им Командора, защищавшего честь дочери. В основу легенды легли похождения реального лица, испанского рыцаря XIV в. дона Хуана Тенорио, убитого мо-

нахами, которые затем распространили слух о его низвержении в преисподнюю. Легенда о Дон Жуане в различных ее трактовках стала сюжетом большого числа произведений литературы, музыки и изобразительного искусства. Однако Дюма, описывая гибель Дон Жуана, не совсем точен: в легенде тот не только не испугался статуи, но храбро пошел ей навстречу.

148 *…в рульской церкви святого Филиппа…* — Церковь при богадельне чеканщиков монеты в старинном предместье Парижа Руль, уже в начале XIX в. включенном в центральную часть города. Этот храм, существующий поныне, был построен в конце XVIII в. в честь церковного деятеля и просветителя Филиппа де Нери (1515–1595), причисленного к лику святых.

159 *…лицо Магдалины Корреджо…* — Мария Магдалина — одна из самых почитаемых христианских святых, ученица Иисуса; присутствовала при его воскресении, приняв его сначала за садовника.

Корреджо (настоящая фамилия Аллегри), Антонио (ок. 1489–1534) — итальянский художник, представитель Высокого Возрождения, автор картин на религиозные и мифологические сюжеты. Здесь, по-видимому, имеется в

виду картина "Христос, являющийся Марии Магдалине в виде садовника".

168 *Кладбище Пер-Лашез* — одно из самых больших и известных кладбищ Парижа; открыто в 1804 г.; названо по имени духовника Людовика XIV отца Лашеза (pere La Chaise), который подолгу жил в расположенном в XVII–XVIII вв. на этом месте доме призрения иезуитов. По другим сведениям, Лашез владел находившимся здесь виноградником.

169 *Конвент* (полное название: Национальный конвент) — высший законодательный и исполнительный орган Первой французской республики; действовал с сентября 1792 г. по октябрь 1795 г. В 1793 г. Конвентом руководили наиболее решительно настроенные революционеры.

...сказал о тысяча восемьсот четырнадцатом году Наполеону. — То есть в критический момент войны с антинаполеоновской коалицией европейских держав. Франция к этому времени была совершенно истощена, военные действия велись на ее территории, почти все завоевания Республики и Наполеона были потеряны.

171 *Пирон, Алексис* (1689–1773) — француз-

ский поэт и драматург.

181 ***Фуляр*** **— шейный или носовой платок из шелковой ткани особой мягкости.**

190 ***…они ударились о панцирь Минервы, панцирь, который, по утверждению некоторых философов, порою облекает грудь Сапфо.*** **— Минерва (древнегреческая Афина Паллада) — в античной мифологии богиня-девственница, покровительница героев, наук и мудрости. Сапфо (VII–VI вв. до н. э.) — древнегреческая лирическая поэтесса;**

стояла во главе кружка знатных девушек, которых обучала музыке, стихосложению и танцам; воспевание этого содружества — основная тема ее поэзии. Сравнивая Эжени с Минервой и Сапфо, Дюма намекает на ее отвращение к супружеству и предпочтение ему общества женщин.

192 ***"Кремонская скрипка"*** **— фантастический рассказ Э.Т.А.Гофмана.** ***Гинекей*** **— женская половина в древнегреческом доме.**

193 ***…как говорит Клавдий Гамлету, это закон природы: отцы умерли раньше их…*** **— Клавдий, король Дании, захвативший престол после убийства брата — одно из главных действующих лиц трагедии "Гамлет". Здесь**

имеется в виду монолог Клавдия из второй сцены первого акта трагедии.

195 *Тальберг, Зигизмунд* (1812–1871) — знаменитый австрийский пианист. В 1837 г. накануне времени действия романа в Париже состоялось состязание Тальберга с венгерским пианистом и композитором ф. Листом.

200 *Карл IX* (1550–1574) — король Франции з 1560–1574 гг.; герой романа Дюма "Королева Марго".

***Екатерина Медичи* (1519–1589) — французская королева с 1547 г., мать Карла IX; в значительной степени определяла государственную политику во время его царствования; была среди организаторов Варфоломеевской ночи; героиня романов Дюма "Королева Марго", "Графиня де Монсоро" и "Сорок пять".**

***Варфоломеевская ночь* — массовая резня французских протестантов (гугенотов), организованная французским правительством и католической партией в ночь на 24 августа 1572 г. (день святого Варфоломея); описана Дюма в романе "Королева Марго".**

201 *...мистерии Исиды..* — Исида — в древнеегипетской мифологии богиня плодородия, воды, ветра и мореплавания; символ женствен-

ности и семейной верности. Нод мистериями Исиды Дюма имеет в виду так называемые мистерии Осириса, мужа Исиды, воспроизведение в Древнем Египте сцен поисков богиней тела супруга, убитого врагами, его погребения и воскрешения. Мистерии Осириса справлялись весной и символизировали весеннее пробуждение природы.

202 ***...Неужели не только в поэмах лорда Байрона есть женщины, которых зовут Гайде?*** **— Гайде — героиня поэмы Байрона "Дон Жуан", возлюбленная героя, невинная девушка-гречанка, умершая от печали после его измены.**

203 ***Дионисий Младший*** **(родился около 395 г. до н. э.) — правитель города Сиракуз в Сицилии в 367–344 гг. до н. э.; у[т]еряв свою власть, удалился а Коринф, где добывал средства к существованию, обучая юношей.**

205 ***Плато::*** **и?о/477-348/347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, основатель фгиюссфсгпй школы Академии в Афинах; разработал учение об идеальном государстве и схему ступеней бггия.**

208 ***"...Благотворящий бедному дает взаймы Господу..."*** **— Полный текст: "Благотворящий**

бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его" (изречение 17 из главы 19 библейской Книги Притчей Соломоновых).

210 *Пифия* — жрица-прорицательница в древнегреческом храме бога Аполлона в Дельфах. Одурманенная ядовитыми испарениями из расщелины в земле выше храма, пифия выкрикивала бессвязные слова, которые потом истолковывались жрецами.

211 *Паликары* — греческие или албанские наемники в турецкой армии или в войсках пашей-губернаторов; были одеты в национальный албанский костюм и вооружены длинными турецкими ружьями.

***"Они ненавидят меня, значит, боятся"* — точнее: "Пусть ненавидят — лишь бы боялись" (выражение из трагедии "Атрей" древнеримского писателя Акция; 170–104 до н. э.). Эти слова любил повторять римский император Калигула.**

***Сераскер* — тигул главнокомандующего в султанской Турции, в XIX в. — военною министра.**

213 *Фирман* — в султанской Турции указ султана за *сто* подписью и печатью, скрепленный подписью великого везира (главы правительства).

215 ***…похожим на Диониса древнего Крита.*** **— Дионис — бог растительности, вина и виноделия в Древней Греции, Одним из ею атрибутов был особый жезл — тирс. Остров Крит в Средиземном море не входил в число центров культа Диониса.**

221 ***Ревенсвуд, Эдгар*** **— благородный молодой человек трагической судьбы, разоренный политической борьбой аристократ, герой романа Вальтера Скотта "Ламмермурская невеста".**

231 ***Ригорист*** **(от лат. rigor — твердость, строюсть) — человек, требующий соблюдения определенных правил, преимущественно нравственных.**

236 ***Ворота Сен-Мартен*** **— декоративная арка на Больших бульварах Парижа, построенная на месте старых крепостных ворог.**

Церковь Мадлен **— одна из крупнейших церквей Парижа, строилась и перестраивалась начиная с середины XVIII в.; во время действия романа еще не была закончена; помещается на Больших бульварах.**

238 ***Гимнастический шаг*** **— беглый широкий шаг, которому обучали во французской армии XIX в. для передвижений на поле сражения.**

250 ***Локуста*** **— известная древнеримская**

отравительница и составительница ядов; жила при императоре Клавдии, который, по преданию, был отравлен ее ядом.

Агриппина Младшая **(16–59) — вторая жена императора Клавдия, отравившая его, чтобы доставить престол своему сыну Нерону, от имени которою надеялась царствовать; однако была убита по приказанию сына, тяготившегося властолюбием матери.**

Брунгильда **(ум. в 613 г.) — королева Австразии (одного из франкских королевств, расположенного на территории современных Западной Германии, Бельгии и Северной Франции); известна в истории борьбой против формирующейся феодальной знати; вдохновительница многолетней кровавой междоусобицы между франкскими королевствами; обвинялась в убийстве десяти членов королевского дома; была предана мучительной казни.**

Фредегонда **(ок. 545–597) — королева Нейстрии, Фпяц*хкого королевстБл на территории современной Западной Франции; противница Брунгильды.**

251 ***…как [Jojujhuu. у Шекспира, он умер вместо другого.*** **— Полоний — действующее лицо трагедии "Гамлет". Здесь имеется в виду чет-**

вертая сцена третьего акта: Гамлет убивает спрятавшегося за занавеской Полония, приняв его за короля Клавдия.

258 *Гризетка* — во французской литературе девушка-мастерица не очень строгих правил.

Пикпюс — монастырь в Сент-Антуанском предместье Парижа; несколько позже время действия романа стал известен преступлениями и скандальным поведением его монахов.

260 *Табльдот* (франц. table d'hote) — общий обеденный стол в ресторанах, гостиницах или пансионах.

262 *Буйабес* — провансальское кушанье, острая и пряная рыбная похлебка, иногда приготовленная с вином.

274 *...как случилось с Фиеско и тем мавром, который хотел его убить.* — Фиеско (правильнее Фиески), Джан Луиджи Младший, граф Лаванья (1522–1547), — генуэзский аристократ; пытался захватить власть в городе, но во время восстания, поднимаясь на свой корабль, оступился и утонул; герой трагедии Шиллера "Заговор Фиеско в Генуе". Здесь имеется в виду явление девятое первого действия трагедии: Фиеско обезоруживает мавра, наемного убийцу, посланного заколоть его, и привлекает к

себе на службу.

Мавры — средневековое название мусульманского населения Испании и Северной Африки.

276 *Дом инвалидов* — общежитие для увечных солдат, основанное Людовиком XIV в 70 х гг. XVII в

294 *Дельвино* — город в Албании (современное название Дельвина).

***…полиции одной республики, одного королевства и одной империи.* — То есть Швейцарии, Греции и Австрии, которой во время действия романа принадлежала Северная Италия с Миланом, Венецией и Триестом.**

295 *Бурс* — турецкая денежная единица, 500 пиастров.

299 *…придется, как древним, воздвигнуть алтарь Deo ignoto.* — Deo ignoto — "неведомому Богу" (лат.). Здесь содержится намек на эпизод из священной книги христиан "Деяния святых Апостолов" (глава 17, стих 23). Апостол Павел, прибыв в Афины, обнаружил среди местных святынь жертвенник, посвященный "неведомому Богу", который он принял за алтарь Христа, заявив жителям; "Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам".

301 ***Август*** **(Гай Юлий Цезарь иктавиан; 63 до н. э.-14 н. э.) — первый римский император под именем Цезаря Августа (27 до н. э.-14 н. э).**

Океан **— е древнегреческой мифологии древнейшее божество вод, прародитель богов и титанов. Здесь, скорее, второе значение этого имени — мифическая река, окружающая землю, начало морских течений вод и источников.**

Амфитрита **— в древнегреческой мифологии владычица морей, супруга бога моря Посейдона.**

Борромейские острова **— группа из четырех островов на альпийском озере Лаго-Маджоре в Италии и Швейцарии.**

304 ***…по королевской мостовой…*** **— то есть по шоссированной дороге с каменным покрытием, имеющей государственное значение и содержащейся за счет казны. В зависимости от формы правления во Франции такие дороги назывались императорскими, королевскими, а при республике — национальными.**

306 ***Рангоут*** **(от голл. rondhout — круглое дерево) — совокупность деревянных или стальных деталей круглого сечения надпалубного оборудования судов; служит для несения па-**

русов.

307 ***…грехи отцов падут на детей до третьего и четвертого колена.*** **— Дюма здесь излагает смысл одного из речений Бога к пророку Моисею: "Господь долготерпелив и многомилостив [и истинен], прощающий беззакония и преступления [и грехи], и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и чет вертого рода" (Библия, Четвертая книга Моисеева "Числа", глава 14, стих 18).**

310 ***Диффамация*** **(от лат. diffamare — лишить доброго имени, порочить) — опубликование в печати сведений, позорящих кого-либо.**

318 ***Примас*** **(лат. primas — глава, первенствующий) — титул архиепископа, председательствующего на церковных собраниях данной страны и обладающего высшей церковно-судебной властью над своими коллегами.**

Порта **(Высокая, или Блистательная Порта; от франц. porte — дверь, ворота) — европейское название правительства султанской Турции.**

…от франкского вельможи… **— Франками в Турции в средние века и в начале нового времени называли всех европейцев.**

319 ***…в год 1247 хиджры…*** **— Хиджра — пе-**

реселение пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину в 622 г.; дата хиджры была принята за начало мусульманского летоисчисления. Однако в данном случае у Дюма неточность: 1247 год хиджры соответствует 1869 году европейского календаря.

337 *Дюпре, Жильбер Луи* (1806–1896) — французский певец, тенор и композитор.

338 *Венсенский лес* — в средние века королевское владение за восточной окраиной Парижа; в царствование Наполеона был превращен в благоустроенный общественный лесопарк; ныне находится в черте города.

339 *...Чудесная опера "Вильгельм Телль"!* — Вильгельм Телль — меткий стрелок из лука, герой швейцарской народной легенды, отразившей борьбу за независимость против Австрии в XIV в. Здесь, очевидно, имеется в виду опера Россини, либретто которой частично было написано по одноименной драме Шиллера.

344 *Офир* — упоминающаяся в Библии страна, изобилующая золотом и драгоценными камнями.

351 *Тортони* — кафе на Итальянском бульваре в Париже, где собирались представители

светского общества, а также совершались сделки в те часы, когда была закрыта находившаяся неподалеку биржа.

353 *...То, что произошло с Брутом накануне сражения при Филиппах: я видел призрак.* — Марк Юний Брут (85–42 до н. э.) был главой республиканского заговора против Юлия Цезаря. В разгоревшейся затем в Древнем Риме гражданской войне войска республиканцев, которыми командовали Брут и Кассий, были разгромлены в 42 г. до н. э. в сражении при городе Филиппы во Фракии, а сам Брут покончил с собой. Существует рассказ, переданный несколькими античными историками, о том, что незадолго до сражения к Бруту ночью явился ужасный призрак. На вопрос Брута, кто он и чего хочет, призрак ответил: "Я твой злой гений, и ты увидишь меня под Филиппами". Возможно, однако, что Дюма здесь имеет в виду эпизод из трагедии Шекспира "Юлий Цезарь", где к Бруту является тень Цезаря.

360 *Фёшер, Жан Жак (*1807–1852) — французский скульптор.

Вари, Антуан (1795–1875) — французский скульптор-анималист, один из признанных мастеров этого жанра.

385 ***…ни святой Феме, ни свободных судей.*** **— Имеется в виду уголовный суд Феме (от нем. Vehme — показание), называвшийся также просто Феме, фемическим трибуналом и Трибуналом свободных судей, который существовал в XII–XVI вв. в Германии. В отличие от местной юстиции, зависимой от феодальных владетелей, суд Феме считал себя свободным (что было зафиксировано в одном из его названий), так как подчинялся непосредственно императору, а членами, чиновниками и подсудимыми в нем были исключительно лично свободные граждане. На практике суд Феме быстро превратился в тайное, наводящее ужас судилище. Делопроизводство, вынесение и исполнение приговоров поручалось, как правило, его же членам и велось в обстановке строгой секретности.**

Стерн, Лоренс **(1713–1768) — английский писатель и проповедник;**

пользовался в XVIII — начале XIX вв. чрезвычайно широкой популярностью.

Атриды **(правильнее Пелопиды) — сыновья Пелопа (или Пелопса), правителя полуострова Пелопоннес, цари города Микен братья Атрей и Тиест; герои древнегреческой мифологии,**

известные своей длительной враждой, изобиловавшей убийствами, преступлениями и унаследованной их детьми и внуками. Собственно Атриды — сыновья Атрея Агамемнон и Менелай, герои "Илиады" Гомера и античных трагедий, преступлениями себя не запятнали.

394 *"Ничего лишнего"* (лат. "Ne quid nimis") — то есть не нарушай меру. Выражение из первого акта пьесы "Девушка с Андроса" древнеримского комедиографа Публия Теренция Афра (ок. 195–159 до н. э.).

***"Веемое ношу с собой"* (лат. "Omnia mea mecum porto") — выражение, приписываемое древнегреческому философу Бианту (VI в. до н. э.), который, спасаясь из осажденного врагами родного города, не захватил с собой никакого имущества. На вопрос, почему он это сделал, Биант ответил: "Все мое ношу с собой", желая сказать, что лишь духовное достояние есть истинное богатство.**

***Федр* — горячий поклонник философии и красноречия, герой диалога Платона "Федр", или "О красоте"; жил в V–IV вв. до н. э.**

397 *Паста* (урожденная Негри, Джудитта; 1798–1865) — итальянская оперная певица, драматическое сопрано; выступала во многих

странах мира.

Гризи, Джулия (1811–1869) — итальянская певица.

398 *...Ло... с их фантастическим Миссисипи,* — Джон Ло (1671–1729) — английский экономист и финансист, министр финансов Франции (1719–1720); известен своей спекулятивной деятельностью по выпуску бумажных денег, окончившейся полным крахом. Финансовые реформы Ло были связаны с организацией так называемой Западной компании, или Компании Миссисипи для эксплуатации мнимых золотых приисков во французских владениях в Америке. Падение курса дутых акций Компании привело к разорению множества вкладчиков.

399 *...проклятие Брабанцио Дездемоне.* — Брабанцио, венецианский сенатор, и Дездемона, его дочь, вышедшая замуж против его воли, — герои трагедии Шекспира "Отелло". Здесь речь идет об одноименной опере Россини, написанной на сюжет этой трагедии.

402 *Альцест* — главный герой комедии Мольера "Мизантроп"; тип нелюдима и человеконенавистника.

Дорант, Валер — имена влюбленных моло-

дых людей в нескольких комедиях Мольера.

406*...увенчанной райской птицей.* — То есть султаном из перьев, украшающим прическу.

Эндимион — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, погруженный верховным богом Зевсом в вечный сон, о причинах которого имеется несколько преданий. Образ спящего Эндимиона часто встречается в искусстве.

407 *Буало-Депрео, Никола* (1636–1711) — французский поэт и критик, теоретик искусства классицизма.

409 *Quaerens quern devoret* ("Ища, кого поглотить") — слова из Первого соборного послания святого апостола Петра, в котором он предостерегает верующих от происков дьявола: "...противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить" — глава 5, стих 8.

412 *Амазонки* — в древнегреческой мифологии женщины-воительницы, обитавшие, по преданию, на берегах Азовского моря или в Малой Азии.

413*...я Геркулес, а ты только бледная Омфала...* — Намек на один из древнегреческих мифов о величайшем герое Геркулесе, известном своей атлетической мощью и богатырскими

подвигами. В качестве искупления за совершенное в припадке безумия убийство Геркулес был отдан богами на три года в рабство Омфале, царице Лидии (государства в Малой Азии). Омфала заставляла его выполнять женскую работу, нарядила в женскую одежду, а сама облачилась в его львиную шкуру и панцирь, с трудом взвалив на плечи палицу Геракла.

416*...бесстрашна, как Юдифь или Долила.* — То есть как библейские героини, победившие могучих мужей. Еврейка Юдифь (или Иудифь) спасла свой город Ветилую, обольстив осаждавшего его ассирийского полководца Олоферна и убив его во время сна.

Далила — коварная филистимлянка, вероломная жена древнееврейского богатыря Самсона. Узнав секрет его силы, заключавшейся в волосах, она остригла его во время сна и обессиленного выдала врагам.

417 *Ла-Виллет* — парижское предместье в северной части города, рабо чий район.

418... *мускулистый, как спартанец...* — То есть как гражданин города-государства Спарта в Древней Греции. Спартанцы с детства закалялись и воспитывались как воины.

424 *Ахилл* (Ахиллес) — в "Илиаде" Гомера и

в древнегреческой мифологии храбрейший из греческих героев, осаждавших Трою.

Деидамия **— жена Ахилла, дочь царя Ликомеда, у которого мать Ахилла богиня Фетида скрыла сына, желая оградить его от участия в Троянской войне, на которой ему была суждена гибель.**

430 ***Консьержери*** **— старинная часть Дворца правосудия в Париже; первоначально замок-резиденция консьержа — высшего исполнительного чиновника парижского парламента (отсюда и название), затем — тюрьма; ныне — музей.**

438 ***Сирены*** **— в древнегреческой мифологии сказочные существа, полу-птицы-полуженщины; своим чарующим пением завлекали мореходов, которые становились их добычей. В переносном смысле сирена — коварная обольстительная красавица.**

453 ***Грации*** **(древнегреческие хариты) — в античной мифологии первоначально божества плодородия, позднее — богини красоты и радости, олицетворение женской прелести; изображались в виде прекрасных обнаженных девушек. Иносказательно — совершенные красавицы.**

Пилон, Жермен **(1535–1590) — французский скульптор, автор известной группы "Три грации".**

471 *Крез* (595–546 до н. э.) — царь Лидии; славился своими богатствами. В переносном смысле — очень богатый человек.

473 *Лаж* (или ажио) — превышение рыночной цены золота и установленного номинала ценных бумаг. В данном случае превышение номинала расписки Монте-Кристо идет в качестве процентов за предоставленный ему кредит.

474 *...Поступите как апостол Фома: посмотрите и потрогайте.* — Апостол Фома, получивший прозвище неверного (или неверующего), не хотел верить в воскресение Христа, говоря: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".

477 *...Фредерик играет Робера Макера...* — Робер Макер, сатирический образ ловкого дельца-пройдохи времен Июльской монархии; создан знаменитым французским актером Фредериком Леметром (1800–1876) в популярной в 30-х-40-х гг. XIX в. во Франции комедии, написанной им же вместе с драматургом Бен-

жаменом Антье (1787–1870).

478 *Некрополь* (греч. nekropolis — буквально: город мертвых) — кладбище, могильник.

...за могилой Элоизы и Абеляра... — Пьер Абеляр (1079^1142), выдающийся французский философ и богослов, и его возлюбленная Элоиза (ум. в 1164 г.), племянница каноника Фульбера, известны трагической историей своей любви. Их тайный брак был расторгнут, и Фульбер из мести оскопил Абеляра, после чего любовники приняли постриг. Элоиза и Абеляр были похоронены вместе в построенной им часовне. В начале XIX в. их останки были перенесены на кладбище Пер-Лашез.

479 *...стансы Малерба к Дюперье...* — Стансы (ог франц. stance — строфа) — в поэзии XVIII–XIX вв. небольшое лирическое стихотворение несложной формы, часто содержащее размышления автора.

Малерб, Франсуа (ок. 1555–1628) — французский поэт, основоположник поэзии французского классицизма. Здесь, по-видимому, имеется в виду его лучшее стихотворение "У тешеиие Дюперье по поводу смерти его дочери".

Дюперье (или дю Перье), Франсуа — французский юрист; жил в XVI в.

489*... Я готов повиноваться, если вы мне велите отвалить камень от могилы дочери Иаира, я пойду по волнам, как апостол, если вы сделаете мне знак идти...* — Здесь Дюма имеет в виду несколько евангельских рассказов о чудесах, совершенных Христом, однако допускает некоторую неточность. В городе Капернауме он повелел воскреснуть дочери начальника синагоги Иаира, однако тело умершей девицы находилось еще в доме. Отвалить же камень от входа в пещеру, где было совершено захоронение, Иисус приказал, воскрешая Лазаря. По воде, как посуху, ходил по призыву Христа апостол Петр.

***...кто сказал, что вера движет горами!* — Здесь Дюма перефразирует изречение Христа, обращенное к апостолам: "Ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "Перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас".**

498 *Ландскнехт* — карточная игра.

***...если бы Лесаж не завоевал первенство своим шедевром...* — Имеется в виду роман Лесажа "Хромой бес".**

***Асмодей* (др. — евр. Ашмедай — искуси-**

тель) — имя злого, сластолюбивого демона в древнееврейской и средневековой литературе.

501 ***…совершенно квадратная.*** **— Имеется в виду тогдашняя форма французских тысячефранковых банковских билетов.**

502 ***Ламорисьер, Кристоф Луи Леон*** **(1806–1865) — французский генерал и политический деятель, республиканец; участник завоевания Алжира.**

Ней, Мишель **(1769–1815) — французский полководец, маршал Франции, один из самых выдающихся сподвижников Наполеона.**

Шангарнье, Никола Анн Теодюль **(1793–1877) — французский генерал и политический деятель, монархист; участник завоевания Алжира.**

Бедо, Мари Альфонс **(1804–1863) — французский генерал и политический деятель, республиканец; участник колониальной войны в Алжире.**

503 ***…к алжирскому губернатору…*** **— Губернатором Алжира был в это время генерал (с 1840 г. — маршал Франции) граф Сильвен Шарль Вале (1773–1846), участник наполеоновских войн.**

506… ***отправиться к заставе Сен-Жак…*** **—**

Очевидно, Дюма намекает на то, что близ заставы Сен-Жак находится большая тюрьма Сайте, основанная в первой половине XIX в.

…уже из Тулона! **— То есть бежал с каторги, размещавшейся в этом городе.**

512 ***Пиксерекур, Рене Шарль Гилъбер де (1773–1844)*** **—** ***французский*** **драматург, создатель мелодрам, привлекавших демократическую публику.**

515 ***Гелиотроп*** **— род тропического и субтропического кустарника.**

523 ***…произведены над его френологическими шишками.*** **— То есть над выпуклостями на черепе. (Название связано с наукой френологией, согласно которой по данным измерения частей черепа человека можно судить о его психических свойствах).**

524 ***Мелисса*** **— травянистое растение, содержащее эфирное масло с запахом лимона, используемое в парфюмерии и как пряность.**

525 ***Сен-Симон, Луи де Рувруа, герцог де*** **(1675–1755) — французский политический деятель и писатель, автор "Мемуаров", ценного исторического источника.**

535 ***…жгла ему плечи…,как мучительное одеяние Несса.*** **— Имеется в виду древнегре-**

ческий миф о гибели Геркулеса. Кентавр Несс, пытавшийся похитить жену Геркулеса Деяниру, был убит его отравленной стрелой. Перед смертью Несс дал Деянире комок своей крови и посоветовал смазать ею одежду мужа, чтобы удержать его, если тот захочет изменить ей. Когда Геркулес решил жениться на другой, Деянира натерла его плащ кровью Несса. Отравленный плащ накрепко прилип к телу героя, смертельный яд проник в его кровь и отравил Геркулеса. Мучения его были столь велики, что он еще живым взошел на погребальный костер.

540 *...ярость... побуждавшая титанов брать приступом небо, Аякса — грозить кулаками богам.* — Титаны — в древнегреческой мифологии дети Неба и Земли, божества старшего поколения, олицетворение сил природы. Они были заключены своим отцом Небом (Ураном) в недра матери Земли (Геи), но свергли его и завладели властью над миром; однако были, в свою очередь, побеждены богами-олимпийцами. Большой (или Великий) Аякс (или Эант) — в древнегреческой мифологии, "Илиаде" Гомера и античных трагедиях — один из храбрейших греческих героев, осаждавших

Трою; отличался выдающимся ростом и силой; обойденный при распределении наград, впал в умоисступление, перебил множество животных, а потом от позора бросился на меч.

544 ***…как в сказке Перро, вдруг явилась злая фея, которую не пригласили на свадьбу или на крестины, чтобы отомстить за эту забывчивость.*** **— Речь идет о сказке "Спящая красавица".**

…Бог не допустил, чтобы Авраам принес в жертву своего сына… **— Согласно библейскому преданию, Бог повелел Аврааму принести ему в жертву своего сына Исаака. Но, когда Авраам занес над сыном жертвенный нож, посланный Богом ангел остановил его руку и указал на запутавшегося в кустах около жертвенника барана.**

548 ***…младший брат Тира и Карфагена, их наследник на Средиземном море…*** **— Тир (современный Сур в Ливане) — в древности приморский город-государство в Финикии; основан в IV тысячелетии до н. э. Карфаген — древний город-государство в Северной Африке в районе современного города Тунис; основан в 825 г. до н. э.; в 146 г. до н. э. разрушен римлянами. Тир и Карфаген славились в древ-**

ности своими мореходами и вели обширную морскую торговлю в Средиземном море и в Атлантическом океане. Называя Марсель их наследником, Дюма имеет в виду широкие морские и торговые связи этого города.

558 *Мирабо, Оноре Габриель Рикети, графде* (1749–1791) — деятель Великой Французской революции, сторонник конституционной монархии; с 1790 г. — тайный агент королевского двора. В молодости Мирабо из-за крайне беспорядочного образа жизни по настоянию своего отца неоднократно подвергался тюремному заключению, в том числе и в замке Иф.

566 *Эвр* — восточный ветер в древнегреческой мифологии.

Ганимед — в древнегреческой мифологии любимец и виночерпий верховного бога Зевса, подростком похищен им и взят на Олимп за необыкновенную красоту.

567*...слова, которые, как "god-dam" Фигаро, могут заменить собой все тонкости любого языка.* — God dam (правильно god damn — "Будь проклят!*, "Проклятье!*) — английское ругательство.

Фигаро — талантливый и энергичный слуга, главный герой трилогии Бомарше, комедий

"Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность*, "Безумный день, или Женитьба Фигаро*, "Преступная мать, или Новый Тартюф*.

Здесь речь идет о пятом явлении третьего действия комедии "Безумный день, или Женитьба Фигаро*, в котором Фигаро иронически объясняет своему господину, что в Англии вполне можно объясняться с помощью единственного выражения "god-dam*.

Allegro **(итал.) — веселый, живой, в музыке: быстрый темп и связанный с ним оживленный характер исполнения.**

Moderate **(итал.) — в музыке: умеренный темп исполнения.**

568 *Марий, Гай* **(ок. 157-86 до н. э.) — древнеримский полководец и государственный деятель; провел преобразование римской армии.**

Гракхи **— Тиберий Семпроний Гракх (162–133 до н. э.) и его брат Гай Семпроний (151–121 док. э) — древнеримские политические деятели, народные трибуны; пытались путем передела общественных зс мель ^постановить разорение римского крестьянства. Оба брата, проявив большое мужество и упорство, погибли в борь-**

бе с сенатской знатью за осуществление своих преобразований.

571 *Могга* (или тога) — итальянская народная игра, известная со времен античности; состоит в угадывании игроками задуманных партнерами чисел.

Baioccо — старинная *папская* монета. *Получить* baioccо — то есть получить на чай.

578 *Самоеды* — старое русское название саамских племен Северной Руси, позднее перенесенное на ряд других северных народов.

Лапландцы — употреблявшееся ранее название народа саамов (лопарей), живущих на севере Скандинавского полуострова и на Кольском полуострове.

"Дон Кихот" (точное название "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский*) — знаменитый роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра (1547–1616); образ главного героя$_{г}$ имя которого стало нарицательным, — человек, чье благородство, великодушие и готовность к подвигам вступают в трагический конфликт с действительностью.

579 *Голиаф* — персонаж Библии, гигант-богатырь из враждебного древним евреям племени филистимлян; был убит в единоборстве пасту-

хом Давидом.

Соус Робер **— блюдо французской кухни, винный соус к мясу.**

583 ***Бочка Данаид*** **— имеется в виду древнегреческий миф о пятидесяти дочерях царя города Аргоса Даная (Данаидах), по его приказанию убивших в брачную ночь своих мужей. Б наказание Дачаиды после смерти были обречены в подземном царстве иешо наполнять водой бездонную бочку. В переносном смысле — делать бесполезную и бесконечную работу.**

592 ***Калипсо*** **— в "Одиссее" Гомера нимфа острова Огигия, которая семь лет держала в плену занесенного к ней бурей Одиссея.**

Телемах**— в древнегреческой мифологии и "Одиссее" Гомера сын Одиссея.**

Гладиаторы **— в Древнем Риме рабы, военнопленные или преступники, обученные для вооруженных схваток между собой или с дикими зверями на аренах цирка.**

594 ***...Приговоренные к смерти Нероном, своим повелителем и наследником...*** **— В Древнем Риме, особенно во время правления Нерона, казнь обвиненных в государственных преступлениях обычно сопровождалась конфискацией имущества.**